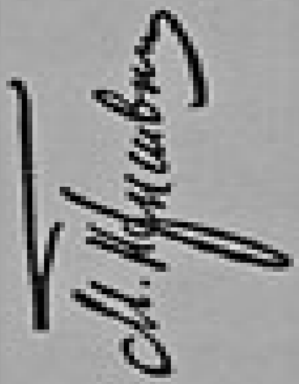


М. М. ПРИШВИН

ДНЕВНИКИ

1923–1925

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Настоящий том представляет собой второе издание книги М. М. Пришвина «Дневники. 1923–1925», изданной в 1999 г.

- М. М. Пришвин
  - 1923
  - 1924
  - 1925
  - Комментарии
  - Список сокращений
  - Указатель имен
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
- comments
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52

- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96

- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140

- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180

М. М. Пришвин
Дневники 1923–1925

1923

[Талдом]

2 Марта. Сегодня приходил ко мне какой-то Буйко Антон Иванович с книгой «Детерминизм» против Маркса, он, исходя из своего материализма (какого-то, подпертого даже Эйнштейном), критикует Маркса как скрытого идеалиста, интеллигента. Страсти в его критике было столько, что я спросил его биографию: почему он так восстал против Маркса? «Потому что, — сказал он, — я из-за [него] всю жизнь потерял, семья разрушена и брошена в Америке и т. д. Я теперь, — сказал он, — обладаю совершенным знанием, но это знание исходит не от интеллекта». Удивительно, над чем думаю — то мне и посылается. Этот старик участвовал в юности в заговоре против Александра II, всю жизнь свергал царей религией Маркса и теперь свергает Маркса [страстно], (трагически) рассмотрев в нем царя.

На масленой ехал к себе в Талдом{1} в холодном вагоне.

— Это что за холод, — сказал один из башмачников, — вот в прошлый раз в вагоне было двадцать градусов, нас было во всем вагоне двое, я и одна дамочка, вот какая температура была, а с меня три пота текло.

— Что же вы такое работали? — спросила женщина, похожая на портниху.

— Что я работал? — ответил башмачник. — Дрова рубил, а дамочка мне помогала.

— Где на свете водится больше всего львов?

— В Москве.

— Как?!

— Так: Лев Давыдович, Лев Борисович, Лев Маркович, Лев Исаич и каких там нет еще в Москве львов.

— Социализм происходит от печки: кухарке жарко, нервы ее расстраиваются, и она заболевает болезнью Furor Kucharicum[1].

— При чем же тут социализм?

— А вот при чем: был такой господин, мягкий сердцем, или покаявшийся, он взял мечту своей рабыни и стал ее проводить, вот и получился социализм. Словом, это вышло от женщины, как зло, как выражение ее глубоко индивидуальной природы, и было культивировано и облагорожено мужчиной. Вот почему под лозунгом коммунизма в социализме скрывается ненасытный злобствующий индивидуализм. Вот почему проведенный у нас в

России на практике, он стал источником новой буржуазии.

[Москва]

13 Марта. Вчера, в день годовщины февраля[2], был день-то какой, никак и передать невозможно, до чего хорош! Читал «Голубые бобры» в Союзе Писателей[3]. Не успел я расчитаться, как нелепый председатель сделал перерыв. Я сказал Орешину:

— Это похоже, как если вот только обнял и хотел… а вошли.

— Все равно покроете! — ответил он.

После чтения председатель (вот растяпа!) забыл даже сказать: «Собрание закрывается», но зато Клычков довольно громко бухнул:

— Собрание покрыто!

Сколько огней в февральском снегу!

Дама, работница «Просвещения»[4], в очках, всю себя отдала и сама стала похожа на обложку книг «Просвещения».

Есть советские кадеты, октябристы, что хотите. Карасев был кадетом, жена его — ничем в политике. Во время голода жена его получала по знакомству через Семашку поддержку и мало-помалу стала чем-то вроде советской кадетки[5], а муж стал ничем в политике.

Говорят, что Ленин умирает.

В Союзе Писателей было вывешено траурное объявление о смерти Ф. Сологуба, но оказалось неправда: он жив, хотя очень плох.

В пустое время, когда человек к человеку был куда хуже зверя, я часто оставался наедине с собой, и тогда бывало, как попадет в душу небесная звезда — так и останется, и помнишь навсегда этот миг, или сосну заметишь, как она еще в январе, когда солнце стало чуть-чуть приближаться к земле, первая этому солнцу обрадовалась, а я с ней тогда второй: по ней, по ее изумрудам, догадался. И так стал мне этот мир всей радостью, какой теперь я жив на земле.

Но много раньше было со мной…

14 Марта. Рассказ, как Петя убил утку (убивать только нужное, один патрон).

15 Марта. Дом ученых. Грудастые дамы приспособленных профессоров.

16 Марта. Приехала Мар. Мих. Шкапская из Берлина. Иду к ней, говорят, Ремизов через нее мне что-то хочет передать{6}, если это будет упрек за сотрудничество с А. Толстым в «Накануне»{7}, я отвечу Ремизову, что обнять Алешу ничего, в худшем случае он пёрднет от радости и через минуту дух разойдется, а довольно раз поцеловать Пильняка{8}, чтобы всю жизнь от следов его поцелуя пахло селедкой.

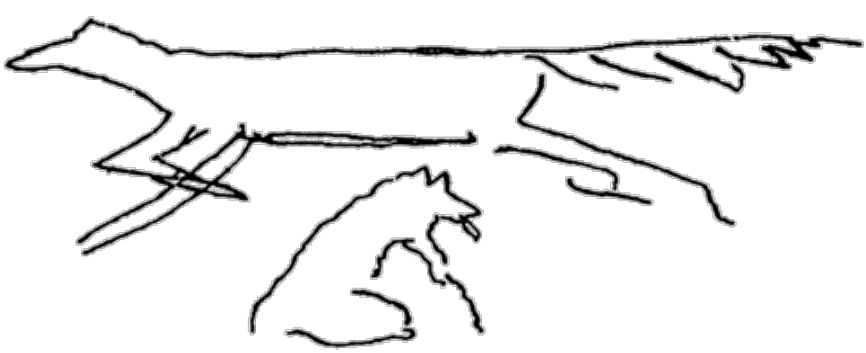
Кадетская политика по отношению к царской власти была Иудиным целованием.

Новое явление: нищие декоративные, например, один на Арбате ложится лицом на тротуар и рыдает, а шапка отдельно лежит, в шапку кладут деньги. Микитов говорит, что за границей русский вообще, как такой рыдающий нищий, с фокусами, так и смотрят на русских. Нищих мало, но бандитов! улицу не пройдешь, чтобы не вели кого-нибудь.

Писатели «Круга»{9} похоронили женщину, и от нее остался у них только круг, дыра.

Почему посев Ремизова дает такие дурные всходы, почему у него переняли только манеру (довольно дурную), а все его святое (возрождение России) осталось втуне?

Охотничьи рассказы: 1) Как Петя утку убил. 2) Зорька — задом стойку.



Судьба ведет людей, конечно, к себе в дом, но какими путями — нам неизвестно, и едва ли найдется хоть один человек,

угадавший в юности свою судьбу. У нас в России теперь вот как это видно! Возьми любую жизнь своего поколения и читай, как книгу. Да! Всякий пришел к себе в дом, но такими кривыми путями. Вот хотя бы Марфинька{10}, одно из лучших существ моего детства, тогда молоденькая девушка-народница, теперь шестидесятилетняя старушка, чудесная, истинная весталка. В то время как я ее помню молоденькой девушкой, около года убийства царя Александра II, у нее было приданое, тысяч десять, и такая она была хорошенькая, образованная, а вот не досталось замуж выйти, истратила деньги и построила школу и сама стала учительницей, да вот с тех самых пор и до теперь жива и учит в деревне детей в той же школе, с таким же [воодушевлением]. Это было вблизи того места, где я родился, в Орловской губернии…

20 Марта. Дубровка. Начало рассказа о преступлении Вл. Мих. Чернова.

Вчера был крепкий утренник с ветром, и в лесу так все смешалось, будто зима еще. Ни одного птичьего голоса, только в одной тесной кучке елей хозяйственно плотничал дятел. Я думал о диких лесных существах, которые совсем не принимали участия ни в войне, ни в революции, таких, как дятел, совсем их не так много! Голуби, например, уже связанные с судьбой человека, пережили во время революции ужасы большие, чем человек: и голод, и почти поголовное уничтожение на еду. Воробьи, галки, наверно, недоедали. Мухам и то было мало поживы. А лучший друг человека, собака! сколько тут пережито трагедий. Зато волкам, воронам была пожива на полях сражения. Я видел медведя, подающего снаряды красноармейцам. А дятел все время плотничал у себя, как будто ничего и не было. Зайцы, тетерева, болотная дичь жили сами по себе. И вот почему, наверно, такая острая радость бывает в лесу, когда услышишь таинственный стук дятла в густых елях. Будет время, когда на земле ни одно животное, ни одно растение не останется жить раздельно от судьбы человека — и вот когда он будет настоящим господином земли.

<На полях:> Сюда: галки на Тверском бульваре — мясо! Переживания Влад. Мих. Чернова.

Остановись на минуту, присядь записать свои мысли, свое чувство, и этот стул или пень, куда ты присел, — уже есть твой дом: ты сидишь, ты оседлый, а та мысль, то чувство, которые ты записал, уже **покоятся** на основании том самом, где ты присел, будь это стул или пень. Вот почему искусства не бывает во время революции: нельзя присесть. И вот почему источником искусства

бывает прошлое: ведь каждого из нас судьба ведет в конце концов в свой дом, вот когда бегущий остановился, оглянулся — в этот момент он стал поэтом, и судьба повела его в свой дом. И пусть он будет славить революцию, движение: все это ему уже прошлое, сам он сидит на табуретке или на пне и сочиняет стихи.

Алпатов.
Голубые бобры — эпоха 1881 г. — 6 лет.
Маленький Каин{11} — до университета (84 г. — 1894 г.).
1894 — марксизм (21 г.).
И до 1905 г. десятилетие (31 г.).
Материалы.

Судьба каждого вернуться в свой дом. Перелом: любовь — круг, вместо идеи — движения вперед{12}; встреча с миром отца{13}.

Весна в этом году перестоялась: дневное небо уже давно отпраздновало всю свою весну света, а на земле по ночам мороз в союзе со звездами и месяцем боролся с солнцем, держал крепко дороги, глубоко осели снега, как саван на тощем покойнике, но дорога слежалась, упрела и ледяная была в полях, как высокая насыпь. ([Мороз] метелью — ослабел и погиб.) Тогда все вдруг загудело: чувство любви у Алпатова.

Раскинуть блеск на великое пространство: до Желтых гор и белых вод… В этих волнах любви идет А., плывет, как в море (сосуд любви опрокинулся и затопил всю землю: это был новый потоп).

21 Марта. Вчера в тени было среди дня +6°. Железная крыша открылась, деревянная еще белая. Ночью звезды показались, и к утру схватил мороз. Сегодня утренник -1°, ветрено, ясно, кое-где бродят по небу, как вата, белые мягкие облака. Весна перестоялась, больше света, чем тепла, возможно, что сразу переменится и вода хлынет, а снега много!

Я помню весеннее утро, когда любовь, заключенная в сосуде, пролилась на землю, и засияло все от нее на опушке леса; изумленный нахлынувшим чувством благодарности неведомому существу, я обращал глаза свои — и все вокруг меня вспыхивало светом и открывалось мне в тайном своем существе: дятел, бегущий быстро по стволу дерева, мне представился лесным графом в малиновой шапочке и горностаевой мантии, сережки на снегу уже цветущего ореха — весенним золотым фондом всего леса, молодая осиновая роща с позеленевшей корой — пучками зеленых свечей…

Бывает, слышишь издали, чья-то жизнь в одном ужасном крике выходит, проходишь — лежит убитое в сердце животное, возле него разложили люди костер и палят тушу, это называется — свинью зарезать — самое простое обыкновенное крестьянское дело. Кому придет в душу сострадать крику свиньи? а вот есть это, и зато как отдельно, как пусто и как страшно: как иногда, засыпая, остатками своего сознания узнаешь свой собственный крик, так и тут остатками своего разума видишь встречу своего безумия с безумием природы.

Несговоров (Семашко) — верный человек.

Прокурор (Трусевич).

Провокатор Долин (из поповичей).

Народник Маслов (кроличьи глаза, религия человечества) = Богомазов — кооператор.

Марксист Горбачев — из дворян, эпилептик, надрыв.

Данилыч — полунемец, переводчик (практическая жизнь и есть корректив нравственных постулатов).

Философский период Алпатова: во всяком знании «причина всех причин» — разрешается циническим разумом и встреча с Несговоровым — обращением в социализм.

Чтение книг: никакой герой, ни в какой книге — не про меня, по причине: тот герой, хотя бы Дон-Кихот, повторяется, а я не повторяюсь. Нам не страшно увидеть себя в зеркале героя: это не я! а вот у кого еще не определилось свое Я, вот тому нет ничего страшнее, увидеть подобного себе героя, а почему? вот почему, наверно: это все равно, что умереть или увидеть всю свою судьбу до конца.

Мир наполняется бумажными героями: нигилисты Тургенева — наши социалисты, но ведь это же прошлое!

Как будто бесконечно долгое время рылся в запутанном клубке и вдруг нашел конец, и конец этот — Я: с этого времени Алпатов весь клубок вновь на себя перематывает.

Есть ли раны такие, что <*зачеркнуто:* потом, заживая> в здоровье идут и в долголетие? а в душе это часто бывает, и живет душа с открытою раной себе на здоровье. Сколько людей на Руси до гроба, никогда не уставая, учились потому только, что диплома не получили, и все боятся внутри, оттого что когда-то выгнали из гимназии и сказали: «Из него ничего не выйдет» (Алпатов).

Страшно быть как все, если всех перегнал, и те, недовольные, назади теснясь, тянут назад, требуя: «будь, как все». Но страшно и

если все впереди, а сам назади, тогда желанной целью кажется догнать их и стать как все.

— Догоняй, догоняй! — крикнули оттуда, и Алпатов бросился всех догонять, чтобы непременно кончить гимназию, в университет попасть и быть как все. Этой силой пошел он в ученье.

22 Марта. Ночь ясная, молодой месяц глядел с дополнительным кругом. Мороз на дыбы поднялся до самых звезд: 20°!

Поучение молодым писателям: писать нужно так, чтобы забывался весь труд мастерства, чем больше забудешься, тем выйдет очаровательней (то есть и читатель забудется), а самое уже лучшее пишется так, чтобы и сама красота мира забылась: тайно присутствуя и всему душа — красота бы исчезла из сознания, как и мастерство, и все произведение писалось бы только из побуждения любви к людям и миру.

23 Марта. Сегодня +2° после вчерашнего -20°: важно, это было последнее усилие мороза, жест до самых звезд (и, верно, весна будет дружная: перестоялась). Говорят, что видели грачей.

Когда сообразишь свою жизнь (со-образишь), то она располагается по кругу: в начале дом, где рождается дитя и получает стремление уходить куда-то вперед. Но это ему только так кажется, что движение его совершается вперед по прямой линии. Это обман преобладающего роста разума: вероятно, так передается себе простой физический рост мозга. Сущность этого движения — не отстать от других и быть как все. В русской сектантски-интеллигентной молодежи этому психическому состоянию соответствует вероучение социализма (коммунизма), которое каждому отсталому и даже последнему дает надежду быть как все.

Прямолинейное центробежное движение из дому с конечной целью быть как все под влиянием центростремительной силы эроса дает, в конце концов, движение по кругу, но сознание этого приходит, вероятно, во время окончания процесса роста мозга, в момент встречи с проблемой пола. С этого момента начинается зачатие личности, при ярком внезапном свете (любовь) жизнь человека вступает во второе полукружие, рожденная личность (второе рождение), стремясь не быть как все, направляется к центру (эрос), но силой общественного мнения, центробежной, отвлекается в сторону, и так слагается движение домой, к своей

самости. Таких кругов, выходящих из дому и возвращенных домой, в жизни иного человека бывает много, и все движение идет вверх по спирали, так что дом второй приходится над первым, выше его, третий дом еще выше, и так растет как бы один дом со многими этажами вверх: внизу домика материальное основание — родина, над родиной отечество, над отечеством творческие труды, над ними прямое любовное воздействие на людей и воскрешение отцов{14} (церковь, в которой священником Я).

Линии жизни:

(вон из дому)

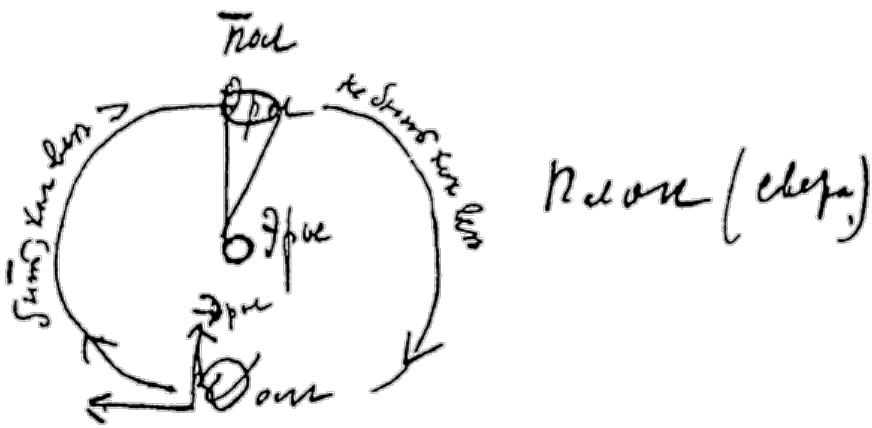
1) Быть как все.

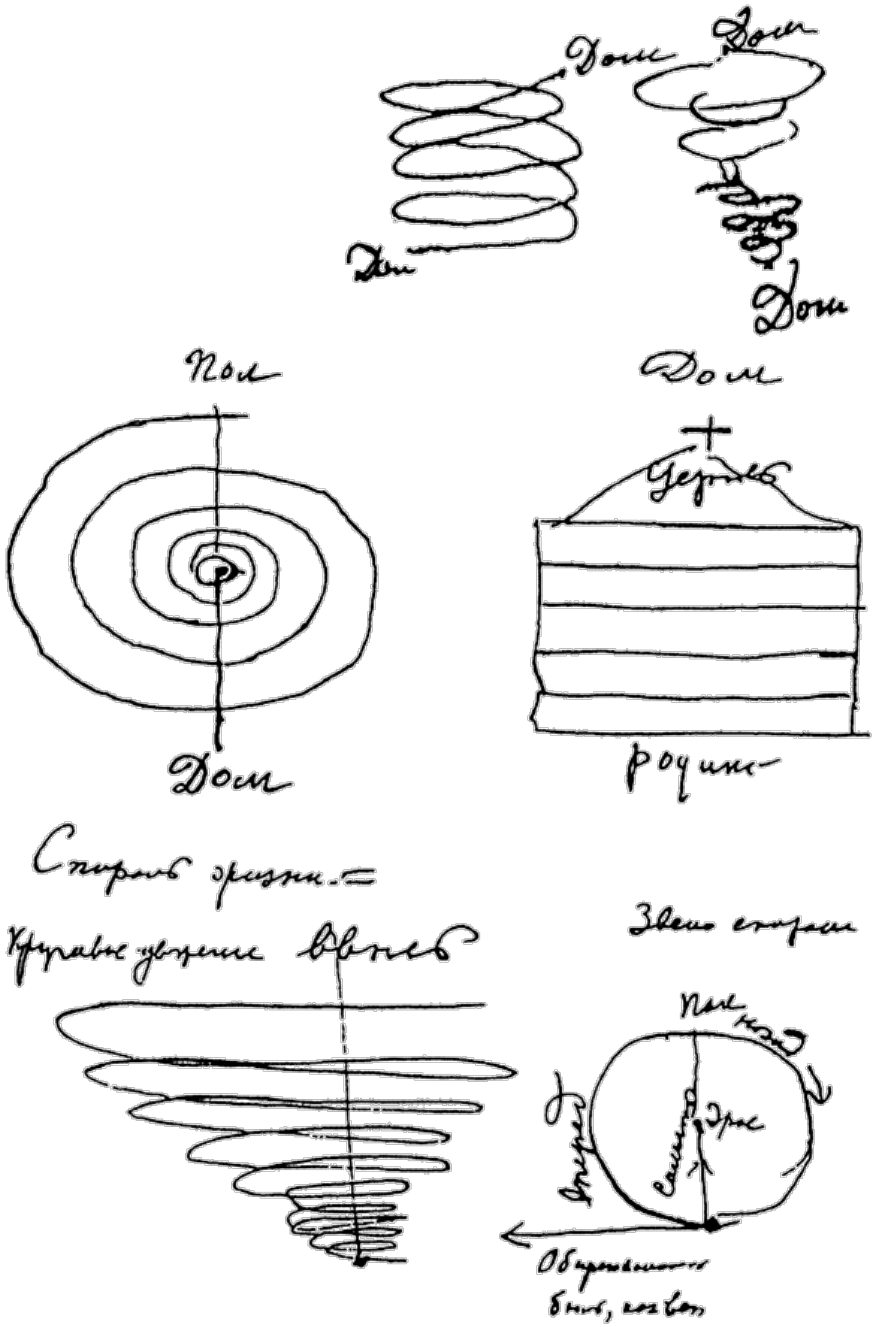
Исключенный догоняет, и это идеал социализма, 2-й Адам как 1-й, прислуга как барыня, психологически этим все движется. А истинное достижение в эросе: тут и есть коммуна, а в то же время рождение личности, чтобы не быть как все.

(домой)

2) Не быть как все.

Мука рождения творческой личности.





Дон-Кихот — это я — я Дон-Кихот! Гамлет тоже я — я Гамлет! И Двойник Достоевского о мне писан, и Раскольников. Так «Я» борется с другим «Я», находя в нем свое подобие, с болью откалывается и Дон-Кихот, и Гамлет, и Двойник, и Базаров, и так

будто змеиная чешуя слезает с настоящего «Я», в котором скрыта воля на неповторимое действие.

Материалы к Алпатову

1. Тема из округа

Иван Иванович Астахов, пароходовладелец на Сибирских реках. Шампанское sec (сухое) он выговаривал не «сэк», а через «е»: «сек», и, сказав это свое «сек», тут же прибавлял: «Самый высший!» (сорт). Так его и прозвали в семье у Алпатовых «Самый высший»[{15}]. Его энергия и всегда сопутствующая энергии вера в здоровье и счастье выражалась у него в самом наивном пристрастии к науке. В свой сибирский городок он привез лейденскую банку и солнечные часы и, устроив большой пир, показывал всему городу опыты и удивлял всех. Инициатор вольно-пожарной дружины и попечитель реального училища. Схватил раз капитана и швырнул его в реку, а спасали другие. И этот же человек, когда на его пароходе путешествовал наследник[{16}], представляясь ему, не мог от страха окончить фразу: «Мы, пароходовладельцы по рекам Западной Сибири…», блюдо с хлебом подал, а выговорить: «Подносим ваш[ему] императорскому] вел[ичеству] хлеб-соль» не мог. По возвращении парохода «Николай II» в пристань он водил показывать дом, отхожее место наследнику. Любил сочинять загадки: «Как перейти непереходимое болото?» Алпатов отгадал: «Зимой на лыжах». — «Хороший парень!» И предложил матери взять его в Сибирь: кончит реальное и будет капитаном. Путешествие в Сибирь: второй Адам (переселенцы), третий Адам (беспаспортные и бродяги на пристанях дяди); тайга, степь. Пиры: «Марсельеза». Курымушка обедает вдвоем, разговор: загадки и молчание. Курымушка рассказывает о плутонической и нептунической теориях вулканов (огнедышащая гора). Китаев и Катаев. Директор Ив. Як. Словцов, друг дяди, угасший человек, невер (старушка звала его к о. Амвросию: «Ты седая?» — «Седая». — «Съезди к нему, если вернешься черная — поверю»). Волчий билет («Заперлись — позову». — «Покажи волчий билет». — «Да ректор разорвал: с домашним образованием»). Выпускное сочинение: «Значение путешествия наследника по Сибири». (Тема из округа.)

Жизнь, как клубок ниток большой. Ал. Мих. разрубает его, другой больше, больший [клубок] разматывает и притягивает, а

маленькие люди потому маленькие, что нитку протянуть некуда, и она путается и узелками складывается — в этих узелках и есть маленькие люди, узелки, им ничего не видно, а по-своему правы они в своих скорбях. Размотают нитку, а узелки останутся и незаметны даже на ней, никто с ними и считаться не будет.

Не сразу понял Алпатов, что это значит — исключенный гимназист. Оторвав себе серебряные пуговицы, он пошел в лавочку, купил себе цепочку нового золота и пошел гулять, щеголяя цепочкой и черными пуговицами, по Дворянской улице. Навстречу ему шла Вера Соколова… Странная мысль пришла ему в голову: подойти к ней и открыться во всем — в чем? Он не мог бы себе ответить, но это должно было выйти из него, как только он решится начать разговор. Соколова изумленно посмотрела на его пуговицы, он подошел к ней и сказал:

— Вы мне писали познакомиться, я написал «не согласен», теперь я желаю.

Разве так говорят, снисходительно и гордо…

— Теперь я не согласна, — холодно сказала Соколова, — вы теперь исключенный гимназист.

— Нет, я хочу вам открыться, у меня есть очень важное для вас.

— Ну, что такое, говорите.

— Я хочу вам сказать, что я не Алпатов, как вы думаете…

— А кто же вы?

— Я происхожу от неизвестного человека, вероятно, очень гордого и свободного, я думаю, что это Лермонтов.

— Как! Вы Лермонтов? — засмеялась Соколова. — Вы просто исключенный гимназист, вам теперь одна дорога — на почту или на телеграф, я с вами не желаю знакомиться.

Он быстро повернул с Дворянской на Успенскую. Алпатов… но Сережа, краснея, сказал ему:

— Ты… нельзя мне, опасно… меня тоже исключат…

— Как неизвестного?

— Так: он был не такой, как наши купцы.

— Но матери вашей он все-таки, наверно, известен, вы бы спросили свою мать.

— Матери моей он тоже неизвестен.

— Как же так?

— Я, наверно, ей был подкинут, мой отец был человек гордый и смелый, я думаю, это был Лермонтов.

Соколова засмеялась.

25 Марта. Все еще крепкие утренники, и заливает светом

солнце. На днях прилетели грачи. Примета: если прилетели на гнезда — весна дружная, если так куда-нибудь (сейчас ходят по дорогам, клюют навоз, проталин еще нет) — весна затяжная. Теперь прилетели на дороги.

В пятницу приехал в Москву. Союз устроил **показательный** вечер художественной прозы из мелких обычных писателей. По разным признакам (что не позвали читать на [первом] заседании, что на моем чтении не было ни одного из обычных писателей, что показательный вечер обычные устроили без меня) вижу недоброе отношение ко мне обычных, что-то у них есть против меня, но что? кроме Новикова все они евреи и полуевреи, все внутренне не имеют никакого значения в литературе, все способны к организации. Все мои почитатели из писателей, напротив, русские коренные, неспособные к организации, все индивидуалисты и хотят быть не как все (Adelsbrief[2]). Бороться с обычными при таких условиях можно лишь пережидая, пропуская малое время (бывает большое время).

1) «Я не виноват»;

2) «Я — виноват».

1) Я не виноват, значит, кто-то виноват, значит, я терплю, я страдаю, а тот, виновник, действует, причиняет мне боль, он, виновник, господин мой, я — раб, он — господин. Сознание раба.

2) Я — виноват, это значит, я — свободный человек, то есть я что-то сделал свободно, что-то причинил — я! И я же изменил этот путь свой, нахожу его неправым: я виноват, делайте со мной, что хотите, я отдаю свое прошлое на казнь (вам ведь нужен козел отпущения), но что бы вы ни делали с ним, с моим прошлым, в настоящем я — свободен, это другое я, и в будущем жизнь моя будет другая.

Думаю про эту ужасную теорию, разделяющую людей на господ и рабов. Настоящее все в руках властелинов, умных людей, и счастье жизни — их, будущее рождается в страданиях рабов: тут томятся вера, надежда, любовь, уживаясь с хитростию, затаенной местью, коварством, и тут среди них живет человек с ненаписанным Adelsbrief: ему кажется, будто он потерял грамоту своего благородства и не может ничем доказать о себе… Среди рабов и господ, и ненавидит он одинаково и тех и других.

Нет! Поэты не рабы, и не властелины, и не вольноотпущенные, это люди, которые утеряли грамоту своего благородства и сами взялись ее себе написать. В этом страстном искании и творчестве Adelsbrief проходит вся их жизнь среди господ и рабов.

Есть другие, которые присвоили себе чужие Adelsbrief и

господствуют над рабами — самозванцы! они, в конце концов, боятся только этих людей, творящих свое Adelsbrief (совесть нечиста), и вот почему делают им уступки, вот почему все-таки, вопреки всему, существует поэзия — как посев семян, исшедших от неизвестного существа в забытой стране.

Как я убил архара[17].

(Охота в Сибири)

На пробу я хотел одно лето остаться в Петербурге (в 1910 году) и пописаться, но я летом не умею работать (ничего не выходит), и, дотянув до июля, я взял в «Русских Ведомостях» аванс[18] в сто рублей, обещаясь написать что-нибудь о переселенцах.

Мне нужно было написать о переселенцах в «Русские Ведомости». В Челябинске я на них посмотрел — не понравилось. Я переехал в Омск — не понравилось. Ничего не мог написать, аванс на исходе, нового просить без статьи не смел (газета в меня мало верила). Что делать? Из Омска переселенцы ехали на Алтай, я рискнул ехать на Алтай с переселенцами, по пути на пароходе легко с ними сойтись, наблюдать, записывать — на пароходе я непременно напишу. На пароходе переселенцы в ужасной грязи, вони и [болезнях], а берега Иртыша манили никогда не виданной степью: то верблюд там покажется, то орел пролетит. И тут я не мог наблюдать переселенцев, при малейшей мысли о них я начинал чувствовать отвращение даже и к своей газете. Со мной был том географии Семенова о Сибири[19], и вот я нашел там описание зверя, о котором никогда не слыхал: зверь этот живет в горах Алтая на Тарбагатае, горный баран со спиралью закрученными рогами, и охота на него одна из самых трудных. Вот бы убить архара! подумал я, вот бы я все узнал в этой природе, в этом народе. Невозможная мечта.

26 Марта. Несмотря на ночные морозы, снега выгорают днем, и в Москве начинается вода. Весна! а хорошего за весь день вспоминаю только ангорского кота на Трубе.

27 Марта. Вчера заключен договор с «Кругом» на издание «Охота и лов»[20]. Основано литературное содружество: «Союз конокрадов». Познакомился с молодым критиком из серапионовцев[21] — Груздев (ярославский, сын огородника,

родился в Петербурге).

31 Марта. К. рассказывал мне свою трагедию, как на почве его онанизма создалась у него мечта и воплотилась в прекрасную дочь трактирщицы, и он женился на ней и живет уже лет десять в ужасных скандалах, но все не расставаясь с наваждением, что она — Прекрасная Дама. Исповедь его была полная, только не так сильно действовала, потому что я хорошо знал, К. рассказывал о себе каждому, кто его слушает, и оттого часто привирает (в основе все-таки правда), и вообще человек, потомок спекулянта, в высшей степени неточный. Я по болезни не выходил на улицу, дал ему денег купить мне папирос. «Вот возьмите мои», — сказал он, подавая коробку, в ней было пять папирос, но денег он взял за двадцать пять и даже сдал мелочь — как это объясняется?

Путешествие

Приглашаю всех в путешествие, малых и старых, малых, потому что у них сохранилось много запасов любви и это им поможет сделать в новой стране замечательные открытия, старых, потому что они устали от людей, им надо побыть с природой, тогда в одиночестве, как воскресшие, явятся к ним хорошие люди, душа восстановится и опять начнет открывать новое.

Летом 1910 года я очень затосковал в Петербурге и, почти не помня, что делаю, взял аванс в сто рублей в «Русских Ведомостях», обещаясь написать о переселенцах, и очутился на берегу Иртыша.

1 Апреля. Всё большие морозы с ветром, и это при весеннем солнце и сияющем голубом небе похоже на затаенную месть раба. Я думаю об одном своем чувстве — это когда видишь насилие и не можешь ничем стать против него, то является какое-то белое спокойствие в сознании своего будущего несомненного торжества над этим насильником: в этот момент отрешаешься от его личности навсегда и как бы убиваешь («вот тебе — за насилие: завтра тебя не будет»). Я раньше это считал страшным оружием писателя, его исключительным господством, но теперь, в дни затяжной весны, мне кажется, будто это обыкновенное затаенное чувство мести всякого раба, белое чувство, как острый ледяной слежавшийся снег во время торжественного весеннего сверкания всего неба. Раб, терпя, все откладывает в будущее, господин сегодня же открыто вступает в борьбу за свое настоящее.

Господин властитель настоящего дня, раб — будущего.

Милый друг, Вы спрашиваете, почему «От земли и городов» написано мною в таком грустном тоне[22]. Я Вам отвечаю на этот вопрос.

Грусть — это <*зачеркнуто*: слишком слабое чувство и> совсем не соответствует моему душевному состоянию теперь, но я в «Накануне» потому и пишу, что это доходит до Вас, а когда я думаю иногда, что по каким-то совершенно случайным и внешним для нас обстоятельствам мы, быть может, совсем и не увидимся, то становится грустно. Напротив, в жизни я себя чувствую, наверно, много лучше, чем Вы: леса наши мало-помалу очищаются от лома, в сгоревших местах принимается буйная заросль, по сторонам дорог открываются капризные тропинки, по которым совершенно безопасно опять можно идти… Самое же главное, я не стыжусь Вам в этом сознаться после испытаний голода и чуждого мне рода труда[23]: так называемая «животная» радость бытия вытесняет всякую грусть. Поешь хорошо, удастся напечатать, хотя и с большими опечатками, книгу, и радуешься и думаешь: «заслужил, заслужил!», а раньше, бывало, наешься, выпустишь книгу и загрустишь. Опишу Вам, как началось во мне это оправдание бытия.

Немного больше года тому назад в глухие места, где я был деревенским учителем, приехал первый торговец, и я купил у него зажигалку с бензином. До этого я высекал искру куском подпилка из своей яшмовой печати, потом затлевший кусок трута клал на угли и дул, пока не вспыхивала тоненькая лучинка. От этого дела во рту всегда пахло копченым сигом, пальцы («муслаки») были разбиты подпилком. И вдруг зажигалка — чик! и готово. Потом вместо лучины керосин — тоже какая радость!

В Марте прошлого года я собрался с духом и поехал в Москву: какую тут животную радость я испытал, увидав открытые продовольственные магазины, книжные лавки, издательство, — не пересказать! Мне удалось тут кое-что из прежнего своего продать, и сразу вышло из этого, что я мог целое лето до осени существовать в деревне независимо от ее общества — своим загадом, своей выдумкой, писать и так **быть**. Висевшая над моей головой тяжесть пуда хлеба была побеждена кем-то. Сами крестьяне этой деревни, где я жил, в какую-нибудь одну неделю вдруг разъехались из своей ужасной нищенской общины и расселились на хутора тоже на свой загад, на свой почин. Было похоже на пробуждение жизни ранней весной, еще под снегом, корней озими; не видя света, не чувствуя весеннего тепла, каждый своей мочкой начал присасываться к земле без платформ

и позиций, так вековечным инстинктом восстанавливалась настоящая жизнь.

Милый друг, Вы знаете, что счастье наше бывает только в момент соприкосновения с жизнью всего мира, и весь вопрос длительности его зависит от нашей заслуженности, пока есть внутри сознание этой заслуженности, свято радуешься всякому приходящему куску, а мещанство начинается, лишь когда иссякает творческая духовная сила перерождения материи.

И еще я Вам скажу: добродетель склонна к покою, из этого покоя рождается лень — мать всех пороков, всякого зла. Напротив, зло всегда деятельно, у него миллиарды агитаторов, оно заражает, и действие есть добродетель зла, как лень есть зло добродетели. Где же нашим голодным, жаждущим жизни корневым мочкам было разбираться в добре и зле.

Я стал непостыдно равнодушен к словам добра и зла в различных позициях и платформах. К осени я перебрался в Москву и стал себе делать литературную карьеру.

Бездомье

Я очутился в Москве в маленькой сырой комнате, хуже быть не может! Мебелью была в ней простая лавка, на ней лежала съеденная молью енотовая шуба поэта Мандельштама, под голову я клал свой мешок с бельем. Сам Мандельштам лежал напротив во флигеле с женой на столе. Вот он козликом, запрокинув гордо назад голову, бежит через двор с деревьями дома Союза Писателей, как-то странно бежит от дерева к дереву, будто приближается ко мне пудель из «Фауста». «Не за шубой ли?» — в страхе думаю я. Слава Богу, за папироской и нет ли у меня листа бумаги. Получив желаемое, попыхивая гордо папиросой, он удаляется опять козликом. Вдруг я получаю огромный паек из Кубу[{24}]: сразу пуда два баранины. Тепло, ледника нет — что делать? Говорят, надо сразу всю зажарить на примусе, в жареном виде не скоро испортится, и есть, есть. В каком-то военном Союзе показались дешевые самодельные примусы. Покупаю, жарю, и вдруг примус разрывается на части, в комнате море огня, край рукописи (кажется драгоценный) загорается. Я бросаю на рукопись шубу Мандельштама, рукопись спасаю, но шуба сгорает совершенно. Замечательно скоро все произошло: на бревне против моего окна сидели два федоровца, два соловьевца[{25}], еще один, называющий себя индусом, и рассуждали о воскрешении отцов. Ни взрыва, ни возни моей они не слыхали и всё спорили, и

только уж когда ужасная вонь от сгоревшей вконец шубы Мандельштама дошла до них, они обернулись и спросили: что случилось? Козликом, козликом, от дерева к дереву опять бежит ко мне хозяин шубы. «Что случилось?» — «Шуба сгорела!» — «Дайте еще одну папироску и еще лист бумаги и, пожалуйста, три лимона до завтра, я завтра, наверно, получу, отдам».

Кроме Шмелева, который, побывав у меня, сказал: «Хотите сохранить здоровье — уезжайте из своей комнаты», все мне говорили: «Держитесь за комнату, в Москве теперь это драгоценность». Я стал держаться. Историк литературы Благой достал мне керосиновую печь, сырость поменела, я стал носиться по Москве, искать своих книг для переиздания. Долго я не мог ничего найти и уже подумывал, что мне [делать], как вдруг самый усердный библиофил и замечательно усердный человек Синебрюхов из «Колоса» прислал мне связку моих сочинений{26}. Великое он дело сделал: я знаю одного беллетриста, И. Н. Киселева, который, осев в учителях, до сих пор не может восстановить себя как писателя.

Лекция: недавно я шел лесом, дятел-плотник, кошка: дятел без человека, кошка от человека — мир, прирученный человеком, очеловеченный, даже дикие кошки меняют отношение: иногда к ним уходят домашние. Изба — фокус приручки. Изучение жизни человека в данном месте: краеведение. Приложение этой идеи: можно и необразованному, всякому заниматься, находить просто полезное в данном краю человеку.

2 Апреля. Все продолжается в природе состояние «рабьей мести», хожу в валенках и шубе.

«Козел отпущения» — виновник, как это чувство безысходности личной воплощалось в образе большевика: никто из этих страдальцев не мог допустить, что Ленин как личность не судим, что личности, рождающейся в страданиях, в нем вовсе нет, и он есть просто часть какой-то огромной территории, может быть центральная, обозначенная словом Ленин.

4 Апреля. Завтра, в Четверг, еду в деревню на Пасху.

8 Апреля. Пасха.

Наконец-то у нас в семье после пятилетия нищеты настоящая Пасха: все есть. Петя ходил в церковь. Лева на спектакль в комсомол. Я стал равнодушен к склонности Левы: было бы «чти отца и мать»{27}, из этого непременно сложится после (не скоро, не скоро) и церковь.

Морозы все держатся. Превосходный санный путь. На полях нет даже и проталин, по насту иди без дорог. В лесу глубокие снега.

Изучаю эгоизм поэта, воображающего себя чуть ли не святым. Возвращается мысль «оправдание женщины» (начало ее: отношение Льва Толстого к жене): нужно изобразить о-чаровательного индивидуалиста, женщина — корректив: он без чар. Гамсун маскирует эгоизм этих людей их отзывчивостью во встречах с бедными людьми, их угадыванием сокровищ смирения{28} — пусть это будет и в моем герое, но это опять-таки чары, приносящие только зло (этому противопоставляется сознание самости); самосознание: во всех попытках жить для всех бессознательно управляет человеком его самость, но, встречаясь в сознании с альтруизмом, она превращает жизнь человека в гримасу; единственный способ освободиться от этого зверя, всегда голодного, это насытить его, следить за ним, ухаживать, и вот, когда успокоенный зверь уснет, можно позволять себе отлучки в другую сторону (altera[3]): это хозяйство со своим зверем и есть самость, без которой никак нельзя помочь другим людям. Нелады «с самим собою» и создают иллюзионистов общечеловеческой морали. Вот почему народы имеют разного Бога, не Боги разные, а зверь разный и разные способы его насыщения и ухода за ним — разные церкви, а Бог, конечно, для всех один.

1. Позы нашего гения в облаках (вы заняты созерцанием позы своего гения в облаках).
2. Общее мнение было, что он погиб, потому что сошелся с женщиной низшего круга, по слухам, у него пошли дети, и он погрузился туда, куда-то в свой отдельный мир (никто не подумал о том, что женщина эта могла быть лучше их — раз, а два, что почему же именно жизнь их круга является мерой существования).

9 Апреля. Сухой снег валит, как зимой. Пропала весна воды. Охотники мои заскучали, и Лева просится на бал-маскарад.

11 Апреля. Все то же в природе: зима. Ник. Ив. Савин в оправдание жизни и на отдых души.

13 Апреля. Проходит Святая неделя, и как Рождество: снег, метель с морозом, метет, курится, наносит сугробы (кансамольская пасха).

Живем, пока жив человечек в глазу. Редко бывает глаз такой тусклый, что в нем человечка не видно, а бывает все-таки и хмуро, смотрит один зверь.

14 Апреля. Вечером -6˚, ночь звездная, и доходило, наверно, до -15˚, ни за что не понять, что не Рождество, снега глубокие. На сходе кто-то просил отмерить себе земли. Ему ответили: «Яйца отморозишь». Все говорят, что этот холод за теплую зиму — так люди переносят свою мораль на природу (нынешняя молодежь, однако, говорит просто: «циклон», а что такое — не понимает).

Переворот в природе

Утром 14 Апреля еще был мороз, надутый с вчера северным ветром, но теперь ветерок был теплый, лаская по щеке лапкой, этот ветерок надул тепло, к полудню небо все стало ровно-серым, а с 5 вечера начался дождь и шел всю ночь; началась весна воды.

Изморозная весна

Яблоня

Дождь, дождь! на яблоню, по ветвям ручьи, с каждой ветки ручей, и все собирается к стволу, и ствол, как река, под яблоней сначала в снегу снежное ведро воды, потом круг, и с каждым часом растет и растет, а вокруг соседней тоже круг растет, круги сливаются…

Грачи

Прилетели не на гнезда — весна затяжная: кочки болотные высунулись из-под снега, и на каждой кочке сидит по растрепанному грачу.

16 Апреля. До обеда все продолжался дождь, и сразу пошли птицы: чайки, трясогузки, кряквы (на зеленях), журавли.

Заря теплая — первый туман (и все белое) — видна только по

линии леса. Вечером токовали тетерева. Такой вечер: с севера дунуло холодком, папиросный дым пошел…

4 Мая. Сегодня я устроился для писания в отдельной избушке и навсегда покинул сумасшедшую воровскую семью Клычковых. Кажется, за всю революцию не видел я для себя такого зла, как от добрых услуг С. А. Клычкова. В сущности, это Фомкин брат, только вконец развращенный и трусливый{29}.

Чурка вырисовывается все яснее.

6 Мая. Обещался прочитать лекцию по краеведению{30}. Искусство и жизнь: в жизни всегда время и место, в искусстве уничтожаются: в некотором царстве и при царе Горохе, мы, как змея в шкуре времени и места, но иногда сбрасываем чешую, обновляемся, и это делает сказка. Наука тоже со временем и местом. Краеведение. Интересно за горами, только не у нас (на севере). Наука о местном творчестве. Наука дает закон и управление жизнью, искусство дает радость жизни, оценку, качество.

В субботу был на току в болоте, под утро вдруг все болото замерзло, и солнце сверкало, отражаясь в миллионе зеркал, тетерева бегали по льду, кукушки куковали. Примета худая, если кукушки прилетят на голый лес.

В общежитии один бес полезен, потому что каждый сваливает дело своего личного беса на того, и свой забывается, будто и нет его.

12 Мая. Вчера вечером мы услыхали первый гром и умылись из лужи (говорят, это не 1-й, неделю тому назад слышали). Теплая ночь была. Видел светляка. Поет соловей. Утро чисто майское, с туманом. И потом самый теплый отличный дождь с пузырями. «Для озимей хорошо!» — «А для лугов?» — «Для всего хорошо!» Ласточки прилетели. Но лес еще не оделся, и только чуть зеленеет лоза.

Запах цветов от подснежника до сирени и жасмина (запах солнца в полдень, слегка морозный при весеннем утреннике). После весенней ночной порошки и утренника победное всходит солнце, и это первый, самый чистый запах весны: пахнет само солнце. Потом запах самой земли, и так до сирени…

5 Июня (23 Мая). Михаил. Загадочный день — чем кончится (кончилось ненастьем).

Людям черт, как благодетельная осушительная канава на

болоте, по которой стекает вся грязь. Если бы не было такого злоотводящего русла, то сколько бы ни в чем не повинных людей было бы занесено грязью только за то, что первые попались под руку. Да и как бы жить, если бы ветер не относил от нас далеко наше собственное вредное дыхание? Благословим же благодетельного черта как движение ветра, уносящего вредные дыхания почивающего Бога…

И пусть, веруя в Кащея Бессмертного, рука моя крепче и крепче кует новое звено…

Нам дана в разуме форма окончательной правды на земле, но только форма: арифметика, два на два — четыре будет тогда только правдой, если счет наш будет соответствовать ударам сердца, в котором это же самое $2 \times 2 = 4$ бьется как ей-ей, ни-ни, а что сверх того, то от лукавого.

Разве не похожа душа наша на засеянную ниву: иное семя, имея влагу, рано взошло и дало плод в самой жизни: круг завершился, и об этом писать нам нечего. Но есть семя, жаждущее влаги и ожидающее своего расцвета: вот из этого непророщенного семени и цветов, не расцветших в своей собственной душе, я создам своего героя, и пишу историю его как автобиографию, оно выходит и подлинно, до ниточки верно, и неверно, как говорят, «фактически»{31}.

[12 Июля]. При сборах в Москву (вчера был новый Петров день 29 Июня): раньше я всегда чувствовал в литературе кого-то над собой, как небо, теперь небо упало, разбилось на куски, и каждый кусок объявил себя небом, каждый теперь работает в размере своего обломка, и над собой нет общего неба. Раньше, очень давно, мне казалось, что если мои родные, милые люди умрут, то для кого я буду писать; когда они умерли, я стал писать еще лучше и больше. Может быть, и теперь так: без неба писаться будет лучше? Да, так оно и есть, но… какая же скука существования, тошнит, как подумаешь, что нужно ехать в Москву, в литературную «среду».

Новый Петров день. Звонят, все работают, только одна бабушка, мать Матвея Филипповича, собирается в церковь: раз батюшка служит, надо идти. Уходя на охоту, я спросил: «Бабушка ушла?» — «Нет еще: раздумывает». После охоты мне сказали — бабушка раздумала, не пошла. Пришел председатель, рассказывает, что у них так пропадет и праздник: Кирик и Улита, всегда звали в этот день попа, теперь, как по-новому, — не

позовут. «Что же это выходит, второй раскол?» — «Второй, только теперь народ не такой, или глупей раньше был? Теперь только на год и хватит духу, а на следующий год все пойдет своим чередом. Это по новинке кочевряжутся».

Поехал в Москву утром в Понедельник 2 Июля (15 Июля), вернулся в Четверг 5-го Июля (18 Июля).

Отречение Тихона{32}. Непосредственное чувство оскорбленности себя русского (нет у нас теперь Аввакума), а после размышления оказывается, что Тихон поступил вовсе не дурно. Выходит повторение душевного мотива всей революции: сначала душа возмущается и восстает, оскорбленная, против зла, но после нескольких холостых залпов как бы осекается и, беспомощная, с ворчанием цепляется за будни, за жизнь (так возникло сменовеховство){33}. Карасев из кадета превратился в человека осторожного, вдумчивого, и «герой» слинял, спал с него, как чешуя у змеи; проще у жены его толстой Евгении Никол., та просто почуяла, откуда идет благо, и стала молиться в сторону «жизнеподателя» (Наркомздрав), а что у ее мальчика (8 лет) на столе появился Маркс и Ленин, то это «он сам мальчик поставил себе». Вот так и Тихон пророс новою мыслью, подписал отречение от царя и дал присягу РСФСР.

Может быть, это переживание имеет всеобщее значение (утрата ложного понятия «героя»)? Но, с другой стороны, видно, как нарождается тот же самый загипнотизированный человек (герой) в новом составе лиц власти (Галотин из ястреба превращается в хорька); надо написать рассказ, в котором люди благородные превратились в разного рода животных, и на фоне этом изобразить душу раба Божия распинаемого, человека бессознательно религиозного, который не спешил на страдание, потому что в глубине души чувствовал, что «все дойдет до меня» и я сам доживу до этого, и вот это пришло.

Темные герои (Аввакум): трагедия получается оттого, что большое сердце идет по малому разуму (а чем отличается «Второй Адам»), — но почему так? В России сплошь вся история умного сердца (трагедия умного сердца), запертого в мертвый счет: например, считают время царства Антихриста! Не в этом ли состоит и схоластика: счет ангелов по булавочной головке. Что это — сердце ошибается или разум? (Сюда ошибка Алпатова в сроке всемирной катастрофы, как у староверов, и спасение в унижении, в рабстве.) Ставлю вопрос: разобрать психологически возникновение ложного числа зверя.

<На полях>: Гибель былинного героя (нигилиста) в числе врагов (легион).

Звено 3-е про второго Адама.

— Ос-с-ел! — В открытую дверь столовой Алпатов видел, как, согнувшись, по коридору бежал из кабинета дяди все тот же несчастный капитан Лукин, брошенный дядей когда-то с борта парохода в реку. Желтый капитан примиряет, желтый — учителем и библиотекарем. Пропадает в степь. Исак (Гусек): Аркам[4]. Роман по воздуху: сверхчеловек. Исак — печеное яблоко, после неудачи с Лукиной. — Аркам. Директор — Поп — Учитель словесности. Заповеди Астахова. Маскарад.

У христиан есть грех, что они спешат на страдание: зачем спешить всем, кто жил полной жизнью, если это само непременно придет. Второе, что зовут за собой малых сих, тех, что, может быть, обошлись бы в жизни и без страдания. Христиане спешат идти на страдание, зачем это? Оно и так непременно придет, если есть в душе основание на полную жизнь; спеша, они увлекают за собой и тех малых, кому можно и так прожить, без страдания.

Второй Адам.

У него мера и счет (честность и пр.), становясь на место первого, он должен сохранить свое, и тогда золотая луговина открывается, но бывает так, что второй, становясь на место 1-го, по-обезьяньему видит в существе 1-го утрату меры и счета как презрение к нему (и это действительно есть в эпоху упадка 1-х) — тогда 2-й становится обезьяной (простой народ), а интеллигент свое 2-е (меру и счет) возводит в первое и становится фанатиком (раскол): то и другое показалось в путешествии в золотые горы (беловодчики, копающие гору{34}, и Гусек, вытесняющий Исака{35}).

Второй Адам — существо, забытое Богом и обиженное людьми, он возмущается. (Первому смирение, второму бунт.)

Возрождение, значит, воплощение своей мечты, ее материализация (мера и счет).

Материализм — это **голос** материи, вызывающий дух на борьбу.

Материя сопротивляется формирующему духу, но сопротивляется она, как женщина, в сокровенности своей жаждущая оплодотворения, если дух не выходит на борьбу, то она идет за ним, и вот это и есть материализм: голос самой материи, вызывающий дух на борьбу…

Лежит вся мертвая косная природа, и дух над ней голубком — какая жажда материи [святого] духа.

Материалы к 3-му и 4-му звену

Семашко, Маслов (Желтый капитан — отец Семашки). Сестры: Александра, обожающая брата, дикая, и сестра Соня, мягкая, но чтобы непременно быть, как сестра, клавесины. (Все хорошо под сиянием, малороссийское.) Чтение: «Крейцерова соната». Толстой (елочки), Достоевский (люди). Спенсер, Льюис, Геффдинг, Сеченов, Липперт, Тургенев, Дарвин, «миросозерцание» (выработать), «Что делать?» (как вопрос кружкам: звезды, театр, жизнь города).

Илья Валуйский. (Из этого всего есть щелка в вольную жизнь: Лукина.) Герои Иловайского и революции.

Алпатов и Семашко: одному Аркам, другому бараны, отсталость, человек действия и человек содержания, число — политика и сказка. Земляк. Соловей.

4 Августа. Друг мой, в революцию я сильно оглох в сторону человека, но стал много ближе к своей звезде и отсюда полюбил покойников. Есть ныне живущие люди, которых я очень люблю, как покойников, и не имею в жизни с ними никакой связи; они очень удивляются, почему я им не пишу, а я даже и объяснить им этого не могу.

Елизаров Ефрем Васильевич считает, что в промышленной жизни России происходит всеухудшение, и оно объясняется тем, что господствующие люди боятся создать буржуазию и попасть в положение дворян, поглощенных «чумазым».

5 Августа. Я **их** («они») ненавижу именно потому, что они есть часть моего существа: это что-то мною упущенное, как невоспитанные мои дети, обращенные против меня. И я ненавижу их, потому что они от меня, я ими заинтересован.

Живая личность — душа мира — враждебна государственным властелинам, потому что она сопротивляется. Так, если бы лошади каким-нибудь способом заявили о себе извозчикам, что бы тут было! И вдруг диктатура лошадей: личность лошади поставлена в центр мироздания, а извозчики обезличены.

Кащеева цепь: пол и эрос. Неуправляемый пол.

Педерастия = эстетизм.

Баба = прекрасная дама.

Соединение пола и эроса в церковном браке: мещанский брак в религиозном чувстве всеобщей любви, братства: влюбленным кажется, что все хороши (это главное проявление эроса), не отсюда ли явилась «любовь» — общее представление о действии эроса.

В новой гимназии Алпатову после его маленькой революции было так же, как и нам после революции великой: зло осталось, но лицо его как единое в таинственной закрытой массе открылось, расщепилось на множество маленьких лиц, серых, обыкновенных и близких нам, почти как «родня»; стало голо вокруг, но зато сердце начало на хорошем человеке крепко завязывать свои узелки, и, как испытавшему голод вдруг оказался слаще сахара черный хлеб, так и обедневшее сердце мимо гениев и великих людей пошло навстречу обыкновенному милому, хорошему человеку.

Эти люди были, конечно, и в той гимназии, но оставались незаметными; и в этой гимназии было столько же дурных людей, но тут они закрылись хорошими. Особенно дорог стал Алпатову директор Барбосов, и только одно плохо: уроки Барбосова по естественной истории начинаются только в последнем классе. Про эти уроки умные ученики начинают говорить уже с четвертого класса, и так, будто вот потерпи немного, а там Барбосов все тайны откроет, он знает все и все может, только молчит, и ты молчи, учись и жди пока…

Весело было по воскресеньям под конец обедни в гимназической церкви слушать обязательную проповедь толстого протоиерея Лепёхина. Директор стоит в задней шеренге с учениками последнего класса и в некоторых местах проповеди вдруг подхрапнет и начнет мотать себе на руку бороду, тогда и всем старшим ученикам почему-то становится весело; Алпатов думает, хочет быть вместе с ними, но не понимает, в чем соль. Но раз, в Богоявленье, когда отец Иоанн сказал, что крещенская вода освященная в отличие от всякой другой воды не портится, Алпатов, услыхав, как подхрапнул директор и пошло веселье назади, понял, что вода крещенская, наверно, портится, и с тех пор стал понимать и сам оглядываться назад и посмеиваться. С ним вместе стал оглядываться и другой ученик (Семашко), и глаза их встречались сочувственно и раза два — они стояли вместе.

8 Августа. Ганди — управляет внутренним миром (религия), Тилак — действием (политик).

Религиозные люди всегда люди меньшинства, последние, становятся **после** первыми: их час впереди, но, когда приходит их час большинства, они становятся большинством и в нем погибают. Так меркнет луна…

Религия — это луна душевной нашей ночи…

Меньшинство погибает, становясь большинством, а большинство, достигнув власти, погибает в меньшинстве.

9 Августа. Кащеева цепь. Звено третье. Гимназисты вырабатывают миросозерцание. Типы: эсер Маслов, кролик, жертва («давай вместе»), вокруг него, как кролика, звери с оскаленными зубами (его и били), отец мясник («Ты что читаешь? Евангелие — ну, что в нем: люби ближнего как самого себя — скинь рубашку»); Гусельников, эсер, ученый (микроскоп: он будущий ученый, в спорах о миросозерцании молчит и **делает** (музей)… с ним Одноблюдов и другие); Семашко (концентрирует действие: вечер в пользу ссыльных, долой философию, долой звезды, аскеза в действии (сердце запечатано). (Свечи были разные, но загорались все с одного конца: что делать?), «ты не умеешь логически мыслить»; Коноплянцев (будущий юрист: спорщик, слаб темпераментом, диалектическая логика Минто, Милль…).

Алпатов изумлялся, почему звезды выбрасываются: от звезды к делу у него ясно сложился план, и он бросился домой записать, взял лист бумаги, весь его развернул, нашел центр и начертил квадрат и в него вписал: **человек**… туман все закрыл; и так остался лист белой бумаги и посреди него человек.

В садике прыгала птичка, маленькая, известная с детства, и теперь в душе перемешалось с людьми, и нельзя понять, то ли это было до птички, то ли после птички. Тогда огромная мысль шевельнулась, как кит, что все птицы, звери, звезды, солнце и всё-всё есть в душе **человека**.

Горбатенький корреспондент.

Выписали «Русское богатство»{36}, поют в ожидании, лают собаки (в домике Одноблюдова — Анна Николаевна; ее келья, святые…)

Все дети ссыльных.

Априори (загруженный философией)…

В лесу встретился человек, предлагает мне папиросу.
— Обижу вас, — говорю ему.
— Ну, обидите, не по нашей вине дома наши идут прахом.

Счастье, конечно, им: к 18-ти пришла дама, и банк взял, вот и все. Конечно, и ум, но ум и у нас такой же, видишь человека, был как и я, пришло счастье, взял власть, и какой умный, а потом прошло счастье, и глупее, чем был.

Кто же выживет, какие люди? — А это **периодически**: сначала в кооперативах выживали, потом пошли нэпы, теперь эти проходят…

Друг мой, в советской России я, как ласточка, на которую дети накинули мертвую петлю на шею, повесили, но ласточка легкая, не давится, пырхать пырхает, и лететь не летит, и не виснет, как мертвая.

Придумчивый человек.

Алпатову было так, будто его второй раз исключили из гимназии. Там, в старой гимназии, был какой-то план, и он, Алпатов, не вошел в него, его вычеркнули, так же и тут в каком-то плане все равно его пропускают. Можно бы жить всем хорошо, если бы не было плана…

12 Августа. Дуничка, конечно, святая по своим делам, но жутко думать, что душа ее — вот вопрос! — перетянет ли коромысло весов, на другом конце которых душа молоденькой балерины, беззаветно отдавшей всю себя за один стакан шампанского…

Лев Дейч, Вера Фигнер, Аксельрод — старики торжествующие.
Я помню, этот старик в Здравнице среди религиозных старух издевался над Богом, и у него было дьявольски самодовольное лицо: мороз революции застудил его прежнее, наверно, тоже живое лицо, в движении к убийству из-за самовеличия, и такой он теперь, с этой маской живет. А ведь, наверно, то же лицо, молодое, живое, переливалось радугой счастья человечества, самопожертвования.

Кащеева цепь: **правда** (необходимость, действие) как враг всякой легенды и личности: пролетариат вместо Христа; правда

— умерщвляет отцов (наше прошлое)… Смерть правды (Кащея) в том, что сама правда делается ложью. Ложь есть смерть правды.

Правда — смерть личности. Личность, умирающая в правде (личность, рождающаяся в легенде). То же в образах рода: жених — личность, невеста — легенда, творец легенды о Прекрасной Даме — отец семьи, умирающая личность (революционеры — все отцы); мы берем на себя дело отцов и так делаем скачок вперед, так и Новый Завет возник: сын берет на себя дело отца — соглашение, революционер отнимает у отца его дело и умерщвляет его (цареубийство); в Евангелии сын воскрешает отца в легенде, в революции умерщвляет в правде.

Дело мое есть смерть моя: Я умираю в своем **деле** (правда заключается в деле моем, истина во мне: Я есть истина{37}). Истина субъект, правда объект. Источник правды есть истина, а если скажете: правда — источник истины, то родится ложь. Ложь есть подмена субъекта объектом (фетишизм, материализм).

Типы: Семен Демьяныч (червивый поросенок), Милёнок, Филипп Яковлевич, Елизаров (язычник).

Успенье.

Мой толстый сосед, купец, погибает от жиру, чревоугодие породило подагру. Вообще наш купец, более талантливый, чем еврей (тот белоручка, больше занимается комиссиями, чем делом), рано загнивает, ему не хватает культуры (потребность к культуре вырывается в чтении энциклопедии, Золя и т. д.).

В христианстве (в Евангелии) чувство проникает в самый разум, в логику, в $2 \times 2 = 4$: эта сохранность первого наивного чувства жизни до смерти и через смерть есть сила и значение Евангелия, не сравнимая с попытками художников, философов (интуитивистов). Герой Евангелия — мыслящий простак, уничтожающий книжников и фарисеев. Евангелие — радость жизни, коронованная смертью. Все это теперь затемнено грехами церкви, этой щелью, через которую ворвался бунт масс с их социализмом и материализмом.

7 Сентября. Я художник, а это значит, что я служу тому человеку, кто молился: «Да минует меня чаша сия»{38}. Я призван, как цвет, украсить путь для отдыха, чтобы страждущие забыли свой крест. Я, может быть, больше многих знаю и чувствую конец на кресте, но крест — моя тайна, моя ночь, для других я виден, как день, как цветы.

Мой луг усеян цветами, и тропинка вьется по ним так, будто

нет конца огромному лугу. Влюбленным в мир выходит с этого луга странник, и, какая бы ни вышла ему суровая зима, он будет знать, что непременно придет весна с любовью и что это главное, из-за чего живут люди — цвет, это явное, это день, а крест — одинокая тайна, ночь и зима жизни.

Я скрываю свой крест в никому не доступных завитках моей ночи, и лампада моя горит невидимо. Это враг мой выходит из ночи с крестом и лампадой вязать людей, пытать их совесть и загонять всех на крестный путь именем искупителя греха. Нет же, нет, это я страдаю, и мои кровавые слезы текут по лицу, но они пусть радуются, своим тайным страданием я творю им здоровье, счастье и радость. Весельем, пляской и музыкой искупается грех, взятый мною на себя одного, и пусть не плачут и не скрежещут зубами грешники, а пляшут вокруг меня и радуются, потому что я пьян от вина, претворенного в Кане Галилейской{39}.

С рассвета и долго потом ручейками растекаются отпотелые холодной ночью стекла. Уже был один никем не замеченный мороз: почернела ботва на картошке, брусника стала мягкая, горькая рябина — сладкая и зеленая клюква — багрово-красная.

Попы — актеры Христовой трагедии — создали комедию обывателя, который, приняв Св. Тайны, чувствует себя искупленным и живет обманно-свободным до личной трагедии, когда вдруг оказывается, что Христос их не спас от страдания. На смену старым попам появляются новые, которые требуют личного страдания, стараясь погасить и самое солнце, обещая скорый конец света.

— Я ношу в себе радость вина, претворенного на браке в Кане Галилейской, и вы, требующие жертвы от меня, уже искупленного, злодеи и насильники (слово обывателя зачинщику войны): я люблю, опьяненный вином, претворенным на браке в Кане Галилейской, весь мир жизни, с цветами и солнцем, с животными, птицами, рыбами и звездами, со мной, я не одинок — я весь мир.

Рабочему теперь живется много лучше, чем прежде, крестьянину хуже. И это справедливо: рабочий в революцию жертвовал собой, крестьянин только грабил. Каждый получил по делам своим.

Марксисты, чтобы лишить крестьянское движение той моральной окраски, которую давали ему эсеры, стали называть это движение просто **аграрным**.

Я не встречал таких врагов коммунистов, кто бы, обвиняя их,

не открывал мне так или иначе одну такую свою черточку, по которой видно, что человек этот избегает чего-то. Что это? Вина ли побитого вообще или страх глядеть в глаза всей правде? Почему не встречается совсем таких, кто бы, глядя в лицо истине, мог бы восстать даже и на правду победителей?

Есть великая правда нашего времени, но есть ли истина?

Тюха да Матюха, да Колупай с братом.
Воронский — «Красная Новь», Френкель.
Гершензон.

Солнце село. Я устал. Мне кажется, еще немного, и я умру. Я схватываюсь и зажигаю свое солнце, лампу-молнию. И опять у меня являются силы, я работаю. Но скоро голова отказывается связывать мысли. Я ложусь в кровать, привертываю огонь. Синий огонек прыгает, и все реже, реже, как судорога умирающего. Темно. Мысли мои окончательно распадаются, и вот наступает сон — пример смерти.

Я пробуждаюсь вместе с солнцем, светлеет в комнате. И я начинаю связывать странные распадания мои и объяснять себе сны свои, понимать. Пока я не умылся, все будто ночь владеет мной. Но вот я умылся, напился чаю и начинаю жить, как будто и не было смерти. Я работаю вместе с солнцем, чтобы рассеять мглу и всем показать. Вместе с солнцем мы работаем и творим наш день. Мы исходим из тьмы ночи и творим свет. Мы посылаем вызов ночи своим электричеством, но за это ночь мстит нам и охватывает днем, и мы снова умираем при солнце. (По поводу мистики.)

19 Сентября. Вчера прекратил охоту{40} и переехал в Москву.

Вот какой народ вороватый, что и от яйца отольет.

В Кимрах утонул еврей, через неделю труп его выплыл, оказалось, у него много червонцев. Толпа обсуждала: сколько наросло на червонцы, пока раки ели еврея. (Психология смеха, над чем смеются русские люди; мужики смеются, что купцов обложили, не понимая, что это их самих обложили и купец теперь только комиссионер по собиранию налога, смеялись, что исключили из гимназии детей за то, что они дети купцов.)

Маклучино (около Квашенок). Павел Савельич (охотник).

Алексей Андреевич Фирсов, бухгалтер, Кимры, д. 39, у него узнать о краеведе Комарове.

Жизнь местная — скверный анекдот, а цензура — гостиная

благороднейших людей, задача автора рассказать в гостиной прилично-скверный анекдот.

Мне иногда кажется, что огромное большинство русского народа тайные коммунисты, выступающие враждебно против явных (идеи, которым я сочувствую), иногда это враждебное чувство бывает до белого каления, и я сам не раз бросался из глуши с целью убежать из родины, куда глаза глядят, но по мере удаления от глухого места… и когда я прибывал в столицу и продумывал все, что этого зла никто не хотел отсюда, и зло делали местные люди, присвоившие себе название коммунистов.

Добираясь до источника — вдруг видишь, что сам источник чист. Так может быть и царская и всякая власть в истоке чиста, но, протекая по болоту, вода мутится и становится отравленной: и виновато болото.

Около себя люди никогда ничего не видят, чтобы увидеть, нужно прийти кому-то со стороны.

Один из величайших русских обывателей — Лев Толстой, он думает, что если мы, каждый лично, решим жить хорошо, то и всем будет хорошо. (Если построить всю жизнь по Толстому, то это будет всеобщее подсматривание за жизнью друг друга.)

Лев Толстой и не мог быть другим, он большой художник, и потому горестные заметки сердца его ближе, чем ума рассудочные размышления{41}: его идея еще не рождена.

С другой стороны, у нас как свой теперь Маркс, объединяющий все немые, слепые силы в понятие экономической необходимости, которая движется по тем же законам, узнаваемым наукой, как и планеты и всё. Из этого мировоззрения выходит, как правило, поведение не жить хорошо, по-толстовски, а узнавать научные законы и действовать.

Численно у нас теперь преобладает в огромной степени местное мировоззрение, личное, обывательско-толстовское. Действенно, напротив, то объективно научно-законное, и каждой группе достается свое: обывателям — слезы, законникам — Москва.

И Москва слезам не верит{42}.

Моя задача быть посредником между землей и городом, моя мечта заставить Москву поверить слезам обывателя, и обывателю, чтобы не Иван Иванович…

Мне кажется, она и не должна верить. До сих пор я слишком много трогался слезами обывателя, часто внешне облеченным в

какой-нибудь принцип. Когда я приехал в Москву, то принцип всегда обращался в слезы, и, поверив обывателю, я возвращался к нему дураком. Я наконец ожесточился и вот чего хочу от обывателя: пусть он дойдет до действительного принципа, и если это Толстовство, то пусть это будет реформацией, если реформацией, то пусть реформатор даст нам план действия для замены существующего новым.

А пока я займусь разделением принципов от слез, и в этом будет моя задача при направлении внимания на вопросы местной жизни.

Правда ли, как говорят все, что у нас нет свободы совести в отношении бывшей до революции?

22 Сентября. Местный человек, если ему не ладится, всегда **винит** кого-то, это его самая характерная черта, повинив такого-то, он успокаивается более или менее: виноват в дорогой рубашке оказался, положим, Иван Иванович, член правления Мосгубсоюза. Местный человек, неискоренимый личник и как таковой субъективист, ему кажется, если сменить Ивана Иваныча, то рубашка непременно будет дешевле.

Центральный человек, напротив, никого не винит, он хорошо знает, что в сокращении производства хлопка никто не виноват и, как ни старайся, с этим сразу ничего не сделаешь, стоит в графе цифра хлопка — и какую систему выборной ни придумывай, никто эту цифру сразу не может изменить. Поэтому центральному человеку все местные стоны и вопли более или менее должны быть чужды, и вот почему говорится, что Москва слезам не верит.

Так противопоставляются друг другу человек (государственный) с широкими планами, с действием, направленным к огромным немым силам, и (человек общества) обыватель со своими слезами.

Я лично пережил две жизни, первую, когда я занимался наукой и был правоверным марксистом (до 30 лет), и вторую, когда я вдруг нашел свое счастье в искусстве, Маркс мне стал постепенно чужим и родными философы-интуитивисты.

Теперь я переживаю третий период, молюсь неведомому богу и вижу вокруг себя множество молодых людей, совершенно таких же, как я первого периода. Я не мог выступить против них враждебно, потому что хорошо понимаю, что, если бы меня революция застала до 30 лет, я бы непременно был сам одним из первых зачинателей марксизма, и если идти против них, значит идти против себя.

Ландрин[43] *(рассказ)*

В то время, когда мы все пили вместо чая жженую рожь и морковку с солью, я вздумал навестить одну свою родственницу, Марфиньку[44], замечательную старушку.

Я был мальчиком дошкольного возраста, когда она, окончив курс в Сорбонне, приехала из Парижа и прямо в нашу глушь. Ей была дана инструкция от своего брата-революционера пока что… работать на легальном положении. Я был еще такой карапуз, что не понимал даже, какая была эта Марфинька хорошенькая барышня и как все это нелепо и ужасно ей, такой славной, засесть в деревне. Но и тогда все-таки я мог понять, что она ненавидела царя, дворянство (она была из купеческой семьи), издевалась над попами, и как у нас, детей, был Боженька, так у нее Некрасов… Свое приданое, всего тысяч десять, она истратила на постройку школы в одной очень глухой деревне (18 верст от нас), в том углу Орловско-Тамбовской губернии, где, как Тамерлан, потом прошел Мамонтов[45]. Только это вышло не сразу, вначале она учила просто в избе, рассчитывая, что в недалеком будущем ее работа на легальном положении кончится. Но случилось так, что брат ее, обожаемый ею и действительно прекрасный человек, вдруг переменил свои убеждения максималиста и явился в Россию работать тоже на легальном положении в одной большой либеральной газете. Вот и Марфинька тогда поняла, что ее личная жизнь кончена, сожгла корабли за собой и выстроила школу на свое приданое. С тех пор она и по наши последние дни работает в своей школе.

Я никогда не мог понять ее подвига, и даже сейчас я при всем своем уважении к ней всегда нахожу в душе своей какую-то досаду. Конечно, школа ее была не только образцовая, а и совсем таких нигде я не видел никогда, скажу одним словом, как, бывало, войдешь, так вдруг становится отчего-то светло. Но что она достигла против других земских школ? Там ребята, хлебнув грамоты, возвращались к сохе и все забывали, тут шли дальше и делались в лучшем случае приказчиками, купцами, а больше всего дьяконами, попами, околоточными полицейскими. Бывало, слушаешь, слушаешь, как Марфинька, тоскуя, стонет под вечер у печки. Мать моя, сильная женщина, утешая ее, скажет:

— Но, Марфинька, они же тебя за святую считают, кого ни спросишь, все говорят: «Ангела Бог нам послал».

— Тетенька, — отвечает Марфинька, — вы же хорошо

понимаете, что я отказалась от жизни не для того, чтобы создавать попов, дьяконов и полицейских.

— Не понимаю тебя, Марфинька, — отвечала мать моя, — попы и полицейские разные люди, есть звери, дураки, а есть люди добрые, умные, достойные, — если они хорошие, твои ученики, то вот тебе и награда.

— Вы никогда, никогда этого не поймете, — отвечала Марфинька, — мы с вами, тетенька, люди из разных миров.

Обидно было моей матери выслушивать это, правда, будь хоть семи пядей во лбу, а развитый и образованный человек всегда тебя может пристукнуть: ты, скажет, из другого мира. После смущенья и раздумья мать говорит:

— Почему вы так гордитесь своим миром, — у тебя нет детей, ты училась, ты приданое истратила на школу, а меня выдали замуж насильно, я женщина, почему я из другого мира?

Марфинька бросалась на шею матери:

— Тетенька, милая, ведь я же не то хотела сказать, разве я чем-нибудь горжусь, напротив, я именно и страдаю, что я полу-человек, а вы женщина, вы любили.

— Ну, как я любила!

С самого раннего детства я был свидетелем таких сцен, и вот, верно, почему, зная закулисную сторону жизни этого Ангела, я сохраняю в себе досаду: почему, за что она отдала свою жизнь, если в минуту перерыва в рабстве находила не удовольствие, а полную бессмыслицу дела своего, этого творчества полицейских, попов и дьяконов? Почему она не нашла в себе силы разорвать эту свою какую-то проклятую Кащееву цепь, и что это за подвиг на благо народа, если сам лично в цепях?

Такие люди, я замечал, как Марфинька, праведные, никогда не стареют, [они] скучают по душе и деятельными остаются совершенно такими же до гроба.

Когда началась революция, Марфинька была взволнована несколько месяцев, но вскоре у нас начались грабежи, зверства. В такие дни я завернул к ней, и вот я заметил в ней что-то новое. Мы говорили о литературе, о новых переводах, и вот тут она мне и говорит, соглашаясь со мной в критике литературных богов:

— А знаешь, я думаю, что Некрасов тоже был вовсе уж не такой большой поэт.

Некрасов! бог ее! Тот самый Некрасов, которого именно называла певцом революции открыто, как поэта в гражданском ее ореоле прошлого.

— Именно поэт, — воскликнул я, — теперь, как [никогда понятно], что он был вовсе не такой гражданин, как поэт.

Она удивилась и смолкла. Я понял ее отчасти: революцию как

зарю новой жизни она уже не понимала и оттого развенчала своего героя.

Так мы расстались.

Прошло [несколько] лет…

После гражданской войны, Мамонтова и всего [пережитого] с непокрытой головой я иду по большаку родной земли проведать дорогую старушку, иду, не знаю даже, жива ли она.

Мне все знакомо на пути, вблизи — вот эта старая лозина с выжженной пастухом серединой, вдали — очертания одной усадьбы, похожей на остров. Вскидываю туда глаза и… что это? Или я заблудился, — впереди чистый горизонт. Я подхожу ближе, ближе, и нет ничего: на месте усадьбы лежит несколько кирпичей и пни от вырубленного парка. Там виднеются обгорелые остатки другой усадьбы, третья совсем оголилась, но дом цел, и далеко видны приклеенные к дверям бумажки — верно, какие-нибудь распоряжения деревенского исполкома.

Я не даю себе отдыха, иду скорее, очень боюсь за родную старушку. «Неужели, — думаю, — и она исчезла с лица родной земли? Неужели она-то не получила признания?»

Вон показался ее прекрасный парк, насаженный собственными руками вместе с детьми, вот и дом ее, все цело, единственный зеленый уголок. Какая-то баба идет навстречу, я с тревогой ее спрашиваю, жива ли Марфинька, здорова ли, как ей пришлось?

Она жива, здорова и не перестает учить.

— Ангел наш тела-хранитель, — говорит баба.

Я подумал про себя: «Марфинька ангел, но как это у бабы выходит, что она хранитель их тела, какая нелепица».

— Ангел-хранитель! — поправляю я.

Баба стоит на своем:

— Ангел-телохранитель.

Я опамятовался, с кем я спорю? Но в душе та самая царапина, которую всю жизнь я испытывал, приближаясь к святыне, и как последствие непременный смешок: издали святая, отдавшая всю свою красу-молодость, сбережения, свободу на служение народу, вблизи результат: попы, дьяконы, полицейские. Издали ангел-хранитель, а вблизи, как баба понимает, что всех учеников на хорошие места поставила, выходит ангел-телохранитель.

Я это сейчас так разбираюсь, но тогда просто царапнуло, и, смеясь, на прощанье я сказал бабе:

— Это Лейб-ангел.

— Какой это «Лейб»?

— Самый большой, больше херувима.

— Херувима!

— И серафима.

— Серафима!

— Лейб-ангел — самый большой.

— Истинно, истинно, ангел наш телохранитель, — повторяет баба совершенно серьезно, не понимая моей чепухи.

Но вот и она, сама Марфинька, совершенно такая же и по-прежнему смотрит на меня, несмотря на радость, строго, как икона. Я ей рассказываю про Лейб-ангела, она очень смеется, но что-то в конце, самом конце ее души так и не оттаивает, как и прежде…

Живет ничего, да ей и немного надо: бутылка молока, пара яиц, немного творогу, хлеба, ей это приносят, не забывают, то один, то другой. Но чай мы с ней пили морковку и закусывали черным хлебом, посыпанным солью.

В сумерках я ложусь отдохнуть за перегородкой, слышу, к Марфиньке начинают приходить баба за бабой, и мне все слышно, о чем они с ней шепчутся.

— За Илью? — спрашивала Марфинька.

— За Илюшку.

— Отдавай, малый хороший.

— Ну, а как же платье-то ей к венцу?

Слышал, как шелестит бумага, видно, баба показывает ситцы.

— Это вроде как розовый, а это голубой, — говорит баба.

Марфинька решает:

— Шей из голубого.

Баба благодарит за совет и уходит.

Смутно мне вспоминаются с детства такие же советы старца Амвросия Оптинского и что Марфинька в то время смеялась над глупостью этого и удивлялась, как старец не гонит от себя этих баб. Но как же сама стала точь-в-точь такая же? Неужели стон народа так поглотил безбожницу, ученицу французской революции из Сорбонны?

Другая баба приходит за советом насчет поросенка: беленького и пестренького, какого ей лучше оставить на племя. И эти вопросы я теперь помнил из детства.

Третья принесла пуд муки и просит спрятать от пьяного мужа: всю муку переносил на вино. Еще баба с мукой, еще…

— Что это? — спрашивает Марфинька.

— Ландрин, — отвечает баба, — и вот еще чай, настоящий китайский, он ведь у меня по ландрину пошел, самый большой комиссар по всему ландрину и в России, и в Сибири и по чаям и по сахарам.

— Ну, так что же? — спрашивает Марфинька.

— Тебе, тебе прислал, — говорит баба, — письмо-то я, дура,

не захватила, на том конце села читают, вся деревня читает, удивляется: самый старший комиссар по всему ландрину и по чаю и по сахару. А уж как он про тебя-то пишет, так слезы и льются, так и льются. «Ангелу нашему телохранителю, — пишет, — посылаю двадцать фунтов ландрину и десять фунтов чаю, самого лучшего из Сибири, передайте ей, что я до гроба ее верный ученик и благодарный, чем только могу, как достиг этой ступени, так ее и вспомнил…».

Я слышал, как Марфинька целовалась с бабой, как обе всхлипывали, баба от радости, что сын ее стал комиссаром по всем ландринам, Марфинька…

Как только баба ушла, Марфинька тихо спросила:

— Ты спишь?

— Я все слыхал, — ответил я.

Видно, она уже овладела собой и перешла на обыкновенный свой тон:

— И про ангела-телохранителя?

Вечером мы поставили самовар, пили чай, настоящий, китайский, с ландрином, и хорошо нам было! ведь Марфиньке за всю жизнь было… от народа первое признание. Мы разговаривали и о литературе.

— Нет, Марфинька, — говорю я, — Некрасов был великий поэт.

— Пожалуй, ты прав, — отвечала она.

Хороша летом дорога по родной земле, и благо мне, свободно бросающему любящий взор из конца в конец своей родины, но бывает, лента дороги свитком совьется и закупорит внутри себя мысли странника, и он больше не видит ничего вокруг и думает о себе, рад бы и не может, засмыслился в себе самом.

Так и Алпатов со времени исключения из гимназии, сам не замечая того, в уединении перестоялся, чересчур много думал о себе самом: ему казалось, что в новой гимназии его примут как героя, пострадавшего за дело товарищей, и вдруг вышло совершенно другое. Первому рассказал он о себе тому кругленькому славному мальчику с говором на «о», которого звали в школе все Земляком: и про чтение Бокля и занятия физикой, и как он…

Земляк долго его слушал, сначала веселый и расположенный, а потом все хмурился, хмурился и вдруг сказал под конец:

— Тебе надо высморкаться.

Алпатов втянул воздух носом, насморка не было, он удивленно посмотрел на Земляка. Тот улыбался во все свое розовое широкое лицо, теряя в нем свои маленькие татарские глазки.

— Дурень, — сказал он, — ты и правда подумал…

— А как же, ты сказал высморкаться? — удивился Алпатов.

Земляк немного смутился, добряку стало неловко, и он отошел.

Еще был в классе ученик, его звали все Соловей за то, что он очень хорошо пел, ему тоже Алпатов стал, было, говорить о себе. У Соловья даже слезы навернулись от зевоты, но он был чуткий и вежливый и не сказал, как [сказал] Земляк: «Тебе надо высморкаться».

Осип Долгих, переведенный из семинарии попович, с большой челюстью, крупными зубами, с глазами умными и остро глядящими из-под квадратного [коротко остриженного] черепа, слушал сочувственно, улыбался, поддакивал и, когда Алпатов уже думал, что вот сейчас он с ним и согласится и тогда у него [появится] своя партия, вдруг сказал:

— У тебя там, в ранце, кажется, колбаса?

— Есть колбаса.

— Дай мне.

— Вот, отломи себе, — сказал Алпатов, жуя свой бутерброд.

Долгих не отломил, съел все и отошел.

Еще был Хохол, с большими серыми глазами и таким открытым лицом, что, как широкая дверь, впускала и выпускала [каждого входящего и выходящего]. Алпатов и к нему пытался подойти со своей ученостью, но Хохол вдруг сам такую развил ученость свою, сослался даже на рефлексы головного мозга, и Алпатов стал в тупик: как у него это все могло вмещаться.

Сын директора Лева был совсем ученый. Семен Маслов — что делать? Еще были Опалин, Маслов…

Хотелось Алпатову еще сойтись с Опалиным, лицо его [с решительным выражением говорило, что он] был во главе всех и, как говорили, уже [зарабатывал] уроками, содержал свою семью и неизменно был в классе первым учеником… Вдруг Опалин раз сам подошел к нему… На молитве…

Ползет змея — не тронь ее, тронешь — она обовьется и ужалит. Бежит дорога — иди по ней, — широко и радостно раскинутые вокруг земля и города. Но если не вовремя о себе задумался, то это все равно, что змея в сердце укусила, и сама дорога, эта радостная, по широким зеленым полям и цветущим лугам свитком совьется вокруг тебя, закрывая и людей и природу.

И все говорят: само-любие, а хорошо это или плохо, никто не знает. Скажут: у него слишком большое самолюбие — нехорошо. И тоже говорят: у него нет никакого самолюбия — тоже нехорошо.

И год проходит, и два, и начинается третий, последний сибирский год, Алпатов в саду слышит про себя: «Он слишком самолюбив, какое дьявольское самолюбие!» А так и не может узнать, хорошо это или плохо?

Алпатов возвращается к себе и ошеломленный садится на свою кровать.

Школа народных вождей! а он-то — дурак, дурак! — потратил три года неустанного труда в одиночестве, чтобы сделаться первым учеником и получить золотую медаль в школе, которая служит только покрышкой настоящей школы. Он первый дурак в этой казенной школе — и вот почему, значит, его все чуждались: ведь он с самого начала хотел себя всем доказать.

И доказал, и доказал!

Вспоминаются слова Желтого капитана теперь так ясно, так понятно: если хочешь быть первым, то не надо думать об этом, а то непременно будешь вторым.

Что же делать?

Он вскакивает с кровати, ходит из угла в угол по комнате, прислоняет горящее лицо к стеклу, но оно теплое — весна, открывает окно и видит: на сиреневом кусту множество птичек прыгают, щебечут, поют. Что-то в них близкое, знакомое, родное, как будто его собственная самая скрытая [глубина души] оторвалась от него и живет теперь птичками. И вдруг такая огромная, ему кажется, мысль охватывает все его существо: эта мысль начинается с того, что все птицы, и все звери, и все это — из него, из человека…

Но что же тут огромного?

Он спрашивает себя и не может ответить, а знает, наверно знает, что в этом начало чего-то огромного и какая-то его страшная мощь.

Он опять ходит, ходит по комнате и вдруг вот момент — теперь все, все ясно, только откроется — скорее надо бумаги и записать. Подвертывается тетрадь, но этого мало, надо непременно большой лист бумаги, надо чертежный лист, как там внизу у дяди. Он спускается по лестнице вниз, находит там огромный лист и пишет в заголовке крупными буквами:

МИРОСОЗЕРЦАНИЕ

Подчеркивает раз, два, три. Расстилает лист на полу, с помощью огромной линейки с угла на угол проводит линии, определяет центр и в центре этого листа пишет огромными

буквами:

ЧЕЛОВЕК

От человека лучами во все стороны он проводит линию, и тут, если возле каждого луча подписать слово, то и будет все миросозерцание. Но как раз тут все путается в голове…

Через две недели Алпатов приходит к дяде признаться.

— Кем же ты хочешь сделаться? — спрашивает дядя Алпатова.

— Не знаю, я буду просто учителем.

— И достигать?

— Надо научиться вперед знать, чего достигать.

— Ага, ты это можешь, ну, с Богом!

Прощаются. Алпатов отправляется, сидит на «Иване Астахове», едет, не отрываясь глазами от одной девушки на пристани, он никогда не сказал с ней ни одного слова и только видел в пустой сучок, но зато она теперь с ним как подруга, она с ним.

Иван Астахов долго смотрит с вышки в трубу и, когда дымок белый скрывается в зелени степи, опускает подзорную. [Большой загадочный] лист у него перед глазами, в заголовке написано: «Миросозерцание», а посреди «Человек» и с лучами во все стороны. Астахов берет загадочный лист, уносит к себе вниз, расчищает у себя стол, расстилает чертеж человека и долго смотрит в него. Но как ни думает — не может догадаться, что значит странный чертеж. Встает, подходит к заветному шкафчику, выпивает рюмку коньяку и запирает, но, не дойдя до «Человека», возвращается, еще выпивает, еще возвращается. Ему что-то начинает мешать в голове, что-то вспоминает, идет к шкафу с книгами, роется там, находит там энциклопедию, заворачивает опять к шкафчику, берет к себе всю бутылку, ставит ее на чертеж человека и, выпивая время от времени, принимается читать большую статью: «Миросозерцание».

9 Октября. 1. Я застал, жена А. И. Свирского плачет над фельетоном Андрея Соболя в «Правде», где Соболь клянется, что он готов отдать жизнь за РСФСР.

— Я, — говорит Татьяна Алексеевна, — слез не могу удержать, когда кто-нибудь хочет страдать за Россию, очень уж я люблю ее, камушек, увижу, на мостовой положили, и плачу от радости.

2. На сельскохоз. выставке. Загадочные впечатления были в болотном отделе мелиорации, при входе известное стихотворение Гёте из «Фауста»{46}, в котором прославляется дело осушения болот, дальше следует демонстрация губительных свойств болот, затем способы осушения и, наконец, результат осушения: здоровая, покрытая злаками равнина. И вот я заметил наверху над всем этим строку из стихотворения Блока, которой прославляется мощь болот{47}.

За окном два хозяина, у каждого мальчик, направо полка с хлебом — хозяин, другой — хозяин 60-тилетний человек. Подвесной. И это факт. Квартира в 12 окон. Спали на нарах. Кухарка — матка для всех одна. Харчи — 5 к. в день на человека, еще дороже, значит матка [просит] 35 в неделю, если 40 — ругаются. Квартирный хозяин — одну комнату.

Ярославцы — в шестерках служат (6 р. в трактирном кабаке), проходимцы (перепроизводство). С девяти годов не знают, как ссунуть с хлеба.

— Еще у вас кого нет ли (10 набирает, зайцами).

По 10 рубл. (по квартирам) лет на 5 и 20 целковых учен, после внучки. Так он их спуливал в одну квартиру десять. Заказы на мальчиков и девушек.

— Ты вот его ко мне ставишь, может, у него родные тут есть — уйдет. Не беспокойтесь. В большую зависть: койка, булка. Самоубийства — 4: в решетку [раз] один бросился, 1 — в окно, 1 — удавился. Делать идиотом. Золотушные — шея пухнет, нарывы. Носил тяжесть на голове, сапоги с колодками.

Засыпали в мусоре, в отхожих местах, срывают дверь — очухивайся… девушки, какие детей засыпали на «липочках» (кадушках) — в затылок.

Там 3-й раз хвощут, а тебя еще ни разу.

Мальчик 10–11 лет скучает: «Ты о матери скучаешь!» И такой считает, что хвастался заслугой, и в жизни вымещает. Девочки — прислуги.

Праздник: суббота на воскресенье без спанья — к воскресенью к 1 часу кончали, мальчишки чистят смазные сапоги, 2 к. на гулянье, кланяются в ноги: «Спасибо, дяденька», в рынок несут отделанную обувь и там 2–3 часа дожидаются, являются вечером, ужин, единственный отдых, что ложатся в 8 часов, а не в 1 час (вставать в 5 утра, как трактиры откроют).

Обед в три шеренги, сзади стоят: стук! перекрестился — брать со всем (с мясом) — трескотня: даром невод завел, ничего не попало. «Теперь в жар хватило и стыдно за такое».

15 Августа. — Засидки все 60 человек. — 50 к. с человека и угощенье — селедка, яблоки, ягоды, пиво, красное, водка. Стол готов, хозяин наливает себе вина — уговариваются, доколе нам

сидеть. До 12-ти (ужин, договор: а в праздник в 9) договор сделан, хозяин говорит: «Ну, вы продаете свои глаза!», и стакана остаток на голову. И вот тут всем. Все пьяны, всю жизнь рассказ девы, что любит в этой квартире. Насмерть упивались. Всякие во всем доме: фуражечники, слесаря — во дворе что! Пляска, плач, драки, кого в больницу тащат, кого отливают. Утро: облевано, всех рвало ягодами, зеленью.

Второй день на Волково Поле хороводы водить, засидки догуливают.

С 1905 года засидки 1 р., уходи, куда хочешь, кончено, стали разбиваться в разные стороны.

Понедельно работали до 1905 года, а потом с 1905 спарно (стало свободней).

Раньше 17–18 не мог быть мастером, не хватало физических сил, например, сделать затяжку, сколотить каблук; до этого — мальчик 3-е лицо, 1-й подмастерье, подручный.

Мастер, подмастерье (подручный) и мальчик: если трое, то должны сделать 35 пар (шпилемных), а шитых до 70 пар в неделю, если два мастера с подмастерьем — пар 25–50, если сам…

Хозяин-мастер

Затянуть, чтобы правильные шевки были, фасон подошвы, фасон каблука.

Подручный (подмастерье)

Дополняет затяжки, доканчивает работу. Допуск, иногда [примерит] на себя.

И мальчик

Под властью у подрушника: стельку вшивать, подбивать гвоздями (скоро подбивает, красиво), а ножом резать не дают.

Главное нож: обрезы, урезы, может лицо срезать, хирург, равновесие в руке. Рука чувствует от громадной привычки.

Анекдоты. Кудесники: про жадных попов.

Запоют, а девушки плачут.

Не по морюшку… и лебедушка плывет,
Выше бережка головушку несет,
Не ко мне ли родна матушка идет.
Ты поди, поди, государыня моя,
Навести ты при большом горе меня.
Как я маюсь, в чужих людях живу,
Я чужому отцу-матери служу,

Не по плису, не по бархату хожу,
Но хожу, хожу по лютому ножу.

Апраксин пер., д. № 5, Карташов.

На Фонтанке — все тут.

Хозяин мой отличался жизнью от подмастерья. Жил закройщик, девушки-заготовщицы могли лишний раз, чай, сходить в трактир…

А что хозяин, от которого он ушел:

— Скинь, — а что — от тебя мастер ушел, он дешево [продавал]. Мастер подрывает хозяина. Сбивают до того, что заказывают. А в это время Мартынов, Столяров, Соболев, Пивоварщиков. (Кладовая, оптовые продавцы.)

Несмотря на все это, люди жили верой в Бога. Если удастся, икону. Бог даст поступить на местечко. Богу молиться к обедне.

Два-три передела (счастливая продажа), выполнено обещание: «икону правил». Другие завидуют, что это у одного 12 икон, каждый радостный случай — икона. 11 детей.

Женится — работает, отец к Мартынову, значит, хорошо, что от него жену — жена не по любви.

Страшная нужда, потому что его эксплуатировали, простаивал целые вечера, чтобы получить 3 р. в магазине. Труд перерастал потребность. Катастрофа: пальто в ломбард, менингит, не на что хоронить (1 р. 30 к. рубаха со штанами: называется «тулуп нажил», [выпить] (без закуски), рубашку продавать (в понедельник дежурил около кустарных домов). Вдовели (мало кто с одной женой, не вылеживались после родов) … До 20 лет — женятся, для мастериц-заготовщиц. [Хорошо делают] только женщины, мальчик — девочка парами. Когда в положении жена, он должен начинать свое хозяйство. Поневоле (жена беременна) начинаю, работа у Иванова.

— Твой хозяин хороший, а ты что принес (жмут).

— Ну ладно, выручим почем… Может, дадите 85?.. Слава Богу, сейчас дорого, а завтра прибавят.

На художество (еще дешевое). «Прошил» (задолжал), жена родила: «бегать по воле», это что публику стал разувать не мастер, а торговец.

Гимназия — переселение душ.

Мне нравилась одна девушка, но она была должна 30 р. хозяину, и не пришлось. (Любви никакой — это новое.)

Доля (не с ноги лапоть — не скинешь) — она входит в дом — ее доля, теперь, мужчинам хорошо, женщины потеряли все.

Коренной закон (птица, грач в гнезде: у птиц учиться, семя не знает, не знает родоначалья, животные у своих детей…)

После молитвы подвисошники давать, кому сапогом.

Изба-читальня: молодежь и руководитель семейства.

Число икон — огромно, они не помещаются. Это этапы, отметки его мучений. Дочь-учительница (переселенье души). На каждую икону века его избавления личного, он в то же время всех других несчастней: сзади лики спасшего Агнца… безликий, темный…

…поведает ли о числе не увидевших спасения самоубийц, преступников, хулиганов: один восходит, но какие тысячи нисходят в омут низов. Но таких немного, кто «по своей — Божьей воле» вышел, кто по слепой силе пропал, этой силе неминучей, судьбе Кащеевой цепи.

15 Октября. Искусство как сила восстановления утраченного родства. Родства между чужими людьми.

Искусство приближает предмет, роднит все, и людей между собой одной земли и разных земель, и разные земли между собой, города, мелочи жизни становятся такими, будто их делало само время. Художники у земли: Кольцов. Ученые в городах: Ломоносов должен был показаться с Архангельска.

В наше время упрямые попытки превратить искусство в публицистику («художественная публицистика») исходят из той же потребности создать родство между широкими массами.

Сестры: Публицистика, Информация, Агитация, Пропаганда.

16 Октября.

— Как товар?

— Стоит!

— Почему так?

— В это время товар постоянно останавливается.

— А я думал, что о войне поговаривают.

— Поговаривают? ну, скажите, пожалуйста, всем, наверно, известно, из-за чего же и с кем.

— Просто: немцы хотят сделать такую же революцию, как мы в Октябре, так вот нам придется помогать.

— Почему же их прочие державы не вступаются?

— Потому что в прочих везде у власти буржуазия.

— Так, так… стало быть, эта вещица только у нас.

— Только у нас.

— Мы, стало быть, умнее всех и впереди.

— Выходит, так.

— Но почему же, объясни мне, у нас нет ситцу?

— Потому что произошло сокращение хлопка.

— Сокращение? Почему же раньше-то не сокращалось? Нет, кто лучше ворует…

И рассказали мне, что в их Губсоюзе как-то Иван Корик украл мануфактуру.

Конечно, мне сладко писать о себе как художнике слова, но и очень стыдно, потому что я пишу о себе первый раз в жизни. Я всегда отвергал все подобные предложения и с ужасом думал, что когда-нибудь придется мне живым присутствовать на своих похоронах (юбилее). Но теперь я решаюсь написать немного — потому что надо пользоваться — время скорое, и боюсь, что не успею высказаться в художественном произведении. Казалось, что напишу я настоящую свою книгу в будущем, а пока что еще только…

Дорогие мои Серафима Павловна и Алексей Михайлович, благодарю Вас обоих за дары Ваши, знаки верности, любви, которых я едва ли заслуживаю. Принимаю за дары не только чулки, карандаши, книгу, но, главное, расспросы о мне знакомых и неустанное поминание в печати. Наконец, даже Воронский (официальные отношения) говорит: «Когда же вы соберетесь написать Ремизову».

Я не писал, потому что те, кого я любил в старой Руси, живут постоянно со мной, и писать им незачем, вот двоюродная сестра Дуничка, близкий, родной человек, постоянно о ней думаю, а не интересуюсь даже узнать, жива ли она. Все так изменилось, что в новых условиях никакое родство не завязывается.

30 Октября. Судьба имен.

2 Ноября. Когда были убиты Шингарев и Кокошкин[{48}], я подумал, что Кокошкин — это богатый кадет, который ездил иногда на заседания Религиозно-философского общества[{49}] и держался англичанином. Представляя себе так Кокошкина, я читал газеты с похвалами его личности и таким отправил я его в могилу. Но как-то в одном разговоре была названа фамилия кадета, посещавшего религиозно-философские собрания, и это был не Кокошкин, я понял, что убитого Кокошкина я никогда не видал. Спустя некоторое время я опять забыл имя кадета и мучительно вспоминал его и не мог вспомнить. Потом десятки раз я возвращался в разное время к воспоминанию и не мог вернуть утраченное памятью имя. Наконец за границей

совершается покушение на Милюкова, пуля попадает в этого кадета и убивает его. Казалось, что теперь уже имя навсегда останется в памяти. Но проходит некоторое время, и я опять, когда слышу — Кокошкин, думаю о том бритом английском лице и не могу вспомнить имя. Сегодня, когда Соболев встанет, спрошу его, кто был убит вместо Милюкова, и оставляю строку, чтобы вписать это имя, совершенно измучившее меня своим исчезновением:

Набоков.

Страница налево будет оставлена для анализа по Фрейду[50].

Как бык у загороженного стога.

Николай Николаевич Тютюшкин

Я пробовал с ним беседовать на разные темы, но это оказалось невозможно, довольно было намека, реплики, чтобы он схватывался и, как бы страшась, что вы скажете, быстро улетал, впрочем, превосходно рассуждая. Было похоже у нас на известный анекдот о Шаляпине (англичанин сказал: «Я его не понимаю, но он меня понимает»). Так и Ал. Ал. наверно, думал, что я его понимаю. Это был особый фасон выражаться научно… Дела его таяли, как мыло… Под конец, уже не стесняясь, звали его все Аэроплан.

Во время революции он очутился в Москве, я его видел на Тверском бульваре, чистенький старичок… Месть России и тайное знание: разделять… Три бульвара, и я в недоумении: кому же он мстит и чем? Рабфак… Я — спец… Это была жертва: он бросал куски своей родины: «На-те жрите, на-те жрите». В таком состоянии доходят до исступления и можно вспороть себе самому живот — этот из таких. Маркиз нежный в белых башмачках: весь цветисто-белый, синий жилет, галстук…

После страшного голодного года, когда мы очнулись, как с того света, начали показываться прежние люди. Так приехал из моего родного города Павел Николаевич, деятель по народному образованию, человек закаленный и замечательный оптимист; он был такой превосходный спец, что все дела лежали на нем, на ответственных должностях человек, годам к сорока, точь-в-точь такой же, как отец, и тоже совсем лысый, даже без пучка наверху, и редька его была вниз[51]. И звали его даже точно так же, как и отца, Алекс. Ал. Петров, и все говорили, что он тоже умный, точь-в-точь как отец, и притом еще образованный.

Мне выпало на долю быть свидетелем в родном городе, как в революцию эти наивные граждане вдруг шарахнулись от образованного, забывая все свои лучшие предания.

Но тогда в образовании лучше других видел свое прекрасное будущее Алекс. Алекс., был и купец (кровь родная), занимался с отцом делами и был образованный. Только уже после смерти отца, и то мало-помалу, начали разнюхивать, какой ум и какое образование были у Алек. Ал. — сына. «Умный человек». — «Ну да, умный». — «И образованный человек». — «Ну да, образованный, только это не купец». — «Ну-те?» — «Это Аэроплан». — «Ну-те?» — «Понимаю: что все вверх поднимает». — «Совершенно верно, только есть разница: аэроплан поднимается и садится на землю, а этот улетает и не спускается».

Показалась странность: в его парке всегда работало человек двадцать баб, стерегущих [посадки]. Сам и зимой и летом непременно ходил в белом и, когда едет на извозчике, подстилал платочек. Дела пошли переменчиво: промелся. Я посетил его [личную] библиотеку, и мне было, как Татьяне в усадьбе Онегина: книги были…

Теперь, наверно, не все понимают, что значит звание почетного гражданина города, и смешивают с просто почетным гражданином. Нет, почетный гражданин такого-то города было высокое звание и давалось за очень большие личные заслуги. Так вот, наш Александр Александрович Петров выстроил собор, богадельню, насадил городской парк, бульвары и двадцать пять лет был бессменным городским головой и до самого последнего вздоха бесспорно считался самым умным в городе человеком. Его завещание, где было все предусмотрено, считалось в [городе] тем же полетом, [все о нем знали] и у многих в копиях хранилось. У него в доме тоже было.

Я мальчиком был у него со своей матерью и видел всего только раз в жизни глубокого старца, он был тогда бритый и лысый, только на верху его очень высокого лба торчала седая бородка, то, что у Гоголя называется «редькой вверх». И сын у него тогда уже был.

…ему не давали. И он думал так: когда он сделается заведующим отделом народного [образования] (вернее, такие, как он), то все и будет хорошо. Но год проходит за годом, П. Н. не сживался с советской властью, был [послушный] гражданин РСФСР, а снаружи все отрицал. Он явился ко мне по делам своего рабфака; из гимназии стал рабфак, а заведующим все-таки был не

он. Я воскрылил… Какие рабочие хорошие и что жены рабочих: через пять-шесть лет 30 тысяч *<2 нрзб.>*. Наконец спросил и про Ник. Ник.

— Ой-ой! — развел он руками.

— Умер? — спросил я.

— Ой! — схватился он руками за живот с хохотом.

— Что такое?

После приступа смеха Пав. Ник. стал серьезный и грустный.

— Значит, умер, — сказал я.

— Я тоже думал — похоронили его, и вдруг, представьте себе, является точь-в-точь такой же, пестрый в цветном, шаркает ножкой и предлагает прочесть вечером курс лекций по землеустройству и землепользованию на рабфаке. Здравствуйте, думаю, вот это посидел!

— Зачем это вам?

— Хочу порадеть для просвещения.

Чувствую, что-то не то, но делать нечего, отказать тоже неудобно. Соглашаюсь, назначаю день. Приходит тот день, я и забыл, жена напомнила: «А ты бы пошел посидел, не натворил бы чего старый». Правда, думаю, надо пойти. Я вхожу и он, в руках большой сверток книг.

— Что ты? — спрашиваю.

— История, — отвечает.

Я подумал: какая же это история, если Соловьев — мало, Ключевский — много, сверток у него фунтов на десять. Так мы поднялись по лестнице, и я все думал: какая же это может быть история и зачем ему она, лекция про землепользование.

— А зачем же вам история?

— Необходимое историческое вступление.

Что-то у меня защемило, не перед добром. Проходим в учительскую, развертывает он свою историю… Ой-ой-ой… Бестужев-Рюмин! Подумать только, в наше время марксизма, и вдруг Бестужев-Рюмин! Да ведь его наш любой рабфаковец уже из толкований легенды о варягах сразу поймает, и ребята наши бойкие. Беда, думаю, беда!

— У нас историю, — говорю, — знают отлично, может быть, обойдетесь и без вступления.

— Невозможно!

— Ну, покороче.

— Покороче можно: лекции в три я думаю закончить вступление.

Лекции в три! Что делать?

Ничего не могу придумать, а время подходит, аудитория собралась, ждут. Иду и сажусь в самую гущу, в случае чего как-

нибудь ребят остановлю, меня все-таки слушаются.

Выходит, кланяется на три стороны, как в театре. Развертывает Бестужева-Рюмина, — понимаю, что все для фасона, — как настоящий профессор, с источниками. Задумался, завел глаза по-архиерейски и вдруг пустил фонтан.

У нас спартанство — мало говорят, сжато, небывалое, никто ничего не понимает, переглядываются. Будь это настоящие студенты — сразу бы разобрались, в чем дело, а тут верят, слушают терпеливо весь час, а он-то летает.

Только в перерыве сообразили ученики, все подготов. сказать о начале Руси — кто не относится к ним теперь, как к сказкам. Смеются, [шутят, обсуждают]. Я подхожу, говорю, что хорошо бы прямо о землепользовании. Лекции на три! Начался второй час. Теперь уже весело, все смеются.

Конец, конец — вот самое главное, думаю, как бы не вышло под конец скандала. Главная беда в том, что сам же он знает, что он дает что-то сверх всех своих возможностей революционное, самое красное. И вот конец, самое великое достижение его морали: он довел Россию на растерзание врагам, он не хотел ее, он отрезал ее, и [под самый конец] нет — Россия не погибнет! Была в голосе его при этой последней заключительной фразе искренняя дрожь, высокие ноты — быть может, единственное достижение всей его жизни. И молодежь это поняла: гром аплодисментов раздался вслед за его заключительной фразой. Ему это было неожиданностью… Он пораженный смотрел куда-то в пространство…

5 Ноября. Выезжаю в Талдом, пробыв в Москве ровно 3 недели.

7 Ноября. Он хотел сказать «переворот» (характеризуя наши дни), но, сказав «пере…», заметил возле военного человека и поправился: «пере-жимка», «пережимка».

— Какие же признаки пережимки? — спросил я.

— А видимые: уже опять начинаем пить вместо чая жареную морковку и свеклу, скоро будет и все прочее.

(«Так эта вещица только у нас?»)

Я сказал ему, что народом в революцию усвоено чувство свободы, сравните время из вашего ремесленного быта, когда секли мальчиков, и теперь…

— Это не революция сделала, это время, все равно, сравните цветущее время Римское, и там были рабы, а у нас не цветущее, а рабов нет. Это время делает.

На пути нашем был рабочий поселок большой ткацкой

фабрики, рабочий, местный человек, рассказывал, как тут бедно живут рабочие, какое у них воровство, какие скверные нравы, как они теперь жен бросают: месяц пожил и другую…

— Что же нужно? — спросил я.

— Новый быт.

— Все от бедности: нищие никакого нового быта не выдумают.

— Совершенно верно: от бедности.

Вчера был ясный день. Я нашел замерзшую восьмигранную звезду старого колючего чертополоха и прицепил ее к петлице. Радостно я думал, что приехал к своим, из неудачи — бунтом, скандалом, угрозой и т. д., другие — смирением и любовью: отсюда и вся история христианской любви и войн.

Социалист и «раб Божий» — две противоположности. Есть, с моей точки зрения, один законный момент внешнего выражения силы: вспомнив, что цепь моя давно уже оржавела, тряхнуть ею, чтобы звенья рассыпались. Вот почему, вероятно, я люблю мечту о «мировой катастрофе» и ненавижу воспитание классовой вражды.

К детским рассказам

Девочка (деревенская) молилась месяцу, чтобы спас от бедности. Утром летели красненькие птички. «Это к богатству», — сказала бабушка. Девочка думала: этих красненьких птичек месяц послал.

История с 15-ю золотыми, зарытыми под елями, и как на том месте кто-то насрал. (Неприличие чувства самосохранения и во что превращается собственность.)

Потималка (тряпка самая грязная и на все).

Федор Онуфриевич Потапенко, Кимры.

Я очень рад, вот на кого теперь мне можно опереться среди чужих, враждебных людей. Я произношу речь за столом, в которой говорю, что Александр Сергеевич Пушкин выше нас всех. А кто-то рядом ехидно замечает: «Вы так думаете? Не все это признают». И вдруг я в ужасе сознаю, что это не настоящий Пушкин, что если бы это он был, то сколько же лет-то ему должно быть? Я провалился, я невежа, не знаю, когда родился настоящий Пушкин.

Дом этот выходит в сад, всюду фонарики, масса светящегося

ландрину, суета, входят, уходят.

Дорогой Алексей Михайлович, через Лежнева получил Ваши сказки, благодарю Вас. С оказией посылал Вам письмо, не знаю, дошло ли, если не дошло, то еще благодарю Вас за чулки и за карандаши Серафиму Павловну. Недавно Воронский даже (далекие, официальные и недоверчивые отношения) спрашивает: «Почему Вы не напишете Ремизову?» Почему, правда, я не пишу? Есть еще большой грех на мне: Дуничка, двоюродная сестра единственная, святая моя старушка, живет на моей родине (в Елецком уезде), и не только не пишу ей, а и не справлюсь все в Москве, жива ли она. Нет, это не грех, это чувство разлуки не дает права на жизненные отношения.

Прошлый год, в это время, я выбрался из глуши в Москву, прочитал, что Вы пишете («Крюк» и др.)[{52}], обрадовался, взобрался сам на волну и начал сочинять свои писания. Если бы это волна была правильная, то непременно мы бы с Вами встретились, и я Вас все поджидал. Но это оказалась волна неправильная, сам шеф нашего литературного движения объявил, что литература отходит опять на задний план. Все мои большие замыслы разбиты, и опять из-за куска хлеба бьюсь, как рыба об лед. Опять не до писем без дела.

Это же письмо мне сверчок напел. Вот поет! Раз было, растрескалась печка, задымила, Ефросинья Павловна (20 лет супружества) замазала трещинки глиной. А я и не знал про это, только вечером не слышу сверчка. «Да ведь это, — говорит Павловна, — я его замазала!» Скорей, конечно, освобождать, там прокопала, там… и опять запел.

Это происходит в деревне Костино, в одной версте от нового города, Ленинск (переделан из села Талдом, 4 часа езды от Москвы по Савеловской ж. д., около Волги, в болотах). В Москве у меня есть маленькая комната: две недели там живу, две при семье в деревне, дети (Лева — 17 лет, Петя — 14) учатся в Ленинске. Было две коровы, Алексей Мих., Бурка и Дочка, пять собак, два сеттера, ирландец Ярик, гордон Верный, гончая Динка и ее дети Кибай и Шибай — все прошлый год накупил: теперь самую хорошую корову, Бурку, продали, осталась маленькая Дочка, Кибая продал на Трубе, Верного украли. Все пошло опять под гору.

Горюю с Левой, как-то ни туда, ни сюда малый, способен бы идти по новой линии, да меня любит, не решается, нынче поступил все-таки кандидатом в комсомол, играет там на мандолине, а учится так себе, плохо. Плохо этим ребятам гуманных родителей, закала нет. Вот у Разумника…

Ну, сверчок замолк почему-то, и не знаю, что же еще Вам написать. Показался в Москве «рабоче-крестьянский граф»[{53}], не устроился, не повезло ему и свалился в провинцию, в Питер: там где-то работает в кинематографе. Он ко мне не зашел, я к нему побоялся и думаю: «Ну, зачем он в Россию приехал?» Комедия: хотел в Россию, попал в кино. У Микитова лучше вышло и по всем правилам: женился и в деревню. Спрашиваю на днях: «Ну как, лучше здесь?» — «Да, — говорит, — душа теперь спокойнее». Только меня он чем-то раздражает: ленивый, большой, рассеянный, лысина, беспорядочный, ни к какому труду не способен, наивный, хитрый, сходится с кем попало. Но все-таки он ближе всех, пошли Бог ему таланта и труда. Я ему простить не могу за измену Вам, он мне все поведал, а я ему все не могу сказать, жалею. Знаете, всякому рабству есть предел естественный: раб вырастает и одолевает господина, а то, бывает, раб просто сбежит. Я люблю, когда раб вырастает…

Сверчок опять запел. Серафима Павловна спрашивает: «Ну, Мих. Мих., скажите…

12 Ноября. Если бы одни дети жили, жестокие мальчишки и бесстыдные девчонки, то вот бы как неинтересно стало на земле! А милое в детях бывает, только если мы подразумеваем и старших. Это старшие говорят: «милые дети», они же сами по себе вовсе даже не милые.

Быт — значит…

Начало быта возвещено на бумажке, вывешенной в Волисполкоме: Рождение — 1 р. золотом, Смерть — 1 р. золотом, Брак — 1 р. золотом. Метрика — 50 к. золотом. Паспорт — 50 к. золотом. (Не совзнаками, а золотом, значит, **прочно**). Но это еще не быт, пока на бумаге: как это бывает?

Быт — значит более или менее прочно закрепленная форма отношений (к природе) поколениями между собой полов и общественными группами и государствами.

Кооперация

Психология скупщика и кооператора (личный интерес ближе, подвижнее, банк и бухгалтерия в кармане, талантливость-просвещение, я в обществе: просвещение). Красный союз (раз-раз!). Желтый союз и Розовый (ставни-столы).

Товар дает излишек (жопу покрыть); а он из хорошего сделает

и на рынок, а из остатка в кооператив: на рынке дешевый хороший товар; несознательность, поступил в кооператив: записался и спрашивает: «А когда выдавать [товар]?

13 Ноября. (У меня комната на Тверск. б. у. [в углу] (сверчок). Вот уже лет 25 я ношу в себе одно чувство, которое, все нарастая, никак не может закончиться мыслью, убеждением и действием: мне хочется найти в деревне, в глуши у простых людей оправдание их отсталого бытия. В городе я бываю в центре умственных течений, искусства, литературы, вижу счастливых спортсменов, любовников, всякого рода стяжателей героических замыслов и действий.

Что же остается деревенскому человеку, неужели жизнь этих многих миллионов людей, обывателей ценна лишь тем, что они производят будущего городского деятеля и существуют, как навоз (наш социализм так на это и полагался и с этим шел; там что-то есть), а большевики считали «сознательность» фабричного, а так нет ничего: отечество брошено.

Дочка Логгина Яковлевича: «Богородица с грошиками» (из 12 детей осталась дочка): иконы и дочка от старой жизни; письмоводитель Волисполкома Сережа (франц. язык); новая пара (запер в сундук); мышьяк и листик с ГПУ, пакет мышьяку (на всякий случай): в театр не взяли, из канавы не поднял, наблевал. Результат: «Распишитесь!» — «Отдай пару — распишусь». Вывод: борьба с комсомолом (вера окрепла).

Кошмары милиции: девки-бляди, над их головами плакат Наркомздрава — мать с младенцем в руках в духе мадонны (только подол бабий) и дети с цветами, милиционер — проводник закона, начальник канцелярии, утерявший протокол, плакаты: «Остановись и подумай: ты не купил облигации».

Мальчик, перерезавший четыре ряда проволочных заграждений, едва ли будет хорошим организатором кустарно-производственной артели.

Отрыжки: гарнизация. Специалист по гарнизации.

14 Ноября. Роман Синклера «Джимми Хиггинс»{54}, американская легенда о большевиках. У нас такой легенды не могло создаться, потому что мы за кулисами. С первого момента революции народ выступал как грабитель и разрушитель, и у лучших было только то, что вот завтра и в Германии будет так же. У лучших было, как у нас в юности, чувство мировой катастрофы (Наседкин, один из главных участников Октябрьского переворота

в Москве, говорил, что им это именно руководило: завтра будет так же в Германии), сегодня война, завтра мир.

У них, в Америке, Джимми представлен как распинаемый Христос, у нас Джимми явился как распинатель (кто же был Христос? например, Илья Николаевич, всякий, желавший России добра, любящий свою землю: если я прав, то мне должно явиться лицо распятого Бога).

Исходный пункт для исследования кооперации:

1) Существо скупщика матер., индивидуалиста (кулака), его сила (талант).

2) Коопер.: «Устроили елку, детишки веселы: это мы дали, а те не дали».

Пережимка, потималка (отымалка, подымалка).

Стадо коров пасется только видимо вместе, и то больше тут воля пастуха, каждое животное имеет свой интерес, и ему нет никакого дела до другого. Но пусть покажется вдали даже не волк, а собака, которую коровы всегда принимают за волка, все коровы соединяются в одно существо и движутся на собаку. Вот почему и у людей для того, чтобы они соединились, нужен враг. Союз коров предполагает явление волка, союз верующих (церковь) — дьявола, союз (кооперация) индивидуальных мелких хозяев предполагает кулака, союз пролетариев — капиталиста.

Птицы, увидев ястреба, взлетают, коровы идут на волка, укушенный клопом спящий пробуждается и начинает чистить комнату, гражданин, затронутый за живое, берет винтовку и начинает революцию — явление врага есть причина всякого движения и передумки у животных и у людей.

И вот почему, обратив свое сочувственное внимание на кооперацию, я ищу глазами врага ее, кулака: существует ли то, из-за чего мы должны соединяться?

Выбираю базарный день и выхожу на рынок, окруженный большими зданиями, на которых написано — там: Райотделение, Могубсоюз, Кооператив — видимо, никогда так не бывает, некогда живой кооперации. Захожу купить подметки: один отказ, пусто — и едешь на рынок — к купцам, враг оказался другом. Ремесленник с парой башмаков, почему же не в кооператив? другой, третий, весь рынок занимается свободно — пасутся и продают.

Я вынул из кармана коробку спичек и хотел чиркнуть.

— Стой! — схватил меня за руку сосед по месту в вагоне.

— Что? — удивился я.

— Акциз! — ответил он. И, выхватив свою зажигалку, поднес огонь к моей папиросе.

— Этот огонь без акциза, — самодовольно сказал он, — зачем платить акциз, когда можно и так обойтись?

Удивительно мне показалось, почему он не сказал просто «зачем расходоваться», а именно указал на акциз и мой маленький поступок обойтись без спички направил против государства. Я заинтересовался спутником, и он мне рассказал о себе, что занимается в деревне потихоньку скупкой у ремесленников ботиков и продажей их.

— Зачем же потихоньку? — спросил я.

— А вот чтобы не платить это…

— Акциз? — догадался я.

— Ну да, конечно, акциз: если меня захватят когда-нибудь, я пропал, разорился.

Так я встретился с человеком, враждебным государству, но он оказался враждебным и обществу, ненавидел кооперацию и уверял меня, что никогда она не может быть серьезной силой.

— Почему?

— Потому что, первое, — сказал он, — свой карман всегда ближе, я работаю только для своего кармана, а кооператор для чужого: мое дело успешнее; второе, если я работаю на одного господина или на двух, как я больше сделаю?

— Конечно, если на одного.

— Совершенно верно, я служу одному господину, своему карману, а кооператор двум: и своему карману, и кооперации; третье, я никому не обязан отчетом, сунул деньги, и мой банк — мой карман, а кооператор ведет книги; четвертое, если я свой карман сознаю, то я и чужой сознаю и к другому человеку я внимателен и любезен, а кооператор…

Он насчитал, кажется, до десяти, и я, не записав, не могу теперь припомнить. Аргумента этого кулака меня подавили, и я схватился за последнее.

— Против служения своему карману, — сказал я, — у нас есть теперь государственная сила…

— Ну да, конечно, — быстро и боязливо согласился он, — против этого я ничего не могу сказать и мало понимаю в этом, вот, слышу, восстание в Германии, и никак не могу понять, нам-то что?

— Как что — мы же должны помогать.

— Мы очень бедные, почему другие не могут помочь?

— Потому что у других государства буржуазные.

— У всех?

— У всех.

— Во всем свете?

— Во всем.

— Стало быть, эта вещица только у нас у одних?

— Какая вещица?

— Вот эта, как вы изволили сказать, государственная-то сила на помощь, кооперация…

— В такой мере только у нас.

— Неправильно, — подумав, сказал он решительно и проч.

Я опять захотел покурить и вынул коробку.

— Акциз, акциз! — воскликнул он и подставил зажигалку.

Простая вещь — дамский суконный ботик на кожаной подошве с простой заячьей опушкой, а вот посмотришь, как он делается и как его продают — целая большая история…

Позор, как смерть, пережит. Смерть будет всем; каждый утратит сознание, и тело его будет корчиться — позор, неизбежный для всех.

В висках стучит — угорел, что ли? Выхожу за околицу, пройтись при луне. Стучит нога по дороге, шаг в шаг за мной идет моя черная тень. В середине половинки месяца замечаю небольшой носик, и весь месяц, как маска покойного моего родственника, хорошего человека, не сумевшего найтись в жизни и сказать свое собственное слово.

Есть ли в нашем прошлом великие люди? Я их не видел, не знаю. Но я видел много хороших людей, которые умерли, не сумев сказать свое слово, и так не кончилось. Я их несу в себе, я должен сказать за них, и если я не скажу, то кто-нибудь скажет другой. Если они были, думаю я, значит, были и великие люди, иначе откуда же эти взялись. И если они не кончились, то непременно будут, явятся: в этом и есть наше будущее, голос нашего лучшего прошлого, сохраненный во мне самом на будущее. Наше дело воскресить их и так создать будущее.

15 Ноября. Тема для журнальной статьи: как создать у нас массового читателя?

Волки. В Ленинском уезде по Савеловской дороге, всего в четырех часах езды от Москвы, развелось столько волков, что население совсем терроризировано. Слух об этом, вероятно, дошел до Центрального Общества охоты, и там организовалась специальная охотничья команда для истребления волков.

Каждому любителю охоты на бекасов и других птиц здесь

случалось не раз, проходя деревнями, выслушивать мольбы убить волка, на каждого охотника здесь смотрят с уважением и надеждой.

Первой мерой команды было гарантировать себя от напрасных выездов, для этого в соответственном порядке было предложено из Центра Ленинскому исполкому озаботиться, чтобы на месте не тревожили волков неорганизованной охотой. Ленинский исполком, получив бумагу, немедленно разослал по всем сельским сходам, не объяснив, в чем дело, запрещение охоты на волков. И вот мужики, по всему уезду собравшись на сходы, узнавали необычайное, непонятное и жестокое, как только можно, постановление Центра: не бить волков.

Ходил все утро по разным учреждениям, везде дожидался, [приема в кабинет] и читал стенные плакаты от Наркомздрава о рациональном материнстве, особенно занял меня плакат с изображением здоровой матери в контурах Сикстинской мадонны, она с младенцем в руках шествовала как бы по облакам, за ней бежала толпа ребятишек с цветами, а внизу было подписано: «Дети — наше будущее».

Юрисконсульт, очень деликатный человек, долго не хотел выговорить название ужасного зла и наконец, наклонившись над моим ухом, сказал:

— Сифилис!

Тип странствующего жениха: обобрал и скрылся.

Надписи преследуют: «А ты не забыл застраховать?» Что я сделал: я забыл застраховать! И часто на ты: «А ты не забыл купить облигацию?» В потребилке: «А ты не забыл еще что купить?» Надписи преследуют всюду, чхнешь и смотришь на стену, нет ли где «Будь здоров!»

Магазин «Культура», где всё Карл Маркс и большие тома истории революций.

«Дурная болезнь». 66 барышень на кривых каблучках (ботики, ботики: «Вам, Мих. Мих., не продам»); покупают эту дрянь спекулянты и куда-то увозят (купцы виноваты); а вокруг все кооперативы, союзы, я запомнил три: Желтый союз, сложившийся из элементов прошлой кооперации, они скомпрометированы, денег им никто не дает, влачат жалкое существование, хотя кооператоры хорошие; Красный союз, пользующийся всюду кредитом, но кооператоры плохие, усвоили себе военную манеру 19-го года: раз-раз! и чтобы вышло, но не так легко и просто организовать артель; на помощь союз Розовый, это дельный союз и хотел воспользоваться авторитетом и представительством

Красного, но скоро сел, потому что Красный, раздав ненадежным кустарям товар, втянул, конечно, таким образом и Розовый. Словом, тут [полная неразбериха] и в результате везде надписи, я знаю три, но надписей гораздо больше: склад, товар, магазин, производственное, потребительское.

Верстах в 17 от нашей деревни в лесу была землянка, и в ней старик спасался, ничего там себе даже не варил, только молился, а пищу ему носили. Умирая, старик завещал поселиться тут одной старухе, чтобы она тоже, как он, молилась, а ей бы носили пищу. Старуха эта, «сестрица», только было устроилась — хлоп! революция, пришел большущий рыжий мужик, развалил землянку, дерево сжег и потом по палу долго топтал сапогами, осталось ровное место и над ним три опаленные сосны. Сестрица переселилась в деревню и живет до сих пор молитвой — в наше-то время! Ведь это в сказках да в писаниях только мило кажется: молятся — и за это пищу несут, а вот попробуйте! Мужик, человек реальный, он хлеба даром не понесет, помолилась, ну, и подай. (Лечит: посылает холст на Афон и оттуда ей присылают лекарства: «от королей какие-то капли остались».) Я посмотрел, понюхал и догадался: капли Датского короля{55}, (гадает: раскрывает Евангелие, без веры ничего не сделаешь.)

— Сестрица, вот я [посоветоваться] о муже, что будто, я замечаю, с другой живет.

— Перекреститесь! Блудный сын, ежели он блудит.

Первый раз открывается: живет ли блудный сын с кем — живет, второй раз — сурьёзно или временно, третий — вернется или не вернется.

— Господи, помоги ты рабу Ефрему, чтобы бросил он блудницу.

Евангелие на ребро; бабьим пальцем торкает; надевает очки и начинает читать:

— Господи, раб Иван… (читает, читает), нет, он над тобой посмеется, — богато живет?

— Богато.

— Он тобой еще не воспользовался, но на днях у тебя будет, не давайся, какие вы девки слабые, вот посмотри — 70 лет, а какие груди, а у вас, как тряпки. Ты его любишь, а он тебя не любит, у него есть другая.

— Да нет, у него нет.

— Э-хе, какие вы глупые… Богато живешь? Я знаю…

— Так нельзя ли [будет] помолиться?

— Можно, приди в воскресенье (берет десяток яиц, и на воскресенье с пустым не пойдешь).

Пришла Груша (спорна): послала отслужить молебен с водосвятием, этой воды в кушанье.

О пропащих (три месяца надо молиться — «на маслице»: из тюрьмы, из цепей освобождает).

Прокляла рыжего комиссара (за то, что ее растрепал): ноги отнялись. Прислал жену помолиться: посылает лекарство, прислал дров. Чудеса!

О пропавших — 5 ф. шерсти за то, что молилась; отец с сыном делились, чтобы отложить на неделю, на две суд (а за это время Прасковья рассовала вещи: два самовара спрятала, три овцы зарезала). Не то, что молиться, а пойдешь к жениху («ведь ты ее спортил!»).

Материнскую кровь пососет — руки не наложит (родила у нее и за 15 верст сама носила крестить: «на крещенье»). (Отвозит в Москву.)

Серьги и золотое кольцо обещала старухе нянька…

Пришла девка.

— Что ж ты такая? (Задушила, бросила в канаву.) Так нельзя, тебе счастья не будет. В могилу гробик.

И всем хорошо: няньке ребеночка (а сестрица и хоронит сама), и этой хорошо (теперь попу не бастовать же). Идет к тому парню («ты ее спортил»): семья против, а парень к ней бегает (она молится), парень сохнет (его и [уговаривает], и советует, и окуривает, и пугает: «Подам в суд» — взял).

Блудный сын связался с бабой-вдовой, и голова у нее клином, в кладовой спали: баба, конечно, задаром путаться не станет. Молилась, чтобы бросил бабу, — бросил, нашел себе хорошую девку и теперь уже второй раз с ней в театр пошел (мать-то рада!).

Мальчик (14 лет) ворует — мать к монашке и к гипнотизеру — кто возьмет?

Вор Иоанн

Вора искали. Дед сказал:

— Воткни палочку мою, и вору лучше будет, и смерть *<1 нрзб.>*, только не вынимай палочку.

А она уже узнала по книге, что вор — Иоанн (так открылось).

— Как тебя звать?

— Иван.

— Свези мешки в совет и, когда [будут] спрашивать, ничего не говори.

Так через совет и научила.

Шуба

На этот день ему уехать куда-то, а ей: бери ботинки на плечи, иди по деревням ботинки на хлеб менять; она идет в ту деревню, где ее вещи сплавлены.

— За ботинки два пуда.

— За два пуда я шубу выменял.

И приносит ее шубу.

Спасли ребенка. Крестник

В цветах вырос. Городовой был кумом. Где лошадей поят: ребенка под лед. Не оглянулась. В монастыре девка родила.

На паперти

Девка дала подержать ребенка и узелок, а сама пошла помочиться, в узелке: крестик, рубашка, некрещеный. Окрестили, а ей уже и заказ на детей, все знают.

Ключи открылись

У бабы. Сварила: лук с брусничником.

Королевские капли

Молодые через неделю разводиться захотели, потому что он не способен оказался быть мужем. Он пришел к ней на совет, и она дала ему выпить Афонского монастыря лекарство (ей прислали оттуда за холст): капли королевские, от королей теперь только и остались капли. Выпил молодой человек капли Датского

короля и через неделю приходит благодарить: новый овчинный тулуп принес, молодая не просит о разводе.

Записались — расписались. Записываются в Волисполкоме (надписи), расписываются в суде (надписи). Прошение о разводе (не способен), а муж к гадалке. Это мы зовем гадалка, а если ей скажешь — прогонит.

Из Москвы в деревню я всегда привожу деньги, пустой не являюсь пока, и как приеду, сейчас всякие долги, столько-то за починку сапогов, за подшив валенок и непременно «сестрице» — за муку, за крупу, за мед и за всякое такое. Эта сестрица, старуха высокая, [прямая] — Пифия нашего края. Бывают, впрочем, издалека, верст за сто и больше, приезжают к ней раскрыть Евангелие и погадать о судьбе.

А еще недалеко есть у нас деревня, там шубу украли. Тоже сестрица посоветовала взять новые башмаки и ходить из деревни в деревню, будто бы менять их. Много обошла женщина, приходит, наконец, в избу.

— Сколько тебе?

— Два пуда.

— Ты с ума сошла, за два пуда я намедни во какую шубу сменял.

— Какую?

— Да вот!

И вынес ей ее шубу. Чудеса!

Крестики… Гробик…

Отношения между городом и землей в сознании прежнего городского бюрократа были такие: городской думает, что земля работает на него, что деревенский человек — навоз, удобряющий всходы городских индивидуальностей: теми или другими словами выраженная, а больше молчаливо-праздно-веселая и не произносимая всегда эта мысль — дитя времени.

На самом деле человек земли силен тем, что он бессознательно делает общее дело — переход к городу силой мещанского индивидуализма (крестьянин, землероб жесток, но… бессознательно общее). Вот кооперация и есть сознание этого, подтвержденное городскою культурой — общее дело земли (елочку устроят: спекулянт этого не сделает). В этом и есть смычка.

17 Ноября. Пифия. Известно, что когда христианство низвергло официальных богов с Перуном во главе, то домашние

боги — разные домовые, банники — нисколько не пострадали и продолжали жить до наших дней. И до наших дней сохранились жрецы этой языческой религии — колдуны.

Спросите на сельском сходе о колдунах, домашних богах и пр. — засмеются: на сто человек один, может быть, вязнет в этой религии и знается с колдунами. Но ведь и с судом, например, знается очень малочисленно, суда боятся на Руси, избегают; между тем нельзя же сказать, чтобы суд не играл никакой роли в народной жизни.

Так, я думаю, и о колдунах у нас мнение поверхностное. У нас есть оракулы, и в народной жизни они имеют почти такое же значение, как Пифия.

Рядовой человек — что он может сказать о своей вере? Она ему не нужна в повседневной жизни, и это он только по привычке становится утром и вечером лицом в красный угол. Религия его застигает врасплох, в худой час, тогда вдруг встают в душе его древние боги, и он идет к Пифии гадать о судьбе.

Случай: Пифия думала, что комиссар пришел ее арестовать, и трепетала у соседки, а когда решилась пойти к нему, оказалось, что он трепетал, ожидая ее, чтобы «открыть свою судьбу по Библии» (раскрыть Евангелие): у комиссара жену посадили в тюрьму за самогонку, он остался с ребенком, попробовал открыть чайную — не пошло (без хозяйки), и вот тут пришлось погадать.

В Милиции

Начальник канцелярии потерял мой протокол и нервно двигал ящиками своего стола, в которых показывалась то начатая восьмушка махорки, то укушенная баранка. Нервное состояние начальника стало передаваться мне, и, чтобы спастись от него, я отвел глаза и стал рассматривать разные плакаты над головами машинисток.

Большинство из этих плакатов начиналось фразой «Ты не забыл?», например, купить облигацию, внести подоходный налог, а так как я все забыл, то нервный начальник продолжал нервировать и меня; наконец над головой толстой машинистки, повязанной от флюса платком, я увидел на стене изображение женщины-матери с младенцем на руках, у нее было простое, грубое лицо, как у той машинистки, а подол платья был сделан, как у Сикстинской мадонны, и вообще, если прищурить глаза, то контур был совсем, как у Рафаэля. И так было неприятно смотреть, и не верилось, что за такою может бежать толпа детей с

цветами, а общий вывод, надпись была: «Дети — наше будущее». В очереди за мною говорили:

— С малыми — доля, а вырастут — хлебнешь горя вдвое…

Почему было неприятно, кто был оскорблен — Сикстинская мадонна грубой женщиной или грубая женщина Сикстинской мадонной?

Как ни прекрасна Мадонна, но она конченая, у нее святое дитя и больше не будет, а живая женщина должна еще много рожать, стирать, сушить белье, ругаться с мужем, с соседями, потом сохнуть, морщиться, болеть и умирать.

Но Рафаэль не мог и никто не может, сколько ни трудись, изобразить самое движение рода, те соки земли, рождающие новое, невидимое{56}. Никакой художник не дает самую жизнь, где таятся зародыши невидимых картин, в грубой смеси таятся небывалые манеры, верные, как кремень, чувства…

И все это около зачатия, около утробы — святость этого чувства художник передать мог не иначе, как приделав к обыкновенной матери подол Сикстинской мадонны…

— Нашел, нашел! — вскрикнул начальник канцелярии.

Он вручил мне бумагу и сказал следующее:

— Рождение — рубль золотом, Брак — рубль золотом, Смерть — рубль золотом.

Через месяц среди таких же картин я сижу у юрисконсульта: та же утица с матерью входят, стали сзади меня в очереди.

— Что вам? — спросил я.

— Расписаться.

— Я помню, записались.

— А теперь расписаться…

У меня раз пропала охотничья собака, бился я бился, искал, искал, нечего делать, все советуют идти к «сестрице» — пошел!

— Знаю, — говорит старуха, — зачем пришел.

Конечно, знаешь! Берет меня за указательный палец — тык в книгу!

— Открывай!

Открываю, написано: «От Иоанна».

— Раб Иоанн увел твою собаку.

— Иван?

— Раб Иван!

— Где же она теперь?

— В третьих руках, в глухом месте.

Посмеялся я, дал «на маслице», а через день-два без газет и милиции вся местность знает о пропаже собаки и все ищут. Через неделю «наклюнулось», дал я рабу Иоанну червонец, и он привел

мне собаку: действительно, была в глухом месте, и говорит, что в третьих руках.

Глава II. В нарсуде: брак — участие мое: сифилис, совещание-митинг, избранник. Женщина.

— Что тебе?

— Расписаться.

— Расторгнуть брак?

— Ну да, расторгнуть, расписаться.

— А давно записались?

— Месяц. Не успели записаться. Расписаться приходится, ничего не поделаешь: вот тут все объяснено… Юрист как прочитал: «Вы бы к доктору…» Были: не помог — к Маринушке. Юрист засмеялся и сказал мне: «Эта старуха [свое дело делает], в Волисполкоме записывают, у нас расписывают, а она опять клеит».

— Ну, что же сказала старуха?

— А нейдет: я гоню, он нейдет.

III-я глава. Кто эта Маринушка?

IV-я глава. Капли Датского короля.

Волисполком — записываются. Нарсуд — расписываются, но я не знаю, как назвать это учреждение, где вяжут узлами разорванные нити быта, в этом учреждении нет канцелярии, нет отчетов, нет писарей и машинисток, и все на памяти одной старухи, как ее назвать, знахарка? мало: знахарки только лечат, бабушка? — занимается акушерством; гадалка? какие тут гадалки: те на картах, а эта по книге Библии. Оракул? Жрец? Колдунья? Все соединяется в одном слове «сестрица». К ней за двадцать и больше верст ездили.

Статья о кооперативах: барышни на кривых каблучках. Производство негодной обуви. Никто, зная вас, не продаст. Мастер редко хороший откажется: скажет, что очень дорого будет стоить, потому что мне надо работу (легкую) из-за этого брать. Виноват купец. Есть такие, что в разные места возят обувь, в то же место и не являйся. Блеск, шик. Заказывают местные люди в Москве.

17 Ноября. Борьба прошлого и будущего называется настоящим, или собственною «жизнью», — тут состояние войны, называемое революцией, и мирное приспособление — быт. В эту

эпоху строительства (быта) прошлое заглядывает в будущее, а будущее оглядывается на прошлое.

Ноябрьская земля пахнет могилой, но чисты горизонты в утреннем заморозке и задорно лает где-то в лесах гончая. В слободе грязь — согласился бы пять верст болотом идти, чем промесить здесь одну улицу. На огороде палят свинью, отец говорит своему мальчику тихо: «Не балуйся, вон писатель идет!» — «Какой он писатель, — кричит мальчишка, — он коммунист!» — «Молчи ты, подлый!» — велит отец. А мальчишка во все горло: «Пи-са-тель!» В этом крике «писатель» та же злоба, что как если бы проходил «коммунист». Не проведешь меня, малый!

18 Ноября. Я рассказывал Ивану Матвеевичу Сосенкову про безбожие Елизара Наумыча, что все за это считают его за большевика, а он сам ненавидит коммунистов. «Презирает», — поправил Иван Матвеевич. «Ну да, конечно, — поправился я, — презирает».

Ненавидят теперь немцы французов — это верно. Ненависть была у большевиков к «буржуям», у евреев к царизму, но можно ли сказать, что русский народ ненавидит евреев, большевиков и т. д.? Нельзя почему-то, велик для этого русский народ.

Читатель. Безбожник

Вскоре после того, как я поселился в деревне, ко мне пришел познакомиться сосед мой Елизар Наумыч Баранов и попросил что-нибудь почитать.

— Что же почитать-то? — спросил я.

— Все читаю — только не давайте религиозного, я — безбожник.

— Неужели в Бога не верите?

— Не верю.

— Давно ли?

— Порядочно давно: как узнал, что электричество на небе, а не Илья Пророк и все прочее, так и перестал верить и даже борюсь: выписываю журнал «Безбожник». Вот, не угодно ли свежий номер? — И вынул из кармана журнал.

С тех пор так и повелось, он мои книги читает и мне свои носит: я познакомился с [«Безбожником»] исключительно через Елизара Наумыча.

— Кто там? — спрашиваю.

Дети говорят:

— Читатель пришел.

На днях я решил навестить соседа.

У Елизара Наумыча вся избушка радужная внутри от оклеенных стен картинками из «Безбожника». Среди этих картин, изображающих безбожие, висит икона с лампадой.

— Это для чего?

— Для коллекции.

— Едва ли… жена молится?

— Нет, не молится, а руками машет.

— Спорите?

— Нет, не спорим: она помашет до чаю, я книжку читаю, а потом вместе чай пить и после чая шьем башмаки до обеда, после обеда она помашет, я опять книжку читаю, после обеда опять за работу, поужинаем так же, и перед сном я читаю, она молится, а потом спать вместе. Мы никогда не спорим.

— Правда ли? — спрашиваю жену.

— Все правда, — отвечает она, — нам спорить-то нечего, он грамотный — читает, а я неграмотная.

— И молитесь!

— Да, немножко молюсь, — сконфузилась она. — Вот немного из-за попов обидно: весной дьякон деревню обходил, списывал, кто в Бога верует, Елизар ему сказал: «Мы неверующие». А меня не спрашивали, я неграмотная. Так и записали, дьякон и ушел, Осенью поп приходит к нам со списком. «Как твоя фамилия?» — спрашивает. «Баранов». — «Илья?» — «Елизар». — «Почему же тебя в списке нет? Кто твой сосед?» — «Тютюшкин». — «ВотТютюшкин есть, а тебя нет. А кто сосед с другой стороны?» — «Шулюшкин Семен». — «Вот и Семен тут, почему же тебя нету?» — «Не знаю, — говорит, — видите сами, я живу и сижу на своем месте». — «Удивительно, почему же тебя о. диакон пропустил, был он у тебя?» — «Отец диакон, это что весной обходил?» — «Ну да». — «Может быть, что я неверующий». — «Как неверующий? Что ты говоришь?» — «В Бога не верю». — «А!» — сказал, подхватил подрясник и бежать из дому. С тех пор нас обходит, а мне перед соседями неловко, за большевиков считают. Вот и все, а так ничего, что же делать-то: он грамотный — читает, а я неграмотная — молюсь.

Ноябрьское утро. Всю ночь дождь барабанил. Утро петухам не давалось: орут без перерыва, а нет света. Трудно светало, небо лежало туманом на земле. Черный петух вышел, подумал и вернулся назад. Принялись опять кричать. Все-таки рассвело, куры вышли и все вернулись, такое ужасное утро, что куры не

вышли. А я выхожу. Но бывает такое утро, что и куры не выйдут. Было такое утро, я вышел из дому (слышу крик — свинью режут, палят, пи-и-сатель!).

21 Ноября. Вчера Михайлов день кончился снегом, и всю ночь лежала прекрасная пороша. Болит нога, не могу ни в Москву ехать, ни на охоту идти.

У меня есть непобедимое чувство (почти физической) неприязни ко всякому духовному лицу, как оно показывается в быту в своем физическом виде, я не могу его скрыть и сам боюсь этого и злюсь на себя: вхожу к духовному лицу в каком-то негибком, деревянном виде. Это почти физическое чувство я испытываю и к себе самому во время переговоров с издателями, редакторами, когда выступаю продавцом своего литературного товара.

(То же самое испытывал я, входя в каморку «сестрицы», но, к счастью, старуха не дала мне времени озираться, вглядываться и, только я вошел, сказала: «Знаю, зачем пришел».)

24 Ноября. Мысль о строительстве личного быта (заняться около себя). Как противоречивы те мысли и настроения, прибегающие в отношении к нынешней власти в связи с 1) пребыванием в Москве или в деревне,

2) успехами или неудачами на литературном поприще.

Социалистическое строительство сводится к устройству кооперативов и профессиональных союзов — отсюда мост к безвластию.

Величина государственного насилия обратно пропорциональна величине гражданского без-раз-личия.

Русский народ есть физически-родовой комплекс: его так называемое «пассивное сопротивление» есть не духовная сознательная сила, а путь физического роста (так дерево повертывает свои ветви к свету, а паразит ползет всегда в тьму).

25 Ноября. То, что раньше русский революционер ненавидел и что покрывалось общим понятием «царь», теперь вышло из-под своей покрышки, и это ненавидит теперь и не-революционер, включая все в общее понятие — покрышку «большевика».

Сверчок. Когда совсем тихо, то слышно, как звенит кровь сверчком, и это очень раздражает и не дает покоя, но если

настоящий сверчок поет, то бывает полный покой, но звон крови — звон сверчка, одно забивает другое и, осидевшись, не слышишь сверчка, как часов, и тишина бывает полная, настоящая, вечная.

Не забыть из своего 1) сновидения, в которых **она** превращается в **он** (значит, я — в она?), 2) анализ чувства светлой точки: она является, когда все разрушено, и она (точка) вновь создает **завтра**: чтобы обрести эту точку, нужно разрушить все, что имеешь. Зарождение потребности сотворить кумир.

История, рассказанная арендатором Шалыгиным: (история крестьянина Шабрина и Коли). В Михайлов день 8 Ноября по старому кончится десятый год, как я сел на землю Марьи Ивановны. Вот бы, думаю себе, проморгали срок: тогда меня уже не сгонят, потому что десятилетие, закон за меня.

Снег — дядя Михей (обновка, у Бога много всего!).

Шпитонок (швейцар Дмитрий). Митяк-неродяка.

27 Ноября. При малейшей опасности моему сыну воображение сейчас же мне рисует картину ужаса — ужас! Природа, моя деятельность, все исчезает, как дым, и душа тянется к милосердному человеку.

Этот ужас — чувство страха смерти. И вот, если я болею, если я умираю, то природа (радость жизни) умирает, но я еще живу, я переживаю радость жизни; перевалив по ту сторону живота (радости жизни), я представляю себе, что не остаюсь еще в совершенной пустоте, как бы ни было мне физически больно, я могу еще пролить слезу радости о милосердном человеке, протянувшем мне в эту минуту свою милосердную руку: это остается, и если я это чувство из-ображу (дам ему образ), то это будет образ Христа, предсмертная моя жизнь и вместе с тем посмертная и вечная; с этим страдающие верующие люди уходят в могилу, и это сознание есть христианская кончина живота моего.

Но ведь **ужас** я должен принять в свою душу, чтобы обратиться к Христу, на пути к Христу мне пред-стоит этот ужас, и вот почему живот мой сопротивляется, забивается, отталкивает и отвращается и противопоставляет Христу — Солнце. Но вдруг… землетрясение (что же тут — Солнце или рука, протянутая ко мне с горсточкой риса? это рука после землетрясения. Христова рука — хотя бы и в виде американского пайка).

Снег, добрый дядя Михей, падал и падал между соснами, все царственно белеет, гурковали краснобровые черные птицы на

деревьях, а я, отвращаясь от всего этого, в ужасе кричал: «Христос, Христос!»

Но я кричал один в пустыне, другому я не мог Его назвать, потому что с этим словом в мир вошел обман, оно вызывает множество новых врагов с тем же именем Христа на устах. Мое страдание состоит в том, что я, чувствуя Бога, не могу, как дикарь, сделать образ его из чурочки и носить его всегда с собой и ночью класть с собой под подушку, что я должен быть бессловесно, без-образно. Можно делать Христово дело, но нельзя называть Его вслух, не может быть никакой «платформы», «позиции»… (сказать, например: «христианский социализм!» — какая гадость!).

Между тем этот Бог живет в составе моей родни и существо почти что кровное: дядя Христос, Он умер в позоре, и, быть может, моя задача и Его воскресить, как отца… как родных… я потому и не могу ссылаться на Него, что Он умер в позоре, что я должен Его жизнь своей воскресить (да, конечно, среди отцов моих есть и Христос (церковный).

Так что в слове Христос мне есть два бога: один впереди через ужас в предсмертный час, другой назади, родное милое существо (о нем говорила мать: «Христос был очень хороший»; один через наследство моих родных, другой — мое дело, моя собственная прибавка к этому, моя трагедия.

5–9 Декабря. Извозчик с газетой и сигарой: когда-то рисовалась так заграница, и я, попав в Берлин, сразу нашел желанное: сидел извозчик и читал газету. Теперь служитель в ресторане…

Воронский за конторкой без шапки, ни одного стула, я стою, он сидит, но в компенсацию я не снимаю шапку.

Я вышел на развилок: в одну сторону…
В лесу, я услыхал, один голос кричал:
— Максим Го-о-рький!
Другой:
— Демьян Бе-е-дный!

Я пошел на голос и вышел к основанию развилка болотного леса, в одну сторону шла просека с застывшей водой, как река, в другую моховое болото. На просеке шел охотник с ружьем в валенках по льду, время от времени лед трескался, охотник в валенках погружался в воду и кричал: «Максим Горький!» Другой шел в валенках по кочкам и, когда промахивался и попадал в воду между кочками, кричал: «Демьян Бедный!» Я расхохотался,

они оглянулись и оба увидели меня.

Жидовская история. Крысы.

Спор: Лева — земля не остынет, Петя — остынет. Управлять землей, как метеором. Спор: грызут гранит.

Лева и комсомол: за чувства слывет «бюрократом». — Шефство над Квашенками. Почему ненавистно изучение местного края. Когда охота не ладится, вспоминает, что вечером материалист, кружок и «Изо». «Девчонки».

Вы поместили себя в Европе не ради удовлетворения своего самолюбия и не от шкурного страха диктатуры: вы стояли за любимое (Алпатов это любимое анализирует (братья-кадеты в народном университете) и в конце концов остается, принимая свободу в рабстве: эмигрантская свобода — чистая свобода).

Зазимок медленно подтаивает, в полях все стало пегое, и небо такое низкое, такое серое, что даже озими и хвойные леса не выделяются, и так сыро, что везде, в низинах и на холмах, в полях, в лесах, в полесках и даже в бору, пахнет сырыми черными раками с икрой под шейкой. На белых снежных перебежках зайцы проваливаются до самой земли, и в следах их, как в кольцах, вода стоит. Дятел долбит, пищит синичка, стайка свиристелей.

19 Декабря. Никола Зимний. Мягкая порошка. Толстяк сказал: «В церковь я с 20-ти лет не хожу, я церковь еще до революции **произвел**».

Что-то обласкало душу — что это? Это дорога, покрытая льдом, напомнила детскую ледяную гору, как по ней когда-то катался на санках, валялся в снегу, царапал гвоздем лед, взбирался и опять летел вниз. Часто запах какой-нибудь возвращает в этот рай, но редко определишь момент восприятия по запаху.

20 Декабря. Видел себя во сне с Машей в северной Италии, она была очень холодна со мной почему-то, но, как всегда в ее характере непременно доставлять людям хорошее, она мне сказала, что мною интересуется Надя Корсакова (мне же Надя вовсе уже неинтересна). Вокруг нас много людей, пансионы, цветы. И почему-то отсюда я вдруг попадаю в Берлин и со мной Лева. Мы живем в богатом пансионе, и тоже тут большая сутолока. Но везде говорят о революции, показывают мне какую-то разгромленную рабочими… Иду я **подсмотреть** революцию.

Сажусь на лавочку где-то на бульваре, и со всех сторон сходятся ко мне рабочие, садятся тесно ко мне, жмут и этим дают понять, что они узнали во мне русского и я им дорогой товарищ. С восхищением спрашивали меня: «Ну, как у вас?» Но в этот момент подходит полицейский и требует, чтобы я с ним шел. Я иду с ним и спрашиваю: «Значит, вы меня арестовываете, как было у нас в Императорское время?» — «Ничуть нет, — отвечает очень сочувственно полицейский, — я вас хочу провести: ведь здесь патруль, вы бы не прошли, а со мной пройдете». Видны везде разгромленные пустые улицы, разрушенные дома. «А вы, — говорит полицейский, — посмотрите, что в воскресенье-то будет!» Полицейский как будто сочувствует революции, и я возвращаюсь в пансион с большим приобретением: знаю, что будет в воскресенье… Еду в северную Италию, в Россию и везде говорю, объявляю великую весть: «Будет в воскресенье».

Можно всю жизнь прятать безумный конец своего самолюбия, боясь этого безумия, и шлифовать себя в разумных отношениях к людям: таких непрочных, поверхностных людей и **порядочных**, по принципу много.

Мои коллизии: Смольный и Маркс. Тяга к дворянскому быту и к мужику-рабочему. Институтка в душе и баба в жизни (деревенская, неграмотная). Любовь к «бабушке» и стыд от жены. «Выпад» против большевизма и вообще неудача во всех общественных делах, потому что у меня нет естественной честности, которой живет простой служащий человек, и я не дошел до той мудрости, в которой человек себя самого оставляет себе, а общественное дело, механическое, выполняет согласно своему знанию машины. Я же показываю (надо скрывать) себя самого в механическом процессе, выскакиваю там, где не нужно, как «американский житель»{57}. Надо отделиться совершенно и в себе самом стоять твердо, а машинное дело выполнять точно. Верно сказал Гершензон, что я «мигаю», подмигиваю.

21 Декабря. Расстриженный поп Мишка попросил меня купить ему бутылку «Рябиновой». Я бы купил ему раньше, пока не использовал эти материалы, а теперь он мне больше не нужен, и я не купил ему «Рябиновой», Так и вообще писатель влюбляется и носится со всякою дрянью до тех пор, пока ее не использовал. Потому же не может писатель и остановиться на каких-либо правилах жизни для себя: правила тоже используются для книг. Единственный остается мотив нетронутым: тще-славие — страсть такая же, как и к охоте, и (кажется, специфически мое)

наслаждение от свободного труда.

Три ели

На лесной поляне жили три ели, одна плотно к другой и так, что только внизу, пригнувшись под лапы, можно было разглядеть три ствола; вверху это было одно такое прекрасное дерево, что человек и зверь редко проходили поляну летом и даже зимой, не заглянув под вечнозеленый шатер. Сюда и я захожу летом, не сидит ли тут белый гриб, или укрыться от ненастья, зимой разобраться в следе, кто за ночь здесь проходил.

Два моих сна: о конце земли.

27 Декабря. Будто бы я в дортуаре Смольного нашел полочки под **ее** кроватью и много там было терракотовых фигурок, но не ее, я ломал фигурки, искал что-нибудь от нее, хотя бы имени только… Вдруг в зале мелькнуло чье-то лицо. Я побежал туда, а зал, оказывается, наш, Хрущевский, в зале нет никого, и в гостиной нет, я в сад — там идет баба вроде модистки деревенской и другие, гулянье народное. И появляется мать моя, строгая, серьезная. «Вот, — говорю, — не запираете дом — кто-то был». — «Кто был? — отвечает мать. — Никого не было, и ты же знаешь, я дом свой никогда не запирала».

Оберкондуктор, старичок, верно, из прежних кондукторов, а может быть, и прежний оберкондуктор, важным стал таким: пальтишко пообносилось, сам умудрился; простецкий, мудрейший человечек. Мудрость его состоит в том, что он все свои способности, все, что мог, отдал машине, а себя самого оставил для публики и делает для нее все, что может. Против машины нельзя же идти: 1) Бык — свистнули — побежал, еще сильнее свистнули — он пошел на паровоз. 2) Собака хвост положила, отрезало, обернулась, залаяла — и голову отхватило.

Выдвинуты два вопроса — кооперация и краеведение, которые питаются личным сознанием и совершенно противоположны марксизму.

Ухитряются даже математику преподавать как-то в связи с изменением экономических отношений.

Ложно-трудовая школа. Честно-бюрократическая сменилась ложно-трудовой (выставка диаграмм, срисованных с книги).

Перегруженность учителей (14 часов в день) исключает всякую возможность творчества.

Учитель Садиков, заведующий школой, частью взял на себя в отношениях с учениками и родителями идеи гуманности, самодеятельности, демократизма — и его все любят. Учитель Кулигин (Кулигин уезжал, и Садиков распоряжался — показал себя), заведующий школой взял дисциплину, принуждение — его все ненавидят. Между собой они друзья и во всем согласны.

Идея: создать борцов и строителей жизни.

Достижения: свобода в отношениях.

Щекин и Кулигин, окатавшиеся спецы — типы приспособления: исключают трагедию, жизнь хороша; и эти люди остаются с молодежью; остальные как будто в глубоком сне.

26 Декабря. О рассказах в первом лице и в третьем. Взять примеры из сочинений крупных писателей, где рассказ ведется от 1-го лица, и просмотреть, какое отношение это Я имеет к личности автора. 1) Я свидетель события. И т. д.

Во сне или полусне мне представлялось, что советское правительство вовсе не так плохо, и если разделить все на пункты и спрашивать: «Пункт первый, — правительство рабоче-крестьянское — соответствует тебе?» — «Соответствует». И т. д. Значит, привыкаем и совершенно привыкнем, и будем жить хорошо. Переживем.

Червячки

Недавно я ехал по Савеловской дороге в Кимры купить себе там на базаре болотные сапоги.

— Ну, как червячки? — спросил меня толстый-претолстый сосед.

Я удивленно смотрю на него.

Он берет у меня из рук газету и, в мгновение окинув последнюю страницу и возвращая, говорит:

— Прыгают, здорово прыгают!

— Кто прыгает, что такое?

— Я говорю, как червячки-то прыгают: подгребаются под две милашки.

Тут только я догадался, что червячки значит червонцы, и в свою очередь сказал:

— Да, червячки милашек (миллиарды) поедают.

— Вот все вы, граждане, такие, — сказал толстяк, — не

понимаете, не червячки милашек, а совсем даже обратно: милашки гонятся за червячками, а они и прыгают от них.

И вдруг, переходя на ты, спрашивает:

— Ты не постным маслом торгуешь?

— Нет, — отвечаю, — не постным, а что?

— Да что-то морда у тебя такая, волосы длинные, ни на что не похож.

— А вы чем? — спросил я.

Сразу так и установилось, что я ему вы, а он мне ты.

— Я еду, — отвечает он, — с жалобой на Ресефесере, иск хочу предъявить на два пуда собственного сала, было девять пудов, а вот довели: семь осталось, довели!

Кругом в вагоне все смеялись и все до единого человека разговаривали друг с другом точь-в-точь, как мы с толстяком.

— Ты, Ваня, с чем едешь? — спрашивает толстяк.

— С колодками, — отвечает Ваня.

— А ты, Степка?

— Я с лоскутом.

— Мишка, ты что везешь?

— Мальчиков.

— Как, — я спрашиваю, — мальчиков?

Толстый отвечает:

— Мальчикова обувь.

Там сандалии, там «хром», там в углу засели Тюха да Матюха и Колупай с братьями, едут к какой-то «сватье» за сахарной самогонкой.

И всем весело, все без перерыву острят, похлопывают друг друга, потаскивают, подмигивают, как будто все родня между собой.

Люблю я это, чарует меня это непрерывное веселье, хотя в душе озноб, люблю находчивость слова, Я никогда в таком обществе не скрываю, что я писатель, напротив, стараюсь поскорее сказать об этом, сделаться через это своим и, не стесняясь, когда нужно, записывать материалы жизни.

— А на что же тебе болотные сапоги?

— Мы же в болоте живем, — отвечаю, — болота переходят в болотных сапогах.

— Ишь ты, писатель, все с подковырком, а ну-ка напиши ты в свою газету жалобу от русского народа, зачем это уничтожили самые любимые три буквы: ять, фиту и твердый знак.

— Чем же они любимые?

— Свободу слову дают: хочешь ты эту букву ставь, хочешь не ставь — все равно смысл одинаковый, а быдто кудрявее и легче.

Колупай с братьями заметил:

— Да, три легкие буквы отменили, а три твердые дали.

— Какие же твердые?

— Скверные буквы: ге, пе, у.

Все грохнули, и так со смехом мы подъехали к Волге и гурьбой посыпались на перевоз.

И вот чудно, перевоз казенный, плата твердая, а едут меньше казенным, чем частным яликом. Лодочник, качая головой, говорит толстяку:

— Ты бы лучше на казенном ехал.

Толстяк плюхнулся, ялик погрузился, мы прибавились, ялик вровень краями с водой. Так мы едем, а лодочник рассказывает беду: неделю тому назад тоже так вот сели самочинно и потонули, и до сих пор достать не могут. Кто они были, что за люди — неизвестно, а одеты хорошо, видно, очень богатые и с деньгами, должно быть.

— Почему ты думаешь, с деньгами?

— Рынок почуял, — ответил лодочник.

Я спросил толстяка, как это рынок чуять может.

— Очень просто, — сказал он, — сейчас ты увидишь, какой это рынок, у тебя голова с непривычки закружится и все [потом поймешь]. Ну вот теперь не как прежде, волжар приедет, разузнает, а потом… Теперь возьми хоть Астрахань, есть там, положим, соль… За свой счет посылает человека своего закупить. Так из Астрахани соль, а сам на Астрахань… Ну, приедет он с долларами, положим, в четверг, оглядится, разузнает цены, в пятницу едет в Москву, меняет доллары на червонцы, в субботу с червячками является на базар и закупает. К концу базара все чисто, все скуплено. Ну, и вот вдруг много осталось, значит, рынок почуял: верно, ты большие деньги возил.

— Большие, большие, — сказал лодочник.

Мы пристали к берегу благополучно и до самого базара всё толковали о [торговле].

— Ну, конечно, было время…

— Какая жизнь, конечно, сейчас в Кимрах, базар все [определяет].

<На полях>: Что бы ни говорили о торговле, а она в родстве с художеством, и, по-моему, вся разница не в психологии, а в доступности: художество дело избранных, торговля — всех.

17–18 Хрущево
18–19 Елец
19–20 Елец
20–21 Алексино
21–22 Ивановка

22–23 Дубровка
23–24 Костино

16 г. — 17 — смерть
17 — весна, пахота
18 — надел
18-го — выгнали
19–20 — [шкраб]

_____
4 года

В нашем Тургеневском уезде в конце Германской войны оставалось только две старухи-помещицы, любопытных к жизни настоящего в свете прошлого. Одна была Елизавета Михайловна Асбестова, генеральша, и другая Марья Ивановна Алпатова, начитанная купчиха. Про Асбестову я только наслышан был, а у Алпатовых я сам рос и знаю всю подноготную. Ко времени Карпатского наступления могучая и жизнерадостная Мария Ивановна Алпатова вдруг захирела, подсохла вся и освежалась только обычными сценами с дочерью своей, старой девицей Лидией. Последние дни ее стало особенно раздражать, что Лидия после ужина оставалась дремать на диване в столовой, рядом с ее спальней. Перед сном она обыкновенно долго читала «Русские ведомости» и потом Толстого и любила в доме полную тишину. Скрип пружин на старом диване в столовой ее раздражал, и неприятно было ей, перелистывая книгу, встречаться с огоньком в дверной ключевой щелке.

— Лидия, — говорит она, скрывая раздражение, — ты бы шла к себе.

— Сейчас уйду.

А через некоторое время Лидия тихо шепчет:

— Мама?

— Что тебе?

— Ты не спишь?

— Что тебе до меня, уйди, пожалуйста.

В столовой затихнет, будто ушла, а огонек в ключевой щелке то потухнет, то покажется. Мария Ивановна понимает, что Лидия тихонько подсматривает в щелку, и это ей так ново, так жутко, что властная и скорая на слово и дело во всех положениях, тут в этом маленьком и пустом случае она беспомощна и немо лежит, не понимая книги, прикрываясь ей только от огонька. Дело в том, что Лидия, нелепая, истеричная, полоумная, — все-таки до самой последней черточки души благородная и без какого-нибудь огромного значения…

И Лидия уходит: и то удивительно. Обыкновенно было, если на одной стороне да, на другой — нет, и так, углубляясь в противоречии, доходили до брани, до хлопанья дверьми. Вначале обыкновенно наступает Марья Ивановна, [потому что] она думает взять приступом, но наконец Лидия берет верх. Тайна: Лидия курсистка, по-купечески — выдать замуж. Аптекарь. И это Лидии сила, а матери — слабость. Так и пошло. И трудно узнать причину. Бывало перед Пасхой начнут вместе яйца красить и вдруг — трах-трах! Лидия идет на ключ. А Марье Ивановне говеть нужно, прощенья просить.

— Лидия, — не своим голосом, — Лида, прости меня!

— Не прощаю!

— Ах ты… — и, отчитав ее, поджав губу, вся в черном отправляется на исповедь.

По прежнему времени Лидия бы нарочно не ушла, а теперь уходит.

Много пришлось бы рассказывать, как мы среди дремучих лесов синели в классах от холода, как, добыв в лесу всей школой дров, коптились в дыму не ремонтированных печей, как приходилось мне самому на третий этаж таскать вязанки дров, отапливать Музей усадебного быта, как иногда приходилось ночью приворовывать эти дрова в другом, враждебном учреждении — чего, чего только не было!

А то придет бумага, и нужно пешком идти в город за восемнадцать верст или тоже не ближе получать жалованье в волости (как раз хватало на две восьмушки махорки) или паек (больше давали овсом).

В это время я догадался, раздумывая постоянно о добывании пищи, что передняя часть в слове про-мысел взята от латинского выражения pro domo sua[5] и значит — забота о личном существовании. Много было разных придумок: выучил простую дворовую собаку делать стойки по тетеревам, она прекрасно предупреждала о местонахождении птицы, перевертывалась к ней задом, мордой ко мне. Убитая дичь была большим подспорьем в хозяйстве, особенно когда, возвращаясь с охоты, завернешь в дом какого-нибудь своего ученика, и родители насуют в карман пирогов, сала. Да что один какой-нибудь учитель, после в голодный год чуть не целая губерния [так жила] и Смоленской губернии, и все прокормились, вопрос был лишь в том, есть ли хлеб в краю, остальное доделывал pro-мысел.

Как ценишь в таких положениях исключительные случаи внимания к себе, после все забывается, а это остается. Никогда не забыть мне, как раз в позднеосеннее морозливое время

встретился мне один крестьянин, едущий в город с рожью. Я шел с собакой в болото добывать пищу, на ногах у меня были только худые калоши, которые надевал я только, чтобы не прокусила ногу змея.

— Надо вас обуть, — сказал мне крестьянин, отец одного очень хорошего ученика. И поехал дальше.

Поздно ночью кто-то постучал в дверь моего Музея и всех нас разбудил. Я долго высекал огонь и вздувал лучину (спичек не было!), наконец глазам не верю: тот, встреченный мною крестьянин (его фамилия Барановский Ефим Иванович) стоит у порога с новыми сапогами! Это он мне купил на базаре и, возвращаясь из города, завез. Помню, что весь он был сизый от пропитавшего его дождя.

После, не раз бывая у него в гостях и беседуя, я различал в нем тип русского человека, верящего в силу образования, как иные верят в счастье загробной жизни. Так он верил в дело Елены Сергеевны и свое уважение перенес на меня. Вот это **что-то** было отрадой в той скудной жизни, и это что-то, вызванное из народа деятельностью нашей Елены Сергеевны, было как тип почти у всех учеников нашей деревенской школы.

После в наш Музей усадебного быта из города приезжали экскурсии, и можно было сравнивать тех учеников и наших: нельзя было сравнивать, те ученики были совсем иного мира, с явным налетом типа мещанского и «продувного».

Тех и других я водил по залам Музея и рассказывал о жизни Онегина, наши ученики делали иногда очень смешные наивные вопросы, но никогда никто не осмелился, я знал наверное, не только спросить, но даже подумать, как городские ученики спросили после моей продолжительной лекции: «Нельзя ли нам в этих залах сегодня поплясать?» Ни одной из наших девиц не вздумалось примерить на свою голову музейную шляпу Александровской эпохи, а у тех она сразу так и поехала по головам. Было совершенно очевидно, сравнивая тех и других, что при известных условиях можно миновать совершенно стадию мещанства в юношеском развитии.

Я был, вероятно, в самых счастливых условиях в отношении состава класса, когда начинал свои занятия по древней словесности. Впрочем, и во мне самом было это счастливое условие: я не только не имел понятия о преподавании, но даже никогда не интересовался школьным делом и очень мало читал по этому вопросу, мне пришлось самому много учиться, придумывать.

В этом имении были действующая больница, школа 1-й

ступени, сыроваренный завод, лесопилка, конный завод.

Дом-дворец стиля Александровского ампира, громадное каменное здание с колоннами, стоит у большого прекрасного искусственного озера, окруженного парками.

Слава Алексина как лучшего имения в крае собрала в большой дом разные враждебные друг другу учреждения. Вначале весь дом-дворец находился в ведении комиссии по охране памятников природного искусства и старины и предназначался для Музея усадебного быта. Потом сюда внедрилась детская колония, отбив у Музея три четверти всего дома, за колонией въехал в нижний этаж пункт по сбору чрезвычайного налога, еще клуб местной культкомиссии, театр, наконец и школа второй ступени.

Совершив в течение двух лет цикл обычных своих разрушительных действий в отношении неремонтируемого здания, в настоящее время все эти учреждения рассыпались, и дворец снова перешел в Музей усадебного быта.

Начало школы 2-й ступени положила одна курсистка физико-математического факультета Елена Сергеевна Лютова. Тоже по необходимости кормиться в деревне она сделалась учительницей в Алексинской школе первой ступени, отлично учила и при той же школе устроила курсы для занятий с окончившими школу 1-й ступени.

Вот из этих ее учеников и учениц мы составили три группы школы второй ступени, приютивши первую, вторую, и перешли в здание Алексинского дворца.

Нас было всего трое преподавателей: математикой занималась эта болезненная, но неутомимая подвижница просвещения Елена Сергеевна, естественной историей — сестра ее Александра Сергеевна, чрезвычайно добросовестная, педантичная учительница в старом духе, с одним недостатком, что была профессионал-учитель; историю культуры преподавал студент Кириков, сын местного сапожника, историю словесности — я.

Без всяких выборов и даже каких-нибудь формальных документов заведующей школой была Елена Сергеевна, она следила за нравственной стороной в общежитиях, как-то незаметно для всех мыла, чистила, убирала классы, и вообще это она все делала, а мы тут были сбоку припека.

1924

6 Февраля. Зеленая дверь

В этот год весна света, самая первая весна, мне началась в городе. По телефону мне сказали:

— До чего хорошо!

И скоро явилась барышня с рукописью, и опять:

— До чего хорошо!

А писал я про весну света, голубую, про хороших людей и все назвал «Голубые бобры». Усадил я молодую девушку, а снять пальто и шляпу попросить не решился, очень уж в моей берлоге неуютно, коряво.

Вижу, полюбила моих «Голубых бобров», и так мне это радостно, будто это сама, мечта моя, Марья Моревна, живая пришла.

— Как вы, — говорю, — такая молоденькая, и все это близко вам, и все вы понимаете?

— Так… — говорит, — я уже много пережила, душа моя старая, как Турция.

Надо бы сказать, «как Индия», но я рад, что не Индия, то было бы, как у всех, пусть Турция… Хорошо! Мне все от нее хорошо, она мой настоящий читатель, был я один, писатель, и вот теперь: «мы» — зеленый союз. И сразу от этого она, женщина, будто старше меня, и я ее мальчик, а ей восемнадцать и мне пятьдесят!

Ей надо спешить домой, мне — сдавать рукопись в издательство.

— Ну, — говорит, — надевайте свое пальтишко, а рукопись я подержу.

Взяла рукопись, да так и понесла, видно, ей дорога стала моя рукопись, а я и забыл: не до рукописи.

Летит ее трамвай, а остановка Бог знает где! Мне показалось, она крикнула:

— Руку!

«Зачем, — подумал я, — ей, балерине на заячьих ногах, моя медвежья рука?»

И, пока я так подумал, она пронеслась мимо меня на своих длинных балетных ногах с рукописью в руке, и тут я понял, что не «руку» она крикнула.

Да, не «руку», а…

«руко-пись».

Эх, годы, годы… Но ведь еще этой зимой я перенимал гончих, и по глубокому снегу, ну-ка по рельсам! И во весь дух я пустился за балериной по трамвайным рельсам вдоль Тверского бульвара.

Она взмахнула руками, будто крыльями, схватилась за ручку, прыг! И вот я тут как тут, хочу взять ее руку, она сунула мне

руко-пись!

Проститься мне нужно было руко-пожатие, а она сунула мне руко-пись.

И умчалась на трамвае.

Свернул я рукопись в трубку, сел на лавочку на Тверском бульваре и бунчу арию из «Трубадура»{58}, и тут как бы голос другого из себя самого:

— Ты с ума сошел, кудрявый старик, посмотри на себя, мохнатый козлоногий бес, стать ли тебе по улице за балериной гоняться.

Посмеялся я и ответил:

— Ну что же, люблю я зайцев, птиц, деревья, цветы, лесную жену свою, лесных своих ребятишек, почему же не любить мне и эту милую девушку?

— Да, — отвечает тот голос, — если бы твоя жена хоть одним глазком посмотрела, как мчался ты…

— Я бы сказал, что мчался за рукописью, что тут такого?

И, вспомнив, что, правда, мы же этим кормимся, я встал и степенно отправился в издательство продавать свою рукопись.

Там, оказывается, уже знают, очень рады.

— Нельзя ли аванс?

— Конечно, но все-таки нам надо посмотреть рукопись, она с вами?

— Рукопись? вот…

А руки пустые. Хвать туда-сюда, в переднюю, к столику, нет и нет. И тот голос другой из себя самого:

— Ну и плут же ты, кудрявый старик, говоришь, что бежал за рукописью, а сам бросил ее на Тверском бульваре на лавочке.

И до чего тревожно и сладко весной света видеть глазами, как смерть и любовь сходятся, сошлись — мелькнула искорка. Иду искать рукопись, а на земле, и на небе, и на солнце — везде вспыхивают искорки. До чего хорошо! «Нет, — думаю, — и смерть придет, ничего, за смертью опять любовь, и между ними есть где-то Зеленая дверь, жить можно, не страшны и годы, только надо в уме держать Зеленую дверь».

Зубакин. Говорит прекрасно до тех пор, пока в уме держится продуманное в промежутках речи последнего оратора и момента получения слова; как только это иссякло, начинает импровизировать, и то все хорошо, почти гениально, беда начинается, когда все вдруг начинают чувствовать, что оратор не

может остановиться и сам не кончит, но и то не беда, а самая беда приходит, когда сам Зубакин начинает сознавать, что остановиться он не в состоянии, и под этим страхом мелет, сам не помня что, какой-то вздор. И так гениально начатая речь обрывается звонком председателя и всеобщим конфузом.

Попал в рай, со всех концов бросились девушки. «Чего это вы ему так обрадовались?» — спросили ангелы. Девушки ответили: «Как же нам ему не радоваться, на земле он спасал нашу честь».

16 Февраля. Вошел в зеленую дверь и застал там «американского друга». Пришлось весь вечер говорить на ужасном немецком языке или, еще ужаснее, диктовать умные фразы для перевода — скучно до головной боли, и куда девалась зеленая дверь! Мать сказала: «Опыт мне ничего не дал, помните маму? Я живу тем ручейком, бежит и бежит». Я сказал на это смущенно: «Может быть, вам правда, а мне все иллюзия». Дочь укоризненно на меня посмотрела. Она была очень бледная, и я подумал: «Хорошо ли я делаю, что увлекаю девушку в литературу, ведь это ужасный путь, и ей, может быть, вовсе нельзя заниматься напряженной умственной деятельностью, что я делаю!» Но это делает ее и очень интересной, и досадно было смотреть, что «американский друг», «похожий на бифштекс», ей тоже занимался. Уходя, в передней я спросил ее с тревогой: «Что с вами?» Она ответила: «Ничего, живот болит».

На другой день она говорит мне по телефону, что ее американский друг предлагает взять мою «Кащееву цепь» для перевода на английский. Я ответил: «Подумаю». А ночью до того возненавидел американца, что решил сказать ей об этом по телефону. Звоню: «Зеленая дверь!», и там откликается тоненький голос. И оказывается, что по телефону никаких шуток нельзя говорить. Я говорю: «Относительно перевода на английский я решил обойтись…»

И не кончил, а хотел сказать: «без вашего американского друга». Если бы я так сказал, она бы непременно спросила: «Что вы хотите сказать?» И я бы сказал на это: «Желаю, чтобы он поскорее убирался в Америку и не мешал нам заниматься русской литературой». Вместо этого я проговорил в трубку: «Когда же вы освободитесь, и мы будем заниматься?»

Интересно: Тат. Ник. от всего моего облика и, верно, от всей той прежней жизни сохранила в себе только музыкальную мелодию. Хорошо бы развить это и углубить в большую даль — пусть мне теперь 70 лет, я все-таки сохраняю в себе (как Фет,

например) бодрость физическую и живую душу. И описать маленький роман с бабушкой как мелодию. Пусть дочь ее, Таня, будет такая, как я изобразил ее, — «Зеленая дверь», и с ней у меня такой же маленький роман, как с матерью, у дочери остается от меня нечто красивое, вроде евангельских стихов о Сыне человеческом, в контраст со временем революции, временем гибели царства сынов; она пусть будет Прекрасная Дама, как у Блока, и, наконец, еще через двадцать лет, когда мне уже 70 лет, начинается такой же маленький роман со внучкой, и тут изобразить фантастически время «царства дочерей», новую эпоху женщины со своими новыми заветами: победу «Прекрасной Дамы». Надо наметить евангелие дочерей и старцу открыть Зеленую дверь.

Итак, первое: старый мир как мелодия: 60-е годы. Новый мир — гибель сынов — революция (1905), будущий мир — царство дочерей — свет из революции 1917 г.

Татьяна Николаевна — мама, Таня — Блох. Ее дочь: Мария.

Искать девушку такую мудрую, чтобы она могла дать мотивы нового евангелия, внутреннего спасения мира (не индустриально-марксистского, не пути сионского отречения, а просветления плоти, как у детей: такое, чтобы тот старец 70-[тилетни]й (но козлоногий) сказал: «Ныне отпущаеши раба твоего»{59} и благословил, отходя, землю рождающую, мать, питающую сосцами дитя.

Прекрасная Дама превращается в уличную женщину, потому что она была создана сыном нашего века, и падает вместе с ним: «Прекрасная Дама» есть только предчувствие». Но вот явилась она сама и дает свои заветы. Она должна явиться и продиктовать их.

Руднев, Александр Борисович, Арбат, Криво-Арб., 1, кв. 19. (Собака лаверак.) Купить книги: Людвиг Морис «Любовь женщины», Жюль «Любовь одной женщины», Леонов «Петушиный пролом».

Тема повести и к ней:

Мать музыкального прошлого ищет своей дочери жениха: она просто понимает, и за ней древняя мудрость, дочь должна выйти за назначенного. Мать оберегает дочь от личного чувства, потому что в личном конец, а в назначенном продолжение рода. Но дочери кажется, что нет в современной действительности такого типа мужчины, которого можно назвать женихом. Был раньше офицер, человек чести, был богатый со своим счастьем, был ученый и художник, ныне все типы мужчин не удовлетворяют

высшего выбора. Герой разоблачен. Власть переходит к дочерям.

19 Февраля. Я попробовал позвониться — дома нет, пойти не решился, еще раз позвонить не решился, и она не пришла. Так все, верно, и кончилось. Встретимся, но того уже не будет, то переживется.

20 Февраля. Напрасно я Вам звонил и ждал — не откликается, не показывается, как будто не Зеленая дверь, а стена стала — немая, красная, кирпичная. Однако я успел собрать много меду в Вашем саду: с цветка Вашей матушки я перелетел к вам и теперь уже лечу дальше… Замысел мой такой: я когда-то пленен был Вашей матушкой, и от того времени (какие-нибудь далекие годы) через двадцать лет осталась в памяти у меня только моя музыкальная мелодия. Из этого обрывка музыкального воспоминания при встрече с Вами, дочкой, я творю Марью Моревну. Но ведь это я, поэт, творю ее, а вместе с заветом Сына в наше время гибнет и Прекрасная Дама — это только мечта, творчество погибающего Сына. Проходит еще двадцать лет. Я уже 70-летний старец, но, бодрый, полный нераскрытых девственных сил, встречаю Вашу дочь Марию (с Вами — Зеленая дверь), и это будет настоящая Она, не моя мечта, а явление миру Нового завета, Дочери, на смену погибающим заветам Сына, я вступаю в царство духа. Ныне отпущаеши. Она провожает меня в Зеленую дверь и говорит: «Это за то тебе, что ты непомятыми сохранил мои ризы земные».

Что, если бы такую вещь написать? Но для этого нужны большие женские документы (не «со ступеньки на ступеньку вниз, а вверх»), потому именно женские, чтобы написать по ним новые заветы. Не знаю, будем ли мы с Вами встречаться, все равно, но помните, дорогая, что я вот чего хочу от Вас: пишите в свою тетрадку об этом, потому что не пролетариату, а вам, женщинам, принадлежит будущее.

Жизнь проходит [быстро], давайте встречаться с Вами не телефонными звонками, а по духовному звону: накопится там, в душе, — ищите меня, и я тоже, так будет вернее.

Сердечно благодарю Вас, милое дитя мое, что заглянули ко мне с предложением переводов на английский. Я потому отклонил, что слава не очень нужна мне, были бы деньги, — хорошая вещь деньги, если они дают возможность жить свободно. И удивительно, пока я смотрел в свою нужду — ничего не выходило, а как встретил Вас и стал думать о **бесполезности** — вдруг повалило счастье, поменял 3 червонца, теперь их у меня 130 — я теперь долго могу делать свое дело, и у меня это счастье

сливается с Вашим появлением.

Так не забывайте же Вашего друга М. Пришвина.

22 Февраля. Вчера приехал домой. Казалось бы, должна быть некоторая неловкость, но ровно ничего, так, как было давно, всю жизнь, потому что так же и было всегда у меня в двух мирах, в двух полюсах, а посередине деятельность формования (искусство) как выход из противоречия. Теперь, благодаря прошлому опыту, мастерству моему, больше уже не страшно жить. Только ставлю вопрос, что такая психология непременно должна быть у художника или же и может быть иначе? А то в результате два неудовлетворенные существа: одна женщина, неудовлетворенная по плоти, другая по духу, и сам разделенный надвое.

25 Февраля. Пьяный день вчера был у Вячеслава Павловича Станишевского. А любовь к юной девушке, вижу, имеет болезненные истоки… и отсюда истоки творчества (от Духа Св. и Девы). Надо пересмотреть, правда ли, что и всякое творчество таково.

Я разумно установил план работы, и, когда установил и только бы работать, является сомнение: а что как я пропустил в своем плане главное, и то, что лежит возле, что без всякого плана, вот только бы протянуть руку и взять, это я обошел на своем разумном пути и так пропустил, убил свое святое.

Мечта о еде и самая еда две разные вещи, и что лучше — спор бесконечный: лучше ли намечтаться с голодухи и потом поесть, или же, не мечтая, просто с естественным аппетитом поесть. Извращенное мечтой воображение создало гастрономию (романтизм еды), так и наше искусство создано христианством. Против того и другого выдвигается трудовое начало, где живут, не думая о еде, и едят с лучшим аппетитом, чем гастрономы. И так же наше искусство, как аппетит, должно являться прямо в процессе труда. Из этого совсем не следует, чтобы применять к нему, подобно «военному коммунизму», — трудовую диктатуру. В этом содержится и грех романтика и плюс еще надуманность.

То, что хотят вменить теперь художнику «трудовое происхождение», есть просто, в переводе на обыкновенный язык, чувство долга или ответственности за свою свободу.

Удивительно, как не додумались до трудовой регуляции любви.

27 Февраля. (В банк — 185 р., остается — 40? Сапоги — 4

чер.)

Мне снилась повторно через всю ночь мысль, что художник до тех пор только свободен, пока не опубликовал свою работу; после же опубликования он входит в процесс механизации.

Еще снилась царская дочь Наташа.

28 Февраля. Тему свою художник имеет в себе как желанное, и не только прямо писать о ней, а и себе-то признаться считает опасным для работы. Какое же будет его творчество, если уже государством предустановлено, что он непременно стоит на марксистской платформе и на пролетарской позиции.

29 Февраля. У меня, как у невинной девушки, есть до сих пор в душе отталкивание от чувственной любви, если приходит та, которая мне очень нравится. И эта исключающая обычный чувственный конец любовь бывает «сильна, как смерть», я боюсь ее сладкого яда, как смерти. Рядом с этим существует и обычное, здоровое, простое чувственное влечение, и чем тут упрощеннее, ближе к природе, тем лучше и оставляет в конце радостное, чистое насыщение и чувство мира всего мира.

Они, враги мои, радуются, что приобрели меня (купили), а я радуюсь, что их победил.

1 Марта. Душа сновидений не меняется вот уже 23-й год. Все то же сказочное расположение духа (там, на теплом море, птица с ликом девы). Ее ожидают, и надо ей купить билет дальше ехать. Я говорю, что покупать некогда, я купил себе и отдал ей. Добрая старушка, однако, билет купила и, хитро мне улыбаясь, дает понять, что билет мой пригодится мне ехать с ней. Она показывается внезапно, маленькая девушка в сером пальто, прежнее лицо розовой куколки теперь стало бледное, с большим лбом, очень некрасивое. И от этого некрасивого захолонуло сердце… в этом что-то неизбежное, непереходимое — это сама жизнь, ее серый ужас. Но там, в моей душе, все сохранно, и велико мое волнение, так велико, что я ничего не могу сказать, и так рад бы, но не решаюсь с ней ехать. Вижу в окно, как она уходит, серая, и шляпа с ушками.

Всех таких сладких, надолго остающихся в чувственной памяти сновидений — серая уродливая спутница вместо возлюбленной (она бывает иногда в виде безобразной каменной статуи), очень похожа на девушку, отдавшую свою красоту за выкуп милого (и он ее не узнает), как в сказке Кота Мурлыки{60}. Я теперь больше не сомневаюсь о связи моей души с автором этих

болезненных сказок, но только не знаю, исключительно ли только воспринял в себя его душу через его сказки, или такая душа вообще повторяется (романтика детской души; неизменно детская душа через всю жизнь; чистые сладкие прикосновения душ и отталкивание чувственности; невеста девочка, дитя от малого возраста моего до старого).

Все эти люди, настроившие в Талдоме за 20 лет большие каменные дома, пробились к богатству железным напряжением воли, цель, поставленная впереди себя, требовала отказа от настоящей жизни, и все они были аскетами. Другой не смел всю жизнь свою оказать естественную любовь к своему ребенку, боясь попасть в плен своего чувства. Используя других людей для своей цели, они делались их господами, как хищные птицы над певчими. Их жизнь вся была в будущем, и, как только они хотели обнять настоящее, — их объятия становились блудом… Из мира обираемых ими рабов находились, однако, люди, умевшие через вкус к настоящему воспитать в себе любовь к своему мастерству, эти артисты, отступая от внешних достижений (богатства), уходили в себя самих и оттуда извлекали такие ценности, что смеялись над хищниками, бросая им их дрянь в лицо. Нищие, пьяные…

Дочь. Ряд женщин, вышедших из музыкальной мелодии. Он теряет всех, потому что его чувственность обманывает его — дочь принимает за жену. И наконец последняя открывает ему глаза — это дочь с новым заветом (убежавшая от Пана в феминизм — и там погибла злой весталкой: эта же узнала в Пане своего отца, и он — свою дочь, за которой всю жизнь бегал, не узнавая).

Лебединая грудь женщины — остается непомятой, необнятой (обнимают другое).

Слова песенные, бывает, и забудутся, а мелодия остается, и в глухую метельную ночь врывается в память и без слов приводит людей милых и как будто забытых.

Слова песенки часто забываются, а мелодия, раз спетая, навсегда остается, как будто навек похороненная, спящему иной раз привидится под вой февральских метелей и начинает таинственное сновидение, какое-то световое половодье души. Вместо забытых слов подымается весною света лебединая грудь женщины, никем не помятая, никем не обнятая. Птица с ликом девы подымает мелодией в тьме февральской ночи закрытые веки, и плывет, плывет по теплому морю белая лебединая грудь птицы-девы, никем не обнятая, никем не помятая.

Утихает метель, начинается день и восходит солнце. Не распознать простому человеку первого весеннего светового половодья, это сказочное сновидение сладким ядом своим пропитало душу и вселило в нее догадку о начале весны. И вот в свете явления новыми тенями, как голубой тканью, обвитая девственная грудь, никем не помятая, никем не обнятая.

Слышно, сказали:

— Какой у нас перед домом сугроб намело!

Они берутся за лопаты, и вы тоже с радостным лицом принимаете в этом участие, они не знают, чему вы радуетесь.

И вот рассыпается белая снежная грудь, но тем ярче встает сновидение, и крепнет вера, что людям эту увиденную через мелодию лебединую грудь никогда не помять и не обнять. И самое главное, самое большое, что и у матушки моей, у купчихи, была тоже эта белая лебединая грудь, значит, это не обманчивое сновидение, не мое…

И откуда сила такая берется поднимать такие загребистые лопаты и швырять снег далеко от себя.

— Ну, и хорошо же, друзья!

И вот отвечают:

— Да, славно поработали.

А почему славно, и не догадываются. Славные люди, жулье, конечно, но я хорошо знаю, что если я, переполненный счастьем начавшейся весны света, в одиночку к любому из них приду тихим гостем и, размотав их запутанный клубок, начну вновь наматывать с кончика, непременно каждый из них мне отзовется. Да и сейчас, мне кажется, чем глубже мы врываемся в снежный сугроб, тем ближе и ближе друг к другу.

Весело!

Я знаю, почему им весело, они не знают, и я хочу, хочу им открыть себя.

Я влюблен.

Как хорошо, как свободно могу я теперь сказать, как будто на старости лет явленные мелодии нашли свои слова, в душе моей теперь вечно музыка, и, слушая ее, всякие обыкновенные слова становятся в голубые ряды. Через двадцать лет протягиваю руку возлюбленной — сколько ей теперь лет? О, как много, как страшно блестят во рту ее золотые коронки. Что значат эти все дела? Я понимаю только теперь: этот смущающий меня остаток женщины есть каменная стена навстречу моему страстному желанию, это сила, плуг земли, «пролетарии всех стран», это моя же матушка, отдавшая и тело свое, и всю жизнь будущему. Я перекидываюсь еще через двадцать — и там эта же юная девушка

встречает меня, но мать ее тоже с золотыми коронками, и эта мать то, что было юным мне — ее дочь, и я дальше лечу в прошлое, где началась моя мелодия — вот она!

Но сколько же мне теперь лет? А не все ли равно, если вот только теперь я нахожу слова и встречаюсь с этим, как с возлюбленной на первом свидании, правда, — не все ли равно?

2 Марта. Каждое, даже маленькое, изобретение есть в отношении личности изобретателя осуществление Прометеева подвига, и человек, прикосновенный к психологии этого «чуда», трепещет душой, встречая что-нибудь вновь открытое. Многим кажется, что дети и дикари особенно ярко должны отвечать Прометееву делу. На самом деле их поражает невиданное только в первый момент, часто с внешней своей стороны, Привыкнув, они принимают новое просто со стороны его полезности так, как нечто вполне естественное. Итак, туземец вживается в цивилизованный мир, оставаясь совершенно некультурным человеком в смысле оценки цивилизации с точки зрения древнего грека на Прометеев огонь. И вот этот разный подход к предметам культуры и создает два разных мира — их туземный мир и наш культурный. Их основание в прошлом, человеку на пользу, как пища огромному чреву, служит будущее со своим Прометеевым огнем, наше основание — лучшее будущее, раскрываемое в личном творчестве. Их духовное самосознание состоит в центростремительном равновесии лежащих один над другим пластов, наше…

Есть, однако, из этого туземного мира узенькая дверь, через которую как будто случайно или теснимый массой выходит кто-нибудь в иной мир и тут встречается с нами и дивится всему на свете. Эти выходцы — самые желанные люди…

Тут должна бы происходить встреча сына с отцом…

Но как бывает на самом деле?

С некоторого времени я нахожусь во враждебном отношении к тем, кто их встречает, и, наоборот, очень тяготею к [туземным выходцам].

<На полях>: Я говорю, говорю и тыкну, а волчки между собою всегда по имени и отчеству.

11 Марта. По пути в Москву рано утром, на рассвете.

Разве это неправда, если я скажу, что есть нечто большее факта: мое творчество, из которого открывается факт в желанном мной направлении. «Красота спасет мир»{61} — это значит, придет время, и всемирный противник чужого факта, художник, будет не только мечтателем, как теперь, а осуществителем

личного и красивого в жизни.

Я высказал свое желание заказать первому в России волчку сделать лодочки (дамские башмачки) такой красоты, чтобы можно было поставить их у себя на полочку и любоваться и удивлять всех иностранцев небывалым на свете художеством.

— Возможно, — спросил я, — найти такого волчка и заказать ему такие башмаки?

— Волчка, — отвечают, — такого можно найти и башмаки такие у нас вам сделают, только на какую же ногу?

— Это чтобы он сам уж догадался, какая нога для этого самая лучшая, работать пусть будет на неизвестную даму.

— Савелий Павлович, цыган из Марьиной Рощи, этот может.

— Да, тот может, — согласились все.

— Но… — сказал один, — без размера он делать не возьмется, как вы изволили сказать, на неизвестное, нога ему должна быть в натуре.

— Мало ли у него их перебывало, наверно, осталась у него какая-нибудь излюбленная: пусть сделает по этой ноге.

— Почему вы думаете, а может быть, и нету излюбленной, а просто нога: бывает нога разная, прямая, [тощая], а чтобы неизвестная… нет, он не возьмется работать на неизвестную даму.

Михаил Петрович Седов сказал, что волчки будут давать красоту производству, а фабрики будут только распространять, и привел в образец их гребеночное производство, они изготовляют полуфабрикат, пластину, а мастера делают гребенки.

Раньше у меня в жизни все плохо было, потому что я думал о посетившем меня видении, что оно неповторимо{62}, и я отдавался ему до самозабвения. Теперь я знаю, что не оскорбленное мною видение возвращается, я встречаю его без сумасшедшей тревоги и провожаю без отчаяния: оно, как весна, уходит и, пока я жив, непременно возвращается. Раньше я был ребенком, ныне я отец и добрый хозяин всех своих видений.

<На полях>: Дела: банк, «Новая Москва» (книга, деньги, рукопись, Миклухо, Герцен, Даль), позвонить Госплан и Соколову и пр.

Не забывай марксистку Елену Николаевну Вашкову!

13 Марта. Получил при сдаче в кондитерской первый серебряный двугривенный, совершенно такой же, как раньше, только с другими словами, он равняется теперь десяти миллиардам. Смотрю на двугривенный и говорю: «Ныне отпущаеши раба твоего».

14 Марта. Приятно бывает истратить 5 р. на подарки, но если в этом же доме эти 5 р. попросят взаймы — очень неприятно. Причина: первое делается по своей воле, второе — поневоле. Первое — в свое удовольствие, и последствием бывает радость и веселье. Второе ставит этих людей в вашу зависимость, они вам обязаны (как говорят в церкви: «обвязаны»).

16 Марта. Fatima. Основа ее — имеющая вид правды ложь. Можно говорить ложь о своей правде и, наоборот, правду о своей лжи. Кажется, я лгал ей о своей правде, а она меня постоянно одергивала, когда я пытался и ее увлечь на свой путь, и мне намекала на правду о своей лжи.

Так и демоны все потому и демоны, что пугают нас недоступной нам правдой о своей лжи.

Сопоставляю факты: до этого события (событие состояло в том, что девочка заболела и попала в санаторий) Fatima говорила, что если она разойдется со своим шефом, то и не знает, как ей жить. Теперь, напротив, она сама хочет отказать шефу, потому что может жить самостоятельно. Значит, их наградил второй американец, обеспечил на два месяца, до своего возвращения из Америки. Непонятно в девочке (51 год и 17, краткость романа и что без языка). Тут вопрос, в сущности, в степени: отдается за деньги как невеста (американец околпачивается), или же еще проще (американец околпачил). А источник всего Турция, я очень хорошо помню, что мать Fatimbi была украдена Елецким помещиком из Турецкого гарема.

Со стороны девочки возможно предположить самопожертвование в пользу семьи, и, вероятно, это она мне и хочет рассказать и оправдать себя в моих глазах.

18 Марта. Доклад (в понедельник) Гроссмана о Ковнере в отношении к Достоевскому и Розанову{63}. Если видеть в Ковнере символ еврея, всемирного неудачника, пытающегося «рационально» выйти из своего положения, то, пожалуй, и я антисемит. Но что и говорить об этом, если фактом ассимиляции уничтожается весь еврейский вопрос.

Ездил в Марьину Рощу смотреть волчков-кустарей{64}: это ремесленная интеллигенция; и тоже остается без преемников (учеников): «Мы вымрем, кто будет шить башмаки?» Ответ: «Механическая обувь». Надо узнать, чем высшая механическая обувь в Европе обязана средневековым «волчкам».

Строй хозяйства, как ремесло, сохраняет цельность личности

в своем восприятии мира («натуральные» люди), (я — весь музей).

20 Марта. Не могу отрешиться от чувства, сопровождающего всякое новое мое впечатление из жизни в России, что это «только у нас», что это первый раз в мире случается и никогда не бывало (естественное условие творчества); но с этим естественным условием можно по-разному обойтись: создав вещь, надо отбросить подстройку об исключительности ее (вещь как вещь), и тогда она будет единственным вновь открытым фактом, если же самое условие сделать предметом, то это все равно, что из-за леса не видеть построенного храма.

Волошин читал свою «Россию»{65} и встретил совершенно такой же прием, как я, когда привез из провинции свою «Мирскую чашу». И я должен был признаться себе самому, что и я стал на кормах в Москве другой. Именно же разница в том, что хочется больше смеяться, чем плакать. Досадно слушать в доме больного речь о покойнике, так и у нас невыносимо слушать о распятом интеллигенте, и, главное, от кого же? От самогом заинтересованного лица, от интеллигента.

21 Марта. Весь день провел на фабрике «Парижская коммуна», с 9 утра — до 12 (час обед в столовой с рабочими) и до 6 вечера.

50 рабочих производят в день 1000 пар башмаков (8 часов). Кустарь делает (16 часов) ¼ этого.

Работа сдельная, кроме отделения заготовки низов, где нельзя нажимать на скорость: будут много портить товару. Работают напряженно, а зарабатывают взрослые — от 45 рублей (5-й разряд) до 175 (мастер).

Как чудесно, по одному слову я понимаю простого человека, рабочего, и как трудно мне даются машины!

«Квалифицированная женщина»: два года ножичком подстругивает [стельки] из обрезка кожи и так хорошо научилась это делать, что эту 5-й категории работу признали за 7-ю; и она уж больше ничего не желает для себя.

Рабочий у затяжной машины сжился с ней, гордится ею, рассказывает про свою жизнь как путь к этой машине: «Случай свел меня…» сначала с той, другой машиной, и она откусила ему полпальца (дрянная!), а потом, когда он сошелся с этой, вот уж тут и стало хорошо. Машина сыплет гвоздики: и как кустарь изо рта их, так она тоже выплевывает стальным ротиком, сильно пристукивает и щепотью натягивает кожу. Этот рабочий был

коммунистом в деревне, но его из партии выставили (что-то натворил).

<На полях>: На стенной газете статья «Несознательная Таня». Картина Тани (юбка [красивая]) и стихи.

20 % коммунистов, больше молодежь. Хотя недавно один старик поступил в партию и за то имел с женой великий скандал. Ну, как женщине отрешиться от дома, от своего хозяйства, от детей. («Мне 33 года, а я уже мечтаю, как бы мне сделаться хозяином», — рассказывал мастер Синицын, безродный, из пастухов, своим стремлением достигший мастера. Непременно молодежь только и может быть партийной.)

Низшего кустаря лопает рынок, и он становится жуликом. Низшего рабочего убивает машина, и он погибает от честности.

Высший кустарь (волчок) становится мастером, хозяином, его достижение — покой к старости: он сам.

Высший рабочий живет в дружбе с машиной, у него общественное дело, почет (таких я еще не видел): кто-то сказал мне, что он рад своему освобождению от деревенской тьмы, что тут, в городе, он развивается (корректив этому городскому самоудовлетворению — отношение к семье).

Модельщик сказал, что — рациональной формы обуви они не могут выпустить, потому что нет товара теперь такого (а из яловицы грубо, и никто не будет покупать). Коллективное обсуждение модели.

Я сказал: «Хорошо бы свой башмак создать, и форма которого, и качество были бы приспособлены к условиям русской жизни», — на это мне ответили: «Мы же идем за передовыми странами, а это отсталость» (то есть наши дороги и наши условия). Когда же я сказал о художестве, то на это: «Это кустари стремятся угодить буржуазии, а мы работаем на массы».

<На полях:> Кустарь работает на город. Фабрика на массы.

Волчки (я-сам) недаром называли в домовом комитете общественное чувство «патриотическим».

Блудное дитя фабрики «Парижской коммуны».

Машина «Планет» для вырезки подошв не по штампу, а по деревянной форме: «быстрым очерком».

Счетчики (немецкие: зависимость наша от немцев).

Кустарный отдел (блудный сын) явился не из содружества, а потому, что имеются свои магазины и необходимо удовлетворить вкус публики («румынки», «французский каблук»).

Кустарь работает на индивидуальный вкус, а это с «фабричной» точки зрения «буржуазность» (любопытно, что «самость» производителя-кустаря связывается с

индивидуальностью заказчика-потребителя: на одной стороне: я — хозяин, на другой: я — индивидуум, отличный от другого).

Самая простейшая операция требует недельной выучки, и то одна сделает в день на 200 пар, другая на 400.

И тот рабочий (в дружбе живущий с машиной) сказал: «И так я достиг своего ремесла» (т. е. квалификации).

Мастер, подведя к станку: «9-я категория, норма 400 пар, сверх нормы достигает еще 200».

Я входил: «Куда, зачем?» Выходил: проверка.

Кто-то из-за машины сказал мне:

— Вы из Талдома?

— Из Костина.

— В чьем доме живете?

Рабочие из кустарей. По словам мастера, эти рабочие более ценные, потому что они имеют представление о целом и какая его операция в целом.

Переменил место, потому что оно такое (у машины), что, чуть не уследил, останавливает все производство (подгоняет). В мастерской били, а тут при разделении труда незримый хозяин не бьет прямо, а гонит: гул, свист и особый звук (при очистке и подпилке гвоздей о наждак и блоки): простись с поэзией!

За обедом против меня говорили о Комарове, что его расстреливали в спину.

— Зачем?

— Чтобы не повредить головы: голова нужна в Музей.

А перед расстрелом он попросил папироску, выкурил и сказал: «Ну, ребята, валяйте, довольно пожил». Еще говорили о каких-то ужасных преступниках, которых вдруг взяли и помиловали:

— Они-то смерти не боялись, они к ней сготовились давно. И вдруг помиловали. Верите ли, у них слезы показались.

Я подумал, что вот как удобно теперь сказать о гуманности, и я сказал:

— Вот все-таки прошибло же слезу, и кто знает, что если бы так же и Комарова помиловали, то и у него бы, может быть, слезу прошибло и он бы перестал убивать, а сколько бы он дал материалу для исследования.

На это мне ответили, что Комаров бы не перестал убивать, а насчет исследования — чего же? Ведь его голову отправили в Музей.

Мастер заготовочного отдела, который все жалуется, что ему не дают проявить свою художественную изобретательность.

Разрешили на 2 часа, а хвать — я под вечер встречаюсь с заводоуправляющим:

— Вы еще тут?

23 Марта. Вчера в салоне своего читателя д-ра Шпитальникова сцепился с актрисой, женой Глаголина, за то, что она процитировала мне из Луначарского обыкновенные его глупые слова про интеллигента. И, как бывает, сам беспорядочный, попал на беспорядочную женщину — вышло очень глупо. В конце концов, она сказала: «Луначарский виноват только тем, что имеет слабость к женщинам». Я хотел ей ответить: «Петух полезен тем, что помогает курам нести яйца, а от Луначарского не только женщина, но даже и курица яйца не снесет, он и там, как в Наркомпросе, работает только языком».

Хорошо, что удержался, не сказал: это было единственное умное, что я сделал за вечер.

От всей философии Руссо, Толстого, народников остается мне в отношении себя к народу, к дикарям, природе — чувство величайшей ответственности при соприкосновении с этой средой за свои поступки. Входя в эту среду, вы сейчас порождаете о себе легенду, потому что за вами следят сотни чрезвычайно внимательных глаз. Это не в салоне, где замечают только особенное, тут замечают все ваше исконное. И конечно, ваше добро остается здесь навсегда, а ваше зло есть то, что понимают, говоря: «Единым человеком грех в мир вниде»{66}. Вот все, что остается нам от философии (естественного человека), господствовавшей над умами от Руссо до последнего народника. Есть в русском народе посеянное добро нашими народниками писателями: это сокровенное благоговение к книге и к личности писателя…

25 Марта. Говорят, что грачи прилетели, а поля покрыты глубокими снегами и леса завалены сверху донизу. Морозы неотступные, и в полдень подтаивает только возле домов.

— Я смотрел на светило, — сказал туземец, — показало: быть морозу до исхода.

— Февральское светило? — спросил другой.

— В конце февраля родилось в морозе, так и кончится в морозе.

— Ну, так это у нас и всегда: около Благовещения, раньше не бывает воды, ведь говорят: «Неделю недоездишь или неделю переездишь».

Туземец первый вернулся к разговору со своим первым собеседником и продолжал с ним свой душевный разговор.

— А торговать, — сказал он мне, — можно, вот прямо взял

меня, как я тебя, за руку, отвел в угол и сказал: «Иван Тимофеев, торговать можно».

— Так и сказал?

— Так вот, как стакан самогону выпил, так и сказал: «Иван Тимофеев, а торговать нынче стало можно».

— Слава Богу, старые хозяева все на свои места становятся.

— Весело, пройдешь по Охотному ряду, тут тебе и на гармошке играют, и на дудке, бегут, спешат, весело, и над всем вывеска прежняя: Громов.

— Почему же старые торговцы, — спросил я, — на места становятся, а не новые?

— Почему старые? Ну, не миновать, конечно, приберегли от старого, в нагом виде ходили, ждали, и как стало можно, старым духом дунуло на их наготу. Вот и стал опять в Охотном ряду Громов — вроде воскресения из мертвых. Говорится: «Чаю воскресения мертвых»{67}, и мертвые воскресли. Первое — старым духом пахнуло, второе — был он, Громов, скажу, эксплуататор, я хорошо знаю, наживался, да ведь и мне платил! Другой сам наживался, а другой не имел, а Громов и сам наживался, и другой возле него рос. — Помолчав, туземец сказал: — Я знаю торговое дело, как поп Егор «Отче наш». Первое — за то я сохранил к нему верность, приехал к нему в Москву, и он знает, на меня положиться можно, и он мне прямо начисто отрезал: «Иван Тимофеев, а торговать стало можно». Третье — скажу, он человек был, всегда понимал обстоятельства и сейчас понял: народ теперь перевернулся, теперь нельзя сказать: «Поди!», а попросить надо, — он возьмет и попросит: нельзя же сказать: «Работай или отправляйся в деревню». Он это хорошо понимает, и мы тоже хорошо понимаем: он подыматься будет и нас подымет, — он растет, и я вырасту. Я на него в надежде, так он мне и сказал: «Иван Тимофеев, а торговать можно».

— Гражданин хороший, помогите мешок поднять на плечи.

Помог. Кто-то сказал:

— Чудаки эти торгаши, живут, будто плачут.

Другой на это строго и укоризненно:

— Кормятся…

— Что у тебя?

— Одеколон.

— У тебя?

— Пудра.

Армия подростков-торговцев подняла шум, начали руготню.

Торгаш с мешком на плечах уговаривал:

— Не ругайтесь, ребята, не ругайтесь, торгуйте лихо и друг

дружку выручайте.

Судьба людей теперь сплелась совершенно с судьбою вещей, и как смотреть: человек один и возле него много проходящих вещей или же вещь одна и возле нее много проходящих людей? Пусть будет вещь, я хочу этого, потому что сам по себе чувствую, как разные люди, живущие во мне самом, внезапно меняются, оставляя то радостное, то унылое настроение. И смотря по тому, как сейчас во мне человек унылый, — и вся история человечества складывается мне унылым подлежащим к двум вековечным глаголам: «есть» и другому, еще более короткому, без второй буквы. А если я весел, мне удалось что-то, — вся история человечества вспыхивает веселым костром, и даже торговля кажется забавным, рискованным делом, почти как путешествие, как творчество, доступное даже моссельпромке{68}, торгующей папиросами с двумя пачками спичек.

<На полях:> Сидит на липке кустарь, шьет башмаки — сколько он их перешил, сколько вещей прошло через его руки, а он все тот же, сидит на липке, грудь согнутая, корытом, песни поет.

Сидит человек, а сделанная им вещь странствует. Сколько рук пройдет вещь, какое множество людей соприкоснется между собой, пока сырой материал, кожа, приняв форму башмака, попадет на ногу даме, после в сумку татарина и, наконец, в могилу свою, в мусорную яму.

Что же описать: судьбу человека, создающего вещь, или судьбу вещи, переходящей из рук в руки множества людей. Судьба людей и судьба вещей сплетаются между собой… и как смотреть.

Сегодня, друзья мои, мне очень даже весело: я удачно продал свою вещь и могу целый день шататься, бродить, читать и писать, о чем только мне вздумается. Деньги в твердой валюте лежат в коробочке от «Посольских» папирос, проданных мне миловидной моссельпромкой, и до чего приятно это ощущение в левом кармане, составленное из воспоминаний о душистых папиросах, миловидной моссельпромке и, главное, из чувства свободы на целый месяц через содержимое коробочки «Посольских» папирос.

Я сделал вещь и знаю, она хороша. Какое мне теперь дело до того распятого Я, положенного в ее основание. Вещь сделана, продана, идет по рукам, мы будем весело смотреть, как тысячи людей будут сменяться возле нее, а она все будет оставаться, и надолго: деланная мною вещь. Эта вещь — мое воскресение, и, пока не начал делать другую, мне очень весело смотреть на торговцев, везущих свои вещи.

Новая тема моя будет веселая: вещь и вокруг нее масса переходящих людей.

Вот один пожилой торговец укладывает в мешок дамские башмаки. Смотрю на башмаки и думаю: а ведь и это вещь, пересмотрю массу людей возле нее в произведении и

потреблении и так создам новую вещь. Я думаю, думаю, новая тема сначала увлекательно раскидывается, делается больше, и вот, как охотник преследует дичь, так и я преследую дамский башмак.

Невозможно себе представить, чтобы сельский совет деревни Костино командировал меня в Госплан для этнологического исследования лиц, составляющих это учреждение, и вручил бы мне мандат с правом составить тройку внутри Госплана для антропологического измерения черепов государственных людей. Наоборот, вполне возможно, и это уже совершившийся факт, мандат об исследовательской работе в Костине от Госплана лежит у меня на столе. Я могу войти в хижину кустаря для исследования, ко мне войти местный человек не может — между нами разница очень большая, и, чтобы не быть лицемерным, я с этого и начинаю, я исследователь, они туземцы.

В слове «кустарь» есть неприятный для меня привкус народнической филантропии, этой личины интеллигента, скрывающей самому себе несознанное тайное стремление к господству. Крестьяне, мужики — всё слова, с которыми связывается в моем представлении [прежнее] народничество или барство.

Я исследователь, имеющий в голове своей тему, они — туземцы, стерегущие мою плоть, как стадо, завидевшее на опушке леса серого волка. Их тысячи глаз следят за всем моим движением и разносят молву о мне другим тысячам, но им никогда не проникнуть в мою тему: они туземцы, я исследователь.

И вот именно для того, чтобы устранить всякую мысль о моей претензии господства над ними, я называю их туземцами.

В юности и у меня было стремление уехать куда-то очень далеко, где я человек с иной планеты, а они земные туземцы, чернокожие, никогда не видевшие белых. Теперь я улыбаюсь своему прошлому: 15 минут езды на трамвае с Тверского бульвара в кустарную Марьину Рощу совершенно достаточно, чтобы стать в положение Миклухи-Маклая, и если захочется, то, пожалуй, не менее рискованное: там кустари способны заготовлять [много пар]. А уже четыре часа от Москвы по Савеловской железной дороге до Талдома и полторы версты пешком до дер. Костино дают совершенно такую же перспективу, как в юности давала перспектива Ново-Гвинейская. Так было и раньше, но теперь стало особенно, за семь лет мы, смотрящие, потеряли чужие очки и многие сидящие переменили места.

Поезд отходит с Савеловского вокзала в 1 ч. 10 мин. дня, но я

приезжаю на вокзал к 11 и становлюсь в очередь у кассы, мне выгодней простоять тут два часа, чем потом четыре часа в вагоне. Однако и в 11 утра весь козий загон перед кассой, состоящий из четырех переходящих одно в другое отделений, бывает наполнен туземцами. У ног каждого лежат мешки с вещами, и по мере того, как в кассе выдают билеты, загон двигает по заплеванному полу, кто руками, а кто ногами, свои мешки.

— Осторожней, товарищ! — кричит один. — У меня в мешке одеколон.

Другой:

— Гражданин хороший, не наступи мне на пудру.

Третий, старый туземец, просит:

— Отец, помоги мне поднять на плечи вещь.

Я ему помогаю.

— Спасибо, отец.

Мне нравится, что Тверские туземцы почти все с незнакомыми говорят на «ты» и что называют «отец»: мне хорошо известно, что связь между туземцами, их лучшее дается пока в символах родства, «гражданин хороший» — ничего не значит, а «товарищ» — еще холоднее.

Какой-то свободный от вещей зубоскал, услыхав трогательную нотку в словах «спасибо, отец», говорит:

— Чудные эти торгаши, живут, будто плачут.

Сурово отвечает ему пожилой:

— Кормятся.

Передвигая ногою свои мешки, я был уже в последнем переходе загона, как вдруг мой сосед взволновался: там, с другой стороны, вне очереди кто-то втихомолку протянул в кассу руку.

— В очередь! — кричит мой сосед в новой бекеше.

Тот не повиновался.

Бекеша быстро шагнула туда и, взяв бессознательного за плечи, оттеснила от кассы.

26 Марта. Сегодня Петя сказал:

— Папа, не сиди дома, выйди, посмотри, что делается: тепло, с крыш каплет, а какой ветерок ласковый!

Я вышел. Небо нависло. Синим кольцом охватили леса большое белое блюдо, полное еще нетронутым снегом. Ближние деревья задумались, и так было тихо, задумчиво накануне великого праздника. А дорога стала высокая, будто железнодорожная насыпь.

Весна задержалась, далеко перешло время, сохраненные в девственной мощи снега вот-вот разольются. Всех волнует загадка этой весны: как выйдет переход от весны света к весне воды.

Мы живем накануне решительного момента, которым определяется весь год. Каждый это чувствует, каждый волнуется.

27 Марта. Земля показалась!

Петя сказал:

— Выйди, папа, послушай, овсянки поют!

Уже третий день без мороза, туман утром и потом приятные телу капли дождя. Дорога стала совсем горбатая, рыжая. Петя где-то видел, земля показалась, так и крикнул, придя из школы:

— Папа, земля показалась!

Я тоже заметил невидимые раньше полянки на валу.

Все задумалось, как будто кто-то бежавший долго вслед за весной вдруг коснулся ладонью ее недозволенного места, и от этого прикосновения она остановилась и задумалась… Закричали со всех деревень петухи. И голубые леса окутались туманом. Они остановились в раздумье, а он…

— Земля показалась!

28 Марта. Почти весь день дождь. Ни на лыжах по снегу, ни пешком по лесной дороге: в это время леса недоступны.

Если так пойдет — будет наводнение. Но, может быть, морозы **выжмут**.

Искусство и наука собирают в себя концы человеческие, называемые личностями; кто вступил на этот путь, тот и должен кончить в этом кругу: отношение к миру, к обществу тут бывает только через посредство личности. Художник и ученый живут для себя. Однако это очень утомительно — жить только через посредство своей личности, соблазняет постоянное желание выйти из этого круга и жить непосредственно, «как все». Соблазн является в образе чего-то высшего, будь это Природа, Бог или Человек.

Примеры: «Портрет» Гоголя, жизнь Толстого, попытка колонизации Маклаева берега. Боюсь, что и зреющая во мне философия наивного реализма (лес значительнее, чем мое описание леса; что предмет не исчерпывается моим к нему отношением. Пример: я говорю Рукавишникову: «Иван Сергеевич, лесное бродяжничество мне дороже, чем мое писательство». Рукавишников: «Значит, вы не о том пишете, вам надо больше писать о лесных ощущениях»), — что эта философия есть начало того страшного пути, которым художник пытается войти в мир из себя как художника. Есть, однако, пример, когда у нас писатель был на верном пути выхода в мир, не теряя себя как художника, — Достоевский.

Письма: Георгий Эдуардович Альшвейг.
Тальникову.

29 Марта. В низах вода напирает!

Как тает дружно!

Зима дружна была, без оттепели: вот и весна.

Тополя напрягают ароматную почку. Тетерева сверху проглядывают место тока. Глухари еще не начинали, но чирканья крыльями заметны уже на снегах.

На полях в горбатых местах узкими полосками кое-где показалась земля.

Туман, утренник мало-помалу расходился. Кричали петухи. По мере того как я приближался к селу, крик петухов усиливался, и, наконец, это был уже не крик, а петушиный рев, все село орало по-петушиному. Так будут скоро грачи орать на гнездах, выгоняя ворон, потом коровы, потом девки.

К обеду небо прояснилось, и леса почему-то кругом были не голубые, а фиолетовые.

Грачей заметно прибавилось, сегодня я их видел на дороге, где до сих пор они не встречались.

Конечно, случайно оторванная от правильного дела, в бесполезных, бездельных блужданиях душа художника встречает свой спелый виноград.

Чего я не люблю, так это больших научных экономических и статистических генезисов: с выводами и формулами, подтвержденными полстраницей петита под чертой текста. Раньше я смотрел на эти тома с пугливым уважением, как на деревья в лесу при охоте: птицы летают, звери бегают, а деревья стоят — так вот и стоят эти экономические основания. Но теперь стало так с этими основаниями, будто сами деревья в лесу стронулись.

Точно знал, бывало, проф. А. Ф. Фортунатов, сколько в России свиней, теперь конец ему, никто не знает, сколько в России свиней убавилось и прибавилось. Взять кустарные промыслы, в Статбюро о деревне Костино, где я живу, записано четыре башмачника, а у нас их сорок, всего башмачников в Статбюро 4 тысячи, а их 35 (объявились при записях крестьянами). Завтра приедут статистики и запишут верную цифру, а послезавтра приехавшие от голода в деревню кустари вернутся в города, и цифра опять будет неверной. (За год выехало в Петроград 20.) И так года на два, я думаю, цифрой жизнь ни за

что не ухватишь, и мне это очень нравится: пусть сами столпы-экономисты сдвинутся и поищут каких-нибудь новых путей восприятия жизни.

Все это дает мне смелость основать свои исследования на простом глазе и на простом здравом смысле: стоит дерево, так оно и есть дерево, а не дерево само по себе и мое представление о дереве. Точно так же стало ясно и отношение субъекта к объекту вообще, например, интеллигенция и народ, какая ерунда: я и сам народ; или вот я и обыватели: и я обыватель; или я и мужики: да ведь мужики все для меня разные, как для жены моей куры. Единственное честное отношение себя к ним — это как у путешественников: я исследователь, живущий интересами целого, и мое отношение к жизни центробежное (оторваться от нее и улететь), у туземцев интересы все местные, и силой живут они центростремительной (их тянет к своему домику). Вчера я испробовал действие слова «туземец» сначала на почте и сказал начальнику:

— Прошу вас никому не выдавать моей корреспонденции, потому что туземцы не могут, не распечатав моего письма, донести до меня: туземцы очень любопытны.

Видел, как начальнику слово «туземцы» очень понравилось, как потом в школе, в кооперативах, в лавках, на базаре, в охотничьем обществе — все решительно понимали меня и добродушно улыбались при слове «туземец». Перед началом весеннего половодья я съездил в Москву, достал себе исследовательский мандат и если захочу, то могу при помощи его войти в хижину туземца и сделать ему антропологическое измерение черепа; я занялся фотографией, могу его снять и представить карточку в Английское антропологическое общество. Пока я все это устраивал в Москве, моя точка зрения на себя как на исследователя и на них как на туземцев окончательно окрепла и уже на Савеловском вокзале начала приносить свои ценные плоды: Россия и раньше была вся неисследована, а после величайшей революции и говорить об этом нечего, писать дневники, и все будет ценно,

<На полях:> Вспоминаю случай в деревне Костино этой осенью. Из Москвы прислал Крыленко к нам в исполком письмо с просьбой оказать содействие в прекращении беспорядка охоты на волков.

30 Марта. Был ранний утренник, но, проснувшись в 7 утра, мы его уже не заметили: на стекле был только пот ночи, всходило солнце. Верба выкинула свои пупышки.

Пели овсянки по-весеннему (надо заметить, что 1-я птица начинает петь по-весеннему — синица, не знаю только, может

быть, раньше нее начинает токовать ворона).

Лева спугнул жаворонков и лохматого зайца. Петя слышал в лесу свист рябчика. Тетерева сидят на корчевнике (ивняк), зимой они на него не садятся — взять нечего. Они высматривают себе место тока. Виды на охоту хорошие; если бы начали токовать по насту, то потом, когда растает — это место или водой зальет, или оно станет черным и пугает птиц своим изменением. Теперь, пока не растает, им не начать.

С виду, в общем, снег лежит, как зимой, а пойдешь — и нет ничего, это вода, можно идти куда угодно, не уставая: ноги почти не задерживаются.

Начало рассказа о тетеревах:

— Вы только не подумайте, что я, как думают об охотниках, буду **прилыгать** или заманивать вас, как сказочники, славу такую об охотниках создали городские болтуны, кто является на охоту с бутылкой в воскресный день, их таких множество, и от них все и пошло, будто охотники врут. Настоящие охотники, кто знает охоту, никогда не врут, а спросите на Трубе у кого угодно — и все скажут в один голос: «Майорников знает охоту, как поп Егор "Отче наш"».

Свое исследование я основываю на врожденной способности общения с местными людьми: я могу, когда мне захочется, привлечь многие сотни уст для рассказа о своей жизни — нелегкое дело их всех выслушивать! но когда вработаешься — и забудешься, то становится, будто это не люди, а сама земля раскрылась и говорит в сотни уст. И когда в этом забудешься, то тут-то начинается я-сам, а ведь это и есть самое главное: узнавать себя самого в жизни других людей.

Эту способность в себе вызывать к обмену чужих людей сокровенными мыслями я объясняю, как это ни покажется странным, происхождением себя от торгашей: мои предки были торговцами и нажили себе в Ельце большие каменные дома. Отец мой не торговал, но был страшный картежник, охотник, лошадник — душа Елецкого купеческого клуба. Здоровые капельки крови моей матери поддержали мое бытие, и так я из торговца переродился в литератора.

Я собрал сведения, что в отдаленное время предки мои были ремесленниками, токарями (пришва значит точеная часть ткацкого станка). Итак, в своей крови я имею все элементы окружающего сейчас меня в деревне общественного состава из ремесленников и торговцев.

И вот когда теперь сотни торговцев и кустарей-башмачников рассказывают мне свою жизнь и их интересы борются между собой, то и внутри меня борются элементы моего родства с ними: торговая жизнь — на счастье, на удаль и общение и производственная — кустарная, одинокая, тоскливая песенка, переходящая по временам в злобный протест. Не скрою о теперь уже пережитом наивном стремлении своем когда-то обзавестись своим собственным домиком и узнать в этом счастье.

Словом, исходя сам от туземцев и, с одной стороны, как вырожденный бесконечно далек им, а с другой, и бесконечно близкий, и потому, я думаю, обладаю самыми счастливыми условиями для исследования их быта.

Тему исследования я себе выбрал очень интересную, мне нужно изучить производственный быт разного рода кустарей по такой схеме:

Производство

Homo faber[6] — человек, изготовляющий орудие производства. Орудия производства. Процесс. Производство.

Быт

Homo sapiens[7] — человек, творящий слово. Состав технических слов. Быт и фольклор.

В Ленинско-Кимрском районе есть до семнадцати видов разных кустарей, самый некультурный кустарь, работающий просто руками — валяло, самый интеллектуальный, работающий тончайшим инструментом, иглой — скорняк, средний между ними — башмачник. В конце концов, моя работа есть расширение идеи Бюхера, выраженной в его книге «Работа и ритм»{69}. Быть может, мне удастся, в конце концов, проследить, как при механизации ремесла на фабрике исчезает песня (поют машины) и песенная душа мастерового перестраивается в сторону интеллекта и воли.

Знаю, что работа эта должна быть многолетней, и не мне ее сделать, но для самого простейшего очерка «Жизнь кустаря» для наблюдения нужно иметь в себе план — и это есть мой путь. У меня есть папки с разными названиями, в которые я складываю свои материалы. Первая из них: «Карта промыслов и районной техники». Мысль о такой карте мне пришла в голову в комиссионной лавке [Елизаров] и К° во время наблюдения приема товара от кустарей. Приемщик Ефрем Васильевич Елизаров, знаток уезда в башмачном деле, взглянув на башмак, говорит: «Это из Зайцева» или «Это из Кузнецова» и т. д. Улучив

время, я зазвал приемщика в пивную, и тут он мне продиктовал на бумажку, где живут башмачники-рантовики, где гвоздовики, где выворотники, где гусарщики. Вскоре я нашел старого статистика Алек. Аф. Смирнова, и он взялся мне вычертить карту и нанести на нее разными красками и разные роды техники. К этому делу подоспел учитель обществоведения школы второй ступени В. П. Станишевский, и с ним выработали мы план проверки карты на местах: мы составили анкету и, сделав несколько экскурсий с учениками летом в ближайшие деревни, разбили всех учеников на группы и направили их самостоятельно проверить в разных местах района нашу карту. Если не подведут «шкрабы» (устали от зимних занятий), наша карта будет ценным вкладом. Есть у меня еще множество папок: техника, песни и сказы, история быта. Кроме того, есть дневник. Сейчас у меня [полный] порядок всего из жизни башмачников.

1 Апреля. Вчера утром мы встали — был с ночи и продолжался весь день дождь, и уснули — все урчала в желобах вода. А утром сегодня на крышах лежал свежий снег: он, конечно, скоро растает, всходит солнце.

Все это называется: «За дедушкой — внук пришел» — внуку не сделать того, что сделал дедушка.

Я видел сон, будто бы где-то в лесу нашел дачу Сабашникова, Лева вошел туда с Яриком и затих там, мне было видно, как Ярик сделал стойку. Так мы долго стояли, и наконец там внутри дачи показалась большая, вроде страуса, птица. Я очень удивился, почему Лева в нее не стреляет, и навел ружье, но почему-то не выстрелил и сам вошел в комнату. А Ярик нашел за это время петуха и жевал его. Птица исчезла, Лева исчез, показались в конторе люди. И вот странно: куда же я дел свое ружье, где мое прекрасное ружье? Я хочу их спросить, но не решаюсь, им это покажется странным. Я хожу, ищу свое ружье. Чего же это я, помешанный, что ли, было мне видение? Я спрашиваю какого-то небритого брюнета: «Вы не медик?» — «Нет, — отвечает очень любезно, по-докторски, — но что вам, я могу вам ответить». — «Вот со мной было что-то вроде видения». — «Вы опасаетесь за свой рассудок, не бойтесь, это случайно, вот если это будет повторяться часто, тогда образуется пунктик…» После этого я иду в переднюю, надеваю свое пальто и с радостью чувствую, что ружье висит у меня за спиной, смотрю — оно, с резьбой, мое чудесное ружье. Тут мне встречается прелюбезнейший Михаил Васильевич Сабашников и говорит: «А Скотников вам очень умно ответил: "Вам нельзя заниматься учительством"». Я схватился за ружье, а его опять нет за спиной, и страшное охватило меня

беспокойство. Вокруг меня всё служащие и родные Сабашникова, особенно значительна жена — старуха в голубой кофточке навыпуск, седая, розовая, с голубыми глазами, чистая такая старуха и строгая: в ней моя погибель, эта уж никогда меня не поймет и осудит, потому что у нее свой дом и дело Сабашниковых, и свой дом и дело Сабашниковых есть для нее сущность мира: все остальное приблудное. «Вы, — спрашивает она, — скоро едете в Петербург?» Я очень обрадовался, подумал, мне дают какое-то поручение. А она строго мне и надменно: «Какое же вам можно давать поручение». И все вокруг смотрят на меня с презрением, и я им не могу, не могу открыть своего видения и спросить не могу, не видал ли кто-нибудь мое прекрасное ружье.

Все больше и больше живя, удивляюсь, откуда у меня взялось такое натурное какое-то, чуть ли не антропологическое сродство с Кнутом Гамсуном, если бы я когда-нибудь им очень увлекался, если бы поразил он меня собой раз навсегда каким видением, но этого ничего не было, и до чтения его романов я жил и писал, совершенно как он…

Я сказал Наташе и Тане: «Толстой недаром написал удивленное письмо Миклухе-Маклаю{70}, он в этом официозном филантропе узнал такого же эгоиста-охотника, как сам. Вот и я тоже в своих подарках вам (Наташе я принес 100 штук папирос, Тане 2 фунта мармеладу) вижу в себе такого же эгоиста-охотника». Они ответили: «Если так понимать, то все эгоизм». — «Нет, — ответил я, — духовно покорять без оружия дикарей, проповедовать, как Толстой, любовь между людьми — приятное дело, и сделать подарок молодым барышням прежде всего приятно самому себе, но если матушка этих барышень откроет нужду свою и потихоньку, очень робко, попросит у вас денег, то дать бывает, особенно истратившись на подарки, неприятно охотнику, в этом случае примет к сердцу нужду и даст без чувства удовольствия, но и без чувства неприятности скорее всего не эгоист, и быть таким внимательным к нужде и приохотить себя к этому на постоянство, чтобы в характер вошло — много труднее, чем покорить всех туземцев Новой Гвинеи, — труднее, потому что невозможно в этом случае победить в себе отвращение к человеку». Наташа спросила: «Но ведь есть же такие люди, умеют же они победить это отвращение?» Я ответил: «Они побеждают через Бога, они все религиозные».

У Петра (чужой человек деревне: слесарь) десять человек

семья, жена померла, кормил семью маханиной{71} (кожу сдирал за мясо) и грачами. Бывает, такой человек улей с медом стянет. И всем считается враг, проклят и осужден навсегда. А башмачник сделает башмаки из газетной бумаги, продаст, и ему ничего: наработал!

Есть коммунисты в ближайших к городу деревнях, служащие, а вообще в деревне настоящему деревенскому человеку, который в ней и живет и кормится тут — быть [коммунистом] невозможно. Ведь такому человеку нужно в партии о своей деревне доказывать, каждый это знает в деревне, да тут одни бабы съедят.

Командировали глухого старика на беспартийную конференцию, соблазнили его ситником, что на конференции ситники будут выдавать, набрали таких четырех и отправили, а из женщин никто не согласился, хотели послать Аннушку, да она подняла полу от шубы и говорит: «Вот видите, юбка какая, — и пойду, вот довели до чего», — и пошла, и пошла.

Ораторов теперь и не слушают, скажет: «Ну, у меня работа!» — и пойдет домой.

Вода в речке лед подняла, потом он осядет и покроется водой, и как только вода — по воде чайка летит, и как чайка показалась, так знай, что и утка тут.

А вальдшнепы прилетают после, когда в лесах будут хорошие проталины.

В моей памяти мало примеров, что отец торговец, а сын писатель, художник, поэт — и какой писатель, какой художник, какой поэт; сын-художник похож на отца, как человек на обезьяну. И вообще, как раздумаешься, до чего торговец, ну совершенно как человекообразная обезьяна, похож на художника: ведь та же самая страсть к веществу, та же мертвая хватка, та же бродячая мысль, охота к передвижению, охота к счастью, удаче, к случаю, и в последнюю минуту решимость — va banque![8]

Значит, что же, художник происходит от торговца, как человек от обезьяны? Кажется, так…

А почему-то кажется наоборот, что некогда был художник, а потом, когда личность его умерла, то остаток его — безликое — стало торговцем. И что сын торговца бывает художником, это ничего не доказывает: вырождаясь, торговец может возвратиться к своему первичному… Так или этак, а связь [прямая] между этим есть.

За дедом внук пришел: наст.

Мы пошли с Левой и Петей посвистать рябчиков. У мостика Лева от нас отделился, пошел в Нестеров лес, мы с Петей в Алексееву сечу. Сели рядом на пни, я закурил. Помолчал. Петя шепнул:

— Ну, посвисти.

Я пикнул в дудочку и сделал коленце.

Не отозвалось. Только далеко где-то бормотал тетерев.

— Тетерев или вода поет?

— Тетерев.

— Нет, кажется, вода.

Опять помолчали. И еще посвистали. Не отзывается. Крикнула близко ворона.

— Давай ружье попробуем.

— Давай.

И мы пошли на ворон. Снег был глубок и затягивался настом, шумело под ногой. Ворона улетела. Вдруг Петя встрепенулся:

— Свистят, слышишь?

— Не слышу.

— Посвисти.

Я пикнул.

— Отзывается, слышишь? еще посвисти!

Я еще посвистал.

— Опять отзывается. Ну, еще! Слышишь? ближеет.

— Готовь ружье: смотри и вверх, и вниз, может пробежать и по насту.

Петя напрягает глаза, навостряет уши, ружье наготове. А рябчик все ближе, ближе, и, когда вот бы только увидеть и стрельнуть, вдруг Лева показывается и…

— Ха, ха-ха (это он свистел), 1-е Апреля!

Трудно было возвращаться, сверху наст, внизу по колено вода. Оранжевая заря, строгая, горела на стеклянных лужах. И что это — тетерев бормочет или вода поет? Мы все трое стали на большую вытаявшую кочку, прислушались.

Так тихо!

И вдруг поняли всё: это совсем близко от нас вода, капающая на мостик, переливаясь через [край], пела, как тетерев.

2 Апреля. Утром и вечером легкие морозы, а днем разогревает, и медленно, а дело весны продолжается: вода напирает. Рано встанешь, до восхода, наработаешься, отдыхаешь после обеда, и так хорошо бывает взглянуть в окно на небо: оно

все в цвету, теперь, когда еще снег не сошел — счастье неба, его именины.

Вечером под черными крышами (нигде ни снежинки) бывают особенные, весенние звезды.

Существует художественная богема неизвестно для чего, без нее было бы скучно, и вот цыгане кочуют в наше время, в банях незнакомые люди в голом виде дружелюбно беседуют; и у торговцев есть эта же самая первобытная общительность, как у художников, как у цыган и в банях у голых людей. Есть что-то общее в природе торговцев и художников: эта же страсть к веществу жизни и расположение на счастье, на судьбу, на случай, бродячая мысль, как парение хищной птицы в воздухе, зоркость глаза и мертвая хватка, когда увидел свое: художники и торговцы — охотники жизни.

Но есть и коренное различие. Нет, заняться демократичной торговлей, испытать свое счастье — тут может всякий: купил десяток моченых яблок, две пачки спичек, махорки и начинай дело! А художество все собирается в личностях. И, отравляясь избытком жизни, личность большого художника ищет пути вне своего призвания и часто кончает проповедью надуманной морали. Наоборот, торговцы большей частью отравляются сами собой, просто, как собаки стрихнином, и кончают безнравственно. Впрочем, и у нас ныне за грехи свои строят деревни и богадельни: есть, несомненно, в торговцах и художниках какая-то одна природа, всякий торговец похож на художника, как похожа обезьяна на человека.

Рядом с новой, обрытой канавами, советской дорогой всегда остаются существовать и старые, не обрытые, с большой пользой. Весной дорога новая рано обтаивает, по ней бы можно ехать и на колесах, если бы она приводила прямо к селу, но в том-то и дело, что проселочные дороги, не обрытые, и если бы не сохранялись зимняки, то весной бы нельзя было ехать ни на санях, ни на колесах. Вот зачем сохраняется старая дорога, что ранней весной она — один путь с проселочными. И долго, смотришь, стоит бесполезная новая дорога почти сухая, а по старой ездят на санях и на базар, и в церковь множество деревенских людей.

Хозяин угощает гостей — это приятнее всего самому хозяину: попроси же гость на свою нужду немножко денег — и хозяину (пусть он и даст их) будет неприятно: ведь угощает хозяин сам, а тут он не сам.

Есть люди, которым придет в голову спросить меня о долге образованного человека перед туземцами, о том, как это можно слушать лесную музыку и оставаться спокойным к темноте населения, встречаясь с этим ежедневно.

У меня раньше тоже бывали эти настроения от избытка ли жизненных сил или от счастливого положения образованного и боязни, как бы оно не нарушилось.

Теперь я обеднял и весь погружен в работу для своего пропитания, и такие вопросы мне в голову не приходят: не до жиру, быть бы живу. Я и тем доволен, что, кажется, никому вреда не приношу, и к занятию моему все относятся с большим сочувствием.

Народное ли верование, что первая книга с неба упала{72}, или проповедь и полурелигиозная гражданственность нашей старой интеллигенции, но только в народной массе существует уважение к писателю: я знаю, что наша деревня в целом гордится, что я в ней живу.

Конечно, деревня — это совершенно что-то другое, чем сельский сход, на которых действуют горланы, и среди них первое лицо «барон» (во многих деревнях, я заметил, есть тип, называемый бароном). Надо быть страшно осторожным с этим сходом. Я уже говорил на примере с волками, как неверный прицел в Центре на один миллиметр — на месте порождал чудовищные несообразности. Точно так же и мои поступки («я» — тоже Центр) в деревне должны быть чрезвычайно точно взвешены.

Я сделал ошибку, что сделал уступку сходу и заключил условие о квартире с ними не как хотел, у нотариуса, а в волостном исполкоме (расходов масса). Выморочный домик я снял на два года по 5 р. золотом в месяц и вперед уплатил за год. Все шло было очень хорошо — и вдруг получается казенная бумага, что с жильцами условия должны быть нотариальные.

Казалось бы, дело просто решается: составим нотариальное условие. Как бы не так: на сходе решили воспользоваться этим и обложить меня еще пятью рублями помесячно, как раз вдвое.

5 Апреля. Внук за дедом пришел, насыпал снегу, и солнце сегодня взошло ярко-весеннее, а снег блистает искрами, как никогда не бывает зимой: свет, и огни, и особенный запах мороза на солнце, будто это само солнце так пахнет. Вдруг открылась дорога по насту во все стороны, легкая, как по морскому пляжу, и так бодро идти и куда хочешь — по полям, и лесам, и болотам — нигде не проваливается нога. В это время хорошо подсвистывать в лесу рябчиков и дожидаться, как они выбегут по насту из-за куста. Две тетерки разместились в снежной яме на солнце и

допустили меня на короткий выстрел — стрелять их, конечно, не стал. Заячьи, лисьи следы везде перекрещиваются и все голубые. Нехорошо только одно, что боишься, разогреет очень горячее солнце, и потом так и останешься тут и будешь весь день выбиваться на дорогу, барахтаясь выше колен в подснежной воде.

Бедность я не люблю за то, что от нее пропадает жизнь в мускулах и цвет на коже, показывается скелет человека и его подзаборное «я». Правда, в душе человека есть та же кость — его подзаборное «я». В целой личности эти кости, повитые крепкими мускулами души и цветущей кожей, незаметно держат всю душу, а когда душа обеднеет и показывается эта ее кость, то невыносимо становится жить около нее: все колет в том человеке, во всем претензия на власть и шипучая злость в бессилии радоваться, и везде «я» и «я».

За двадцать лет, которые ушли у меня на писательство, я все почти перезабыл, чему учили меня в высшем учебном заведении. Но у меня осталась смелость перед ученым людом, что они не боги, и если я захочу, например, исследовать жизнь курицы, то и я могу сделать очень ценную работу. Еще у меня осталось от высшего учебного заведения: такое мое исследование может быть ерундой, и даже вся моя писательская деятельность просто моя ахинея. Значит, от общения с атмосферой высшего учебного заведения у меня осталась смелость перед людьми и робость перед наукой — вот это и есть моя степень гораздо высшая, чем доктор философии. Это и позволяет мне сейчас заняться исследованием жизни кустаря.

Интеллигенция умерла во мне как претензия на власть над людьми: в скрытом состоянии, без сознания, в образе блага народу жила жажда быть не самим собой, а властелином. По мере того как я утрачивал претензию на власть, мне открывалась жизнь из самого себя. В момент, когда большевики взяли власть, я вдруг возродился прежним претендентом на престол и вступил в борьбу за власть. Теперь это, кажется, совсем умерло, а, может быть, нужно ожидать, снова будет возрождение.

Наш свист застал рябчика у куста можжевельника, спустившего свои ветви до самого наста. Рябчик выбирал тут себе ягодки и очень много натаптывал на снегу и насыпал иголок можжевельника. Вдруг он услыхал свист и побежал, задрав хвост петушиный, оставляя на снегу отпечатки своих тройных вилочек.

6 Апреля. Ночью вчера мы с Петей ходили слушать глухарей,

но так было холодно (градусов 10 мороза), что стали под елку на проталинке и, подпрыгивая на месте, сами до света протоковали. Утро было тихое, что, не зная календаря, никогда бы не узнал весну. Зато ходить хорошо: везде дороги, как по скатерти. Убили двух рябчиков: ходко идут на пищик.

— Мелкие торговцы. Отчего они пошли и откуда они взялись; первое — многих научило торговать голодное время, второе — так я считаю, все пошло от Павла Ивановича Щетинина из Сазонова, вы, наверно, его знаете?

— Нет, не знаем.

— Ну, как не знаете, наверно, слышали, у него каменные дома… Так вот, однажды Павел Иванович набрал себе неходкого товару, что делать? Погибает человек. Приходит к нему татарин и говорит: «Павел Иванович, я тебя выручу, давай нам весь товар, все продадим». Послушался их Павел Иванович, разобрали они его товар по рукам — и по домам — где передник, где кофту всучили. И в короткое время Павел Иванович от неходкого товару получил больше, чем от ходкого, и понял он, что ежели товар не идет — человек должен с товаром ходить. Но ежели и товар идет, и человек идет — еще лучше. Это и завел Павел Иванович Щетинин, от него все и пошло, и в конце концов вышел Моссельпром,

— Но позвольте, ведь Павел Иванович сам у татар взял свои идеи.

— Так оно же и всё от татар, и слово «барахло» — татарское.

— А [ходя[9]] взяли у китайцев…

— Стало быть, все-таки Моссельпром от китайцев пошел?

Нужно богатеть, пока тебя не знают и пока дети у тебя маленькие.

Вера рабочего.

Душевное право.

Суббота земли. Одумка — ретроспективный взгляд.

Не знаю, зачем надо говорить «ретроспективный взгляд», когда можно сказать просто: «одумка».

7 Апреля. Благовещение. Этот чудесный праздник мы не можем, не имеем душевного права переносить на другое число, и сделать это может только молодежь, которая не помнит отцов и все начинает вновь.

Читаю Уэллса «Спасение цивилизации»{73}. Думаю: это попытка синтеза, стремление человека овладеть самим собою,

выбиться из той системы подавления и механизации человеческой личности, которую делает «цивилизация».

Мне сказал Елизар Наумович, что за последние пять лет башмачники поздоровели, потому что детей больше не колотят в мастерских, правда, зато и учат плохо, но не колотят, и нужды у мастеров меньше: поправились.

И хорошо! Очень радостно! Если бы в прежнее время сказали, что какие-то [башмачники] поправили здоровье, я, наверно, даже не отметил бы себе это в тетрадку. Теперь очень приятно, потому что все через себя прошло, помнишь, чего хочется голодному.

13 Апреля. Вчерашний день был то самое, из-за чего бывает весна, все ее муки творчества, с обманами, морозами, метелями. После суток дождя с сильным юго-западным ветром — вдруг солнечный теплейший день, и глубокий, до колена снег в лесах — уничтожен. В эти дождливые ветреные сутки был валовой прилет дичи, вся она [принялась] вчера утром встречать солнце: журавли, кроншнепы, чибисы, скворцы, дрозды — все заговорило. Вечером был слышен даже 1-й бекас. Убил трех вальдшнепов, но эта тяга еще неполная.

На льдине мышь токовала, кружилась и пела по-своему.

Когда я спросил Ефр. Вас., можно ли заменить кустарное производство механическим, он сказал:

— А можно, чтобы ваше писание заменилось типографским: книгопечатание — башмакопечатание.

После сильного ночного заморозка солнце взошло в полной силе и так разогрело землю, что от нее сильно парило. Пара жаворонков поднялась с озими, держась друг за друга крыльями с одной стороны, другою парой крыльев поднимались вверх. Брачный полет пары продолжался несколько секунд, после чего самка — верно, это была самка? — чуть тряхнула крылышком, спустилась и тихонечко-тихонечко пролетела над самою озимью, вероятно, высматривая местечко, где бы ей снести потом яйцо, а он, самец, с песней поднялся очень высоко, там и долго пел, вероятно, прославляя в небесах снесенное на земле его подругой яйцо.

Многие вещи против прежнего нынче совершенно никуда не годятся, и кто вырос теперь, не зная того старого, тому уже, значит, эта утрата совершенная, даже воображение не может нарисовать милый образ: взять хотя бы для примеру

замечательные прежние наши московские филипповские калачи — ну, что это за роскошь, бывало, утром к чаю принесут горячий калач, полный, и упругий и мягкий, как грудь нежнейшей, [чистой] молодой девушки. Аромат первейшей крупчатки так наполнит комнату, что вы, закрывши глаза, скажете: «Тут где-то пахнет филипповским калачом!»

Моя матушка любила по приезде своем в Москву первым делом купить калачей, коробку зернистой икры, немного луку и свежих огурцов. Намазав на половинку калача зернистую икру, она посыпала ее мелко нарезанным зеленым луком, закрывала это другой половинкой и ела, прикусывая, охлаждая [икру с луком] холодными сочными огурцами.

К местным властям у меня совершенно такое же отношение, как у благочестивой старушки, прибывшей из-за тысячи верст в монастырь, — такой старушке, что ни говори о монахах, она все будет отвечать: «Плоть немощна, а сан жив». Я тоже, когда мне доносят и просят написать о местных властях, ссылаюсь на сан их: «Великое дело, — говорю, — их сан!» И после того мой нашептыватель умолкает, вполне соглашаясь со мною, что он судит только по плоти, а не по духу, и часто даже прибавит: «Я против идеи ничего не имею, идея очень хорошая!» — «Значит, — спрашиваю, — вы признаете, что сан жив?» — «Да, — говорит, — признаю». — «Ну, в таком случае, — отвечаю, — не будем говорить о плоти, все мы великие грешники по плоти, вот если бы вы сказали, что сан мертв…»

«Несть власти аще не от Бога»{74} — это можно понять так, что происхождение всякой власти объясняется верой в Бога, что первоначальный властелин распоряжается людьми, искренно веруя, что через него распоряжается Бог. Но если потом властелин и забывает Бога и распоряжается сам от себя, то все равно — силу свою он имеет в людях, сохранивших верование, что власть им дана от Бога. Это суждение «нет власти» и проч. кажется теперь очень наивным, потому что… у нас не общество, а естественная история.

15 Апреля. На отдыхе под огромной елью на той поляне, где зимой все бывало в следах и все следы сходились под ель на поляне, мы взяли от ветки ели всего три конечных пальчика и сосчитали, что жителей — тонких зеленых иголок — было на них больше, чем в нашей деревне; прикинув на всю ветку и после на всю ель, мы решили, что всех жителей тут на одном только дереве гораздо больше, чем в Русском государстве во всех его

республиках. Такое огромное общество держалось на одном могучем стволе, которое было государством этого общества.

— Дети мои, — сказал я, — корни, на которых мы сидим, уходят в землю, вершина, похожая на указательный палец, высится к солнцу, и все жители на свету работают. Наши человеческие жители отличаются от древесных тем, что располагают в движениях своих как будто свободой, но душа их сохранила воспоминания о могучем неподвижном стволе и потому стремится тоже к неподвижному; так создают они вокруг неподвижной идеи, которая называется Бог, государство и так связывают всех жителей в то же самое неподвижное, чем является дерево.

Рассказы Петра Петровича Майорникова

Мы сближались, и наконец я спросил:

— Мы живем в рабоче-крестьянском государстве, и спрашивать это неловко и странно, но все-таки я решаюсь спросить вас: какое ваше отношение к советской республике и рабоче-крестьянской власти?

— Мое отношение, — ответил Петр Петрович, — двойное: я стою за рабочую власть, но против крестьянской, мужиков я очень не люблю, потому что бык, черт и мужик — это одна партия. Я сам, изволите видеть, вышел из мещан, отец мой был золотых и серебряных дел мастер, и звали его просто Сребреник, но был он, истинное мое вам слово, настоящий бессребреник и жадность эту мужицкую ненавидел всей душой, с детства нам это твердил: поп, купец и мещанин — одна партия, бык, черт и мужик — другая.

— Позвольте, — остановил я, — вы сказали, ваш отец был бессребреник, а как же он мог себя причислить к купцам нашим?..

За ночь окна мои очень отпотели, я протер пальцем себе глазок и увидел на траве густую серую росу, сердце мое защемила тоска по лесам: только ранней весной по воде бывает мне так хорошо в лесу, как вот теперь, осенью, и охота по узорке с гончей мне много лучше, чем потом по знаменитой пороше. День был — воскресенье, я оделся и отправился на Трубу присмотреть себе гончара. Дрянь, конечно, собака на Трубе…

18 Апреля. Нашим собакам строго запрещено передними лапами становиться на стол и не только трогать, но и смотреть на пищу, если же что упадет со стола, то это обыкновенно уже — все их. Мы запрещаем и кошке нашей лазить по столам и полкам, но

без нас она это делает под предлогом ловли мышей. Раз я был дома и так сидел тихо у себя, что животным, наверно, было, будто дома нет никого, и скоро я замечаю в кухне какой-то подозрительный шум. Я тихонечко подкрался к двери и через щелку увидел на столе Маруську: кошка лапкой подвигала косточку на край стола, а у края дожидалась собака; кошка сбросила косточку, Ярик поймал на лету; ей это, видно, понравилось — она другую сбросила, и другую Верный хамкнул. Когда все со стола было сброшено и съедено внизу, Маруська спрыгнула. После улеглись, и она, мурлыкая, терлась около ног, долго трясла хвостом возле их морд и наконец свернулась клубочком между лапами Ярика.

Снег сошел совершенно, и белый клочок его где-нибудь (залежалый) встречаешь так же редко, как белого, еще не вылинявшего зайца: иногда подумаешь: «Вот еще остался клочок», — и вдруг этот клочок как пустится! Вчерашнее тепло было так сильно, что с полудня пары земные собрались наверху так густо, что явно уменьшили силу света солнца, хотя не было на небе ни одного облачка. К вечеру солнце от теплых паров стало бледнеть, и когда взошел рано недоконченный в кругу месяц, — солнце, против него тоже бледное, отличалось от месяца только полнокружием; но густые пары, в которые оно садилось, скоро и от него растворили в себе кусочек, и один момент невозможно было отличить луну от солнца; солнце, далеко еще не доходя до черты горизонта, совершенно исчезло за матовым покрывалом, а луна высвечивала раньше обыкновенного. На пять минут раньше потянули вальдшнепы и бешено носились над лесными полянами при луне далеко за положенный им сумеречный час.

Это был вечер наибольшего напряжения жизненной силы, все пело, бормотало в лесу, шлепало по лужам, и тут в первый раз собрался с силами, сорвался и полетел, жундя на весь лес, майский жук.

Напряжение березового сока (березовик). Поющая крыса на льдинке, кружилась и пела — горностай подкрался дальше своих, посмотрел и удирать.

Ожили лягушки. Пробовали сесть на муравьиную кучу: ожили! Змея гадюка шипя выползала.

На дне луж — трава снитка. Старая двухлетняя трава подняла головы. Зеленеют кончики почек. Ели крапивные щи — а крапивка еще темная.

Что наворотили кроты. Рябчики плохо идут на манок самца.

Подкрался к токующему тетереву и убил одного в 5 утра и потом другого в 7, третий меня оглядел и сорвался. Я

подкрадываюсь — утверждается звук, утверждая, я иду — чмок! нога, чмок! другая, кусты, невидимые прутики охватили, и спастись от них — только податься назад — самое страшное — сучок — тресь! вода — счастье, в воде можно идти совсем неслышно; вот целый пруд, а за прудом куст и за кустом на поле токует; неминуемо в воду: я ей рад, и если бы даже пришлось по горло погрузиться, — мне вода бы тепла была. Вдруг кашель чешет горло, я ложусь на землю, набиваю рот березовым прелым листом, и это так страшно [влияет на] кашель, что он исчезает. Глянул за куст, и там, в тумане, это не тетерев, а лошадь — [движется] и расстояние неизвестно… Кричат домашние петухи в тумане.

Такой день является один, но каждый год возвращается, хотя в другой форме… две силы: одна, чтобы день был точно таким, такого же значения, как и прошлый год, другая — с новым небывалым отличием. Та же центростремительная сила, внутрь обращенная, тяготение и центробежная — центробежная тоже кончится кругом, но более широким: расширение круга.

Центростремительная сила (косная), женская, сейчас находится вне нашего морального зрения, и мы оцениваем только силу расширения, прямой линии, «воли» (вырождение знания в добывании средств уничтожения — вырождение рыцарства).

19 Апреля. Травянистые колеи лесных дорог начали оживать и отделяться зелеными змейками по желтым лесным полянам и на серых лугах.

Сколько раз приходил к этой мысли и не могу в ней чего-то своего верного поймать, все опять расплывается весенней радостью, а мысль эта моя начинается, кажется, так просто: я задаю себе вопрос, откуда берется в душе от глубокого соприкосновения с природой эта ни с чем не сравнимая радость? ведь кажется, если и опомнишься и хорошенько подумаешь — в природе так много того, что мы ненавидим в человеке и стараемся искоренить это в детях: в природе намешаны в теснейшем соприкосновении хищники и кроткие жертвы их, безобразие и красота, насилие, лукавство, обман рядом со стыдливой скромностью, голубиной привязанностью и верностью: весь человек тут изображен.

Все не доберусь до Эйнштейна с его принципом относительности, но, ничего не понимая в этом, все-таки начинаю пользоваться, например, обыкновенный петух мне казался раньше чем-то почти вечным и всюду одинаковым явлением, теперь я

считаю, что петух в отношениях представляет разные явления…

Не постояв на вечерней заре, трудно понять зарю утреннюю, а лучше всего поспать в лесу между зорями: тогда будешь все легко понимать. Но бывает все-таки утренняя заря такая, что и на вечерней заре постоял и даже ночь переспал в лесу — никак не понять. Это как у нас, у людей, революция: после понимается.

Не сладкая ты, жизнь, была в юности, вся сладость собирается к старости, но…

Погода стоит… но почему же она стоит? как это говорят так неясно: погода никогда не стоит совершенно так же, как наша жизнь. Лучше того, как сейчас **идет** погода, — не может быть. Я стою перед березой, а за ней выдвигается пожар огромного месяца. Так быстро он поднимается, светлеет, уменьшается и остановился за березой: она, напряженная в своих девственных соках, он, мертвый, за ней.

Большой ястреб-тетеревятник, — я видел его, он весь день точкой висел в небе, [замерев], высматривая и теперь, собирая дань, [летит] по месяцу, над березой и прямо на меня. Его надо убить — я убил его. И змея зашипела — я подставил ей ствол, она вылезла, я поднял вверх руки с болтающимся кончиком змеи и выстрелил — змею тоже надо убить.

И все это было, все было: и месяц, и береза, и ястреб, и змея, и я сам, не раз умерший и не раз возрожденный. Почему же кажется так хорошо это сожительство всех нас: и ястреба, и березы, и месяца, и змеи, и елей — чего, чего нет! и все хорошо — почему хорошо?

Я хожу в одно место удобрять землю, и ежедневно тянет меня ходить именно в то же самое место — почему? Потому что это моя суточная исходная точка и, совершив суточный круг, я должен возвратиться к исходной точке. Мне приятно возвращаться на то же самое место.

Так, верно, все в природе — мои исходы, процветающие во времени, верно, потому мне так и хорошо в природе: тут мой навоз, тут мой дом: тут я умирал, проваливаясь вниз, и тут я опять поднимался. Моя голова — купол огромного здания со многими этажами вверх, и с самого верха, с купола, вечерним пейзажем раскинулась вся моя прошлая жизнь.

Без этой вечерней зари, не постояв тут, трудно понять зарю утреннюю: я поднялся и вижу утро…

Не всякий рябчик идет на манок.

Не всякий тетерев глохнет, когда бормочет, другой и

бормочет, и сам не забывается.

Когда человек слушает дальние звуки, у него бывают собачьи глаза, и, когда собака смотрит в глаза человека, у нее бывают глаза человека.

22 Апреля. Нет Эллады, но греки живут и в наше время: значит, жить можно и без Эллады.

А в юности, нашей прежней, идеалистической юности, казалось, нельзя жить на земле без такого отечества.

И вот все провалилось — Эллада, Россия, великое отечество, осталось только «есть хочется», и в этом одном — как бы добыть себе днесь кусочек черного хлеба — был смысл жизни. И хотя бы «Отче наш»! — и «Отче наш» не было: голый кусочек хлеба, выменянный на рюмочку соли, — вот всё!

Я теперь понимаю: они были правы, те, кто хотел у нас переменить все, не считаясь с жертвами. Они знали положение и не хватались за призрак Эллады. И они победили, как ветер, устремленный в опустевшее место.

Последний интеллигент показался на верху патриотической волны, взмытой войной с Германией, и тут ему была смерть: революция была ему, как агония.

И потом пошло сплошное: «есть хочется».

Одни, как маленькие дети, жалуются: «Есть хочется, а не дают», другие требуют сказать «Отче наш», третьи хладнокровно делят поминальный пирог.

Я принадлежу к тем рабам, кто хочет сказать «Отче наш» и так спасти свою последнюю самость от порабощения. Но факт остается: множество людей жили без всякого «Отче наш», так же, как торгаши-греки живут без Эллады.

Целая неделя стояла холодная, снег выпадал по ночам и к полдню растаивал. Холодною зорькой вышли мы на соломе посидеть и далеко слышали голоса: идет компания мужчин, и голос женский истерично-металлический: «Россия… вспомните 18-й год и теперь — каким гигантом шагает Россия…» Бархатные голоса ей отвечают: «Ну, что ж, ведь это сделала буржуазия». — «А кто управляет буржуазией?» Женщины: «образование, достигать».

На одном конце живет евангелистка, и у ней собрания, на другом — коммунистка. Перед собранием всегда заходит ко мне

один старичок-святитель, набраться от меня новенького, вдохновиться. Его мысль как бы против войны… Я ему даю материал. «Так что ваши [сомнения] и колебания всюду, а как земной шар?» — «Не замечал…» — «А я слышал, **поползни** начались…»

Вывод: едва ли нынче может быть простак из рыбаков: он соблазнен на великие цели, и простак ищет образования.

Великий почитатель творений В. В. Розанова, библиотекарь Павлов (друг его N. торгует в палатке хромом, поклонник индусской философии, что-то ихнее прочитал и занимается искусственным дыханием: очень здоров, мы зовем его «индус»). Павлов участвует в антирелигиозной пропаганде, у нас три антирелигиозника: учитель обществоведения Станишевский, учитель математики Садиков и Павлов, все трое «содействующие». В Пасхальную ночь Павлов забрался в чайную в Квашенках, где перед обедней собираются мужики, и вдруг начал читать лекцию о происхождении человека от обезьяны. Эффект, говорят, был необыкновенный, будто бы старики даже увлеклись и опоздали к обедне. Между прочим, один, выслушав лекцию, прислал записку с вопросом: «Если человек происходит от обезьяны, то почему же в настоящее время от обезьяны рождаются только обезьяны, а не люди, почему теперь это прекратилось?» Другая записка: «Почему тов. Павлов борется с религией, которая проповедует любовь и милосердие?»

1 Мая. Ночью был теплый дождь, на рассвете поднялся туман, потом вышло солнце, и тут уже каждая почка треснула и дала из себя зеленый хвостик. Такой день, характерный для перелома весны воды на весну зелени и цветов… Перед каждым таким днем недели мук рождения. Весенние дни, как дети земли, непременно рождаются в муках.

Прилетела кукушка. Ток ежей на полянах. А где же ласточки, вы видели ласточек?

Егорий.

Внизу везде зелено, вверху все, как шоколадное. В дождях и туманах рождается май.

Явились товарищи, хорошие люди и сказали: «Как хорошо!» А мне стало так, будто задуманное и страстно желаемое достигнуто: удовлетворение и конец личному творчеству, теперь все будут творить. Не пересчитать, сколько их…

Величайшая перемена в человечестве была совершена Христом, т. е. личностью. Всякая личность знаменует и конец, и начало, смерть и воскресение.

Дьякон крикнул на религиозном митинге: «Псы лающие!», мальчишки теперь, как увидят его, так и говорят: «Псы лающие». Когда обходят дворы с иконой поп, дьякон, дьячок и поющие люди с тарелочками, всех их называют в деревне «псы лающие», и едва ли над кем-нибудь больше издеваются, чем над попами. Но только приблизился поп к своей хижине, хозяин преображается, и нет пределов его почтительности — отчего это?

Создается этим явлением двойной обман: наблюдателю, заинтересованному в сохранении веры, кажется народ очень благочестивым, антирелигиознику, наблюдающему извне, кажется атеистичным.

На Пасхе наш попик очень спешил обойти все хижины и все-таки везде хоть на полминуты присаживался. Я спросил, почему непременно нужно, чтобы поп присел. «Это нужно, — ответили мне, — а то, если поп не посидит, и курица на яйца не сядет».

И нужно посмотреть, с каким благоговением, каким чином сопровождается передача жертвы священнику: жертва совершается совершенно так же, как и пять тысяч лет до нашей эры.

Поп входит в избу, и с ним падает на этот дом свет от жертвенного костра через многие тысячелетия, уходит, и остается оскал современности: псы лающие.

<На полях>: Баять. Баюн = краснослов (баян).

Я люблю в природе самое первое начало перемены, особенно ранней весной — в первом свете над голубыми снегами зарождение неудовлетворимых желаний, это мое время года, не очень короткое, почти прямо после Нового года и до теплых ночей, когда по еще низенькой, но уже плотно позеленевшей траве начинают гоняться друг за другом ежи, пастух выгоняет коров, словом, до Егорья. С этого времени я становлюсь удовлетворенным, сытым, и я смолкаю, как смолкают, начиная линять, все птицы первой весны.

Недели уже две без перерыву льет теплый дождь, и сколько воды налило! Наша лесная дорога — две колеи колесные и посередине от лошадиных копыт, между тележными колеями и лошадиной стоят довольно высокие, в четверть аршина, зеленые грядки — так вот сколько воды налило, вся луговина под водой, как озеро, и по озеру этому зелеными змейками вьются следы от

затонувшей совершенно дороги.

Вокруг затопленной лужайки березовый лес стоит, и весь теперь зашоколадился от раскрытых почек и набухнувшей коры: корка давно уже треснула, и присмотреться близко — наполовину зеленая, а так в общем весь лес шоколадный и не, как зимой, сквозной, а настоящий, густой, едва небо просвечивает, но не зеленый, а шоколадный.

На травы, теперь уже настоящие травы — скотину в поле погнали — пала светлою ночью роса, Егорьевская роса пуще овса.

В парном тепле этой ночи наконец-то все березовые почки открылись, их пленки остались на тончайших шоколадных веточках, сливаясь [со] скромными цветами, и Солнце встретили зеленые, раскрытые крылышками, будто вновь рожденные, удивленные птички. Весь день был, как долгий, неустанно нарастающий в ликовании праздник встречи всех надолго разлученных друзей, и даже болотные кочки, желтомочальные головки, покрылись прекрасной зеленью. К вечеру в косых лучах солнца поднялись от земли все насекомые в брачном полете, и на тихой вечерней заре, когда ни одна веточка не моргнет, вся вода, затопившая луг, рябила, шевелясь от множества пробужденных в ней творений.

Это был брачный день всей земли нашей, и я, вспомнив, что древние бессмертные боги иногда соблазнялись красотой земных дочерей и давали с ними потомство полубогов, с новым удивлением вернулся к мудрости древнего боготворчества: никакой хороший человеческий бог не должен устоять в такой день и не видеть лучших земных плодов.

И я, прощаясь до нового года с весной света и воды, говорил: «Умом непостижимый, чувствам недоступный, прощай, миг первый весны света», если даже боги соблазнялись земной красотой, то я, смертный, оставляю тебя так же, как зеленые листики оставляют шоколадные стены почек.

Наблюдая токующих тетеревов-токовиков, как они захлебываются своей песней-кружением, совершенно забывая о самке, я предполагаю, что и у других животных есть свои певцы-токовики, половая энергия которых исходит в пении, и ток создается как условие совокупления — эротическая атмосфера, и вот где, вероятно, начало ритма и музыки, а не в работе, как у Бюхера.

Тысячи свидетельств птицеловов есть об исключительных певцах в природе, как и у людей. Вероятно, это же создало и вождей религиозных обрядов, жрецов, да и всяких вождей. И о

всех их мы знаем, как правило, что правильная семейная жизнь им не свойственна. Уравнять, как хотят социалисты, этих вождей с «народом» значит все равно, что уравнять пол и эрос, материю и форму. Эта нелепость коммуны, истинное основание которой есть просто внутреннее наше стремление к соответствию материала и формы: социализм по существу есть голос материи, жаждущей формы, заявление самой материи о том, что и она живая.

Закон — значит повторение какого-нибудь явления во времени и пространстве.

Наука открывает законы, т. е. чередование явлений при данных условиях.

Благодаря науке создался штамп, т. е. сознательное повторение одной и той же формы.

И так создалась благодаря науке фабрика. Создался человек, встречающий каждое невиданное явление не как единственное, неповторимое, а как законное, и такой человек называется ученым. Их любознательность вполне удовлетворяется выяснением причины явления. Таково научное миропонимание.

При этом совершенно пренебрегается то, что каждый из нас субъект восприятия, живое существо и как живое непременно встречает каждое явление в первый раз, и эта его субъективная встреча окрашивает мир в единственные, неповторимые краски, и так создается не причинность, а качественность мира, порождающая не штамп, а личность. Христианство есть человечески-личное миропонимание, социализм — научное (однако надо проследить, нет ли того же самого закона и науки в древних жреческих религиях и не противопоставляется ли в этом новейшем лично-качественном безлично-научному последнее взамен религии: христианство, буддизм, ислам — древнежреческому фетишизму.

Конечно, да — всякий фетишизм несет с собой непременно закон).

Задача ближайших времен человечества — использовать штамп как основание для создания почвы, питающей массовых личностей. Для этого открыть законы личного способа образования (обучения).

История Уэллса — замечательная книга, едва ли не первый рассказ простака о всей истории человечества. В сущности, все люди пишущие, вообще более или менее сознательно живущие делают это ежедневно: невозможно высказать ни одного более

или менее широкого взгляда на вещи, а быть может, и не сделать поступка, не пользуясь всем своим лично воспринятым багажом истории. Вот Уэллс это обычное наше зафиксированное — хорошо ли, дурно ли, другой вопрос, но он дал пример нам, что образованный человек должен сделать для своего ежедневного пользования конспект истории, потому что иначе мы все равно пользуемся им бессознательно. Это уже не субъективный взгляд на историю, а просто лично-бытовой. Те, кто стоят на материалистическом понимании истории законов и личностей, не должны протестовать, потому что это вовсе не история — наука, а просто история — ежедневная причина, и в таких случаях не должно смотреть слишком принципиально.

На забытых крестьянских полосах всегда лес начинает расти в межинках аллейками, березовые кустики тут выросли, и за ними я все утро на коленках полз к токующему тетереву. Настоящая густая роса (первая или вторая всего) была на траве, и как-то особенно, по-росьему пахла, и только что за эту ночь распустившиеся кустики берез пахли, и пахли тополя ароматной смолой и березовыми вениками. Самок возле петухов больше уж не было, очевидно, тетерки сели на яйца. Скоро теперь и самцы спрячутся в непроходимые болота и там, укрываясь, будут линять, значит, тоже, как и тетерки, страдать. Древний обычай первобытных народов симулировать мужчинам роды, когда женщина рожает, — не из природы ли взят?

Не знаю, кто мне сообщил, Ефросинья Павловна, или же я вычитал в Смоленском сборнике Добролюбова, что в деревнях Смоленской губернии во время родов привязывают к penis'у мужа веревочку и теща за конец подергивает.

Вот хорошая работа: искать происхождение древнего жреческого культа в животном мире (например, хождение священника вокруг церкви — служению нож: древнехристианская хорея; еще нож — хлыстовское кружение и, наконец, круговое хождение тетерева на току).

Чувство свободы и необходимости и связанные с ними удовольствия и скорбь распределены во всех положениях одинаково, на галерах, в тюрьмах, в демократическом государстве и абсолютистском, но зависимость человека от человека разная.

В эти внезапно жаркие и парные дни, когда вытянулись травы и распустились деревья, люди ходили так слабо, будто на одного самца приходилось сто самок. Ожидали грозу.

И вдруг за ночь переменился ветер, и утром в окно с постели я увидел неподвижную, как стену, серую холодную тучу. И стала

мне стена, будто я в городе, и хожу я за этой стеной ежедневно на службу, все та же мертвая неизменная стена. Верно, потому и угнетает в городе жизнь, что вокруг очень много условных, т. е. мертвых предметов, а скопление человечества в мертвом кругу отравляет интерес к человеку, как обилие книг в книжном магазине — интерес барышни к чтению.

16 Мая. Красит человека только любовь, начиная от первой любви к женщине, кончая любовью к миру и человеку — все остальное уродует человека, приводит его к гибели, т. е. к власти над другим человеком, понимаемой как насилие.

В «Правде» была описана могила [Ленина] и высказана была мысль, что вопреки воле [Ленина] не ставить ему памятника — революционный народ России поставит, потому что эта воля выше воли завещателя, — что уже и сделано сооружение склепа Ленину. Это взято, вероятно, из практики выборов, когда выбираемый должен бывает подчиниться воле собрания. Но там все-таки получается согласие, а как же с покойником? Товарищи пересолили.

Высказав самую лучшую мысль, написав лучшее произведение — я с ним расстаюсь: оно мое, пока творится во мне, и тут я его собственник; по окончании творческого процесса я перестаю быть его собственником, и оно поступает в пользование. (Творчество и пользование: примите, ядите…{75})

Взять мать рождающую — она самая большая собственница, а когда вырос ребенок, где ее собственность: тот уже сам. Истоки собственности в процессе рождения. Вот почему и люблю я всякую бессловесную тварь, что в ней начинается творчество; но какая же эта тварь страшная собственница.

В головах недалеких людей чужие идеи проходят так, будто в сердце их самих уже совершился соответствующий творческий процесс. Вот почему с готовыми идеями так легко расставаться и почему так много людей болтающих и с плеча решающих труднейший вопрос о собственности.

17 Мая. Похороны Ширяевца. Поминки (в субботу).

Орешин. Чекист Абрамович. Соболь. Соболев. Есенин. П. Карпов. Клычков. Гробовщик: «Отпеть красный гроб? Можно…» — «А как же венчик?» — «Обыкновенно: венчик под затылок, путевку под зад». Фальшь красного цвета: венки красные, красный сарафан и т. д., а про себя…

18 Мая. Вода перекипает, но вода очень вонючая, и пузыри лопаются, выделяя неприятный запах. Иные думают о вонючих пузырях и не могут мысль свою и чувство от них оторвать, осуждая до конца все это вонючее дело. Другие знают, что вода перекипеть должна и так освободиться от вонючих газов.

Под табак!

Отставка Пуанкаре. Мне отказали в издании книжки, мотивируя тем, что в переживаемый момент приходится отказаться от беллетристики. Дня через два я встречаю Тальникова, и он мне говорит, что, по всей вероятности, книжку мою издадут: передумали. А на мой вопрос, почему такая перемена, Тальников ответил, что за эти дни неожиданно слетел Пуанкаре, от этого наши повеселели и решили пока что… издавать беллетристику.

— А вот если, — сказал Тальников, — там выберут Эрио, то и совсем будет хорошо, я вам советую подготовить книгу рассказов в духе вашего последнего. На случай, если выберут Эрио.

Когда я приехал в провинцию, торговец Елизаров стал меня расспрашивать о новостях, выпытывая узнать, кто теперь руководит политикой и какие надо ему иметь виды на будущее в своем торговом деле, я ему ответил, что его будущее зависит от Эрио… Он вытаращил глаза.

После того как я рассказал ему о своем случае в издательстве в связи с отставкой Пуанкаре, он вдруг понял все по-своему:

— Под табак!

И объяснил мне свое выражение, как я ему про Эрио, что когда на Волге много воды, то едут покойно, когда меньше воды, судовая администрация начинает беспокоиться, матрос измеряет воду и выкрикивает: «Четыре, три, два с половиной!..» А когда крикнет: «Под табак!», то и публика шевелится и высыпает на палубу. Так вот и теперь, если до нас, рядовых людей, публики, долетает слово «Пуанкаре» или «Эрио», то это все равно, что кричат: «Под табак!».

Левый товар, т. е. товар без пломбы, контрабандный, посредством которого частный капитал борется с государственным.

«Болото», — говорят партийцы о том мире, где очень трудно партийному человеку вывести свою линию, где торгуют, наживаются и вообще живут несознательно.

«Бутар, чума!» — о самых невозможных сортах товара, в переносном значении — и о людях.

Кооперация — сельскохозяйственная, потребительская, кредитная, промысловая (разные дела).

Выполнение лозунга Ленина: «Через кооперацию к социализму».

Идеалисты-эсеры с кооперативной идеей подходили к хозяйственно сильному «кулаку» — идеалисты поступали материалистически.

Материалисты хотят подойти с кооперативной идеей к бедному, к бесхозяйственному и поступают идеалистически.

Circulus vitiosus[10]: кооперативный союз берет деньги в кредит, покупает товар и передает его в переработку: капитал обертывается во много раз меньше, чем в потребительской кооперации.

Производственный капитал погружается в болото, из которого ему уже не выбиться, возникает «процесс».

Кооператоры-коммунисты выходили из худших людей, потому что на них смотрели косо: идут в кооперацию, в «болото». Они идут в среду бедных кустарей, которых должны организовать в артель, но не могут их обеспечить в несезонное время товаром (чтобы занять работой), не могут продавать изготовленный товар дешевле частного (должны дороже). Кустарь ничего не знает о «Пуанкаре» и все сваливает на коммуниста.

Последствия применения идеи о том, что кухарка может управлять государством, были ужасны.

Первопричина

Антирелигиозник. Соколов очень ругался: ему вменили в обязанность прочитать лекцию мужикам. Собираясь ехать в деревню, он разворчался и между прочим высказал: «О первой причине я все-таки ничего не знаю и об этом никто не знает». Слышавшие это подхватили и теперь покоя не дают Соколову, постоянно останавливая его вопросом: «А что вы, Иван Михайлович, думаете о первой причине?» Лекцию слушали мужики и бабы и после нее все остались недовольны, кричали: «Если нет Бога, то сделай дождик!» Соколов, раздраженный, проделывая опыты с водородом, воскликнул: «Что дождик, вот я возьму поднесу к этому газу — и всех сразу взорвет». Наслышанные во время войны об удушливых газах, бабы с криком

бросились бежать из аудитории. В городе Соколову дали кличку «первопричина».

По возвращении к себе домой в деревню из Москвы теперь не сразу в себя приходишь от полученных болячек и растраты себя. Очень неприятна история с Воронским и тяжело думать о поминках Ширяевца.

Есенин, Клычков и Орешин, правда, только богема, но жизнь богемы показательна: если там свободно и весело — для чего она и существует, — жизнь общества — одна, если там скрывают подобные тризны — другая. Национализм Орешина, поддерживаемый его собственными кулаками, и интернационализм Соболя — соглядатаем из ГПУ Абрамовичем (совершенно обратно прежнему строю). И вот заметно, как за несколько месяцев менялась, например, психология таких лояльных людей, как Соболь: раньше он с презрением, по-кадетски относился к Орешину, теперь много мягче. Сочувствие «частного лица» склоняется в сторону более страдающего, а теперь, конечно, страдает Орешин более Соболя (хотя Соболь и говорит, что он и за еврея, и за русского страдает).

19 Мая. 20 Мая — 20 Августа = 3 месяца; надо изготовить для Оргбюро том «Трудов Лен. Обув.»: Карта Семенова с примечанием и работа Станишевского — 2 листа, Песни Романова — 1 лист, два-три листа мои.

Естественная история — основания, исторические памятники.

Две книги:

1) Исследование: по статьям (Киселев) — Кимры Ленинск. с фотограф. 5 лист.

2) Труды.

Денег хватит до 1-го Июля. И тогда: 150 р.

20 Мая. Характерное: мои сотрудники по изучению края Семенов и Романов после того, как мы решили основать официальное общество, зарегистрироваться и в связи с этим по необходимости ввести партийных представителей (от Укома, Исполкома и…), — пришли ко мне и заявили, что для моего дела изучения края они готовы работать бесплатно, а для общества — нет! Они потребуют вознаграждения, потому что если общество, то, значит, на их труде кто-то поедет, и они за это (что на них поедут) хотят денег.

Стали поступать доносы сотрудников друг на друга о том, что они состоят агентами ГПУ: Р. — сказал на Семенова, а Семенов — на Елизарова.

21 Мая. Состоялось организационное собрание Ленинского общества изучения местных промыслов и быта, и все прошло как-то с аппетитом.

23 Мая. Горничная.

Если крестьянская девушка поступит в горничные — она что-то теряет.

Но если горничная, и притом самая некрасивая, поездит год в автомобиле, представляя власть, — в ее лице появится непременно что-то интересное, и у нее даже явятся поклонники.

(Кустарь: сам-друг со своими коленками.)

Сам-друг со своими коленками — кустари-одиночки, на которых распались мастерские. Его старинная мечта подневольного человека стать хозяйчиком осуществилась, и уже никогда ему не вернуться к коллективу.

Фотограф Ершов. Я зашел к нему и попросил для своей книги «Жизнь кустаря» дать мне несколько отпечатков, объяснил, что это я прошу для нашего общества, которое не имеет средств заказать фотографии.

— Мы тоже не имеем средств работать для общества, — вмешалась жена фотографа, бледная, худая женщина, — общество нас обчистило.

— Сударыня, — сказал я, — посмотрите вокруг себя, какие темные люди эти кустари, как важно дать им книжку о самих себе, они это будут читать.

— Мне-то какое дело до кустаря, — сказала она.

Муж попробовал смягчить разговор, она его перебила:

— У тебя нет времени об этом разговаривать, тебе надо идти в Финотдел.

— Вы дайте мне только бумаги, я вам отпечатаю, — сказал муж.

— Иди в Финотдел! — крикнула жена. И вдруг упала в обморок.

Выйдя ни с чем от фотографа, я думал: чувство собственности рождается в жестокой бедности, это материализация чувства личной свободы, и это чувство свободы — болезнь раба; настоящий свободный человек не знает этого чувства, как здоровый не думает о болезни.

Физическое рабство — внешнее условие появления мечты о свободе, это как первая любовь и потом брак — собственность: я сам. Из этого брака должно явиться дитя, и творческий процесс

оканчивается. Чувство собственности и самости переживается, если все идет благополучно, но может и на этом остановиться: мещанство.

Материальная жисть

С верхней полки некто крикнул:

— Всех, кто верит в религию, считаю за шарлатанов.

Снизу кто-то спросил:

— Во что же ты сам веришь?

Тогда верхний, отчеканивая каждое слово и как бы побивая нижнего камнями, ответил:

— Я верю в материальную жисть.

Эволюция

Снилось, будто я приехал в Москву и там потерял собаку.

Мне посоветовали спросить о собаке в одном большом ресторане. Там я и правда увидел рыжую собаку, взял ее и стал подниматься наверх; пока я поднимался на верхнюю площадку, собака все уменьшалась, уменьшалась и превратилась в кошку. На площадке, где стояли какие-то джентльмены, я пустил кошку, и она прыгнула вниз с пятого этажа и, закружась в воздухе, как [движутся] аэропланы, стала медленно спускаться вниз; достигнув земли, кошка превратилась в какое-то зонтичное растение, и оно стало подниматься опять вверх, и я поймал его в воздухе. «Вот, — сказали джентльмены, — вот ясное доказательство существования души: это растение было душой кошки». — «Глупости, — ответил я, — вы, господа, незнакомы с законом эволюции: некогда было растение, и оно, постепенно эволюционируя в борьбе за существование, достигло существа кошки, и после распада кошки на составные части явилось обратно вот это растение как материальная составная часть кошки».

С годами очень устаешь от веры в человеческие достижения, и так мало-помалу все мы делаемся до известной степени пессимистами, но это разочарование нисколько не мешает жить, любить именованных людей и делать умное, доброе, красивое и полезное дело, напротив, я думаю, вот тут только и начинает человек мало-мальски походить на человека, когда он разочаруется в человечестве.

Какой это город! — одна церковь. Было раньше просто

большое село, в наше время сделали городом. Но по силе напряжения власти, если сравнить с прошлым, кажется, находишься в очень большом, губернском городе. Правда, разве можно равнять, например, всемогущего секретаря Укома с прежним исправником! Тот, бывало, просто величавая внешняя власть, а этот и над душой стоит; мог ли исправник поддерживать разговор о существе царского помазанничества, теперь председатель исполкома о Марксе, диалектике, пролетариате знает очень много.

В русской революции материалистически-прогрессивное движение, начатое французской революцией, было доведено до абсурда, до конца: у нас все испробовали и не оставили никаких иллюзий. Этим, вероятно, и будет, главным образом, замечательна наша революция. Историку нашей революции надо всегда держать в уме, что во время выполнения начал социализма с ужасающими последствиями тут же кто-то в среде самих творцов смеялся над всем этим. Все делалось как будто по Марксу, но втайне нигде так не издевались над ним, этим бородатым человеком. Этот смех, как явление быта, отмечен Горьким, но недостаточно углублен. Жертва, материя, конечно, страдала по всей правде, но соответствия ей в духе не было, потому что там рядом с жрецом-простаком был и смехун, из этого смеха потом вышел «нэпман» и «аппаратчик».

Серьезно, с верой в лучшее человечество, через социализм и Маркса, как с верой в Христа и в старца, нельзя было подойти: не было такого старца, в каждом старце был смехун (это есть и в глазах Ленина, на портретах). Этим и отличается наша революция от французской: та создавала для истории величавые прямые фанатично-героические личности, нашу невозможно представить (в Москве говорят, что над Лениным уже потихоньку посмеиваются: склеп и проч.).

Теперь создалось такое положение в обществе, что ни на кого, как на человека, положиться невозможно.

<На полях:> Когда в игре плохо идет, то перемени место, но за тем же столом, а как начнешь от стола к столу ходить — хорошего мало. Так и я переменил квартиру, а из города не выехал.

Подняла земля травы, произвела цветы, открылось убежище всякой твари под каждым кустом — как хорошо! Слов нет у меня передать, как хорошо, все слова о красоте мира взяли наши отцы церкви и отдали во славу Божию. Все тончайшие чувства и мысли, рожденные аскетами в общении с природой, вошли в церковное благолепие. Там, в церкви, и сохраняется вся красота мира и то,

что я иногда глубоко чувствую и понимаю, — все это и отцы понимали, я — их дитя, и если я буду говорить все до конца… я буду только продолжать их дела и воскрешать забытое.

<На полях:> (Когда на барже Алпатов сказал, что он — социалист, купцы сначала опешили, а потом обрадовались и сказали: «Это наш передовой авангард». (Кровь-то наша.) Они ошибались: трудовой авангард потом истребил купцов.)

27 Мая. Антирелигиозная проповедь, безбожие и прочее такое, и прочее я считаю, как испытание духом (как было испытание огнем): это все вопросы, предъявленные существующей мертвой церкви с тайным требованием: «Будь жив!»

Наметилась работка: «К. Леонтьев о рабоче-аграрном движении».

1 Июня. Цвет на яблонях опадает, сирень цветет, рожь колосится, теплый дождик падает большими каплями — сегодня уж непременно где-то показываются первые грибы — подколосники.

<На полях:> (Строятся домики, все одинаково, а в Новой Слободке что-то особенное… Любовность во всем… Стук, стук! Василий Андреевич! Выходит. Вид его. Просьба не писать о нем. Таинственный строитель.)

В Новой Слободке механик Василий Андреевич Щукин строит ветряной двигатель, каких не бывало на свете: два года служил, получал 6 червонцев, два тратил на себя, а четыре в дело. Теперь через два месяца все будет готово, но не хватало только станка. По этому случаю к нему присоединился какой-то еврей, купил ему станок, и Щукин больше не служит, вступив в какую-то сделку с евреем. Щукин — производитель, еврей — множитель. Щукин очень боится, что финотдел хлопнет патентом за станок. (Талантов у нас не меньше, чем в Америке, а нет множителя.)

Сон: будто бы включены крылья, а выключателя нет, и сильный ветер подхватил и стучит лопастями… «Ничего, — говорит еврей, — ветер около Высочков кончается». И правда, кончился. А стук в ушах остался. Проснулся и стал думать, как устранить стук.

Трагедия человечества состоит в том, что более утонченные духовно и этим слабые физически обретают власть над физическим человеком и порабощают его. Путем революции или войны физически более сильные, грубые (варвары) свергают своих властелинов, и наступает ужасный час истории, когда святейшее в человеке, его личность, попадает под власть варвара (обезьяны).

Ясно различимы во всяком обществе личности творческие (производители) и подражательные (множители). По каким-то причинам (?) средства существования попадают в руки людей-множителей, и производители делаются от них зависимыми. Творческую личность в наше время отрывают от земли и окружают каменными стенами. Тысячи глаз следят за ее деятельностью, пользуясь тут же на месте плодом ее открытий, изобретений. Так создается город-тюрьма.

3 Июня. Вечером я вышел на болото промять собак. Очень парило после дождя перед новым дождем. Собаки бегали, высунув языки, и время от времени ложились брюхом в болотные лужи, как свиньи. Вдруг показалась большая птица, кроншнеп, стала тревожно кричать и описывать вокруг меня и собак большие круги, радиусом шагов на двести. Прилетел и другой кроншнеп и тоже стал с криком кружиться, третий, очевидно, из другой семьи, далекой, пересек круг этих двух, успокоился и скрылся.

Мне нужно было в свою коллекцию достать яйцо кроншнепа, и, рассчитывая, что круги птиц непременно будут уменьшаться, если я буду приближаться к гнезду, и увеличиваться, если удаляться, я стал ощупью, как в игре с завязанными глазами, по звукам бродить по болоту. Так мало-помалу, когда красное в весенних испарениях солнце коснулось земли, я почувствовал близость гнезда: птицы нестерпимо кричали и носились так близко от меня, что на красном солнце я видел ясно их длинные кривые, раскрытые для постоянного крика носы.

Наконец собаки сделали стойку, я зашел в направлении их носов и увидел прямо на желтой сухой моховой полоске возле крошечного кустика без всяких приспособлений, прикрытий лежащие два больших, немного меньше куриных, яйца, покрытых желто-зелеными веснушками.

Велев собакам лежать, я с радостью оглянулся вокруг себя: комарики очень покусывали, но я к ним привык и даже благодарю этих демонов за то, что они не пускают в болота дачников и разных гуляющих людей: болота остаются единственно девственной землей, принимающей к себе только тех, кто может много терпеть, не теряя духа, вполне отдаваться величию природы.

Как хорошо в неприступных болотах и какими далекими сроками земли веет от этих болотных. птиц с огромными кривыми носами, на длинных гнутых крыльях пересекающих диск красного солнца. Я уже хотел было наклониться к земле, чтобы взять себе одно из этих прекрасных больших яиц, как вдруг заметил, что вдали по болоту и прямо на меня шел человек. У

него не было ни ружья, ни собак и даже палки в руке, пути через болото не было, людей таких я не знал, чтобы тоже, как и я, могли зачем-то под роем комаров бродить по болоту. Несомненно, он шел на меня, и это было мне очень неприятно, я даже нарочно отошел от гнезда в сторону и не взял яйца, чтобы человек этот своими расспросами не затушил бы во мне какую-то, я это чувствовал, мою священную молитвенно-вечернюю минуту. Я велел собакам встать и повел их на горовинку, там я сел на серый, до того покрытый желтыми лилиями камень, что и селось не холодно.

Птицы увеличили круги, но ловить их на пересечении с диском солнца больше мне не доставляло удовольствия: в душе моей родилась тревога от приближения человека. Я его уже разглядел: это был человек пожилой, очень худощавый и шел очень медленно, тоже, как и я, наблюдая птиц. Мне стало легче, когда я заметил, что он изменил направление и пошел к другой горушке, где и сел на камень точно так же, как и я, и тоже окаменел. Мне стало даже приятно, что там сидит такой же, как и я, человек, благоговейно внимающий вечеру. И конечно, мы с ним глубоко понимали друг друга, и это наше понимание было больше, чем все слова. С удивленным чувством смотрел я, как птицы пересекали солнечный диск, и странно располагались мои мысли о сроках земли и такой коротенькой истории человечества: как скоро все прошло!

Солнце село. Я оглянулся на своего товарища: его уже не было. Птицы успокоились, очевидно, сели на гнездо. Тогда, велев собакам идти назад, я стал приближаться очень медленно к гнезду: не удастся ли, думал я, увидеть вплотную этих интересных птиц. По кустику я точно знал, где гнездо, и очень удивился, что они не взлетают. Наконец я подобрался к самому кустику и с удивлением заметил, что там пусто, Я тронул мох ладонью, он был еще теплый от лежавших на нем яиц. Значит, пока мы с неведомым товарищем смотрели на заходящее солнце, птицы перетаскали яйца в другое место, и, уходя, я дивился их инстинкту: довольно было им заметить, что я оглядел гнездо, чтобы принять свои птичьи меры.

Я только посмотрел на яйца, и птицы, боясь человеческого глаза, поспешили унести их и спрятать подальше. А на краю болот жили люди, и они тоже боялись «глазу».

Во мраке наступившей ночи в глазах моих не потухал диск красного солнца, и я понимал, что люди страх свой перед глазом сохранили в себе еще с тех далеких времен, когда сами жили, как птицы.

Я позволил собакам поваляться возле теплого места, сделать несколько кругов, но спустившаяся тьма заставила меня отложить план: птицы испугались моего глаза и перенесли далеко свои яйца. Тогда я вспомнил о людях, живущих на краю болота, и понял, почему до сих пор они так боятся «глазу»: они сохранили это в себе еще с того времени, когда сами жили, как дикие птицы.

Кроншнеп (из дневника)

Вы знаете кроншнепа? Он вдвое больше вальдшнепа, и весной при валовом перелете — это он, часто невидимый глазу — до того высоко! — свистит, и так, кажется, близко, что вот хоть ружье готовь.

Мне приходилось встречаться с ним больше в глухих болотах, очень уединенных, и там-то я наслушался его песен. Нет, он не только свистит, у него много песен, и хотя едва ли где можно слышать такое разнообразие звуков, как в веселых болотах, но без кроншнепа не понять общего смысла этого концерта, точно так же, как и без журавлиного крика.

На больших моховых болотах мне не раз приходилось в шалаше на тетеревиных токах ожидать в темноте первого звука, и не всегда, но очень часто это кроншнеп начинал великий концерт особой своей трелью, совсем не похожей на свист. Особенно хороша бывает его какая-то очень веселая плясовая, когда восходит солнце, — славная песенка! Раз я видел из шалаша, как среди черной массы токующих тетеревей уселся серый кроншнеп, как потом оказалось, самка, к ней прилетел самец и, поддерживая себя в воздухе взмахом своих огромных крыльев, начал касаться спины самки и в таком положении пел свою плясовую, слышащуюся среди бормотанья десятков тетеревей, уносящуюся на *<1 нрзб.>* вслух на несколько верст. И тут, конечно, вокруг весь воздух дрожал от песен разных болотных птиц, а болотная лужица при полном безветрии вся волновалась от пробудившихся в ней насекомых.

Да, я за то и полюбил эту строгую птицу, что не могу себе без нее представить болотного концерта, прелесть которого до сих пор мне не удалось выразить никакими словами.

Странность длинного кривого клюва кроншнепа, которого я вижу иногда, очень редко, близко от меня пролетающим, всегда меня переносит в какие-то давно прошедшие сроки земли, когда не было еще человека и в воздухе носились теперь совсем забытые существа. И вообще болота, мало изученные учеными,

совсем не тронутые художниками слова, всегда переносят в какое-то довременное бытие.

Сыр{76}

Моя жена любит сыр, — вот бы ей в подарок головку! — но не до сыру было, когда ели мякину. И вдруг, вижу, на пороге у меня стоит китаец, и в руке у него красный шар голландского сыра. Китаец был знакомый, продавал мне хлеб — теперь у него сыр! Поторговались, и сыр достался мне задешево.

Я месяц целый обдумывал, как все вещи так запаковать, чтобы, в крайнем случае, все было можно перетащить на себе самом. Извозчиков в то время не было. Необдуманно я купил еще сыр, и он, круглый, занимал обе руки.

— Нет, — сказал я китайцу, — так мне вещи на вокзал не донесть.

Он ответил:

— Я помогу.

И мы пошли.

Вагоны брали с бою: в две партии, в нашей были винтовки, — китаец, размахивая сыром, проложил дорогу к телячьему вагону, я подавал ему вещи наверх, вскарабкался сам, усталый, весь мокрый от пота после боя, уселся на полку, народ валил, примыкая ко мне, и, наконец, мы были набиты битком в телячьем вагоне, и все радовались: на платформе стояла ревущая толпа неудачников. Тяжелая дверь задвинулась — кончено! Больше к нам никто не попадет, и теперь только сиди и доедешь.

— Сподобил Господь! — к чему-то сказал старичок, сидящий у меня на ногах.

И вдруг — т-р-р-р! Откатилась дверь, показались лица с ружьями, мы подумали: вторая партия вооружилась, беда!

— Вылезай, — крикнули нам, — женский вагон!

— Граждане! — крикнул какой-то герой. — Не подчинимся, стой крепко на своем, не пойдем.

— Не пойдем! — согласно прогремело из сотни уст.

Но кто-то ближний к дверям, верно, узнав у военных, что есть какой-то вагон, быстро соскочил и пустился бежать, за ним другой, третий, все, и я со всеми, навалив на себя все, бежал, падал, поднимался, опять бежал, толпа несла меня, как волна, — все было так же, как в войне, кто-то подсобил, кто-то поддержал, и я вскарабкался в другой телячий вагон. И опять так случилось, старичок, сказавший «Сподобил Господь», сидел возле меня. Кто-

то выдумал написать мелом крупно: «Реввоенсовет» и мелко: «бывшие люди». Мы вздохнули немного, и вдруг опять, слышим, валит народ: вся та партия, первая, неслась к нам. Смеялись мгновенье перед вывеской «Реввоенсовет», но потом, разобрав «бывшие люди», с грохотом отодвинули дверь и, узнав всех нас, заорали: «Мости!»

— Мости! — крикнули снаружи.

Показались доски. Над самыми нашими головами стали мостить, и новая толпа кинулась на помост.

— Мости! — крикнули второй раз.

И над второй полкой вырос потолок. У нас внизу все погрузилось во мрак. Сверху через щелку текла вода и мне прямо за ворот. Но я был счастлив, теперь уже с трех помостов, я знал, больше нас не погонят, как бы ни было тяжело, в одни сутки с человеком ничего не сделается, я приеду к семье…

…Мне мелькнуло это с двух сторон, сначала пришло в голову, как хорошо будет дома удивить всех нашим сыром, а с другой — сыр круглый занимает обе руки, как же я тогда с китайцем едва попал в вагон, а теперь один все донес; в первый момент я осознал: сыр был забыт в том, женском вагоне.

— А, пустяки! — придя в себя, успокоил я сейчас же себя, и через мгновенье, наверно бы, и совершенно выкинул навек этот сыр из головы.

Но старик был такой славный, я пробормотал:

— Эх, сыр забыл! — и это меня погубило.

Сыр мой был всем известен, и, не успел я выговорить «сыр забыл», разные голоса крикнули:

— Бежи!

Будь у меня еще голова сыра, я охотно отдал бы ее, только бы не бежать, но моя душа была никому не понятна, все подумали, что я стесняюсь давить женщин, детей, все они, как могли, подвигались, меня сзади толкали, с боков и, толкая, все кричали:

— Бежи скорей, успеешь, бежи!

Они кричали так, будто сыр это не был сыр, баловство, и не мой, а величайшей важности невиданная собственность, что я лично — ничто в сравнении с этим сыром и долг мой умереть за сыр: по крайней мере, если бы я отказался, каждый бы, назвав меня дураком, рванулся бы за сыром.

Мне стало просто неловко [даже] как-то немужественно уступить.

Стадное чувство охватило меня, и я бросился, как в атаку, за сыром.

Дверь сама раскрылась, я выскочил, сзади опять захлопнулась. На платформе было, как бывает перед самым

отходом поезда. Но я сразу узнал тот «женский» вагон, схватился за ручку дверцы.

— Нельзя! — крикнули оттуда мужские голоса.

— Сыр, — крикнул я, — сыр забыл!

Дверца открылась. Военный человек из «женского» вагона строго сказал мне:

— Сыр здесь, товарищ, а почем же я знаю, что он ваш?

— Его, его сыр! — крикнул кто-то в помощь мне.

И я увидел: там, в глубине вагона, над черной толпой по рукам и головам несется прямо на меня мой красный сыр. Военный подхватил его, как мяч, подкинул мне, — я — хвать! — и сыр под вагон, и между рельсами бежит себе, как колобок.

Паровоз свистнул. Я вздрогнул и сделал шаг бежать к своему вагону.

— Куда, куда! — крикнули из вагона. — Лезь скорей, лови, успеешь, успеешь!

Опять это было непросто — повелительно, если бы я бросился…

Там, в закрытом вагоне было все мое имущество, все мои драгоценные записочки, даже бумаги о личном — все! И тут сыр, идиотская красная круглая голова. И я знал, если бы я бросил сыр, то поступок мой был бы невероятно бестактным, десятки людей бросились бы за ним под рельсы. Я не мог устоять и бросился под вагон между колесами.

— Успеешь, успеешь! — каким-то спокойным, родственным, как бы отеческим голосом говорили мне сверху.

Все это было, конечно, в одно мгновенье, сыр еще двигался, когда я схватил его правой рукой и, когда я вылез и мчался с сыром к своему вагону, позади, я слышал, кто-то радостно воскликнул:

— Успел!

И поезд тронулся.

Но десятки рук тянулись уже из дверцы моего вагона, одни руки схватили сыр, другие мои руки — и потащили, сыр отдельно, сам собой, меня отдельно, и потом под тесными помостами я полз по живой массе — никто не пикнул, все они будто радовались, что я давлю их: ведь не для себя я давлю их, не для себя чуть не погиб под вагоном: я спасал драгоценный сыр!

— Ну, сподобил Господь! — сказал старик, мой сосед, — и взял к себе на руки сыр.

Он держал его на руках, как ребенка. От волнения, от усталости, перед тем ночь не спал, я вдруг уснул на вещах. Просыпаюсь, закуриваю папиросу: старик держит сыр. Кто-то умирает наверху и бормочет в бреду, кто-то сыплет подсолнухи,

кто-то лил зловонье. Я вскакиваю, просыпаюсь, ударяюсь головой о помосты, чиркаю спичкой: возле меня дремлет с сыром в руках старик, он держит его, как ребенка, с благоговением.

Это было [долгое] мучительное, кошмарное путешествие, на верхней полке кто-то умирал и бормотал в бреду, кто-то сыпал подсолнухи, и лилось, и воняло. Мы все были ничто, а сыр ехал хорошо на руках у старика, много раз я просил его отдать мне, уговаривал, доказывал, что я тоже могу держать, — старик слышать не хотел меня.

О, как страшно, наяву исполнился мой ужасный сон: будто началось светопреставление… все праведники сели на поезд, и я уже сунул чемодан и спешу — не успею, и поезд отходит… а в чемодане все мое оправдание на Страшном Суде, он уходит, а я остался даже без паспорта…

На именинах мне вспомнилось, как ад, ужасная жизнь 18-го года, и один гость, изображая человека того времени, так и говорил, что «хуже всякого животного».

— Неправда, неправда, все не так! — схватился другой гость и, отрезав себе ломтик сыру, начал рассказывать: — Жена моя сыр любит…

9 Июня. Мая конец. Рожь выколосилась вся и волнуется. Леса почти недоступны, на опушке, где много света, — слепни стреляют и бьют в лицо, в тени комар. Поймали вполне готового кроншнепа, но летать он не умел и только хлопал пугано по болотной траве громадными крыльями. На открытом болоте показались молодые, уже летающие бекасы. Листья на березах вполне развились, но еще блестят и пахнут.

Книга рассказов:
Халамеева ночь — ½ листа.
Сыр — ¼ листа.
Шкраб — 1 лист.
Чан — 1 лист.
Московские рассказы — ¼ листа.
Обоз — ½.
Круг солнечный

Серии:
Охотничьи.
Грач, Щегол, Кроншнеп, Ток.

В маленькой избе башмачного мастера Фили Тютюшкина с трудом удалось мне установить свой аппарат, чтобы и он вышел, и его инструменты, и красный угол. Наконец я нашел правильную точку, только Ленин под иконами был очень мал.

— Ну как? — спросил Филя.

— Ничего, — говорю, — вот только Ленин очень мал.

— Это я сейчас достану, — сказал он.

Принес большой портрет Ленина и повесил как раз на то же самое место под иконами.

— Почему вы под иконами вешаете? — поинтересовался я.

— На царское место, — ответил Филя, — раньше тут царское семейство было, а как теперь Ленин, то полагается.

Свою собаку Ярика зову я разными именами, смотря по расположению духа, и, как бы ни назвал я его, непременно в ответ он под диваном согласно произнесенному звуку ударит хвостом; если я очень тихо сказал — он ударит один только раз, погромче — два, еще громче — три, четыре, и если очень энергично сказать, то, ни разу не ударив, сам вылезет; по пути ко мне от дивана он, однако, непременно потянется, отставив задние лапы, вытянув передние, и часто бывает, что от потяжки тут же и ляжет лавом, не дойдя до дивана, и, вижу, решает, разглядывая, что я ем, — стоит ли ему вставать, идти ко мне и положить на коленку голову. Если заметил, что хлеб я ем с маслом, то подойдет, положит нос на коленку, уши опустит, огладит голову, прищурит глаза, как будто он любит меня беззаветно, и это все только, чтобы любовь показать; но если посмотреть внимательно на [взгляд] его блестящих черных глаз, как они горят, фиксируясь на масле, — плут, плут!

Сегодня 23-го Мая его день рождения, — по-настоящему он родился 14 мая, но празднуем 23-го, в день моих именин, чтобы не печь отдельно для него пирога.

Теперь ему исполнилось три года, и уже два поля он был в ученье, два поля — теперь начинает третье, последнее: третье поле у ирландского сеттера, как у нас последний год университетского курса.

Весной 21-го года в Дорогобужском уезде мне [совсем] жилось плохо, я был деревенским учителем, заведующим Музеем усадебного быта, и получал за свой труд в месяц 6 фунтов овса и две восьмушки махорки. Я добывал себе пропитание больше охотой.

В голодное время в подспорье своему учительскому содержанию — 6 фунтов овса в месяц и две восьмушки махорки — я занялся охотой, как промыслом.

Раздобыл я себе собаку, обыкновенную дворовую, но с примесью гончей и, может быть, легавой. Звали собаку Флейтой — сучка. Осенью стал я с ней ходить по зайцам, и ничего: разыскивает отлично и кружок делает, мало, конечно, — один круг, но все-таки, если зайцев много, можно убивать, и я зайцев домой потаскивал.

Пришло время летних охот по птицам, и стал я ее потаскивать по тетеревам. Веревка у нее была аршин тридцать, и вот когда Флейта засуетится на следу, конец веревки я даю мальчику, своему сыну, и сам иду с поднятой палкой вслед за собакой. Путано бывало в частых березняках на кочках, кружится, кружится, пот градом валит, а следу и конца нет, но все-таки рано или поздно наступает конец: Флейта на одно мгновенье замирает, приготовляясь сделать за птицей гигантский скачок, и вот в самое мгновенье, когда она подымается на воздух, я опускаю на нее палку, а мальчик изо всей мочи тянет за конец веревку и оттаскивает. Проделав так раз сто, я добился хороших результатов: в [тот момент], когда настоящая собака замирает на стойке, фиксируя горящими глазами таинственное место укрывающейся птицы, — Флейта повертывалась ко мне мордой, к птице задом и, раскрыв рот и свесив язык, дожидалась взлета птицы сзади себя и моего выстрела: стойка выходила задом.

Чего только не придумаешь по нужде, бывало, и посмеешься на такой охоте, бывало, совсем неожиданно наткнется где-нибудь в кустах, а сам не видишь, зовешь, зовешь, свистишь, свистишь, — глянешь, а она сидит и, свесив язык, смотрит на тебя, а сзади нее, значит, тетерев.

12 Июня. Вот подходит и Троица. Зацвели в саду дикие розы, шиповники, на сырых лугах показалась ночная красавица, и обильно зацвела рачья шейка. Вывелась вся птичья молодежь, и очень осторожны около них матери-птицы — трудное дело их теперь: не заросить, захолодить, не попасться на глаза ястребу… Кукушка теперь хорошо кукует, она одна теперь холостая, и почти на одной ее песне печальной держится струнка весны, замолкнет кукушка, и все повернется на осень… Только после заката солнца, когда сова вылетает, кричит перепелка, и в сыром лугу ей отвечает дергач.

Ну конечно, мы были и птицами, а то почему же мы придумали теперь устроить себе механическое летание, и рыбами были: плаваем теперь на воде и под водой. Мы всем были, и все теперь повторяем в себе механическим способом. В нас ничего не пропадает пережитое и восстанавливается механически. И растения тоже… что такое дерево, как не государство, каждое

дерево со своим могучим стволом, скрепляющим миллионы жителей — листиков, — живет, как великое государство. У пчел, у муравьев представлены образцы для наших опытов, и там, у пчел, высшая человеческая заповедь: «нет выше… как за други своя» — совершенно просто, без всяких исключений. И так мы в своем государственном строительстве пытаемся скрепить себя стволом, как дерево. Но в этом плохо удаются наши попытки механизировать, и никогда не удается нам создать государство неподвижное, как дерево: каждое государство, пожив немного, рассыпается. Верно, самая отдаленная, глубинная форма нашего прошлого труднее поддается учету, и потому наука о государстве и обществе менее совершенна, чем о птице или о рыбе. Но все-таки мы и тут стоим на пути механизации, когда-нибудь и это удастся, и в конце концов мы построим новую вселенную механически, по образу и подобию сотворенной до нас.

Уравнительный налог по всей РСФСРе подшиб торговцев на местах, мелкий торговец растерялся и пережидает время, базар весь переполнен кустарями, дешево предлагающими обувь, и вот тут вдруг Мосторг открывает свое отделение и в такой обстановке заготовляет себе у нас 20 тысяч пар обуви. Весь базар огромной очередью выстроился перед магазином Мосторга, и дело пошло по-казенному: что назначат, за то и продавай.

Ефр. Вас. говорит, что мелкий торговец дольше выдержит, а крупный весь пролетит к Октябрю (срок платежа второй половины налога).

Думается, так будет: уцелеет часть самых мелких торговцев (барахло, чума), поставляющих дешевую, негодную обувь на Сухаревку, дело средних возьмут кооперативная и государственная торговля, а высшая, изящная обувь останется у частных торговцев, которые покупают обувь индивидуально у каждого волчка.

Из новых построек огромное большинство (180) построено кустарями, которые закабаляют себя в 18-часовую работу, лишь бы выстроить дом: дом — вот высшее стремление кустаря (бездомность: жена пастуха выстроила землянку в лесу на болоте, лишь бы не жить бездомно: если бы не ругаться, так и в святые бы попал).

1) Привести все рукописи в порядок,
2) карту сделать,
3) проверить фотографию.

Я это сделаю, как мне положено, и это будет открытие, после меня моим следом другие пойдут: мое заветное желание — открыть путь другим. Я один, я индивидуалист и отталкиваю всех от себя, потому что они мешают мне открывать путь для них же самих, я работаю для других, но для тех других, а не этих. В жизни я индивидуалист, в идеале коллективист.

Ничего на свете нет нового: все было, новое только вновь является из бывшего; и, конечно, мы были когда-то птицами, иначе почему же теперь мы придумали механический способ летания…

Рожь цветет. В руке у меня Ааронов жезл: колос, неизменно вновь зацветающий{77}, я люблю это и каждый год проделываю на пути: сдергиваю цветы, беру колос в руку и, загадав себе что-нибудь, иду и через загаданный срок смотрю — и колос часто в руке моей вновь зацветает, я опять сдергиваю цветы, и опять он цветет, и так с цветущим колосом прихожу в свой дом.

Мне пахнет рожь перепелами, как море йодом и губками, везде кричат перепелки, заяц шел по дороге и свернул в рожь: там нет ни одного комара, ни одного слепня, так и ты, поднявшийся на пашню с болотного луга, весь искусанный слепнями и комарами, смело ложись отдыхать, даже никакая мушка не пролетит между колосьями, нельзя между ними летать, очень часты и часто шевелятся и шумят.

Иду, иду высокими ржами, и вдруг будто просека в лесу — длинная пустая полоса, как могила, поросшая дикой травой: это старик со старухой умерли этой зимой, и в память их смерти осталась полоса незасеянная.

Анна согласилась похоронить мужа «с барабаном», хотя он не был коммунист и сама она была верующая: за это ей дали средства на похороны и пенсию назначили. В слободе все очень одобрили и хвалились: вот как баба провела коммунистов, ему-то (мужу) все равно не жить, а ей жить… и т. д.

Мои снимки (фотографический очерк)

Огромную помощь оказывает фотография при научных исследованиях в деревнях как средство сближения с населением, потому что всем хочется сняться. Но не только для тех

практических целей и для чисто научных целей как [факт] необходима при экспедициях фотография, я считаю, и для литературно-художественных целей в смысле самодисциплины при овладении материалом фотография очень полезна. Конечно, если кто-нибудь другой делает фотографию, то можно и по чужой [съемке] располагать свои думы — это может быть, [так как] к золоту личного восприятия притягивается много лигатуры. Но если фотография сделана самим собой и явилась в моем образе ярким восприятием жизни, то часто открывает драгоценные подробности. По поводу каждого сделанного мной снимка я могу всегда сказать что-нибудь интересное. Беру несколько примеров.

1) Новый город. 2) Базар. 3) Мастерская.

19 Июня. Вчера мы вернулись с экскурсии на пойму: вышли в субботу под Троицу, 1-й день провели у Романова и в Бартаках, второй — у Николая Наумыча в Костине, 3-й — на Пойме и в четвертый вернулись.

Троица в Терехове.

Хоровод стариков: «Ах, по морю» (женщины судачили, дети, молодежь ушли в большую деревню. Украшения березками — все брошено).

Сочувствующий в Бартаках — член кооперации: православные иконы и католические, гобелены. Наполеон на часах, Рыков, дети-комсомольцы.

Комсомольцы — если с прежней психологией, обращенной к старому быту, подойти к комсомольцам, то, конечно, партия получается неприятная, но если принять, что старое рушилось, что молодежь осталась ни с чем, то комсомольцы единственная упорядочивающая сила: «Там хорошо, комсомольцев много, а в Горках безобразие».

Наум — болотный человек: знает ли он, что у нас СССР? Едва ли, но вся семья держится его земледелием и охотой, 80 лет, только один зуб выпал; сыновья башмачники: «Не помогают? А башмаки?» — «Башмаки не едят».

Жуки, слепни, потыкушки (маленькие неотгонимые слепни), гусеницы мохнатые, серые (стрекозы — голубые самки и зеленые самцы неслись в брачном полете, были среди них и темно-синие, как итальянское небо), зеленые, черные, комары, бабочки — летают, несутся, падают в лодку, кишит в воде видимое, и каждая заводь рябит, без ветра волнуется видимым и невидимым миром животных.

Пот струился по лицам и соленый, стекая по губам, попадал

на язык, и, верно, много всего попадало: после сын мой рассказывал, что видел, как гусеница ползла у меня по щеке, и я даже не замечал ее, и что видел он ее в последний раз у меня на усах у самого рта, хотел сказать, но почему-то нельзя было, и когда вспомнил, ее уже не было. «Я видел», — сказал Наум. «Съел?» — спросил я. «Бывает, — ответил старик, — соленая».

Могучей силой поднимались растения, сверкающие на солнце зеленью, острые шпаги торчали высоко над водой и лезли из-под воды, напирая на лодку так, что она визжала.

Я схватил одну, и показалась нить, я тянул ее долго и наконец измерил: в нити было семь аршин.

Дубрен — ствол шагающей желтой лилии, подопрел на самом низу, всплыл наверх и свернулся удавом на воде толщиною в рукав.

Ни один лист на ольхе не шевелился, хотя вода рябилась возле белой лилии от кишащих в ней насекомых: перегретые испарения создавали изнуряющий зной; слепни жужжали — жужжанье было так сильно, что как будто мы были в громадной мастерской, где бесчисленные рабочие создавали перегной дикой коры.

«Прель» называлась та новая область, в которую мы вступили, проплыв несколько верст одной осокой: тут были кустарники, пустившие корни в достаточно толстый для их жизни слой прели растения. Мало-помалу кустарники ивы и особенно ольхи крепли, и склоненные сплошные кущи древесных растений закрыли над нашими головами небо, местами плыли мы зелеными туннелями, передвигая с трудом лодку, все разом хватаясь за стволы: раз было так трудно, что даже спели «Дубинушку»{78}, и — ух! — продвинули ее с такой силой по плавучим растениям, что взвизгнуло.

И как раз в эту минуту, мне показалось, где-то недалеко крикнул ребенок.

Мы переглянулись. Наум сказал:

— Ухало.

— Птица?

— Ну да.

Верно, выпь.

Мы выехали на плес р. Дубны из тростников, которые вслед за нами закрыли вход. Между плесами прось протоки. Плавины. Въехали, и неверно. Старик ошибся, потому что плавина, небольшой плавучий остров, покрытый кустарниками, прислонился к берегу, и оттого изменилось очертание.

Мы жаждали берега, зажечь костер от насекомых. Сварить чаю, отдохнуть. На берегу, когда мы вышли, было мрачно в очень

высоких ольхах, под ними была черная влажная земля. Казалось, это был прочный грунт, через лужицу виднелась листва, и первым смело ступил Лева и вмиг провалился буквально сквозь землю по горло.

Медведь загородил борозду и стал на лапы, вышибло дробью глаза.

На уток с товарищем. Лось. Заревки. Утром убили 18 уток. Пришли товарищи: «Кто это ревел?» — «Лось: вот лежит, убил». Пошли без ружья. Борьба с медведем. Поймали, и сам тянет. Голова в пасти: «Стреляй!» И тут медведь опять провалился, а мужик весь в крови *<2 нрзб.>* и просит: «Кто не стрелял, пусть уходит».

Борозда.

1) И сады (фотография). 2) Первый разлив. 3) Плес Луковник. 4) Разъезд Острова. 5) Заводь.

Дубна.

Калинова ширина, Черная заводь, Монаровы плесы, Колено, Красный столб, Осотовый плес. Прось.

Дубен. болото, 25 ООО десятин.

Туземцы пробовали разорить мое жилище, председатель Пичугин обвинял, что я оборвал цветы на яблоне, что одна яблоня засохла, что я держу собак и веду буржуазный образ жизни, например, гуляю, потихоньку нашептал, что я печатаю листки на машинке, и еще сослался на большие размеры моей жены (раскормил). Я отмахивался от него, как от слепня, и впервые понял душу слепней и комаров (человек победил животных, и если что осталось среди них вредное, то в этом уже сам человек виноват: эти вши, клопы, тараканы в жилищах, слепни и комары в болотах — все это образы душ человеческих и их дел).

Пичугин — человек 18-го года.

25 Июня. Итак, природа — это прошлое человека; это — чем он был, а прогресс (история) — механическое замещение утраченного в прошлом: например, человек в прошлом имел крылья и летал, как птица, ныне человек не имеет крыльев, но летает на аппарате.

Вопрос о теме и людях.

Смычка: нужно узнать, чем интересуется, исполняя дело, сам человек — это первое, второе, — что в его интересах носит отпечаток чисто местный, третье — определить местное в отношении общенародных интересов и тем дать ему оценку.

Например, доктор Борис Васильевич интересуется постройкой крепости, которая должна его, как врача, оградить от вторжения в его область лечения людей средствами народной медицины, основанной на вере в чудесное… (например, килой называется всякая опухоль, не имеющая видимого объяснения в своем образовании, например, царапины, волос…). Тема: Народная медицина в свете науки; накопление таких разных материалов даст нам со временем возможность разобраться, какую роль в духовном складе кустаря играла его [местная] природа, в ней славянство и т. д., но в свою очередь даст план для антропологических и этнологических исследований. Такой путь будет вернее, чем обратно: установить план антропологического [изучения] кустаря.

Если мы будем навязывать план, то никто не будет работать: мы должны найти людей интересующихся, которые могут работать бескорыстно.

В живом учреждении живой человек; библиотека: что читает кустарь — закажем Павлову.

Народный суд — Соколову и Осипову.

Седову — очерк: кустарная среда в отношении к революционному движению…

Чартинскому: труд кустаря в свете гигиены.

27 Июня. Быт, затертое понятие, надо освежить их время, раскрыв его содержание как культуру личных отношений.

30 Июня. Полный расцвет всех трав. Вывелись птенчики и самых поздних птиц.

Было когда-то, да, было! Но теперь я другой, и нет у меня больше души такой, чтобы о прежнем говорить как о самом себе.

Он любил свои неоконченные мысли высказывать на людях и вместе с ними разбирать их, оставляя решать окончательно себе самому.

Страшно потерять себя самого от предстоящих непременно физических болей и думать вперед о позоре предсмертных конвульсий: и каждому самому маленькому человеку предстоит этот позор, сопровождающий Голгофу повседневности — физическую смерть. И, раздумывая, как избежать этого и умереть «непостыдно»{79}, видишь особый мир скорбных людей в клубах людских, в черном, — а одному — невозможно?

К страданиям «известных» людей присоединяется еще сознание неизбежного позора самого духа после смерти над трупом. До чего может тут доходить — пример на глазах: склеп с

-2° над телом Ленина, взрыв канализационной трубы и т. д.

Да бывают ли вообще похороны общественных деятелей непостыдными? Да и совсем, если взять «вообще»: труп — это кал духа, можно ли над калом человека говорить речи? Нет, пусть семья моя после смерти моей обратится к какому-нибудь деревенскому говночисту-попу и стащат потихоньку тело мое на кладбище только близкие мне по плоти люди. А если бы я был знаменит, и нельзя было бы избежать беды общественных похорон, то сжечь надо тело в крематории и говорить уж над пеплом урны — это туда-сюда.

Летний роскошный день среди аромата цветущих лип в черных густых тенях этих деревьев.

— Как тупо душе!

Волнует душу начало весны и конец лета, осень, но летом нам, сдвинутым (но не «свихнувшимся»), лучше всего завесить окна и сидеть в полумраке{80}, зная, что там сверкает роскошный день и им наслаждаются.

Но и в такие дни я придумал себе общение с природой: надо встать задолго до солнца и это время до солнца побыть в лесу, это прекрасно! Когда видишь, как спадает одеяло ночи и звезды скрываются, и ждешь, как вот-вот откроется весь план, весь загад наступающего дня, в это время возвращается юношеская уверенность при каком-нибудь осознанном проступке, что вот захочу, присяду, подумаю — и сразу всю жизнь свою устрою по-новому, и еще так, как никто не жил.

И неплохо после заката встретить ночь во ржи, любуясь туманами в низинах: тогда бывает, как в море; купаясь, я помню, раз начал тонуть, и долго я боролся с захлестывающими дикими волнами, как вдруг так ясно стало сознание: «Зачем бороться, из-за чего? овчина выделки не стоит», — и после того я впал в блаженное состояние, — точно так же и после заката солнца во ржи, когда смотришь на белые туманные низины лугов, вся жизнь скатывается в себя самого, и сам распадаешься «безболезно-непостыдно», и то сам, как туман, то как улетающая на ночлег птица, то как запах ржи… А колокольчик забытой пастухом коровы меня вдруг как-то странно роднит с собой, и я будто колокольчик, а тот запах ржи, огненные облака, птицы на небе — это старше меня, это все мои покойные родные. И незаметно для себя я собираю к себе всех родных своих и тогда понимаю насквозь душу каждого и удивляюсь, как это я раньше их не знал. Потом приходят ко мне разные знакомые, близкие покойники, и о большинстве их я думаю, что они умерли, как дети, [так и] не дожив до себя самих, имели мысли, были деятелями и совсем

жизни еще не знали и так умерли.

Почему Саша сделался доктором? Потому что Дуничка наговорила юноше о человеке, он выучился и стал лечить **обывателей**. Плохой был доктор, но [главное] колдовство понял и овладел их карманами. 15 лет прожил с женой, любил ее и вдруг заскучал, стал ежедневно перед обедом выпивать по три рюмки и еще вечером много пива за картежной игрой в клубе. Явилась фельдшерица, полная, красивая авантюристка. Влюбился и вздумал пожить так, как хочется: купить ружье, собаку, уехать в заволжские леса и там охотиться. Объяснился с женой, утешил ее: он ее любит как друг и умереть непременно явится к ней. Выдумал ехать с фельдшерицей на эпидемию сыпного тифа, там в один месяц много заработать денег и потом уже ехать в Заволжье, а собаку и ружье вперед купил. Через две недели он почувствовал себя больным сыпным тифом, вернулся к жене и умер на ее руках. Так и кончил жизнь, как мальчик, а было ему 43 года.

Илья был революционер, а потом тоже кончил доктором. Раз весной его поразила красота одной девушки, он влюбился, а жениться не пришлось и женился на другой. Он всю жизнь честно работал и верил в свободу России: честно верил. Но сорванный с основ…

10 Июля. Всё от нашей бедности! Так я понимаю всё: чуть, бывает, где-нибудь удастся раздобыть лишнее — и повеселел. Я долго стыдился этой зависимости, но победил стыд мало-помалу, выработав в себе уверенность, что богатство есть действительно благо и что в нем есть счастье, и если кто богатый несчастлив, то это значит, он духом своим виноват. Я духом своим не виноват, и каждого червонца, притекающего в мою суму, встречаю с такой же радостью, как Авраам высокого гостя, посетившего его хижину{81}.

7 Августа. В пятницу 1-го Августа (19 Июля) вечером возле деревни Костино меня укусила бешеная кошка, в воскресенье в 11 утра мне сделали 1-й укол и назначили всего 19 уколов (до 21-го) с повторением после двух недель отдыха.

Сегодня 5-й укол. Иду на прививку по Покровке, и небо такое впереди меня милое: оно было таким раз в день Михаила Архангела, без солнца, но вот-вот покажется солнце, а может быть, и ненастье настанет, никто не может сказать, чем кончится, но перед концом так хорошо и в сердце надежда и вера. И вот странны как люди, которые, созерцая прекрасное, внутренне тронутые им, спрашивают: «А почему так?» — и эти люди называются революционеры. Природа для них — прошлое, все

прошлое они ненавидят, значит, нельзя принять и природу, и небо Михаила Архангела тоже нельзя принять.

Но вот я видел вчера где-то маленький женский рот с чудесными зубами — какая редкость в городе! Ведь хорошие зубы в городах исчезают и заменяются хорошими искусственными зубами. Можно сказать, что естественные зубы — явление прошлого. Городской революционер должен восхищаться механическими зубами.

А я не могу… я восхищаюсь естественными зубами и потому я — контрреволюционер.

Вот и все. И так оно есть. Но так это безумно глупо!

Пример: если опишу полет аэроплана для детского журнала — это поместят на первой странице, но как бы гениально ни описал полет дикой птицы — это будет для второго отдела журнала. Впереди должна быть механизация, т. е. восстановление утраченного, а природа — хранилище, заповедник жизни — нехороша!

Да, я знаю, все сущее должно умереть, но из этого вовсе не следует, что к нему надо быть невнимательным и зачем-то надо уже его убивать!

Да, у меня осталось мало здоровых зубов, и что: разве их вырвать совсем и вставить? Ведь моим здоровым зубам нет никакого будущего, будущее принадлежит зубам механическим. Такой поступок был бы вполне прогрессивным и революционным в современном смысле.

Воробей. У моей бабушки под окном росла малина, и очень она боялась воров, и чуть что — кричит: «Вор!» А дедушка газету читает и как услышит «Вор!» — непременно мыкнет: «О!»

— Что ты окаешь, — кричит бабушка, — бей, скорей бей!

— Вор! О! Бей! Вор! О! Бей! — кричу я. — Дедушка, дедушка!

Мы с дедушкой отворяем окно и пускаем в малину чем-нибудь, что под руку попадется: раз было пепельницей, раз коробочкой спичек, раз ножиком. Воробьи к тому времени, когда малина поспеет, табунятся и вылетают из малины стайкой, и все, серые, садятся рядышком на забор.

— Ступай ищи! — скажет дедушка.

И я с радостью бегу в малину поднимать брошенную вещь.

— Ты где? — беспокоится бабушка.

— Здесь, — отвечаю из малины.

— Что ты там?

— Ножик ищу.

А сам в рот все малину кладу, ягодку за ягодкой.

— Нашел? — беспокоится бабушка.

— Нашел, — говорю.

— Что же ты в малине сидишь?

— Воробьев считаю: раз, два, три.

Но бабушка хитрая, заметит, как я считаю, и опять кричит:

— Вор!

— О! — откликается дедушка.

— Бей, бей!

А я в это время грамоте учился и думаю в малине: «Почему это говорится "ворабей", а пишется "воробей"? Ага, — решаю вопрос, — потому что дедушка газету читает, и, когда бабушка крикнет: "Вор!", он говорит: "О!", а потом бабушка: "Бей!" И так выходит "воробей", а не "ворабей", как надо бы».

8 Августа. 6-й укол (красный).

Сахар спрятался, чай пью с медом. Но как-то не верится в повторение опыта, так не может быть. На верхах все расплылось в тумане, а где-то в низах, в ширине России зреет в бесформенности в будничной жизни — новая жизнь.

9 Августа. 7-й укол (синий).

— Наше правительство, — сказал я Насимовичу, — тем хорошо, что его можно ругать матерным словом, и ничего.

— Не всякий же матерньш словом может ругаться, — ответил Насимович, — а попробуйте-ка ругнуть каким-нибудь другим образом.

«Чернохвостов» из Одессы начинает уплотняться, материализироваться.

13 Августа. 11-й укол (красный).

Сегодня в очереди за прививками явился новый человек из деревни, его спросили, кто его укусил. Когда ответ бывает «собака» — никто не интересуется; если кошка — больше; всего больше интересует волк. Я не слыхал ответа нового пациента, но видел, как все бросились к нему расспрашивать, и, решив, что волк укусил, сам протолкался и спросил:

— Кто вас укусил?

Он ответил:

— Сестра!

Потом он рассказал, что сестру укусила собака на торфяном заводе; собачка рыженькая, мокрая лежала у канавы, проходя мимо нее, работницы пожалели бедную, и каждая, проходя, погладила, а когда последняя погладила, сестра, собака бросилась не нее, искусала. На заводе собаку убили и закопали,

женщине предлагали ехать в Москву, но она неграмотная, одна не посмела, а провожатого не дали. Через 6 месяцев сестра почувствовала себя очень плохо и вечером стала со всеми прощаться. Потом стала рвать на себе волосы целыми прядями. Брат стал с ней бороться, трудно было: «Женщина, а вот никак не мог с ней спопашиться», верхом сел на нее, но она извернулась и укусила за руку. А глаза у нее стали недвижимые и све-етлые! как у зверя.

Позвал соседей, связали, а к утру она умерла.

Разговор марксиста с высоким специалистом:
— Но ведь это противоречит всему учению Маркса.
— Не противоречит, а диалектически подтверждает.

14 Августа. 12-й укол.

Это ведь Грин первый пришел ко мне встревоженный, узнав, что я укушен бешеной кошкой, и сказал: «Мы с вами мужчины, я вот что скажу, не пугайтесь: прививка действует на 80 %, а если вы попадете в те 20? Вот есть средство, купите тогда чесноку и ешьте, лечитесь, как лечатся собаки в лесах…»

Конечно, все это вздор, и не так уж я боюсь, но меня тронуло внимание. И тот же самый Грин узнал вчера, что разрешена продажа водки, купил две бутылки и уговаривал меня с ним пить, хотя знает очень хорошо, что во время прививок нельзя: «Мало ли врут доктора!» и т. д., я едва мог вырваться от него и, думаю, вот если бы я был алкоголик… С Грином были еще Анатолий Каменский и Вашков (Евгений Иванович). Выпив, все они говорили о любви вообще и о жене Арцыбашева, причем Каменский называл ее своей гражданской женой. Вашков сопоставлял Грина с Вагнером: оба, мол, человека отрывают от быта. Грин же хвалил Куприна и говорил о Бунине как о ничтожном писателе. Все это были архаические остатки Петербургской богемы — воскресли, как воскресла казенка[{82}].

15 Августа. 13-й укол.
Книга для детей. Как назвать?

3 мес. — Сент. Окт. Нояб.
Гусек — 6000 зн. _____ 150 руб.
Грач — 1500. _____ 50 руб.
Турлукан — 5760. _____ Коопер. издат. — 100 руб.
Воробей — 2000. _____ «Красная Нива» — 50 руб.
Перепел и дергач — 2000. _ Фурман — 50 руб.
Красная вырубка — 12 000. _ Курымушка — 50 руб.

Матрешка — 12 000. _____ Есть — 100.

_____

41 200 = 1 ½ листа. 550

16 Августа. 14-й укол.

Против Благовещенского пер. на Тверской есть вывеска: «Все-человечество» — и там внутри вегетарианская столовая — я хожу туда: близко, и недурно кормят. По стенам от пола до потолка тезисы всечеловеческого языка Ао, прислуживает человек в голубой маске. Я пробовал читать тезисы, но после того, как догадался, что все сводится в новом языке к всечеловеческой цифре вместо слов, — бросил читать. И все-таки благодаря этим огромным таблицам и человеку в голубой маске в этой столовой едят как-то не по-свински и мысли постоянно сопутствуют еде. Сегодня я думал о священных коровах, что вот как хорошо будет с коровами, если не будем есть мяса. Но если уж язык всечеловеческий, то и корова чтобы одна какая-нибудь для всех людей — не наша, конечно, ничтожная русская коровка, а какая-нибудь голландская. Раз все-человечество, то и все-хозяйство и, значит, голландка. И следовательно, универсальный бык-производитель, все-бык. Сначала это, а потом и все-человек-производитель, англичанин или американец. И чтобы вывести одну породу людей. Смеются над этим, но если будет все-язык, то непременно будет и все-порода.

17 Августа. 15-й укол.

Вчера задумал поработать над «Чертовой Ступой»[{83}].

Жара. Песок побелел на асфальтах. Асфальт размяк.

Кино. Восточные люди крах личного усилия объясняют судьбой: судьба! у социалистов судьба — экономическая необходимость, у моралистов — долг, у художников — скука.

Больше всех личное начало развито у художников, и потому у них отчетливее определилась эта надличная сила под именем скука. И в конце концов, художник борет скуку обыденности личной волей — в этом и есть чудо искусства и подвиг художника. Художник своей творческой властью преображает жизнь так, что в ней нет, как будто нет ни судьбы, ни экономической необходимости, ни долга, ни скуки. Каждый под влиянием искусства поднимает голову повыше, разделяя с автором чувство победителя скуки: в этом и состоит мораль искусства и его полезность. И оно единственно в этом.

Но вот кино, которое без всякого личного героизма, чисто машинным путем вынимает из жизни ноющий нерв времени,

заставляет фотографии жизни чередоваться быстрей, чем в действительности, и слушателю передается чувство победы над скукой.

Мы знаем, например, в творчестве природы чудесные дни, но их мало: серых дней больше. И знаменитая весна в действительности проходит больше в томительном ожидании. А кино выкинет серые дни, и весна станет прекрасной. Хорош золотой дождь семян при посеве ржи, хороши всходы, хороша земля, и цветение, и наливание, и созревание, и жатва, но все это только моментами, а захотите посмотреть в действительности: две недели колосится, две недели цветет, две наливается, две созревает — какая скука! А там вся туга выбрасывается, и рожь в кино одну секунду колосится, другую наливает, и на четвертой секунде готова. Да ведь только смотреть в жизни, как мерно жует бычок свою жвачку день и ночь — вык, вык! и так 365 дней вык, вык! и потом еще столько же, и тогда он делается бык, а хозяин за это время и сам вык-вык — привык, из этого вык сделался век, и так стал сам чело-век, т. е. голова, созданная терпеть всю скуку бычьего века. На борьбу с веком выступает художник, и так создается трагическая личность. Кино посмеялось над художником и моралистом, и художество заменилось международной обывательской болтовней.

Пусть бедно и дело выходит на копейку, хотя голова работает на миллион, — все равно: голова работает на миллион, с головой руки машут сильнее, ноги ходят быстрее, и вид России стал не сонный, как прежде, а деловой.

18 Августа. 16-й укол.
12 час. Охотник: порох, квитанц.
½ 1-го Москва — Насимович.
3 ч. — Фурман.

20 Августа. 17-й укол.
«Зеленая дверь» — не кончилась.
London American Express Company.

Прекрасное ваше письмо, дорогая Т. Н., — вот так Вы можете писать! И удивительно: ведь я всего три раза был у Вас и два раза была у меня Тася, а кажется, мы год и больше провели вместе.

Мое свойство исчезать от близких людей и вдруг появляться среди знакомых общеизвестно, и меня там уже за это не бранят, привыкли.

Впрочем, не скрою, что «семейное счастье» дало какой-то неприятный осадок в моей душе: я как-то тут ничего не понимаю,

никак не могу себе объяснить, и это мне досадно и отчуждает. То была весна света. Вы помните? — еще не было ни капли воды, и ни один цветочек еще не показался. И вдруг Вы с Тасей из этого мира перескакиваете сразу к урожаю. Есть, конечно, вина и с моей стороны, что я не пожелал вникнуть в суть дела, но трудно было: была только весна света, и мне было не то что нескромно вникать, а внутреннего права такого не было. Вот так и осталось от весны это мне неприятное — что Вы теперь называете «хорошим, трудным и сложным». Если можно — напишите мне про это, вы так пишете, что получается понятней даже личной беседы.

Прошла ли Ваша тревога о Тасе, про которую вы мне говорили в последний раз. Ваши планы и все — напишите, чтобы я, наконец, мог окончательно расхохотаться над собственной глупостью, породившей легенду об авантюре «семейного счастья».

21 Августа. 19-й (последний) укол. Запрет охоты, возвратился в четверг 4-го Сентября в Москву на неделю: т. е. до 11-го Сентября — запрещение охоты из-за сухого времени.

<На полях:> Рассказы: Цзач, Волки, Щегол, Пойма, Куропатка, Юбилей, Дергач и перепелка. Еж — Анчар и Пальма для большого журнала{84}.

23 Августа. Дожинают овес.

Очерки (Марксист и пр.), Великий враг (охотничий рассказ), Мой юбилей (охотничий рассказ), Рябчики (детский рассказ, начало весны){85}.

Когда я говорил кустарю И. С. Романову о тягости крестьянина, то он сказал поговорку: «Не уешно, так лежно».

26 августа. По разной беде два года я пережил так в смертной тоске, и вот раз на мельницу ко мне привели кобеля.

— Краденый? — спросил я.

— Краденый, — ответил хозяин, мужичок из далекой деревни. — Зять мой украл щеночком в питомнике.

— Гоняет?

— Здорово.

<На полях:> (Терпеть не могу в лесу накликать. Вот какая гончая была у меня в прежнее время: выйду в лес, пущу, а сам грудок разведу и кипячу чайник. Пока я чай пью, — подымет, и я не спешу, пью чай и слушаю гон, а как пойму — бегу, становлюсь, раз! и готово. После этой собаки я два года не охотился и очень тосковал.)

Пошли пробовать. Время начиналось задорное: стекла потеют, капуста начинает крепко завертываться, рябина, как кровь, и роса крепкая, узорка!

Выходим за околицу, пустили — как пуля! и нет, пропал. Вот

это мне самое главное, не люблю я орать в лесу, накликать, мне нужно в лесу осенью идти по дорожке, покуривать, поглядывать, а собака сама по себе, и вдруг, чтобы сердце прыгнуло: сам! и тогда уж не зевай, а [заходи с другого] боку, перехватывай. Вот и Анчар вышел точно такой, пропал и вдруг обрадовал. Лает густо и редко и мчит! Мы только мало-мальски одумались, он уж с Алексеевой сечи хватил в Карауловский лес версты за три и там закружил. И пока бежал, все кружил, а когда стал на дорожку вблизи, скололся и стал добирать, подтягивать. Вдруг телушка из леса выходит, за ней другая, третья, ну, я понял: заяц увел Анчара в коровьи следы, оттого и скололся.

Прохожу немного по дороге, а мягкая, и в ней мне так [легко идти], гляжу на [свежий след] — лисий след и по дороге. Ну, как я обрадовался: стало быть, он лис гоняет, а у нас этих лисиц! Хотел я только потрубить, отозвать Анчара и поставить на след, а он и сам тут как тут, догадался, схватился и пошел, и пошел умывать. Вот мы следим, следим — остановились, назад не идет, вертит на болоте. Мы побежали тут версты за четыре. Место гиблое, валежник, ямы, [выворотень], и тут он вот рукой подать кружит. Слышим — вик! он, как лисица, [тявкнул]. И стихло. Через минуту выходит, ласкается и будто зовет. Мы за ним, и так тихонечко он бежит, хвостиком повиливает. Стоп! и мы под кустик. И там, глядим, лисица лежит.

Взмок я от радости, забыл, что покупаю и торговаться надо.

— Анчарушка, — говорю, — друг мой…

— Годится? — спрашивает мужик.

Я денег с собой взял, двадцать пять рублей — что за деньги.

— На! — говорю.

И он рад, и я без памяти.

Началась моя новая, счастливая жизнь. Утром встану без времени, в темноте: Медведица горит над мельницей, и ночь, а я знаю по утренней звезде — скоро свет. И как только чуть заголубеет — с Анчаром в лес. Так лист опал, месяц ноябрь подходит, трудный месяц, а мне хоть бы что! гонять мягко, не жарко, не холодно, при звездах выхожу, при звездах вертаюсь. Ну, вот у меня старинный приятель был, теперь он в Москве, в *<1 нрзб.>* служил, охотник мертвый! ведь его все знают, не буду его называть. Пишет он мне, смерть ему хочется погонять, нет ли тут у меня теперь собаки, приехал бы в субботу, в воскресенье бы погоняли. Я-то обрадовался, пишу — приезжает, показываю Анчара: и он рад без памяти.

Встал чуть не с полуночи, самовар завел, и все он бегает, все беспокоится, как бы дождь следы не залил. Ну, всему бывает конец, и ночь кончилась: белое встает утро, туман и земля

холодная, сырая. Я люблю это: смерть! И нам хоть бы что!

Я знаю, где верно лежат русаки, пустил Анчара в ту сторону, а друга поставил на перебежке, а сам недалеко стал за кустом.

Так я и думал, как подался Анчар, прямо лощиной русак пойдет на приятеля, если по верхам пойдет — на меня. Лощиной, гляжу, бежит не русак, а мой Анчар. И так вижу, что приятель мой в него целится. Подумал я, балуется, другой раз скучно стоять — частенько этим сам занимался. Но вдруг — хлоп! и нет Анчара, кинулся в лощину.

Это бывает, я сам раз на этом же самом месте в человека стрелял: лощиной шел мужик в русачьей шапке, серой, и [только шапка видна], я в шапку и дунул.

Так я и замер: оторвалось мое сердце. А мне видно из-за куста, как приятель спустился в лощину посмотреть на убитого, в мою сторону поглядел — не видно ему было меня, и опять стал на свое место…

Пришел я в себя и думаю: «Ну, что же, ведь и человека убивают, случай!» Я немолодой человек, в жизни много перенес, знаю, как все непрочно, и еще знаю — какое бы горе ни было, счастье может вернуться опять. И так это у меня уже заготовлено в душе на всякое даже самое большое несчастье. Вот я сел там на камень — думаю, а земля [мягкая] вот как могила разверзлась, пахнет всей своей сыростью и холодом веет, и как-то нет ничего, в глазах потемнело.

Но чего же приятель на месте стоит, чего он ждет?

— Гоп! — кричу.

Отвечает.

— В кого ты стрелял?

— Сова пролетела.

Я про себя: «А, ты вот как…»

— Убил? — кричу.

— Промазал.

Понимаю его: сказал бы «убил», я, может быть, и захотел бы пойти посмотреть.

— Сережа! — кричу.

Ах, извините: я не хотел вам называть имя этого охотника, может быть, вы сами бы догадались, вы все его знаете, ну, да у нас в Союзе много Сергеев.

— Сережа! — кричу ему, — потруби Анчара.

Мне все видно из-за куста, смотрю: хватается за рог…

И трубит.

А я на камне сижу и удивляюсь на ястреба: ворона его гонит, и он, такой большой, от нее удирает. «Видно, — думаю, — возиться не хочет». И тихо так, пустынно, а [маленькая] синичка

попискивает, от этого и еще кажется тише.

— Сережа, — кричу, — потрубите еще!

Он опять.

До трех раз я его просил, и три раза он исполнял, трубил.

— Ну, довольно, — кричу, — иди сюда!

Подходит, на меня не глядит.

— Вот что, — говорю ему, — ты не помнишь, как был Анчар, в ошейнике или нет?

— В ошейнике, — отвечает.

— Ну, вот видишь, — говорю, — я забыл отвязать, а он, верно, махнул и повис где-нибудь на суку. Эта тропинка в деревню Цыганово, мы там чай будем пить, ты иди и потрубливай, а я буду искать и слушать, не выскочит ли где-нибудь на трубу. Иди, Сережа, иди!

Так он идет и трубит, а я прямо к Анчару. Топор у меня всегда на случай за поясом. Срубил я дерево, вытесал вроде лопаты и копаю могилу в мягкой земле.

А он трубит.

Схоронил я друга, насыпал курган.

А он все трубит.

И дерну вырубил топором, обложил как следует, как у людей.

Дождик пошел, мелкий, холодный. Страшный месяц Ноябрь, много он уносит живых, вся земля, как могила. Простился я.

А Сережа уже из деревни трубит, из Цыганова. И так дни коротки в Ноябре. Пока я пришел в Цыганово, пока самовар кипел — смеркается. Выпили мы по первому стакану.

— Смеркается, — говорю.

— Да, — отвечает, — смеркается.

— Вот, — говорю, — я сейчас яйца в самовар положу, а ты потруби, пожалуйста.

И ночью много раз я просыпался.

— Не спишь? — спрашиваю.

— Нет, — говорит, — не сплю, что-то нездоровится, вышел бы…

— Ничего, — говорю, — я спал.

И трубил.

Всю ночь трубил. Я не буду называть вам этого охотника, вы все его знаете.

1 Сентября. «Создав научное общество и посвятив его имени одного мертвеца…»

Конец Савинкова (у Ремизова: Серафима Павловна сказала: «Кто же спасет Россию?», Савинков ответил: «Я!»).

Савинков признал советскую власть{86}. Мы же с одним

честным коммунистом, вынесшим на своих плечах 18–19-й гг. в провинции и притом не расстрелявшим ни одного человека, читали признание это, обмениваясь полусловами, как будто перед нами вопрос вставал: «А мы-то сами признаём или не признаём?»

Что-то интеллигентское, головное, бумажное, чуждое было нам в этом признании Савинкова, и я вспомнил, как Мережковский спрашивал нас{87}: «Где можно записаться в партию социалистов-революционеров?» Коммунисту, повседневному труженику советской России, было в своей совести неясно: признает ли сама Россия, ее рабочие и крестьяне свою советскую власть, а Савинков прозрел и вдруг увидел, что рабочие и крестьяне власть эту почти что любят. Савинкову трудно умирать в темном сознании, что он шел против рабочих и крестьян.

Странно было читать… И что ему тут делать? Это последний конец революционного интеллигента, оставшегося без царя высыхающей кляксой на дописанном листе. Так вынули Чернова из подполья, и нет его, вынули Савинкова.

3 Сентября. Дупеля.

Холодной ночью по зеленым болотным отавам рассыпались на отдых прястающие дупеля и серым моросливым утром забегали между тесными кочками.

Крестьяне только что скосили овес и расставили в бабки. И это ежегодное совпадение конца овсяного покоса с началом дупелиной высыпки породило у крестьян убеждение, что дупеля живут в овсе и после покоса его переселяются в болота.

Вдруг ясно встала та первопричина моего расхождения с коммунистами в практическом деле и отчего, например, мне почти невозможно стало писать журнальные очерки. Вот это что: все явления быта у меня относятся к некоему высшему, универсальному Я, с точки зрения которого общественные явления есть нечто временно-преходящее; конечно, это не мое индивидуальное «я», а высшая соборная личность. Никогда я не могу согласиться с обратным пониманием. И когда говоришь с коммунистами «вообще», то они как будто и соглашаются с тобой, но на деле у них все против.

8 Сентября. Вчера мы открыли вальдшнепиную высыпку. Утро росистое, солнце медленно рассеивает туман. На цветах холодною ночью обмерли шмели, тряхнешь — и падают, как мертвые. Но по мере того, как солнце нагревает к полудню, и они оживают и начинают летать.

И уснул насмерть, как морозною ночью шмель на цветке.

— А ползучий гад еще наверху?

— Что ты, это по Воздвиженье.

<На полях:> Это, верно, высыпали местные гнездовые, жиру нет нисколько.

9 Сентября. Деревня Попадинки в большом глухом лесу, заросль вокруг частая, как конопля, попадать в нее, не зная дороги, очень трудно, и много лучше бы деревню эту называть Непопадинки.

Раз я охотился около деревни в частых кустах. Собака моя была с колокольчиком, не вижу ее, а слышу колокольчик и так по колокольчику за ней слежу. Без этого в зарослях нельзя охотиться. Случись так, оборвался на собаке колокольчик и потерялся в траве. Что делать? Поискал я, не нашел, бросил охоту и пошел отдохнуть в деревню.

После обеда у председателя лег я на лавку поспать. Мухи очень кусали меня, измучили, открываю глаза, в избе нет никого, а на окне вижу колокольчик чуть побольше моего.

Спроситься было не у кого, но это пустяки, думаю, зачем спрашиваться, возьму колокольчик и потом принесу.

Привязав колокольчик к ошейнику, я пустил Ярика, и он пустился по деревне из конца в конец, звеня колокольчиком.

Я хорошо поохотился.

Перед самой деревней на возвратном пути встречается маленький песик и, увидев Ярика, пустился по дороге, Ярик за ним, песик дальше, Ярик за ним дальше, дальше и так далеко ушел, что и колокольчика не слышно.

«Ничего, — думаю, — придет».

И вошел в деревню. Смотрю, собрались все мужики на сходку, сидят на бревне и ругаются.

— Чего это вы, — спрашиваю, — кого ругаете?

— Председателя. Да как же, — говорят, — не ругать его: звонил, звонил по деревне, собрал сходку, а сам пропал, вот сидим и ругаемся.

В это время на другом конце деревни послышался колокольчик.

— Что он, с ума сошел? — сказали на сходе. — Опять звонит!

Все на сходе повернулись в ту сторону, и с той стороны Ярик показывается с колокольчиком и звонит, и звонит, сходку собирает.

Конечно, досталось мне за колокольчик, но потом все много смеялись.

12 Сентября. Чудесное выздоровление от 3-дневной лихорадки.

Все затерянное, нырнувшее куда-то из-под рук быстро находится, если применить **систему**, например, если потерялся, положим, ключ в такой-то комнате, то надо решиться обыскать всю комнату, последовательно переходя от одного предмета к другому, — и очень редко бывает в таком случае, что придется перерывать всю комнату, скорее всего бывает даже так, что ключ находится в тот самый момент, когда явилась решимость действовать систематично. Так это просто и понятно, а множество людей в поисках ключа предпочитают завязывать свой носовой платок на ножке стола, чем действовать систематично.

Суеверие отчасти, может быть, является от страха к системе.

Ефросинья Павловна в общем разумная женщина, и в душевной беседе она умно и глубоко раскрывается, но если, как часто бывает, в ее раздраженном состоянии да влепить поперек ее какое-нибудь словцо и на ее ответ стрельнуть другим, третьим, то вдруг совершенно теряет способность думать о своих словах и лепит их без всякого удержу, с величайшей ненавистью. Тогда открывается у нее совершенно иное, боевое лицо, обращенное ко мне со страшной ненавистью.

В первом своем лице она глубоко религиозное существо, очень способное к мудрым решениям и бесповоротно отрицающее советскую власть (большевистскую), во втором лице она является типичною вульгарною большевичкою из баб 1918 года. Я кричу ей тогда:

— Брось ты свою пролетарскую ерунду!

Она же мне отвечает:

— А ты свою буржуйскую! Ты меня высосал всю («попили нашей кровушки»).

Наоборот, в 1-м своем лице она бранит большевиков, и я напрягаю все силы ума для защиты их.

Не такова ли и вся Россия, как эта женщина, в отношении к советской власти? Надо попробовать анализировать.

1-й материал — это мое же былое чувство неприязни к дворянам аристократам (наши соседи Стаховичи). Такое же чувство у Седова к интеллигенции и, наверное, такое же у крестьянина к дворянам, интеллигентам и всякому человеку в шляпе. Этого же происхождения и чувство Ефросиньи Павловны в ее втором лице.

Описание этого чувства.

Да, это чувство, это не мысль. Оно безлично, потому что движется не к лицу, не к духу, а к группе людей со

свойственными этим людям повадками (мужик не любит шляпу интеллигента, я не люблю, что Стахович, член Гос. совета, ест простоквашу, играет в футбол — чувство направлено на шляпу, на простоквашу, на красный широкий затылок «лечащегося» Стаховича, но не на лицо). И даже, напротив, это чувство исключает личное отношение. Это злобное воинственное чувство может даже совершенно исчезнуть при встрече с лицом врага, закрытым его групповыми повадками (множество примеров: брак).

Происхождение чувства.

Из себя: откуда, отчего это взялось у меня самого?

<На полях:> (В развилине двух белых сучков на березе была белая кашка.)

Спец-человек (я).

Парт-человек (Седов).

1-е. Дикость: чужие (гости) приехали, бежать! Все их манеры, слова, костюмы — все неестественно, фальшиво. Я там у них не могу быть, я сквозь землю провалюсь. Но почему же эта естественная робость обращается не в почтительный трепет, а в ненависть? Это уже было до меня и мне внушено: от купеческой природы (в Ельце купечество организованно выступало против дворянства), от либеральных течений через интеллигенцию.

Вот это: непременно ли со стороны? Быть может, наоборот, почтительность со стороны, а ненависть из естественной дикости, отчужденности — и это естественно-злобное чувство культивируется и поэтому кажется, что приходит со стороны?

Ну вот, даже на этой ступени анализа понятно, что Ефросинья Павловна должна иметь два лица: одно лицо, созданное церковной культурой, и другое — процессом распада общества.

Розанов запел свою песнь песней о евреях{88} в тот момент, когда о своем народе сказал: «Подлый народ», боюсь, что и я к тому же приду…

В. Розанов. «Апокалипсис» № 6–7, ст. 85: «…среди свинства русских есть, правда, одно дорогое качество — интимность, задушевность. Евреи — то же. И вот этой чертою они ужасно связываются с русскими. Только русский есть пьяный задушевный человек, а еврей есть трезвый задушевный человек».

Вот гениально и трогает до слез своей правдивостью!

<На полях:> Алов — максималистское чувство будущего, когда ласкает ребенка, и все, что дает прошлое: как бы не проспать и не упустить, если *<1 нрзб.>* обрывать китайку.

Мысли при утренней звезде.

Кто же более виновен — вор или скупец, алчностью своей порождающий вора?

Это все равно, что спросить: клоп или нечистоплотный хозяин?

Поворот: гибель базара, кооперации (соленые огурцы).

Московский засол.

Записи при утренней звезде.

Им был голос, подобный голосу из пылающего куста{89}, что «согласен», — но вот условие: «после царя берут власть они сами, и только они».

Страшный был голос, потому что они думали свергнуть царя и освободить народ, первое было как труд, как туга, второе как радость: счастье — освободить человечество, которое уже само создает себе новую, хорошую власть. Но голос осуждал на новую страшную тугу: самим убийцам царя должно быть властью, т. е. самим разрушить, самим и построить.

Они ответили почти без колебания: — Да!

И там:

— Се буде!

И вот, презираемые, проклинаемые народом, по трупам растерзанных людей, умерших от голода и болезней, они послали детей пионеров на голеньких ножках с красными тряпками на палочках будить народы мира к восстанию.

15 Сентября. На учительском съезде было поставлено много докладов о краеведении, но самое краеведение, работу местного общества решили поставить на самый конец: в 6 часов вечера после четырех дней утомительных занятий. Когда пришел этот час, проголосовали: «добровольно слушать или во исполнение программы». Большинством одного голоса решили: добровольно; после чего ¾ учителей разъехалось на места. Остальные собрались. М. П. Седов начал говорить свою живую речь, и только было пробудился интерес, вдруг ударили в набат — пожар! — и вся аудитория бросилась вон. Мы спрашивали друг друга, что это уже безвозвратно? Понимающие отвечали: «Смотря по пожару, если маленький и скучный, — вернутся, но не все». Пожар оказался маленький, вернулась половина из четверти съезда. Договорив наскоро свою речь, председатель предоставил Семенову читать свою краеведческую работу, и мы с Седовым довольные сказали: «И все-таки это реальное дело, и сделали это мы».

Я хорошо знал работу и потому пошел домой в деревню. В тот момент, когда я вступал в деревню, в Талдоме опять ударили

в набат, и у меня оторвалось сердце: теперь уже, наверно, так разбегутся, что и не соберешь. В нашей деревне ответили ударом в набат, и вся масса деревни бурей пронеслась мимо меня на горку смотреть на пожар. Нужно, значит, представить себе, что во всех окрестных деревнях, куда только достигал звук Талдомских колоколов, — везде в этот момент бежали смотреть на пожар.

Мне от этой мысли стало все-таки легче: значит, думал я, аудитория наша не представляет исключения, все бегут.

(В Москве: 1) Ц. П. О., 2) Насимович, 3) «Н. Москва»: договор, «Круг» — о книге, 4) Деньги: «Красная Нива», «Н. Москва», «Охотник» (взять журнал), «Огонек», детские, «Вестник кооперации», Фурман.)

Принципы могут быть у частных людей, отчасти в общественных группировках, но государство не должно иметь какого-нибудь пристрастия к идеям, государство полезно только тем, что во всем соблюдает меру.

17 Сентября. России нужен чиновник, и всякий, взявшийся за дело, монархист или коммунист, сделается на короткое время чиновником. Нынешние чиновники, нужно признать, еще более заняты, чем прежние, и простой народ еще более презирает их, бумажных людей, представляя себе, что жизнь их легкая и они дармоеды. В народном сознании это люди низкого морального уровня, как воры. Между тем люди эти виноваты только тем, что слишком принципиальны, идейны.

Наши марксисты называют себя материалистами, но совершенно лишены чувства восприятия материального мира: это чистейшие идеалисты, пользующиеся лексиконом философского материализма. И немудрено: ведь чувство материи, называемое на юридическом языке «собственностью», исключается экономическими материалистами, а вместе с тем из действительного материального мира вытравляется и весь аромат материи. Взять хотя бы засол огурцов домашним способом и общественным: никогда потребительскому обществу не добиться такого огурца, какой получается у домашней хозяйки (или выпечка хлеба в частной избе: купите хлеба в деревенской избе и пойдите с ним в другую, другая хозяйка попробует и скажет, что хлеб куплен, положим, у Акулины, и также огурцы).

Частное лицо — это щупало материи, но дощупаться до материи значит одухотворить ее, вызвать к жизни блистающий дух. Буржуазия была историческим щупалом материи, и

социализм только тогда сделает шаг вперед, когда признает буржуазию своим отцом — материю.

В Высочках я хотел найти печника, приотворил дверь и только просунул голову — хвать! — меня старуха по голове мокрой тряпкой.

— Не проси, не подаю! — крикнула она.

— Да я не прошу, — сказал я за дверью, — мне нужно узнать, где живет печник.

— Убирайся, не скажу! — крикнула она.

— Старуха! — сказал я. — Попомни, что к тебе самый старший черт приходил, и уж если ты к нам попадешь, я тебе хорошо отплачу.

Настоящая Чертова Ступа! Я шел, раздумывая: «Какое-то растение цветет в сто лет один раз? растение это низменное, корявое, колючее… и цветет! может быть, красота вообще есть цвет зла? и через этот цвет получаются добрые семена? так добро вырастает из зла?»

Равнодушно принимает в себя мать-земля все семена, и добрые, и злые, и одинаково всем им дает свои материнские соки. Но приходит человек и то, что ему на пользу, — называет добром, что на вред, — злом. И, распоряжаясь по-своему, сеет только добрые семена.

Интеграл сверху: курят и говорят до сумасшествия. Внизу: ищут работы, приходят в кооператив, там отвечают: «нет сукна». Они ищут и находят в потребилке{90}, возвращаются в промышленный кооператив и говорят: «у нас есть сукно».

Лицо, соответствующее действительному статскому советнику, говорит всем «ты», потому что в его среде все говорят на «ты». Ему чрезвычайно трудно говорить «вы», и если приходится, то это усилие следить за собой столь трудно, что речь становится путаной. Мне он долго говорил «вы». Мы долго бесполезно говорили о музее, наконец, я попал на его, очевидно, излюбленную тему о насаждении парка и назвал его дендрологическим.

— Как? — сказал он. — Дендалогический?

— Ну да.

— А ты в этом понимаешь? — и оживленно пошел на ты, весь сияя.

После этого я почувствовал неловкость говорить человеку «вы», если он говорит мне «ты», и сказал:

— Ты-то как думаешь? — и засыпал его: «ты, ты, ты!»

Умный человек понял неестественность этого и перешел на «вы», и дело снова запуталось.

Кооп. производств, должен принять на себя черты отца строгого, справедливого, а потребит. — матери, хозяйки доброй (засол): за тонкой перегородкой женщины разговаривали о московском засоле.

— Я, — говорила одна хозяйка, — посолила одну только меру, — кооперат. солит массовым засолом, дешевле…

— Сахар почем? Чернов закупил…

Душа женщин перемещалась в кооператив… Не чиновница, а хозяйка…

(Две женщины — два государства сошлись, и кооперация — это союз союзов миллионов маленьких государств.)

Почему-то старые кооператоры не принимают участия в новом строительстве? Им мешает прошлое, идеи, и точно так же не годятся партийные люди: идеи. Лучшие кооператоры без прошлого, без идей, из банковских служащих (Кузнецов).

Причина беды в Произв. кооперации: кооперативный совет при Компарте: там непонимающие люди составляют неверные планы хозяйства; вторая причина: нет кредита; третья: падение лучших торговцев и потому разврат рынка.

19 Сентября. В 10 утра в Оргбюро. В 11 часов — к Насимовичу. В 12 дня — Новая Москва, в 1 ч. — Госиздат. В ¼ 5 д. — к Фурману, в 6 в. — Смирнову.

Все сделано, ресурсы:
Новая Москва — 5 черв.
Красная Нива — 4 черв.
Охотник — 2 черв.
Иск. — 3 черв.

_____
Итого: 14 черв.

Известия — 8 черв.
Прожект. — 5 черв.

_____
27 черв.
10

_____
Турлукан 37 черв.

20 Сентября. Зайти в 10 ч. в Оргбюро, в ½ 11-го в «Новую Москву» и в Грузины за книгой, в 1 ч. — «Охотник» и там купить пищики.

К. сказал мне:

— Неправда, партийный билет вытравляет из души все живое.

— Почему? — спросил я.

— Потому что их 1-й конек недоверие, и это приводит душу к полному опустошению. И у каждого парт-человека в губе кольцо, чуть что — и его вздернут.

К. неврастеник и жуткий, он не додумывает до конца: он же парт-человек и охраняет ныне русское государство.

Может быть, вы видите небо над улицами и что там где-то в конце улицы садится солнце, а вечером из окна смотрите на звезды, и вам рисуются на небе темные очертания гигантских зданий — вы любуетесь городом? Значит, у вас есть досуг и угол, откуда вы можете смотреть. У меня этого нет, я сам движусь с утра до вечера, я сам часть этого движения; нет у меня угла, нет у меня времени, я сам движение, *<1 нрзб.>* творит.

Мне вчера сказали в детском журнале, что рассказ мой замечательный, мне было нечувствительно это, потому что за детские рассказы платят 5 р. — мало! Но вдруг редактор сказал: за такой рассказ вам заплатим 2 червонца. Я вдруг обрадовался своему рассказу, я перечитал его, я сам себе восхитился. Кассира не было, я упросил выдать мне без кассира.

— Вы уезжаете, куда, зачем?

— В деревню на охоту.

— Очень хорошо. Екатерина Васильевна сказала: у псовых охотников душа не имеет зла.

21 Сентября. Охота за червонцами.

Мое преступление — не пишу дневники. Есть что-то небывалое (в мире) в моих налетах на Москву за деньгами: это какое-то продолжение охоты в диких лесах; я не обращаю больше внимания на городское движение, дома, людей, совершенно один, и иногда наклевывается где-нибудь гонорар — там стойка и смысл жизни, и теплота и свет переменяется, когда тащишь в кармане червонцы и весело что-то бормочешь, посвистываешь, напеваешь.

Я совсем больше не **цепляюсь** за людей, я живу, писатель, как одичалое домашнее животное.

Литература просто рассыпалась, кое-какие журналы существуют не внутренним кровяным питанием, а кожею,

поверхностно, как бородавка, отщипнешь — и не больно, и всё растут. И что сочиняешь, то не из себя, а само выходит, как бородавка, и не чувствуешь, сочинив, силы истекшей.

Сверх ожидания у меня сейчас насобиралось 20 червонцев, я весь в мечте: поправить печку, купить всем по одеялу (покрываемся пальто) и главное — белья.

Я вот что еще думаю; а может быть, это, вот как я теперь один и нет литературы, общества, то это не время истории, а мое время, как у всех, за 50 пошло, высоко вырос, крепость в сучьях, в себе самом и что живешь сам по себе. Просто я попал в Старшие и нет возможности собраться с другими под дерево, а другие уже должны собираться подо мной, и мне это незаметно.

А солнце над собой я чувствую и какую-то беспредельность мира…

Самоутверждение…

Добывание денег: до кассы, в кассе нет, ждешь! скопляются. Некоторые уходят, я не ухожу, я **жду**. Момент получения… И на фоне этом: **встречи**. Поверхностная сердечность и жестокость в **узле** (дела нет до человека): Орешин и Клычков.

22 Сентября. До чего хорошо написал Ремизов о Розанове во 2-м №-е «Окна» и тоже Гиппиус в 3-м «Окне». Вот старики! у нас тут и не веет даже…

Ремизов пишет, что у него и от рождения нет честолюбия, удивительно для Ремизова, как он осмелился это сказать. Как так — нет честолюбия! Есть, конечно, и очень большое, но можно честолюбие перекусить, т. е. вот до чего глубоко взяться, что обычная температура честолюбия кажется маленькой. Слишком много сделано Ремизовым, чтобы удовлетвориться обычным признанием общества, и тоже слишком много обиды перенесено, и уж привычно стало жить, писать и без признания: это сверх-человеческая гордость у него говорит, что будто бы нет честолюбия от рождения.

В эти несколько дней, когда собралось у меня неожиданно более 20 червонцев, — какое преображение произошло всего моего физического и духовного существа, значит, в каком же страшном я нахожусь угнетении!

Что есть художество? вот какая-нибудь пичужка сидит на ветке, шишку долбит и носик у нее кривой, и, с одной стороны, линия этого носика есть часть траектории чего-то огромного, вроде Марса, а с другой, это великое предстоит сердцу умильно,

понятно, ответно — восхищение от пустяка и пустяк это все…

Голова переполнена смутными мыслями, глаз увидел предмет, и то, что было смутно в себе, вдруг отчетливо разобралось на предмете, и в сердце радость: «Так вот оно что!» Тогда опишите этот предмет, и окажется он в вашем описании для других как бы вновь открытым, выкопанным из-под пепла забвения.

Но если вы просто будете подходить к предметам, без себя самого, то будете описывать всем известное и скучное.

Наверно, этого и у Даля нет, и никто не знает, что значит слово «**волчки**». Это, оказывается, артисты обувного дела, башмачники-художники. И так я обрадовался этим волчкам. Очень уж угнетала меня **погонщина**. И опять неизвестное слово: погонщина значит работа из-под палки, гонная, погонная. Ведь до чего раньше доходило: 70 пар дамских туфель в день.

Один большой знаток кожевенно-обувного дела сказал мне:

— Вот есть писатели гениальные, а почему же нет такого гениального человека, кто бы до точности знал все кожевенно-обувное дело?

Стали перебирать всех известных знатоков, и все они были знатоками в какой-нибудь специальности, но чтобы все кожевенно-обувное дело кто-нибудь знал бы, это оказалось невозможным для одного человека.

Мы собирали образцы колодок, инструментов и товаров по башмачно-кустарному производству и объяснили одному кустарю, что собираем для музея.

— А музей для кого? — спросил кустарь.

— Для вас, башмачников.

— И для меня? пустое дело: я сам музей.

Он был прав: всякий кустарь есть ходячий музей, носящий в себе столько новых переданных ему придумок.

Мы были на крупнейшей московской обувной фабрике и видели там весь процесс производственных работ на 100 с чем-то машинных операций. Но, верно, и это очень мало, потому что оказалось: разложить Музей до конца не удастся, механическое было одно, ручное — другое, машина не может сделать художественный башмак.

Мастера-артисты, немеханизируемые, неподражаемые, называются **волчками**.

Взяв себе для исследования как руководящую нить гипотезу о машине, побеждающей ручной труд, я решительно не знаю, куда мне девать волчков.

Слышал тоже легенду, будто из Парижа одна дама приезжала в Столешников переулок и там у Романова купила себе башмаки, надела их и прямо в грязь без калош и потом с грязными башмаками в Париж. Там, в Париже, она башмаки вычистила и одну пару продала, и как раз окупила дорогу, а другая пара, значит, ей даром досталась.

Рассказывал я эту легенду на месте башмачного кустарного производства, и мне отвечали:

— Значит, волчковая работа, против наших волчков на свете нет.

Волчки значит артисты-мастера.

Меня интересовало не то, что, правда, в Париже не могут сделать таких башмаков, как у нас, а самое происхождение национально-башмачной легенды.

И главное, сам-то я до того увлекся изучением башмака, что мне очень хотелось и очень радовался и волновался, что наши башмаки лучше парижских. Мало того: люди убежденные, интернационалисты, работавшие в обувном деле, когда я им говорил, что в Париже башмаки лучше наших, защищали с оружием в руках русский башмак.

В чем же сила?

При нашей бедности и вот сила, в чем? И я возмечтал: найду волчка, сделаю башмак на неизвестную даму, поставлю на полку и буду водить к себе американцев: полюбуйтесь!

Собрались ко мне в Талдом лучшие мастера, говорю им про башмаки и про американцев: у них глаза горят.

— Сможете?

— Нет, не можем, лучшие волчки в Марьиной Роще.

— Ну, а там кто?

Все в один голос:

— Савелий Павлович Цыганов!

У меня так: если уж взялся преследовать цель, то до конца, до гроба убьюсь, а разберу. Еду в Марьину Рощу… Высокий малый, затянутый в фартук.

— Цыганов?

— Я.

То, се, про волчков: есть волчки? Ну, пошел, и тут я все сразу узнал, откуда это слово взялось.

Понедельник: 11–12 — «Рабочая Москва»: гонорар, 12–1 — «Новая Москва», Турлукан и Ацаркин, 1–2 — обед, 2–1 — Госплан, 4–6 — чай, 6–7 — «Известия», 7 — Руднев.

23 Сентября. Блестяще закончив дела, еду домой.

Мы были в большом бою, мы вышли из боя все раненные, но кровь движется и рану затягивает. Хватит ли крови здоровой для полного забвения раны. Едва ли, но в молодых хватит, они вырастут, как нужно быть человеку-строителю нового мира, без этого болезненного чувства памяти добра и зла.

Тогда не будет ни победителей, ни побежденных, и жизнь станет, как полное сочное данное.

Но теперь пока мы встречаем два типа, одни в полной памяти добра и зла — люди ушибленные. Другие забываются в плутне, люди-плуты, с виду очень веселые. Есть и третьи люди: деловые, с глазами напряженными, которых не знали в дореволюционное время.

В общем, два типа остались на пожарище русской интеллигенции: плуты и ушибленные.

И, конечно, есть деловой человек, уже тот человек без памяти добра и зла, ему спасение — дело, он знает, что на губе его кольцо и чуть он остановится — за кольцо дернут. Он бежит вперед и здоров!

О, конечно, я знаю, везде и всегда есть сам-человек. Сам-человек живет сам по себе, но этот стержневой человек — не интеллигенция, это люди начала, я о них не хочу говорить; меня сейчас интересуют концы, вот как Савинков: **признал** нечто (что?) и кончился, как поп снял рясу — и нет его.

Так вот и эти человеческие герои, тут все концы, клубок целый, и всё из концов. Собрались вечером за пивом, приехал новенький учитель, надо же познакомиться. Один ловкий антирелигиозник (их два у нас и оба никуда не годятся) взял и подтасовал карту: «Поезжай вместо меня завтра в деревню». По задору согласился: ему же легко, он естественник, насыпал в пробирку перекиси марганца — подогрел — кислород, серная кислота, [подогрел] — водород, а вышел гремучий газ{91}, пустил в мыло — пузыри, спичку — хлоп! Гром и молния, и сам, как Илья-Пророк.

Задорно, а все выпили пива, раскис:

— А все-таки, товарищи, какая первопричина, я сказать не могу.

— Струсил!

Смеялись и называли химика **первопричинным**. Добродушный малый, сам смеялся и так со смехом уснул на диване.

Разбудили рано утром, лошадь подъехала ехать в деревню, а не подготовлена лекция — какая чепуха! И голова спросонья болит!

Вот это и подвело — голова, с больной головы на здоровую в отношении к существованию Бога посредством перекиси марганца.

Насыпал, подогрел — треснуло. Рассердился и швырнул на пол, ну, что поделаешь, голова болит, и совесть нечиста: первопричины не знает.

Водород пустил, рано поджег, воздух не вышел: пузырек вдребезги.

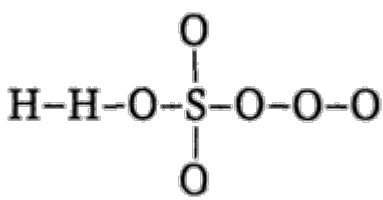
Терпение лопнуло.

— Брось пузырьки! — крикнул мужик. — Сделай нам дождик.

Начали смеяться. Пришлось переждать и прочитать лекцию: о происхождении человека, конечно, от обезьяны.

Конечно, каждый образованный естественник знает, что с происхождением от обезьяны дело не так просто, никто из нас не представляет себе так просто, что вот была обезьяна и стал человек: путаница тут, как известно, чрезвычайная, а для <1 нрзб.> этой путаницы простому человеку говорят просто: от обезьяны!

Я сам видел одну книгу по химии, изданную когда-то народником, на обложке было напечатано: «Популярная **хвемия** для народа», и в тексте атомы назывались ахто- ми, за руки ахтоми держатся, например,



= H_2SO_4 — серная кислота.

Ну, вот и эта обезьяна преподносится совершенно так же, как **хвемия**.

В результате аудитория посылает записки лектору. Я их читал, они сейчас у меня на столе, вот некоторые из них:

— «А ежеля человек от абезьяны в прежние времена, то учаго же нынче человек от абезьяны не рождается?»

Лектор остолбенел от вопроса, но выход нашелся: сама обезьяна стала не та, и она изменилась.

Но другой задумался, Прометеев огонь сошел и на него: обезьяна и человек, а как же другие животные? Он пишет:

«**У чаго вызалась** собака?»

24 Сентября. Костино.

Что значит «верю»? Значит, между прочим, что я и имею некий деловой загад на будущее. А «знаю» — это что факт уже совершился, хочу, не хочу, с моей стороны усилий больше не

надо, воля моя из моего загада вынута, и загад мой больше не нужен, и сам я больше не нужен, все кончилось и прошло: я знаю. Так выходит, что вера была колыбелью знания, а знание стало мечтой веры.

И вообще: я знаю, значит что-то стало позади меня, я то знаю, а что впереди, еще я не узнал, туда, вперед, я верю.

27 Сентября. 14-го ст. Сентября гусь летит, и вышло точно: в ночь на 14-е вчера пошел гусь. Сухо. Звездно. Что особенно хорошо в гусином перелете — это напряженность, сжатость и крайняя бережливость звука: это «ке-ге!» раздается где-то под звездами изредка, в крайней необходимости.

— Хорошо нынче лететь, — сказал кто-то в темноте, — виден птичий путь.

Читал «Курымушку»{92}. «Голубые бобры» — очень хорошо. Чувствуешь, что «Маленький Каин» хуже, но спрашиваешь, прочтя: «Чем хуже-то?» Написано так же хорошо, чем хуже? «Золотые горы» недоработано, но в общем закружение юноши передано сильно. Молодец, Михаил!

Мой посев приносит плоды: всюду зовут писать. Между тем я ничего не уступил из себя: жизнь изменяется.

1 Октября. Воскресенье и понедельник были у меня московские охотники Руднев и Смирнов. Было жарко и сухо, и утро было сухое. Собака бегала, высунув язык. Сегодня показались гаршнепы.

Отлично играют на дудочках в нашем краю пастухи на заре, и такое счастье услышать до восхода солнца эту мелодию. Но в нашей деревне пастух играет из рук вон как плохо, и так бывает обидно слушать его и знать, что в других деревнях в это время слышится чудесная музыка. И так каждое утро в тот час, из-за которого я и живу на свете. Так просто бы взять и переехать в другую деревню, где хороший пастух, но как с семьей переедешь, никто не поймет, что переезд совершается из-за пастуха.

Воду держат у нас два шурина, у одного мельница повыше деревни, у другого пониже, и вся вода зависит от них, как они ладно живут, — у нас воды в реке много: в крутых берегах, поросших густо соснами и березками, бежит красавица Дубна. Но если шурины между собой повздорят и верхний воду закроет, — нет воды, не река, а грязь. Вся красота местности зависит от двух шуринов, как у них дома. И вот неладно живут они: часто верхний шурин запирает воду, и мы дожидаемся, когда они опять помирятся.

Деревня Хрущево. (Начало повести)

Раньше я, бывало, когда не спится, начинаю считать до тысячи, но теперь это перестало действовать: раньше на третьей сотне, бывало, непременно уснешь, теперь после тысячи начинается вроде сна с продолжением счета, но с безобразными ошибками, с мучением совести за эти ошибки — спишь, не спишь, отвратительное состояние. Выдумал я теперь себе другой и прекрасный способ: путешествие по той усадьбе, где я родился, вырос и бывал каждое лето. Теперь эта усадьба, наверно, не существует, но зато в моем путешествии всякая мелочь встает с такой яркостью, что если только записать, то это будет больше этого простого существования.

Свое путешествие я начинаю всегда с палисадника, огороженного деревянной решеткой.

2 Октября. Первый мороз.

Хамкнул мороз на солнце и чхнул себе на здоровье.

Сон, как у Лермонтова: не тем холодным сном могилы{93}, но как будто навеки.

Мороз: белая трава. Туман: восход — между темно-зелеными хвоями и золотом берез — синее, а когда солнце — синее дальше, и дальше туман и там вдали в тумане золотые дверцы.

Шмели на цветах, впились в астры полевые и умерли — потом отжили. Ромашки расправились.

Желтая сухая некось среди дня обсохла, осталась роса только на озимях — искрится, сверкает до вечера.

Над гумном сошлись два каравана журавлей и, как у нас перебежчики, смешались, кружились, кричали.

Посыпались листья: мыши, мыши. Сойки, рябчик, заяц.

Там за туманом и дичь и все становится синим-синим, и, когда к синему приблизишься — нет синего, золотом осыпанные поляны, и вокруг золотых берез и на поляне, где мороз росою обдался, сидят рябчики.

<На полях:> Из мелких владельцев было мало умных, и они обрадовались революции и думали, будет хорошо им. И после, когда стало худо, думали: пройдет, потерплю. Умные были из крупных, вот как Хвостов, услыхал о революции, зажег фитиль, вышел и любовался пожарищем.

<На полях:> В такой вечер паутина осела и застелила тонким кружевом поля, луга и особенно окутала болотные кочки. На паутину пала роса, и ночью хватил мороз, и поутру [замерзла] и паутина, мороз, стало все белое, и особенно кочки стояли, [кружевные] — все было как…

Первый мороз

Ночью хватил мороз. На рассвете поднялся туман: земля белая и над землей муть. Мороз дерзнул даже встретиться с солнцем, и не сразу оно его сокрушило: туман не давал долго проникнуть лучам. Но нет, солнце свое взяло: на открытых местах, на кустах везде мороз росою обдался, и стало в траве мокро, как после самого сильного дождя. Лучи пробили туман, и вблизи показались золотые березы и зеленые ели, а между елями и березами стало синим. Потом это синее и дальше, все дальше становилось на место тумана, и только в самой дали лесного пространства было закрыто туманом и виднелась над белым золотая кровля берез, как кровля сказочных зданий.

Я шел туда вдаль, на туман, и он уходил от меня все дальше и дальше, оставляя после себя синее.

Одну поляну, окруженную золотыми березами и усыпанную золотыми листьями, солнце [утром] дружно прогрело: под деревьями был еще белый мороз, а на середину поляны [уже] выбежали на солнышко погреться рябчики.

Я разогнал их и, устроившись на пне, решился подманивать.

Вокруг меня были ромашки и полевые астры, ромашки поджали к стеблю от мороза свои белые лепестки, на астрах замерли шмели. Я тронул одного, и он упал на землю как мертвый.

Роскошно светило и грело солнце, шмели на астрах замахали лапками. Высыхала середина поляны, не сверкала больше роса, по сухой листве сойки бежали и рябчики с большим шумом.

Отогрелись листья на деревьях и вдруг — я думал, птицы — стали сыпаться, один падает на другой, сбивает его, этот, падая, сбивает третий, а то один сразу собьет десяток, и те тоже, на одном дереве, на другом — всюду посыпались листья с тихим шепотом: ши-ши, мы-ши, мыши, мыши, мыши!

Лидия.

Женщины: мать, Надежда Александровна.

И вдруг посыпалась убитая ночью листва, падая на землю, присоединяясь к другим листьям, сухие листья как будто шептали все одинаково: мыши, мыши, мыши.

К полудню везде так разогрелось, что стало жарко и роса оставалась только на озими: озимь густая, зеленая, сочная

блестела всеми огнями.

Но были в темном лесу в густых зарослях еще кусочки земли, покрытые белым морозом. Я и там побывал и, хлебнув солнца с морозом, отлично чхнул себе на здоровье.

Далее над гумном сошлись два больших каравана журавлей, и отдельные птицы стали перебегать от одного каравана к другому. Это возмутило вождей, они бросились наводить порядок, и все спуталось, закружилось. В синеве неба, над золотыми лесами они сильно кричали, кружась… Обрадованный больше всего этим синим покрывалом лесов, я не дождался, чем кончилось у журавлей, пообедал дома и лег спать.

Я засыпал, казалось, навеки, и мне казалось, будто уносил я с собою туда радость и полноту жизни… Я уснул, и надо мною, вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел{94}.

Ефросинья Павловна ухаживает за умирающим Анчаром, как мать за ребенком: трогательно смотреть, как она его перевертывает с боку на бок, поит молоком, уговаривает, просит: «Не уходи, не уходи от нас, Анчарушка». Сегодня я ей сказал, что жить он не будет: зад его навсегда парализован, и стал обдумывать, как бы скорей с ним разделаться, стрихнину дать? И вот эта же самая Ефросинья Павловна советует посадить его в мешок и унесть в лес и там бросить. «Живого?» — изумляюсь я. — «Ну да, он там и умрет». Как это объяснить?

За чаем на вокзале я выставил на стол коробочку с папиросами и, покуривая, между прочим думал о Наташе и Тане, что вот умницы они и хорошие, а почему-то как будто немного с черствинкой, совсем бы хороши были, если бы не это. И что это и отчего? Мне пришло в голову так: у Софьи Яковлевны должно бы не две дочки быть, а так человек двенадцать, и если бы, ну, не все двенадцать, а хотя бы семь человек вышло, то не было бы у Наташи с Таней этой черствинки. Значит, это произошло от усиленного внимания родителей к ним: Наташа с Таней как бы эксплуатировали чувство родителей, определенных на 7 человек, исключительно в пользу себя, и это дало им черствинку. Истинно счастливые дети и потом люди выходят только из большой семьи. Двухдетная система — очаг индивидуализма и эгоизма.

Так я думал, какой-то молодой человек, сев у моего столика и посмотрев на мои прекрасные папиросы, сказал:

— Наверно, гонорар получили?

Он знал меня и представился:

— Лукин, антирелигиозник.

Мы разговорились, и я сказал ему о своих думах про Таню и

Наташу и что нужна большая семья.

— Коллектив, — сказал он, — это и есть большая семья.

Так и пришиб меня коллективом.

Хочет отдать своих детей в колонию, чтобы воспитать в них чувство борьбы.

И опять преднамеренное, сосредоточенное внимание.

— У вас двое? — спросил я.

— Двое.

Ну вот, то же самое: несчастье в задуманном, и семья отличается от коллектива тем, что она сама и ребенок сам для себя растет, как растение, и в этом есть счастье, и особенно детское, — жить ни для чего, просто родились и просто живут.

4 Октября. Почему-то умными все оказались из владельцев землей самые богатые: те сразу поняли, что революция не шутка, и бросились вон. Был один, такой фокус придумал: заложил фитили в усадьбе, сам выехал и так, умный, сжег за собой все корабли. Но средние, и особенно мелкие, все почему-то обрадовались, и я знал иных — в это самое время вздумали строиться и закладывать новые сады, чем-то это даже вроде геройства считали, и один, я знаю, на своем новом доме вырезал слова: «Выстроен в 1917 году».

Почему глупые оказались среди мелких? Разве нельзя было им знать, что не в них дело, а в самой земле, что их предки были и крупными, и дела их ложились на землю, и что рано или поздно встанет Адам и спросит: «Где та земля, что я в поте лица обрабатывал?»

Так им будто память отшибло, все они остались на земле и вскоре были смешаны с пеплом пожарищ.

Я понимаю теперь, они думали только о своей личной истории, забывая большую историю Адама, и потому их судьба попала на данный счет…

И я долго не мог думать о них, отгоняя вопросы о них в часы бессонницы счетом до тысячи. Но вот пришло время, долгий счет не стал действовать на мою бессонницу, просчитав первую тысячу, я начинаю [вторую] считать с ужасными ошибками, и эти ошибки в арифметическом счете кошмаром ложатся на совесть. Тогда я придумал усыплять себя воображаемьш путешествием по тем родным местам, где каждая [тропинка] мне знакома.

Я начинаю свое путешествие…

Кооперация. Коммерческий подход.

Маховик, Идеалист по должности: он имеет дело с идеей кооперации, ему ее нужно проводить, и, как бы ни было плохо

вокруг, для него не может быть безнадежным, раз у него цель и вопрос сводится ко времени. Он не может удовлетвориться коммерческим подходом.

Старый кооператор: святитель, эсэрствующий мужичок.

Хозяева: Попов, Кузнецов: шотландка, зарыли бочку, капусту посолить частному нет возможности — хранить негде, вот бы кооперативу, но нет возможности: невыгодно, его дума одна о выгоде, он хозяин: старые методы. Пивная (хозяйственно), вверху читальня. Булочная, колбасная. Они бы и [кооператив] проникли, и в производство.

Под маховиком — хозяин, над маховиком — чиновник: ремень попадает все не на тот шкив.

Во всякой деревне всякая хозяйка хлеб печет по-своему, и любой человек, не зная, кто подал ему кусок, попробует и скажет: «Это Акулькин хлеб».

6 Октября. Утром заставить детей убирать кровати, вечером рассказывать об уроках.

Сегодня изготовить письмо в «Прибой» и в «Известия».

Приняться за краеведческую книжку.

Вечером навестить «публику».

Гибель общества нашего произошла в тот момент, когда был поставлен вопрос о платном лице (типы местных людей).

На одной руке висят люди потаенно уверенные, что из всей затеи ничего не выйдет; на другой руке официальные лица, которые действуют насильственно.

— Наша родина бедная, потому что несколько веков воевала с востоком и западом: непрерывная почти война сделала ее бедной, и от бедности все ее пороки и все добродетели.

Это от бедности своей она совершенно инертна в общественных начинаниях, потому что бедный человек думает только «абы просуществовать» и начинание считает роскошью.

Бедный человек недоверчив к другому, ему невозможно ни на один час сорваться со своей «липочки» и начать что-нибудь новое вне лично-материального.

И вот почему идея кооперации попадает в трагическое положение: она не должна быть идеей, а только делом, и дело общественное должно исходить из личной выгоды. Поэтому вся кооперация раскололась на две половины, кооперация идейно-государственная и кооперация как дело личной выгоды.

Идейно-государственный кооператор подходит к бедняку

идейно, возбуждая его гражданское самосознание. Такой подход может быть при состоянии бедности оскорбительным, не имеющий возможности сдвинуться с места обращает свой гнев на оратора и бросает ему в лицо вопрос: много ли дохода имеет он от своей пропаганды?

Петр Васильев (третий дом в Юркине от того края с левой стороны) кормит один семью в девять человек, выгоняя в неделю 20 пар недомерков. Он делает обувь «механическую», работая на местах холодными медными гвоздями. Благодаря медному гвоздю обувь носится дольше, делается скорее и стоит дороже. Благодаря этому способу он и может содержать девять человек, а способ узнал в Риге от немцев.

Охотничьи рассказы:

Гайно — гнездо куницы (или гайна) — свое, а больше в беличьем живет или внизу в кочках, под хворостом: низовая куница, верно, старая, не может по деревьям лазить; мех у нее плохой, редкий, закупщик подует и скажет: «старая низовая куница». Дупляная куница — тоже неважный мех, потому что она вытирает его о дупло.

Самая хорошая верховая, что живет в гайне. Бьет зайца, бросаясь с ветки на тропу. Молодые редко 5, а больше 3–4. Гнездо с детьми только внизу, и потому думают, что плодится только низовая.

Лучше всего бить куницу в тихую погоду, после большого снега: внизу след хорошо видно, а когда на дерево прыгнет — так и отвалит снега целую стену. Раз я иду по следу внизу и вверху с товарищем, завечерело, мы до куницы не дошли, заночевали. Утром опять пошли, сделали круг — выхода нет. И нет тоже на моей половине нигде куницы. Я пошел проверить половину товарища и сразу заметил одно дерево, внизу была кровь, вверху на дереве отвалена снегу гора — и на середине беличье гнездо. У нас было всего два заряда, я позвал товарища и показываю:

— Вот, ты просмотрел, куница поймала белку, и теперь у нее в гнезде.

Товарищ говорит:

— Дай я выстрелю.

— Нет, — отвечаю, — я увидел, я и выстрелю.

И ударил в гнездо. Там и не пошевельнулось.

— Дай-ка я полезу посмотрю, — сказал товарищ.

— Нет, — отвечаю, — я стрелял, я и посмотрю.

Забрался на дерево, в гнезде лежит мертвая куница и наполовину съеденная белка. Я взял куницу, а она вдруг ожила и

укусила меня за палец, я выпустил ее, упала и побежала. Товарищ — бух! — мимо. Больше нет зарядов. Но мы пошли по ее следу и скоро нашли.

А еще было раз в плохую погоду, сверху снег замерз настом, внизу осел. Куница убежала в дырку под наст и пошла между верхней норой и нижней. На такой случай у меня всегда топорик, мы загнали ее под льдины в угол и топором забили.

Третью куницу в эту зиму я убил по-иному. Мы пошли по следу на кунье гнездо в дупле олешины, товарищ ударил по дереву — куница не выскочила. Я велел ему: «Почеши ствол дерева лыжей». Так мы делаем, чтобы куница думала, будто человек лезет по дереву. Товарищ ошарнул дерево лыжей, куница выпрыгнула и села на другом дереве, но малое время ей, когда она выпрыгнула, нужно было осмотреться, где враг и куда бежать, в эту минуту я в нее ударил и убил.

<На полях:> Делают запасы себе. Бьют больше в Феврале, во время течки — проще.

Куница иногда верхом идет по голым деревьям, и не понять новичку, как идет за ней охотник. Он идет (вихарек), приглядываясь к уроненным на снег сухим веточкам, а то просто догадываясь, что вот через эту поляну куница верхом не могла перескочить, значит, надо этой стороной идти. И если подумать об этом, то всякий догадается, но пока догадаешься! а раменский охотник идет себе, не останавливаясь, не скоро, не тихо, но верно.

Куний верхний ход — изображение леса.

Не собака, а шарик.

Мелятник.

Мне снилось такое, что на одно мгновенье будто бы исполнилось одно мое неисполнимое в жизни желание, и удовлетворение мое было так сильно и горячо, что от одного моего взгляда вскипела вода. Потом в течение сна я стал, как прежде, неудовлетворенным, но между мною прежним и новым был призрак, в котором был ответ на вопрос: что это мое никогда не достижимое желание есть не слабость моя, а избыток — ничем не утолимая душа.

Человек образованный живет лучше бедного, чище, украсистей и сам он лучше характером, обходительней с людьми; бедному человеку кажется, что наука делает людей добрее. Но это большая ошибка бедного человека: образованный человек не добрее, а сильнее в борьбе за существование, и потому не так обозлен. Наука сама по себе не делает человека ни добрым, ни злым, и кто добрей по натуре, тот обращает силу науки к добру, к

созданию лучшей жизни, кто злой — к злу, к войне, к разрушению.

В трудовом народе говорят: «добро перемогает зло» — это может быть верно при равных условиях борьбы добра и зла, но если зло подперто силой науки, а добро мерой труда человеческого — во тьме, то зло непременно переможет добро. Вот почему *<недопис.>*.

7 Октября. Только осенью бывает так хорошо, когда после ночного дождя тяжелая утренняя мгла с трудом рассеется, радостным намеком обозначится солнце, и капают везде в лесу капли с деревьев, будто каждое из них умывается.

Тогда шорох в лесу бывает непрерывный, и кажется, сзади кто-то подкрадывается — кто? это не враг и не друг, а тот, некто лесной, проходящий к себе на зимнюю спячку.

Так я видел, змея прошла очень тихо и вяло: ползучий гад вниз убирается. Откуда-то взялся красный снегирь, сойка.

Все еще очень тепло. Я думал, это женщины идут где-то по поздним рыжикам и, настроенные лесным шорохом, осторожно между собой переговариваются, а это, вскоре я догадался, гуси летели, и, вглядевшись в серые облака, увидел я великий караван их: считать не пересчитать сколько!

Наши охотники расположились возле частого ельника, где гамкал изредка гончий Соловей, напрасно пытался добрать беляка.

Этот очень частый ельник охотники по-своему называли **чемодан**, и в этом чемодане заяц теперь очень крепко лежит. Охотники говорили:

— Его как гвоздем пришило!

— Потому что боится шороха, капели.

— Потому что белеет, как, ты видел, белеет?

— Галифе белые.

— Ну, ежели белые галифе, то нипочем не выгонишь: как гвоздем пришитый, лежит себе в «чемодане».

— Комод и комод.

Смолой, как сметаной, облитая, единственная в мелком густейшем ельнике стояла высокая ель: и весь этот еловый чемодан был засыпан желтыми березовыми листьями, и все новые и новые падали с тихим шепотом.

<На полях:> (Набарабашилась собака на следу, и самой не разобраться, и людям не понять.)

Мы вдруг взялись помогать Соловью, рассыпались строем, вошли в «чемодан» и [пошли], и продираясь с большим трудом, дикими орали голосами, кто шипел, кто взвизгивал, кто дико

взлаивал: никак нельзя услыхать таких голосов в обыкновенной человеческой жизни, и, верно, это бралось из далекого животного прошлого.

И вдруг к этому выстрел и отчаянный крик:

— Пошел, пошел!

И вслед за тем уверенный, всепонимающий гончий лай Соловья.

В ту же минуту молодежь, и среди них один уж лет под сорок, вдруг помолодевший, — откуда что взялось! — со всех ног, сами, как гончие, бросились в разные стороны перехватывать.

Мы с охотником опытным переглянулись, улыбнулись друг другу, спокойно прислушались к гону и, поняв нечто, условились без слов: он стал на лежке, я — недалеко, на развилочке трех зеленых дорог, у самой опушки, между высоким старым лесом и частым мелятником.

И еще не совсем затих вдали большой, как от лося, треск бегущего без памяти сорокалетнего охотника, как вдруг по развилочку, по крайней к мелятнику зеленой дорожке спокойно — ковыль, ковыль! — показался, совершая свой первый маленький круг, серый ушастый в чудных беленьких галифе.

Он ковылял, направляясь опять в свой «чемодан», так он, наделав петель, надолго бы опять заставил добирать Соловья, но на пути в «чемодан» я стоял, глядя на него через мушку, и, если бы это был не я, все равно там у входа в «чемодан» стоял другой спокойный охотник.

Но это был я.

Материал: Федор из Раменья, промысловый охотник: без лукавства, что нар. комиссар — гон! его душа — господ, природы человеческой, вычерпнутая из самого глубокого колодезя: его колодезь слов — правда! Он самый бедный, а вокруг него — мелюзга. Соловей на что-то похож, но другая, старше Соловья: не собака! — а что? — Шарик!

(Федорова порода. ¼ Ярик, Кроншнеп; ¼ Ох. на мамонта; ¼ Анчар; ¼ Халамеева: ночь; Грач, Турлукан, ¼ Орел.)

9 Октября. Невозможно уважать искусство и поэзию, если в основу суждения об этом взять семейную и общественную деятельность артистов.

10 Октября. Уснули окончательно вялые липучие кусачки, черные мухи. Кошка ночью залезла в печь — это самый верный барометр! — утром полетели белые мухи.

Октябрь!

Уездная «интеллигенция» — это пробка народной жизни: тут в городишке-горлышке закупоривается живая народная жизнь пробкой.

Ребята мои сами говорят: «задальтонились».

Жизнь любится в детстве и ценится в старости, середина жизни пропадает в страстях и пренебрегается.

Все, конечно, зависело от питания и ухода — это уж верно! — все зависело от крепости нервных нитей, и крепость их от прежнего питания, и этим все объяснялось. Но был человек с очень тонкими нервами, наследованными от предков, никаким питанием сам он не мог притупить свою чувствительность, и, как лист на осине трепетал от малейшего ветерка, так и он весь трепетал от разных веяний духа, и даже все его питание — съесть или не съесть, много или мало — зависело от прочитанных строк, от письма, от случайной встречи. Вся его жизнь зависела только от духа, и вот вдруг случилась революция, все поняли и утвердились в высших советах, что жизнь зависит от питания, что это одно только важно…

План осады Москвы:

Главлит, к Устинову: поговорить об охотничьей книге. Нуль. «Известия» — возможность: 10 ч. (продолжение будет).

Умер Брюсов.

Мы обсуждали случай с пропажей собаки. Явился Лева с «Известиями». Я спросил: мое напечатано?

— Нет, Брюсов умер.

— А…

— Он большой писатель?

— Нет, не очень, но… как тебе сказать.

— А там пишут, как Толстой.

— Ну, нет…

— Толстой! — сказал охотник. — Толстой был писатель великий, в Астапове умер, Толстой!

И вдруг разговор перешел опять на собаку. И больше ничего о Брюсове не было. И газету эту я отложил читать назавтра. Он был мне совсем чужой, я не помню ни одной строки его романов, ни одного стиха, осталось только что-то холодное в душе, умственно-серое…

Взял было маленькое общественное дело, и оно открыло мне

целый муравейник ничтожных людей…

В Москве тоже никого не люблю, не уважаю, ценю только тех, кто ко мне хорошо относится.

Пустыня! Живу сам собой. Но вот плохо, когда людей презираешь, то, бывает, является мысль: «Не я ли это сам себя презираю?» Да, я презираю себя как общественного деятеля, тут я не умею, не люблю и не могу забыться, оттого и не выходит ничего. Нужно делать такое дело, чтобы исход его, самый исток был я-сам и где в самом себе есть любовь, этим бы и относиться к людям: тогда будут все хорошими и всем все простишь.

Охотник Федор Обрезков давно дружит с Куликовым и ходит с ним на охоту. Он привязал свою собаку в саду у Куликова и пришел за мной. Мы взяли в саду собаку и в другом доме легли ночевать. Вдруг собака забилась в припадке.

— Ее отравили? — спросил я.

— Он дал ей ветчины, гнилой, из земли выкопал…

— Это, верно, от мяса.

Припадок ночью еще раз повторился, а утром собака ела и пошла на охоту. Но в лесу собака к нам не вернулась. Мы предположили, что с ней сделался третий припадок и она умерла. Оставалось только идти домой справиться, не пришла ли домой. Возвращаясь, мы слышим выстрел в лесу.

— Это Кулик! — сказал Федор.

— Может быть, с ним собака?

— Не знаю.

Немного пройдя, я спрашиваю:

— А может Кулик отравить собаку?

Федор подумал и:

— Может.

— По злобе на тебя?

— Нет, зачем по злобе: так может.

При выходе из леса сидел пастушонок. Мы спросили о собаке. Нет, собака не пробегала. А когда мы прошли с версту, слышим, нас догоняет этот мальчик.

— Я забыл, — сказал он, — мужик ехал, и возле него собака бежала, он еще сказал: хорошая собака, а не поймаешь.

Когда пастушонок ушел, Федор сказал:

— Я вот что думаю: он врет. Это Кулик проходил и научил его так сказать, он забыл это, а потом вспомнил. Слышал выстрел, он убил и потом подучил пастушонка.

— Зачем же было ему убивать?

— Да так, взял и убил.

Потом мы зашли к Кулику, собака была у него, здоровая,

веселая. И Федор с Куликом долго по-приятельски болтали. И все, что думал Федор о Кулике злое, осталось безнаказанным. Так оно и останется?

Африкан Будинов продал мне Верного очень дешево, я взял его на пробу сначала, но в три дня набил дичи как раз, чтобы заплатить Африкану. Слышал после, он волосы рвал на себе, он думал, что собака никуда не годится. Я спросил в селе, почему же Африкан продал собаку. Сказали:

— Он очень бил ее сильно, она у него совсем не работала, бил без памяти.

— А как, — спрашиваю, — в семье он, плохой у него характер?

— Очень плохой.

У доктора Бориса Васильева в операциях неудача за неудачей, население им недовольно, а так доктор дельный, начитанный, разумный. Раз мы пошли с ним на охоту. Он подстрелил зайца, но плохо: заяц медленно уходил на двух ногах. Доктор стал стрелять в него и убил только с одиннадцатым выстрелом; он так волновался, что ружье ходуном ходило. И тут я понял, почему ему не удаются операции.

Руднев милый человек. Охоты с легавой совершенно не знает. Мы вышли в ему незнакомый лес. Я шел впереди, он должен был идти сзади. Я менял направление, и он должен был вместе со мною менять. Ему это не нравилось. Он пробует идти сам впереди, но не может, я опять беру власть. Он идет в стороне. Я окликаю его, зову, меня это раздражает, в кустах, не видя друг друга, можно легко пораниться. Я его подзываю, подходит. И опять за свое. Взлетел черныш, я не стрелял, боясь поранить товарища. Делаю ему строгое замечание. Он идет временно со мной, но потом опять отходит и, поняв мой свист, начинает заманивать собаку к себе, и та его слушается. Я оставил его управлять моей собакой, иду сзади его, но он незнаком с местностью, посылает не туда. Я поправляю его сзади. Ему это неприятно, не слушается.

<*На полях:*> (Безумие Ник. Иванов.: гон, выстрел в [коричневое] — сарычонок, чуть не убил человека.)

11 Октября. Ночью был сильный мороз. Утром везде лежат белые холсты, и на белом золотые березки и зеленые ели. Вот как хорошо! Встало солнце в славе красных светящихся небес. Краснобровая черная птица, крепкая, как мороз, наша зимняя птица-тетерев, расселась на золотых березках и по-своему, тоже

крепко, бормотала.

…И вдруг больно стало, мысль шевельнулась, что ведь в сущности к моей исключительной способности волноваться световыми эффектами, что это мой только исключительный вкус предпочитает эти восходы световым эффектам Мейерхольда.

Да… но почему же некоторые и очень многие называют Мейерхольда шарлатаном?

Имитация… а картина? та да, как и у большого Творца. В картине заключено страдание ее творца и его радость жизни после освобождения от мук ее, и вот это заключено и в деле Солнца: оно художник. За его картинами скрывается жизнь.

(Надо вложить это в мысли в книгу «Мой юбилей».)

Всякий артист сидит в индивидуальном гнезде, и его невозможно пересадить на общественную почву, как белый гриб. В народе говорят, что не только пересадить нельзя боровик, но и шевельнуть, прикоснуться и даже и посмотреть его рост: как посмотрел, так он и перестанет расти. И артист, как боровик, имеет тончайшие норки и живет только естественно, прилюбилось место — и сел.

Осада Москвы (продолжение) — предоставить все вдохновению.

Сила маленького рассказа увеличивается в тысячу раз, если он не сам по себе дается публике, а в романе (пример: мой Гусек в «Аполлоне» и в «Курымушке» или охотничьи рассказы Толстого в «Анне Карениной»).

И так же вообще: невыгодно писать миниатюры.

Видел я бал, бриллианты на женщинах были, как утренняя роса на цветах.

12 Октября. Дети ушли с гончей, я с Верным по вальдшнепам и тетеревам.

Мороз был такой, что и в полдень в лесу холстиной лежал. Вальдшнепы попадаются, можно хорошо охотиться, если много ходить по лесам, по полянам и опушкам.

И тетерева попадаются. Собака далеко причует и, уже имея опыт, станет обдумывать, как бы все-таки изловчиться к ним поближе подойти. В это время надо быстро сообразить, как бы стать где-нибудь повыгодней самому за кустом. Если сообразишь, то как раз и угодят тетерева прямо тебе в бороду. Так охотиться много веселее, чем в августе: под умным носом своей собаки охотник глупым концом своего башмака спихнет тетеревенка и

расстреливает его в пяти шагах. Вообще время настоящей охоты по перу с собакой от 15 Сентября по 15 Октября нового стиля (с Успения до Покрова).

13 Октября. Еду в Москву.

Вот какая одумка: люди маленьких местечек и деревень — все **родовые** люди, главное у них родня. Всякая идея у них попадает в чан родовых отношений и тут часто превращается в свою противоположность. Но тогда раздумываешь о их огромном устремлении в личное, так что сама идея превращается в Ивановну: Идея Ивановна, Кооперация Павловна и т. д. — вот, в конце концов, эта смешная борьба с идеей выражает стремление их породить личность живую, свою местную…

Над этим надо крепко подумать.

Революцию народ понял, как натуристый человек в борьбе с формалистом чиновником: «Вот я с тобой рассчитаюсь по-своему». Значит, как беззаконие. Но законов революции, то, что заключено в кабалистику СССР, он не понимает, и правда, всякому очень трудно понять закон беззакония.

14 Октября. Да, это было вчера мне — истинно 13 — число и месяца Октября: сумбур в «Известиях» и сумбур в «Н. Москве» и в Союзе.

Без всяких. Цыганок

— Савелий Павлович, — спрашиваю, — как думаете вы…

И он мне ответил: «вы».

В этом краю принято говорить друг с другом на «вы», когда в разговоре ходят кругом-около, а когда касается живого, сейчас же переходят на «ты».

Мы говорили долго, ходили кругом-около всяких зол и бед, что вот как плохо налаживается кооперация, артель, как понижается качество кустарной работы и, главное, что молодежь, снятая войной и революцией с липки, не может усвоить технических навыков. И наступила беда, что мастера не имеют возможности брать учеников и передавать свое мастерство, что вместе с ним вымрут и хорошие мастера.

— Будут делать фабрики.

— Фабрики этого сделать не могут.

— Но почему же? Если, например, волчки будут во главе

фабрик и машина будет размножать их строчку.

Мы разбирали сложный вопрос, и Савелий Павлович все больше и больше унывал и казался ничем не хуже всяких ушибленных.

Вдруг, вспомнив совет обращаться к сознанию, я сказал:

— Но все-таки мы с вами революционеры?

Савелий Павлович вдруг весь преобразился, спросил:

— Ты с какого года?

Сказал мне «ты».

Я ответил. И он тоже.

— Так, значит, мы с тобой братва?

— Без всяких.

— Вот видишь: не унывай.

— Сознаю.

Бессмертна русская литература о крестьянах, и довольно мне писать о жизни фабр. рабочих. Но кто знает жизнь кустаря?

Помню рассказ Чехова о мальчике сапожнике Ваньке.

Очень мило. За что тут ни возьмись, все будто из истории.

Осмелюсь высказать мысль, быть может, в общем неправильную, что лучшие мастера из башмарей, художники, так называемые волчки, ближе стали к революции, чем кустари средние, задавленные 18-часовой погонной работой.

Тот, погонный, весь устремлен в количество производимых башмаков, — о чем он мечтает? он мечтает, в конце концов, починить крышу на своем сарае и гонит в неделю пар двадцать.

Волчок стремится как бы сделать башмаки получше и, в конце концов, так устроиться, чтобы две пары в неделю сделать так, чтобы хватило на проживание.

Волчку — как бы лучше. И так у него начинается профессиональное самолюбие. Крыша его разваливается, но ему как бы лучше, износит штаны спереди — фартук скрывает, износит сзади — другой наденет сзади, вот в двух фартуках.

Да, есть известная доля романтики в производстве, и это приводило волчков к организации и к революции.

Погонщик и волчок люди разные. Один, согнувшись над верстаком, бледный, зеленый, чахоточный, гонит по 18 часов в сутки пару за парой, его радость взглянуть из окна на бревна, приготовленные для постройки новой избы. Эта изба будет его гробом. Волчок же, отрываясь от почвы, делается революционером.

Приходится объяснять: волчками у кустарей-обувщиков

называют мастера-художника, и их работа волчковая. В противоположность им есть погонщик.

Волчок, бывает, прошьет строчку и в трактир, выпьет пива, газету прочтет, одумается, вернется к верстаку и еще новую, невиданную [чудесную] строчку прошьет.

Слышал я такую легенду о наших волчках.

Была француженка…

…и окупил ей проезд из Парижа в Марьину Рощу к волчку Савелию Павловичу Цыганову.

— Савелий Павлович, — сказал я однажды ему, — давайте с вами сделаем социальный башмак.

— То есть как?

— Ну, чтобы впервые он был такого качества, какого нет во всем мире, поставлю я его себе в Музей на полочку, и чтобы американцы, англичане, французы, венцы всякие приходили бы и говорили: у нас этого нет.

— Это можно, — сказал Савелий Цыганов, — а на какую же даму?

— На неизвестную.

— Это нельзя: дама должна быть известная.

Я удивляюсь: почему Савелий не может сделать башмаки на неизвестную даму.

— Ни англичанка, ни француженка, ни русская, а дама вообще.

— Ну да…

— Понимаете? Это будет социальный башмак для женщины будущего: прекрасный и прочный, единственный в мире.

— Это можно… только все-таки нужно знать, какая это женщина, гулящая или рабочая.

— Рабочая.

— Но должна же рабочая женщина и погулять?

Стали думать, как быть. Собрались другие волчки и с ними самый главный мастер Марьиной Рощи Николай Евдокимович Рыжков. Все сразу остановились на нем: он, никто как он, должен сделать соц. башмак, а обсуждали коллективно. Всерьез вникнув, стали думать.

Первый коллективный вопрос: какая женщина.

Коллективный ответ: рабочая женщина во время гулянья.

Материал?

Желтый хром.

Заготовка?

И пошло, и пошло.

Когда-нибудь я расскажу подробно эту повесть о социальном

башмаке, как я хотел…

— Дом, дом? — спорили одни торговцы.

— В кармане, — ответил другой.

— А у тебя?

— И у меня в кармане.

Меня очень удивил странный разговор, просто какая-то чепуха: дом в кармане. Я прислушался. Они продолжали разговор:

— Скоро все дома спрячутся.

Тут я не выдержал и спросил, как же это могут дома спрятаться?

Те засмеялись и стали потешаться и хохотать. Когда они более или менее успокоились, я:

— А все-таки как так это…

— Очень просто: кто теперь торгует?

Поворот налево в литературе. Временно? или конец. Вероятно, добьют. И литературы русской не будет, как нет вообще в Европе литературы о самом человеке: сам человек исчезает, остается рабочий аппарат. Процесс европеизации.

Литература будет личное дело, как и религия, и личность ее сохранит до новых, далеких времен. Мы же все пропадем, как средневековые мастера и наши кустари-искусники (я — весь музей).

15 Октября. Вчера был 1-й удачный натиск: взял у «Известий» 10 червонцев. Вот теперь стало уже все по-другому: трудно, когда в кармане было 1 р. 30 к., теперь поведу правильную осаду.

1) Сумбур (сумбюр — сумасшедшее бюро) — там в 11 час. (Как я провел в Сумбюр книгу «Курымушку» — Пришпнер, и детскую — проводил для 7-летних, и вдруг за нею пошли залежанные.)

2) Послать домаш. в 12.

3) К журналистам.

4) К Насимовичу.

17 Октября. 11 час. — Дроудин, 12 ч. — Насимович, 2 час. — «Прожектор», «Огонек». Добыть «Жизнь».

Москва взята, совсем другое настроение, переворот: особенно помог «Журналист».

Верное:

Огонек — 30
Прожектор — 50
Крас. Нива — 100

_____
180 р.

Возможно:
Нов. Москва — 100
Гусек — 50

_____
150

Журналист; 1½ мес. работы: 2 листа: 150 руб.
+ книга 100

_____
250 руб.

180
150
250

_____
Итого: 580

Значит, до Рождества все устроено.

Есть ли на всей Руси такой сильный человек, чтобы, пройдя через все беды, сохранил бы свое лицо? Не знаю, а человек средней силы в борьбе за существование делает непременно лицо или очень веселое, или очень печальное. С веселым лицом, конечно, дела лучше идут. Александр Иванович носил всегда веселое лицо и мало-помалу до того привык, что улыбка не сходила с его лица и оно стало, как маска. Приятно бывает необычайно на него смотреть, пока не разберешь, а как разглядел — страшно, а как страшно — два блюда съешь в его столовой, а сладкое уж и в рот не полезет или забудешь и так уйдешь.

18 Октября. И вдруг вчера на Кузнецком, покупая пыжи для охоты, я почувствовал приступ радости: все кончено, деньги в кармане — я победил! тогда мой счастливый взгляд, как луч солнца, врезался в эту большую толпу, и стало все интересно мне, забавно.

Начало описания охоты за червонцами: У Жоржа совершенно бараньи глаза и сила огромная. «Вас ждут, — сказал он, —

подоходный налог…» Свирский комендант — лжец с бутафорией. Клычков — лжец с мордобитием.

Дела: написать для «Журналиста» два очерка, для «Красной Нивы» — приехать в Москву, получить: с «Прожектора», с «Огонька», с «Журналиста»: 12 червонцев + с «Гуська» — 5 = 17 черв. План для «Журналиста», биография: годы мои теперь ядреные, пятьдесят — хорошие годы, а литературой занимаюсь с 1905 года, с первой революции.

Королева людоедов, дочь О. Форш, презирает искусство и уважает только науку. И это делает девушку строгой и целомудренной: уклон девушки в сторону науки, это сила естественного девичьего целомудрия, как защитные покровы…

Деловой человек всегда только по линии своего дела, а художник потому открывает новое, что он бездельник, сидит и глядит на мимо чего деловые люди проходят.

21 Октября. Вчера был мороз такой, что только в 11 дня солнце, и то в полях только, начало его сгонять. А сегодня утро плачет.

Полная высыпка гаршнепа. В воскресенье убили бекаса, наверно, последнего. О вальдшнепах не знаешь, что думать, будто они прошли (считается с Покрова).

Краеведческая книга (как назвать?)
1) Вступление: о методе родств. вним.
2) Как выслушивать («волчки»).
3) Краеведческий стиль.
4) Как устроить кружок (Свое путешествие).

С журнала 4 статьи = 2 л. = 150 р.
С книги 3 л. = 180

Анчар — 50
Орел — 30
Гусек — 50
Нива — 90 р.

_____
220

Срок = 1 месяц.

23 Октября. Лист опал, и если где трепещется клочок

тускло-желтых, то, бывает, недоглядев, схватишься за ружье, принимая это за живое. На земле все желтое.

Вчера был ветреный день, в лесу свистело по голым прутьям деревьев и часто слышался говор людей где-то за кустами, а на горизонте лай собак, и еще чудилось многое.

Бедная жизнь! Нет просвета бедности, никакой надежды отдохнуть и нечаянно обрадоваться. И все бы ничего, но люди очень испортились: страшно под конец возненавидеть человеческую тварь.

В лесу как будто все к тебе подкрадываются, и точно так же и в жизни: вот-вот хватят тебя из-за угла. В сущности, живешь вполне невинно, каким-то зайчиком, но ведь зайцев как раз и бьют больше всех.

Учитель Садиков, превратившийся в зайца.

28 Октября. Натуживаясь через мочь, будили утро петухи и не пробудили, это вышло не утро, а муть, как будто в доме нашем окна известкой замазали, чтобы прохожие люди не заглядывали в наш срам.

На земле желто везде, лист прел, деревья серые, кое-где только трепетал на сером золотой клочок. В это время счастье пройти краем ярко-зеленой и разукрашенной жемчугом не сходящей росы озими, да еще хорошо забраться в еловую заросль, тут при сером-то небе да желтой траве зеленым самоцветом обрадует елочка да таким медовым ароматом пахнет от земли…

Под елью стоит хорошая сухая муравьиная республика. Хозяева-муравьи убрались куда-то в глубину на зимние квартиры. Я подумал, оглянулся и сел на республику, как в кресло…

Провизор Аким Владиславович, самый любезный и добрый человек в нашем городе, но как охотник, с точки зрения птиц, зайцев и лисиц, самый злой: он летом стреляет птиц самой мелкой, губительнейшей дробью, а осенью зайцев и лисиц самой крупной, почти картечью. И какой же он жадный до охоты! С весны наделает столько зарядов мелкой дроби на птиц, что осенью много остается и приходится переснаряжать патроны с мельчайшей дроби на крупнейшую. Этой осенью, переснаряжая патроны, Аким Владиславович, провизор, аккуратнейший человек, все-таки ошибся, одна мельчайшая дробинка застряла в патроне и легла под крупным зарядом между пыжом и стенкой патрона. И вот эта случайная мельчайшая дробинка, называемая «дунец», потому что дунул — и она, как пыль, улетела, — эта

дробинка решила судьбу одного зайчика. Было это осенью в конце октября на углу Багулина леса, где из частого елового подсада в поле выходит зеленая лесная дорожка. В ельнике на зеленой моховой кочке лежал очень крепко заяц, довольно уже большой, мартовский, пестрый, как кошка: лапы и уши побелели, грудь, брюшко, а бока серые. Дробинка в лапку, прикинулось болеть, лапа затянулась, [получилось] — копыто, чудовище! Характер — прячется: ходит густелью и западает.

Собирать материалы Багулинского леса: все местное сюда.

Сегодня еду в Москву. Охота за червонцами. «Прожектор» — 5; «Журналист» — 7,5; «Красная Нива» — 4,5; «Огонек» — 3; «Н. Москва» — 10; «Турлукан» — 5. Итого 35 чер., 1 — подоходный налог 10 = 25.

С «Журналиста» через месяц: 7,5 + за книгу в три листа: 15 = 22,5.

Итого ресурсы — 475 руб. — Ноябрь и Декабрь проживу. В Декабре готовить новое.

Сговориться с «Зарей Востока». Извлечь из «Охотника» очерк.

30 Октября. Москва. Там была тишина, над желтой некосью бурела недобитая листвой ольха… Здесь писатель А. Соболь вспрыснул себе под кожу морфию{95}.

«Дело» тов. Седова. Он прекрасно себе усвоил все деловые приемы «подполья». Кружковщина состояла в том, что такой-то «вождь» набирал себе из молодежи шайку и пользовался ею. Добровольное рабство. Вождь презирал личность своих рабов, потому что выше личности было «дело», и дальше пошло в том же роде: вождь + вождь + вождь — с + с + с: союз вождей. Личность, частное лицо исчезло из сознания. Дурак просто рубил личность смаху, топором, умный — коварством (устранял). В этом и есть безделье делового времени (пропускается сам работник).

½ 11-го — «Журналист», 11 — Оргбюро, 12 — «Н. Москва», ½ 1-го — Насимович, 2 ч. — «Прожектор», «Нива», «Известия», 3 ч. — «Огонек», «Заря Востока»… ½ 4-го — «Журналист». Обед.

Получено 175 р.
«Журналист» 100
«Прожектор» 50
«Красная 80
Нива» 30

435

400 р.

1 Ноября. 11 черв. — Фин. — «Охотник», 1 черв. — «Огонек», 2 черв. — Солянка, от 4-х — «Журналист», «Заря Востока».

В «Огоньке» еврейский гам, друг друга рвут на части, и все это вокруг Любови Соломоновны перед столом с картинками. Я поклонился Любови Соломоновне, она подала мне руку, и только хотел я сказать ей о своем деле, как вдруг через меня и через всех очень резко закричал ей, подходя, какой-то брюнет:

— А я вам говорю!

— Нет, нет! — закричала Любовь Соломоновна.

Он ей рассказывает, жестикулируя, она смотрит по сторонам, взгляд ее встречается со мной, кивает мне головой и второй раз подает мне руку.

— Нет, нет! — кричит Любовь Соломоновна. — Я вам покажу, я вам сейчас докажу.

Она роется в картинках, роется, роется, что-то вспоминает, глаза ее встречаются с моими и она… в третий раз подает мне руку.

Взбешенный, я показываю молодому человеку свой кулак и в том же общем тоне резкой отдельности, перебивающей общее дело, кричу:

— Смотрите, смотрите!

— Что вы хотите сказать?

Я говорю:

— Это институт вежливости.

И еще раз показываю волосатый кулак.

По программе было с Кузнецкого Моста перемахнуть из «Охотника» в «Огонек» в Богоявленский пер. и, получив там 3 черв, за маленький рассказ, зацепив тут «Зарю Востока», идти к Никитским воротам, пообедать у Александра Ивановича, и в «Журналист». Но, приближаясь… встречаю Всеволода Иванова.

— Вы из «Охотника»? — спрашиваю.

— Из «Охотника», а вы из «Огонька» и в «Охотник».

— Из «Огонька» и на Кузнецкий.

— Так, так, так…

И я попал опять на Кузнецкий.

Шум? Ветер? Нет, это автомобили и трамваи гудят.

В «Охотнике» — гонят все, и волка… Ну да, это очень важно,

и волка. Клыки кабана.

У многих в Москве есть прекрасные квартиры, многие бедные, но уютно, тепло и сухо. У меня сырая дыра, вроде дворницкой, куда я приезжаю торговать своим товаром. Но я не завидую. Никогда!

У меня на этот счет своя философия, впрочем, всем не обязательная. По-моему, все зависит от вкуса, от начальной заправки, если кто привык ходить в лакированных башмаках, тот так и будет этого достигать и достигнет (не говорю о неудачнике). Так если бы заправка у меня была адвокатская, так и у меня бы сейчас квартира была, хотя, может быть, я сам и не был бы адвокатом, а сидел в Кожтресте.

Я живал и в Париже — все было. Но моя заправка, основное: хижина. Люблю слушать ветер в трубе и оставаться тем, кто я есть. Ничего не устроив возле себя, только было бы тепло переночевать. Я беру устроенное: лес, поля, озера. Лес, [перо], собаки. В городе я добываю деньги и, добыв, увожу в деревню: там я счастлив, пока у меня остается в кармане 1 р. 75 к.

Так вышло на днях: я убил лисицу, это два червонца, но не сразу. У меня же теперь два рубля. Лисицу будет продавать жена, это ей, я еду в Москву охотиться за червонцами.

Общежитие Союза писателей, мой угол. Жорж — сила: подоходный налог. Поэт Клычков… Соболев — охотник.

5 Ноября. Откуда у нас взялась бедность? Надо это узнать, чтобы судить русского человека, потому что все пороки его идут от вековечной бедности. Пороки несомненные, бесчисленные, и при порочности желание быть хорошим до того напряженное, что при малейшем упреке русский человек становится на дыбы: самолюбие его болезненное, заостренное.

При малейшем промахе в деле нового неопытного человека русские люди издеваются над ним, смеются зло, уничтожающе, что хоть провались.

Все хорошее русского человека сберегается в глухих местах, в стороне от цивилизации, но это при малейшем соприкосновении с цивилизацией прокисает.

Притом это страшно талантливый народ, если судить по тому, чего он достигает в своем гении. В России обыкновенному хорошему человеку невозможно жить от талантов беспутных людей, ничего не признающих, кроме себя.

Бывает в русской деревне, только не в глухой, отдаленной от города, где всегда есть хорошие натуристые люди, а в соседней

деревне вблизи провинциального городишка, нападает убийственная тоска и такое состояние духа, какое испытывают люди, болеющие манией преследования: тогда, кажется, висит над тобой стена, и, ткни ее пальцем ребенок, она вся обрушится на тебя и задавит. Да так вот и ходишь, так и живешь, все время подумывая, как бы на тебя ни с того ни с сего не свалилась стена. Но что самое ужасное — это видеть на каждом шагу, убеждаться повседневными фактами в том, что в этом состоянии естественно живут все кругом, и их лица, их движения, их вечный вопрос «откуда ты?» — и потом подробное выспрашивание — все исходит из этого страха к человеку, как бы тот не спихнул стены.

Слушать ежедневные рассказы, как обошлись свои же граждане с бедным земляком — невыносимо. Вот старуха 65 лет взодрала своими руками пустырь, и, когда земля стала мягкая, человек, наблюдавший пахоту старухи изо дня в день, заявляет: «Это моя земля!» — и отбирает у старухи землю. Он собирает урожай, другой, а когда земля, отдыхая, зарастает, он больше не пашет ее…

Или вот башмачник Мишка с молодой женой и ребенком живет в передней и за нее платит 10 рублей: ободрали!

…И рядом чаяние… где-то непременно есть хорошая, настоящая Россия. Выход из этих верных, но противоречивых настроений — разум, исследование, в простом слове…

Прасковья-жилица.

Деревня Максима Горького.

Чем глуше деревня, тем люди натуристей, чище, а управление хуже: на глухие места людей не хватает. И чем ближе к городу, тем жители мельче душой, но зато в управлении можно встретить людей и очень порядочных(?), во всяком случае, опасливых, потому что чуть что, можно и в город обратиться, а там непременно заступятся.

6 Ноября. Утром полетел снег. В полдень стало в комнатах от соседних белых крыш светло. Кустари разогнулись и на рынок пошли, как богатые. И мы тоже стали говорить о людях хорошее. «Нет! — говорили мы. — Везде люди, и сколько есть, столько и есть, ни больше, ни меньше». Вдруг, перебивая соседей, мы сами очистились от приставшей к нам злобы. «Антониха, — говорили мы, — по правде говоря, чем же так плоха? Что свой дом бережет и никого не пускает в него? Но, помнишь, у нас был свой дом, мы тоже за него бились и, не делая никому зла, удивлялись, за что все нас так ненавидят». Так и мы теперь, нищие, забыв свое же

прошлое, смешались с толпой и, задетые наживо, погрузились в маленькие счеты с людьми.

Белый снег сразу всю эту душевную прель закрыл.

Вот еще сосед Тютюшкин — по два дня, не спавши, за верстаком сидит, выйдет, только нос торчит на лице и ветром сметает: он чахоточный, а хочет выстроить себе новый дом; пусть этот дом будет гробом его, это уж так! но ведь он не пойдет к соседу с ручкой, самолюбие его безмерное…

Старик за три рубля привез нам воз дров из леса, пятнадцать верст на кляче протащил. Жаловался, что на него легло 27 рублей налога. Узнав, в чем дело, мы сказали ему, что надо подать заявление, налог снимут. Старик чуть не до земли поклонился.

Прасковья-жилица…

Да и мало ли их, этих никому не ведомых жизней, невидимых, узловатых…

Только если в себе самом выстроишь дом и посмотришь на людей из окошечка этого никому не видимого и незавидного жилья, можно любить их и так сохранять себя самого от расхищения злобой (вот это независимое от людей существование у простых людей относят к нездешнему миру, тут Бог).

Когда соберусь описывать Лес, то надо приналечь на вот эту последнюю осень, когда все птицы нездешние улетели и зайцы стали белыми, это страшно глубокое, темное время.

9 Ноября. Жильцы: слесарь Петр, Томилина, бандит Молчанов, Гадалка, Писатель, Прасковья-жилица, спекулянт Лобанов, Жук, Колодка-евангелистка, Баранов-читатель (колодец в землю ушел), Волков безногий. Мишка-жилец.

Хозяева — Змея, Газета Савельчиха.

В конце концов, да, правильно думает тот, кто не книжку кладет в основание деревенского обновления, а столб с электрическим проводом. Завтра в деревне у нас будет поставлен этот столб, и да, конечно, это событие неизмеримо больше, чем открытая две недели тому назад изба-читальня.

Удивительно, что и после революции, когда каждый испытал на своей шее, в каких условиях добывается черный хлеб, все-таки многим деревня остается загадочной, и одни презирают ее просто, другие — косвенно: думают просвещать ее посредством дешевых книжечек, ценою в 3–5 копеек.

Вот неправда! в деревне есть читатель, один-два на деревню, и так далеко по всему необъятному пространству можно ехать от деревни к деревне, от читателя к читателю. И этот читатель,

настоящий землероб или кустарь, может все читать, купить книгу или достать у другого настоящую, какую читают все граждане, а не только люди, добывающие хлеб из земли. Читатель, как и писатель, рождается, а масса занимается чтением, если есть досуг. Электрический столб разрешит вопрос о досуге и массовом чтении.

Наша читальня открылась две недели тому назад, когда еще было тепло, теперь она замерла, в ней никого нет и нет ничего, кроме изодранного комплекта «Прожектора», который я, несмотря на вражду ко мне общества, все-таки послал.

Да, это покажется очень странным, почему я, писатель Михаил Пришвин, считаюсь врагом общества и ко мне пришли отобрать у меня стул для читальни, но не попросить книг и газет. Другое дело, если бы я был Максим Горький, писатель, враждебный деревне, активный человек, желающий все в деревне переделать по-своему. Но я… как это я попал в такое положение?

Я живу в деревне, как вы живете в городе, я не дачник — живу и зимой, не обыватель, потому что у меня нет ни дома, ни коровы, вообще никакого имущества, я просто жилец. Правда, я делаю небольшое исследование быта и промыслов, но это больше для заработка и для виду и отчасти для писательской гигиены: непременно нужно в какой-нибудь точке соприкасаться с жизнью, наблюдать, читать и типы эти постоянно переваривать. Меня как писателя обогащает, все равно, если бы я жил в городе, я бы тоже по профессии своей наблюдал.

Я не один такой жилец в нашей деревне, нас довольно много: мы — жильцы, и на другой стороне хозяева.

Я не подходил к деревне, чтобы разделить всех ее жителей на хозяев и жильцов. Такой подход соответствует моему общему пониманию, моей домашней социологии в разделении всех людей на два класса: сидящих и странников (например, «народ и интеллигенция» или, как в Апокалипсисе, «Сидящий» и «взывающие»).

Мы — жильцы. И я хорошо знаю, что если хозяева подадут на меня в суд с целью выгнать из занимаемого мной выморочного дома, то все жильцы станут за меня. Это какой-то негласный комитет бедноты внутри деревни, и если бы дело пошло в расчет, то волей-неволей мне пришлось бы сражаться на стороне жильцов. Скажу несколько слов о всех жильцах, составляющих мою партию.

Бандит

Во дворе снятого мной домика была небольшая избушка-«зимовка», в которой покойный сапожник шил сапоги, из-за этой сапожной мастерской больше я и снимал домик: я хотел ее превратить в литературную мастерскую, в «кабинет писателя». На сходе мне, однако, сказали, что в избушке теперь живет бандит, но это ничего: его через две недели расстреляют, потому что он ограбил какой-то военный склад в Москве.

— А если не расстреляют? — спросил я.

— Тогда ушлют, а жена с ребенком уйдет к матери.

— Но если простят?

— Не может быть. Только мы наперед скажем: мы его выселять не будем, вы это сами.

Я отлично понял, что деревня вышибает клин клином. Поколебался немного, но все хором закричали:

— Расстреляют обязательно!

Монашка

Человек с испорченной репутацией. Барон. История с ним: начало вражды. Роль Томилина и Тютюшкина.

Выставил барона — первое нападение: барон приводил тестя. Второе нападение: читальня. В суд нельзя: открою, где можно устроить читальню.

Прасковья-жилица

Пустыри поднимает…

Она говорит одно: Господь не оставит. Кто это — Бог, ведь это совсем не то существо: из земли, из нужды, из горя. Если это перевести на язык неверующего человека, это будет нечто в будущем хорошее, это вера всех рабов жизни, которые… не изжив себя, это неизжитое вера переносит на будущее.

Енотовые шубы

В семье, где я провел свою юность, в общем был достаток, и, если бы хорошенько раздумать в то время, почему тетушка с таким усердием хранит старые енотовые шубы, — нельзя было бы

добраться до смысла. Но когда потом пришлось вынести эти шубы на базар и торговать шубами рядом с урожденной графиней Рабипьер, я вдруг понял свою тетушку, урожденную купчиху: ей передался по инстинкту «решпект» к шубам от тех далеких времен, когда меха были, как деньги, и их хранили, как деньги, про черный день, в огромных мороженой жести сундуках{96}. Наступил черный день, и шубы мне очень помогли перенести его. Как теперь не согласиться с мудростью инстинкта моей тетушки?

И верно такой же инстинкт бывает у богатых крестьян, ремесленников, хозяев мастерских, подрядчиков, артельщиков, всю жизнь с семьями проживавших в столицах. Неизменно, все эти люди строили у себя в деревне хорошие двухэтажные дома, хотя жить в них в деревне не собирались. В этой промышленной деревне, где я теперь живу, я знаю, даже есть дома, хозяева которых увиделись с ними впервые только в черный для них день революции. До этого времени почти вся деревня была пустая, многие дома были заколочены или же во всем доме жила какая-нибудь одна богомольная старая дева. В революцию все эти люди из столиц хлынули в деревню, стали кустарями и земледельцами. Такие деревни с прекрасными двухэтажными домами, выросшими на городские средства, разбросаны по Московской губернии, отчасти в Тверской, проходят во Владимирскую. Неприятно поражают в таких деревнях вросшие между большими домами избушки коренной деревенской бедноты, подобные жилищам всей соломенной России.

Я снял себе средний выморочный домик в такой деревне.

<На полях:> В нашем кружке охотников все только и говорят про заколдованного зайца с необыкновенной ногой вроде копыта…

Группа тонких осин серыми стволами выставлялась из желтой сухой болотной травы, в траве засыпало лягушку.

13 Ноября. Каждый пёнышек в шапочке, каждая молодая ель в белой кофточке.

Лес. Зимою ветер над одною елкой так прошумит, что покажется, будто вот тут рядом и вся страшная тайга стоит. И эти ели, опушенные белым снегом, вдруг покажутся до того холодными, до того ужасно безответно-жестокими к нашему горячему слабому сердцу с его Рождеством…

«Бух!» — снежная глыба с ветки на голову — вот тебе Рождество.

14 Ноября. Письмо от Михаила Ивановича Смирнова из Переславля.

Будем подвигаться к воде. На той неделе поеду туда на

разведку.

17 Ноября. Индивидуум отрывается от стихийного коллектива и несется, как камень с горы, готовый расплющить по пути своего падения все живое. Только бедность…

20 Ноября. Собираюсь в Москву и Переславль. В Москве: условиться с журналом «Новый мир», сходить к Тальникову, в «Зарю Востока», «Красную Ниву», Мериманову, «Следопыт», у Насимовича узнать об «Архаре».

Три романа К. Гамсуна прочитаны: «Соки земли», «Санатория Торахус», «Женщины у колодца»{97}. Хороши одни «Соки», в остальных чересчур много кори (Гамсун описывает буржуазию, как болезнь корь на стихийном человеке).

Через «Соки земли» можно прийти к своему роману. «Стихийность» развернуть в двойной борьбе личности с общиной и с природой (лемса — лес бес) — Антонова сеча (недра), передать чувство массы и леса (чан). Люди у леса.

22 Ноября. Михайлов день.

Алпатов нового романа будет тем же Курымушкой во время крестьянского восстания (он Миклуха Маклай среди туземцев).

(А от мертвечины надо спасти его, изображая психологическую глубину: живет с женой, а та есть творчество.)

25 Ноября. Вчера полило с крыш, и кончился зазимок, пролежавший с 7–25 Ноября.

Кажется, не две с половиной недели снег лежал, а 2½ месяца. Быстро проходит то время, когда земля покрыта живой зеленой травой и цветами, а когда ляжет белый холодный снег, то кажется, вся вечность пришла. Сначала очень обрадуешься белому светлому снежному дню, а потом начнется вечность белая, и забудешься в ней на какое долгое время, и сказать нельзя. Только весной воды, когда снова покажется земля, вдруг окажется, что целую вечность избыл.

27 Ноября. В Москве. Неожиданно для себя помирился с Воронским и опять пишу в «Красную Новь»{98}, Совершенно вышло неожиданно, вот как. М. К. Иорданская пригласила меня постоянным сотрудником в «Новый мир». Я привез рукопись, но, прежде чем идти в «Новый мир», пошел узнать к Тальникову, что такое этот «Новый мир» и что такое Мария Карловна.

— Хитрая баба, — сказал Тальников, — у вас там едва ли что

выйдет. Вы лучше идите в «Красную Новь», я говорил о вас с Раскольниковым, зовет, очень даже.

— А как же, — спросил я, — Воронский — у нас с ним размолвка.

— Воронский бросил журнал и уехал.

Я пошел к Раскольникову нащупать почву. Секретарь Воронского, прежняя Муратова, на прежнем месте сидела, и, когда я спросил Раскольникова, она сказала:

— Здесь и А. К. Воронский.

— Где? — поразился я.

— Да здесь же, — понизив голос, сказала она и показала рукой на комнату рядом.

Невозможно было разговаривать с Раскольниковым, когда тут же где-то запечатленным ангелом{99} сидел и Воронский. Сделав вид, что я иду к Воронскому, я бросился бежать из редакции.

— Не туда, не туда! — крикнула Муратова, поднялась и повела меня в комнату Воронского.

Я не нашелся, что сказать, и вдруг, увидев Воронского, говорю:

— Я принес рукопись для «Красной Нови»…

Вышло хорошо, как и надо. И очень приятно, и согласно своей природе и существу вещей. Судьба ведет иногда правильно.

Воронский в положении таком же, «как мы», и, говорят, Троцкий тоже, «как мы».

Прав А. Франс, сказав, что революция только закрепляет то, что уже есть в сознании (или в обычае): царем были недовольны, это и закреплено; мужики жаждут сильной власти — это и закреплено, ненавидят интеллигенцию — закреплено и т. д.

Однажды в государстве Беризаш анархисты одолели все партии и взяли власть, но так как они были против власти вообще, то объявили, что власть они берут не принципиально, а временно, пока общество выучится обходиться без власти. И стали учить общество…

Надо так скомбинировать обстоятельства, чтобы возможно было писать большой роман — это единственный путь сохранить себя.

<На полях:> Труба. Рассказы. Дурашка, Турлукан — 10 т., Орел — 6 т., Кроншнеп — 6 т., Анчар — 15. Красная вырубка. Мамонт.

Труба, Дурашка — 5, Турлукан — 5, Орел — 6, Кроншнеп — 6, Охотник Сережа — 15, Ярик — 5, Мамонт — 6, Ежик — 6, Юбилей — 6 = 60 т.

29 Ноября. Московская грязь. Конец Троцкого{100}. Ленинец и Троцкист — оба сидели у меня.

Несколько дней тому назад Л. Троцкий написал в «Правде», что только в России существует свобода печати, в Англии, например, ее нет, там только буржуазная литература свободна. Через несколько дней после того, говорят, по всем редакциям приказано не печатать Троцкого. Вот бы интересно теперь спросить мнение Троцкого о свободе печати в России.

Наше сознание теперь находится в необычайной зависимости от личной удачи, мы до того бедны во всех отношениях, что как только кому-нибудь из нас получшает, то он сейчас же забывается, и кажется, будто и всем хорошо. Но раз, два, три огреют по шее, и начинаешь принимать все происходящее с равнодушным презрением.

Заведующий литературным отделом «Известий» молодой человек 23-х лет Николай Павлович Смирнов пригласил меня давать раз в неделю в газету фельетон в 300 стр. за 50 р. Я дал ему один, он прочел, очень похвалил и выдал деньги. Через две недели я привез другой фельетон. Смирнов уехал в отпуск, с трудом нашли в его столе рассыпанную по листикам рукопись 1-го ненапечатанного фельетона. Я передал второй фельетон, потребовал за него деньги, т. к. мне это было заказано. Стеклицкий выдал мне с полным равнодушием. Через три недели я привез третий фельетон, мне с таким же равнодушием выдали деньги и за него, хотя первые два не были напечатаны. После того мне надоело заниматься таким делом, и через месяц я приехал взять обратно рукописи. Но их невозможно было найти, никто не знал, куда они делись. Вернувшийся из отпуска Смирнов объяснил мне, что вся причина в Стеклицком: он не понимает литературы, не признает ее, а Пришвина, вероятно, считает просто за какого-то провинциального корреспондента.

Кажется, нигде я не сплющивался и так не уничтожался, как в этих ужасных «Известиях».

Вечером пришел ко мне начинающий критик (23 года), сочувствующий Троцкому, и потом один писатель, чисто российский человек, тоже коммунист, но уже который идет против Троцкого. Чтобы оживить нашу беседу, я незаметно, разговаривая о Троцком как о писателе, сцепил между собой двух коммунистов, и до того у них дошло, что ленинец сказал другому:

— А что Троцкий! Мы хорошо помним его прошлое, как он выдвигался, собрались вокруг него еврейчики…

Другой коммунист был еврей, мне показалось неудобным продолжение спора, положив руку на плечо ленинца, я сказал:

— Ничего, ничего, из вас потом выйдет добрый фашист.

Так смехом и кончилось.

А некоторые на падении Троцкого уже и карьеру себе делают: Дроудин в «Новой Москве» выпускает две книги против Троцкого, но главное, спец какой-нибудь нарочно делает вид, будто он при Троцком, и затем позволяет себя выкупить.

Тальникову (еврей Шпитальников) я прямо сказал: «А еврейский вопрос в России все продолжается, и, по-моему, евреи отчасти виноваты, зачем они расхватывают всюду места». На это Тальников мне сказал, что он лично не замечает преобладания евреев. Но странно, что в доказательство своих слов он привел такой случай. Нужно было устроить одного талантливого молодого человека, доцента, в университет. Там сказали: «Он русский?» — «Еврей», — ответил Тальников, «Ну, это хуже: для евреев в университете теперь введена **не-гласная** норма». — «Как, зачем?» — изумился Тальников. «Нельзя иначе, — ответили ему, — иначе все профессора и доценты в университете были бы одни только евреи».

30 Ноября. В «Красной Нови» двоевластие: Воронский, хотя и редактор, ничего не может против помощника редактора «напостовца» Раскольникова{101}. Мой очерк «От земли и городов» принял Воронский полностью, а Раскольников на ¾ зачеркнул и в оставшейся четверти изменил стиль, так что почти в каждой строчке была перестановка слов. При объяснении он мне сказал, что он мастер насчет исправления, что он в партийных организациях постоянно этим занимался и все остаются очень довольны. Он удивился, почему я недоволен, ведь так гораздо лучше. И он прочел текст по-своему и по-моему.

— Согласны?

— Согласен, — сказал я, — по-вашему лучше, у вас работа получается без стиля, как в «Известиях», но я, хотя и плохой писатель, может быть, хотел бы оставаться самим собой.

— Хорошо, — ответил он, — если вы не желаете, стиль ваш я больше не буду исправлять, даю вам слово.

Ни спорить с дураком, ни обижаться на него было невозможно и деньги 100 р. до крайности нужны. Но снижение ценности себя самого как писателя так ущемило душу, что за работу, пожалуй, не скоро возьмешься.

Видел Марию Карловну Иорданскую, которая раньше редактировала «Мир Божий», а теперь редактирует «Новый мир». Это еще один экземпляр хитрой, дрожащей осовеченной твари.

Вопрос ставится так: писать роман или свести все к ремеслу.

Чтобы писать, нужно ввести строгую гигиену души с усиленной охраной «светлой точки».

Сталин выпустил брошюру против Троцкого «Троцкизм или Ленинизм» — невозможно выговорить, а Каменев назвал свою брошюру: «Ленинизм или Троцкизм» — это выговаривается. Каменев, наверно, литературнее Сталина. Читая эти политические мудрствования и всматриваясь в жизнь, вижу этот Ленинизм как национализм, а Троцкизм как продолжение революции, все зависит от внешних причин, по тому или по другому пути мы пойдем. В литературе Ленинизм называется «напостовство», а Троцкизм «попутчество».

1 Декабря. В Охотничий альманах рассказы:

10	У горелого пня.	Весна.	Перепела.
6	Ярик.	Лето.	Натаска.
5	Кроншнеп.	Лето.	Болото.
5	Дурашка	— » —	
5	Турлукан	— » —	
12	Анчар.	Осень	
7	Мамонт.	Осень.	Гон
5	Волки.	Зима	
6	Орел.	— » —	

20 Ток. Ранняя весна
За два листа — 150 руб.
С Мериманова — 50 руб.
С «Прожектора» — 50 руб.
«Красная Новь» — 100
«Заря Востока» — 50
«Известия» — 80
Волчки — 50

_____
539 руб.

Свидание с племянницей Катей (Екатерина Александровна Коротнева, Николай Платонович, Петровский парк. Зубовский пер., 5). Явление Николая Ивановича Савина и Коноплянцева. Знакомство с Формозовым (Александр Николаевич, Университет, ул. Герцена, 6, Зоологический музей, лаборатория 25, телеф. 1–

57–21. Телефон домашний (только ночью: 2–71–67).

Профессор Сергей Викторович Покровский, писатель-натуралист.

<*На полях:*> Отропление русака.

2 Декабря. 11 ч. у. «Заря Востока». «Огонек». «Красная Нива» (15 руб.). «Охотник» (пыжи). 5 ч. придет Коноплянцев, в ½ 6-го Руднев. В среду: 12 д. — Мериманов, 2 ч. — «Прожектор», вечер: Каратаевы.

В редакции «Искорки» ко мне подошел какой-то молодой писатель{102} и говорит:

— Почитал, почитал я, как вы попали в **окно**…

Мороз меня по коже продрал, и в голове пронеслось:

«Ну, вот и конец, пропал!»

«Окно» — журнал эмигрантов{103} и такой, что уж если что-нибудь услужливые прежние друзья там написали обо мне что-нибудь хорошее или поместили какой-нибудь мой рассказ, — я здесь пропал.

Насимович, сидевший напротив меня, поднял голову и всмотрелся в меня с удивлением: наверно, заметил перемену в лице?

— В «Окно» попал? — спрашиваю я. — Каким же образом я мог попасть…

— Я говорю о «Красной Ниве», — сказал писатель, — вы там описываете, как вы на Дубенских болотах попали в окно…

Тогда вдруг отлегло от души. А ведь эмигранты, давая название «Окно», наверное, думали о каком-то хорошем окне, как Петровское окно в Европу.

3 Декабря. Вот я и дождался среды: сегодня получу 50 р. от «Прожектора»{104} и завтра поеду домой писать свой роман. Маленькая тревога в душе: прошлый год в «Прожектор» я дал рассказ «Марфинька», мне дали за него 50 руб., но потом возвратили, — что как эти 50 руб. записали в мой долг и вдруг вычтут?

В 2 ч. с ордером Зозули прихожу в контору, и вот барышня:

— Надо посмотреть в книгу, нет ли за вами долга.

Я обмер. Она посмотрела.

— Пятьдесят рублей — с прошлого года, почему вы их не получаете?

Что она хочет сказать? Я смущен, я Амолчу.

— Чего вы смущаетесь, вам причитается гонорар с прошлого

года.

— Я не знаю, — говорю, — за какой же рассказ.

— А вот я сейчас справлюсь.

И уходит.

«Что я сделал? Зачем я говорил так? Она справится, разберутся в книгах и отнимут у меня мой гонорар за долг». В большом волнении, одетый в шубу, в жарко натопленной комнате хожу я из угла в угол целых полчаса. Наконец барышня возвращается. Вот идет… сейчас все кончится и завтра мне не уехать.

— Узнала, — говорит, — ваш рассказ называется «Марфинька». Был у вас такой рассказ, помните?

— Помню, был.

Я делаю последнюю попытку отвязаться от навязываемых денег, я говорю:

— Мне надо очень торопиться, вы мне выдайте по ордеру мои 50 руб., а на эти 50 я выпишу ордер в следующий раз.

— Никакого ордера не надо, — говорит, — я вам просто выпишу сто рублей.

Больше мне говорить нечего; если правду сказать, у меня отнимут непременно и мои деньги, я бормочу:

— Ну, выпишите сто.

И получаю вдруг сто. Совесть моя чиста, я сделал все, чтобы от них отвязаться, и теперь мне остается фильтром самой чистой нечаянной радости.

И так мы бедны, о, как мы бедны и как легко нас купить.

Правительство: сделало две ужасные ошибки в последнее время: 1) обмануло купцов, 2) уничтожило Троцкого. Извне кругом неудачи. И опять настроение такое же у людей, как перед великой войной.

Огромная масса темного народа, подавленная войной и голодом революции, осталась совершенно в стороне от движения. Этот темный осадок истории по-прежнему, как и в дореволюционное время, тревожит, — нам, мало-мальски устроенным, пьющим чай с сахаром, нельзя принять их правду страдания и невозможно также идти с ними по пути их стихийного возмездия.

<На полях:> Перспективы: «Огонек» — 30 р.
«Совр. Проб.» — 150 р.
«Красная Новь» — 100 р.

_____
280 р.
Ефросинье Павловне белье — 20 р.

Остается — 200 р.

Пете: заказная бандероль, купить бумаги, заказать «Правду», баранок = выдано 5 руб., бензин.

5 Декабря. Существенно новое после революции в русской жизни, что вопрос применения современной техники для промышленности и земледелия стал вплотную: явится машина — будет жизнь, не явится — разложение вплоть до порабощения всех.

В свете этого нового в русском быту чувства вспоминается былое отвращение русского туриста в Германии, когда население города в воскресенье выходит ins Grüne[11] с бутербродами. Мы смеялись над этим, сопоставляли русское странствование по диким лесам. Но теперь видишь ясно, что свобода наслаждения природой оправдывается только соответственной суммой труда, истраченного на ее использование и на охрану.

Словом, так: мечта о девственной природе, соединенная с грустью об исчезновении ее, становится действенной мечтой, если признать, что машина же может быть использована и для охраны девственной природы и преображения земли.

Надо истребить в себе последние остатки вражды чувства с разумом, только тогда может освободиться из плена чувство природы, даже чувство религиозное. Мы все, писатели, художники, священники, должны сделаться, насколько возможно, инженерами.

Я внесу эту мысль в свой роман. Пусть Алпатов, который хочет сделаться творцом, найдет в счете и мере последнее звено для творчества (осушение болота).

Итак, месяц целый, от 5 Декабря по 5 Января — до старого Рождества я сижу только с мыслью о романе.

6 Декабря. Был и такой из семинаристов: во время революции вспомнил о Боге так, что вот, оказывается, Бога и правда нет, потому что если бы Он был, то мог бы разве допустить такие безобразия. А раз Бога нет, то почему бы не пользоваться жизнью? И, рассудив таким образом, он стал искать путей для поступления в партию.

Тогда вдруг, как худая истасканная одежда, спал с него носимый через всю жизнь мертвый груз филантропических русских идей, перенятых от синайских монахов и перемешанных с последними идеями Запада и Востока: смирение и непротивление, условная жалость к безлошадным мужикам и сверхчеловек нищих оголтелых мещанских слобод — всё плен! всё на смерть.

7 Декабря. Как долго мутилось небо над холодной застывшей морщинистой землей, ждали снега с часу на час, но вышло иначе: сначала совсем незаметно стали седеть тончайшие, как волосы, последние побеги кустов и колючие ветви деревьев, иглы елей и сосен, час за часом, сильней и сильней, пока, наконец, все увидели и поняли сказочную затею: иней садился.

«Вот так, — думал Алпатов, — бывает и с мечтой человека: из мечты, как из тумана капли дождя, кристаллы инея и снега, — осаждаются слова человека, облекающие собою мысль, и отсюда является дело».

Алпатов-исследователь и туземцы, его приключения.

<На полях:> Летчик один рассказывал, как он летал над лесом, с запада на север и на восток, — все леса были зеленые, и как это жутко было: все леса и леса, а полянки с деревнями до того были ничтожны, что почти и незаметны.

Такая Россия сверху, и мы на полянах живем и все время вопим: земли, земли!

8 Декабря. Понедельник. Да, понедельник, а в душе воскресенье, как воскресение, то есть действие.

Утрату надо **вынести**, потому надо, что утраченное непременно возвратится, сначала как сновидение, потом как мечта и дело, а после всего как явление красоты, очевидное миру, наполняющее душу воскресителя утраченного победной гордостью.

Но нельзя же гордиться собой, когда несешь на горбу своем смерть: смирение и молчание должны сопровождать путь человека, несущего смерть. Как бывает осень и зима, так бывает в душе человека время смирения и рабской покорности, как надо растению пролежать под снегом, так и человеку надо пробыть под тяжестью смерти и чтобы: «ни пикни!»

— Не знаю, брат, — сказал Михаил, — пораженные на передних позициях отступают на задние и там собираются с духом, это нелегко, но…

— Понимаю, — ответил Николай, — но ведь я всю жизнь отступаю дальше, дальше, и везде страх и дальше, конца нет, позиции такой нет назади, чтобы собраться с духом и начать наступление. Вокруг меня всё или изувеченные, или нахалы, или плуты, как в бегущей армии.

— Неужели и во сне и в мечтах?

— Удивляюсь, откуда это берется в мечтах: будто есть какой-то Светлый человек{105}, я этому изумляюсь, откуда это? В жизни этого нет.

Отступление

Князь примостился к шоферу и работал палкой по отступающим, раненым, и те, получая удары, не возмущались, не удивлялись, как будто это было так и надо, и каждый, если бы мог, с удовольствием поработал бы палкой.

Как в тылу в это время исчезло искусство, литература, так на войне исчезло сострадание и милосердие к раненым{106}. Вдруг оказалось, что раненый человек думает только о своей ране, что он самый ужасный эгоист, что убитый наповал самый счастливый, он ничего не чувствует, что страх смерти обман и в смерти нет ничего страшного. Немного оставалось сестер и докторов, работавших не как автоматы, а сердцем, и за то по этим немногим еще явственнее выступила страшная истина: что сострадание и милосердие порождаются не страданием и смертью, а существуют как прихоть, как изнеженность отдельных людей…

— А как же родные? — думал Николай Алпатов. — Есть же место, где убыль родного чувствительна? Семья, род — из этого сложилось отечество, но теперь остается только своя семья.

Существенно новое, небывалое для всего мира явилось из русской революции: никогда на свете не было такой массы людей, единодушно понимающих, что война есть только зло, и не такое неизбежное, как смерть, а вполне устранимое.

Второе следствие революции имеет значение только для России. У нас до революции сознание всех, от мужика до самого культурного человека, питалось презрением к цивилизации, которая там и тут, начинаясь в России, сопровождалась разложением быта. Огромное большинство людей в России, в душе исповедуя религию бегунов, чурались цивилизации и уходили в дебри, доставая со дна их религию непротивления злу. Теперь вопрос о машине поставлен ясно: она единственное средство сохранить от разрушения естественные дары природы, что машина разрушает только видимый мир, не касаясь самого творческого духа, который, как пар, сжимаясь от цивилизации, порождает действенную мечту преображения мира и для этого пользуется средствами самой цивилизации.

М. Алпатов был человек, подверженный влиянию всей суммы русских идей, направленных против мещанства (довести это до абсурда, до сумасшествия и потом начать прославление разума, $2 \times 2 = 4$ и цивилизации).

Предельное разрушение внешнего (мещанства): нищенство.

9 Декабря. Проходим чистку в Союзе охотников, заполнили анкету, нашли поручителями двух коммунистов. Но оказалось, что поручительство коммунистов в отношении нас было излишним, так как всем известно, что у нас нет никакого имущества. Получается, как будто не на земле, а на Марсе живем: преимущество в отношении наслаждения охотой имеют нищие, а богатые вычищаются.

10 Декабря. 2 ч. ночи. Невидимая луна. И невидимо слетают снежинки, складываются на земле в белое покрывало.

Неудачи мои все какого-то выборочного характера, т. е. раскрывают не мою личность, а невозможные условия среды. И сам отступаешься без личного ущерба, предоставляя тем, кто хочет действовать, свободу во всю сласть. Потому не обидно, что личного и нет в этой жизни, это не люди действуют, а телега едет в страшной грязи. И пусть себе едет, хорошо, если можно еще пройти стороной пешеходной тропинкой.

11 Декабря. Продолжаю о неудачах. Бывает так, что неудача оставляет сознание недостатка своей личности в сравнении со средой, — тогда открывается путь к самоусовершенствованию или к самоубийству, а бывает горе от ума, неудача от того, что среда ниже тебя самого, — какой же открывается путь в этом случае? Поиски иной, лучшей среды, где можно лучше жить. Вот, вероятно, откуда у меня теперь является желание уехать из России… Я никогда этого не испытывал, это совершенно новый этап моего самосознания, я всегда раньше думал, что у нас есть какая-то высокая в моральном и умственном отношении среда, куда я нет-нет и загляну… Личности, конечно, и теперь есть, но они не составляют среды, они, как монады, блуждающие по далеким орбитам.

Душевная тревога — хорошее состояние, но всегда надо проверить, отчего она происходит. Иногда вспомнишь, что это просто от желудка. Чаще же всего оттого, что изо дня в день откладываешь какое-нибудь маленькое досадное дело, например, отложить из своих денег на уплату подоходного налога, выдать на покупку белья, выполнить обещание сделать для кого-то письменную работу, снести в редакцию чью-то рукопись и т. д.

Есть тип человека, маленького моралиста (мещанина), который в таком успокоении видит универсальное средство. А большая тревога связана всегда с каким-нибудь основным жизненным делом, в чем проявляется вся личность. Первую

тревогу всегда можно уменьшить, уделяя досуг на подсчет обстоятельств, вторая выходит из пределов счета и меры: садишься к столу писать и не можешь, и никакими средствами не вызовешь из себя охоты к писанию… Или вдруг застучит домовой — и прошепчешь молитву: помоги мне, Господи, переждать этот стук и не изругаться.

Эти первые движения творческого духа совершенно невозможно учесть, а между тем именно в них и есть сам-человек, и только по ним он и узнается, и тут есть то, что называется бесконечное, непознаваемое, одно в трех лицах, в двух, в одном и т. д., одним словом, Бог, какой-то океан тревоги, выровненный с движением которой, ты с своей тревогой можешь стоять: так и **стоит** человек на молитве, и к этому она сводится: увидеть вечное движение и забыть свой черепаший ход.

Так я **стою** на молитве, и вот только после этого, когда я уже согласовал свою душу с мировым движением, радостно прислушиваюсь я к мерным ударам молота человеческой жизни и со счетом и мерой выхожу на работу. И только вот тогда я могу стоять плечо с плечом с другим, которого я вовсе не обязан любить.

Но все-таки надо твердо помнить, что ритм молота человеческой жизни (работа) лишь в том случае не убьет меня, если я вперед не установил себя самого в море бесконечно большого движения.

Как надоел социализм!

Как хочется найти эксплуататора себя самого!

Жажду эксплуататора! Пусть он будет еврей или американец, все равно.

12 Декабря.

Антонова сеча

1) Именины: мать, Лидия, Николай, Михаил, помещики, купцы (либеральная партия и консервативная), спор в тот момент, когда тип, похожий на Н. О. Лосского, с каким-то сладостным замиранием говорит: «А тогда… тогда что? Неужели ре-во-лю-ция?» Консервативная партия: князь (верхом на курсистке), земский начальник Гринев…

Михаил Алпатов в последнем объяснении со своей дамой. После чего глава его на сече и потом смерть матери и письмо на

фронт, кроме письма — надо все время рассказа давать настроение эпохи конца войны, чтобы фронтовая глава вышла сама собою, например, в описании деревенской жизни М. Алпатова, отношения крестьян к войне: гармонью запретили. Тут можно дать себе волю в ненависти народа к войне… Николая, и так, чтобы все сцепилось.

Николай — заяц (его страх на фронте в лесу, его подземелье в революцию, его уход с гончей: гончая зайца подняла, его шкрабство).

Форд «Моя жизнь»[107].

«Ограниченный человек» (мещанин) — он совершенно прав, пока не выходит за пределы своей территории, пока не устанавливает общеобязательного принципа.

13 Декабря. Вот что новое мне из Дон-Кихота: оказывается, оруженосец Санчо совершенно такой же одержимый, как и Дон-Кихот, и только дела разные, у одного Дульсинея, у другого губернаторство. Так, значит, когда в Хрущеве Федька-большевик обещал бабам моченые яблоки, а мужикам вагон овса, это было с его стороны вполне естественно, и никакого тут не было злого умысла, обмана и проч., как думали.

Серьезно смотреть — нет ничего, кроме работы, и при ней состоит человек с оценкой другого стоящего над ним человека, по работе первого, и над этим вторым тоже стоит человек, наблюдает, как этот работает, и так все уходит в какой-то другой, высший мир, где люди не работают и живут совсем особенной жизнью: господа!

Федор посмотрел на них (лакей?). Они приезжали из того мира на лето и отдыхали (затылок красный, простокваша, теннис, крокет).

Людмила на охоте (охотится за Алпатовым): она создает Федора. Всех чарует на именинах (личность женщины).

14 Декабря. Но Михаил Алпатов, хорошо зная, что так надо смотреть по-настоящему, серьезно, для себя лично, в свою сказку смотрел в это время, как будто все люди располагаются не по ступеням грязной и чистой, мускульной и умственной работы, а по характеру и по роду своего отдыха.

Так, весь Павел показывался, когда он во время пахоты давал отдохнуть лошади, ставил ее под куст, сам садился возле, свертывал себе цигарку медленно и потом покуривал, все вокруг себя оглядывая. Он был очень силен, и у него много оставалось

спокойного в себе, как бы не распаханного, и все это было покрыто цветами целины, травами.

Стороной проходит хозяин, подсмотрел: «Павел курит», — и свернет в сторону, чтобы не заметил он, не тревожился, пусть себе курит, ведь он в общей неволе своей жизни работает сам, совершенно свободно, нельзя покупать его, а только советоваться.

«Хороший работник!» — только и говорили о Павле, но сам он какой?

Сам он сидит под кустом, и ясные ласковые глаза его лучше всех цветов в мире, за этим он и живет, и есть он, как весенний цвет, Павел сам.

Ну вот и хорошо, увидел такого и обрадовался, и все хорошо стало: эта вспаханная им земля пахана им не для этого, отвернувшего свои глаза от его отдыха хозяина, и не для его наследника…

Рассветает в половине восьмого утра и смеркается в половине четвертого: чистого дня всего семь часов и восьмой на сумерки утра и вечера. В утренних сумерках выходят охотники с гончей собакой и сразу пускают по свежему следу — так начинается гон. Хорошо, если попал здешний, местный зверь и бродит и ходит на коротких кругах, охота добычлива, одна, другая, бывает и третья лисица, заяц, другой, белка, куница на великое счастье. Но случится здесь неожиданно чужая далекая лисица и станет уводить собаку круг за кругом, не возвращаясь в свой след, все дальше и дальше в болота моховые, кочковатые, в дико заросшую торфяную горелицу, где ярусом навалены друг на друга стволы у поваленных деревьев и выворотень огромный, как стена, заслоняет узкую просеку.

Охотники лезут по ярусам, ковыряются, разъяренные, упрямые, сами, как звери, рвут в клочки свою одежду, валенки — только бы не упустить из слуха собаку.

Тогда день проходит, весь день в семь часов, как в одно мгновенье, сумерки утра как будто сошлись с сумерками вечера, небо надвинулось, обняло пустыню, собака где-то далеко в невылазной горелице загоняла, замяла лисицу и вернулась назад. Где восток, где запад? где наша сторона? и разве поймешь ночью между ярусами наваленных стволов и выворотней в темноте, где ступала в горячее время охоты своя нога? Нечего делать, поскорее надо, пользуясь остатком света, натаскать дров на всю ночь, натаскать для ночлега побольше елового лапнику, обложить берлогу под выворотнем.

Когда кончена вся работа и можно сидеть, глядя на огонь, тогда в этом доме без стен и без дверей в далекий мир отправится

внутренний глаз, и хорошо, вернувшись из далекого мира, узнать, что тут рядом твой брат сидит, и сказать ему свое, и спросить его самого, как он об этом думает.

— Вот ученые люди, — сказал Николай, — как ты думаешь, достигают ли чего-нибудь?

Михаил понимал, чего хочет Николай, и ответил:

— Ученые — твердые люди.

Николай очень обрадовался чему-то. Верно, он обрадовался, что при поддержке брата можно думать дальше и долго-долго, пока у брата мыслей хватит, как дров, для его костра.

— Твердые люди, — сказал он, подумав, — почему же не могут остановить войну?

— Не знаю, может быть, это не их дело.

— А какое же их дело?

— Открывать новые страны, воскрешать забытые миры.

Николай еще больше обрадовался, но, посмотрев почему-то на какой-то шорох назади, сказал:

— Зарево.

Далеко был пожар, как будто явственно слышался голос плачущей женщины, крики.

— Слышишь?

— Мне тоже кажется, а ведь пожар, наверно, верст за пятнадцать, слышать невозможно, так кажется.

— Вот и я думаю, что все кажется, а ученые люди знают ли такое, что действительно есть, а не кажется.

Да, у них есть великая твердая вера, что кроме себя самого существует материя и энергия, что, изучая этот внешний мир, они открывают для всего мира и для человека обязательный закон. Их вера в закон до того сильна, что в отличие от всех других слабых и обманчивых вер свою веру они называют знанием. Они твердые люди.

Николай смутился и как бы опомнился.

— Да, — сказал он наконец, — они счастливые люди и, правда, твердые, но, может быть…

<На полях:> (Ученые честные люди, потому что все верующие: они верят, что кроме них существует материя и энергия и что, изучая этот внешний для них мир, они открывают в нем обязательный для всего мира закон. Их вера в это сильна до такой степени, что в отличие от всех других вер, они называют веру в мировой закон знанием и относятся к знанию с великим уважением.)

14 Декабря. Собственность как духовное орудие производства.

Что я, собственник своих способностей, или она, как земля, должна принадлежать всем?

Собственность дает иллюзию личной свободы — необходимое условие для творчества. После смерти личности дело его переходит в общество.

— Твоя мечта открыть золотую луговину — иллюзия.

— Но эта иллюзия более реальна, чем твое намерение утвердиться в собственности: собственность есть мечта ограниченных людей: ты так, через собственность, хочешь достигнуть личной свободы и больше ничего не хочешь, такая твоя мечта. Бессознательно ты хочешь охранять кусочек земли от расхищения, возделать ее и потом, умерев, передать другим. Эта мечта твоя, а у меня мечта возделать огромную площадь.

— Ты, может быть, и возделаешь, но тебя ограбят еще при жизни твоей, и ты останешься нищим.

— Пусть, я еще что-нибудь возделаю.

— Счастливый, что можешь, я не могу.

— Но и я же про то говорю: вы все физические собственники от старой жизни, у меня этого старого нет.

Людмила, Зинаида, Серафима: ложь, белое… разложение всех дураков помещиков Леонардом. [Они] à trois[12]: в несколько месяцев разложили все общество (Париж, но ведь со временем везде будет, как в Париже). Moulen rouge — купец задает вопрос. Занятно: и мать [задает] их, женщины: Лида, на этом фоне мать.

Обыкновенный русский революционер («Сергей») отказывается от личной жизни, потому что совестно жить для себя самого, когда вокруг столько несчастных. Он душу свою убивает за них, отказывается (временно) от себя самого до тех пор, пока не изменит силой своей воли условия жизни этих несчастных (убить царя).

Но что будет, если состояние отказа от личной жизни (смерть души) возведется в принцип бытия, сделается обязательным. Тогда этот морально живой человек станет тупым, непременно жестоким (убийцей духа), а революционером станет тот, кто хочет жить лично (Алексей Федорович Каль (Леонард), доктор философии, Аристотель и музыка, не музыкант, но историк музыки, не художник, но живет, как художник, обезьяна, преследующая Михаила Алпатова).

Михаил — Эрос, Леонард — Пол, один девственник, другой распутник. Леонард нравится Лидии, потому что **реален**. Вот что: художник (Михаил) тоже отказывается от какой-то личной жизни, как и Сергей (Леонард ни от чего не отказывается). Разговор у Леонарда с Михаилом о болотных конев. сапогах и об охотничьих из рыбьего пузыря. Художник непременно аскет (Минин), а Леонард под художника.

15 Декабря. Пороша легенькая, как мука рассыпана, и мороз небольшой, а небо светлое, и солнце всходит — от зари свет на полнеба и от луны. Ну никак не распознать — весенний заморозок или зазимок. Так все рассветало и рассветало и так блестело — на каждой елочке рождество! Потом начало склоняться солнце к закату, и небо зацвело на другой стороне, а середины дня так и не было. Вот поэтому только и можно было догадаться, что не февраль: слишком день короткий, всего семь часов.

<На полях:> Начередила лисица. В такие дни крепнет мужество, собирая силы на последнюю схватку со смертью, чтобы перекинуть жизнь на ту сторону.

Сверкают верхушки деревьев, и как солнце всходит, сверкают донизу.

Попробую работать над романом правильно, т. е. писать изо дня в день материалы, грубо связывая их, как связываются в пьесах диалоги. Все это, чтобы не разлетелось при перерыве.

Сегодня был чудесный зазимок! Это бывает очень редко; в то время, когда по-настоящему бы надо давно лечь зиме, удается светлое утро с легким морозцем, бриллиантово отгорит все на одной стороне и сразу перекинется на другую, вечернюю сторону. Проведешь такой день в лесу, вспомнишь ночью, и, оказывается, середины, то, что называется днем, вовсе и не было. Чудеса утра и вечера сдвинулись, середина выпала — вот какое счастье бывает изредка — возле времени солнцеворота. Так и дни нашей жизни изредка складываются без середины. Правда, подумайте, как люди живут? Они переходят от радостей к горю и от горя к радости, одно порождает другое, и так все идет. Но это и хорошо было бы, если бы так, тогда бы вся жизнь проходила волшебною сказкой. Эх, не горе страшит, не смерть, а тот пустой промежуток между горем и радостью, между любовью и смертью, та середина, что в природе называется не утром, не вечером, когда птица не поет и зверь не рыщет: птица клюет, зверь насыщается, то это называется обыкновенным существованием, скупая связь зари утренней и вечерней, начал и концов.

За то я и люблю так особенно редкий день в природе около зимнего солнцеворота, когда не бывает в нем середины, а только одно бриллиантовое утро и вечер темных зубчиков леса, чередой уходящих по красному небу, не исчезающих в тьме вплоть до восхода луны. Так бывает в природе — волшебно связывается утро, и вечер, и ночь, и так я тоже хотел бы в простом задушевном рассказе связать свою жизнь и чужую, сделать, как будто все было свое.

В юности, когда у меня очень болела душа, я мало читал, но за счастье своей природы считаю, что любил с большим вниманием выслушивать пожилых людей, вероятно, в чаянии разыскать в их опыте решение всевозможных своих ужасных вопросов. От этого, конечно, свое не изменится, но почему-то много легче становится на душе.

Так одно время я очень любил у Алпатовых на терраске их с видом бесконечных лесов растянуться в ясные дни, как тюлень, и отдаваться в полное распоряжение их матушки. Скажет, бывало:

— Ну как, долго ли ты еще будешь странствовать, пора бы за дело браться.

— Знаю, — скажу, — пора, да как-то все хочется оттянуть.

— Смотри, затянешься и будешь каким-нибудь чудаком вроде Михаила Николаевича{108}…

Зря старушка никогда не скажет, я знаю, над этим надо подумать…

16 Декабря. Черты русского Дон-Кихота. В народе их называют «дураками», но в сказке Иван-Дурак является победителем умных. Победитель и в этой жизни и этой силой, а иной, например, сделался королем, и все тогда его слушаются.

А. А. Стахович — кадет, Логтин Яковлевич — башмачник.

17 Декабря. Иван Сергеевич рассказывал, что в деревне говорят, будто Троцкий за мужиков. Объясняется это тем, что мужики вообще настроены против власти, и потому им кажется, будто все, кто идет против власти, идет за мужиков. Я спросил:

— Когда же будет у нас правительство, которое могло бы удовлетворять их?

— Оно бы и это удовлетворяло, — ответил Иван Сергеевич, — если бы поменьше драло с мужика налогами.

19 Декабря. Никола Зимний. За два дня подготовилась пороша, и вдруг сегодня опять все растеклось.

Слежу за Ефросиньей Павловной, как она двоится в отношении к большевикам: с одной стороны, признает, а с другой, не признает; это не противоречие: всякий факт живой жизни изменяется, и мы принимаем сегодня с условием, чтобы завтра, быть может, отвергнуть. Формула довольства и недовольства правительством у народа проста: «поменьше налогов», но за этим вся бездна жизни текучей.

Была ли такая страна, где все были довольны правительством?

<На полях:> (Страшная точка советоваться. Советно жили. Алпатов со всеми советовался. «Посоветуюсь» с Иван Михайловичем. В. Измалкова, Осип Дымов.)

20 Декабря. Как пишут романы? Если писать, то как быть, если придет в голову главное после, а если не писать и дожидаться, пока сложится, то или это будет механическое писательство, или все расплывется в неопределенность. Правила быть не может никакого, кроме правила в самом опыте следить за собой, узнавая по разным признакам тот момент, когда должен молот ударить по железу (вдохновение) (лес, море).

21 Декабря. После узнаёшь, что так бывает у всех, кому дано выступить в жизни со своим лицом, — непременно у каждого такого человека найдется в прошлом точка безумия. Но в то время, когда это **переживается**, то сам кажешься себе каким-то проклятым существом, выходящим из всякого необходимого для жизни счета и меры. Тогда больше всего хочется кому-нибудь раскрыться до конца, но это невозможно: для этого нет слов у себя и у ближнего нет такого внимания, чтобы понять человека без слов. Начинается длинный путь борьбы за то, чтобы понять человека без слов. Начинается длинный путь борьбы за то, чтобы какими-то иными словами, иными делами раскрыть людям нормальным свою тайну.

Часто в то время, виноватый перед всеми, думаешь, что они все умны, а сам сходишь с ума, и долго спустя, если удастся победить и сделать предназначаемое своей же природой дело, то представится уже наоборот: не было в них никакого особенного ума, стояли они на месте, а сам натыкался на них в своем темном беге, как на деревья в лесу.

Но тайна, что же сталось, в конце концов, с тайной? Дорогой друг мой, это не тайна, это просто я сам в той своей части, которая не совпадает ни с кем из других. Вот почему никогда не будет конца рассказам о разных историях любви: как ни одна весна в днях своих не совпадает с прошлогодней весной, так никогда не будет исчерпан любовный запас.

Важно, конечно, не то, какими словами написана ее записочка, а что она, все равно какая, лежит у человека в кармане и благодаря ей он иными шагами идет по лесной тропе, и слушает, и думает все по-иному. Березка предстала белой полянкой, другая с ней рядом, между белыми полянами он приходит на поляну, окруженную всей колоннадой, и тут эта Эолова арфа, о которой столько говорят и не знают, откуда она взялась: это ветер так шелестит верхушками берез.

Не в том, дорогой друг, тайна, что написано в записочке, а вот как связалось все в песню и потом перешло в сновидение, и

потом перешло в явь и дело.

На этой поляне с белыми колоннами он вынимает из кармана эту записку, решается прочитать. Он вдруг схватывает себя за голову, долго сидит и слушает сирену и начинает поддаваться ее зову — встает, делает шаг назад, другой, третий, останавливается, опять прислушивается: за лесом знакомый молот стучит. Пусть эта паровая машина на спортивном заводе, все равно, ему так представляется, что это против зова сирены молот жизни стучит. Именно так ему представилось, и он от этого повернул на прежнюю тропу, с каждым шагом идет тверже, тверже, вынимая записочку из кармана и разрывая на мелкие кусочки. Теперь он вспомнил решение раз навсегда, чтобы не возвращаться к тому, что было, но что будет вновь совершаться, не упустить то, что ушло теперь в прошлое.

Иным это очень рано отравляет душу, что старшие ничего не знают и что я какой есть, я старший сам себе. Душа детей и художников отличается.

<На полях:> (У мужика вся работа на кулаке, главное, что не оставляется человек для домашнего хозяйства, и потому все плохо едят (бурачные листья, забеленные молоком): так зарезают себя работой. [Хозяин] хороший, обдумывает, бережет крупу, сало на рабочее время (а то лук, какие дети вырастают?)

Томилин — вор и совершенно мне чуждый человек, но он единственный, кто за меня заступился, потому что в этом его интерес, и мне за Томилина тоже надо заступиться, у меня в этом интерес. Таких нас может много набраться, и, не любя друг друга, мы все соединимся в рабочее общество.

Такой социализм и американизм.

И это надо принять, признать как природу (общественную), а потом уже останется в себе расходовать на внутреннее строение душ.

Это рабочее устройство должно и христианство признать как вторую природу.

23 Декабря. Вчера с 2-х дня полетела пороша (как начинается в лесу снег: мелькнули снежинки…) и сегодня (пишу в 7 утра) еще не перестала.

Начинаю понимать, что коммуна, дело любви, начинает с того, что изгоняет слово «любовь» из отношений между людьми и строит их на основе труда, этим расчищается поле морали.

24 Декабря. Новый Сочельник.

Хватил мороз, да какой! Мы попались в лесу и наслушались, как щелкает дед орехи, как швыряет скорлупки, как стреляет, рубит. Ну и поговаривает дед в бору! Заяц поднялся, побежал и

обезумел от страха, забрался в болото и там успокоился.

Я все думаю об организации общественной работы без любви к человеку, что этот скрытый американизм и есть именно то, что нас, стариков, пугает в Советской России.

Но ведь все, кто делал и у нас хоть какое-нибудь дело («кулаки»), работали именно так, без любви к человеку, а привносили это в свой труд, как хищник, которому тоже кажется, что он любит свою жертву. Рабочее государство теперь хочет изгнать из себя эту фальшивую религию: молись своему богу, как хочешь, но молчи про него и не навязывай его другому: для твоего соседа по рабочему станку это совсем неинтересно. Рабочее государство — это организация для обезличения людей в борьбе за существование…

…Да, но вот что: я однажды вбил гвоздик в потолок, согнул проволоку, привесил одним концом на гвоздик, а на другой конец прицепил лампу, на другой день я не думал больше, куда мне вешать лампу, и на третий, и вот уже второй год пользуюсь механическим моим изобретением. Так одно какое-то движение мысли приладило на службу людей радий, который, как некоторые думают теперь, приводит в движение вселенную… Потом, после рабочее государство, быть может, будет использовать это изобретение без всякого труда, как я вот лампу свою на крючок привешиваю, так оно будет вселенной управлять. Что же, неужели я должен сказать, что труд этого рабочего государства, использующий мысль изобретения, выше мысли, и не мысль, а труд начало ценностей? и тоже что не Прометей — герой, похититель огня, жалостливый, добрый и умный бог, создатель ценности огня, а те, кто без-мысленно им пользуется?

Ясно, как день, должен мыслящий человек определить свое отношение к этому рабочему государству, чтобы не смешиваться в делах своего дня, потому что смерть, которую он получит за свою неправду, будет полная, без остатков на будущее…

Самовозвышение, замена безмысленного трудом творческой мысли («контроль») — вот неправда рабочего государства. И правда: изгнать претензии мысли и сердца из мира воли и дела.

Сколько времени наука освобождалась из цепей религии, потом искусство, теперь настало время освободиться труду, признать, что энергия наших мышц имеет свою самостоятельную жизнь, как энергия мысли и сердца, — в этом сила и правда социализма.

…Вечер вопросов и ответов. Вопрос: «Как был создан мир?»

Долгое молчание, после которого выходит человек и говорит:

— Ну, что же вы молчите, известно был создан мир: в первый день Бог сотворил свет…

Тогда в собрании поднялась великая буря, потому что этот человек бессознательно посягнул на свободу человеческой мысли. Вот точно так же надо вставать за свободу трудовой энергии от влияния разных религиозных и (гуманитарных) легенд.

Только вот вопрос: кто сделал в этом отношении больше, русский большевизм или американский прагматизм? И еще: те, кто поставил на разрешение в России этот мировой вопрос, в то же время распял русского гения мысли и сердца и не только отпустил обыкновенного разбойника Варраву, а и того хулигана, который, хотя издевался над Христом, но все-таки висел рядом с Ним{109} («Христос не работал»). Не утопия ли большевизм, в своем малом деле освобождения труда по добыванию средств существования что-то большее этой идеи?

Да вот почему, конечно, мы и бедны теперь! Потому бедны мы, что в своем деле освобождения труда дошли до того, что не только Варраву, но и левого разбойника освободили, что сделали даже его комиссаром — вот что! И как в угоду ему посягнули даже на самую мысль и чувство, то откуда же было и взяться творчеству жизни? Вот почему, оказывается, мы дышим теперь лишь «постольку, поскольку мы допускаем к себе нэпмана».

Рождество 25–12 — Солнцеворот.

Наслаждаемся, разглядывая в теплой комнате на окнах леса небывалых растений, созданных затеями мороза. И так сопоставляется со вчера в настоящем лесу, когда руки стали, как грабли, не могут уже набрать с деревьев моху, обломать ветки можжевельника, ободрать бересту на березах, пальцы деревянные даже не могут вытереть спичку, и ужас леденит всю душу, и стал вспоминать, как в доме, в теплой комнате сидят девушки и копируют с окон узоры мороза для вышивания.

…Начинало клонить ко сну, и тут он вспомнил о телеграмме, вынул, прочитал: «Мама скончалась» (все было в распаде и ужасе льда, но ель одна необычайно высокая, [почти] до неба — все оставалась: заяц шел к нему тихо, переступая, на ели щелкнуло, как выстрел, и он бросился в сторону, а рябчик сидел, не обращая внимания, — почему так? Заяц испугался, а рябчик знает, что мороз, и не боится? Заяц, наверно, тоже не боялся раньше и знал, но война, выстрелы испортили его душу: он стал окончательный трус; и то дерево треснуло на пути зайца, в безумии — назад и,

увидав лежащего человека, стал на задние лапки и вдруг разглядел, что человек моргнул и бросился).

Склони сердце свое к горечи,
Нечего сердцу горы мерити,
Нечего сердцу солнцу верити.

(С. Федорченко. Народ на войне)

26 Декабря. Человек торговал гармоньями в «каменьях» и сделался махорочным королем, миллионером. У него был в доме аналой, и на нем он читал святые книги и молился; а дети в этот аналой, бывало, поставят пустые бутылки…

А бывает вырождение этой первоначальной силы постепенное, в хорошую сторону: сын либерал, он бездарен, но силой вещей отца он существует и занимается просвещением. Еще дальше — он эстет, барин.

Помню, я шел садами в город, из сада в сад, потому что заборы были все разломаны с целью сделать из всех отдельных садов, окружающих город, один общественный сад. Но каждый владелец старался над своим садом по-своему, и потому, хотя заборы и разломали, границы садов обозначались явственно самими растениями. Так я добрался до замечательного в прежнее время сада купца-барина А. А. Петрова. Он был помешан на чистоте, не только нельзя было тут бросить окурка, но и плюнуть — было на дорожке, всегда усыпаемой свежим речным песком, заметно. Сад вечно мели женщины, так что, когда дела Петрова пошли под гору, злые языки говорили: «промелся». Под самым окном прекрасного дома были клумбы цветов, и все необыкновенных, хозяин сам, всегда в белой чистой одежде, прививал и скрещивал розы. Я остановился в разоренном теперь саду у одной знакомой лавочки, сел покурить. Старичок, верно, один из садовников купца-барина, подошел ко мне, мы разговорились, и я узнал, что хозяин в свое время удрал в Москву, но жена оставалась в доме, занимала одну комнату.

— Вон ту! — сказал старичок.

Я узнал: это был его кабинет. Я в нем не раз сидел студентом, как Татьяна Ларина, читал умные книги, [говорил], не поняв хозяина, ироническое вроде «ах!» или «увы», и всегда думал: уж не пародия ли он{110}.

— Да, — ответил старичок, — кабинет оставили ей, и тут она померла.

— Умерла Марья Ивановна?

— Вчера хоронили. Сам-то на похороны приехал. И сейчас еще тут.

Я хотел встать и скорее идти повидаться с очень хорошо знакомым с детства своего человеком, но старичок остановил меня.

— Спят, — сказал он, — повремените здесь немного, они, как проснутся, сейчас окно растворят, вы увидите.

— Ну, — подумал я, — не очень-то, наверно, приятно этому чистюле теперь утром раскрыть окно: чуть ли не тут во время гражданской войны стояла артиллерия.

Мне пришлось недолго дожидаться, окно раскрылось, показалась лысая голова, потом рука с ночным горшком и — раз! опрокинулась туда, где были раньше клумбы с привитыми розами.

— Теперь пожалуйте! — сказал старый садовник.

<На полях:> Но… жизнь многих таких людей сделала умными, и что осталось в душе и после таких испытаний, то уж было бы настоящим сокровищем. Я как-никак в это верю и этим живу…

Я знаю эстетизм как прикрасу и понимаю красоту без прикрас.

Рассказ о Марсе. Факт. Вот теперь смешно, а тогда было страшно.

Ожидали белых, и вдруг Марс.

Это было как раз в то время, когда город наш был страшно взволнован большою космической новостью, будто бы Марс с ужасающей скоростью летит на землю, и не сегодня, завтра произойдет ужасное столкновение двух планет. Новость эта совпала с тоже очень быстрым наступлением Деникина, и так на души, взволнованные гражданской войной, вдруг легла еще эта новость астрономическая. На улице, где я жил, были всё контрики — купцы, владельцы домов, они всегда катастрофу ждали с вожделением, и даже Марс им пришелся тоже на руку. Каждое утро, встречаясь, говорили:

— Ну, как Марс, летит?

— Факт! — говорили все.

Правда, как будто шут бегал по улицам с соломинкой, тому в нос, другому в нос, и тот и другой, чхнув, говорили:

— Факт.

С этого именно времени, я помню, как заноза в язык попала каждому оратору, и каждый стал начинать свою речь: «Я мыслю» и кончать:

— Факт!

По привычке считая себя образованным человеком, я лично был в большом смущении, проверял в памяти свои забытые

знания по математике и космографии, спрашивая себя: «Возможно ли вообще столкновение двух планет?» Особенно неприятно было мне и потому, что как раз в то время я попробовал преподавать словесность в гимназии, и ученики, взволнованные, как все в городе, непременно должны были спросить меня, учителя, как я отношусь к этой новости, имеет ли она какое-нибудь научное основание.

— Имеет ли какое-нибудь научное основание эта новость? — спросил я в учительской преподавателя физики.

— Факт! — ответил он. — Мало ли носится в межпланетном пространстве обломков, бывших когда-то вместе одним небольшим светилом.

— Факт! — ответил и я своим ученикам.

Поразительно было мне наблюдать, как публика вообще сравнительно мало терялась перед такой страшной опасностью от Марса и с гораздо большим вниманием относилась к движению Деникина. В нашем переулке на Рождественской улице все состояли…

27 Декабря. Один серьезный мужик работал и все молчал, и дома на отдыхе, и в гости пойдет — все молчит, и даже выпьет, с ним не разговоришься. Но в это время ночью во сне вдруг крикнул своей теще: «Ты, ведьма, с продналогом ко мне и не подходи, я, ведьма, покажу тебе продналог!» (Рассказала Павловна.)

Борис, Алексеев сын. Контуженый. Нервный. Самолюбивый. Чуть не по нем — взорвется и бьет. Лошадь убил. Работать может (сильный). Из уха от контузии течет ржавчина. Жена Елена не любила его, присматривалась, про себя взвесила все, ничего не сказав никому, потихоньку переправила сундуки к родителям и ушла. Борис ее любил. И самолюбие до конца встревожено. Хотел убить, но любил и смирился до того, что женился на другой, на корявой. А та его любила. И днем и ночью уговаривает, все лаской, понемногу, понемногу и крестик надела, и научила молитву утром и вечером прочесть и перед едой лоб перекрестить. Теперь очень хорошо живут.

Есть много добрых людей, которые ненавидят Ленина, но есть какое-то обаяние в словах «гениальный», «великий», когда это скажут им, то они смущаются. Это остаток почитания богов, рабства, трусости чувства и мысли. И какой смешной Толстой: разобрав историю Петра В., сказал: «Нет, не буду о нем писать, он был дурной человек» (наверно, отдавая в то же время уважение

как «спецу по государственным делам»).

29 Декабря. Вчера Соловей завел нас в лесные дебри (кружками все дальше и дальше загонял беляка), мы торопились, [бежали], нервничали и на кругах нет-нет и подшумим, а заяц еще дальше, и сразу гон относится еще на версту. Ветер поднялся под вечер очень сильный, метель, собака вышла из слуха, и невозможно было сказать себе, в какой стороне деревня. Мы растеряли друг друга, я стал трубить — ничего! И вдруг как будто прогудело, я ответил, там опять — я обрадовался, я подумал, что это мне дети трубят в ружейные стволы, так я шел, шел и наконец пришел к железнодорожной станции, тут только я понял, что я перетрубливался с паровозом. Вскоре и дети мои тоже пришли к станции и тоже, оказалось, приняли гудок за мою трубу.

31 Декабря. Сочельник. Новое Рождество.

Мы, безбожники, поминали эту религиозную женщину, она никогда не молилась дома, не ходила в церковь, только работала и любила нас, требуя только одного, чтобы мы не смеялись над Богом. Так все шло многие годы, дети выросли, ничего не слыхав в школе о священной истории, не зная ни одной молитвы от матери. Но они вышли хорошие люди, потому что мать вечно их наставляла, следила за ними, на каждом шагу доказывала им свою любовь и к ним, и к разным несчастным людям, нищим, погорельцам. Сознамют ли это дети когда-нибудь, что их лучшее — это действие неназванного Бога их матери?

И. С. Романов рассказывал, сколько страданий он пережил в провинции из-за своего писательства, сколько было над ним издевательств, так что, если кто скажет про него «писатель», так «холодеют корни волос и в мозг проходит». Верно, так же и настоящий религиозный человек боится произнести всегда имя своего Бога? (в особенности при ученых людях).

Ко мне подходит полоса развенчания великих людей. Мерой человека должна считаться величина его любви, а в отрицательный счет — сколько с его существованием связано смертей. Тогда многие великие люди сделаются извергами, а самые последние (неизвестные) — великими.

За что и существует раб Божий, чтобы не умаляться ему, когда произносят имя великого человека. А то назовут изверга, а как скажут «великий человек, гений», так тебя сразу молотом в лепешку.

Я бы мог примкнуть только к той революции, которая взялась бы освободить Бога от плена человеческого{111}.

1925

1 Января. Убил лисицу и двух беляков. Тепло. Порошка летит. Вот теперь только ясно вижу, что прошел через какие-то ворота жизни из теснин в долину.

В романе нужно прежде всего единство лица, то есть — чтобы все действующие лица, незаметно для читателя, были составными элементами одного сложного существа.

В жизни мы разделены друг от друга и от природы местом и временем, но сказитель, преодолев время и место (в некотором царстве, в некотором государстве при царе Горохе), сближает все части жизни одна с другой, так что показывается в общем как бы одно лицо и одно дело творчества, преображения материи. При таком понимании сказка может быть реальнее самой жизни (Дон-Кихот и Санчо — самый яркий пример такого сближения).

Это один процесс творчества, который приводит к ясности, а другой процесс — строительство самой жизни, когда нужно в добытую сказку вдвинуть время и место, — есть ли это дело художника? Нет, это дело человека, но труд художника, поскольку он тоже человеческий труд, дает прекрасный пример воплощения, потому что, делая свое любимое дело, он посредством этой любви преодолевает скуку труда и в то же время трудится, как и все.

(Спасителем человечества (от Кащеевой цепи) будет тот, кто приобщит каждого работника видеть в своем труде творчество жизни (значит, чтобы часть узнала себя частью целого — коллектив).

Революционер разбивает время (отказ от прошлого) и место (интернационал) (мысли о революционере разработать) — вызов судьбе.

Мы живем, преодолевая власть времени и места, и если запечная старуха-труженица вдруг молодеет и становится, как девушка, услыхав от маленького внука его первое «ба-буш-ка», то, значит, она преодолела время.

— Ты судьбу свою вызываешь на поединок, этого я не могу.

— Но разве ты в своем декадентстве и осушении болот на свои средства тоже не вызываешь судьбу?

— Нет, у меня дело совсем другое, не я судьбу вызываю, а это она, сама судьба, меня вызвала.

— Мне это непонятно, это какая-то ваша новая красивость из мистики.

— Нет, это простонародное понимание жизни, у них судьба ведет, у вас экономическая необходимость, но если я на твоем языке скажу, что меня к новому строительству вызывает сила экономической необходимости, ты меня поймешь, но так мне нельзя говорить.

— Тоже не понимаю, мне кажется, именно меня вызывает эта такая твоя судьба, а ты…

<На полях:> Революционный перелом состоит в перемене сказки (фабулы творчества).

Фабула творчества крестьянина: мы все от Адама и по Адаму равны, небесный хозяин сотворил нас равными. И земной хозяин, царь, есть подобие небесному, и если не совсем сходятся они, то виноваты чиновники.

<На полях:> Счастье матери беспредельно, потому что, когда она даже совсем и состарится, ее ожидает встреча с ребенком своего сына: «ба-бусь-ка!»: меня судьба ведет…

2 Января. Петя говорит: «Тут другая лисица идет. Соловей гонит двух. А может быть, это собака?» — «Может быть». Мы стали на позиции, в кустах мелькнуло рыжее, из-за дерева показалась голова. Я выстрелил. И все с великой радостью бросились к убитой лисе. Но, подбежав ближе, я увидел ошейник, и вдруг, оказывается, лежит убитый пойнтер. Боясь преследования, мы стали удирать болотами, потеряли направление и, проплутав часа два, пришли, как зайцы, на старое место (в страхе и люди бегут кругами). Но самое главное в этом было то особенное чувство, которое нельзя назвать только страхом, в этом чувстве история страны, личности, характера (материалы для анализа: темно… обреченность… я не виноват, но как виноватый, икона: Господь покарает… не могу лгать, а нужно).

<На полях:> (Сказка магнитной стрелки, заключенной в коробочку, и называется компас. Можно положить в карман эту коробочку и ходить в лесу, сочиняя новые сказки, потому что одна сказка заключена в коробочку и всегда укажет, где идешь.)

3 января. Высокая моховая кочка, увитая плетями клюквы, была как самое мягкое кресло, возле нее стоял пень — зимой под снегом в рост человека — спиленной березы, на этом пне выдавались плоские сухие грибы, как раз, чтобы поставить на один из них чашку, на другом положить кусок хлеба. И так сидеть хорошо на этой моховой кочке, ожидать, пока согреется чайник. На этой лесной поляне было десятка два елей, и ни одна из них не похожа была на другую (понаблюдать в лесу типы деревьев) (один брат в лесу на войне, другой в лесу в тылу).

Цикл непродуманных, ненажитых лично идей, которые сухо засели в голову из литературы времени богоискательства:

1) Ницшеанство (эстетизм, индивидуализм)[112] — Ницше сказал сверхчеловекам: «Я — бог» и тем свернул себе шею. Гиппиус говорит: «Я — это Ты в моем сердце возлюбленный»[113].

Ницше был эстет, и это (эстетизм) привело его к ошибке. Что значит эстетизм? плен какой-то… Но вот Добролюбов пробует от бумаги перейти к человеку: молчание и строительство жизни: секта[114]. Тот же Дон-Кихот — Ницше. Нет спасения и в мережковщине (рассудительность)[115].

Чан: пророки. Все они, как декаденты, так и хлысты и социалисты, претенденты на престол, и в сущности спорят о стиле трона, который каждый из них творит для себя: каждый скрывает в себе царька. И, падая, одни ломают себе шею, другие идут ко всенощной, третьи язычники: в Крыму в Коктебеле «кадетская партия»[116].

Решение как будто в натуре, но если и это в принципе, то получается Коктебель. Как будто в инстинкте, но если инстинкт в принципе, то получается Интуитивизм. Почему? Потому что претензия порождает сказку, а не жизнь, один живет кое-как до времени, пока не станет царем: тогда сразу иное, автомобиль и все прочее. А иной живет недурно, талантлив, но мало, и строит себе личину (Горький, Мережковский).

— Каждый из них потому декадент, что стремится кончиться и сделаться царем. Я же не царь, а раб.

— Божий?

— Не знаю.

— Чей же?

— Чей? Я раб того человека, который придет и, взглянув на мой труд, скажет: «Ты не зарыл свой талант в землю, я это возьму», — и вдруг, как Пушкин, возьмет и восславит всех, не зарывших до него в землю свой талант. Я раб того Светлого человека, который есть сам в себе, а не претендент на престол.

Им нравится смерть, потому что им всем хочется кончить себя и жизнь и сделаться царем.

— Почему вы осушаете болота?

— Это очень интересно и полезно.

6 Января. Сочельник.

Дульсинея. Коли бы возможно было с ней встретиться, то было бы или разочарование, или обыкновенная любовь. Но именно потому, что нельзя с ней встретиться, возникает Дульсинея. Это мост к невозможному, сила бессильного (Дон-Кихот).

10 Января. Кажется, с Лениным умерла последняя надежда на воскресение какой-нибудь мало-мальски сносной жизни в России, и чудится, что эта вся коммуна есть смерть.

Были такие слова против войны, что если предоставить самим солдатам решать, то все бы ушли домой. Теперь стали новые слова против нашего социалистического государственного строя, что если предоставить Америке у нас свободно распоряжаться своими капиталами, то все граждане перешли бы на службу Америке и притом, если потребуется, с натурализацией{117}.

Так оно так, конечно, и лучше бы как-нибудь работать гражданином мира, но как перешагнуть через родину, через самого себя? Ведь только я сам, действительно близкий к грубой материи своей родины, могу преобразить ее, поминутно спрашивая «тут не больно?», и если слышу «больно», ощупываю в другом месте свой путь. Другой-то разве станет так церемониться, разве он за «естественным богатством» железа, нефти и угля захочет чувствовать человека?

Вот, верно, как-то через уважение к родным, некоторым друзьям и, главное, через страстную любовь к природе, увенчанной своим родным словом, я неотделим от России, а когда является мысль, что ее уже нет, что она принципиально продалась уже другому народу, то кончается моя охота писать и наступают мрачные дни. И если опять я принимаюсь за работу, то исключительно благодаря близости Санчо (Павловны), умноженного ребятами.

Патриотизм, сущность его, по-видимому, и состоит в отношении интеллигенции к народу, подобному Дон-Кихота к Санчо; только у нас… (вот сейчас случилось, что через двойные рамы избушки гуси услыхали, узнали голос Павловны и все подошли к стеклам, а Павловна им задушевным голосом: «Гуси мои, гуси милые!» и сейчас же нам: «Ну и жирны!» А я думаю о своем, о Дон-Кихоте и Санчо, и говорю Павловне: «А что как они узнают?» — «Что?» — «Да что ты их резать собираешься». — «Ну, так что?» — «Заклюют тебя!» Павловна страшно рассердилась: «Как же они посмеют, да ведь это Бог их мне послал в пищу за мои труды, вот у Тютюшкиных все гуси сами передохли, у Савелкиных хорь поел, у Елизаровых — лисица. Им не обязательно от хозяина умирать, это как Бог, тут без Бога ничего не поймешь, а я слышала, еще матушка ромдная говорила: «Как скотину резать ведут, так она радуется»).

Хорь

На Воргаше снег опушил пни, лежит, и всюду отверстия, и туда, кажется, нырнула лисица.

Охота на лисицу

Лес. Двухдневная пороша, и все снег идет. И все-таки в Карачуновском болоте Соловей выкопал лисицу. Как она выскочила из зеленого частого угла ельника на белую поляну, как улыбнулась мне издали и метнула хвостом. Под изгородь, а Соловей не может пролезть — в обход. На Воргаше в поломанном лесе, по бревнам выше роста человека показывается она, и за ней Соловей, и свалится. Бегут по опушкам, пересекают поляну, два следа-товарища. Как Соловей сокращает загибы. Бывает, в непролазном болоте я запутаюсь в следах, разглядываю, думаю, вынимаю компас, а Соловей без компаса знает во всякую минуту все стороны, умеет, не думая, сразу разобраться, обойти или, понюхав воздух, только понюхав, бросается, и зверь вылетает. На все лесное и сотворенное силами природы тысячелетней у него есть ответная сила находчивости, которая у нас является только в редкие минуты творчества.

Но вот он выбегает на дорогу, где по лисьему следу в одну и в другую сторону проехали сани. Дорога сделана людьми, тут Соловей робеет, он смущается, лай прекращает, бежит в одну сторону, вострит уши, глядит то в одну сторону, то в другую, пробежит расстояние небольшое, а кажется ему, очень долго прошло — нет! верно, пошел след в другую сторону; и так, не осилив в этот конец, бросается в другой, бежит, бежит, и кажется ему, дороге нет конца: человеческая дорога бесконечна; как же так бесконечна? он струсил, испугался, сел, задрал нос кверху и воет, воет. Мы слышим этот вой далеко: «Помогите, помогите!» Мы очень спешим. И Соловей, увидев нас, бросается к нам, ласкается, куда мы пойдем, туда он, сдается. Мы двое расходимся по дороге: один в одну сторону, другой в другую. Находим сметку, кричим: «Во-во-во!» Соловей бросается через нас в казенник и на тропе исчезает и наполняет лес лаем. Теперь мы опять в его власти.

<На полях:> Снег падает, и лес за снегом — сказка. Сказка снега, пересекающих следов хорька, горностая. Там, вырываясь из снега, тетерева… А обратно вся сказка оставлена, и чуть наклонишь голову на чей-нибудь след, звенит — рябчик? а это в ушах.

Путь пробега…

<На полях:> Затерли след лисий: по лисьему следу в расписных санях [нарядные] сваты проехали: вперед и взад; вперед ехали — просватали, взад — помчались за вином.

Безумие Соловья: его лай. Следы-товарищи, сходятся, расходятся, схватываются вновь.

Сказка тихого утра после пороши с легким морозцем: все застыло. И вдруг действие: гон.

Конец: остановил и лает, а я застрял в зарослях. Выстрел: гоп — го-оп!

Гон попал в полосу зайцев, тропа твердая, нога не проваливается, вот соблазнился, пошел по зайцу, но бросил и вернулся. Тетерева из лунок и с ними куропатки.

<На полях:> Лесная дорога засыпана, только намеками означены колеи, и по этим колеям в две строчки прошила лисица, до чего аккуратно, след к следу, как на швейной машинке.

Промелькнула лисица с раскрытым ртом. Выскочил красный зверь на белую поляну — лисица, злая, с улыбкой, — хотя у этой злой улыбающейся собачки такой огромный хвост, как будто ей его и девать некуда.

Этой осенью лисицы хорошо объелись: была пороша и потом теплый дождь, лягушки выползли — мороз, замерзли.

Гон, а красноглазый русак — тропить — [прыжок] — сметка{118}, тихо за кустом лежит — [лежка].

Время в гоне исчезло, и кажется, мы летим с огромной быстротой, и так мы опомнились верст за двадцать, может быть.

Где мы?

Так свечерело — а где мы? Компас. По стрелке, полянками, от полянок светлее, но темнеет. Что, если не выберемся. И когда выбрались, неприятно было смотреть на темную полосу леса: чуть влево взяли — и не выйти бы.

Бой умирающей лисицы с Соловьем, ее злоба: уши прижала [тявкает] на него. Где мы? Крепнет мороз. Трещит: леший орехи грызет. Слушаем: гонит! достиг ли?

Зеленый дятел.

Не до сказок теперь! — Не до сказок, я знаю, но она явится, как след по земле… нашим следом охотник идет, и он потом расскажет о нас.

Надо сделать, чтобы в романе были все-таки все мои люди, и даже фабула выходила из пережитого. Маруха — Людмила, Марфа — Мария Николаевна, весталка Дуничка, старые девы: фрейлина, Лидия.

Люди живут не по сказкам, но непременно у живого человека

из жизни складывается сказка, и если, пережив, оглянуться на прошлое, то покажется, будто жизнь складывалась сказкою… Вот я свою сказку уже начинаю замечать.

— Но зачем это тебе нужно?

— Я не знаю зачем: это чувство себя самого, моя жизнь.

— Твоя личная жизнь, но кому это интересно?

— Это интересно всем, потому что из нас самих состоят «все». А ты как, разве не через себя самого узнаешь людей, общество?

— Ну, да это психология, специальный вопрос, мне этими тонкостями некогда заниматься, у меня есть дело общественное, которое поглощает меня самого совершенно.

— Ты что же, отказываешься от развития своей личности?

— Временно да.

Писать по символам — это все равно, что жить по сказкам.

Дуничка

Если бы на свете правда была, эта учительница за свой подвиг должна бы получить крест св. Владимира, а она даже не получит и Станислава. Но почему же медный крестик, повешенный себе самому на шею закоренелым преступником, больше значит у Бога, чем Владимира и Станислава всех степеней?

— Потому что Бог принимает страдание, а радость сама собой награждается.

— Но ведь крест Станислава тоже есть крест, как и тот, медный и страшный.

Был крест деревянный, на котором распят человек, и бывает медный крестик, какой иногда вешает сам себе на шею закоренелый преступник, и бывает крест очень милый, украшенный эмалью и золотом, Станислав, Владимир, Анна со степенями и ленточками — все называется крест.

Сергей сказал:

— Наше сознание определяется экономической необходимостью.

— Я это слышал, — ответил Михаил, — это верно, пока ты сам находишься в кругу известных понятий. Но я считаю источником сознания разлуку.

— Слепая Голгофа{119}!

— Но и хорошо, что слепая: для моих людей никакой зрячей Голгофы не может быть. Для другого человека тело твое — просфора, кровь — вино, а крест — Станислав 1-й, 2-й и 3-й степени. Кто же там, на фронте, что-нибудь видит, где та личность, взявшая на душу это страдание? Весь фронт — это не я, а другой человек, Санчо-Панса, ожидающий, что за его муку его наградят губернаторством. Они все там ожидали награды: перерождение земли…

— Бывает, никакая деятельность разума не может успокоить, и человек помешается, если не получит удовлетворения в чувстве. В это время иные получают признание, как поэты, — и этим удовлетворяются, считая, что писать стихи есть их призвание, других женят тетушки, третьим доктора советуют обзавестись бабенкой.

13 Января. Собираюсь ехать в Москву (пробыл дома с 3-го Декабря по 13 Января — 1 месяц 10 дней). В Москве пробуду до 20 Января. С 20-го по 15 Февраля — три недели, потом в Переславль, чтобы к 1-му Марта устроить переезд. Теперь же надо набирать денег.

Рассказ «Немезида»{120} — 5 черв.
Охотничьи рассказы — 125,5 = 130 руб.
Халамеева ночь{121} (50 р.), «Красная Новь»?; Волчки «Охотник» (15 р.).

14 Января. Сегодня я приехал в Москву и думаю, почему бы не поохотиться мне здесь за червонцами с такою же страстью, как за лисицами?

Начинаю обедом в «Известиях» до 1 ч. дня, когда там еще никого нет, и прислуга разговаривает между собой. Они спорят о каком-то бедном человеке, который ежедневно приходит, спрашивает себе стакан чаю и бесплатно съедает целую корзиночку хлеба. Одни говорят, что ему надо отказать, другие жалеют: «Куда же, бедному, деваться?» — «Хлеб наш хороший!» — «А не питательный, как сено, лошадь от сена не работает, нужен овес». — «Все лучше, чем тарелка супа без хлеба». — «А он не партийный?» — «Ну, какой там партийный…» — «Нет, отчего же, я говорю, ежели он, может быть, коммунист, так у него это от мыслей». — «Каких там мыслей?» — «Не есть, не пить». Все хохочут. «Ну, человек, вот уже из пятого ребра!» — «А не из собачьего же он хвоста».

Смертный пробег{122}
Охотничьи рассказы

Весеннее
Тальников
1. Ток — ½ лист.
У Правдухина
2. Гусек — ¼ лист.

Летнее
В «Охотнике»
3. Ярик — ¼
4. Кроншнеп — ¼

Осеннее
Воронский
5. Анчар ⅓

Зимнее
«Охотник»
6. Гон
7. Смертный пробег — ¼

Изучение края
Статья с жизнью кустаря ½ лист.
Природа ¼ лист.
Шмель ½ лист.
Волчки-погонщики ½ лист.
= 2 листа

1-го Марта в Переславль.
До 1-го с 17-го Января 1½ мес. (на две недели есть — значит, на 1 месяц 100 руб. — есть 100 руб.).
До 1-го Марта [две недели с] 15 февраля: Смертный пробег — 200, Перевал — 200 = 400 руб.
1½ месяца за детей в Ленинске 100 руб. = Переезд: 100 руб.

18 Января. 11 утра — «Охотник» (Звонок к Правдухину), ½ 12-го — «Кооперация», 12 ч. — Коноплянцев.
1 ч. д. — Воронск. Обед. 5 час. — Клав. Вас., 6 час. — «Известия» (звонок) *<1 нрзб.>*, 7 — Руднев.

Перспективы:
Смертный пробег — 200 р.

«Огонек» — 40 р.
Халамеева ночь — 50
«Охотник» — 30
Рог: есть — 100

_____
420 р.

Возмож.:
«Журналист» — 200 р.
Немезида — 40 р.

19 Января. «Жизнь». 12 д. Смирнову; обед до ½ 2-го; 2 ч. — Воронский; домой в ½ 6-го; к Бутурлину — 8 в. Чтение.

20 Января. Смерть Ленина.

Как будто бросили в поле вагон [временно], чтобы прицепиться к другому товарному и везти груз по назначению, и так он стоит среди поля с обнаженными буферами…

Иван Сергеевич Кожухов был в сознании до последнего вздоха и не знал, что умирает. «Почему я вас не вижу?» — сказал он и умер (глаза умирают раньше).

Клавдия Васильевна — лад (спокойствие и воля, любовь — это большое дело, и, спокойно оставив медицину, отдалась делу любви).

Позиция Ивана Сергеевича: никто не виноват, всякого надо понять и простить. Белые или красные? хотел сделать добро, охранить евреев, соблазнился делом любви и лада (а надо было скрыться): на меня теперь все смотрят, все ждут.

22 Января. На завтра. 11–1 ч. фотография. ½ 2-го — «Охотник» (деньги). Позвонить в «Круг». Купить: платье — 3 черв., гильзы 24-го калибра. Суббота: деньги в «Огоньке»: 140 р. + «Охотн.» 60 р. = 200. 23–7 февр. — 15. Три недели.

<На полях:> Характеры людей на охоте: 1) доктор-хирург, 2) Руднев, 3) Стеклицкий.

45 + 70 = 115; 20 — в Союз, 5 — дорога = 25 р. Купить: 3 р. — 24 калибра гильзы; 95 руб.

23 Января. Клавдия Васильевна Кожухова услыхала, что дочери Стеклова нужен «личный секретарь». Пошла туда, спросила, какие обязанности личного секретаря. «Постирать, когда подмести пол, а когда я не ночую, постеречь квартиру». — «А сколько же за это вознаграждение?» — «Два червонца».

Так коммунистка обходит вопрос о прислуге, им ведь нельзя

иметь прислугу. А Клавдия Васильевна ведь в Медицинском была.

Анекдот: Старуха плачет у Ленинского мавзолея. Милиционер: «Не плачь, бабушка, Ильич умер, а идеи его живы». — «Да, да, батюшка, — отвечает старуха. — Ильич умер, а иудеи-то живы!»

25 Января. Выезжаю в деревню до 12-го — четверг утра — рабочее время с понедельника 27-го по четверг 12-го = 17 дней. Написать «Журналист-исследователь».

4 Февраля. Так вот и работаю, и все выходит, как задумал, делаю нечто, не видя себя (без себя): так делают **секретари**.

Мировой секретарь (не сам, Сальери).
Сальери — Моцарт.
Филипьев (энциклопедический словарь) — Стебут.
Разумник, Коноплянцев — Пришвин.
Руднев — Савин.
Лебедев
Афанасьев
Игнатов — Плеханов.
Дьякон — Поп.
Меньшевик — Большевик.
Разумник — Поэты.
(Эрудиция) Мережковский — Розанов.

2-й Адам
Ад — несчастье, страдание.
Предельные люди: должны мириться с пределами, иные из них долго не мирятся, бунтуют. И тут социализм. Они все рогатые (Афанасьев корову доит, кондуктор при корове). Смиренные и с претензиями. «Преодоленная бездарность»: литература (Брюсов) {123} — корова (Афанасьев).

Этим людям — «**тот свет**», и это они выдумали социализм, рай на земле — выдумали, глядя на Моцарта, что тот **здесь**.

1-й Адам
Рай — счастье, радость.
Запредельные

7 Февраля. У Бруссона («Анатоль Франс в халате»){124} среди изречений Франса есть одно мне очень близкое: «Чтобы отрицать почести, нужно сначала их заслужить».

Признание, почесть, юбилей, статуя — признаки, чисто

внешние, какого-то достижения, удовлетворения в чем-то, конца (2-й Адам, Секретарь, их семейственность, их отношение к революции).

Есть у Франса общее с Розановым, например, о Наполеоне: потому что он не способен был любить женщину, то стал разрушителем (я это очень понимаю: «жизнь вовне»).

Старая дева (Лидия) — она (женщина) бесконечно одинока, нет удовлетворения внутри себя, и оттого по временам, как вулкан, извергает разрушающую злобу. «Месячные дни». Лидию я могу раскрыть до конца при помощи других женщин: Дунички, Мани (Лопатиной) и революции (2-й Адам).

Милый Лева, ты говоришь, что людская масса сама по себе не способна выйти из своего рабского состояния, а нужно дать им материальную приманку (фунтик соли? кооператив и т. д.) и что в этом состоит экономический материализм. Так, завлекая, перетаскивать их в другой, лучший мир… Но почему ты не думаешь, что, съев твои фунтики соли, они не вернутся к себе, к своим бабам?

Экономический материализм хорош как практический корректив всякой порождаемой личностью идеи. Но если положить это в основу творчества, то все равно, что виноградник полить сероуглеродом.

8 Февраля. Приходил С. А. Клычков, сказал, что Воронский вернулся на свой пост редактора «Красной Нови». Едва ли от этого прибавится лучшего. Болезнь проникла в самую глубину, и ужасный признак ее, что писатели не своим языком говорят. Это очень характерно: языки смешались, а без своего языка не может быть писателя.

Я и Лева, отец и сын, в одном положении: Лева смотрит на комсомольцев и думает: «Вот я бы мог быть настоящим комсомольцем», — а те в упрек ему ставят, что он сын писателя. И сколько уж я перенес здесь всего, не выпуская из рук вожжи, работая во всех советских журналах, и все до сих пор несу на себе проклятие какое-то.

Нищета. Этого со мной никогда не было, чтобы я считал себя чем-то исключительным. Я знал всегда, что у меня в хоре был свой верный голос, и это давало мне счастье. Теперь я чаще и чаще думаю, что я в оставшейся литературе единственный писатель, у меня явилось раздражение, даже злоба к писателям, и к своему сочинению такое отношение, это вот напишу, издам его

для того, чтобы ударить их по харям. Это от духовного голода, от нищеты и вполне естественно. С этим надо бороться, отступая глубже и глубже к себе самому, с одной стороны, и, с другой, как можно больше стушевываясь в обществе (личину вырабатывать) {125}.

Жизнь по газетам. Карикатура работы Дени (художник Дени, бледный, полуистерзанный господин, работает с Сосновским).

Передовая («Правда» № 31): «В каждый данный момент в нашем Союзе Республик имеются, само собой разумеется, определенные законодательные положения…»

Навыки командования. Тип комсомольца. Волков — «Ленинская улыбка».

Связаться.

Предложить «Энгельгардтовский метод»{126}.

Завоевать себе расположение деревни — для советской власти значит отказаться от себя самой: сделаться хорошей, доброй. Состояние небывалое в России; если бы это было достигнуто, то действительно можно было государству привлечь на свою сторону весь мир.

Убивают кулаки. Оказывается: кулаки убивают{127}.

70 рублей
За свинью — 20 руб.
Толокно — 10 руб.

_____
30 руб.

Овес — 10 руб.
Компот 5 ф. — 1 руб.
Песку — 1 руб.
Муки — 3 руб.
Масла 2 ф. — 3 руб.
Селедка, халва, баранки — 2 руб.

_____
Остается 20 руб.

Углубление, оборудовать уголок, уголок фабзайчат{128}, тренировать.

Массовые постановки. Октябрины и красная свадьба, вечер вопросов и ответов. Плановые рамки. Комсомольские активисты.

9 Февраля. И еще так можно понимать сдирание шкур, какое досталось нам от войны и революции: что боги, пересмотрев нашу жизнь, подняли вопрос: «А что будет, если мало-помалу их совсем

ободрать?» — «Множество живет влиянием друг на друга посредством сказок, мы лишили их всякого влияния, и каждый, даже самый маленький из них, останется сам собой» (обиженный дурачок-водонос бросил ведро и сказал: «Я такой же, как Ленин!» Доктор А. П. Покровский, сын священника, в 50 лет первый раз задумался о существе Божьем и сказал: «Значит, Бога нет, если бы Он был, то не могло бы случиться такого безобразия»).

Такое состояние ободранного, голого человека бывает и в обыкновенной жизни при семейной катастрофе с каждым почти. «Бога нет!» — восклицает он. «Это отчаяние», — говорит другой и, переждав немного, начинает «утешать». Теперь исчез утешитель, и всякий маленький длительно, как сам великий Творец, смотрит в **ничто**.

И тогда вдруг открывается как бы целая новая планета радостных пессимистов: за спиною Ничто, а впереди день, хоть день, да мой! Так живет всякий зверь: за спиною охотник, в спину уже влеплен заряд, а ноги тащат дальше (судьба Николая Алпатова должна быть изображена, как зайца), его выгоняют из дому, он бежит оврагами, с ним гончая, собака поднимает зайца и гонит. Николай бежит. Ест баранку, во время еды заметил цветок земляники, ужасно обрадовался и т. д. Но охотник гонит его дальше, дальше, и так **зайчик человека** будет доведен до последней судороги и неподвижности с открытыми глазами.

Этот зайчик Николай (победитель). Другой брат, Михаил — сказочник (поэт): как иного пугает смерть, так его труд, туга, бремя, которое несут все, и, чтобы избавиться от этого страха, он работает грубую работу, корчует, осушает болота, имеет детей и все не может убежать от этого: все это, в конце концов, взято им на себя добровольно. Этот трепет от одного взгляда на туман, на зарю, на звезду — этого нет у тех людей.

<*На полях:*> «Страна радостных пессимистов».

10 Февраля. «Внутренний немец»: «Вильгельм на аэроплане летал к помещикам» и т. д., в конце концов, внутренний немец — буржуазия. Последний этап разрушения внутреннего немца ударил по середняку. После этого центральная власть окончательно утвердилась и, прибрав всех к рукам, начала все сначала: внутренний немец опять вывернулся вовне и стал всемирной буржуазией. Началась война против всего света: значит, предмет опять исчез.

Алпатов думал, — чужие идеи, которые начинались не из сердца и приводили к открытиям науки, иногда очень полезным людям, иногда вредным. Другие идеи были такие, что начинались

в сердце, и это были идеи свои, потому что, если захотеть и заглянуть в себя, то в создании их и сам участвовал. Такая была идея Отечества. Верного в себе самом Алпатов находил из этого Отечества пейзаж и родной язык, остальное было чужое. Он думал, что, наверно, у культурных народов есть настоящее Отечество, и они знают, из-за чего они дерутся, а Россия среди этих стран — неудачница, русский мечтает о том, что другие просто имеют. Если бы испытать чувство обладания отечеством, то, может быть, не стоило бы драться из-за этого, как отвергнуть то, что есть у всех, чего хочется самому, о чем судить как следует не имеешь права. И какая цена тому нищему, который отвергает богатство? Вот если бы он, богатый, отверг…

Россия шла воевать, потому что «так вышло» — нужно, стало быть, и в то же время событие это не простая война, тут, казалось, конец всему прежнему и новое начало, так непременно же это нужно и должно кончиться хорошо: кончается плохое, слепое бытие…

<На полях:> Если я пожалею человека, то, значит, я в этом чувстве уже оказал интернационал и на этом пути я могу объявить себя наконец интернационалистом. Но я не понимаю, как, будучи столь мирным человеком, интернационалистом, я возьмусь за меч. Можно защищать свой дом, детей, но как я буду бить других людей за интернационал?

Мэтр сказал: «Чтобы иметь право отвергнуть почести, нужно их получить». Другими словами: «Чтобы кончить обед, нужно хорошо наесться». Так Европа — сытая, а Россия голодная…

Нигилист **праведно** ненавидел, и прав в разрушении, но чтобы строить, нужно любить, и для этого должен родиться другой человек. Алпатов Михаил был как предтеча этого перерожденного человека.

Петербург был на болоте, как прекрасный цвет какого-то растения с ядовитыми семенами. Далеко по стране, в самые глухие углы ветер заносил семена, и так незаметно вся страна обсеменялась злом. А там, под сенью прекрасного дерева, это не видели и, встречая, не узнавали свое же семя взошедшим не на болотной, а на здоровой земле.

Растите же густо, наполняйте всю страну, корявые дети прекрасного болотного цветка, пока никому нельзя будет больше дышать и не возьмутся все за перемену, вытравление, очищение земли.

Забудьте, садовники, розы и лилии, помогайте расти этим цветам! — Вот было время, а он хотел теперь же на этом зараженном месте выращивать нежнейшие цветы, согласованные

с природой богатой земли.

Неудачник.

Смиренный, вечный секретарь, порядочный, средний человек, находит утешение в семье, в размеренном, не превышающем свои силы труде. Претенциозный: свой второй сорт выдает за первый, страшный губитель (убийца Моцарта) («преодоленная бездарность» и «обнаглевшая бездарь»). И вот из этого-то, на этой почве как-то внутренне вырастает путь преодоления «союзом трудящихся», — как сальеризм начинает трудом и кончает убийством, так социализм направлен на Моцарта и непременно на Бога. В этом обществе не может быть людей милостью Божией (благодатных).

Искромсал статью редактор — мичман Раскольников, переписав ее своим стилем; Воронский страха ради иудейского изрезал мой рассказ, очень правдивый. И все это надо терпеть, считая в этом великом строительстве нового мира себя самого случайным, слишком утонченным явлением. Но когда доходит вплотную вопрос об оценке всего совершенного революцией, откуда же взять эту оценку, как не из себя самого. Значит, «я-сам» должен быть больше своего художества? К сожалению, «я-сам» есть только художник, претендующий как таковой на первенство перед людьми государственными.

Картина войны, эти люди, зарывшиеся в землю и там проводящие годы, и люди в тылу с газетами, ресторанами и теплыми ватерклозетами, — это была действительно картина мирной жизни, представшая сознанию.

Многие впервые увидели, какое явление представляет наша обыкновенная мирная жизнь, в которой мы благодаря привычке не замечаем войны.

Война была как смотр нашей обыкновенной жизни. Зрение являлось у людей, потому что в окопы попадали многие из неокопных людей, способные чувствовать весь ужас окопов.

11 Февраля. Завтра (в Четверг 12-го) в Москву, 14-го в Субботу — Переславль. 20-го (в Пятницу) из Переславля в Москву. С «Огонька» 140 руб. «Вестник Кооперации» или «Красная Новь» — 60 руб., «Журналист» — 200 руб. = 400 руб.

Вы, мне кажется, имеете в постоянном подозрении мою советскую совесть, но я в отношении советской власти, клянусь вам, чист не менее, чем был чист Моцарт перед Сальери: ведь Сальери был типичный парт-человек.

Антонова сеча

Книга нашей совести

Основная мысль:

— Если ты любишь животное и проповедуешь жалость к нему, а сам признаёшь, что нужно есть мясо, то если ты честный человек, иди на бойню, убей штук 20 коров, а потом садись есть котлеты.

— Так, если ты признаешь необходимость государственной власти, то возьми ее в свои руки. Ты все время бранил людей власти, возьмись же сам, попробуй.

— Война и революция. То и другое как манифестация элементов нашей обыденной жизни. Война: жизнь в окопах и в тылу — два мира. Но и обыкновенная наша жизнь — два мира. Особенность войны, что она, как картина, представляет нашу же обыденную жизнь сознанию.

— Точно так же революция развертывает картину власти. Как человек верующий иногда теряет веру, ознакомившись с тайнами монастыря, так простолюдин, на первых порах став лицом к лицу к власти, потерял спокойствие.

— История осознания простолюдином войны и революции как эволюция представления о враге: 1) Немец — враг (отечество), 2) Немец превращается во **внутреннего** немца: душат шпионов, 3) Внутренний немец-помещик (Вильгельм прилетел на аэроплане к такому-то помещику и забрал планы), 4) Внутренний немец продал Москву и Петроград (письмо с фронта), 5) Внутренний немец — буржуазия (начало революции), 6) В поисках внутреннего немца (врага) дошли до середняка, и тут оторопь: я, во мне самом внутренний немец (за обедом у крестьянина: «А он, этот самый немец, с тобой за одним столом сидит, из одной чашки, одной ложкой ест. — Вот оно что!»).

Несмотря на все, мир прекрасный существует тут, на земле: движение мысли, совести, чувство красоты (творчество). И все это сохраняет в своей личности инженер и художник Михаил Алпатов, называя все «сказкой». Его задача консервативная: во время разгрома сохранить людям сказку. Он не ребенок (хлебнул всего), но как художник ребенок: услыхав от крестьян сказку, что будто бы все эти болота были когда-то золотой луговиной, он принимает это взаправду, работает как инженер и открывает

засоренное русло подземного источника. В этом искании стока изображается процесс творчества на фоне разгрома. Капризная, парадоксальная личность, взрослый Курымушка.

Его брат Николай — представит нам картину фронта перед революцией, бежит как дезертир. Естественный животный страх и во время революции. Над ним охотник, он заяц.

Брат Сергей. Служит в Петербурге в министерстве. Трагедия натурального меньшевика, который по честности делается большевиком (Семашко, Седов и др.).

Брат Александр, доктор, по легкомыслию обрадовался революции просто как обыватель, бросил семью и уехал с фельдшерицей охотиться. Он нужен для того, чтобы изобразить его жену, а жена для Лидии, сестры Алпатова: обе женщины как два необходимые мира.

Сюжет: открытие золотой луговины инженером Михаилом Алпатовым (мечтательная сторона социализма, в тончайших намеках, золотой туман, грядущее).

Действие, очень быстрое, дается чередование исторических событий, отражаемых в жизни семьи Алпатовых (именины со скандалом в духе времени, смерть матери накануне революции, все братья съезжаются и т. д.).

13 Февраля. Ходит, ноет, воображает, что расходится с женой, на самом же деле именно только теперь и сходится с ней, отливаясь в форму бесконечно терпеливого мужа. Так и все мы, переливаясь в уже вперед заготовленную для нас форму, — болеем.

Вчера внезапно осияло мою душу сознание, я вдруг понял свои **излишние** против других мучения от строя современной жизни: я до того слил свое существо с искусством слова, что только через это свое положение и смотрю на все. Между тем искусство это не очень даже и нужно в современной жизни. По наивности своей я хотел в этом писании дать всего себя, а боги считали твою талантливую болтовню ценной лишь для того, чтобы немного подвеселить быт. Я в очень глупом положении… Я считал себя с гордостью чуть ли не единственным писателем в Москве, а оказался единственным глупцом{129}.

14 Февраля. 10 утра — Оргбюро.

15 Февраля. Охотничий рассказ. Мороз. Воды налило в дупла. И пошло рвать! Соловей гонит до конца. Всякий беляк ходит по-разному, один, поднятый, через полминуты вернется на лежку, другой сделает огромный круг, но тоже вернется. Бывает,

возвращается на первый круг не совсем на то же место, а второй еще подальше и так движется спиралью, старый ходит большим кругом, молодой малым, пугают [непролазной] чащурой. Но, кроме всего, у каждого зайца есть еще что-нибудь такое свое, что никак на ходу это не подведешь. Однако есть для всех общее правило: непременно где-нибудь, как-нибудь да попадет опять на пройденный след. И охотник этим пользуется, он спешит становиться на след.

Но вот вышло нам совсем небывалое. Рано поутру мы подняли беляка, он сделал маленький круг и возвращался на лежку тропкой, спокойно бежал прямо на меня. Я наметил себе одно дерево, что, когда заяц к нему подбежит, я выстрелю. И вот почти в тот самый момент, как спускать мне курок, вдруг это самое дерево треснуло с такой силой звука, что мой ружейный выстрел вслед за этим треском показался, как из оловянного пистолетика. Заяц от треска дерева прыгнул в сторону, дробь легла сзади.

Это было в тот заутренний час перед восходом солнца, когда, если взялся мороз, то борется он, нарастая с такой силой, с такой быстротой, что с каждой минутой чувствуешь. Дерево трещит, наверно, оттого, что в дупле была вода непромерзшая и вдруг от сильного мороза, расширяясь, разорвала ствол. Но перед этим внезапным морозом были долгие дожди, все деревья были так пропитаны [дождевой] водой, и вдруг начало их везде рвать. Заяц, я видел, бросился от выстрела Мороза в осинник по прямой, но на пути его опять разорвало дерево, и он опять бросился. И начало, и начало рвать, как на позициях, и обезумевший заяц помчался дуром. Мы тоже, долго пробуя остановиться на следах, бросали весь план…

Соловей не отзывается. Замерзаем. Руки, как грабли. Гремит коробок. Елку обчистить сверху донизу (юрта, очаг). Мороз нашептывает: брось все, легче так жить… а нужно бороться. Или не нужно?

Я шел полем на станцию ночью и думал о французском Отечестве по Р. Роллану, что такому отечеству нет подобия в России. Когда началась война, то мы думали не о том, чтобы защищать свое отечество, а, скорее, найти его. Мы думали, что после этого мы наконец завоюем для своего народа право хоть на какую-нибудь мало-мальски сносную жизнь. И когда ударил гром, мы подумали: ну, довольно потрудился русский народ, еще немного — и у нас будет хорошо. Это потом, в февральские дни, когда мы очнулись вдруг без царя, просияло в самом воздухе: необычайным светом и счастьем озарились все люди, и стали

воистину братские дни. Но…

Мне стало больно вспоминать, до того, что я, верно, для того, чтобы заглушить боль, и звук этот свой собственный, как волчий вой, наполнил всего меня ужасом, я вдруг очнулся и увидел себя на пустынной снежной дороге, на небе луна, я один, совершенно один…

В церковь Гусек ходил только маленьким, после засовестился: одежонка уж очень плохенькая. Вот, думает, собьюсь, обзаведусь и буду, как люди. А пока что, когда люди в церковь, он на охоту. Неделя за неделей, год за годом — и вышло ему так, что не только образить себя мало-мальски в своем хозяйстве, а даже и в батраки пришлось наняться. Не пил [никогда ни капли], а крестьянин сразу поймет, из-за чего опустился Гусек: из-за бабы, конечно! Фиона была злющая, своенравная, и это с Гуська и с Фионы, кажется, Пушкин написал сказку о рыбаке и рыбке. Попади ей в руки синь-росинка — и сейчас на базар за баранками, за сахаром, да так вот и прошло все, как через решето.

Когда лошадь пала. Гусек не без мечты в батраки пошел. Сговорились так, что Гусек может на барском дворе кормить своего жеребенка до трех лет. Расчет у Гуська был верный: через три года со своим конем вернется и будет снова хозяином. Фиона тоже была при договоре, на этом порешили и записались в книгу. Это была обыкновенная заборная книга из мясной Багрова, на обложке ее был золотой бык и золотые слова: «Мясная Багрова с сыновьями». Других договоров не полагалось писать, записали в золотую книгу, и кончено.

И так пошло. В последний раз жеребенка продал перед самой революцией, последние промотал деньги Гусек [до копейки]. Его оставили сторожем…

18 Февраля. Москва.

Вернулся из Переславля. На улице имени Володарского в Переславле, известной раньше под кличкой Свистуха, хоронили коммунистку, убитую мужем, вчера в красном гробе со всеми партийными почестями отнесли в дом, а сегодня из дома под колокольный звон несут в церковь. Она забрала в свои руки имущество и грозилась даже все взять как партийная, а мужа выгнать. Муж был работяга, тихий человек, долго выносил постепенное свое обезличивание и наконец не выдержал: изрубил жену топором в куски. На Свистухе некоторые говорили — дурак! а некоторые — дурак, дурак, а бабам наука.

Бывает, древний город с остатками прекрасных памятников старины завлекает и заклинает…

Переславль-Залесский был оставлен железной дорогой на двадцать верст в стороне и оттого мало-помалу совершенно заглох. Многочисленные прекрасные памятники старины, благодаря отгниванию современности, выступили на фоне низменных мещанских строений необычайно ярко. Древние зодчие вообще работали так, что окошки справа и слева, двери, крупные украшения не приходились одно к одному, не складывались, и даже не было ни одного кирпича в орнаменте, чтобы сложился с другим кусок в кусок. Они работали, как природа, обличая (индивидуализируя) каждую мелочь. Время продолжило дело художников, работая желто-зелеными мхами на кирпичах, муравой на стенах и разным быльем. И так мало-помалу дело человеческих рук пришло в полное согласие с делом природы, так что строения на горах и прекрасное Плещеево озеро внизу сошлись к одному, как будто их создали друг для друга, — сказочный городок.

Все население края, крестьяне и рыбаки, очень бедны и, по их словам, работают на «продналог»{130}. Как особенно жестокий и нелепый случай взимания налога привели мне вот в каком примере. Один крестьянин не вносил налога. У него описали сани и свинью. После описи крестьянин рассудил так: они продадут задешево, лучше уж я сам продам. И, продав хорошо сани и свинью, уплатил налог и пени. Совсем было успокоился, как вдруг является комиссия: «Где сани, где свинья?» И узнав, что проданы, оштрафовали мужика.

Так вот этого никак не мог понять мужик, за что же его оштрафовали, он сделал с выгодой против государственной комиссии, уплатил и налог и себе осталось, — и его же оштрафовали.

Переезд
Лошади — 46 руб.
Квартира в Костине — 15 руб.
Куртка мне — 25 руб.
Лодка — 25 руб.

_____
111 руб.

«Огонек» — 140 руб.
Лидин — 40 руб.

«Красная Новь» — 100 руб.
«Журналист» — 200 руб.

_____
480 руб.

«Охотник» — 40 руб.

_____
520 руб.

Если все так, то 1-го Марта переедет она, я — 7-го. Лидин, Воронский, «Охотник», «Беднота».

20 Февраля. В 1 ч. Воронский, в 7 в. Зозуля. Заказное Смирнову.

21 Февраля. Как ни работай над собой, как ни бейся, умный человек, сильный человек, талантливый человек, все равно до конца дней твоих остается в тебе нечто такое, чем не ты заведуешь, а другой.

Начало очерка:
В толпе у оклеенного столба сказали:
— Навсегда!
Я поднял голову и прочел тему лекций:
— «Почему климат Москвы изменился навсегда».
В толпе радовались:
— Виноградные сады разведем.
И тому, что на юге мороз, тоже радовались:
— А там все померзло.
Что, вы думаете, это революционный народ? что он радуется сокрушению последних твердынь, влиянию тяги земной на себя для чисто человеческого творчества?
«Ничего подобного!» Это просто дешевый народ у столба собрался, зеваки, пустомели, готовые за виноградную веточку отдать все дивные сказки Мороза.

А я это берегу в себе, и, как французу нужно зачем-то его непонятное нам отечество, так мне нужен пейзаж. Мне нужно, чтобы все приходило вовремя. После морозов сретенских и ужасных февральских метелей пришла бы мартовская Авдотья-обсери проруби{131}, становилось бы вовремя жарко, налетало оводье и комарье около Акулины-задери хвосты, и так начался бы великий коровий зик, в июне непременно бы тоже был конский зик, и в Августе попы ходили за новью — поповый зик{132}.

Скажу чистосердечно: мне поп для молитвы совершенно не нужен, мне нужно только, чтобы он **ходил** вовремя, чтобы он с оводьем, зиком конским, коровьим давал бы исходную точку опоры моему немеряному воображению.

Как художник, я страшный разрушитель последних основ быта (это мой секрет, впрочем): я разрушаю пространство и говорю: «в некотором царстве», я разрушаю время и говорю: «при царе Горохе». Совершив такую ужасную операцию, я начинаю работать, как обыкновенный крестьянин-середняк, и учитывать хозяйственные ценности, как красный купец. Этим обыкновенным своим поведением я обманываю людей и увожу простаков в мир без климатов, без отечества, без времени и пространства.

— Освежились, очень освежились! — говорят они, прочитав мою сказку.

И платят мне гонорар.

Мне нужен быт не для быта, конечно, а для объяснения моего с массой, нет у них быта — нет у меня языка, и я на холостом ходу верчусь без ремня передаточного: занимаюсь стилизацией.

Если мороз исчезнет из России, непременно и быт исчезнет, заведут виноград, и кончено: едят виноград, сплевывают семечки. Вот почему я против изменения климата, и это мое сопротивление близорукие люди принимают за контрреволюцию, не представляя себе, что простым разрушением быта, без творчества новой фабулы не может быть никакой революции.

<На полях:> (Василий Федоров. Наседкин к Муратовой (Евгения Владимировна). Микитов — почтовая станция Бобыново Смоленской губернии. Кислово.)

22 Февраля. Обрадовался предложению писать о кооперации в «Красной Нови» (125 р.!) и в «Земля и город» (50 р. за 5000 букв — по копейке за букву!) — Бог знает как, а как доходит до дела — раб я, опять раб!

И в моей жизни, человека, добывающего средства существования придумкой, есть своя рабочая теория, без которой я бы не мог заниматься своей профессией: в своем деле я использую рабочую ценность мечты о личной свободе. И само собой это не умственно выходит, а из натуры и вопреки всей окружающей меня деревенской действительности.

Когда я на рассвете выхожу на крыльцо посмотреть, в каком виде является новый день, — это очень важное дело в начале дня моей работы, и я стою на крыльце важно. В это же самое время выходит на свое крыльцо одна беднейшая в деревне женщина Наташа и начинает молиться очень усердно, кланяясь на все четыре стороны: у Наташи это своя какая-то, необходимая ей и

едва улавливаемая моим чувством, рабочая теория. Помолившись Богу очень усердно, она идет к колодцу и очень часто упускает ведро. Тогда слышно частое повторение слова «черт», и это уж на весь день; больше этой замученной женщины в деревне никто не ругается, черт преследует ее весь день и до глубокой ночи. В одну хорошую минуту она мне прямо сказала:

— Если бы не это слово, я по своей работе давно бы в святые попала.

23 Февраля. Родство: [обращение] к Энгельгардту.

Я думал об этом в вагоне один, и всегда я знаю, если о чем-нибудь думаю, то [это мне и посылается].

Мне случилось попасть в такой вагон, где не было ни одного человека.

— Какая благодать! — сказал вошедший другой после меня.

И потонул вместе со мной в тени, бросаемой от единственной свечи спинками пустых сидений.

— Какая прелесть, — сказал новый пассажир и крикнул на платформу: — Идите, идите скорее, вот благодать: ни одного человека!

Огонек свечи сверху из-за стены светил, как лампада, и русский человек, всегда готовый к жестокому бою за место в вагоне, умиленно сказал:

— Ну, какая благодать, — и нет никого, и тепло, и огонек, будто лампадочка.

— Тебе все лампадочки хочется, — смеется ему неожиданно голос сверху, — у вас это никак из головы не вышибешь.

Сидящий внизу опешил от неожиданности и, не желая расставаться со своим чувством умиления, спросил:

— Во что же ты веришь?

— Какая прелесть, какая благодать, ни одного человека! Идите, идите сюда! — кричал человек с мешком.

Сразу хлынула масса народу, [и тут] начался бой за место. Перед самым отходом поезда, за минуту затихло, дожидаясь третьего звонка, паровоз свистнул, сосед мой внизу снял шапку и перекрестился.

— Во что же ты веришь?

— Я считаю, — сказал человек на верхней полке, — все это обман для дураков: опиум.

— Во что же ты веришь? — спросил нижний.

Сверху голос отчеканил:

— Я верю в материальную жисть!

В этот момент поезд тронулся, и за грохотом мне не было

слышно религиозного спора, в котором приняли участие многие.

К остановке вагона, когда опять можно было слушать, говорил один мужичок, в какой-то непонятной мне связи с религиозным началом спора он рассказывал о своем хозяйстве, что вот приехала комиссия и описала у него сани и свинью.

— Я так рассудил, — сказал крестьянин, — ежели они это продавать будут, то пойдет за бесценок и свинья, и сани. А покупатель подвернулся хороший, я продал, уплатил налог и пени и малая толика еще себе осталась. Правильно я поступил?

— Правильно!

— Вот и я так думаю. А они явились ко мне после этого, спрашивают» где сани, где свинья. Я им квитанцию. Думал благодарствие получить, а они мне штраф. Кому тут жаловаться? Так вы говорите, чтобы без Бога жить, видите, как без Бога-то люди. (Соображение мое о невозможности *<3 нрзб.>*.)

Не может быть, — сказал я, — закон, правда, требует, чтобы описанные вещи ты не продавал, но раз ты заплатил… так у нас не бывает, у тебя, наверно, в комиссии враг.

— Кум, — ответил крестьянин.

Поезд опять тронулся. И после того как-то все вдруг сошлись, и те, кто за Бога ратовал и кто за материальную жизнь — и за божеский закон и за человеческий, найден был вдруг как-то als Realismus[13]: кум.

Крестьянская рабочая теория почти совпадает с прагматизмом, с тем учением, в котором всякая идея, и в том числе идея Бога, испытывается в работе, но, конечно, тут есть и еще что-то свое.

В деревне очень немного таких людей, у которых есть свой загад. В нашей деревне был такой один только Денис, и по Денису все делали. Денис подымается сеять — за ним все, Денис сено косить — все за Денисом. Средний крестьянин отлично умеет работать, но не может располагаться на силу своего ума, на свой загад: за старым Денисом у него стоит еще [со своим опытом] старший хозяин. Бог. И средний хозяин — без Бога не до порога.

Я вижу ясно черты этого старого хозяина, снисходительно оглядывающего проницательным взглядом и жалкого попика, и сельского шкраба, и «оратора».

Вы думаете, его бабы уговаривают попа непременно присесть на лавочку из почтения к нему, из любезности? Из суеверия, практического расчета: «поп не сядет, куры на гнезда не сядут».

Без пользы он ни на что не смотрит, и даже Христос — Разум — в конце концов, для него вроде бы адвокат, ходячий писарь,

живое существо вроде дурачка: не сеет, не веет, питается, растирая колосья в ладонях…

И он не кулак — нет! Кулак не любит ни земли, ни хозяйства, ни труда, только деньги. Он не скажет, как кулак: дураков работа любит. Он работает круглый год, а когда придет годовой праздник, последние рубли оставит. И тут, только тут, в эти престольные дни, у него начинается расхождение с учением прагматиков: всё… куму!

Раньше до революции я с большой страстью следил за тем движением интеллигенции, которое называлось богоискательством. Принимая в себя на проверку идеи, я глазами смотрел в народ, и вот из народа перед моими глазами проходили сотни пророков, тысячи, положившие за него свою жизнь.

Куда все это делось? Впрочем, все это есть и теперь, но [из] одежды на базаре деревенская баба вынула пропитанный потом кусок черного хлеба, обнажая [при этом] старую грудь. Кусочек [кусочек этого черного хлеба], отдавали за него узелок с солью. Кусочек прокаженного хлеба оказался необычайно вкусен и ароматен. С тех пор я почувствовал необходимость сократить свой разнообразный интерес к чужой жизни, и все просто так куда-то совершенно исчезло. Бывшее и раньше у меня чувство брезгливости к бытовым проявлениям жречества дошло до того, что я возвращаюсь домой с пустыми ведрами, если замечаю нашего дьякона, идущего за водой к тому же колодцу…

И по правде скажу, никак я не могу понять, для чего существует антирелигиозная пропаганда. Я понимаю забаву наверху, но крестьяне, сделавшие себе под шумок из религии какую-то своеобразную крестьянскую рабочую теорию, готовы с ней расстаться во всякий момент, когда им дадут за то что-нибудь полезного в хозяйстве. Сколько баб возмущается этими безбожниками: куры дохнут, бородавки пошли у коров на вымени — все из-за этих антихристов. А какой-нибудь фельдшер, смазавший вымя простой мазью без всяких проповедей, в один раз уничтожает колдуна, живущего исключительно заговором от бородавок.

Смотрю на провинциальных учителей, редко встречаю дельного человека, то зайчиком сидит, прислушивается, то лисичкой проходит…

Союз кооператоров. Чахоточные соединились:

1) Райотделение (районное отделение М.С.П.О.): объединяло низовые деревенские кооперативы, которые им были должны.

Была и пожива, и неплохая — не в одной, так другой деревне. Универсальный магазин.

2) Райкустпромсоюз (районный кустарный промышленный союз) — его возглавлял Москопромсоюз, и все заказы через него, договор не выполнили (заказ не выполнен). Москопромсоюз присылал приемщика на место, который тянул приемку, придираясь к каждому пустяку: в силу этого заказ не был выполнен (неофициально).

3) Кустарное промысловое товарищество (первичный кооператив) брал заказы от Райкустпромсоюза: материалы очень плохие, страшно придирались, дешево платил и т. д.

4) Кредитсоюз — он недолго существовал, сразу развращенные деятели [появились] сельскохозяйств. *<1 нрзб.>* набрав товаров (вырос из желтого союза): они там ногами били.

Епо отстояло себя…

Кредитное товарищество…

Старый кооператор — Логга и Маховик, между ними Чернов — делец, не форсун, кооператор, но балда, а хороший: сам себе не рад… ни за что не отвечает, наделает и уйдет.

Епо: культурный уголок — и трезвая комната исключительно для порядочных людей (все, кому пить надо, за углом).

Деревенский кооператив: комсомол вздумал строить то народный дом, то пожарный сарай, а платить по векселям нечего…

Артель в Тарусове — хорошая артель… помимо союза с МСПО.

Ученичество (Отдел труда, Морозов: постановление Совета Народных Комиссаров — [учителя] зарегистрировали договор с учениками).

Кредит:

Интеграл сверху;

Интеграл снизу.

26 Февраля. 1 Марта в воскресенье выезжаю в Москву.

5 Апреля Павловна едет в Москву.

1 месяц 5 дней.

Остается не плачено за квартиру в Костине до 15 М. - 24 р.

Леве пальто — 25 р.

Пете (не дано) -15 р.

Молоко — 6,50

Прасковье —10 р.

Волкову

На месяц: 100 руб.

3 пуда овса — 5 р. 70 к.
1 мешок картошки — 1 р. 50 к.
Молоко (не дано) — 10 р.
Чай — сахар — 30 р.

_____
47 р. 20 к.

Леве — 30 руб.
Квартира — 24 р.
Дорога — 10 в Переславль
Богор. — 50 р.

_____
114 р.

Дрова 15 р.

_____
62 р. 20 к.

Всего — 214 р.
Есть — 100 р.
Есть — 75 р.
Есть — 39 в карм.

_____
300 руб.

Книжка — 150 р.
«Кр. Новь» — 125 р.
«Земля и Город» — 100 р.
«Огонек» — 40 р.
«Охотник» — 40 р.

_____
355 р.

— 118.70 коп.
25

_____
93 р. 70 коп.

Найти: Архары.

Сущность желанной смычки[133] состоит, конечно, не в том, что, как представлено на плакате, одна старуха пожимает руку

другой. И в малом виде, если представить, опять-таки не в том, что какая-нибудь артель кустарей, организовавшись, смыкается с каким-нибудь подгнивающим союзом союзов в ближайшем местечке. Гораздо больше будет смычки, если какая-нибудь артель, уловив хорошую идею и недостаток большого примера, станет осуществлять ту же самую идею как выгодное, как свое собственное и потому живое и веселое дело и пойдет практически своим собственным путем. В том-то и есть сущность смычки, что известное государственное начинание, представляющееся обывателю как дело богов, предстанет вдруг как план для собственного личного дела.

Я понимаю, например, очень хорошо драму Михаила Петровича, он как честный человек вполне отдан государственному строительству и служит аппарату всем сердцем и всем умом, и он в этом суждении до того уж отказался от личной жизни, что ему теперь уже и не вспомнить себя самого отдельно. Между тем множество людей, обывателей, считают себя, свой дом, свое дело — одним, а свое отношение к кооперативу Михаила Петровича — другим делом. Это началось еще в кружках около 1905 года, когда он бегал всюду, мучился, выбирал себе вождя между Михайловским, Плехановым и Лениным. И когда остановился, то пошел прямым путем служения, достигнув в годы революции значения 1-го вождя в своем местечке.

В год недоверия к местным [трудовым] людям, когда был признан корректив [государства], Михаил Петрович слетел и попал в кооперацию. Привыкнув к государственной работе, он и тут, как маховик, завертелся. Маленькое дело, строительство шло по себе ему… его личное дело быть маховиком, но вот другое: людей нет, нечего приводить в движение.

Ремесленников ближайших к базару деревень обыкновенно называют анархистами, и кооператоры говорят, что их невозможно организовать в артели. Их, впрочем, можно назвать и монархистами в том смысле, что каждый из них является монархом в своем кругу. Будем, однако, лучше их все-таки называть анархистами, считая, что каждая такая маленькая анархия есть обломок великой монархии…

Чем дальше от базара, чем глуше деревня и, главное, чем хуже дорога, тем, оказывается, легче кооперировать. Непролазная дорога есть самое первое условие успеха устройства артели. Этот порядок находит себе простое объяснение в периоде вещей: вместо того, чтобы ехать по ужасной дороге и каждому на отдельной подводе со своей корзиной башмаков, гораздо проще

сложить все корзины в одну телегу и поручить одному лицу сбыть их.

Когда я иду на базар и вижу кустарей, продающих свои башмаки, то я вижу людей на своем месте, у себя на базаре, живых, свободно беседующих, остроумных, ругательных, всяких. И после базара в чайной Епо те же самые люди пьют чай или пиво, читают газеты: они у себя. Но когда я вижу кустаря в учреждении, называемом «Интеграл» (союз кооперативов), то, наблюдая, как он жмется, как бродит тускло и безнадежно от [начальника к начальнику], то этот человек в [учреждении] среди людей, ему чуждых, он не у себя.

Говорят, что умный нужен только, чтобы купить, а продать может и дурак (в Епо — покупает Чернов, продает Попов).

— Этого попа я сам же и расстригал. Ему хоть плюй в глаза — там кожицы выпросит, там крупы, там кредита на 45 дней. Кредитное товарищество дает деньги, как их извлечь? не продавать же лошадь и корову. Вот и выдумали работой брать: дадут товару сделать башмаки. Так выбирают деньги: попово дело.

— Все ли такие кооператоры?

— Все, только нет настоящего.

— Но где же настоящий, есть он?

— Есть, только не у нас, это надо всем ехать…

Все было хорошо в Епо: и чайная, и колбасная, и булочная. Вдруг в городе открылся ларек: Госрозница, и там все дешевое, а потом ларек «Лесная поляна», где мануфактура дешевле на 30 % …

Обвинения в нечестности слишком обыкновенны со стороны самых маленьких людей, которые мерят больших людей на свой аршин. Они не понимают, что, например, автомобиль полагается при моей высшей должности, требующей скорого перемещения, что квартира, где мне нужно принимать людей, — необходима мне и одежда более изящная, чтобы представительствовать. Мне это сама должность дает, а они думают…

2 Марта. Сегодня утром еду в Москву и совсем из Костина — в Переславль. За неделю до Благовещения, т. е. (18 Марта) 2 Апреля надо быть уж непременно в Переславле.

Существование СССР, может быть, и действительно есть

самый важный факт на земном шаре, но дни, недели, месяцы большинства русских граждан наполнены заботой просто о существовании с его обыкновенными злобами и радостями. Крестьянин глубоко убежден, что весь СССР сидит на его шее, что работает он один, а СССР — пишет.

5 Марта. Поставлен рекорд: в три недели 1000 руб. Есть 200 руб. Будет: Госиздат — 200, «Красная Новь» — 125, «Огонек» («Архары») — 40; изнасиловать «Огонек» на «Длинное Ухо» — 200, М.С.П.О. поработать: 100 р. Откуда же 135?

Не говори, что ты честный, то есть, выполняя свое дело, геройски отстаивая независимость писания, — что ты не такой, как другие, — раз тебе хочется жить и ты живешь и получаешь деньги в этих условиях, в душе своей ты уже продался (прелюбодействуешь).

10 Марта. Вчера вечером выступление Орешина.
Если реализовать 1000 руб.
Переезд — в месяц 150 р.

13 Марта. 2-я неделя поста.
Забытая мысль моя: сущность прогресса состоит в том, что утраченное нами мы восстанавливаем посредством разума, так некогда мы летали, как птицы, а теперь летаем, как люди, на аэропланах.
План работ на лето до октября.
1) Приготовить книгу: «Письма из деревни»[{134}].
2) —»— книгу «Охотничьи рассказы».
3) —»— для маленьких детей.
4) Двинуть вперед роман.
5) Изучать Переславль и налаживать биостанцию.

Сегодня: «Заря Востока» (деньги и обещать рассказ), Госиздат, «Красная Новь». Заказать одежду, купить белье. Баня. (½ 10-го — ½ 11 — одежда, 11 ч. — Госиздат, 12 — «Красная Новь», 1 ч. — «Заря».) Чистка сапог (банку). Покровский: календарь природы.
В виду: посещение (воскресенье) Соколова, Сухотина (Исторический музей — о Переславле), букинистов около Ильинки (свои книги и Соболева), Огнева и Формозова, Огнев, Житкин.

14 Марта. Посетили с Рудневым биостанцию (автобус 1 от Страстного до Ярославского вокзала + № 4 до Сокольнического

круга и № 20 до Ростокинского проезда, можно пройти по Театральной площади и там прямо с № 4-м).

<На полях:> Купить: Покровский «Календарь природы».
Всесвятский «Сокольничьи экскурсии».
Феноменов «Новое исследование деревни».

Организовано 10 000 юных натуралистов. Массовое исследование (всех птиц сразу — тема: дятел). Одна кузница не работает, оказалось, дятел убит. Лисятник (песцы). Натуралисты и политика. Кусочек тайги. 2000 окольцованных птиц (синица на Трубе с кольцом 3 р.). Руднев сказал: «Как должно быть хорошо здесь весной!» Пелагея Ивановна не знала, что ответить, ей этот голос был странным, непонятным: «Почему весной?»

15 Марта. Сюжет рассказа о птицах и человеке во время войны. Выморочный дом (семья красноармейца все сожгла, постучался, хозяин в горячке, легла к нему греться). К зиме снегири прилетели к жилью, но оно было холодное.

Письма из города

Я так полагаю, что из деревни в город надо писать о недостатках, чтобы обращали внимание и помогали бедным людям в беде, а из города надо писать о хорошем, чтобы деревенский, попав в город, сразу попал бы на след, где ему искать для себя полезное. Кто помнит старое время и безграмотные вывески и сейчас поедет в Москву, — поразится, до чего везде стало хорошо, грамотные вывески и сколько их теперь и какие иногда художественные.

Мне так часто приходится ездить из самого глухого деревенского места в самый оживленный наш город, что я совершенно утратил чувство городской поэзии, присущее многим поэтам. Какая там поэзия, если из кустов выехал на электрическом трамвае, промчался, посмотрел, и опять те же кусты.

Перевели «Трубу» на Миусовскую площадь. Мы были сегодня там с Рудневым. День был морозный, солнечный. Руднев сказал:

— Смотрите, ястреб гонится за голубем.

Я увидел погоню в тот момент, когда белый голубь взмыл вверх, и тут ястреб ударил его так, что перья посыпались. «А!» — враз гакнули охотники. После короткой возни в воздухе ястреб с белым голубем полетел. «Повел!» — крикнули в толпе. И еще

крикнули с опаской: «Воромны, воромны!» Снизу к ястребу бросились штук пять ворон отбивать голубя. Ястреб взмыл и повернул прямо на нас через площадь. Когда он поравнялся с нами, масса людей захлопала ему. И потом ястреб спустился на недостроенную церковь и там, где-то в кирпичах, невидимый, занялся едой: все охотники, сытые зрелищем, очень сочувствовали ястребу, и не было ни одного, кто пожалел бы голубя.

16 Марта. 12 час. — «Заря Востока», к 1 ч. дня — «Красная Новь», в 3 обед.

Думаю о: парт- и спец-человеках.

Сюжет: Борис, умиротворенный женой: крестик надела.

Тема.

Трагедия современного идейного материалиста состоит в том, что инстинктивный материализм жизни оказывается подвижнее идейного, и материалист идейный в отношении жизни становится настоящим идеалистом.

Материалы.

У меня нет ни времени, ни места, чтобы свой исследовательский опыт и мысли развить здесь в форме увлекательного очерка, картины быта. Вы сделаете это сами по материалам, которые я дам.

Тема.

Материалы.

Вы можете в любом месте найти эти материалы, углубляясь в изучение событий революции на месте — и в современном производстве края и в быте.

Новый быт удивительно резко выступает, когда исходит из старого. Возьмите одного из самых маленьких администраторов, прежнего старшину и современного предволисполкома. Старшина известно кто был: сапоги бутылками, гость на именинах у помещика за вторым столом и т. д. Теперь хороший предволисполкома, поговорите с ним, это государственный человек огромного размаха: начиная от руководства маленьким местным кооперативом, кончая речью при встрече шефа, в которой захватывается наш интерес в международном значении, — прямо какой-то Гладстон!

Но местное население, знающее своего Гладстона просто башмачником, никак не может оценить этот размах и постоянно упрекает своего Гладстона — кооператора и государственного

деятеля, что сам он больше уже не может шить башмаки и что если его отделить от жалованья и посадить за это их дело, то он помрет с голоду.

Несмотря на всю тупость этого упрека, в известном смысле это и серьезно.

И тут скрывается какая-то глубокая трагедия государственного человека, что, отвыкая от своего ремесла, забывая его, он делается отвлеченным гос-человеком на жалованье; в противоположность спец-человеку гос-человек ходит с портфелем, спец-человек, согнувшись, весь день шьет башмаки.

<На полях:> 30 р. 4 р. чай, сахар
7 р. 20 к. булка
5 р. сливочное масло
1 р. керосин
2 р. собаке корм
10 р. дорога детям

_____
59 р. 20 к.

17 Марта. Ефросинья Павловна приедет в понедельник на 5-й неделе (1 Апреля).

Детям 60 рублей
Ефросинье на кр. в Москве 20 р.
Квартира 24 р.
Пете 15 р.
<1 нрзб.> 10 р.

_____
129 р.

19 Марта. Ездил в Сокольники на биостанцию, занимались малярийным комаром. Метод готовых знаний и исследовательский.

20 Марта. Хоть бы минутку побыть с самим собой и собраться с силами — вот это нужно человеку, иначе он вывертывается весь наружу и в своих делах не узнает себя самого.

Недели три тому назад в Москве было первое начало весны, и так это бывает в городе ярко, если идти в воскресенье, когда мало на улице людей, в солнечный день по улице возле самих домов, от которых веет теплом; капели из желобов, голубь пересекает улицу, сверкая подкрыльями серебра в золотом луче.

22 Марта. Со́роки{135}. Раньше, когда я приезжал в город и

говорил о темноте деревни, о дурном воспитании молодежи, Т. угрюмо молчал, сомневаясь в соответствии моих настроений с делом жизни, теперь он рвет и мечет, а я всячески отстаиваю свою исключительно трудную позицию ободрения.

Город и деревня. Москва, Почтамт, почтовый ящик 772. Редакция журнала «Город и деревня».

План дел. Дело Смирнова (в субботу).

К Коноплянцеву об охране природы.

Госиздат: Евдокимов.

Есть 250 руб.

«Кр. Н.» 125 р.

«Гор. и дер.» 100

_____

475 руб.

Федор Анисимович Блохин. «Город и деревня», 3–03–43, Лидин — 5–18–74.

23 Марта. Последняя (4-я) неделя в Москве. План дел.

Ружье взять — среда 12 ч. — 5 р. + «Колос» веч.

Для ружья: 1 ф. пороху и проч.

Разборка рукописей.

«Огонек» — понедельник 1 ч. дня (Позвонить Казанскому).

Вашенцов — в пятницу.

Письма: Горькому, Ремизову, Кожуховой, Романову, Леве.

Зайти к Ростовцевым (о Кожуховой).

«Красная Новь» — издательство «Радуга»?

Имя Евдокимова?

«Заря Востока» (пятница).

Паспорт.

К очерку «Сокольники»

Раньше я думал о внешней природе по детским сказкам, по разным легендам о борьбе человека во времена пещерного медведя; теперь я думаю, что природа остается могучей только в отношении нашей личности, но то, что мы обыкновенно называем природой, — леса, озера, реки — все это слабо, как ребенок, и умоляет доброго человека о защите и охране ее от человека-зверя.

24 Марта.

Ружье взять (среда), сапоги или башмаки?
Фотограф ½ 1-го (среда).
«Колос» — книга (среда).
Свидетельство охотничье и припасы
Дозвониться в «Охотник» (вторник).
Дело Смирнова (суббота).
«Огонек» (вторник).
Вашенцов (пятница).
Письма: Горькому, Ремизову, Романову, Кожуховой, Леве. Дело Кожуховой (к Ростов., 8 ч. вечера).
«Красная Новь» (суббота, 11 дня) (Илья Евдокимович).
«Заря Востока» (пятница). Паспорт (вторник).
Подготовка материала для статьи в «Красную Новь» (выслать на Страстной).
Сегодня: паспорт 12 час., звонок Лидину из «Огонька», «Огонек» около часу.

— Почему это советская власть становится лицом то к городу, то к деревне?
— Потому что она ни к селу, ни к городу.
— Что у К. между ногами?
— Уголок Ленина. Из уст в уста.

25 Марта. Соболеву поручение.
Бритвы 10 черв.
Ружье 12 черв.
Фотограф ½ 1-го.
«Огонек» 1 черв.
«Охотник» 5 черв.
Милиция 6 черв.

26 Марта.
«Заря Востока» — 11 час.
«Колос» — 2.
В 1 ч.: обед с Владимиром Михайловичем.
Наркомзем: 3 час.
Ружье — 10 час.
«Огонек».
Вашенцов.

27 Марта. «Огонек», Вашенцов. Обед.

28 Марта. Сегодня конец делам, завтра письма и разборка рукописей, в понедельник последние закупки.

«Красная Новь», Нарпрос, «Охотник»{136}
(купить порох).

29 Марта. Случай на охоте, изображенный в моем рассказе «Анчар», мог и не быть в жизни, но он был в Елецком охотничьем кружке и рассказан был мне десять лет тому назад одним из членов кружка, который называл убийцу собаки «Сережей» и, не желая быть нескромным, прибавлял: «Охотника этого вы все знаете». Это «все знаете», видимо, и увлекло Ваше внимание в сторону известнейшего ценного охотника Сергея Ал. Бутурлина. Советую Вам купить его «Настольную книгу охотника», в которой есть много добрых советов осторожно обращаться с оружием на охоте.

[Переславль-Залесский]

1 Апреля. Сегодня в 5 утра приехал в Переславль.

День был солнечный, тепло. Жуки — музейные вредители — переползли на внутренние стены. В листве под деревьями, подпирая тонкою ножкой оживающее большое тело, начинали оживать разные жуки.

Сергей Сергеевич 30 лет занимается жуками, а Владимир Михайлович — осиновым листом. Вопрос: «Как делаются специалистами?»

Я заманен был в исследование женской ноги манекеном ее, одетым в розовый чулок и выставленным на витрине. И женщины соблазняют, показывая не всю себя голой, а только часть, которая понуждает воображение дополнить все. Женщина цельная, голая, не должна соблазнять: она есть данное, может быть, и прекрасное, но в чем я как творец не заинтересован. Так вот и всякое творчество исходит из части (специализация).

Нас интересует место в трамвае, но сам трамвай — Бог с ним! Какое наше дело до самого трамвая? И место в трамвае нам интересно, чтобы только проехать, скажем, от Лубянской площади до Страстной, я борюсь, толкаюсь, лезу, давя ноги, только чтобы доехать, но самое место — Бог с ним! оно, конечно, принадлежит всем.

И так Солнце, Земля и Бог — все эти идеи только дополнительные круги к светящемуся сантиметру моей личной кривизны и важны мне как угад траектории моей самости. Сами по себе и Солнце, и Земля, и Бог, великие комплексы материи и духа, — пусты, как скорлупа выеденного яйца.

Вот почему человек (Фауст) вдруг соблазняется Маргаритой, или жуком, или ногой.

Сегодня весь день мы провели за стеной древнего монастыря, большого, способного вместить тысячи людей города, расположенного внизу на берегу озера. И было время, когда они все сюда и вбирались. Теперь внутри стен пусто, сняты языки с колоколов; возле архиерейского пруда, соответствующего локоть в локоть размерам Ноева Ковчега, бродят толстые две козы заведующего историческим музеем Михаила Ивановича Смирнова и с ними бегает дичающая девочка энтомолога Сергея Сергеевича, который попробовал заниматься торговлей, разорился, испортил себе репутацию и — обиженный как бывший торговец большой платой за ученье — взял девочку из школы.

С колокольни была видна вся жизнь за стеной: озеро, еще замерзшее, но отделенное от земли кольцом голубых заберегов.

Я думал о старом и новом. Я думал, отчего новое мне бывает более ясно, если я смотрю на старое, и почему ничего не вижу, кроме мертвого-старого, если смотрю только на новое. Верно, тут действуют законы зрительного расстояния: глядя от старого к новому, у меня является перспектива, а от нового куда же мне еще дальше глядеть?

1) Сергей Сергеевич 30 лет работал над жуками и попробовал торговлей и попал под закон о налоге, направленный на спекулянтов (те, кто бросил торговлю, вдвойне). Так что он теперь изготовляет коллекцию жуков.

2) Матриархат (собрать материалы о Свистуше).

3) «Сергей Сергеевич, — спросил я, — а есть у вас любимый жук?»

Оказалось, жужелица.

2 Апреля. Птицы, отдыхая на стене, оставляли семена склюнутых ими ягод, ветер обсевал летучками разных деревьев, и теперь на стене растет и береза, и рябина, и можжевельник, и земляника.

Матриархат на Свистуше.

Иван Сергеевич Волков взял жену у Катиных, и теперь никто на Свистуше не называет его Волков, а всегда Катин. То же было с Кедровым: взял у Бабочкиных девицу и стал Бабочкин. Еще Афанасьев переделался в Сапожникова, и немало других в обычном уличном пользовании именами стали называться на Свистуше по женам. В семейном быту кое-что и другое оставалось еще от времен матриархата, так, например, за обыкновение считается на Свистуше, чтобы детей одевала и обувала мать на свои какие-нибудь подпольные средства.

Теперь Свистуша называется улицей Володарского, и новые

права женщин, новый закон о материнстве сошлись с чудесно уцелевшим матриархатом, как голова с хвостом.

Дело об убийстве Авдотьи на Свистуше.

Он — 12 лет жизни с ней отрады часу не имел. Он человек трезвого состояния. Она — гражданка вольная, ветродуй, занялась симпатичностью других людей (мужей), он же доит коров. За время войны она поставила дом. Грозилась увести ту самую корову, которую он 5 лет доил. Ее выбрали членом волисполкома, она ушла на фабрику, дети остаются необмытые, необшитые.

— Я у власти, я тебя выгоню.

Сказал ей:

— Посмотри там, с коровой что-то деется.

Она пошла, он за ней с лампой. Она спрашивает:

— Отчего у тебя лампа в руке играет?

Он отвечает:

— Озяб.

Кровь кипит, как кипяток, и всюду ее голос и она сама. Забрался на печь, и она в дверь. Взял два шеста, хочет припереть дверь — один шест короток, другой долог…

А в час дня он обещал соседке зарезать поросенка, является она:

— Иван!

И тут же невесты явились ему. (5 общественных дам — приговоры.)

3 Апреля. Щучий бой на Переславском озере, говорят, начнется через неделю (братья Комиссаровы).

Петр, завидев издали Переславское озеро, будто бы поехал верхом прямо к нему несжатыми полями. Вот одна старуха, зажиная рожь около деревни Веськово, и говорит ему:

— Тут люди работали, трудились, а ты топчешь.

Петр будто бы наградил эту деревню.

Петр усмирял озеро корабельным канатом и так, что и теперь на озере видны полосы.

Архип Геннадиевич Кратинский (от холеры), Амвросий Зертис-Каменский (горнее место).

[В] 1757-м церковь Успенская.

Пречистая на Горице. Елизаветинское барокко (все голубое), Екатерининский иконостас (золото). Горнее место (единственное в России). «Песочек берут?» Какой-то архимандрит благочестивой жизни умер от холеры и погребен под храмом, на полу место могилы обнесено решеткой, и тут же за решеткой есть бугорок —

это земля из-под храма, через пол выпирает песочек со святой могилы. Конечно, песочек покрыт, и монах сам достает из-под плиты горстью. Теперь каждый может плиту открыть и посмотреть, что песочек насыпан просто в жестяную коробку от карамели и даже надпись сохранилась: «Эйнем-смесь».

Посетителям, много понимающим в искусстве, Михаил Иванович показывает Елизаветинское барокко, и они часами стоят, любуясь игрой света на голубых колоннах и пухленьких ангелах, и этого хватает; если же посетители мало понимают, то Михаил Иванович их подвеселит, показав коробку «Эйнем-смесь».

Было однажды: один посетитель строгий и неподкупный: он презирал Екатерининское и Елизаветинское искусство и не улыбнулся на поповскую хитрость с карамелью. Что делать? Михаил Иванович стал блуждать глазами по стенам, хватаясь хоть за что-нибудь, только бы развлечь мрачного посетителя. И вдруг его глаз упал на фреску богатого и Лазаря: богатый толстый человек кипел в аду, а Лазарь-бедняк был высоко горем, в лоне Авраамовом. Мрачному посетителю Михаил Иванович сказал:

— Это буржуй кипит, а наверху пролетарий.

Тогда мрачный посетитель вдруг весь просиял и остался доволен Музеем.

4 Апреля. С утра был день светлый, утренник скоро растаял, и к полудню утомительно было ходить в ватном пальто. Сильно кричали за стеной чайки. Грачи выгоняли последних серых помещиков из своих гнезд — ворон и воробьев. К вечеру они, видно, с этим покончили, и у них начался спор и крик между собой за гнезда, совсем как у мужиков из-за земли, когда они выгнали помещиков. Теплый пошел к вечеру дождик, и солнце садилось огромным красным несветящим кругом.

Ехал на передке, оглобли кончались крюками, на крюки задней стенкой опирался ящик и в ящике этом сидел мужик: умный мужик, и себе хорошо, и лошадь не убьет по весенней дороге.

В этом году всю весну света мне пришлось провести в Москве, добывать деньги, чтобы к 1-му Апреля (за неделю до Благовещения) уехать к озеру города Переславль-Залесский и там уже месяца два не думать о деньгах.

Начинается весна в городе, и даже не в городе простом, а в столице, заметная в просветах голубого неба между громадами домов, тут, бывает, голубь перелетит и в луче солнца сверкнет

серебряными подкрыльями, глянешь на небо — и обрадуешься световому половодью: в это время весны света там, на небе, идет свой световой ледоход. А около стен домов уже тепленько, и снег у этого края тротуара возле стен подтаивает. В воскресенье, когда мало бывает людей, хорошо возле этих теплых стен идти себе без дела, держась только красной стороны.

Я бывал и в это время в деревне, и там заметно сверкает по-весеннему снег, и сосны, освещенные новым солнцем, зеленеют, молодеют, но куда до города! Город настоящий отец весны, — это он ее задумывает, в городе рождается у человека страстная мечта о свободе и воля к далеким странствованиям, и тут потом, когда вернулся, в огромных книгохранилищах лежит на помощь опыт всех людей, кто когда-либо дерзнул открывать новые страны.

Так, может быть, для многих и тюрьма была школой настоящего чувства свободы{137}, подкрепленного непременно упражнением воли и разума.

<*На полях:*> Весна света (до прилета птиц — грачей и др.). Весна воды (прилет птиц от ½ Марта до ½ Апреля).

5 Апреля. У всякого писателя непременно есть свой Stultus[14], который возникает из-за доверия к тем, кто хвалит, и естественного пренебрежения к недоброжелателям. Перечитав недавно свои рассказы, когда-то восхваленные Разумником, и найдя их довольно слабыми, я был очень пристыжен своим прежним самомнением и говорил себе: «Stultus!»

Одно дело бывает около себя самого, и хочется так его сработать, чтобы ни у кого так не было, и это дело было, как я-сам, единственный в мире, неповторимый ни в прошлом, ни в будущем. И вот, когда, делая так, вдруг окажется, что сам был не совсем сам, а подражал другим, то в этот светлый и тяжкий момент показывается лицо своего прошлого Stultus'a.

Но можно сосредоточиться на таком деле, чтобы только служить, забывая себя совершенно и считая венцом своих достижений «дело хорошее», точь-в-точь такое, как у других. В таком положении можно себя совершенно гарантировать от Stultus'a внешнего, уже осознать и принять внутри как неизбежное.

Сегодня у Михаила Ивановича возник Stultus, и, я думаю, вперед надо быть очень осторожным со своими краеведческими мечтами, так как нет ничего ужаснее, когда Stultus личного дела начинает дразнить Stultus'a дела общего.

Множество раз в своей жизни я оставался в дураках только потому, что, постигая не хуже самых умных людей положение

вещей, чувствовал, не смея это довести до своего разума и тут же принять соответствующее решение, отгоняя от себя «дурную мысль». Попробую в этот раз довести «дурную мысль» до разума. Хозяин обещал мне сдать дворец в аренду на годы, а когда я перебрался во дворец, говорит: «Не советую вам себя связывать». (Мать говорила: «перемена декорации», и еще она же сказала, когда брат Николай просил ее уступить моей семье дом: «Нельзя, усядутся».)

Странно, что даже революция не может вытравить из себя стремление «усесться» (кажется, что живешь «на тычке»).

7 Апреля. Благовещенье.

Вчера подул северный ветер, шел мокрый снег, за ночь стало все белое и с утра валит и валит снег.

Я перешел вчера на Ботик{138} (Павловна переехала третьеводни) и стал жить во дворце в роскошном уединении.

Совет. Один выскажет свое мнение, другому непременно надо сказать свое, третьего так и подмывает, четвертый ждет не дождется своего слова, и так они «думают».

В рыбацкую слободу шел я кочковатым лугом по берегу озера, прыгал с кочки на кочку. Валил мокрый снег. Верно, тут в кочках начали уж класться чайки, потому что кружились они надо мной и бросались сверху ко мне, обрезая путь перед самым носом и с таким криком, что даже невольно дергалась рука для защиты лица. «Так, — думалось, — еще и глаза выклюют». И вдруг на забереге, широком, как река, раздалось страшное хлопанье крыльев, и совсем недалеко от меня поднялся лебедь. Вытянув длинную шею, совсем как утка, но большой и белый, он полетел на озеро и скрылся во льдах. Вдоль заберегов между тем то и дело прокатывались уже парами кряквы и еще какие-то утки другой породы, поменьше — какие? я не мог рассмотреть. На обратном пути я как-то сразу вынырнул из-за высоких кочек у заводи и захватил тут, где был лебедь, пятерых гусей: вожак плыл впереди и вел четырех за собой. Они всколыхнулись, но недалеко отлетели и сели возле самого льда. В грязи у воды копошились чибисы. Очевидно, начинается валовой прилет дичи.

Под яром на косе против Гремячего ключа за эту ночь вырос шалашик из еловых лапок, и дома мне сказали, что это мельник с Гремячей мельницы поставил и заходил просить меня, чтобы я ему не помешал, сказал, что зайдет ко мне еще раз вечером.

— Очень вежливый, — сказали мне, — совсем молодой человек, и говорят, он из дворян.

Еще ко мне пришел печник, потом слесарь — все из ближайшей деревни Веськово. Один за другим стали называться возки, заламывая и вдруг спуская цену раз в десять, бабы понесли творог, девчонки сразу штук по десять тащили яйца, и все просили много дороже, чем на базаре, верно, рассчитывая, что раз дворец, то во дворце должен жить человек богатый. Бестолковую сцену в кухне остановила только наступившая темнота, и тут вошел ко мне мельник, молодой человек, в общем имевший вид симпатичного студента и с хорошими манерами.

— Вы понимаете в ружьях? — спросил он. — Я пришел свое показать.

Он пошел назад в кухню и вернулся с самым дешевым старым ружьем.

— Шомполка! — сказал я.

— Да, но я скоро куплю центральное, мне один мужик должен 40 пудов, как получу, так куплю ружье и лодку. А мое образование — пять классов гимназии.

— Вы один? — спросил я.

— Нет, у меня жена и ребенок, жена шьет, я зарабатываю 2 фунта с пуда, всего в месяц десять пудов. Скажите, пожалуйста, где есть такие места, где бы много было дичи, и чтобы нога человека не ступала: я хочу поехать.

— На Переславском озере сегодня, — отвечаю, — начался валовой прилет дичи — чего же вам больше: лебеди, гуси, утки всех пород.

И развил ему мысль мою, что природа ищет защиты. А дичь везде уменьшается, нужно бросить эту мысль гоняться за дичью, а преобразовать природу на своем месте: вот в культурных странах теперь больше дичи, чем в диких.

— А вы любите человечество? — спросил он.

— Не знаю, а вы?

— Ненавижу.

— Личность человека ненавидите?

— Собственно говоря, мужика ненавижу, они всё лгут, всё стерегут вас, как бы содрать, как забить, жестокие, коварные, злые, мелочные до гвоздика, трусы, хамы, я их ненавижу.

Он рассказал подробно, как его выгоняли из имения, и раз на клевере его двоюродного брата прогоняли табун, начали с ним спорить, он в кулаки и, представьте себе, ударил по лицу жену его двоюродного брата.

— Знаете, если бы мою жену так ударили, я сжег бы всю деревню. Я ненавижу их. А вы?

— Вы очень молоды, — сказал я, — и мало страдали и не нашли в себе самом личность; когда вы в себе разберетесь, то и

мужики не будут вам мужики вообще, а очень разные люди: хороших людей между ними не меньше, чем в вашем дворянском классе… Так что вы, молодой человек…

— Вы пишете? — перебил он меня. — Но как же это, ведь это очень трудно, я вчера читал Максима Горького, у него такие рассуждения, как это, наверно, трудно так рассуждать! А что значит бель-лет-рист?

Я ответил.

— В таком случае — позвольте вам рассказать, как я женился.

— Мне спать хочется, — ответил я.

Он извинился, встал. У него стало такое грустное лицо, и уходил он в прелую избушку у озера.

— Вы тоже, наверно, хотите спать?

— Нет, я буду читать Максима Горького. Ведь мельница сама работает, я читаю, а она работает. А жена моя живет в городе.

На ночь пришел к нам ночевать сторож Иван, я спросил его о мельнике:

— Ведь он из дворян?

— Прежнего нашего земского начальника, — сказал Иван, — в третьем колене племянник.

<На полях:> Бог — высшее существо, только ему до нас, как до комаров.

Сергей Клычков: путь отступления, природа-листик, пробует верить в леших: мужик в красной рубашке, дорога завернулась кольцом и шипит.

Переславль. Духовая. Столяр Кондратьев, знает всех лодочников (закажет лодку).

Большие Сокольники. Лес. Лагерь (тетерева), деревня Щелканка. Охотник Иван Павлов. Васильев. Ток: 2 мост., не доходя, против телеграфного столба, за двумя елями.

Щучий ход: 1) от темна до восхода солнца, 2) в 9 часов, 3) в полдень, 4) от 5 вечера и до ночи.

Нащупал канаву — есть ход! внизу лед. — А там Комиссаровы стоят. И дьякон стоит.

Орех: сережки начинают желтеть. Ярик сделал свою первую на слух стойку: думал, стоит по токующему тетереву, а оказалось, по журчащей воде.

<На полях:> Ток. Утиный перелет: по речке против Соломадина.
Нерест: 1) Щука, 2) Ледянка и язь, 3) Плотва.

Печник: город церквей, он — святой; религия пала — не религия, класс! Наука трещит? «Нет, наука не трещит, — тоже класс?» — «Ну, да». — «Социализм?» — «Вот истинная религия».

8 Апреля. В лесу пестро. В оврагах шумит вода.

Ярик сделал на слух свою первую стойку, думал, по токующему тетереву, а оказалось, это почти под его ногами по-тетеревиному журчала вода: тетерев токовал много дальше. Мы подняли токовика, с ним было три или четыре тетерки.

Закраек озера возле Ботика был подстелен льдом, но по канаве щука могла выйти сюда из-под большого льда. Любители щучьего боя стояли по берегу: Иван, дальше два брата Комиссаровы и еще дальше дьякон, тоже с острогой. Сказывали потом, что показались «молошники», но сегодня никто не убил ничего: сама щука еще не выходила.

Выход щук: 1) от свету до восхода солнца, 2) в 9 утра, 3) в полдень, 4) в 5 вечера до заката.

Вечером состоялся в Музее мой доклад об организации биостанции. Сошло в общем очень мило. Возвращался ночью стеной монастыря и через Шутов враг. Холодно было вечером, хорошо только среди дня.

9 Апреля. Ходил в Соломадино.

— Собак нет?

— Иди по красной стороне, суше, и собак нет.

Познакомился с охотником Михаилом Ивановичем Минеевым (рассказ о ловле браконьера: «Так и поймали и повели»):

А у меня нога больная была. Вот Федор Андреевич говорит:

— Дядя Михайла, на тебе папироску.

Я пошел к нему вперед закурить, а он (браконьер) прыг через «поточек» и бежать.

— Ну, — говорю, — Федор Андреевич, догоняй уж ты сам, а у меня нога больная. (В крестьянских рассказах всегда бывает абзац с лейтмотивом.)

Видел много витютней, чибисов, а куликов, бекасов совсем не было, очень возможно, что и вальдшнепов еще нет. (Говорят: есть.)

Против Соломадина попарно токовали тетерева. Попросил Михаилу построить шалашик, пойду завтра к вечеру сидеть. Проверю тягу.

Возвращался берегом озера. Возле моста через речку в шалаше спал человек. Река была заколона, и жерлами против воды ниже закола стояли цепью одна к одной во всю речку верши{139}. Верно, рыба попадает в них на обратном пути от закола (стремится попасть вверх). Собрался сильный дождь и промочил меня насквозь. Всем им так холодно.

10 Апреля. (А ведь, кажется, 11-е число? потому что разрешение охоты 11-го, и охотники начали.)

Дворец существует с 1853 года — в нем почти не жили, он совсем новенький. Между тем деревья, птицы, звери к нему за 70 лет очень привыкли. Перелесок возле самого дворца на холме совсем дикий, и одно дерево даже рычит (трется о другое), как бывает в самых глухих лесных оврагах. Этот звук чаще или реже, смотря по ветру, слышится всегда во дворце при закрытых дверях и окнах, и в общем какой-то очень приятный мне звук.

<На полях:> Зайцы в подвале прячутся, а в зале летучие мыши.

А тетерева, я теперь узнал, почему бормочут тут возле, хотя версты на четыре отсюда нет для них необходимой базы, леса с болотцами, часто поросшими: раньше тут у самого озера был очень большой мокрый лес, и, наверно, тут много было глухарей, рябчиков, тетеревей — те, глухари и рябчики, уже перевелись, а тетерева еще живут, воображая себе утраченный лес, значит, им тоже будет скорый конец.

Был у Робинзона на Гремячей мельнице, он сегодня поймал сову и приручает, уже дается погладить. Избушка ужасная, пол проваленный, печка покосилась, дует во все углы, согреваться можно, подтапливая постоянно железку. Охотники рассказывали, как они поставили прошлый год в мае капкан на барсука, а сами пошли собирать ландыши. «Что это такое ландыши?» — спросил Робинзон и очень всех удивил. Когда же ему объяснили, какой ландыш, он, оказалось, очень хорошо знал, только название услыхал в первый раз! Крысы на мельнице рыжие, большие, но, говорят, когда спишь, не кусаются. А-в рассказывал о тетеревах, что есть два вида, разной окраски, решили мы, что это от жизни, которые больше в поле живут тетерки, те посветлее, в лесу — потемнее, петухи же (стали) одни почернее, другие посинее. Так же есть вальдшнепы покрупней и помельче, и кряквы — побольше и поменьше.

<На полях:> Потомчинки — выжимки — мочежинки{140}.

А страшно, как вспомнишь то время, когда и я так жил, как этот Робинзон: он на мельнице, а я агроном, а в сущности это естественно ненавидеть мечтателю мужиков. Только я этого не смел: ведь я не дворянин; и я тоже не смел ненавидеть и дворян, то и другое чувство: презренье к мужику, злоба к дворянам мне были чувством низшего порядка, я их боялся в себе, как тупиков: войдешь и не выйдешь. Выход из этого: чувство радости при

встрече с **личностью** человека, живущей одинаково и в дворцах, и в хижинах.

Охотники принесли мне круговую утку, но я не остался, не верилось в охоту, очень мало видел уток: они, верно, на той стороне, верно, там больше воды.

На рассвете услыхал я крик круговых уток, одна очень крепко взяла, рассыпалась, разахалась, — и вслед за этим раздался выстрел: значит, убит селезень.

Утро с легким морозцем, но мягкое, ветерок с озера холодненький чуть ласкает щеку, и очень приятно, будто мороженое ешь. Пасмурно.

Идет мелкий, нехолодный дождь. Не сильное, но есть все-таки значительное движение сока в березах.

(К описанию тяги. Вчера я срезал над своей головой сучок с березы, под которой стою на тяге, и сок очень слабо собирался в каплю. Ночь была теплая (и… как это бывает?), день угревный, вечером сильно тянули вальдшнепы, я только успевал заряжать ружье, стрелял, и все время, мелькая, сверкала в глазах непрестанно падающая капля березового сока. Еще момент весны: теплая ночь и пахнет березовыми вениками (парно, парит: конец весны воды).

Заседание музейной комиссии (той, пока единственной). Я, рассказывая о Сокольнической биостанции, обратил внимание членов комиссии, что самое трудное там считается ввести детей в природу, заинтересовать явлениями ее, а когда заинтересуются, то сравнительно легко уже приохотить их к очень кропотливой исследовательской работе. Условия подмосковной природы, указал я, такие, что встреча с природой должна подготовляться педагогами: там нужно в малом увидеть большое, и так на станции всё микро: микро-климат, микро-заповедник, микроорганизмы, комары и птицы даже всё больше маленькие. В нашем же краю, напротив, всё макро: макро-водоемы-озера, громадные леса, болота, у нас встреча легче, и наш метод должен быть основан не на микро, а на макро: путешествие у нас, а не экскурсия, и уклон нашей биостанции должен быть географический.

Заведующий ОНО, бывший учитель, был против макро, стоял за микро, и с ним был наш жуковед Сергей Сергеевич, исследователь музейных вредителей и неспособный много ходить. Я ему возразил, что законы бури в стакане воды такие же,

как в Переславском озере, однако нельзя одно приравнять к другому, и нам непременно надо исходить из макро. Сергей Сергеевич, желая мне ответить, дернул рукой, задел стакан с чаем и опрокинул его на колени учителя естествознания. Все испугались, спрашивали его, совершенно забыв о споре микро и макро.

— Ничего, — успокоил нас учитель, — мы хотели микро и макро, а вышло мокро.

Дядя Михайло имеет четырех сыновей, свой дом он отдал им и все имущество. Теперь он живет и работает то у того сына, то у другого, где ему нравится, а старуха его то же самое. И большей частью приходится так, что старуха живет у одного, а старик у другого.

Охотники сказали, что кроншнепы уже здесь, но бекаса еще никто не слыхал.

Ходил в Соломадино (4 версты) на тягу. Дядя Михайло проводил меня в мелятник{141}, все было там так, что, наверно, можно было ждать вальдшнепа: и белые скатерти между деревьями, и напирающий березовый сок — чуть поранил сучок — и заплакало! — и такой малиновый вечер. Я старался отделаться от Михайлы, остаться одному, но грубо казалось мне отсылать, и, напротив, я участливо спрашивал о его семье, почти совершенно не слушая его ответа длинными рассказами, только долетали до меня заключения:

— И суд присудил им ко-ро-ву.

Говорю:

— Неужели корову?

— Ко-ро-ву.

Он остановился, большой, мохнатый, держит меня за рукав и заполняет всю тишину, весь мир и ждет моего мнения, и я не знаю, в чем дело.

— Как же быть? — говорю.

Он отпускает мой рукав, идет вперед и говорит:

— Как быть? Бросил я этого сына и пошел жить к другому.

— Та-ак.

— Так, милый, так вот и хожу…

В это время пролетела кряква над лесом, и за ней мчался по воздушным следам селезень: свись-свись! свись-свись!

Как хорошо! Но что же делать мне со стариком? Он что-то рассказывает о жизни своей у другого сына и вот, кажется, заключил:

— Гам, гам! — на меня.

— Что ты, — говорю, — собака? Гам, гам!

— Да так вот и остудились.

— И ты к третьему?

— К Ивану.

— Сколько же у тебя сыновей?

— Четыре. Да ведь не два века жить.

— Вот что, дядя Михайло, у тебя там, я видел, самовар ставили, я тебя от чая увел, ступай на…

— И то! А чай я не пью, чай! Там бревно, пособить надо: бревно.

— Ну вот!

— А ты — чай, бревно, батюшка, бревно-о-о!

Очень смеялся и, уходя, обернулся со смехом:

— Бревно-о-о!

От его веселья и мне стало весело, и мне пришло в голову, что вот все дети его теперь в такой страшной запряжке жизни, а он все-таки ходит в лес на охоту и радуется миру. Я сказал:

— А ведь ты хитрый мужик!

Он обрадовался, шагнул опять ко мне и весело подмигнул:

— И то сказать: ведь продналог-то не с меня берут, а с них, а там штраховка, такая…

Просвистела еще пара уток, я прозевал.

— Иди, дед, иди чай пить!

— И чаю попью, — отвечает, — и когда на охоту пойду, и не думаю, а они, только и слышишь, что продналог да штраховка.

<*На полях:*> Михайлу никто дедом не назовет, хотя он помнит царя Николая 1-го, самое большое дашь лет 50, и все зовут дядя Михайло.

И вдруг оказалось по страшной тишине в лесу, что это еще Март, старый Март, а казалось, Апрель и непременная тяга, потому что Апрель шел по-новому, и от бесснежной зимы в лесу было пестро. Только очень далеко единственный допевал зарю певчий дрозд и в сумерках единственный раз протоковал бекас. Вальдшнепы еще не тянули. Я пошел по тропе домой, вдруг передо мной свись-свись! [Вдруг] показались две птицы, одна за одной, быстро по воздушным следам. Я выстрелил в заднюю — споткнулась и рухнула и громко шлепнулась в лесу. На снегу в полумраке я едва-едва разыскал крякового селезня. Когда я пришел ночевать к Михайле, то селезень был у меня в сумке, и я знал, что по-мужицкому большая утка в сравнении с вальдшнепом все равно, как корова или овца. Но я сказал:

— Неудача, ни одного вальдшнепа еще не протянуло, вот!

— А вы как будто стреляли?

— Да, там пролетела пара крякв.

— Мимо пустили.
— Нет, попал.
— Умирать полетели?
— Да нет же: вот он.
— А! — охнул он.
А я так себе, равнодушно сказал:
— Я не люблю *<1 нрзб.>* [уток].

Сытые черные тараканы, почти в мышь ростом, только и жили в щелях (сыпались с потолка дождем).

Охотничий рассказ. — Шалаш-кормилец, ток-кормилец. — Возле деревни на поле.

Кормилец-ток. Михайло и церковный сторож, 3 шалаша. Михайло садится иногда с гостем, а церковный староста в лес. Токовик живет в лесу, и повадка его — в темноте еще взлететь на дерево и там, как увидит зарю, чуфукнуть. Потом снижается на поле и начинает свою песню, скликающую на бой разных бойцов со всех сторон. Эту повадку и самого токовика Михайло со старостой изучил до тонкости и даже заметил, что токовик их немножечко пышней прочих.

Немец:
— «Мой» не понимает (как его научили охотиться на тетеревей). Мой очень рад!
Хирург — руки трясутся.

Ёшка, Ёжка, Йошка, Йожка.

Редактор экономического отдела, грузный человек с проседью, пыхтит трубкой, никогда ни о чем не рассуждает, пишет и только, если завести речь про охоту, расскажет, как он однажды в Америке убил кондора{142}.

То время, когда леший с водяным в дружбе жили, у нас прошло: лес отступил от озера на пять верст, на берегу под яром остались только ольховые кустики, и село на яру стоит голое.

Тетерева хотя и называются полевые, а лес как основание жизни им необходим. Вместе с лесом отступили и тетерева от села, но небольшое число самок, следуя вековечной привычке, продолжали класться в приозерном мелятнике возле самого села, под яром, и только из-за них исключительно весной каждый день самцам приходилось прилетать за пять верст и драться между собой на деревенских полях прямо за гумнами.

11–12 Апреля. Установилась погода днем теплая, даже и жаркая, хоть в одной рубашке ходи, а ночью луна и такой мороз сильный — забереги намерзают почти на палец. Вокруг льда на озере теперь широкая голубая река, и лед держится только на мысах. Кругом [по берегу] на 26 верст стоят шагах в 100–200-х, как часовые, любители щучьего боя с длинными «отрогами» в руках. Из-за мороза утренний выход щук пропадает: если и выйдет, нельзя по шереху без шума подойти{143} к ней с острогой. Вечером по забережью всюду огни: строжат с лучом, т. е. идут по воде выше колена между берегом и льдом, один несет свет (посмотреть), а двое по сторонам идут с острогами, человек с лучом и два с острогами вместе называются «коза».

С лучом сейчас уже, говорят, убивают, а днем полный застой, и только изредка кто-нибудь убьет щучонка-молошника фунта в два. Ожидают с часа на час боя больших щук, и терпение берется оттого, что каждому хочется первому начать, азарт берет, многолетние счеты друг с другом. У нас против Веськова стоят: Иван, три брата Комиссаровы (недавно только поправились и завели длинные непромокаемые сапоги, надо изучить всех).

Если большая щука идет, то азарт бывает страшный, охотник не посмотрит на ледяную воду, готов броситься за щукой под лед. Иван рассказывал сегодня, как его отец убил щуку в 1 пуд 18 фунтов. Он заметил, что она ходит возле самого льда и к берегу никак не приближается. Он приволок бревно, проткнул его по закрайку, перекинул на лед и сам перебрался туда по этому мосту. Сидел он в ожидании там целые сутки и наконец дождался: щука вышла из-подо льда. Увидав огромную рыбу, охотник испугался сначала ударить, она могла его утащить под лед. С берега ему все кричали: «Бей, бей!» Он собрался с духом и ударил и, верно, попал в голову, оглушил и пригвоздил к дну. Как же дальше, как теперь ее достать? Бросается в воду по самую грудь, и, верно, ему так жарко в ледяной воде. Не выпуская остроги из рук, стоит на чудовищной рыбе ногами, а руки не хватает, чтобы взять, окунуться надо совсем. И окунается. Чуть бы малейшее, оглушенная щука в этот момент ожила и махнула бы его под лед — риск! он хватает ее под водой за глаза (только и можно за глаза взять, а то и руку отхватит), выволакивает на берег ее, и с ней молошник фунтов в десять, на берегу бросает добычу в яму, и тут щука вдруг ожила и так махнула хвостом, что молошник отлетел от нее из ямы шагов на пятьдесят. Убив щуку, он подвешивает ее кушаком за жабры, несет в деревню, и там собираются смотреть все бабы, и разговору об этой щуке будет надолго.

Каждую весну кому-нибудь так удается, и эта затрава из года

в год так ложится на душу, что берет страшное терпение, и потому только и понятно то время сейчас, что почти нет никакой надежды, а все стоят весь день.

К вечеру одиночки парятся, троятся, собираются в кучки, приносят дрова и складываются «козы».

Говорят, что щуки должны идти, когда день будет 14 часов, сегодня от 13 часов 25 минут, а 14 будет во вторник.

Пессимисты говорят, будто в нынешнем году щука ушла вся в другое место.

<На полях:> История колеса.
Да здравствует масштаб мировой революции!

История ссоры Соловья с Яриком

2-го Апреля в четверг утром я взял большой кусок хлеба и вывел Соловья из сарая, чтобы покормить на воле. Забыв про Ярика, я бросил хлеб подальше и пустил Соловья. Откуда ни возьмись Ярик и схватил кусок. Соловей ринулся на Ярика и сгреб его. До смерти перепугались за маленького Ярика, я схватил могучего Соловья за хвост и свалил, а Ярик этим воспользовался и насел на Соловья. Я ногой дал Ярику, сбил его и уже двумя руками оттащил далеко Соловья за хвост. Вероятно, подумав, что это Ярик тащит его за хвост? Соловей обернулся и через ватный рукав прокусил мне руку до кости. Я выпустил хвост, и Соловей опрокинулся на Ярика. В это время Ефросинья Павловна явилась с лейкой воды и стала поливать желтый клубок псов. Ей удалось на мгновенье их разнять, я схватил опять Соловья за хвост, а она Ярика и впихнула его в дверь и прихлопнула.

После этого начались очень дурные отношения между Соловьем и Яриком. Целую неделю они видеть не могли друг друга и поднимали с рычаньем шерсть. Только на Ботике, где всем стало очень хорошо, мы решились свободно пустить Ярика, в то время как Соловей делал на стене Дворца свою заметку. Ярик очень почтительно подошел в этот момент и обнюхал основание хвоста у Соловья, а когда тот расписался на стене, стал читать носом написанное на стене. Во время чтения Соловей сделал медленный круговой обход Ярика, и, когда тот, прочитав заметку, стал на ней в свою очередь расписываться, обнюхал у него основание хвоста. После этого Ярик стал делать круг, а Соловей, прочитав написанное Яриком, в последний раз расписался. И на этом уже окончательно расписался Ярик, что означало окончательную ратификацию мирного договора.

Основной жилец моего дома с шестинедельного своего возраста Ярик, ирландец, Верный, гордон, явился ко мне два года тому назад, когда ему было уже 5 лет, гончий Соловей живет всего один год, это громадный рабочий кобель и одними только добытыми из-под него лисицами окупает содержание всех трех собак. Ярик живет в доме, Верный на дворе свободно, а Соловей сидит на цепи.

Нос Ярика: если я пришел с охоты, то дома он долго меня обнюхивает и читает, где я был. История Ярика: в голодное время: решился; а если ребенок? Случай: рано перешел на лес и понял, что рано: пришлось искать, нашли Верного «Понтия» (у

хозяев).

<На полях:> Собаки у меня были всегда, но в первое время революции я лишился их, и, думал, навсегда. Но в голодное время мне пришлось детей учить в деревне, где были мои дети. Ружьецо я кое-как сохранил и стал раздобывать себе, а без собак охота — не охота. История Флейты, стойка задом.

13–15 Апреля. Простудился и лежал. Вчера был теплый дождь, гром и вообще поворот на тепло. Сегодня утром в постели слышал зяблика, в полдень во время обеда перед нашим домом ожила и скакала лягушка, мы все думали, что она наскочит на Ярика, но она свернула от него, и он, заметив ее, принялся сдуру лаять. Валовой прилет мелких птиц. Наш двор весь покрыт ими: зяблики, певчие дрозды, скворцы… Купаются в лужах.

Та лужица, куда скакала лягушка, чем-то привлекла внимание чаек, и множество их налетело с озера, бегали по луже и клевали что-то (что?). Какие они сторожкие! я зажег спичку папиросу закурить, будучи сам в доме, — взлетели.

Слабый утренник. Солнце восходит чистое. Все наполнено криком чаек. Они, верно, достают себе из луж оживающую там травку.

Утро. Был на Мемека-горе. Хороши овраги к озеру, по бокам снег, внизу ручей, над ручьем склонились цветущие орешники, сквозь их золотые сережки виднеется голубая река, окружающая лед омзера, потом лед, и дальше, за озером, чуть видные синеют леса. На припеке уже много жужжит насекомых, о каждом жучке уже думали люди, о каждом почти составлена целая книга. Можно бы, так все бы прочитал и все бы знал, но это нельзя, потому пусть себе жужжат, пусть кричат и летают какие-то птицы, и разные рыбы, выныривая из-под льда, мечут икру у берега, и люди там всё идут с холма на холм по своим каким-то делам, — я живу сам, сцепленный на короткое мгновенье со всей этой летающей, плавающей, бегающей тварью, и, если в эту минуту моего глубокого сознания я встречаю одно из живых летающих, ныряющих, бегающих существ, я, не зная его ученого имени, знаю по родству: для каждого из них у меня в душе есть образ-памятка, сохраненный в моей крови, переданный предками за миллионы лет; всё, решительно всё было во мне, глядишь и узнаёшь.

К полудню, как и вчера, слегка прогремело, и полил дождь, в один час лед на озере из белого сделался прозрачным и принял в себя, как вода заберегов, синеву небес, так что все стало похоже на цельное озеро. Какое это прекрасное Переславское озеро, чистое, глубокое. Ночью, закрыв глаза перед сном, я вижу его

узорчатый берег и у каждого зубчика на голубом белую чайку — так сказочно! а на правде еще лучше. И так хорошо тут в природе, что если уж и будет потом что плохо, то от себя. На этом мы согласились и отправились после дождя в Соломадинский лес на тягу.

Возле одного ручья, протекающего краем зеленых полей, мы встретили спаренных лягушек, их было такое множество, что приходилось очень осторожно ступать из опасения потревожить ногой этот омерзительный образ любви. Они скакали по зеленям одна на одной, сверкая спинами там и тут, их присасывание друг к другу так сильно, что можно их до смерти застегать хворостиной и не разлучить (вспоминаю ночь в Жабыни: концерт гром-лягушки — надо считать самым ярким узлом весны, в это время подлет всех птиц и высыпка на поляны и в мелколесье всех притаившихся).

Дюны против Соломадина — одно из красивейших мест озера, потому что Переславль отсюда кажется стоящим в голубой воде. (Задача, весь берег Озера изучить по названиям оврагов, ручьев, отмелей и т. д., стараясь узнать происхождение названия (легенда), и найти пункт своего личного соприкосновения; уже замечены: Шутов враг, Мемека-гора, Гремяч; списать названия тонь.)

На заре загудели все тетерева в лесу и запырхали рябчики, их было до того много, что лес, казалось, был весь переполнен дичью. И если уж сегодня бы вальдшнепы не полетели, то значило бы, что они погибли в пути. После заката солнца (когда солнце до половины скрылось за горизонтом и потемнели основания деревьев) началась прощальная песнь тетеревей, и, когда солнце скрылось совсем и померкли вершины даже самых высоких елей, с лесных дорожек стал подниматься туман. В семь вечера (прежде было в 8?) протянул стороной вальдшнеп. Следующий стал было пересекать полянку засеки, я ударил в него боковым выстрелом на 50 шагов, взяв навскидку (с задержкой) вперед вершка на три, дробь моего очень кучного чока пронеслась, вероятно, у него возле самого носа, потому что он мгновенно повернул на 90° и помчался в угон вдоль тропинки, на которой я стоял. Пока я взял его на мушку и уверенно выстрелил, он успел пролететь еще 25 шагов. Пробежав все расстояние, разыскав его в полумраке, я обернулся назад, и вот за все это время, — как же, значит, было тихо в воздухе и как хлестко бьет мой чок на 75 шагов! — за все это время только в полдерева успело спуститься сверху кольцо из мельчайших перышков вальдшнепа.

На обратном пути в темноте в стороне города были тройные

огни: наверху голубые звезды, из которых две во время пути упали, на горизонте более крупные желтые — жилые огоньки и на озере — огромные почти красные «лучи» рыбаков. Ближе, когда мы подошли к озеру, возле этих лучей показался дым, и среди искр и дыма иногда тонкая фигура человека с острогой, очень напоминающая фигуры скифов со стрелами и копьями на древних вазах.

В ночных огнях есть что-то, возбуждающее стихию первоначальной мистики, почему, должно быть, дети, крестьяне и вообще все примитивные люди, увидев такие огни, всегда говорят: «Вот красота!»

Итак: узлом весны, началом весны буйной, страстной (концом весны света и потом весны воды), весны растений и животных в этом году надо считать 15 Апреля (3 Апр. — по ст.), когда после ряда, после недельной борьбы дней очень тяжелых и ночей сильно морозных, от которых на палец почти замерзала вода, в один из таких очень теплых дней набежала туча, загремел гром, пролил дождь, множество птиц высыпало на нашу площадь и прискакали к луже лягушки. На другой день это явление повторилось — и все пошло… (началась тяга вальдшнепов).

17 Апреля. Приехали дети. Витаха: чайка. Скрипикосьё (луг). О(А!)веновский враг.

Горица. Шутов враг, Овеновский враг, Мемека-гора, Каменная, Гремяч-гора, Брусничный враг, Хахелев враг, Кольцова гора, Треста, Татьин куст. Св. Дмитрий Прилукский вышел из Веслева.

На заросших прудах возле города гнездуются чайки в тысячных сообществах. Они поднялись от нас в воздух, и стало, будто снег пошел, и потом, когда они расселись на зеленя, то зеленое поле стало белым. Эти чайки называются здесь витахи и находятся (по всей вероятности, очень вредные птицы для рыбы) под охраной населения. Михаил Иванович говорит, будто они к Петрову дню улетают, и ставит вопрос в связи с этим: не полярные ли это птицы?

Ознакомившись с краеведческой деятельностью Михаила Ивановича, я сказал:

— Вы, должно быть, у нас единственный краевед.

— Ну, что вы, — ответил он, — и потом ведь это не я, а край-то уж очень хорош!

Опрокидываю свое желанное из будущего в настоящее и начинаю подсчитывать, что осталось в сумке.

<На полях:> Спор Левы с Робинзоном: 1) жать слабого (я и С. Клычков).

Множество русских людей чувствуют отврат при одном слове «государство», и это потому только, что не научились смотреть на него холодно, как на машину, совершенно необходимую для жизни множества людей на очень ограниченной пространством планете.

Тут было множество людей в процессе испытания личности жизнью, так называемых неудачников, которым надо было перенести неприятность отсутствия таланта, безобразия своего лица и т. д., чтобы потом, перемечтав, взяться за дело и стать рабочей пчелой. Революция освободила этих людей от необходимости проходить этот тяжкий путь смирения, и их безличная злоба нашла объект, названный буржуазией или интеллигенцией. Еще бы один какой-нибудь год, и учительница стала бы старой девой, но тут она вдруг как бы вновь родилась и, раньше бессловесная, получила первый голос на собраниях…

<На полях:> Этот голос явился вовсе не от знания, а от **сознания** (вообще): на этом мотиве развивается пренебрежение к знанию, как и специальности, и явление парт-человека. Перепроизводство парт-человека создает нового спец-человека.

18 Апреля. День был неопределенный, то солнечный, то серый, ветер менялся, не было ни тепла, ни холода, и, хотя к вечеру стало очень тихо, птицы мало пели, вальдшнепы не тянули, и ни один тетерев не токовал. Я никогда в жизни весной не слыхал такой тишины в лесу, и когда один вальдшнеп нарушил забастовку природы и потянул, то голос его был, как труба, а выстрел мой, говорили, будто весь ад опрокинулся. В этой тишине я понял, что живу с природой в постоянном законном браке, что женился на ней случайно и как бы нехотя, все время тосковал о другой, но в то же время любил жену и хотел любить, больше заколдованный ею, чем свободный.

Охотничий рассказ о собаке «Верный». В голодное время охотник продал свою собаку за пуд муки мужику, который купил ее за господский вид, но не знал, что с ней делать. Собака ныла и раздражала его, бил, приучал носить дрова в избу. Я натаскивал Ярика (характер Ярика — коварство, ум) и рано пустил по тетеревам (беда с побегом). И вот, проходя деревней, вижу, гордон носит дрова… и т. д.

<На полях:> Новь рассказа: узнавал чужой загад в собаке, открыл анонс{144}, вместе с этим новый, низенький лес (Воргаш), думал, что по коростелю, оказалось, по глухарям. Встреча с лесным охотником: «наш!» Я шутя, чтобы отвязаться, сказал: «по глухарям». У них вышло: по бутылкам.

Пороша. Охотничий рассказ о зайце, которого городские охотники подняли на городском огороде, гоняя в окрестностях, пригнали в город, загнали в милицию. Собаки и охотники ввалились в милицию, а там уже метали жребий, кому достанется заяц. Не отдали. Охотники сказали: «Ну, погодите, встретим вас в лесу, ноги из жопы выдернем».

Вы знаете дом Караваева, нет? Ну, а Кудашева? И Никольскую улицу не знаете в Переславле? А вал, конечно, заметили и церковь князя Андрея, — вот от этой церкви по прямой черте будет улица Никольская, в конце ее дом Караваева, и тут заяц жил на огороде, кочерыжки грыз. Этого зайца мы сто раз гоняли и взять никак не могли. Ход у него был через вал к озеру, по озеру на ту сторону к Александровой горе — вот какой ход! назад к Ботику Петра Великого и тут терялся возле самого Дворца.

Пробег зайца: с Александровой горы в Рыбацкую е., по Трубежу, пробовал лечь за старой баней, услыхал базарный шум (?) и на вал возле старого Собора 12-го века, за гимназию, в церковь Духа — железная ограда, напорол глаз, мальчишки штыками, на Советскую улицу и в милицию.

Заяц махнул по Шутову врагу к берегу озера, миновал гору Каменную, Мемеку, через деревню Веськово взобрался на Гремячую гору, вернулся по Брусничному врагу, обежал Гремячий ключ, и вот бы прямо бежать ему теперь кругом по Усольскому тракту в город на лежку, как вдруг навстречу мужик едет. От мужика круто повернул назад, и тут собаки. Махнул на озеро. Плещеево озеро (рыбаки). Собаки за ним. Мы расставились по горам. Заяц меньше, меньше, и только голос собак, и это не слышно. Показался, растет. Взял свернул в Рыбацкую слободу: в город. Мы перехватывать: Ежик стал на лежке (надо изучить план города). Препятствия зайцу в городе. Мальчишки взяли в переплет. Через железную изгородь, наткнулся, прутом глаз вышиб. Мальчишки встретили его шапкой, и тут он на Большую улицу и в милицию. Пока на Большую улицу — следы затерли. Хотели бросить, и вдруг возле милиции сметка: Соловей! он бах! и бросился в милицию с ревом, за ним [мальчишки] и другие. Мы все туда.

После охоты мы вернулись домой и вдвоем с Павловной, когда дети заснули, долго сидели за чаем. Я говорил ей, что если от религиозного быта ничего не осталось, то уж лучше проводить праздник в лесу: вот и рыбаки сейчас на воде. Народ не осуждает охотников и рыбаков, что не ходят в церковь, и прощает им: им все разрешается. Вдруг ударил колокол и раздался пасхальный трезвон среди ночи. И этот один звук сразу опрокинул след всего прошлого, все заутрени от детства, и стало так, будто мы

участвовали в празднике.

19 Апреля. На поле (оржанище) с треском поднялись спаренные серые куропатки, сонно пробежала в кустах задумавшая класться тетерка, дрозды клевали ягодки можжевельника и вырывались из него, улетая со страшной быстротой. Мелькнула такая начальная минута восприятия, когда не нужно бывает принуждать себя к наблюдениям, выискивать интересное, необыкновенное, все становится интересным и необыкновенным и всему в душе все отвечает.

Образы наших утрат

Я думал об искусстве, что оно вообще дает нам образы наших личных утрат, — как же иначе? Непременно я должен полюбить что-то, расстаться, оборвать брачный полет и боль залечивать образами утраченного. Потому все поэты начинают петь о природе, что утрачивать природные богатства свойственно всем. Ведь мы, люди, миллион лет двигаясь вперед, теряли способность плавать, летать или сидеть, как листики на черенках, прикрепленных к могучему стволу дерева, ползать по тонким стеблям растений, качаясь от ветра, кружиться в воздухе семенными летучками, трескаться, как орех, пылить воздух спорами — мы были всем и многое утеряли, такое хорошее, что очень хотелось бы опять иметь. И только потому, что мы в родстве со всем миром, восстановляем мы силой родственного внимания общую связь и открываем свое же личное в людях другого образа жизни, даже в животных, даже в растениях, даже в вещах.

Грубо говоря, человек творит мир по образу своему и подобию, но мир существует и без человека — это должен знать художник больше всех, и непременные условия его творчества — забываться настолько, чтобы верилось в существование данного предмета, живого или мертвого, без себя, без человека. Мне кажется, что наука только доделывает уже лично восстановленный образ утраты. Так, если художник, сливаясь в существе своем с птицей, летает, то вот это и важно, что в мечте своей он уверяет (укрыляет) нас в возможности летания, а ученый по этому образу строит аэроплан. Искусство и наука, вместе взятые, есть силы восстановления утраченного, воскрешения наших отцов.

Неопределенный день, как бы продолжение вчерашнего, разрешился бурей (ю.-з.) и сильным дождем. Таким образом, вчерашнее молчание тетеревей нашло свое объяснение, и можно установить: накануне ветреной погоды, хотя бы вечером была полная тишина, птицы молчат.

20 Апреля. Туманное утро. Тепло. Тетерева токуют на деревьях. Вчерашняя буря (ю. з.) незаметно отодвинула массу льда на ту сторону, и у нас осталось обширное водное пространство. Но сегодня тянул легкий N. O., и за день лед был возвращен к нашему берегу растресканный. К вечеру пошел дождь. Вальдшнепы сильно тянули.

Веселилась обыкновенная «буржуазная» молодежь, играли в фанты, в веревочку, в городки, в футбол, и вдруг явились из Сокольников «натуралисты» — коммунары, в рубашках, с погонами, серьезные молодые люди, распределившие время труда и отдыха до последней минуты. Секта (вот это и отталкивает: их тайный сектантский сговор).

У них есть своя, чуждая мне жизнь-гордость, как у дворян их рыцарская честь. Они гордятся, например, что отвыкли браниться матерным словом, — чего это стоило! а вот отвыкли. Я же и тут в стороне, как и при дворянах: я никогда не умел ругаться по-матерному, не воровал, не убивал.

— Если бы я сказал ей: «Катька, почини мне штаны!» — она бы ответила: «Я не понимаю, Лешка, такой постановки вопроса». Но если в ее обязанность войдет вообще починка штанов, то она будет чинить, все равно, как я буду шитьюбки. И так у нас нет разницы между полами, если она более слабая, то мы и относимся к ней, как к слабому мужчине. Мы уговорились между собой, что в современных хозяйственных условиях нам невозможно производить потомство, и потому от брака мы воздерживаемся. Вы говорите, что «хозяйственные условия» брака можно обойти путем искусственного прекращения деторождения, но мы возражаем против этого как натуралисты: наши ткани восстанавливаются исключительно благодаря «секретам», и потому непозволительно расходовать только для удовольствия драгоценнейшее для жизни вещество.

— Все-таки будет же когда-нибудь конец вашему воздержанию от потомства?

— Я думаю, приблизительно через год.

Апрель
Центральные моменты _ В Сокольниках _ У нас

1) Начало движения сока у березы _ 3
2) Ледоход _ 9
3) Зацветание орешника _ 14
4) Появление летучих мышей _ 17
5) Первая икра трав, лягушек _ 17
6) Зацветание красной вербы _ 19
7) Зеленоватая дымка черемухи _ 29
8) Икромет серых жаб _ 30

Сопутствующие наблюдения
1) Ясные, облачные, пасмурные дни и дни с осадками
2) Туманы
3) Наибольший подъем воды (рек и прудов) _ 11
4) Исчезновение снега _ 18
5) Исчезновение льда в пруде _ 30
6) Появление листьев конского щавеля _ 10
7) Зацветание мать-мачехи, ольхи, орешника _ 14
8) Зацветание чистяка _ 28
9) Первое урчание водоемных травяных лягушек _ 7
10) Позеленение лужаек _ 24
11) Зацветание тополя _ 28
12) Бабочки-лимонницы _ 8
13) Жуки-навозники (вылет) _ 17
14) Осы, шмели _ 17
15) Личинки Culex в шелк, водоросл. _ 22
16) Весенний взяток у пчел _ 23
17) Прилет пустельг _ 3
18) Пролет гусей _ 4
19) Прилет трясогузок (бел.) _ 6
20) Прилет коршунов _ 8
21) Песнь певчего дрозда _ 10
22) Пролет журавлей _ 11
23) Прилет горихвосток _ 16
24) Прилет мухоловок-пеструшек _ 18
25) Прилет и кукование кукушек _ 26
26) Прилет деревенских ласточек _ 29
27) Выставка ульев _ 16
28) Пахота под яровое _ 22
29) Выгон скота на пастбище _ 26

21 Апреля. Егерские кусты. Хахелев враг (разбойник Хахель). Клад Гремячей горы должен выйти в 25-м году в сентябре.

С утра все небо закрыто. Мелкий теплый дождь. Первая зелень на лужайках. Говорят о дожде: благодать! Овца и сейчас

уж может наесться. Все-таки больше желтого, чем зеленого. Лужи прежде всего поросли травой и стали не желтым, а зеленым пятном. На них сидят белые чайки. Стала очень заметна работа кротов. Снег двумя-тремя пятнами остался только в ложбинках северного склона Гремячей горы. В 5 веч. выглянуло солнце. Перед закатом воздух стал до того прозрачным, что та сторона озера — Городище, Александрова гора — была видна, как в бинокль. На заре был слышен из Веслева первый девичий хоровод. Напряженно-страстная тяга вальдшнепов, даже возле дворца. Очень легкий S. W., незаметно за день угнал всю громаду льда к той стороне, и желтоватый лед после заката сливался с рекой синей громадой отработанных туч, и озеро было без того берега, как море.

Дома жена сторожа Надежда принялась щипать убитого мной вальдшнепа и уверяла меня, что на Гремячей горе есть клад, зарытый разбойниками, и что в этом 25-м году в сентябре он должен **выйти**. Только, наверно, клад выйдет не советскими деньгами, а старинными, и это будет жалко. А ближайшие к нашей горе разбойники были Кольцов (К(г)ольцова гора), а потом Хахель (Хахелев враг).

О болезни Ефросиньи Павловны эта Надежда сказала уверенно: «Тут чья-то рука». Она выспросила подробно, кто к нам приходил на праздниках, и, узнав, что мужик из Веслева приносил щук, спросила: «И щук вы у него купили?» — «Нет, — ответила Ефросинья Павловна, — я не купила». — «Надо было купить, а то его мать колдунья, это он вас испортил». Надежда очень упрашивала Ефросинью Павловну пойти к ней и залезть в горячую печку. А ведь Надежда работала 20 лет на вязальной фабрике.

22 Апреля. На заре восток открыт, а по всему небу облака довольно серые как бы сговариваются против солнца. Оно восходит победно, а в 7 утра смотрит уж только через матовое окошко. Лед на той стороне. Но ветер очень легкий тянет с севера.

В полдень поднимается ветер, падает сначала град, потом дождь. Вся рыбацкая флотилия выезжает в озеро нашей стороной (узнать, зачем, куда, почему все вместе). К вечеру идет сильный снег при северном ветре, зелень на лужайках становится белой, весь лед приваливается к нашему берегу. Узнать, что сталось с рыбаками. Я думаю, что они, услыхав, что в Урёве бьют щук, за которых они платят деньги, поехали перебивать.

Урёв (озерное устье реки Вёксы, а, может быть, и всякой реки, выходящей из озера).

Цветут осины и ранние тополя, медуница, волчье лыко и вообще все первые цветы. Начало цветения можно установить довольно точно, исходя из узла весны 3-го периода (гром-лягушки: зеленая весна. Весна света, голубая. Весна воды. Зеленая весна).

Эти натуралисты мне возбуждают душу, с одной стороны, о нашей юной «компании», в сущности, коммуне, а с другой, о сектантах. И вместе с этим встает мудреный вопрос: «Есть ли выход к универсализму из секты».

Они жаловались на комсомольцев, что они поверхностны и не интересуются природой. Я спросил, есть ли все-таки у них комсомольцы.

— Да мы же комсомольцы и даже коммунисты.

<На полях:> У юного натуралиста-комсомольца в записной книжке: «рефлексы спаривания человека».

24 Апреля. При легком утреннике и безоблачном небе встало солнце. Лед остался у нас в гостях: вот уж незваный-то гость! Ясным утром и, может быть, потому, что на той стороне вода живая и лед там оставил возле темных лесов белые вехи, а может быть, я уже привыкаю, озеро со всеми берегами кругом виднелось очень отчетливо и казалось совсем невелико.

Земля нашей Гремячей горы раньше была в распашке, теперь еще отчетливо видны полосы, наверно, совершенно выпаханные крестьянами. Такие славные выросли в межполосных бороздах кусты можжевельника, иногда сосна, иногда ель и березки, местами сплошь ореховые кусты. На незаросших полосах пашут отлично кроты, выворачивая там темную, там светлую землю. Всякая птица живет в мелочах и хорошо кормится в можжевельнике. В Брусничном враге сегодня вылетел мой хороший знакомый косач и при нем семь тетерок, он до того доволен и так расходуется, что и не токует. Вылетели еще два кобчика или две кукушки, я думаю: это кукушки. Они полетели к берегу, хотели перемахнуть через озеро, но показалось далеко, и повернули к Урёву к большому лесу.

Петр Великий выстроил в… году на Переславском (Плещеевом) озере свою потешную флотилию. Через 30 лет, под конец своей жизни, он приехал сюда посмотреть колыбель русского флота. Увидев брошенные гниющие суда, он очень разгневался, и нам остались от его гнева слова воеводам боярским: «надлежит… а буде… взыщ[ется] на вас и потомках ваших». Теперь уцелел от всего флота один ботик с отгнившим дном, он хранится в особо выстроенном для него [отдельном]

доме. Вблизи этого дома живет сторож Иван Акимыч, показывает гостям ботик, а жена его Надежда Павловна — канат, которым будто бы Петр стегал бурное непокорное озеро. По словам Надежды Павловны, следы Петровского бичевания и посейчас сохранились на воде: в ясное время можно видеть полоски. Показывают еще триумфальные ворота, называемые царскими, выстроенные в 185… году, и пустой дворец.

Проклюнулись почки берез, и черемуха покрылась зеленоватой дымкой. С полудня дождевые облака тепло-приятные прикрыли солнце, и стало оживленней в природе, хотя напуганные птицы еще не верят и не поют.

Не нужно быть очень жадным к материалам и всюду совать свой нос, как чайки в воду, большей частью напрасно. Нужно добиться, чтобы все нужное само приходило, являлось непременно, как ежедневно является свет.

И я не с какой-нибудь целью встаю и выхожу до солнца: выхожу по своей надобности… и между тем не могу оторваться от солнца и озера.

25 Апреля. После теплой ночи солнце встало сразу жарко в полной тишине. Лед гостит у нас, страшный, как мертвец, зеленый, растресканный. Вскоре после восхода потянул, постепенно усиливаясь, ветер с юга, и к полудню послышался с озера крик:

— Пошел, пошел, поехал!

— Кто поехал? — спросил я в окно.

Иван Акимыч ответил:

— Плохой зять у тещи гостил.

Мы поняли: лед пошел на ту сторону.

Когда мы потом вышли из дому посмотреть, как там внизу, то «худой зять», зеленый, растрескавшийся, был уже далеко, а у нас плескалась совсем голубая, живая вода. Рабочие сходились к берегу с острогами, и тысячи чаек слетались на голубое почти в одну точку. И вдруг взвились и по голубому небу рассыпались, белые, и на голубом озере — Переславль, весь осыпанный белыми птицами.

Подвалил охотник Михаил Иванович Моисеев и, конечно, разговаривать о чайках.

— Вредная птица? кто вам сказал — какая же она вредная: что рыбу ловит? ну посмотрите, сколько раз она к воде и все пустая: у нее это не выходит. А вот начинается пахота, и вся чайка будет ходить за пахарем по полю. Было то же раз на охоте,

приехали гости из Москвы, и Альбицкий с ними был. Слышат, дятел долбит дерево. Московский гость и говорит: «Сколько дятел вреда приносит лесу!» А наш Альбицкий, хороший человек, говорит: «Дятел дереву не вреден, вот посмотрим». Нашли дерево, где долбил дятел, дерево подсыхало. Спрашивает: «Отчего дерево подсыхает?» Отвечают: «Червяк ест». — «Ну вот, — говорит, — а дятел червя этого достает, значит, он дереву не враг, а доктор».

Сегодня на тяге: цветет лоза, и цветы, как маленькие желтые цыплята. Летают навозные жуки, жундят. Вечером тепло, но ветрено.

К вечеру оказалось, что худой зять ушел совсем, оказалось, что лед до того истаял, что вдали стал виден едва различимой серой полоской. Озеро впервые открылось нам все целиком, и было большое, овальное.

Михаил Иванович сказал о сватовстве: Он ей говорит: «Я согласен, хотя и сегодня не благословенный вечер, потому что спрашиваться мне не у кого, родни у меня нету, ни спереди, ни сзади». Она же на это ответила: «Нельзя мне так скоро, у тебя нет, у меня есть и спереди, и сзади».

Альбицкий, легендарный профессор, по неделям жил в лодке на озере и в лесу. Изучал привычки птиц, рыб, зверей. Вороны летали в лодку, заяц махнул, как на остров. Он, верно, утомился искать причины и весь отдался созерцанию.

26 Апреля. Южный ветер ровно дул с раннего утра и вечером не перестал. Шаманаев Николай Васильевич, рыбак, сообщил, что щук две породы: одна длинная и тонкая (как называется?), а другая короткая толстая (грязнуха). «Ледянкой» называется и щука, и плотва, идущие к берегу («норост»){145} из-подо льда. Порядок нереста: 1) щука, 2) язь, 3) плотва, 4) уклея, 5) окунь. Еще рассказывал рыбак, что нет никакой возможности взять рыбу с глубины, пробовали, но изорвали невод, что на этой глубине может укрываться старая рыба (до 20 саженей). И может быть, там, на глубине таится щука, прожившая три столетия, видевшая в молодости смены поколений рыбаков, стоявших свечами каждую весну. Теперь она больше не показывается у берега: неинтересно и опасно.

Состоялось собрание переславских юных краеведов, на котором московские юные натуралисты «обрабатывали» наших.

Они предлагали изучать только полезное, потому что нам теперь нельзя допустить роскошь измерения расстояния зрачков у серой жабы. Мы должны изучать, во-первых, народное хозяйство, во-вторых, народную гигиену и, в-третьих, материализм.

Один из лучших учеников М. И. Смирнова при этом спросил:

— А ежели бескорыстно?

— Елки зеленые! — ответил Галкин. — Материализм — это есть не корысть, материализм то есть, откуда что идет, и так далее. Понимаете?

— Понимаю, но как же изучать нам без руководителя?

— А вы научитесь сами работать по нашему исследовательскому методу, когда научитесь, то вы поймете, что двадцать юннатов могут заменить одного профессора. Продуктивность нашей работы зависит от нашей связи с государственными заданиями, а потому необходима увязка с комсомольцами, желательно с натуралистами, если же среди них не найдется натуралиста, то, нечего делать, возьмите общественника, хотя бы одного, — и то будет увязка.

— Разум — это вам не фунт изюму, разум есть вещество темное.

Утилитарно-писаревская секта юннатов. Немедленная готовность к делу. Всезнайство, Хорошая сторона: дисциплина воли (против расхлябанности).

<На полях:> Вполне обработанные и [готовые] сотрудники. Мне очень нравилась их борьба с расхлябанностью, их практичность, но когда я заметил, что я интересую их тоже как материал для использования, то это меня очень задело.

— Вы, конечно, как исследователь поверхностный, но мы вас ценим как художника, потому что мы разделяем жизнь на труд и отдых, вы нам ценны для отдыха.

<На полях:> Сегодня уезжает Лева. Сходить ему: 1) Коноплянцеву, 2) «Охотник», 3) Рудневу, 4) Маслову (адрес у Коноплянцева).

Борьба с методом готовых знаний

Гурьянов говорит: «Начиная исследование, не читайте ни одной книжки и пользуйтесь книжкой только после как справочником». Сам он, отправляясь на экскурсию, берет пробирки, сумки и хватает в них все. В Гремячем ключе он берет воду. «Зачем?» — «Я подозреваю, что он железистый, надо сделать анализ». — «Но ведь анализ ее уже сделан, самый подробный». Напротив, доклад свой о чайке он взял у Мензбира.

27 Апреля. Ветер (продолжение вчерашнего) юго-восточный. По всему горизонту тревожная хмарь, и даже с виду с чистого неба солнце светит неполно. Очень из-нойно.

Всюду показались шмели. Листья черемухи развертываются. Началась пахота под яровое, над каждым пахарем вьется белая туча чаек.

Сорочье гнездо было едва заметно в кусту орешника, но когда мы его принесли в музей, то оно стало очень интересно как лесное диво (толстое, помазанное в два слоя глиной, внутри гнездо из мельчайших, как волосы, прутиков, сверху вокруг всего шапка из сучков).

25-го вынул первого клеща из собаки.

И так всё: частица растительного или животного мира, взятая из целого, заставляет работать воображение и дополнять остальное. На этом основано собирание букетов цветов. И можно ввести в метод: брать из леса частями все в комнату: мох с сухими листьями, молодые деревца сажать в горшок и, схватив от них впечатление, брать новое.

Мы думаем, что скоро будет гроза.

Если не все прекрасно, то все занятно в природе, если посмотреть в кулак, а еще лучше принести домой, но почти все безобразно, если смотреть на все, не выделяя особенностей: борьба [целого с частью], и только зуд какой-то в душе, томление; наконец после большой борьбы попадает глаз на особенность, и если есть воля — выделить ее, то она заговорит о всем мире: и эта часть, говорящая о целом, есть сотворенное человеком.

В Брусничном враге пожар. Молодой месяц уже в бублик, вспомнил, что дня три тому назад мужик сказал, узнав, что я хвораю: «Это оттого, что холодно, вот завтра месяц народится, будет тепло». Так и вышло: подул знойный ветер.

На земле ветер не перестал. На озере было мало огней, зато двое пришли с наметками (наверно, плотву ловить).

Природа в кулак. Роль художника. Деревца с красными листиками. Дополнила луна. Художник универсалист, почему сектант — обрезан.

Готовые знания (исследовательский метод, привезенный сюда: готовое знание).

— Вы слышите, какая птица поет?

— Слышу: певчий дрозд.

— Да, но из певчих какой?

— Не знаю; какой?

— Я не могу вам сказать: запомните, убейте завтра и определите.

— Но я же не маленький: говорите.

Он одумался и сказал:

— Дрозд-белобровик.

Может быть, не совсем верно, что лень — мать всех пороков, и, главное, очень трудно разобрать, действительно ли это лень или только некоторое отступление от видимой деятельности для внутренней, себе самому иногда незаметной работы. Во всяком случае, излишнее напряжение воли может исковеркать жизнь, лишить ее всех радостей, выпятить самомнение и презрение к другой личности. На этой почве зарождаются секты. Так, можно сказать, что если не всякая лень является матерью всех пороков, то и не всякая воля бывает матерью добродетелей.

Секта готовых знаний: мы переходим к природе, потому что это более глубокий подход к общественности.

Разработка вопроса подхода к мужику.

Всякий метод, в том числе тоже и метод исследовательский, есть пробитая кем-то тропа, то есть нечто уже готовое. И потому для нашей молодежи этот новый исследовательский метод предстал как метод готовых знаний, тем более что они увидели мудрствование и простодушно спрашивали: «Почему они нам не рассказали просто, как поставлено дело изучения края в Сокольниках?»

Любуясь или просто интересуясь природой, мы сознательно или бессознательно выбираем из всего окружающего нас какую-нибудь часть, будь это холм с сосной наверху, изгиб реки, даже

куст можжевельника, даже болотная кочка, все равно, только была бы это непременно часть целого. Выделив интересный нам кусочек природы бессознательно или сознательно, взяв его даже к себе домой, мы по этой части творим целое, чего, может быть, и не бывает в природе, но кажется, что вот если бы правильно, то именно так оно бы должно быть. Если бы не обладали в себе этой выделяющей способностью и средой, в которой взятая часть разрастается в целое, то не могли бы любоваться природой, потому что она сама по себе без-образна. Чтобы убедиться в этом, стоит только посмотреть в кулак на какой-нибудь предмет в природе, выделить его, и он покажется интересным, но как только после того разжать кулак — и все окружающее представится безобразным.

Не говорю, однако, что выделяющая способность непременно находится в нас самих, быть может, сама природа в своей борьбе, в движении выпирает своими частями и заставляет нас продолжать дело выдающихся существ. Правда, почему именно в лесу сегодня среди нагромождения серых стволов деревьев, прутьев кустарников, зеленого моха, засыпанного старыми листьями, и пробивающихся через это зеленых веточек брусники я выбрал себе молодое деревце величиной в сантиметр с двумя совершенно красными листиками? Я заметил его, вернулся в дом, взял нож, выкопал его и, пересадив в горшок, поставил на окно и теперь наслаждаюсь видом и ростом этого прекраснейшего творения!

Рассказ о Верном. Однажды с делом воспитания моего ирландца Ярика вышла очень неприятная история: он был готов по болоту и полю, но с лесом надо было еще год подождать; между тем наступило время моей любимой охоты на тетеревиные выводки, я не выдержал и отправился в лес. Легким свистом я удерживал Ярика около себя в двадцати-тридцати шагах на полянах и в кустах, заставляя его кружиться возле себя всегда на виду. Вдруг он почуял след, быстро перекинулся с него в сторону, сработал круг и мертво стал. Вылетел старый черныш, я выстрелил. Ярик не двинулся и смотрел в то место, куда упал петух. «Вперед!» — сказал я. Он, перебирая медленно ногами, двинулся вперед и остановился над птицей. Чего же лучше? Я, восхищенный, расцеловал Ярика, и мы отправились дальше искать выводки. И с выводком было тоже прекрасно, я настрелял полную сумку и, счастливый, возвращался домой по дороге. Там, где никак уж нельзя было ожидать тетеревей, я вдруг услыхал: «квох-квох!» и увидел быстро бегущую по дороге тетерку. У нее были, наверно, маленькие дети в кусту, какой-нибудь очень

поздний выводок, потому что она бежала, похлопывая крыльями, как обыкновенно, отманивая собаку. Все произошло в одно мгновенье, я не успел крикнуть Ярику, он бросился, как [пущенная стрела] — и так он исчез. Маленькие тетерева из-под [куста] разлетелись в разные стороны. Сердце у меня оторвалось! Ждал я, ждал, свистел, свистел, и вот вижу, ползет ко мне из куста. Я сделал страшную ошибку: сильно наказал его прутом. Чтобы увериться в его исправлении и успокоиться, я пошел опять искать тетеревов. Найдя выводок, я выстрелил и, должно быть, от волнения за Ярика промахнулся, он бросился за улетающим. После того я очень долго ждал его и вернулся вечером один: Ярика не было. Мы всю ночь его свистели, трубили и не нашли. Рано утром я вышел к картофельнику, свистнул и вижу, в зелени шевельнулось что-то рыжее. Он залег в картофеле и пролежал там всю ночь. Не было предела моему отчаянию! Одним наказанием я испортил плод всего моего огромного труда по воспитанию простой собаки. Но я решил действовать и начать все сначала, не думая об охоте; и опять началось все сначала, болото, [поле], веревка. А охота в разгаре [на тетеревов]. Мне нужна была другая собака, хотя какая-нибудь старая, лишь бы делала стойку, из-под собаки я мог бы постепенно натаскать Ярика.

28 Апреля. На восходе солнца ветер стал притихать и потом стих совершенно, стало очень жарко, дорога высохла, и люди шли босые.

В 10 утра на севере озера стали показываться небольшие облака, быстро росли, и капнул дождь теплый, как парное молоко. На юго-западе выросла большая синяя туча.

Молодая черемуха сверкает зелеными листьями, и уже образовались бутоны. Раскрываются зеленые почки орешника, березы. На цветах ивы дружный взяток пчел и шмелей. Темные точки лягушечьей икры принимают форму головастиков.

11 часов — гром, но обошлось. Озеро стало белое, в 12 — темно-синее, и грянула гроза очень сильная, с проливным дождем. Во время дождя на глазах все зеленело.

Вечер после грозы был прохладный. Возвращаясь с тяги домой, возле Гремячей горы на последнем оранжево-строгом отсвете зари над озером заметил впервые летучую мышь.

29 Апреля. Туман заволок озеро, и не с первым светом обозначились его очертания. Но перед восходом спешно убралось белое, и засверкала совершенно синяя вода. Березы даже издали заметно переменяют шоколадный цвет своих почек на зеленый. А подорожники и другие травы стали уже такие, что роса от вчерашнего дождя хорошо улеглась на их лепестках и зелень

всюду очень сверкала на солнце. Там и тут в мелятине зеленели кусты.

В семь утра мы вышли в Усолье покупать лодку и, оглядевшись, сказали: «Это уже май!»

Налево, в Егерских кустах у озера токовал наш знакомый петух, мы проверили ток, и оказалось, по-прежнему он один и с ним его неизменные четыре тетерки. Спугнутый, вскоре он опять забормотал, а мы перешли на кочковатое болото у озера. Показывая свой хохолок, между кочками перебегал чибис. Преследуя его, мы спугнули семью кроншнепов, и они подняли такой тревожный крик, что из болотного куста, далеко не допустив нас, сорвалась пара крякв и, высоко облетев местность, где-то пропала. Жаль, мы не догадались поискать гнезда: у них теперь гнезда в болоте, и когда еще! когда повырастут у берегов зеленые густые тростники, они переведут своих утят к воде. Пока мы возились с болотными птицами, наш тетерев в Егерских кустах оттоковал и, снявшись, прямо, как по струне, полетел в Соломадинский лес, за четыре версты. Самки остались на месте, [яйца] уже кладутся.

Эти дюны возле впадения речки Куротня в озеро так потом и продолжаются почти до Усолья, только покрыты высокими соснами. Так все и было потом: направо к озеру, все расширяясь, шумел бор, налево болотный лес, дикий, невылазный, переходящий в огромное болотное пространство. На солнечных пятнах по брусничнику стали показываться какие-то движущиеся тени, и мы заметили, что это неслышно перелетали вверху, прикрываясь кронами очень высоких сосен, коршуны. Тут было их очень много, и на одной фантастической сосне, расходящейся снизу от могучего основания вчетверо, несколько выше, чем в полдерева подпертое четырьмя суками, как лапами, чернело их огромное гнездо. Ружье мое было заряжено на вальдшнепов мелкой дробью, я ударил в одного и, казалось, убил его, он закачался, стремительно полетел вниз и наверно бы убился о землю, но, встретив на пути сучья сосны, задержался в них, заработал крыльями в борьбе не на живот, а на смерть и вдруг справился и тихо полетел над деревьями. Высокий, видимый почти как ласточка, реял в небе другой такой же хищник, и так было странно думать, вспоминая жалкое падение подстреленного, что такое величие может быть побито. Ветерок потом долго сдувал с крон сосны мелкие перышки.

Привлеченный выстрелом, пришел лесник и предупредил, что бор для охоты заказан.

— Все как холодно было, — сказал он, — а вчера после грозы

вдруг все и пошло.

— После грозы вчера, — сказал я, — заря тоже была строгая.

— Ну что ж, а птица и вчера и сегодня сильно гремела.

В это время необыкновенный раздался крик, и мы едва могли разобрать в нем первое кукование: оно гремело в бору. И даже зяблики, маленькие птички, пели — их пение гремело. В бору птичий голос гремит, и неслышно различимое только по тени на солнечных пятнах там и тут показывается крыло хищника.

Спасаясь от солнечного жара, по полудни очень чувствительного, мы шли по теневой стороне бора и вдруг увидели перед собой синеву.

— Озеро? Как могло в этой стороне быть озеро?

— Это небо, обрыв.

За обрывом лугами в долине между стенами леса бежала речка Вёкса. Рыбаки наметами и вершами вытаскивали плотву. Усолье, село довольно большое, но с бедными хижинами, показалось среди совершенно диких болотных лесов (Татьин куст).

Наскоро, заказав себе лодку у мастера Кошкина за 30 рублей, мы пообедали в кооперативном трактире щукой и опять пошли назад. Завидев озеро, мы оставили тракт и подошли к берегу против того места, где в бору видели много коршунов.

На берегу — в Тресте (совершенно еще желтое, как зимние простыни) — рыбаки ловили массу плотвы, был самый нерест, и вода кипела от рыбы. Чайки тучей летали над водой, бросались, выхватывали клювом длинную плотву и, подняв в воздух, роняли: рыбы были им велики. Скопа, прицеливаясь к рыбе, стояла в воздухе, время от времени передвигаясь постепенно к нам. Прилетела цапля и, сделав круг, вернулась в бор. Мы за ней, и тут недалеко от того места, где заметили гнездо коршуна, проследили на высоком дереве и ее гнездо.

Рыбаки нам рассказывали, что Чайкина рыбка — уклейка, что у чайки желудок очень горячий, проглотит, выкинет задом и опять, и так раз десять.

Говорили о щуке, что их у них два вида: одни узкорылые и другие тупые (грязнухи), что на глубине много всякой рыбы, но взять ее невозможно, и что, наверно, есть и такая, какой никто никогда не видал. Тут припомнили, что Петр Великий пустил в воду язя с золотым перстнем, и вот никак не могут поймать.

— Язь не так долго живет, — сказал я, — он уж, наверно, истлел.

— А перстень? — сказал рыбак. — Озеро наше все выплескивает, почему же до сих пор никто не может найти этого перстня?

— А если затянуло?

— Разве что затянуло.

Вернувшись к исходным дюнам, мы долго решали вопрос: идти домой, есть очень хотелось, или отстоять тягу. Ветер был небольшой, а озеро очень плескалось, и до того хороший, музыкальный был прибой, что так мы и досидели до тяги.

Очень теплая и тихая вышла заря. Свистели кроншнепы, летали утки. Вальдшнепы тянули плохо. К самому вечеру загудели тетерева. Показался, всё разгораясь, молодой месяц, еще бы ему такую половину, и он совсем бы стал, как бублик, — бывает такой пухленький бублик, что едва можно через узенькую щелку внутри него продеть мочалку. Засветил он все-таки очень славно, токовик-тетерев, приняв свет его за первый утренний свет, забормотал далеко где-то в тьме болот. Ему стали отзываться другие, и пока мы шли, там, в совершенной темноте, при свете бублика-месяца закончился ночной ток. Бекасы тоже не унимались. Начались кипучие ночи.

Злое дерево почему-то перестало рычать — почему? Я сегодня окончательно проверил: ветер дул довольно сильный, оно должно было рычать непременно, — и все-таки нет! Было тихо в лесу, и только озеро [очень] плескалось и пахло морем. Вдруг мне что-то капнуло на лоб, еще, и еще, и при месяце я увидел, как из коричневого вчера сучка березы капал сок. А то злое дерево теперь было тоже в соку, и другое, которое о него терлось, — тоже в соку. Наверно, из тех мест, где была стерта кора, теперь тоже капал сок, и увлажненное дерево оттого больше и не рычало.

30 Апреля. Хмарь в солнечный день. Теплый ветер с легкой присушинкой. Березы утром, березы в полдень, березы вечером разные, и если бы очень внимательно следить, то их одевание было бы заметно и по часам.

Плотва идет. Чайки рассеялись по всему озеру, за каждой синей волной, куда хватит глаз, видишь белую чайку. А местами на озере от них даже белое пятно, это значит — в этом месте кипит плотва.

<На полях:> Язь пришел вместе с щукой.

Вечер удался совсем теплый и тихий. Пахло молодым листом.

Я сказал:

— Слышите, как наш тетерев жарит.

Мне ответили из кустов:

— А соловей!

— Как? Я не слышу.

— Ну вот…

— Это певчий дрозд.

Как будто мне соловья не хотелось.

— Да нет же, вот еще… слушайте.

Я разобрал отчетливо соловьиное колено и с сожалением сказал:

— Да, соловей!

Мне это значило: конец весне.

Он пел у озера в Егерских кустах очень глухо.

Другой тетерев отозвался нашему на зеленях и быстро стал подходить. Шипел в темноте. Ему шипел наш в овраге, перешел орешник. Третий шел со стороны из болот. Светил очень ярко бублик месяца, и на севере было, как на востоке утром, белое светлое пятно. Нельзя было понять, вечер это или утро: зори начали сходиться.

Да, хороший был вечер. Я по легкому ревматизму в левой ноге и остатку кашля от сильной простуды легкого чувствовал, чего стоил природе этот заслуженный ею вечер и как хорошо бы мне услышать радостный вздох рыбака. Но соловей скликал дачников. И казалось, в этот вечер сватали красавицу-девушку за старого, богатого и немилого, жениха…

1 Мая. Дело этих неутомимых исследователей только с виду похоже на американскую практику. Ведь всякое исследование есть некоторая отсрочка действия, а у этих молодых людей их исследование явилось на почве одумки. Сами они их «натурализм» называют более глубоким подходом к обществу, и так как их одумка явилась только вот-вот, то ненавидят прежних натуралистов, называя их коллекционерами. Так они и нашего Сергея Сергеича поначалу очень забраковали со всеми его жуками.

Более хмарно, чем вчера, солнце тускло светит из дымки. В десять утра стало истомно. Ожидаем дождя.

На озере сегодня чаек много меньше, верно, ход плотвы уменьшился. Да и рыбаки говорили, что ход плотвы всего дня два-три.

Сегодня можно отметить не только позеленение плакучих берез, но и первую зеленую шатровую сень и робкую тень на зеленой траве.

Затягивало временами почти все небо, и казалось, непременно будет гроза и дождь, но так прошел весь день. Майские торжества состоялись, маленькие дети, окружив

цветущий куст ивы, обломали его веточки, разбиваясь по парочке, скрываясь [парами] в густень смолистых почек и маленьких листиков, там две утомленные учительницы съели яичко, там поклевали семечки, пришла большая процессия с флагами и большим барабаном, оркестр сыграл интернационал, все обнажили головы, и человек из губернии над озером сказал им свою политическую речь об антагонизме европейского буржуазного мира и нашего советского.

Надо осторожнее быть с проповедью своего метода исследования, потому что истоки этого могут корениться не в существе дела, а в обычной потребности художника влиять не косвенно через свое художественное произведение, а непосредственно своей волей.

Сергей Сергеич пошел ловить жучка-скакунца. К нам прибежала Галя с очками: «Папа очки забыл!» — и бросилась его догонять. А Сергей Сергеич шел боровым местом по песку и все по солнышку, потому что знал, что эти жуки живут в знойном месте на солнце, и, чуть только падает тень, они скачут от нее. Много было скакунцов, но тень от Сергея Сергеича падала на них, и они скакали вперед, без очков он их не мог так рассмотреть, подходил, снова падала тень — и скакали жуки. Как только мы с Галей принесли очки, Сергей Сергеич сразу увидел скакунца, поймал его и опустил в банку с каплей эфира.

Я оглянулся вокруг и увидел, что владения скакунца были в определенном ландшафте, и я думал: ведь и всякий мельчайший жук водится в своем ландшафте, и почему Сергей Сергеич не стремится схватить очертания, характер владений скакунца, чтобы представить хозяина как бы личностью, а спешит проколоть жука на булавку.

— У меня это есть все, — сказал Сергей Сергеич, — но это я отбрасываю: мне нужно установить причины, а не качество жука.

Жизнь навозника неживое дело, хотел писать стихи, по диагонали вышли жуки: дело бескорыстное, и вот это бескорыстное дело теперь, через 30 лет начинает [оживать]. Таков был путь к свободе.

Я нашел дом председателя сельсовета по винограду резных наличников и, постучав в окно, увидел милое открытое лицо его жены, еще молодой бабы. Взяв у нее свой паспорт, посланный для прописки, я подумал: «Под каким-нибудь предлогом хорошо бы председателю вручить рубля три для знакомства, надо об этом подумать в следующий раз». И, раскланявшись с женой его,

улыбнувшись ее милому открытому бабьему лицу, пошел в гору. Слышу, скоро кричат:

— Вас догоняют!

И вижу, она бежит за мной, эта самая открытая женщина, босая, спешит. Очень смутилась, пробормотала:

— У нас есть картошка, мешка два, только сейчас в яме и достать нельзя, а нужно бы рублей пять, у вашей милости не найдется ли, а мы потом…

— Не беспокойтесь с картофелем, — сказал я, обрадовавшись случаю подарить пять рублей. И, передав деньги, пошел в город.

Возвращаясь с базара, я издали увидел женщину возле избы с резными наличниками, она, очевидно, тоже заметив меня, мелькнула скоро в избу и, когда я проходил мимо, открыла окошко, поманила меня и передала кружок, завернутый в газетную бумагу.

— Это от меня вам подарочек, — сказала она.

— Благодарю, — ответил я, опуская круг в корзинку, — а о картофеле, пожалуйста, не беспокойся.

Она вся сияла, милая, открытая женщина. И я, уходя от нее с теплотой в душе, думал…

Открытая женщина (то есть уже не девушка), замужняя или холостая, все равно всегда имеет минуту для свободного входа каждого, нужно только уметь распознавать эту минуту и просто входить в открытую дверь…

Многие незаметные люди, если уметь видеть их, вовсе не так плохи, и я не знаю, почему таких хороших людей, описывая, не называть своими именами.

2 Мая. И ночью обошлось без дождя. Ветерок повернулся с севера, духота прошла, и на траве показалась первая роса этой весны.

На березах явилась зеленая сень, прозрачная, через которую виднеются и темные деревья слегка зелеными.

Цветут фиалки. Клен зацвел в городе. Совершенно исчезла икра лягушек в лужах: вывелись головастики. Окуклились личинки комаров. Хвощи поставили свои минареты. Отгремела плотва, и чайки ловили уже свою специальную рыбу уклейку.

Рыбаки нам сказали, что окунь нерестится, когда зацветает черемуха, уклея, корзуха и лещи, когда согреется вода. Ерши начинают идти вместе с плотвой и потом идут долго. Оказывается, по рыбацким приметам, щука и с головы не может проглотить ерша без вреда себе, потому что, как проглотит, ерш у

нее в животе становится медведем.

Дул и к вечеру северный ветер, плескалась волна. Солнце село в тучу. На заре ветер стих, волна улеглась и потеплело. Ночью пошел сильный дождь.

3 Мая. Не все вылилось за ночь. Было прохладно и облачно-серо. Вдоль берега над озером пролетели четыре ласточки. Белка прыгала, очень заметная на слабо одетых деревьях, шкура у нее была еще серая, зимняя, и только хвост порыжел. К полудню пошел дождь, и, хотя вскоре перестал, но праздник смычки города с деревней был испорчен.

Ко мне завернул с праздника рыбак, заведующий кооперативом «Красный рыбак» Василий Алексеевич Чичерев, и, когда я спросил его, чем он занимался до революции, ответил, служил в полиции, был приставом. Удивленный сказал я: «Как же вы уцелели?» И он, тоже удивленный моему вопросу, ответил: «А у нас в Переславском уезде ничего и не было». Тогда стало понятно, почему Ботик уцелел и люди попадаются такие цельные: тут революции не было!

К вечеру стало очень хорошо на озере, пока была еще маленькая синяя рябь, показались на синем светлые полосы, те, о которых Надежда говорила, что это остались с тех пор, как Петр за непокорность хлестал кнутом озеро. На самом деле полосы были, во-первых, над течением реки Трубеж, во-вторых, кругом всего озера по «мякине», как называется подводный берег, или уступ в два сажня глубины, и, в-третьих, полоса под уступом в девять саженей.

Потом к самому вечеру лик озера опять переменился, стало почти все, как стеклянное, до того тихо! Тогда, казалось, небеса, обыкновенно «божьи» и потому нам немного чужие, сошли к нам и прилегли на земле-мураве.

После заката лик озера опять переменился, стал холодно-синим, как тучи на небе, и над лесом вдали на синем метнулся язык красного пламени.

4 Мая. Я встал в два часа утра и в три вышел в лес. Было очень тепло, и долго нельзя было понять, чтом это — небо, сплошь обложенное, или туман: озера было совершенно не видно.

В четыре определилось: туман. Сильно токовали витютни и тетерева. Осторожный ворон, обманутый туманом, опустился недалеко от меня, но осечка спасла его.

Только в десять открылось солнце, засверкало озеро, и туман

свернутым клубом был только на Урёве.

Определился роскошный день сверкающих клейких листиков, насыщенный влагой, с тучными теплыми облаками.

По теплым синим и золотым облакам прилетела и та не известная совершенно никаким ученым птица с самыми острыми крыльями и с самым тонким клювом, сверкнула в золотом луче и влетела в зеленый дом.

И я за ней иду в зеленую дверь.

В полдень Павловна крикнула:

— Посмотри, какое озеро!

И все мы — она, Руднев и Петя — подошли к берегу. Мы его не видали еще таким и [не] думали, что может быть такая красота: весь небесный свод со всеми своими градами и весями, и лугами, и пропилеями, и простыми белыми барашками почивал там, гостил у нас, у людей, и так близко: совершенно Китеж, невидимый град.

Мы долго молчали, но один наш гость, подшибленный горем и ослабевший духом, не осилил молчания и сказал:

— Видите, вон там утки черные.

Глубоко вздохнула Павловна и тоже сказала:

— Если бы я прежняя, девочкой, когда гусей стерегла, я подошла к тому озеру, и знаете что?

— Что, Павловна?

— Я бы на это помолилась.

К вечеру, уходя в лес, я спохватился в воротах, оглянулся — нет! озера уже не было видно. И мне стало так же неловко, как верующему человеку прежних времен, который вышел из дому и не помолился.

Еще я думал о тех людях, которые приезжают в мае отдыхать на берега прекрасных озер, ведь они никогда не поймут красоты, они приезжают на готовое… и они портят вход (после смычки)… Понимали по-настоящему только пустынники, кто тут же трудился вместе с природой, мучился и постился ее постом, а потом эту постигнутую красоту мира преподавал **как добро**.

Разве такое дело не самое близкое мне, но почему оно пало?

Мне странные мысли приходят в голову: я думаю, не потому ли пало все дело, что пустынники были тоже, как дачники, нечистоплотны и не берегли **входа в природу**. Я так и смотрю на цивилизацию (идеальную), что дело ее вычищать сор, как и все, что накопляется от множества преходящих людей. Если бы они не чурались науки, то и не стали бы павшими эстетами: в их руках наука бы чистила входы.

А еще я думал о том же и на другой лад, когда мне встретился на пути высокий, крепкий мужик с такой бабой,

которая, видимо, была не раз им стегана. Было время, когда эта порабощенная женщина управляла, стояла, как монахи, высоко на горе, а мужчины добывали только материал для питания. Теперь она явно в плену, и смешно, что хочет освободиться посредством той силы, которой не имеет, которой мужчина взял ее в плен.

Вот эта — женственная — сила осталась у монахов и поэтов: их Прекрасная Дама, и они ее рыцари.

Я стою высоко на горе, и мне кажется, так легко отсюда начертить картину с нижними холмами, лесами, деревнями и отдать ее в школы и прославиться потом, как общественный деятель.

Между тем жить самому так, делать такое для себя, в своем восторге незаметно выходить из себя так, чтобы это мое в происхождении люди, обманываясь, считали за свое — это куда вернее.

Но и тут есть опасность, ужасней которой нет на свете: свое смирение, своя простота святая может оказаться величайшей гордостью и усложненностью.

Вечер новый, каких еще не бывало, воздух, наполненный ароматом цветущих ив, зелень, клейкие листики берез, закрытые золотыми висящими сережками, массовый вылет майских жуков.

Жуки так гудели, что временами казалось, будто это гуд был всех колоколов из далекого города.

Мы вышли с поля, — как пахнет озимь, как напрягается! — к опушке мелкого леса, в который я в это утро попал в тумане. Спустились в долину, посередине которой протекал болотный ручей, впереди был большой еловый лес, внизу так было странно: в болоте стояли сосны. Рано взошел месяц. Из кустов тетерка страстно манила черныша, стрекотали мошки, и в бору токовали. И он к ней выбежал, а я перенял.

Утки сели на яйца, и страстные селезни тянули вдоль болот. Трещали чирки-трескунки. Урчали лягушки, гудели жуки, сшибаясь, падали в траву, путались, выправлялись, летели и опять натыкались.

5 Мая. Утро росистое, прохладное. Солнце взошло чисто сзади Никитского монастыря и поплыло, оставляя влево и колокольни церквей, и деревья.

В полдень опять в стеклянном озере отражались дворцами кучевые облака, озеро было, наверно, такое же прекрасное, как вчера, но мне казалось, что вчера оно было лучше, — и так теперь пойдет навсегда: прошлое будет всегда лучше настоящего.

<На полях:> В краю, где не было революции.

6 Мая. Егорий. И так изо дня в день все тише, теплее и роскошнее. Все сотворено и остается почить, но я не могу, и на этот случай, когда не можешь ни творить, ни почивать, а жить как-нибудь нужно, является благодетельный случай зла: я отдавил себе дверью палец и отвожу душу, сосредоточиваясь на боли в ожидании выздоровления.

В природе такое состояние насыщения радостью как будто предусмотрено: в предельный момент счастья вылетают комары. Со дня на день они должны появиться в огромной массе, и леса сделаются почти недоступными.

В краю, где не было революции.

Председатель райкома прислал свою жену, «открытую женщину», с приглашением к их престольному празднику:

«Пришвину М. М. Я, председатель райсельсовета Ульянцев Я. М., прошу я Вас, пожалуйста, приходите ко мне в гости, очень буду Вам благодарен. Ежели придете, и впредь буду с Вами знаком. Ульянцев».

<На полях:> Взятышек. Волков (сапожник).

Мы раздумывали, идти или не идти, а там, на празднике, не ждали: к 11 утра уже является сам председатель со своим кумом, сапожником Волковым, оба сильно пьяные, звать.

Я сказал:

— Край у вас какой милый, революции у вас совсем не было!

— Ни малейшей, — ответил председатель.

Волков наступил на лапу Ярику, тот взвизгнул, Волков бросился извиняться перед ним, целовать в самый нос, взасос. Ярику не понравился запах самогонки, и вдруг он сапожника тяпнул.

Кошкин (лодочник) пригнал из Усолья мой «Ботик» (в другой раз описать мужицкую работу). Мы ездили пробовать на Урёв, сидел с подсадной. Возвращались при луне.

Как чисто! Спичку я бросил на воду, Петя сказал:

— Не сори!

На отражении луны сверкали хвои, разнесенные волнами лесного озера.

Я сидел на носу и строил заграждение лесного края на двадцать верст вокруг озера, ворота выстроены в этом заповеднике из больших камней, притесанных один к одному: ворота — вход в заповедник. У ворот я поставил школу воспитания юношей, лучшие из которых удостаивались по окончании посещения заповедника для короткой работы в нем. Все рабочие там были из таких подготовленных и на короткое время. Расставаясь с заповедником, после в миру люди творили легенду об озере: оно было источником легенд и радости.

И так я, раз влюбившись, стал жить с озером, как с женой (грубость работы и чудо красоты, возмущение и смирение и т. д… как Русь…)

7 Мая. Зори прохладные и хорошо: отсрочивается вылет комаров. Начинает развиваться дуб.

На лодках вместо паруса ставят березку. Заехали на середину, и вдруг вода.

— Что такое?

— Сучок выскочил.

Лодочник разулся, оторвал кусок портянки, заткнул и поехали.

8 Мая. Прохладно, ветрено, свет солнца перемежается. К вечеру стих ветер и потеплело. В 6 вечера наблюдается массовый вылет комаров, всюду были серые столбы, похожие на вихри.

<На полях:> Посев яровых: овса и картофеля. Зацветает черемуха. Распускается дуб (прохладно, переменно, и так пойдет дальше).

Мы осмотрели все владения Михаила Ивановича: Федоровский монастырь, Даниловский, Никольский, Борисоглебский, Никитский, гор. Клещин, Александрову гору.

В Никитском монастыре: агропункт и свиньи, блудник о. Митрофаний, Иван Грозный поиграл с женой после молитвы (сын Иван). Последняя из династии игумений Георгиевская Олимпиада (Мохова): ведьма в аду (богомерзкая баба), столпы комаров над памятью Столпника (искал себе столп: «взятки брать можно на столпе»). Почему монастыри мужские разложились, а женские сильны?

<На полях:> Легенда о поляке, оставшаяся в Ведомше после Яна Сабесского: грабил, два старика — хотел убить, вдруг погрузился в болото, а старик растаял на облачке (Никита Столпник).

Жертва революции: единственный безобидный поп.

«Вот вам косточки старые, хоть на удобрение пошли».

Фотография старца Даниила.

Даниловский — общественное значение церкви, нет грани между монастырем и церковью, тунеядцы монастырей, скудельницы. Легенда, любимая Даниилом (теснота церквей), только [раз было]: помолился на паперти, человек является — дверь откинулась, лампада зажглась; вышел и в другую — за ним: исчез. Кто же это? Даниил улыбался загадочно (он сам).

Благодетельница в Даниловском: лифт, рупор, монахи навинчивают (старуха с трясущейся головой и зеленый попугай, как их фамилия?).

Могила князя Барятинского в Даниловском монастыре… монахи обобрали.

Горицкий монастырь: последний архиерей во время революции уперся, как бык: требует звона (как князь Мещерский сказал: «Я-то пройду, да сан не проходит»).

Федоровский монастырь: дети из колонии с преступными лицами, камни через окно: фрески 18-го века, иконостас вверху 17-го, внизу 16-го и 15-го.

Могильники на городище: все исклевано. «Большая жизнь прожита, но что нажито?»

Роль Переславля: снабжение хлебом с ополья север, новгородцами до возвышения Москвы, до 16-го века, потом Манчестер, и у него (после проведена ж. д.), перенял славу Иванов-Вознесенск.

Иван Миронов — враг Никона, могила в Даниловском монастыре.

Загадка церквей, сгрудившихся на устье реки Трубеж. Динамика личности (Даниил Столпник, Олимпиада). Статика, сотворенное: Клавдия, бревнушки и пенечки, «обыватели».

N. B. Люди власти, о них едва ли можно спросить: верующие они или нет? Власть — движение.

9 Мая. Дождь, горные баранчики. Вознесенье на кораблях и другая масса церквей, соединены легендой о молящемся, исчезнувшем старце.

Храмозданные плиты.

Бревнушки и пенечки.

Максимилиан.

Евгения.

Олимпиада.

Осифляне (Даниил).

Неподвижность, не верю, не люблю.

С утра пасмурно и потом дождь. Поет горлинка, цветут баранчики. После заката собралась гроза.

В кусту можжевельника на развилке сучков среди сухого болота сижу неподвижный: а потоки мысли моей бегут во все стороны. За болотом лежит озеро, такое неподвижное, посылающее из себя реки. Берендеево болото само по себе неподвижное, из него в разные стороны бегут шесть рек, и так всё: источники силы и власти неподвижны, и потому сила всех сил и власть всех властей называется в древних книгах Сидящим.

Птицы долго не летят к моему шалашу. Солнце село в серую тучу. Стало мне сиротливо одному быть в кусту, среди сухого

болота, и тот Сидящий, управляющий вселенной, представился мне таким же чуждым, как Робеспьер. А сколько есть людей, думал я, считающих Робеспьера своим вождем, сколько признают его за великого человека. Может быть, да и наверно великий, я признаю, но что мне из этого? что мне этот бог, жестокий, проливший столько **невинной** крови? Между тем верующий в Робеспьера завтра, быть может, выйдет на площадь и скажет речь против Сидящего, что какой это жестокий Бог, несправедливый, холодный. Так он будет против Бога, как я чувствую себя холодным к вождю, и верующий в Бога никакими доказательствами не переубедит его, как не может переубедить меня никакой коммунист в оценке их вождя.

Значит, кончено, я не то что не верю в Бога, а не очень люблю Его и потому отбрасываю думу о вере в Бога как пустое занятие.

Но мне кажется, я люблю… что, кого? не могу назвать все, что я люблю, слишком много всего в природе, в искусстве, что я страстно люблю, и я жалею знакомого человека, иногда даже люблю, и с уважением, то сильного, то слабого и милого, задумчивого, с ясным решением, ученого, влюбленного, женщину с молочною грудью, огромными бедрами и девушку робких намеков…

Люблю ли себя?

Нет, а может быть, да: мне это непонятно и недоступно, как вера в Бога. Зубы у меня плохи, и очень я неряшлив, ноги отличные, руки слабы, а то, что называется талант, — это не я, это сила моей тяготы к миру, выражение моего интереса… Правда, вот чудно-то, как подумаешь об этом, как это можно **любить себя**.

Я люблю себя мальчиком, но это чувство как-то переходит в сына, во всяком случае, это уже кончено, это не я, есть некоторые поступки, есть написанные вещи, которые я тоже люблю, но это опять уже не я.

Что же значит, когда вот говорят: люби ближнего, как самого себя?

<На полях:> Благодетельницы Гладковы. Поп из таких: «Мы не подготовлены для выступления», — пухлый, как ощущение тепла и холода, сидел на лавочке с такой же попадьей, она щелкала семечки.

Темы экскурсии:

1) Ангел нес в двух мешках на посев семена, в одном мешке были безобразные, ругались, дрались, в другом хорошие, книжки читали, Богу молились. Ангел рассыпал семена безобразников на одном конце озера, и там стали болото и непроходимые леса, а другие ангел донес — и стали на другом конце озера церкви, а вокруг них поля с плодящей землей.

10 Мая. Ночь была грозная. Утром раскинулась радуга. И после радуги днем был опять дождь, и опять радуга, и опять дождь, очень теплый. За эти два-три дня совсем свалился этот стерегущий, запрятанный где-то на перекрестке зорь, в земле и в воде холод. К вечеру солнце было чисто на западе, но с другой стороны погромыхивали тучи, сильно парило, и трудно было угадать, обойдется ли или нет без грозы этот вечер и ночь.

<На полях:> Эстетика. Как-то нехорошо, если я эстет.

На пару открылись во множестве цветы синие, очень низенькие, с мелкими головками львиного зева. В лесу цвели душистые горошки. Березовый лист, пропитанный ароматной смолой, сверкал в вечерних лучах. Черемухой пахнет везде. Пел соловей, не первый уж это был, но так, определяя собой тишину, давая направление ночи, пел впервые.

Казалось, это был пожар, потом мы спросили себя: «Если не пожар, так что же это такое?» И когда явственно обозначилась округлость большого красного диска, наконец догадались: «Ах, это месяц такой!» За озером долго сверкала зарница. В лиственном лесу от легкого ветра был слышен первый зеленый шум.

Неприятно читать у Толстого моральные поучения и рассуждения, навеянные эстетическим восприятием природы. Моралист говорит: «К черту эстетику, барин!», а эстет презирает и такую эстетику, и такую мораль. Но если в простоте души, просто, как художнику, внимать природе, — от этого очень хорошо и эстету, и моралисту.

То ли, что плохи были учителя и велика жажда к учению, и оттого казалось, что не у нас здесь, а где-то есть великие учителя, истинно Старшие; то ли, что хорошие люди вокруг меня веровали в науку, а, может быть, и потому, что после в жизни пришлось встречать замечательных ученых и художников, или это оттого, что больше самоучкой до всего доходил, но почтение к Старшим и готовность сделаться во всякую минуту учеником у меня до сих пор сохраняется и все больше и больше распространяется.

Прочитав прекрасную книгу, я думаю: вот я ее в день прочитал, а ведь, чтобы написать ее, он истратил всю жизнь! Выслушав весной первый зеленый шум у березы, я говорю: «Чтобы так прошуметь, ведь она полвека росла!» Ватага чаек летит плотно друг к другу над озером, первая упала на рыбу и промахнулась, вторая за ней упала, третья, четвертая, десятая

схватила уклейку, и потом они все на ветер поставили крылья и плавают часами, не шевеля крылом, — есть чему поучиться у чаек! Я — ученик.

Моим учителям не нужно гонорара, они все учат бесплатно и даже, напротив, они же благодарят меня за внимание. Иногда мне кажется, что они заряжены, как электрическая туча, и множество носятся, чтобы куда бы только ни избыть свою силу, разрядиться во что бы ни стало куда-нибудь, хоть в печку! И вот тут я: ученик, внимательный, усердный, жаждущий, и все мне, как роса на траву…

Массовый вылет комаров

Северный ветер. Прохладно. «И хорошо, — подумал я, — пусть немного постоит время, а то с часу на час должен произойти массовый вылет комаров, и тогда прекратится охота, леса сделаются почти недоступными». Мы шли берегом озера к Никитскому монастырю с Михаилом Ивановичем, рассказывавшим мне о Никите Столпнике.

— Насыпали вал Переславской крепости, — рассказывал Михаил Иванович, — а он, Никита, был подрядчиком и, значит, конечно, брал взятки, грабил здорово! Я всегда теперь говорю: «Взятки брать можно, только потом надо раскаяться». Представилось тому подрядчику однажды, будто в горшке у него со щами голова человеческая, руки, ноги, есть не захотелось. Пошел каяться в монастырь, а там не принимают: «Ты, — говорят, — три дня постой у ворот!» Когда прошло три дня, пошли монахи его звать — и нет его у ворот, где же он? Поглядели, а он тут рядом в болоте по пояс голый стоит, и над ним целый столб комаров, и весь он в крови. Комариный ли столб, как это бывает, или подражание южным монахам, только Никита с того часу захотел, чтобы самому в столп войти. Там на юге-то тепло, они там стояли на угловых башнях столбами, а у нас не простоишь зимой. Вот тогда Никита взял и «ископа себе столп». Да так и простоял всю жизнь столпом в колодце. Я теперь и говорю: «Взятки брать можно, только надо иметь в виду, чтобы потом войти в столп».

Мы вошли в монастырь, осмотрели выложенный теперь камнем колодец Никиты Столпника, потрогали пудовые вериги. Монаха, единственного уцелевшего здесь, Михаил Иванович спросил:

— Ходят?

— Похаживают, — ответил монах.

— Вериги надевают?

— Возлагают.

— А эти камни зачем?

— На голову. Помогает от всех болезней.

Выходя из монастыря, я спросил Михаила Ивановича об этом монахе, и он ответил:

— Блудник!

Отойдя немного от монастыря, мы вдруг почувствовали перемену погоды: ветер почти совсем прекратился, на озере волны улеглись, стало очень тепло.

— Тут где-то сохранилось и то болото, — сказал Михаил Иванович, — помните, где по пояс стоял Столпник.

Оглянувшись вокруг, мы вдруг увидели на солнце серый столб, как бы смерч, немного подальше был другой, там третий, четвертый, везде, куда только ни хватит глаз, — был такой серый столб.

Не сразу мы поняли, что такой был вылет комаров. А между серым столбом было небольшое болото.

— Вот оно! — сказал Михаил Иванович.

И мы, ученые люди, неверующие, — явление природы, перенесенное за 700 лет, — стояли, пораженные совпадением рассказа о Столпнике с явлением комаровских столбов. Не было ни одной старушки, чтобы перекрестить и комариные столпы, последний монах-блудник не ведет тоже, конечно, свою благочестивую летопись. Я отметил в своей записной книжечке: «Пятница. Мая в 6 часов вечера: массовый вылет комаров».

Вблизи Никитского монастыря, по всему крепостному валу древнего города Клещин, от которого больше ничего не осталось, рядом с Александровой горой, где в еще более древнее время совершались жертвоприношения язычников, мы отдыхали, любуясь видом совершенно тихого озера.

— Нет, — сказал Михаил Иванович, — я с юности был этим отравлен, я не только не верю, но у меня даже и волнения нет в душе по поводу этого.

— Но это, — сказал я, указав на озеро, — это, Михаил Иванович, и наука нам, и трава зеленая, и небо, ведь это настоящее.

— Да, — ответил он, весь просияв, — я это люблю, это настоящее.

На радости мы откупорили бутылку вина и подкрепились стаканом портвейна.

Много мне рассказывал Михаил Иванович о лесном чудесном крае, о древностях, о… Восхищенный рассказами, [чувством]

любви этого человека к своей родине, я сказал:

— Сколько вы сделали, вы у нас такой в этом единственный человек.

Михаил Иванович ответил:

— Ну, ну… вот еще, это не я, это край: край-то какой!

11 Мая. Опять вышел день по-мешанный: менялся ветер, являлись тучи рыжие и тучи синие, одни проходили, другие проливались, и вдруг как ни в чем не бывало солнце вызывало нас: «А ну-ка выходите, посмотрите, что стало в лесу, пока тучи менялись».

И мы почти не узнавали знакомых лужаек и перелесков: так все, правда, изменилось в зеленой одежде. Развертывается коровий напар.

Совершенно стихло к ночи, озеро долго цвело после заката: было все ровно золотое и с обычными своими на золотом белыми полосами.

Лягушки-турлушки всюду начали свои ночные трели.

12 Мая. Тихое роскошно-росистое зеленое утро. Плещется в зеленом свете радостно-победный крик иволги.

Ездили по Трубежу в город за провизией. На обратном пути через озеро белая бабочка села к нам в лодку, видно, очень утомленная перелетом через все озеро. Мы ее взяли, подбросили, она взвилась высоко над водой и полетела к нашему южному берегу. Потом видели мы перелет еще одной, другой… Вероятно, дыхание южного ветра, сухой нагорной нашей стороны вызывало их на большое путешествие за 7–8 верст.

На озере были очень большие, штук до 100, стаи свиязей, при нашем приближении они свистели по-своему и с очень сильным хлопаньем крыльев поднимались и перелетали дальше. У берега носились стаи турухтанов.

До 12 часов дня озеро было стеклянно-тихое и на небе не было ни одного облака. И так это осталось все тихо на весь день, и вечер, и ночь.

13 Мая. В четыре утра будит иволга, не могу спать! Выхожу как есть, босой, в одной рубашке, ставить себе самовар на крыльце, и ничего, тепло. А ведь по-старому еще Апрель не совсем кончился! Я иду, не стесняясь своим костюмом: комары по утрам не летают и людей нет совершенно. Тоска своим кулаком сжала мне сердце, но внимание к радости жизни не утомилось, а только глубже. Я догадываюсь о причине тоски: кто-нибудь из хороших людей не добром поминает меня, и за что? За то, что я

не показываюсь к ним, забыл, а я никого не забываю, но только не могу ходить в гости и как-то по-ихнему **поддерживать** связь. Я появляюсь, когда мне хочется, вдруг привлекло к себе, и вдруг исчезаю. Это их возмущает… Но нет, едва ли это причина тоски…

Нужно же помнить, что радость весны — это ежегодный свой праздник по своей той, единственной весне; каждый год, благодаря новой весне, я… глубже понимаю ту свою весну, и вот, когда доходит до последнего, до счастья рая, вдруг все обрывается: дальше я не понимаю праздника и что самое ужасное: множество родившихся планов жизни, нового дела исчезает, как дым. Вот, вероятно, потому я и с людьми так: схватив в себя в человеке его весеннее, я вдруг обрываю, когда дело доходит до лета, до рая, и в гости потом не хочу, связь не поддерживаю. Я так обманул множество людей, и они никогда меня не поймут, поминать будут худо…

Что раз пришло в голову и вдруг забылось, то никогда не забудется совсем, непременно при случае вновь выплывает — ах! Вот мой сон: будто бы Ленин попал в рай, удивительно: Ленин в раю! Сел будто бы Ленин на камень, обложился материалами и стал в раю работать с утра до ночи над труднейшим вопросом, как бы этот рай сделать доступным и грешникам ада, осужденным на вечные муки.

Листья осины выходят из бурого цвета в обычный зеленый, но очень неровно: одно дерево стоит совершенно зеленое, а рядом другое бурое — почему это?

Черемуха в крепком цвету, и незаметно, чтобы начала облетать, а на акации кое-где уже показались желтые цветочки. Принесли ветку цветущей яблони. Лесничий сказал, будто бы глухари и тетерева уже две недели сидят на яйцах, и значит, через неделю выведут (совершенно невероятно). Однако ворона возле меня совсем близко криком кричала тем голосом, какой у нее бывает, когда молодые вылетают из гнезд и сидят где-нибудь на кустах дураками. Подозревая, нет ли уже молодых ворон, чтобы отметить себе это событие в ходе весны, я подошел к вороне поближе, и она не улетела, но кричала не от моего приближения, а сама по себе, и ей другая ворона отзывалась внизу горы далеко в кустарниках, кроме того, там, внизу, кружилось и кричало множество грачей, галок и сорок, иные сидели нелепо прямо на кустах орешника, как никогда не сидят эти птицы, как важно на елях, и в общем как будто судили кого или делили. А моя верхняя ворона, надрываясь, все звала и звала оттуда, и там ей иногда глухо отзывалась ворона. Вдруг оттуда, снизу, вырвалась судимая ворона, и вся масса грачей, галок и

сорок взлетела вверх. Очевидно, на крик моей вороны нижняя летела с большой быстротой, и моя сорвалась с сука и помчалась с ней вместе в зеленое поле.

И я думаю, это был не вылет молодых, а, наверно, ворона хотела ограбить грачиное или галочье гнездо, была захвачена и судима.

Наш юноша, мельник Гремячего ключа, пришел в город весь в грязи: и руки грязные, и лицо, и рубашка, а рядом с ним шел настоящий рабочий, и совершенно чистый. Очевидно, мельник разыгрывает из себя трудящегося, и я думаю, даже не для карьеры, а просто по усердию.

Сергей Сергеич собирает целые ведра майских жуков, надеясь найти среди них одного с черненькой шейкой. Я выудил у него ценные мне сведения, что некоторые виды насекомых встречаются на определенных цветах, и так как цветы определяют пейзаж, то знать это насекомое очень мне полезно (усачи на сосновых бревнах, шмели на клевере…).

В 9 утра Веськовское стадо погрузилось в озеро и осталось там по брюхо в воде, дремлет и жует над тихой водой.

В краю, где не было революции, однако, незаметно произошла перемена в умах (человек в 50 лет сказал: «Если Бог не постоял за нас в это время, значит, его и нет». — «Отчего, — ответил печник, — он, может быть, и есть, да ему до нас все равно, как до комаров». — «Ну какой это Бог! тогда уж пусть будет лучше человек». — «Да и человек тоже, если поставить его на всю власть, то как же он может вникнуть в каждого, что кому нужно»).

На Трубеже в Рыбной слободе мальчики удили рыбу, и у одного над самой головой сидела на шесте чайка, мы удивились, как мальчики не швыряются в нее, подумали, не больная ли? Махнули веслом, и она полетела. Много надо было отцам внушать детям, чтобы они не тревожили птиц, а этим отцам внушали деды, а дедам прадеды, и велось издавна, из поколения в поколение передавалось считать чайку птицей как бы священной. И вдруг явились комсомольцы и объявили тему: чайка — вредная птица: питается рыбой. Прислали мне дать справку о деле выстрела. Сделали расчет на пух, предложили массовое исследование школам чаек, подсчет их. И уехали, прострелив из нагана двумя пулями рамы отведенной им в музее комнаты.

Мальчишки налили мне лодку водой и унесли черпак, я долго стоял по колено в воде, — совсем вода теплая! — и выливал, раздумывая и вспоминая всех ужасных мальчишек войны и революции, в деревнях, в вагонах, в колониях, на городских улицах. И когда я думал о мальчишках, вставали искривленные души их воспитателей, учителей и учительниц, этих рабов, под контролем власти воспитывающих свободных граждан. Были, конечно, среди тех и других отдельные люди, но… я устал и меня давит масса. Между тем из-за этих немногих праведников обыкновенно терпят и скрашивают все остальное: и так было всегда, и так же теперь говорят и пишут.

<На полях:> Иван Акимыч Думнов сознает, что Думнов с Петром Великим думу думали. И еще у него есть: он человека убил. Он очень вежливый, готовый, но всегда дипломат, и неизвестно, что у него на уме. Его боятся и боятся указа Петра: «взыщется на вас и на потомках ваших».

Варвара-сирота, Маня-корненожка. Букашка-Букаша, букарашка. Почему все, кроме великороссов, — лучше. Великоросс — землемер среди башкир.

Лягушки — (любопытство) и почему не было концертов, не ожидается ли непогода?

В деревенской читальне было много народу, кто читал газету, кто тихо беседовал между собой. Я завел речь об убийстве Авдотьи, и вдруг все замолчали. Потом я спросил: почему?

— Среди нас был убийца (Иван Акимыч).

В Переславском краю крестьяне рассказывают, будто с какого-то высокого места Петр Великий увидел прекрасное озеро и как любитель воды повернул коня и поехал прямо на озеро несжатыми полями. Возле деревни Веськово на южном берегу озера Петра остановила какая-то женщина и принялась его ругать: «Мы работаем, а ты, бездельник, нам топчешь». Петр будто бы уважил.

За час до заката мы с Сергеем Сергеичем вышли на тягу жуков и сели против зари.

У крестьян жуки называются самые маленькие — букарашки, средние — букашки и большой жук — букан.

Говорили, почему все инородцы, все, даже русские малороссы, белорусы, неизмеримо лучше наших великороссов, и так решили, что неприятные черты великоросса явились вследствие его господства над другими племенами.

Мы убили одну ворону, вероятно, самку, а другая осиротела и

стала очень кроткая, почти ручная, она совсем не боялась больше нас, и когда мы пили чай, то бросали ей хлеб, и она подбирала. Я вспомнил про Машу-корненожку, как она из-за укороченных ног не приходилась по вкусу парням, утончилась, осиротела, и когда мы ее взяли к себе в прислуги, то стала самым верным нашим домашним человеком.

14 Мая. Соловьиные ночи. Они прилетели рано и пели, но что это было за пение, а вот теперь поют насквозь ночь, — и никуда не уйдешь от этой песни.

Я, конечно, выбрасываю из себя демократическую неприязнь к соловьям.

В 7 утра мы выезжаем на лодке в Усолье.

Озеро было тихое и под белой вуалью. Чья-то лодка по большому белому далеко там плыла, ползла, как муха на простыне.

Пыльца цветущих лесных деревьев и луговых трав тонким слоем покрыла поверхность воды, и от хода нашей лодки оставался неисчезающий след, как будто озеро еще не умылось. А говорится: «На воде следа не видно», — виден был не только след лодки, но и плавающих по озеру птиц, уток, чаек, и если рыба взметнется, то и от этого остается кружок.

<На полях:> Усольская лодка: мужик перевернулся и приплыл, обняв дно, с закостенелыми руками в Никитский монастырь.

Я держал курс по прямой линии с Ботика на угол бора против рыбацкой избушки, и через полтора часа мы были против Тресты{146}, на глубоком месте с поднимающимися там и тут на поверхность воды пузырьками воздуха от множества подземных ключей. Высокие, желтые, как песчаная отмель, стояли у берега прошлогодние тростники, а новые зеленые только что зарождались под водой.

На фоне Хапуньской боровой возвышенности перед нами был низкий болотистый берег, поросший светло-зеленым ивняком, и тут, в этих болотах, нам надо было угадать устье реки Вёксы, это было не так легко, но единственная старая высокая лозинка подсказала нам выход реки из озера, а главное, множество уток разных пород: более редкие теперь были самые обычные здесь — кряквы, чирки, — вероятно, потому, что они уже совершенно угнездились, хотя раза два мы слышали, как топтал где-то кряковый селезень утку; большие стаи белогрудых черней вздымались при нашем подплывании, сильно хлопая крыльями, и так же много было свиязей с их характерным посвистыванием; любопытно было следить за нырками, всплывающими там и тут

из-под воды, исчезающими, чтобы неожиданно появиться иногда совсем в другой стороне.

И так хорошо нам запомнилась на время осеннего перелета та высокая ива у заводи, окруженная зеленеющим тростником с большим желтым пятном цветущих водяных растений, — вот мы тогда постояли под этим деревом! Неподалеку от старой ивы мы вошли в озерное устье реки Вёксы и сложили весла: лодка бесшумно поплыла между букетов желтых цветов, только держа рулевое весло, чтобы не втянуться в сплетение кустов лозы, тростника.

Раз, ударившись так, мы спугнули совсем близко сонного крякового селезня: неужели уже начинает линять? другой раз взорвалась пара свиязей, и чирочки, видно, прямо с гнезда трухляво полетели и тут же сели. Трудное у них теперь наступает время. Речка то расширяется и становится мелкой, на песчаном дне видны все ракушки, то сужается и образует глубокие непроницаемые вары{147}. В солнечных лучах, пронизывающих плесы, кишат верхоплавки, а раз, видели мы, прошла, как подводная лодка, большая щука, она шла, наверно, не очень быстро, но мы очень скоро, бесшумно плыли, она мелькнула, как изображение в моментальной камере, и я не успел выстрелить.

Трудно запомнить в первый раз и представить себе план излучин реки — до того их много! иногда они идут параллельно, разделенные жидким, поросшим осиной грунтом, всего в несколько десятков саженей, стоило бы какой-нибудь час-два поработать, прорыть канальчик для лодки — и сколько бы сократилось времени при поездке. Но этот человек, Усольский рыбак, как будто не хочет портить первозданный пейзаж и едет, ныряя в излучинах: вон показалась голова женщины в белом платочке, исчезла, как нырок, показалась далеко спустя в противоположной стороне: такая энергичная голова! и опять нырнула в кусты. А мы ведь в это время тоже ныряем, и им тоже, наверно, любопытно встретиться с нами, но что же делать! Наконец она показалась вся до колена с веслами в руке между желтыми цветами, в последний раз исчезла, вот мы быстро едем друг другу навстречу: та женщина в белой косынке, стоя, работает на носу одним веслом, а на корме сидит сам хозяин, бородатый, русый. Она пронзила нас острым взглядом, измерила все точно. Мы успели спросить: «Куда?» — и, получив ответ: «На базар!» — расстались. Говорят, где-то есть тут островок, называемый Татьин куст (тать — разбойник, вор): как удобно было [скрываться] тут этому Татю: ныряет, ныряет лодка в излучинах, и вот, наконец, раз! куст — и выходит из куста **тать**!

Одна из таких излучин подвела нас к сухому песчаному обрыву с опасными, нависшими над рекой высокими соснами; казалось, довольно одного порыва хорошего ветра, чтобы сосны пришлепнули плывущих по реке, как комаров. С осторожностью миновав это опасное место, мы вышли на берег и стали готовить себе обед в бору. После воды в бору показалось нам жарко и сухо, как в римской бане. Через некоторое время к берегу, поросшему цветущей черемухой, подошел человек, увешанный сумками и с очень длинной удочкой, он не заметил нас, или, может быть, не хотел замечать, снял с себя сумки, положил удочку, снял сапоги и помолился как будто на реку или на куст черемухи. «Нет ли у него рыбы, вот бы хорошо уху сварить!» — сказали мы, и я пошел к нему. Это был сухой человек неопределенного возраста, с голым, коричневым и сморщенным в кулачок лицом. Я сказал ему: «Здравствуйте!» Он мотнул головой и начал мыть в реке портянки. Я переждал и подал звук: «Тепло!» — «По старому 1-го Мая, — ответил он угрюмо, — надо бы плотве идти, а когда она уж прошла!» Разговор опять оборвался. «Из Усолья?» — спросил я. «Из Переславля», — ответил он. И мы разошлись, сказав на прощанье, я: «Очень жарко ходить», а он: «Очень тепло».

Мы пили чай под огромными соснами, роскошно переваливаясь с боку на бок, и смотрели на этого рыбака издали: видели, как он хозяйственно переобулся, вымылся, обвешался, перекрестился на черемуху и удочку, необыкновенно длинную, положил на плечо и пошел.

Мы очень долго были в лесу и наконец, решив сделать свое дело в Усолье и сегодня же ехать назад, сели в лодку и опять начали нырять по излучинам. При одном из поворотов мы увидели, из тростников высунулась рука и спустила совершенно черный чайник в воду, показалось сморщенное в кулачок лицо. Узнав меня, странствующий рыбак как будто посветлел. Я ему улыбнулся и сказал: «Чайку попить?» — «Ну, што ж», — ответил он.

В Усолье приплываешь, как будто и не в село, а в какое-то жительство лесных существ, не нарушающих общий пейзаж: так все вокруг лесисто, болотно, так много природы. Набежали тучи, пошел теплый дождь, и мы сели в [трактире] переждать. Когда прошумело и снова опять стало тихо и солнечно, на улице показалась церемонная процессия, и мы подумали было сначала, что это с похорон возвращались, только очень уж празднично разодеты были девушки и парни. А может быть это свадьба. «Женихова родня, — сказали наАм, — идут на невестин двор,

выкупать елку».

Раздобыв в Усолье третье весло, мы и против течения в своей легкой лодке пошли хорошо, а главное, много силы прибыло, оттого что после теплого дождя стало так глубоко, душисто в смоляной зелени. В усладе болотных желтых цветов и орошенных теплым дождем молодых трав кряковый селезень до того разомлел, что допустил нашу лодку на двенадцать шагов, и тут мы заметили в желтых цветах его зеленый затылок, но мне нельзя было его взять, потому что как раз против на другой излучине под старым тростником метнулось длинное знакомое белое удилище. Нам суждено было еще раз встретиться со странствующим рыбаком, он уже привык к нам, и у него на лице вышло что-то в виде улыбки. Обогнув осторожно поплавок, мы приткнулись на минуту носом к берегу.

— Поймали?

— Две штучки.

— Ну, что же, — сказал я, — две да две, глядишь, и десять, а там и уха.

— Только и надо, — сказал он, — уха, а хлеба я надолго запас, на неделю хватит.

Больше сказать было нечего, постояли, подумали, нет: что же тут говорить?

После, когда мы дальше уже отъехали, я сказал своим:

— А ведь это не простой человек.

С этим мы все согласились и так решили, что был он человек, и потом у него все кончилось, и когда все кончилось, то вот явилось это: ходить и радоваться цветущей природе, букетам желтых цветов, рыбе, утке, бору. Нам было очень хорошо, и мы все дружно сказали:

— И хорошо!

Мы взяли желну в брачном наряде, крякового селезня, и раз я промахнулся от качанья лодки в налетевшую скопу. При выходе из реки возле знакомой нашей ивы, где было так много уток, в густых болотных кустах рявкнул водяной бык: вберет в себя воздух и ух! раз, два, три, помолчит минут десять и опять ух! бывает до трех раз, до четырех, больше шести мы не слыхали. На воде этот звук такой ужасной силы, что кажется, будто это самое меньшее гиппопотам, и просто жаль становится своему знанию: выпь, безделушка.

Озеро и вечером было совершенно тихое, но напуганные рассказом о вёрткости усольских лодок и внезапных бурях на озере, мы решили плыть, не упуская из виду темной линии берега. В тишине на воде была слышна вся жизнь большого озера,

и если бы научиться узнавать значение всех этих звуков, то много бы можно было порассказать, и мы уже теперь много знали: там трещал чирок в быстром полете за самкой, там слышался рокот крякового селезня подплывающего, и потом он ее топтал и душил, у черней было какого почти по-вороньему, свиязи посвистывали, — а то вдруг гомон всех невидимых стай — непонятное. Из леса чуть доносился соловьиный рокот и концерты зеленых лягушек. Журавли крикнули, хорошо, через все почти озеро было их слышно.

На фоне зари, привыкнув к полумраку, мы все-таки различали, как там и тут покажется обманчивая, исчезающая шея нырка. Что-то караулила в воздухе большая ночная птица — скопа или сова? Вдруг недалеко от берега в розовом всплеске воды сверкнуло белое брюхо небольшой щуки и показалась огромная черная голова схватившей ее большой. Сверху на эту возню мгновенно бросилась та большая птица, скопа или сова? Верно, она хотела ударить в маленькую щуку, но впустила коготь в большую. Все было видно только на одно мгновенье, но очень отчетливо: птица била о воду крепкими крыльями, стараясь вытащить щуку, но она была сильнее и тянула ее в воду и утянула. Сейчас же наша лодка приплыла к этому самому месту, и тут была воронка и везде пузырьки, выходившие из родников.

А это [лягушки] были озерные, в утином царстве, почему там был такой гомон всей силой, разными голосами?

Потом облака закрыли весь свет зари и звезд, едва-едва стала различима темная полоса леса, и я, не имея никакой точки впереди, правил просто налево, против посолони{148}. Каждый раз, когда ухал водяной бык, мы принимались считать, дивясь этому звуку и загадывая: сколько раз ухнет. Было удивительно слышать за две версты, потом за три, и так все время не прекращалось, и за семь верст, когда уже слышалось пение бесчисленных соловьев Ботика, отчетливо ухал и водяной бык. Только уж когда мы вышли на берег, общий хор соловьев Ботика закрыл этот звук.

Мы еще не успели поужинать, как вдруг наружная дверь с шумом открылась: сильнейший ветер затрепал деревья, зашумело озеро, полил дождь. И, вспомнив на высоком берегу того человека с удочкой [в кустах] в глухом болотном углу, где жил водяной бык, мы сказали:

— Как же он-то теперь ночует?

Но, вспомнив и свои лесные приключения, ответили:

— Где-нибудь под елкой.

15 Мая. И опять тихое влажное утро. Днем переменно. Пух летит (массовое рассеивание семян ив), как снег. После заката озеро осталось все синее с легким румянцем. Прекрасно было это тихое озеро, лицо леснины, но если бы стало оно лицом человека: синее с легким румянцем, какое бы это было страшное лицо!

16 Мая. Ботик с каждым днем все больше и больше оказывается публичным местом (Петров дух).

Ясное росистое утро. Еще не поблекли цветы черемухи, а яблоня в полном цвету и желтая акация. Все цветет вместе. Прилетели стрижи.

После полудня ветер переменился, стало холодно, небо закрылось синими тучами. Погода резко переменилась. Вероятно, начались майские холода.

Обсуждая с М. П. предстоящую нам на 14 Июня экскурсию в Нагорье ко дню Крапивного заговенья, решили, чтобы не утомляться ходьбой, «ехать на попе» (то есть на лодке, а безработный поп будет грести). И мало-помалу при обсуждении этой поездки явилась мысль превратить ее в экспедицию по рекам Нерли и Кубре (Кубря — кубрится). Так будет изучено Залесье («древляне»), а после можно проехать по другой Нерли к «полянам».

Озера, как глаза. Если мальчишка сикает, ему говорят: ссышь в глаза матери. Ростовское и Переславское озера — два глаза Суздальской земли.

Великороссы:

Люди там лучше, где было меньше всего драки за власть, больше всего дралась за власть Великороссия, и потому, может быть, нет на Руси более неприятного народа, чем великороссы.

Из Ключевского:

«Великорусское племя вышло не из продолжавшегося развития этих старых областных особенностей, а было делом новых разнообразных влияний, начавших действовать после этого разрыва народности, притом в краю, который лежал вне старой коренной Руси и в XII веке был более инородческим, чем русским краем».

Я, конечно, был сам нехорош и виноват, но мне очень хотелось жить дальше, и потому, не думая о себе, я сочетал все неприятное этого случая с образом этой женщины{149}, вообразившей себя Анной Карениной.

18 Мая. Ясно, ветрено с севера. Продолжение холода. Рожь в

колосьях. После короткой операции освобождается колос. Кое-где всходит вика с овсом.

Буря. По озеру беляки, будто лед идет. А сирень распускается.

(Бессонов — охотник. Отец Леонид — сапожник. Иван Иваныч — 74 года, рыбак.)

Много лет со мной пережила одна большая книга{150}, которую я никак не мог начать читать. Когда вдруг оборвался страстный, бурный ход природы и мне не захотелось никуда выходить, не было у меня ни газет, ни журналов, ничего, — я вдруг принялся со страстью за чтение этой книги, и в три дня не прочитал, а выпил ее. Так вот и этот дремлющий край может…

<На полях:> На мокрой песчаной дороге следок босой детской лапки — какой милый! поцеловать бы…

19 Мая. С утра постепенно стихает ветер и теплеет, к вечеру не колыхался ни один лист на березе, кричали перепела и дергачи. Окунь идет. В оврагах еще не отцвела черемуха, а уже и рябина цветет.

К вечеру не стало тепло, но стихло совершенно, и, слышно было, с леснины за 7 верст ревел водяной бык, а в Переславле играл оркестр.

В музее: Сергей Сергеевич сказал:

— Посмотрите, какой изумруд, — и показал зеленого жучка с отливом в золото.

Я что-то вспомнил: подобные прекрасному цветку существа, прилетающие на свежие экскременты, и сказал об этом.

— Так то муха.

— Ну да, — ответил я, — муха зеленая с золотым отливом.

— А это жук.

24 Мая. Ездили в город против ветра, взяли парус на обратный путь, а когда ехали назад, ветер переменился и дул опять напротив.

Рыбаки никогда не выедут в озеро, чтобы из избы в лодку, а сначала выйдут на берег в устье Трубежа возле церкви Сорока Мучеников и осмотрят небо, озеро, сговорятся между собой, обсудят, как при таком утре, что дальше будет.

Недавно еще были три старика, понимающих в ветрах, теперь остался один Иван Иваныч.

Сегодня на заре целый флот городских удильщиков, а рыбаки никогда не удят.

Все как-то холодно. Вылетели из гнезд грачи. С обеда начал

собираться дождь и все расходился, но к вечеру обложило и пошел мелкий и надолго.

Переславские озерные рыбаки издавна спорят с Усольскими речными и постоянно жалуются на их хищнический лов мелкой рыбы саками; сами, конечно, тоже бы охотно ловили, да саками в озере и не возымешь, и милиция следит. Обидно тоже Переславским, что рыба по временам из озера идет вверх по реке и тут ее перехватывают Усольцы. Зависти к богатому лову сельдей Переславцами Усольцы не имеют, но имеют зато старую обиду к Переславцам за сутяжничество и с презрением говорят: «Мы работники коренные, а вы кто? Вас ведь Петр Великий посажал тут, а мы жили с тех пор, как свет стоит».

Брачный наряд (линька).

Два тяжелых времени есть в году: одно в Ноябре перед снегом, в гнилые дни, когда в воздухе пахнет сырыми раками и все лежит мертвое и непокрытое… Я теперь научился это страшное время коротать охотой с гончей на лисиц по чернотропу. Другое время, вот как теперь, когда после страшного первого подъема вместе с движением весны вдруг все то движение кончилось: тепло, роскошно одетые деревья, травы высокие, цветы, — кажется, как бы жить! — а между тем птицы замерли в крепях{151}, самцы болеют, линяя, самки которые выводят, которые уже вывели, измученные, исхудалые, звери тоже заняты поисками пищи для молодых, у крестьян всегда нехватка и весенняя страда: пахота, посевы.

Я тоже в это время растериваю мало-помалу перо за пером свой брачный наряд и замираю с больной душой в крепях. Денег в это время не достать: все редакторы разъезжаются на дачи, остаются только те, от кого ничего не зависит, и все просят подождать до сезона, до осени: я, поборовшись с собой в это время, или завешиваю окна от солнца, курю и работаю в комнате, или затеваю какое-нибудь исследование и за ходом природы не слежу.

До конца нельзя нам осудить и человека вовсе дурного, творящего явное зло, потому что по времени, может быть, именно это и надо, и это же зло в грядущих поколениях станет добром, и эгоисты, творцы зла, потом окажутся созидателями будущей жизни. Так в истории Русского государства первые московские князья, заугольные убийцы, коварные хитрецы, мелочные хозяйственники, впоследствии были высоко превознесены ходом

жизни над благороднейшими и норовистыми князьями Тверскими и Новгородским вечем…

25 Мая. Утром густой туман. Сыро. Солнечный день, свежевато, но теплее немного. Легкий восточный ветер. Перед закатом ветер пошел очень легкий от нас на озеро, а рябь шла сюда.

Солнце садилось из самой тучи в лес большим лохматым несветящимся шаром. Иволга не пела. Играл комар.

Мои впечатления (восприятия) такого рода, что я про себя чувствую себя хозяином всех накопленных до меня знаний и пользуюсь ими иногда, если они мне понадобятся, справляясь в книгах или у специалистов. Я не от книг иду, а от жизни, и книги мне только справка.

Но я человек готовый и таким же готовым людям, обладающим талантом и достаточным знанием, могу с пользой говорить, чтобы они поменьше читали и побольше внимали к жизни.

Если же я, не читавши, буду рекомендовать этот исследовательский метод против метода готовых знаний, то непременно я буду воспитывать самоуверенное невежество и пренебрежение к работе прошлых поколений (культуры).

В прежнем методе готовых знаний при всех своих недостатках есть в то же самое время метод воспитания уважения и организации внимания к труду предшествующих поколений и по тому же самому и критического отношения к самому себе. Нас этим забили, измучили, поработили, и только самые талантливые и дерзкие, овладев трудом прошлых поколений, выбивались к собственному творчеству. Казалось бы, из всего этого опыта надо сделать вывод такой: надо организовать школу таким образом, чтобы усвоение знаний давалось легче, чтобы и менее одаренные люди могли принимать участие в творческой работе. Между тем повели дело так, что чуть не с колыбели объявляют молодежь исследователями, а для усвоения знаний предлагают путь справки.

(Гурьянов принес и оставил у Серг. Серг. две пробирки, одна с ягодами можжевельника, другая с водой Гремячего ключа.)

Хорошо, если исследовательский метод в школе даст какие-нибудь и практические результаты, как, например, исследование личинок комаров в Сокольниках и последующее затем уничтожение комаров силами школы — очень хорошо! но вообще говоря, дело уничтожения комаров относится к обязанностям

малярийной станции, а исследование в школе должно прежде всего служить для скорейшего усвоения тех знаний, которые уже добыты и в отношении учеников являются готовыми.

Князь уехал в ханскую ставку.

26 Мая. С утра темно и потом часа на два дождь. Солнце и засверкала листва, а потом после обеда все теплее и теплее, к вечеру стало вовсе тепло, по-летнему, и с юга пошла на нас туча. Она свалила при ветре в заозерье под флейту иволги и визг стрижей, но потом вдруг оттуда пошел на нас белый клубок. Иволги петь перестали, а соловей почти до дождя. Грянул гром, озеро смутилось. Полил крупный теплый дождь.

Всем известно, что такое научное изучение, но художественное изучение знакомо не всякому; еще допускается художнику кисти сидеть и часами изучать свет, краски и линии в природе, но о писателе-художнике публика думает, что это ему дается так просто, наживается жизнью.

(Художественное изучение края с целью воспроизведения края потом, не расчленяя описание по частям: население, вомды, промышленность, а соединяя все и представляя край живым, как личность.)

27 Мая. Дождь. Когда показалось солнце, выехали на озеро четыре лодки и стали на якоря, Петя тоже поехал удить и стал недалеко от них на озере, пятой мухой.

Солнце скрылось за тучи, в заозерье вода стала, как серебро, и у нас — как сталь. Подул ветер — все почернело. Нашла большая туча, исчезли все полоски серебра и стали, везде чугун с белым взваром, и те пять лодочек то покажутся, то спрячутся. Полил дождь, и все лодочки скрылись в белой мути.

Я терпеливо стоял час на бельведере в ожидании света, и, когда дождь перестал и прояснило, одна за одной показались и лодочки. Целы! Я успокоился и сказал дома: «Целы!» И так раз пять за день дождь принимался, лодочки исчезали и опять показывались, вечером явился мокрый Петя, и мы ели уху из окуней.

<На полях:> Организация ненависти: нет буржуазии — чаек подай! Полезные и вредные животные (пролетариат и буржуазия).

Какие ночи! Я услышал с постели кукушку и посмотрел на часы: половина первого! Стал засыпать, а там рассветало, и кукушка чуть не сто лет обещала мне жить, иволги засвистели, соловей зачокал, рассыпался зяблик. Невозможно спать, встаю,

босой выхожу на берег, и там по озеру, вижу, едут на плоту люди, а скворцы везде на березах и с берез летят с червями в носах: у всех дети.

Вопросы рыбаку
1. Озеро
Ветры, прилет. Объяснение.
Легенды.
Глубокие места, мелкие.
Случаи: бури, грозы.

2. Рыба
Жизнь щуки от мала до велика во все времена и до.

3. Рыбак
Откуда начались (Петр) — отношение к Усольцам, артели.

4. Разное
Жизнь чайки.
Скопа.
Береговые ласточки.
Сельди,
Окуни, лещи.
Нет ли сказок.

Прежние берега озера.
Приливы.
Влияние луны.
Ключи.
Течения (полосы).
Рельеф дна.
Когда замерзает и вскрывается.
Язь Петра.
Где берег нарастает и где размывается.

28 Мая. Разбудила кукушка у самого окна. Посмотрел: половина второго! И пошло, и пошло: другая кукушка, иволга, соловей, — так и не мог уснуть.

Солнце и легкий ветер. Стерегут дождевые облака весь день. Сильно парит. Но к вечеру ветер потянул с озера и посвежело. Песня нашего соловья при полном развитии листьев на деревьях стала до того выразительной, что вечером слушаешь, как в концерте, и вокруг тебя тоже все слушают: можжевельник, береза, осинка — очень хорошо, без всяких воспоминаний и отношений:

прекрасно.

Андрей Иванович Острецов, адвокат, талантливый неудачник, подобный Ив. Ив. Рязановскому, и тоже вышел из духовенства.

Мелькает сюжет для бытового рассказа. Отец Константин выносил весь ход революции легко, потому что такой был жизнерадостный человек. Семья работала — шили башмаки и сапоги рыбакам, он сам перевозил через озеро. Но, бывало, [что] пьют морковный чай с черным хлебом, присыпая густо солью вместо сахара. А о. Константин вдруг скажет: «Вот хорошо бы… чего-то хочется? да, вот что: хорошо бы сейчас миндального молочка!» Приехал в гости двоюродный брат, известный был доктор, толстый, на 9 пудов, теперь худой, как в мешке, и вот человек в 50 лет уже говорит такое: «А знаешь, Константин, я теперь пришел к выводу окончательному: Бога-то нет, совсем нет и быть не может». Глаза у Константина стали круглыми. «Иначе, — продолжал доктор, — как же мог бы он допустить». С этого часу Константин задумался. И раз, проходя мимо пожарной дружины, поменялся: отдал рясу и взял куртку. Ему это предстало весело, как миндальное молоко, и, сняв сан, он пошел в исполком, объявил, что Бога нет и вот бы теперь ему подкормиться (миндальное молочко).

Параллельно этому в деревне история с Борисом: муж-черт. К попу: крестик надень. Уговорили, надели. Пошли благодарить Константина, а он не поп: в пожарной куртке.

<На полях:> (Те, кто ближе к Богу, всегда дальше от него.)

29 Мая. Бóльшая часть дня с утра все небо обложено, белó-мутное, сыро, свежо, пробовал моросить дождик. Ветер довольно сильный с севера. К вечеру все-таки солнце выбилось, немного и садилось из синей тучи.

Продолжение Юбилея.

Трудно о своих домочадцах написать что-нибудь плохое и то же о тех со стороны, кого любишь и уважаешь, так почему же не писать о них просто, как они есть, не придумывая им новых имен. Старший сын мой Лев кончает школу с кооперативным уклоном и в этом году будет пробивать себе путь сам, другой кончает семилетку, и его тоже можно легко перевести куда-нибудь…

30 Мая. Празднично, светло на небе и тихо на озере, в лесу птицы гремят, и кукушка с небольшою заминкой прокуковала нам жизни еще на сто лет.

Против Трубежа на воде залегли удильщики, целый флот. Мы тоже поплыли к ним и залегли. На тихой воде этим утром почему-то все увеличивалось: чайки были, как гуси, а лодки, как броненосцы.

Был такой час в это утро, когда рыбки прыгали из воды без перерыва, на огромное пространство, куда только усмотришь, блестела на солнце рыба и давала круги на тихой воде. Одна очень большая щука подпустила нашу лодку на пять шагов и вдруг ринулась огромной своей головищей вниз, взбурлив хвостом воду. Чайки начали свою работу очень оживленно, бросались камнем, исчезая в воде, и, выхватив уклейку, тут же в воздухе ее и проглатывали.

Солнце в неглубоких местах насквозь пронизало воду, и вот было видно: как неисчислимые рои пчел, — сновали там, стреляли, носились мальки и уклейки и у самого дна на песочке степенно стояли ерши, шевеля непрерывно губой.

Мы шутя наловили себе окуней на хорошую уху, съездили в город на базар и когда возвратились на Ботик далеко после полудня, то под каждым деревом там курился серый столб, как будто каждое дерево там дымилось: это был массовый вылет, столбами, каких-то крылатых насекомых несколько побольше комара.

Вечером тихое озеро от легкого ветра было похоже на карту океанических течений в географических атласах: на синей ряби белыми полосами были выведены капризнейшие узоры.

Отец Леонид мне сделал сандалии, и в узоре дырочек выходила корона. Этот поп на берегу попросил меня дать ему «факсимиле», а на воде, когда мы ехали с ним вдоль берега, переполненного разным людом, спросил меня с носа на корму, так что вышло на весь берег: «А как вы веруете в Бога?»

(Есть про него молва, будто, когда был в женском монастыре и монахини спрятали сосуды, Евангелия и муку, так он указал чека.)

Зарождение легенды о назначении колокола св. Варвары из Переславля в Москву для обслуживания в Сандуновских банях. В лавку вошел какой-то серый человек из деревни и, выбирая товар и посмотрев на бывшего в лавке попа, спросил хозяина лавки: «А правда, что, говорят, будто колокол св. Варвары назначен в Москву?» — «Как же, — ответил хозяин, — уже сняли и

увезли». — «Да зачем же это?» Моргнув попу и нам, одет прилично, он ответил: «В Сундуновские бани». — «Да ну, что же, зачем в бани?» — «А будут звонить: в баню по звону ходить».

<*На полях:*> (Производственное и личное (Христос).

31 Мая. (Ветрено и с половины дня и ночи серо: пробовал начаться дождь.) 6 — Воскресенье (на самом деле 7, потому что Вознесенье было в Четверг, а праздник 6 — Воскресенье приходится на Вознесенскую неделю).

Мы поставили парус и краем ветра с севера приехали скоро к устью Трубежа. Рыбацкий праздник (лодки, чайки, связка, архиерейская связка, поп над водами, митра качалась, звон над водами, певчие).

На Ботике праздник пионеров, учительницы речь: три основных требования, предъявляемых к пионерам, наследство Ильича, поняли? ну, конечно, поняли. Интернационал. От каждого осталась бумажка (взять от природы, но дать? — бумажку). Производственный учет личности.

Возвращение Михаила Ивановича из Москвы и начало приготовления к экскурсии.

1 Июня. Серое утро, но теплое и глубокое. Иволга и соловей поют. У всех скворцов в носике по червяку для детей.

Вот уже дня три мы приладились удить окуней: два-три часа фунта четыре, как раз на уху. Сегодня стал в 7 утра против Ботика, к 10 уха готова, едем, за нами туча с громом, и только мы дошли, дождь полил теплый, летний, крупный.

Днем было очень жарко, и в комнате становилось душно, мухи очень кусали. Но к вечеру переменился ветер, и не северный, юго-западный, а вдруг стало холодно и неприятно.

2 Июня. Ветрено, переменно и без дождя не обошлось.

Снаряжение экспедиции. Средства: продажа колокола св. Варвары (в Москву, в Сандуновские бани. Колокол не пошел).

Я смотрел на этот город вчера — какая сказка! Сторожевые чайки провожали меня долго до развилки дорог и, когда я повернул к монастырю, успокоились и полетели к прудам и опять на дорогу смотреть, нет ли кого еще. И вдруг святыня стала мне таким дорогим, и бремя все спало. Так бывает счастливое сочетание возраста с темпераментом, когда мы теряем страсти, уймитесь, волнения! и в истории, когда предметы культа превращаются в экспонаты музея, когда пережитое встает без

боли и сладости, а просто как материал для одумки — через свое о людях больших и малых и о том, что сделано ими в истории человечества. Так вдруг, оглядывая через крылья чаек сияющий на солнце город и голубую тень главы малой церкви Горицкого монастыря на белой стене большой, вдруг для меня выпало из русской истории иго татар и Ивана Грозного и раболепство служителей культа, я стал как русский совершенно свободен, и весь город церквей представился мне, как чистик [откуда выходит река]…

3 Июня. Все ветрено, волну бьет к нам от Кухмари. Слышал, что к какому берегу катит волну, там и рыба, и поэтому сегодня она бы должна быть у нас, но почему-то очень плохо клевала. Слышал, что щуку надо удить в полводы (опуск) на карасика, а окуня со дна. Рассказывал еще Зацепин, что удильщики ночуют на берегу, варят уху, у всех костры, и разговоры бывают замечательные,

К вечеру все затянуло, нависло, но мы уснули и не знали, чем кончилось. Проснувшись рано утром — дождь окладной.

<На полях:> (Четверг 4. Воскресенье-Понедельник 7–8 — Троица. Пятница 12-го отъезд.)

4 Июня. Что необходимо мне для путешествия.

Одежда.

Новые сапоги (взять в субботу у попа) и валенки.

Пете полушубок, ковер и одеяло.

Белье — на себя и одну перемену.

Пища — кроме общей: в белую сумку: сало… сахар, 10 коробок папирос и 3 пачки махорки. Спички.

Папка и 1 [блок] бумаги, черный карандаш, перочинный нож, финский нож.

Сетка от комаров.

Фенацетин, аспирин, касторка.

7 Июня. Написать такую страничку (или две), чтобы на ней была вся русская история: от страны Мери{152} (Суздальская колонизация) до Николая II (бельведер) и кончая Веськовским председателем.

Весь день с утра до вечера борьба за существование, и у человека ведь то же самое, разве только сознание, но что сознание? Личная минута сознания прибавляет в борьбе только лишний фунт [корма]… Но, может быть, есть какое-нибудь другое сознание, где человек ступает совершенно независимо от

борьбы за существование?

Обратите внимание на завитушки пешеходной тропинки, ведь просто диву даешься, как ноги сами выбирают удобное место, какой-нибудь незначительный бугорок от крота или просто даже погуще трава от оброненного животным навоза, и вот извилина! и вот точно так же и, пожалуй, еще много чувствительнее, чем нога, бегущая по земле вода реки с излучинами…

Записать у Ефросиньи Павловны Троицын день (кумятся) и заговень Петровский (раскумываются).

5 Сентября. Стрижи уже давно улетели, а ласточки табунятся. Пожелтели сверху донизу липы и в болотах осины и березы. На суходоле в березах желтые только кисточки. Было уже два морозца, картофельник почернел. Везде постелили лен (и непременно с «зеркальцем»). Пошел дупель (пролетный).

Дожди замучили крестьян. Вчера было очень холодно, ветрено, сыро. Федор Кожелин (в селе Пожарском) пашет перелог{153}. Жена к нему пристает: «Тужурку надень. Я тебе говорю: тужурку надень!» Она же к сыну-мальчику робко обращается: «Ты бы пошел огурцы собирать».

Слышу: «Ко-ро-ва!» — и думаю об этой священной крестьянской материальности. Представляю себе, что если какой-нибудь озорник убил бы корову, то хозяин ее может убить озорника и будет оправдан. Корова — это самость крестьянина, это он сам, материализованный, и притом общественно: она своим навозом удобряет землю, молоком кормит человека. Ищу в своем писательском деле, в этой «духовной» деятельности паритет коровы и нахожу его в «Курымушке». Так можно иногда быть довольным, это в известном смысле книга равноценна корове. В этом чувстве общественной самости и коренится религия (старая и новая), остальное все кухня религии.

Леве необходима какая-нибудь материализованная мечта: я подсунул ему Байкал, и теперь он мечтает сделать исследование Байкала (вместо того чтобы бродить с мельником «как Максим Горький»).

1-го Сентября прислали 500 рублей за комнату. Рассчитываю получить за «Родники Берендея» с «Красной Нови» 500 рублей, с Госиздата 400 рублей, итого у меня есть 1400 рублей, на которые можно жить всю зиму.

Через неделю отправляю Леву обделывать мои литературные дела.

6 Сентября. Был у меня на один день Руднев.

12 Сентября. Вчера на охоте у Пети Ярик ушел за зайцем и не вернулся. И я не стал его искать.

Ежедневно дожди. Хорошо только вечером, когда зажигаешь рабочую лампу. Начались вечера.

Алпатов вспомнил своих двух мальчиков, умерших младенцами: у него не было к ним никакого чувства, но думалось, что мать наверно и сейчас найдет у себя в душе чувство утраты их. Потом ему почему-то вдруг вспомнилась та девушка, которую он любил, как ребенка, но она потом влюбилась в него, жизнь разделила их, и так все осталось нераскрытым, неконченным. Вслед за этим вспомнились опять умершие младенцы, и потом оказалось, что девушка эта была ему то же, что и умершие младенцы: начатая трагедия…

13 Сентября. На полчаса рано показалось солнце, и опять мелкий холодный дождь. Я ходил в Ляхово болото. Дупеля уже не нашел (верно, пролетели). Убил гаршнепа, много коростелей и черныша. Ласточки в полях большими стаями.

15 Сентября. Утро — дождь. Петя начал вчера ходить в школу. Думаю продолжать роман.

Робинзон купил ружье и, еще не умея стрелять, придумывает сделать светящуюся мушку. Он вечно ходит с какой-нибудь придумкой, возникающей и умирающей, как подёнка. Это потому, что он сдвинут с места, его придумка — воздушные мостики к своему месту. У Левы тоже такая психология: блудные дети. Они будут смешны и жалки, пока не добьются чего-то реального: Робинзон уже застарел, на Леву есть надежда: смешное — великое.

16 Сентября. Каждый день бью тетеревей с Кэтт. Это надо запомнить, что после пролета дупелей начинается самая хорошая охота на тетеревей. Заветы охотника: 1) Прежде всего охотнику надо научиться молчать: нет несноснее охотника-болтуна. Надо научиться быть самому с собой. 2) С самого начала собака должна быть непременно самая хорошая: хорошая собака сама учит охотника, как надо ее натаскивать; от плохой собаки и хороший охотник теряет веру в себя. 3) При натаске надо к словам прибегать лишь в крайнем случае, а действовать жестами рук, глазами, нечленораздельными звуками из согласных: вроде тсс!

Разговаривать с собакой по-человечески вредно. 4) Отношение к товарищу.

Тетерева принимают Кэтт за овцу и, взлетев, тут же садятся. Я часто принимаю ее за березовый пень.

Из отношений охотника к собаке можно много получить материалов для изображения первобытного человека (например, язык: молчание и рабочее слово).

17 Сентября. Ефросинья Павловна забыла отвести Верного в подвал, и он ночевал в конуре на цепи. Утром налетела собака и сильно его искусала. Собаку мы убили. После долгого раздумья решили, что с двумя поднадзорными собаками нам не управиться, и дали Верному стрихнин. Яд подействовал только через два часа. Ночью его закопали в кустах и когда возвращались с Павловной домой, то совершенно было так, будто похоронили человека, и в заключение так же стало легко, что в конце концов все кончилось.

Этот день был единственный в Сентябре без дождя и даже с просветом солнца.

Вечером зашел ко мне художник Дмитрий Николаевич Кардовский.

Пробую начать повесть о взрослом Курымушке параллельно написанной. Надо, чтобы революция захватила личность человека врасплох, и потому личность эта сразу вся всколыхнулась бы и стала как ребенок — Курымушка.

19 Сентября. Непрерывные с утра до вечера изо дня в день дожди, ветер и холод. Борис Иванович сказал, что дупелиный валовой пролет был 14-го Сентября (прошлый год 9-го). Значит, надо установить, что валовой пролет здесь бывает на границе нового Августа и Сентября (в этот раз при сильном дожде). После дупелей выходят из лесов на опушки тетерева, и тут на них самая лучшая охота.

Я читал у Кардовских (Дмитрий Николаевич и Ольга Людвиговна) начало своего нового романа и окончательно утвердился в нем: работаю зиму.

Михаила Ивановича жмут дияволá. Петя переходит жить к Смирновым. Явился сторож Павел Михайлович Лезихин. Дали кирпич в Данилове. Нанять подводу, срядить печника. Леве поручить переговор с мельником. Найти дровокола. Пете, чтобы взял лампу, Павловне определить 20 рублей на ремонт белья.

Вода раньше всего чувствует умирание света, и в то время как

в лесу только начинается красивая борьба за свет и кроны на иных деревьях вспыхивают, как пламя, — вода лежит совершенно мертвая, и веет от нее огромной могилой с холодными рыбами.

Дождь поливает меня, ноги по колено в грязи, а голова горячая: я решаю неразрешимое. В конце концов, все сводится к тому, чтобы оправдать себя и утвердить свое бытие. Судите же вы, а я себя так сужу в оправдание…

Я любил в ней Марью Моревну и просил ее быть моей женой и понимал эту жену, как стальную связь мою с Марьей Моревной,

Она отвечала мне, что женой она моей быть не может, потому что она не Марья Моревна, а просто Варвара Петровна и родители ее из высшего общества выбора ее не одобряют, будут издеваться, и она не выдержит борьбы.

— Значит, ты меня не очень любишь? — спросил Алпатов.

— Это меня и мучит, мне кажется, я тебя люблю, я думаю только о тебе, я все бросила, все завертелось во мне, но когда я спрашиваю себя: «Могу ли я быть его женой?» — то отвечаю: «Нет!» И значит, я тебя не люблю. Суди же сам!

— Да, ты меня не любишь, — ответил Алпатов, — что же делать? Вот цветы, я люблю цветы, птицы поют — люблю птиц, я все люблю! У меня есть что любить, я не буду один: прощай!

И ушел.

Она опрокинулась в кресле, закрыла глаза, стала быстро краснеть, закрыла лицо, завернула свои юбки и стала рвать, и, когда разорвались, опять показалось пламенное лицо с закрытыми глазами.

В эту минуту вернулся Алпатов, он забыл что-то.

Она не пошевельнулась. Он падает перед ней на колени, положил голову на колени.

Она глаз не открывала: была вся пламень. Он был…

Потом он на мороз, холод…

Почему же так? Разве он потом не сжимал в своих объятиях деревенскую девушку так, что она говорила счастливая: «Нет, легче целую ночь молотить!» Почему же тут он не мог…

21 Сентября. Рождество Богородицы. Бабье лето.

Сегодня, наконец, переломилась погода и дождя не было. Лен улежался, подымают. Мелкий кустарник (осиновый) облетел. Вчера Петя нашел еще дупеля. Совхозное поле овса осталось некошенным — там тетерева. На жнивьях пошла уже зеленая рожь и кое-где уцелели васильки.

А потом вдали расставились ели и сосны с березами…

Вечером сильно вызвездило, наверно, будет мороз.

22 Сентября. Тихо в золоте, и везде на траве, как холсты, мороз, настоящий, не тайный и не тот, о котором крестьяне говорят: мо-рос, значит, холодная роса. Только в восемь утра этот настоящий, водяной мороз обдался росой, и холсты под березами совершенно исчезли.

А ласточки все еще здесь.

В лесу полный листопад, высокие осины над лесом, как уши, горят, внизу же у них все слетело.

Везде лист потек.

Вдали ели и сосны прощаются с березами.

А мне нравится это время, что наперекор всему отлично зеленеет озимь. С холма на холм, обнюхивая заячью жировку, по зелени перебегает Соловей, взлаивает, когда замечает, что след все свежеет, близится, все близится к опушке леса, спустился к болоту с кустиками и погнал…

Часть 1-я романа.

Свержение царя (материальный фокус этой части), как это подготовлялось в людях и как было принято: в деревне, в Петербурге. Курымушка едет в Питер с проектом осушения «Золотой луговины» (народ на войне — Николай, народ в деревне — Михаил, в столице — Сергей).

<На полях:> Смерть матери.

Часть 2 — Октябрьская революция. Раздел имения.

23 Сентября. Солнечный, почти жаркий день. От 1-й росы и до полного изнеможения я ходил по моховому болоту. Летают бабочки, совокупление стрекоз. Вечером жундели жуки.

Пишу роман в голове. Мария Ивановна узнает из газет, что Михаил получил премию в 1000 рублей за офорт «Перунов остров». Офорт на стене (батюшка спросил: «А что значит у-никаР») Михаил Счастливец. Свет переменяется.

А что, если восстановить Кащееву цепь?

Звено 1-е — Голубые бобры. Звено 2-е — Маленький Каин. Звено 3-е — Золотые горы. Звено 4-е — Мировая катастрофа. Звено 5-е — Любовь. Звено 6-е — Марья Моревна (смерть).

24 Сентября. Все утро, до 10 часов, была борьба за погоду, светило солнце, но сквозь дымку будто леса горели и по сторонам висели синие тучи. В конце концов, установился жаркий солнечный день.

Сегодня получено известие, что Воронский в восторге от

«Родников»{154}.

Старый писатель, как старый трамвай: превосходный трамвай, но гордиться тут нечем советскому человеку — сделан при царском правительстве. Воронский приходит в восторг, но до сих пор я не числюсь сотрудником «Красной Нови».

У всякого дело начинается через свой загад: загадает, а потом начинает работать. Но у большинства юношей, поступающих в высшее учебное заведение, между загадом и делом становится еще особая придумка.

Алпатов придумал сделаться инженером не по практическим соображениям, а потому, что инженер, с одной стороны, кажется почему-то, как офицер, а с другой, инженер — ученый человек, и в общем какая-то полнота жизни веет от слова **инженер**. Один Осип поехал в этот политехникум просто потому, что выгодно быть техником. Семен Маслов потому, что там было агрономическое отделение, и у него уже решено: служить крестьянам. Окалину было все равно, ученье он рано научился понимать как труд, как службу: он поехал, потому что ехали все товарищи. Земляк тоже поднялся вместе со всеми. А [кто-то] ленивый к ученью, поехал в провинцию, потому что тут не надо было держать конкурсного экзамена. И Жучка-учительница тоже поехала на педагогические курсы.

А почему Алпатов решил сделаться инженером?

Ревизия кассы
Леве на две недели жизни в Рыбаках — 10 руб.
Дрова — 40 руб.
Овес собакам — 10 руб.
Охота — 50
Повод — 4
Вставление окон — 4
Лампы — 15

_____
133 руб.

И с незаписанными на все такое, кроме еды, выйдет 150 руб.
С 1-го Сентября по 24-е истрачено — 185 руб.
Из них на зиму впрок и на охоту — 133 руб.
На еду — 52 руб.
Остается 325 руб.

Заготовка на зиму Поездка Левы в Москву

Валеные сапоги — 15 р.
Воз соломы — 1р.
Белье — 30 р.
Чулки шерстяные — 8 р.
Плита — 20 р.

_____
74 руб.

Дорога — 10 р.
Еда — 15 р.

_____
25 р.

_____
Всего 100 руб.
Остается на жизнь: 225 руб.

В Музей:
Печники
Деньги 20 р.
Лампу

Содержание Пети — 20 руб.
Левы — 20 руб.
Нас — 40 руб.

_____
80 руб.

Хватит на Октябрь и Ноябрь — до 1-го Декабря.

«Родники» с «Красной Нови»: 500, [денег] хватит до 1-го Апреля.

Рабочие месяцы: 6: минимум 4 листа, т. е. 500 р. — на лето.

Резерв: на случай налога и комнаты в Москве: с Госиздата за «Берендея» — 400 руб.

25 Сентября. Так и пошло изо дня в день: ясно так, что ни облачка, ветрено, сухо и к полудню довольно жарко, так что листва подсыхает быстро, падает и разлетается.

Ласточек больше не вижу.

Недавно Лева спросил: «А что, будут еще кучевые облака?» Сегодня около полудня на чистом небе показались два облака-корабля, окруженные каждое пятью лодочками. Казалось бы, из этого должны были разрастись роскошные облака, но они скоро замерли, еще показались два отчетливо и тоже замерли: какие-то чахоточные и, может быть, последние.

Понимаю ошибку Руссо, Толстого и всех, кто зовет людей к «простоте»: они думают, что жизнь проще, значит, и легче, между тем как проще жить гораздо труднее. И самое трудное, что стремление к простоте жизни является у сложнейших душ, а все простое стремится к сложности.

27 Сентября. Мы с Борисом Ивановичем ходили в Ляховом болоте и вдруг наткнулись в лесу на прекрасную дворянскую липовую аллею: умерли люди, умирала в золоте природа, умирал день{155}…

Есть и в умершем озере, окруженном со всех сторон синими лесами, особая красота…

Я думаю все дни о том, что эта женщина, которую так страстно любил Алпатов, была кругленькая, румяная, как помидор, что в ней не было никаких талантов — ничего! Что если бы не ее и не его самолюбие, вступившие в смертельный бой, то отношения были бы крайне будничные, да тут была не любовь, а только самолюбие, или любовь в пустоту. Был только один момент просветления, когда он написал, что понял свой путь: «Жить только для нее, забыв о себе, всматриваться в жизнь и думать, как бы ей помочь в мелочах».

28 Сентября. Никитин день. Ярмарка.

Шоссе гремит: 15 тыс. берендеев и с ними 15 тыс. женщин, которые возвращаются все с узелками подсолнухов.

Так тихо в золотых лесах, тепло, как летом, паутина легла на поля, сухо — листва громко шумит под ногами и птицы взлетают далеко вне выстрела. Я вышел утром из дому с тоской-болезнью и решил это **уходить**, и уходил свою боль до того, что лишился способности думать. Я мог только следить за движением собаки и держать ружье всегда готовым для выстрела, да иногда поглядывать на компас.

Мой дом на севере, и стрелка прямо смотрит туда, да, она смотрит на север, но я забываю об этом и думаю, что она смотрит на мой дом. Но мало-помалу я захожу так далеко в сторону, что стрелка смотрит на север не через мой дом, и так я прихожу в какую-то совершенно мне не известную местность. Долго я продираюсь по вырубке — и вдруг передо мною в густых золотых лесах большое, совершенно круглое умершее озеро (то же раз было, встретилась уже заросшая усадьба: тройное умирание: людей, деревьев, солнце садилось).

Подумаешь, из каких противоречий складывается жизнь, с одной стороны, понимаешь ее как стремление к тому, что есть у всех: какой-то жадный, торопливый бег к общему пирогу и вечный страх отстать от других и остаться самому с собой ни при чем, в пустоте; с другой стороны, нет ничего ужаснее, как погрузиться в эту общую жизнь до того, что и не увидишь перст, указующий на тебя, и не услышишь голос со стороны: «Вот еще новый тип бегает».

Чем сложнее жизнь, тем острее эти противоположные чувства, и потому в больших городах люди живут и по моде, и по личному вкусу…

<На полях:> (Вопрос учительницы: «Почему считается, что идеал недостижим?»)

Вот еще думаю о том, чего не было, что недостижимо и, если близко подпустит, — тает на глазах или обертывается уродиной. Я думаю, что если бы это отношение к жизни не входило в состав творчества, то как бы двигалась жизнь вперед. Сущность творчества — движение, перемена, и явление недостижимого есть выражение постоянного движения. Потому-то и любовь бывает такая, что женщина как Дульсинея — и как Альдонса, если только приблизится.

29 Сентября. Весь день дождь. Лева уехал в Москву. Ожидаем пролета гусей. (Ночлег: озеро. 1) Рано утром летят в поле и до 10–11 часов там, 2) к полудню на озеро, 3) за час до заката летят в поле и возвращаются на озеро в темноте).

Большинство охотников чувствуют себя и поэтами природы, понимая поэзию как-то сентиментально и чудно. Редко охотник отдает себе отчет в том, что очаг его страсти не в румянце зари, а в пламени пороха, выбрасывающего свинец в живую тварь. Охотник предвкушает наслаждение впустить свинец в живое тело, и вот почему несдержанная молодежь, когда [не] попадается дичь, всегда томится и начинает пускать заряды во всё, что только летит и бежит: в ворону, в сойку, в собаку и кошку. Охота совершенно так же, как и чувственная любовь: поэзия природы сопровождает ту и другую страсть, но дело не в поэзии, а в овладевании предметом страсти: птица должна быть убита и девушка должна сделаться женщиной.

Культурно-просветительная деятельность среди охотников имеет целью обыкновенно охрану дичи с тем, чтобы потом было больше материалу для стрельбы и вообще для разжигания этой страсти. Настоящая культурно-просветительная деятельность должна иметь в виду упорядочение проявления самой страсти:

чтобы как в чувственной любви наслаждение переходило в труд по охране детей, так бы и в охоте: наслаждение убийством имело бы завершение, искупалось бы делом. Да, если я промышленник и убиваю для заработка, то нет и речи о садическом наслаждении, и если я ученый, добываю материал для науки, если я художник и пользуюсь страстью для слияния с природой, — нет никакой речи о неправде убийства и жестокости. И потому истинная культурно-просветительная деятельность среди охотников должна быть направлена к тому, чтобы охотник меньше думал о наслаждении всадить свинец в живое тело, а использовал бы свою страсть больше для сближения с природой, изучения привычек животных и особенностей пейзажа, в котором они живут.

30 Сентября. Лег вчера в ½ 9-го, встал в ½ 4-го. За стеной слышу агонию природы. И как вспомню, каким великолепным концертом на болотах началась весна и как все кончается, думаю: как не быть нам, северным людям, другими, чем южане, каждый год переживать эту трагедию…

Все шло, казалось, чередом, как и вчера, вечером он поужинал, покурил, разделся, улегся, сначала пробовал думать, потом спуталось, начались картины, показались на белом зеленые елочки, и вдруг зачесался кончик носа… Пришлось поднять руку и почесать. Опять устроился и начал забываться, и опять в самый последний момент кончик носа зачесался. После этого сон улетел… и началась та слоистая дума, похожая на медленный рост долговечного дерева; дума о собственной жизни, объяснение странных загадок…

На самой ранней заре пробудился дух этого дома и пошло везде: та-та-та!

Братья спали. Михаил тихонько оделся и вышел в столовую пить с матерью чай. Он хочет к именинам матери поднести ей свой большой офорт «Перунов остров», над которым работал три года. И с волнением несет его. Знает, что нет на свете худшего ценителя, чем мать, что ей невозможно понять простейшее этой работы, рожденной, как облака над хаосом бездны. И все-таки он несет офорт с большим волнением, чем нес его на конкурс в Общество [русских] художников.

Она долго смотрела на это серо-белое, да, но поняла только, что это большая работа и что это не от мира сего.

Неожиданно и для себя самой она говорит:

— А знаешь, вот это единственное только и есть, из-за чего стоит жить.

— Что ты хочешь сказать?

— Что я хочу сказать? да вот это стремление к идеальному миру. Ты у нас вышел в дядю Николая Иваныча, подумай только, ведь маслом торговал и вдруг исчезает, — искать, а он в лесу соловьев слушает.

Михаил это понял опять как самый обидный ему намек на положение «не от мира сего» и сказал:

— Нет, мама, в это вложен огромный труд: это вещь!

— Да и я говорю, — отвечала серьезно мать, — это и есть настоящее, а в жизни, в жизни все пустяки…

Никогда этого не слышал Михаил. Михаил был далеко не юноша, но весна ему приходила совершенно как юноше, потому что загадка жизни, поставленная в юности, была еще им не разгадана. Загадка эта явилась еще в самом чистом детстве и называлась: Она. Пришла одна, другая, третья — и все были ненастоящие, но вдруг явилась Марья Моревна и осталась с ним навсегда: это была Она настоящая. Потом, уже в юности, начала показываться новая Она, и когда он спрашивал себя: «Это ли настоящая?» — то всегда смотрел в сторону Марьи Моревны. Было один раз — она явилась к нему и сама сказала: «Люблю». Он молчит. Она спрашивает. «Люблю», — отвечает он. Она его страстно целует. Он тоже целует и думает: «Кажется, это настоящая». Однажды вечером она приходит на лестницу и тихонько стучит в стену. Он впускает ее. Целуются на диване, обнимаются крепче и крепче. И вот у них такой разговор в тишине:

Она: «Нет, нет, так не надо».

Он: «Да, правда, нельзя: я так не могу».

Она: «Я вот за то и люблю тебя, что так просто, как все, ты не можешь».

Он: «Как же надо?»

Она: «Скажи по-настоящему: "люблю!" — и тогда можно».

Так сказать он не может, чтобы «люблю!», а потом все: она его жена. Какой-то конец, он не хочет конца, впереди еще долгая жизнь. И он понял в этот миг, что она была ненастоящая.

Гусиный пролет

Вчера вечером за стеной дома в лесу будто огромный самовар закипал: это дождь и ветер раздевали золотые деревья. Бушевало озеро. Мы говорили, что сегодня в ночь непременно пойдет гусь.

Я встал за час до рассвета, в половине четвертого, и согрел самовар. За стеной продолжалась агония природы, ветер шумел. «Значит, — думал я, — с гончей нельзя. А надо бы промять немного своего зажиревшего друга».

Но с гончей не уйдешь. А вот теперь надо бы походить по опушкам возле зеленей, не высыпают ли вальдшнепы. Да вот еще можно прихватить серых куропаток, вчера утром неожиданно в моховом болотце, небольшом, возле Дубовиц, окруженном полями, я наткнулся на выводок и почал его. В зобу у куропатки оказался лен, и я понял, что куропатки бегают по настольному льну, а в болото они забежали, просто спасаясь от собаки.

Рассветало, стихало, на небе показались светлые полосы, начинался прекрасный задумчивый день. И план моей охоты сложился вполне: возле Дубовиц я поищу куропаток, потом возле Воскресенского на совхозном поле возьму парочку из своего старого выводка, за оврагом постараюсь до коров попасть на одну вырубку и попробовать там схватить тетеревей. Дальше за вырубкой есть небольшое болотце, там уже непременно будут бекасы и, может быть, гаршнепы, дальше в бесконечность идут густые клочки болотного леса, и там все бывает, там я буду идти просто по компасу и вернусь в темноте берегом озера. Да, берегом озера! и вспомнилось, что ведь гуси могут лететь. В боковой карманчик своей блузы я положил два старинных патрона с самой крупной картечью, приготовленные на случай встречи с волчицей: теперь годятся пустить в далекую стаю гусей.

Без четверти шесть я выхожу, привязав собаку к поясу: возле самого дома у нас кормится по утрам тетерка с чернышом, и не хочу, чтобы собака их пугала, я берегу эту пару до весны, чтобы слушать по утрам любимейшую мою песню токующего тетерева. Мы благополучно миновали, не спугнув, полянку с тетеревами, перешли через овраг, и, когда переходили другой, вдруг сзади раздалось:

— Ке-че!

Вот этот звук осенью, когда все плачет, мне, как зеленая озимь. Не будь этих бодрых зеленей, я не знаю, как бы я жил тут, в глуши. А гусиный крик еще глубже: в нем есть вся печаль осени и в то же время как будто наперекор смерти и пустоте верный зов:

«Не робей, товарищ, мы перелетим пустоту!»

Они летели над головой дальше картечного выстрела вдоль берега озера к западу на Дубовицы. Если бы им совсем улетать, то их путь был бы на юг. «Значит, — подумал я, — они летят отдыхать и кормиться в полях». И правда, они скоро снизились, закружились и сели возле самых гумен деревни, на высоте овсяниц. Перед моими глазами ясно были тридцать четыре серые зоба и частокол из шей.

Я свернул к тому моховому болоту, покрытому кустарником, где была куропатка, в надежде, что кто-нибудь спугнет гусей и, может быть, они полетят к озеру через болото.

Я только успел войти в кусты, началось у гусей гоготанье, и тут же они поднялись, разбившись на две партии: маленькие полетели направо, большие налево, краем болота ко мне. Быстро вкладываю патроны с картечью, только по восьми штук, и жду. Но вдруг почему-то гуси смешались в беспорядочную серую массу. Они были еще от меня вне выстрела, шагов без малого на двести, но я взял прицел почти на аршин выше стаи, в расчете, что крупная картечь и спускаясь может убить.

Конечно, это был случай, но я хорошо им воспользовался: один гусь сделался маленьким и, как дупель, упал.

Обе партии гусей, сделав круг, соединились и полетели на юг.

Что они, совсем улетели?

А там, пересекая озеро в юго-западной части, вылетали в поле на юг другие, и их было в караване штук полтораста.

Взяв убитого гуся за красные лапки, я пошел поскорее домой сдать тяжелую добычу и, пока добрался, там по той же линии над клочком золотых березок в полях протянули еще два каравана.

— Вот гусь! — сказал я дома.

И поспешил в поле.

— Ах, гусь, вот так гусь! — слышал я за спиной.

И как же это приятно — сдать дома гуся.

Но только я выхожу из ворот, слышу, вижу, так низко над жнивьями веревочкой тянут к Сокольницким гумнам, сосчитал: тридцать три.

— Мой!

И расселись на высоте.

И пусть себе кормятся. Я спешу к тем березкам, где общий птичий путь. Вон, слышу, назади, летят. Бегу задыхаясь. Они настигают. Не успеть мне добежать, нет, не успеть. Обертываюсь и встречаю. Летят прямо на меня. И вдруг повертывают и боком от меня выстрела на два все пролетают, прекрасные работники, сверкают блестящей сталью своих подкрыльников, гогочут.

Какой восторг, какое волнение! русак из-под самых ног моих выскочил, смешался, растянулся, и я несколько секунд не понимал даже, что это за зверь такой, что ему надо, и, когда вспомнил, что заяц, почему-то не догадался даже убить.

Гуси летят — это больше всего!

Выглянуло солнце. Новый караван летит выше. Мне не достать его. Через полчаса еще караван и еще. А мои тридцать три всё кормятся. К полудню я собрался к ним подползть, но деревенская пестрая собака — хвост крючком — вздумала на них разбрехаться, и они полетели кружить над полем.

1 Октября. Странно, что вот ведь самовар тоже работает на меня, но, когда он стоит у меня на столе и кипит, я могу писать, думать, как будто так и быть должно: самовар не раб мой, а друг и по вольной воле, на удовольствие к своему делу кипит. Когда же я для скорости развожу примус и курю и пишу между двумя чашками чаю, то хотя примус и в другой комнате, за дверью и на самом тихом ходу, только чтобы не остыл чайник, — я все-таки не могу думать и писать, мне кажется, там, за дверью, из-за моей пустяковой жизни кто-то из последних сил старается.

Был ли сегодня хороший день или худой — не знаю. У меня в душе, как в природе поздней осенью, крутит и мутит тоска. Сегодня я заметил только, что на фоне серого ствола большого дерева трепетал один-единственный золотой листик.

Золотая осень прошла незаметно, то были холодные дожди, и как-то тут между днями незаметно ударили два мороза, подсекли листву, потом начались сильные ветры с дождями, и так незаметно мы остались с голыми деревьями.

«Проскочил»: живы были в этом краю только женщины, на мужчинах везде была печать смерти: не спасала ни земля, ни связи. Женщины поняли, что только ученье может спасти детей. Уже не было и признака того Бога, которому бы серьезно можно было молиться о сохранении жизни своих детей. Только в культуре оставались следы культа, и даже соприкосновение с ней было благодетельно…

4 Октября. Всё ветры: листва по земле. Те 36 гусей живут у нас и кормятся на одном и том же месте. Сегодня пролетел не останавливаясь новый большой караван. Еще попадаются жирные коростели и бекасы. Высыпают вальдшнепы. Тетерева недоступны.

5 Октября. Высыпки гаршнепов.

6 Октября. Ночь после проливного дождя с радугой (Ботик был в раме) выдалась тихая, чистая, лунная. Прихватил мороз, и утром на самом рассвете выпал первый легкий зазимок (не припорошило травы). По голым деревьям бегали белки, целая семья, вдали как будто токовал тетерев, я даже взял на случай ружье, но это, оказалось, по ветру долетал с далекого шоссе тележный кат.

— Да, если при таланте догонять мечту упорной работой, то непременно что-то новое сделаешь, только все-таки наконец же изморишься, и вдруг незаметно для себя самая обыкновенная жизнь человеческая, «как у всех», с пятою заповедью Моисея станет мечтой, незаметно для себя начинается погоня в эту сторону, и то раньше было впереди лицо Прекрасной Дамы, а тут зад, как мечта, огромные бедра (Розанов и Библия, Россия — зад).

День был такой, что вот солнце светит ярко и тут же при сильном ветре летит снег. В десятом часу на болоте еще оставался такой слой льда, на пнях везде белые скатерти, и на белом часто, будто кровавое блюдо, лежит красный листик осины.

Нашелся гаршнеп, порхнул в белую метель, и за ним я послал свой заряд.

Гуси еще пасутся у Весьлева.

Неправда, что пишут, будто валовой пролет какой-нибудь птицы длится неделями: настоящий валовой пролет, когда птица валит весь день в воздухе или высыпает в кустах и болотах, бывает какой-нибудь день-два…

В полумраке на утренней заре, пока не определится день, и вечером до темноты я стою неподвижно лицом к заре, смотрю, слушаю и думаю. И Бог, которому люди молились столько тысячелетий, мне показывается в это время как сила, высшая человеческой: «С этим ничего не поделаешь!»

Сегодня вечером были слышны крики пролетающих гусей, мелькнула стайка чирков и каких-то больших уток. Каждый раз явление птиц волновало меня, и я для них бросил свою мысль. А мысль эта была о жизни и смерти, что как это отлично придумано устроить нам жизнь, конечную сроком, за которую ни одному, даже самому гениальному, мудрому и долговечному, невозможно исчерпать разнообразие мира, отчего каждая коротенькая жизнь может быть бесконечна в своем разнообразии.

В четверг был огромный пролет мелкой птицы: все поля были ими покрыты, и с легавой было трудно охотиться.

Сегодня громадный табун грачей и галок.
Дрозды еще трещат.

7 Октября. Ясная звездно-лунная ночь. Сильный мороз. Утром все белое.

Пошел на зайцев. Перейдя через Брусничный враг, на Горбатом овсянище, поднявшись из-под горы, встретился с гусями: вчерашний большой караван (новый) и прежний в 36 гусей паслись вместе.

Тетерева бормотали везде. Все бело долго, до полудня на деревьях. Очень легко поначалу подкрадываться.

Гон был никуда: беляк западал, Соловей каждый раз добирал по полчаса, минуту гонит, полчаса добирает. Небо закрылось. Полетел мокрый снег. Мороз обдался росой. Стало мозгло и холодно.

После полудня опять явилось солнце, и до вечера было прекрасно. Мы радовались нашим уцелевшим еще золотым березам. А ветер северный, и озеро было черное и [страшное]. Прилетел целый караван лебедей. Слышал от Павловны, что лебеди держатся очень долго: середка озера долго не замерзает, уже ездят на санях, а середина все еще не замерзла, и вот, когда ночью едешь, к утру, то слышно, будто люди разговаривают, а это лебеди.

Вечером я пошел посмотреть на то место, где утром видел гусей, и оказалось, они тут все были, паслись. Я подобрался к ним довольно близко и сел на пень, ужался, затаился. Гуси изредка переговаривались между собой, и общество их было мне так приятно, что почти и забыл о своем плане: посидеть до мрака, подобраться еще ближе, на выстрел, и, когда они вздумают подниматься на ночевку на озеро, пальнуть картечью в огромную стаю.

Вдруг все гуси разом снялись и полетели на озеро. Я тихонько стал подползать, чтобы узнать причину тревоги, и скоро увидел там лисицу. Я лег на землю и стал к ней ползти, и, когда выглянул, она стояла от меня в двадцати шагах. Еще можно было довольно скоро из-под горы, водя мушкой по свету неба, потерять ее… Значит, я крался к гусям из Брусничного врага, а мой рыжий товарищ из Хахелева. Мы встретились как раз на середине овсянища, и я славно угостил его гусиной картечью: 24 штуки на заряд — все кучей всадил в рыжий бок.

Гусь был невкусен и как добыча меня не прельщал, почему же за ними охотился? Неотступно меня преследовала сладостная картина, что я в кусту, а они летят низко на меня и я целюсь так,

чтобы встретить и пустить картечь по линии, а там от выстрела все смешается в кучу, и я вторично ударю в кучу, после чего в моем воображении гуси сыпятся с поломанными крыльями, какие прячутся, какие бегут с поломанными крыльями, и я ловлю их за шеи… непременно за шеи, как написано у Соболева.

Эта картина мерещится мне всю неделю, и сегодня, может быть, я и удовлетворил бы себя, но Петя сказал, что на болоте огромная высыпка гаршнепов. Я стал колебаться: на гусей идти или на гаршнепов. Когда я так думал ночью, стараясь выбрать и остановиться на чем-нибудь, перед засыпанием мне опять мелькнула соблазнительная картина расстрела гусей, а потом непосредственно за этим, как бывает перед засыпанием, представилось, что я присутствую при казни молодой колдуньи, ее будут сажать голую на кол, и мы ждем с наслаждением этого зрелища.

…Я вздрогнул от сердечного толчка так, что, кажется, меня с кровати подкинуло, и, очнувшись, ясно понял, что картина казни колдуньи явилась у меня психологическим продолжением картины расстрела гусей, что эта картина стала для меня уже нездоровой манией… И тут я решил непременно идти на гаршнепов и бросить гусей: ведь гуси невкусные.

Психология охотника

Мне трудно добывать материал для своего ремесла, и мастерство мое такое капризное, что едва только дает мне скудные средства существования и никакой уверенности в завтрашнем дне. Но одна из прелестей его, — что я могу весь год быть в природе и сколько угодно, без всякой помехи моим занятиям охотиться. Может быть, я мельник? Не все ли равно вам, важно только, что я живу у самого леса и на берегу большого озера, в трех верстах от города, такого заброшенного, что в нем охотники иногда по улицам гоняют зайцев, и даже раз такой случай был, что гонимый заяц напоролся правым глазом на железный прут и сослепу влетел в милицию.

Этот город: Переславль-Залесский. А я живу в трех верстах от него на берегу Плещеева озера, в музее-усадьбе, существующей для охраны Ботика Петра Великого: Плещеево озеро было колыбелью русского флота.

Я живу один во дворце, устроенном для приема царей. Весной, в марте, когда я тут поселился, из подвала вылетел в окошко русак. В большом зале — подвешенные летучие мыши. В

ста шагах токовал тетерев, и куропаток всяких множество. Налево за можжевельником лисьи норы, на склоне оврага Гремячей горы, на которой стоит дом, — норы барсучьи. С крыльца вид на все озеро, окруженное с левой стороны дремучими неисходимыми болотами и боровыми лесами. Гуси, лебеди летят через усадьбу. Скажите, охотники, кто из вас не позавидует мне и кто не поймет, из-за чего я довольствуюсь скромными своими доходами.

Знаете, я никогда бы не удовлетворился охотой наездами, как делают почти все, чтобы убить гаршнепа в Октябре, пустить заряд в маленькую птичку, взлетающую в целое облако, летящую парами, и получить от этого наслаждение; я должен встретить весной в лесу первого вальдшнепа: то начало, это конец. И не скрою того, что гаршнеп мне, несомненно, должен быть жирен: я позволяю себе убивать только тех птиц, которые служат подспорьем в моем хозяйстве. В общем, охота мне ничего не стоит, и если бы не чума, погубившая прошлую осень двух прекрасных гончих, и не укус бешеной собакой одной легавой, из-за чего пришлось ей дать стрихнину, то охота моя бы давала не меньше доходу, чем, например, небольшая пасека. Теперь у меня две легавых и одна лисичка. Добыча с гончими оправдывает содержание всех собак.

Озеро было покрыто как будто снежными льдинами: так странно и сердито распределялись туманы.

Птичья душа, как вода в берегах, когда по ней бегут волны: волна умирает и тут же рядом опять появляется, и нам только это кажется, что волна бежит, это бежит только форма волны, сама же волна стоит на месте: так и в большом птичьем роду живут и умирают отдельные, как волны, сама же птичья душа, как вода в закрытых берегах. Был когда-то птице толчок, чтобы лететь от гибели на юг, толчок был, как камень, брошенный в воду: волны побежали, птицы полетели и так до сих пор летят только потому, что их далеким предкам был дан толчок. И может быть, глядя на птиц, Моисей для сохранения рода человеческого придумал и объявил свою заповедь: чти отца и матерь твою, и долговечен будешь на земле. Я, глядя на перелет гусей, ставлю по линии летящих караванов стрелки компаса, и если выходит верно на юг, то, значит, эти гуси будут не у нас отдыхать, если же летят не прямо на юг, то слежу, не завернут ли еще и не остановятся ли у нас отдыхать. И всегда я дивлюсь, между тем, чем тут дивиться, если все это заведено так по отцам: отцы родом с Новой Земли отдыхали всегда на Переславском озере, а с [Полярного круга] на Ростовском.

8 Октября. Утренняя луна. Елочка. Я в овраге. Елочка упала. Восток закрыт, из-под одеяла полоса зари. Возле луны голубые поляны. Озеро черное в черных лугах. Петухи и лебеди. У лебедей крики гармонические: верхняя октава журавлиная — тот их крик, когда они как будто вызывают свет, а нижняя гусиная — баском-говорком.

Я разглядел, что не на одной голубой поляне грачи, а на другой и на третьей, и это непрерывно в полнеба, и с грачами галки. Почему галки всегда провожают грачей? Что-то вместе переживали, но грачи стали отлетать, а галки остались: не собрались ли когда-нибудь и они отлетать с грачами, но одумались, и так пошло потом из века в век, а у птиц нет перерыва в роду: смерть им не перерыв, у них из рода в род передается, как движение волны.

С левой стороны от Урёва летела небольшая стая грачей и стала чернеть, расти, — и вдруг это оказались гуси. Я проставил елочку, спрятался за ней (½ 6-го) и стал вертеться с ней. Гуси облетели и сели на той стороне оврага. Те, прежние 36, пролетели от Федоровского монастыря (ночевали на прудике), покружились и вернулись обратно.

Мороз на жнивье. Солнце. Представляю себе, как страшна, должно быть, растущая из-за куста на белом морозе тень человека. Но и кусты бросали тень, и тень моя слилась с тенью кустов. Я добрался и закурил. Вдруг загамели все гуси и полетели с шумом, и все ближе и ближе. Я успел хапнуть из папироски и швырнул ее. Они пролетели низко к самым кустам, так что в пяти шагах от себя я видел одну шею через прутик и не стрелял, потому что, думал, вот-вот покажутся, но они не показались и вернулись, должно быть, назад и смело расселись. Стрельба мимо.

<*На полях:*> (И трудно же было гусиному хозяину справиться с таким большим кораблем на крутых поворотах.

В минуту опасности взлетают без крика: разом! а потом уже и кричат.)

Мужик вез дрова, и за дровами я подошел близко…

Неправда, если говорят про кого-нибудь: «Никогда не промахивается», — не верю я, чтобы нашелся кто-нибудь, знающий все виды охоты. Я недурной охотник, но часто промахиваюсь, особенно в сидячую дичь. Лучше всего я стреляю, когда совсем навскидку и совсем бессознательно. [Цель] стрелять не умею. Моя специальность: охота с легавой на птиц в лесу: могу и на болоте, а на поле у меня хуже.

Часто выслушиваю: «Не понимаю, как вы, такой (комплименты), и можете убивать». Это говорят люди, лишенные

охотничьей страсти, и объяснить все по правде им я не могу. Но я придумал удовлетворительный ответ, что убиваю только для пищи птиц, а по нужде раз даже сам убил быка и горжусь этим. «Вы, — говорю, — поручаете это мяснику и потом едите, а я могу обойтись без прислуги».

Но если говорить по всей правде, это не ответ. Разобрать на гусином примере: овладела страсть убить гуся, и дошел до болезни. 1) Бросить совсем гусей. Но если я брошу, то почему не думать, что болезнь заберется еще глубже.

9 Октября. Снег шел весь день и таял. От всего этого снега к вечеру остались только белыми половины древесных стволов с северной, подветренной стороны. Из-под нависших синих туч была видна узкая полоска строгой зари. Я шел к озеру проверить ночевку гусей и, если окажется верным мое утреннее наблюдение, встретить их там, подгородив ветки поближе к отмели. Но, верно, опять лисица их спугнула, они полетели раньше срока с поля, сломались над лесом и быстро спустились. Я издали увидел на том самом месте длинный темный мыс из гусей.

10 Октября. Ветер и снег. Выследил стоянку гусей на Куротне. Закончил рассказ «Гуси»{156}.

Дешевые анархисты — тип, очень распространенный в России, особенно теперь (С. Клычков… и множество). Надо быть самому личностью, чтобы отвергать насилие государства над самим собой. Надо, по крайней мере, видеть путь личности человека. Я думаю, что поведение настоящего анархиста в отношении государства должно быть еще более покорное, чем рядового обывателя: ведь не тем он анархист, что не платит налога.

После крушения коммуны (последний этап — возвращение к винному бюджету) едва ли кто-нибудь из самих государственных деятелей понимает пользу своего дела иначе как не ослаблением злой необходимости вязать личности: словом, служить государству для того, чтобы ослаблять силу необходимости…

Эти рассуждения явились у меня оттого, что явилось презрение к М., между тем Илья Николаевич занимал в отношении меня такое же положение, как я теперь в отношении М., он был образованный, честный, умный, но без таланта, я же был недоучка, беспорядочный, неудачливый, но талантливый, в конце концов он как личность исчез где-то в служении «Русским Ведомостям», и сам Разумник Вас. исчезал в служении, я же существую и буду существовать еще порядочно как личность{157}.

Вот нужно так же подумать и о революционерах как о 2-м Адаме (мужик без земли, чиновник без службы).

Вопрос: она лежит, раскрытая для акта, а он отказывается от акта, потому что она хочет быть его женой. Как это объяснить?

Материал для ответа: Неудачник (а ищущий «призвания» — признания) ищет иногда в связи с женщиной восстановления своей общественно-нравственной самости (книгу написал — все равно, что женился), она же ищет от него только супруга. Это и то у него смешалось: то он видит в этом, и если она отказывает в том, он отказывает ей в этом. Полное непонимание.

Природу я понимаю из себя — это все мое прошлое так процвело…

Детские рассказы:

1) Гуси-гуменники.

Дикие гуси во время перелета часто садятся у крестьян на гумна и там кормятся. За то и называются эти большие серые гуси гуменниками. Старуха жалела их: зерно подсыпала. Гуси гостили две недели, и свои гуси, домашние, тоже ходили и очень привыкли. Природа в это время, гуси потому гостили долго, что молодые не окрепли и посвистывали. Отлет. Гуси домашние улетели{158}. Через год прилетели и 12 молодых. Старуха узнала… Крылышки подрезала. Вот отчего у всех в деревне гуси белые, а у Дарьи серые.

2) Ветхая изба.

Под лавкой в углу поселился белый старик (мороз). Электричество проводили. Лампочка. Пуговку нажмешь — и потухнет. Раз я пуговку нажал, стало темно. Что-то мне показалось, какой-то огонек под лавкой, где старик, глянули туда: а там у него тоже светится лампочка: я зажгу — он погасит, я потушу — он зажжет. Мы долго так с ним занимались. Приходит отец.

— Что это ты балуешься! — говорит.

А я отцу:

— У нас старик под лавкой тоже электричество провел, посмотри.

И потушил огонь, у старика загорелось.

— А вот теперь посмотри.

Зажгли — старик погасил.

— Значит, — говорю, — у него тоже есть пуговка.

Отец засмеялся, пошарил рукой под лавкой и вынул гнилое полено. Потом погасил огонь — полено засветилось. Оказалось,

что гнилушки в темноте светятся сами от себя, и это называется мышкин огонь.

3) Дурачки.

Курица-дурочка собак не боялась, к собаке водила дурочек. Дружба. Цыплят всех под собаку и там спят. Так всех хорек поел, а эта осталась цела. И так все куры теперь дурочки.

12 Октября. Утро, сильный мороз. Потом снег. К полудню солнце. В полдень снег еще в лесу не растаял. Гуси здесь.

13 Октября. Ночью был сильный мороз, и заволокло небо только на восходе в лесах сохранились довольно большие пятна снега от вчерашнего, так что мы нашли на них следы белки, хорька и зайца. На поле еще встречались жаворонки, в лесу видели вальдшнепа. На озере забереги, не угнали ли они наших гусей?

Часто, бывает, сквозь пудру и одеколон пробьется запах тела такой отвратительный, что уж и невозможно к этой женщине подступиться. Так же, бывает, покажется отвратительной и натура самки, когда она вдруг покажется из-за идей современной образованности. Вот почему ему казалось возможным для себя сойтись в минуту хотения с женщиной простой, даже немытой, и, может быть, даже лучше, что немытой, от которой пахнет животным, как в цирке от слона.

Но есть такие же, как одеколон, пудра, идеи, заслоны пола в высших чувствах, когда до сближения телом он ищет в ней признания себя самого (брак), и если он этого не находит, то невозможно ближе сойтись. Эта добрачная любовь может не разрешиться браком, если он (или она) «много думает о себе», а она является ему только поводом, зеркалом, в котором он хочет увидеть себя (**человеком** себя почувствовал) самого. Эта любовь была, как отвеивание сора от зерна, или так, бывает, расходится туман перед восходом солнца…

И опять туман! но не бывает дня самого даже пасмурного, когда солнце не влияет на жизнь даже через туман. Солнце показалось на восходе во всей славе, но тучи скоро закрыли его…

Добрачная любовь.

15 Октября. Покров. В понедельник вечером приехал Лева из Москвы, с успехом выполнив все мои поручения. Разгром моих вещей и рукописей в Союзе писателей (Крысиный домик). Герои погрома: Свирский, Соболев и др.: это было, как жизнь в деревне (одновременно и кустари меня выгоняли из дома в деревне). И,

несмотря на все, выписываются именно теперь [здесь] самые бодрые книги (Курымушка, Башмаки, Родники). Воистину я становлюсь каким-то рыцарем в серых латах. Да это все безобразие и не характерно для личности человека, о которой приходится писать: личность шествует невидимо по развалинам общества.

Книга «Башмаки», к удивлению моему, вышла прекрасная книга, единственный в своем роде опыт художественного писания, сознательно выдвигаемый автором как исследование. Такое же исследование мной было сделано сектантское в книге «У стен града»[{159}], но я не мог в ней показать, что это — исследование. А в «Башмаках» метод выпирает наружу. Вероятно, я наделал много ошибок в рассуждениях, но факт остается фактом: на трех листах изображен целый край.

Эта книга во исполнение мысли Курымушки, что «мечта есть вестник прекрасного мира» и этот мир находится в самой серой действительности, преодолеваемой в себе самом и преображаемой: дело исследователя расставить людей и вещи, сдвинутые случаем, на свои места (вернуть их к своей самости).

Художник должен войти внутрь самой жизни, как бы в творческий зародыш в глубине яйца, а не расписывать по белой известковой скорлупе красками.

Наши коммунисты думают это найти (зародыш творчества) в рабочем процессе: на их ложную идею отвечает фабрика своим бездушным явлением, потому что рабочий процесс не зародыш жизни, а только механика роста зародыша: механику принимают за жизнь.

Нет, зародыш жизни и самая верная ее реальность — это божественная царапина, с которой рождается едва ли не каждый человек, и это есть радость жизни, жар ее als Realismus, это объявляется наверх иногда во время обыкновенной половой любви или прячется за спиною серьезного дела как небольшое, иногда странное пристрастие, как будто бы остаток детства, вот этот прячущийся за настоящей серьезной деловой жизнью ребенок, собственно говоря, и есть **жилец**. Все искусства есть жизнь этого жильца в деловом человеке, но захвативший власть деловой человек считает искусство своим отдыхом и только его допускает.

<На полях:> 1) Дать всего человека в картине природы. 2) Обдумать письмо к Ней Алпатова. 3) Ввести в роман Германию и Париж.

План 1 Звено Vita[15]. Жучка. Студенты. Маркс. Разгром публичных домов. 2 Звено. Любовь от тюрьмы до Парижа. 3 Звено. Муки творчества (Ток и золотая луговина). Петербург и

декаденты. 4 Звено. Уника. Признание. Свержение царя. 5. Мирская чаша.

Кащеева цепь

Первое звено. Голубые бобры. Напечатано 73–93 гг.

Второе звено. Маленький Каин.

Третье звено. Золотые горы.

Четвертое звено. Марксизм. (Старушка Vita): 2½ л. Начато 93–98.

Пятое звено. Любовь (между Мадонной и прачкой). 2½ л. 1900–1905.

Шестое звено. Муки творчества (Ток и золотая луговина). — Половина написана. 1 лист.

Седьмое звено. Декаденты и богоискатели. 2½ л. 1917.

Восьмое звено. Уника (признание). Свержение царя. Продвинуто 2.

Девятое звено. Мирская чаша. 3 листа.

Итого надо написать 13½ листов + Написанное 8½ л. = 22 листа.

Зимой написать: 4-е, 5-е, 6-е, то есть 6½ листов — возможно!

17 Октября. Ночью выпала пороша в ¼ аршина глубины. Лисицы ходили ночью, виднелись следы и пропорошенные, и свежие, и памром. Утром между облаками показывалось солнце. Одна золотая береза не успела облететь и все золотится даже через снег. Лес засыпан снегом, как глубокой зимой. Сильно летят дрозды-рябинники. На поле вспорхнули два жаворонка. Надо проследить, как гуси — в эту же ночь улетели или дожидаются на озере.

Гусей, с десяток, пролетели над нашим домом куда-то.

18 Октября. Мороз с ветром. В лесу зверей невозможно подстаивать, от слоя оледенелой и закрытой снегом листвы сильный шорох. На озере кольцо зеленых заберегов, а вода на озере в белых берегах — черная, страшная. Вчера над снегом вились последние (?) гуси, сегодня видел еще чаек.

<На полях:> (К истории Алпатова: про него говорили, что он книжный, но сам себя он понимал и мучился, что он невежественный и что образованным никогда ему не сделаться: бесконечно! Когда же к жизни прикоснулся, то оказалось, что не это движет людьми и дает им силу.)

Углубляю мысль Розанова о духовном гермафродитизме детей и талантов{160}: я думаю, что не только таланты, но даже игры взрослого человека, спорт, пристрастия всякого рода коренятся в самоудовлетворении и, как анархизм, — есть теория

общественного равновесия на основе самоудовлетворения личностей: это как бы общественный гермафродитизм. Но и половая любовь, и семья могут исходить из само-удовлетворения, если самость при этом ставится не вся целиком в зависимость от другой самости (…смутно… см. ниже).

1) «…я жить не могу без нее!»

2) Я могу и без нее жить, но если она есть, то очень хорошо.

Опять неясно. Продолжаю:

Я, помню, в юности хотел жениться, чтобы отделиться как-то, стать независимым, получить какую необходимую мне свободу, «женюсь, — думал я, — и буду само-стоятельным».

Я помню еще, что когда нашел удовлетворение в писаниях, то страшно обрадовался, что могу оставаться с самим собой и не скучать, не стремиться куда-то и быть от этого зависимым (это было во время 1-й революции, когда я хотел ехать к Герценштейну и предложить ему себя как работника по аграрной реформе), вдруг это оказалось ненужным и смешным: я могу не идти в работники к чужим людям, а быть у себя; и революция, и рабочее движение — все это оказалось вдруг для меня необязательным: я могу быть и без этого, я не обязан этому.

1-е было у меня: женщина, половой акт как 1-е самоудовлетворение (и когда мы совокупились, то решили купить ко-ро-ву! вот ведь какие соки-то пошли!). С этого момента пошла работа на себя, и тут навертелся на это (коровье) талант и с ним 2-е достижение самости (я до сих пор ценю в своем писательстве свободу. N. B. Когда я сказал редактору «Журналиста», коммунисту, о свободе художника, то он не мог понять меня и назвал кустарем).

Да, в этой ценности свободы, получаемой от само-удовлетворения, и коренится отличие нас, спец-людей, от парт-людей.

Однако я думаю, что у вождей (как у пчелиных маток) душа само-удовлетворяющаяся, замечательно, что вождь бывает **один** (Робеспьер, Ленин): он один, Сам, а другие все работники как бы бесполые, они сами быть не могут — это парт-люди, и супротивники им: спец-люди.

<На полях:> Процесс творчества есть, прежде всего, процесс само-удовлетворения, но никак не служения. Идея же служения является среди подданных творца, которые стерегут, чтобы кто-нибудь из товарищей не проскочил в самцы, — претензиям этих самцов они противопоставляют служение. Так и вырабатывается тип служащего.

Художник (спец-человек), писатель и всякий спец-человек (даже спортсмен) — это всё вожди, и у всякого есть своя партия (царство). (Хороший критик в лучшем случае — диакон, в худшем — паразит.)

Итак, талант это есть сохраненное детство.

Это узел жизни, когда он говорит ей:

— Я вас люблю!

Он в эту минуту переходит тонкую жердочку над пропастью, перейдет и будет, как все, будет человеком, у него будет счастье и ему раскроется мир под солнцем со всей возможностью радости на земле, на водах, звезды будут дышать, цветы кивать головками, пчелы петь — все, все будет у него, все, чем славится наша планета и на что с завистью смотрят иные существа из иных миров.

<На полях:> Люди или не хотят знать, что они счастливы, или хитрят и нарочно прибедняются. Это все **так**, для виду, а на самом деле — до чего хороша жизнь!

Если же свалится, то глубоко ему лететь! он будет несчастлив, измерит жизнь в глубину. Да, конечно, это неизбежно для человека — измерить и глубину жизни, но ведь это можно сделать после, спускаясь постепенно в Аид, как царь Соломон после своей Песни Песней сошел туда и устало сказал: суета сует{161}!

Мир праху твоему, царь Соломон, хорошо было тебе говорить о суете, испытав все возможное счастье, а если, ничего не изведав, провалиться из рая даже не на землю, где все-таки можно держаться исполнения заповеди: в поте лица обрабатывать землю и верой, что семя жены сотрет главу змия… А провалиться в мир, где земля уже вся занята первым Адамом, ходить по земле безземельным, отверженным, дважды проклятым и как Адам, и как убийца брата Каин{162}…

В эту минуту он в полной зависимости от другого: да или нет?

Она отвечает:

— Что это значит, чего вы хотите?

— Я хочу, — отвечает он, — просить вашей руки, просить быть моей женой, я вас люблю, вот и все, мне так нельзя больше быть, чтобы не сказать, я сказал это совсем.

— Совсем?

— Да, совсем!

— Rue d'Assos![16] — крикнул кондуктор.

Моросит мелкий дождик. Они идут молча рядом до ворот. У калитки она еще раз спрашивает:

— Так совсем?

И обвивает его шею руками. И почему-то поцеловались, но без понимания, как-то авансом.

Завтра!

И расстались.

Весна
1) Юбилей охотника
2) Ток. Весна света ¼
3) Щучий бой ¼
4) Плещеево озеро ¼
5) Гусек
6) Крутоярский зверь

Лето
7) Ярик
8) Мои собаки ¼
9) Кроншнеп ⅛

Осень
Анчар
Орел
Волки ¼
Гуси ¼

Зима
Смертный пробег

Всего: 4¾, скажем, 5 листов.

19 Октября. С рассветом начала лететь пороша и вскоре перестала. Над белым снегом взошло еще яркое, еще не зимнее солнце, и стало все блестеть и голубеть на снегу, совершенно как ранней весной, а к полудню даже и капель с крыш была. И так весь день было, как постом, и только единственная не совсем облетевшая березка своими золотыми листиками выдавала позднюю осень. А когда наступил тихий вечер, ясный, с темными проталинами на южной стороне леса, то далеко и звучно слышался валовой пролет диких уток, гусей и, может быть, еще каких-нибудь поздно отлетающих птиц.

(Видели в лесу на снегу вальдшнепа.)

Я стою на горе перед озером, чувствую, улегаются волны моей жизни, и так просто, хорошо мне быть, знать, что я все пережил. Я ощупал свою старую рану, и мне было так даже очень

приятно пощекотать на рубцах дикое мясо.

Да, я теперь стою на своих ногах, и вот, если бы можно было, как бы хорошо я написал ответ на то письмо. Я бы написал ей[163]:

«Да, моя дорогая, вы правы: "Годы прóпасть!", и Ваши седеющие волосы не для глаза, но у меня есть внутренний слух и глаз через пропасти, мне это дано, и вот это я считаю тем Вашим "лучшим", которое у Вас я не отнимал, а сами Вы мне его отдали в обмен на мое лучшее и написали мне тогда: "Вы взяли мое лучшее, да, да, это было во мне лучшее". Дорогая моя "полудевочка" (Варя, в кофточке из шотландки) воскресла в бюро английского банка, и Вы, почтенная женщина с седеющими волосами, согласитесь, что тот съеденный нами в Париже пополам апельсин невозможно Вам уже больше сравнить ни с чем в вашей жизни: это было лучшее Ваше, и не знаю, почему Вы несчастливы, что это Ваше лучшее живет в удивительно верной моей душе в полной сохранности. Я написал на книге Ваши собственные слова в надежде, что это воспоминание доставит Вам удовольствие; и Вы сохраните их как награду за мое лучшее, которое отдавал я Вам без счета. Знаете, подчас я думаю, что мое лучшее состояло в полном незнании мастерства любви… Верно, Вас еще мучит какая-то "злоба дня" и не дает Вам совершенно свободно, с улыбкой оглянуться назад и поблагодарить меня, как я Вас благодарю всю жизнь свою за поцелуи, и розы, и письма, и такую доверчивость души, и преданность, что… помните, как улыбались нам белые статуи в Люксембургском парке, когда мы делили с Вами на лавочке тот апельсин? Может быть, Вы забыли этот апельсин, но всего забыть невозможно, помните, мы поделили с Вами великолепные розы в холодный вечер и очень удивлялись, что роскошные цветы не пахли, а когда потом принесли их домой в тепло, неужели не помните, как они душили нас своим ароматом? Когда (мы расстались) я был молод, я страшно мучился ревностью к тому другому, который придет к Вам после меня и сотрет наше общее лучшее. Но теперь я хорошо понимаю, что это все неповторяемо и нестираемо и Вы любили меня не меньше, чем я Вас любил. Взрыв нашей молодой любви (в первый раз!) был так силен, и так далеко нас разбросало в разные стороны, что так и не удалось больше встретиться, как ни хотелось! Я теряюсь в догадках о Вашей натуре вне чувства, пережитого вместе, и допускаю все, даже что Вы стали, как пишете о себе, просто работницей, которая даже не в силах настроить себя для воспоминания: пережилось, перегорело и кончилось. Вот на этот-то случай я и берегу в себе то лучшее Ваше, чтобы при случае воскресить его, и об этом я думал, когда

писал на обложке своей книжки. Надо помнить, что от прошлого нельзя отмахнуться и самое лучшее принять его…

Помню мои кошмары Петербургских белых ночей с электрическими лампочками только в трамвае. Я стою на площадке. Летний сад. Мне, конечно, вспоминается, как мы в первый раз объяснились тоже на площадке омнибуса. И вдруг я вижу в саду девушку, только не Вы. "А почему же это не она?" — Всматриваюсь. Она! Выскакиваю из трамвая и вижу, как молодой человек с [цветами] подходит, и берет Вас под руку, и уводит в глубину аллеи».

Вы и теперь, как тогда, повторяете, что мы говорим на разных языках. Нет, это не языки виноваты, я видел в Вас только милую девушку в шотландской кофточке, и мне так подошло, что эта девушка будет моей женой и совсем: или эта одна и вся жизнь с ней, или же ничего. Словом, я так настроился, что Вы — это она, моя желанная и настоящая. Но я не разглядел (или не придал этому значения), что Вы прикрывали каштановыми волосами свой, немного для женщины слишком высокий лоб, стерегущий вольный порыв. Впрочем, может быть, лоб и не был так высок, а так время отметилось муками рождения и требованием недостижимо высоких достоинств в своем суженом? Вы скоро разглядели, что это тот Ваш высший, которого Вы ожидаете (он, впрочем, еще и не родился), и стали на все смотреть как на счастливый, честный случай для замужества. Мне предложено было создать положение. Но я понял, что я не тот. Моя настоящая единственная Марья Моревна мне отказала, и это был мне смертный приговор. Одна единая мысль: «Я — маленький».

— Это не я, которую вы любите. Новая тема: о самолюбви и любви.

20 Октября. Никогда не забывать, что заутренняя запись, а в особенности если постоять лицом к заре перед этим, равняется молитве.

Как трогательно воспоминание из жизни Алпатова, когда он, весь кипящий от желания женщины, окруженный множеством баб, из всех сил боролся с собой (с ума сходил) и сохранял чистоту для невесты, даже не для невесты, а для возможности, что она когда-нибудь будет его невестой. Казалось, что вот только он соединится с одной из этих баб, так он сделается в отношении ее таким, что и невозможно будет уже к ней прийти. (Этим можно воспользоваться для описания лета практики на свекольном

заводе у Бобринского{164}: тут он пусть и уверует в женщину будущего.)

У Бобринского есть еще болота, и на практике может блеснуть 1-я мысль об осушении, покажутся и Чурка и Паша, которые вновь появятся в главе «Ток».

Брак втроем: женщина и два мужчины, муж и любовник — лучше всего обнажает двойственную природу женщины (например, что наши понятия правда и ложь, как будто бы исключающие одно другое, здесь, в женщине, живут, проникая одно в другое так, что становятся естественными: «она и не дрогнет во лжи!», и действительно не лжет). Хорошо бы изобразить деловую женщину, например хозяйку, исходя из двойственной природы. Эта двойственность природы в естественной женщине, например, крестьянке, или у тетушки-хозяйки дают милых баб (которых ничего и побить, и нужно…), но ученье на первых порах делает ученую женщину (однобокую), и с ней невозможно совокупиться.

Такой же прекрасно-единственный день, как и вчера: осенне-весенний. Опять пороша. Чайки здесь и гуси.

Фауст, вернувший себе молодость, — выдумка, отвлеченно-неверная в психологическом смысле. Никогда человек пожилой и мыслящий не пожелает вернуться в свою молодость и повторять свои ошибки, а в чужую молодость вернуться — все равно, что умереть: мы и так, умерев, скорей всего, начинаем новый путь жизни.

21 октября. Все валит пороша. Сегодня за время пороши мы убили уже 12-го зайца.

У меня давно нет в руках ни газет, ни книг: летом все писал сам, потом отдохнул, а теперь отправился в путешествие по своей жизни (под тропики) и на охоте чувствую себя так, будто меня дома ожидает чтение какого-то необычайно интересного романа.

Я начинаю любить свою маленькую Варю в клетчатой кофточке из шотландки той настоящей любовью, которая не осуществилась в жизни из-за своих недостатков и из-за какой-то Варвары Петровны. Мне теперь нужно сделать то, что провалилось у меня в жизни: предоставить то, что есть у большинства людей (и романистов).

Читая в своей памяти подробности этого сумасшедшего романа, я наткнулся на одну сценку, которая объясняет мне самому происхождение и характер моих писаний. Вот как это

было. В Париже, конечно. Мы с Варей сидим на лавочке где-то в парке, но, скорее всего, на бульваре или в открытом ресторане с палисадником, потому что мне виден только уголок природы: нижние части стволов не очень толстых деревьев и солнечный свет на цветах. Она мучит меня, томит своей нерешительностью, все больше и больше охватывает меня решимость уйти от нее и заменить эту неудавшуюся любовь чем-то другим, и так наконец я ей говорю: «Ну, что же, расстанемся! мне кажется, у меня в душе много-много всего, и я чем-нибудь займусь и заменю этим свое чувство». — «Чем же?» — спрашивает она. А я вот в этот момент увидел солнечные зайчики на цветах и отвечаю: «Вот, например, как прекрасны цветы на земле, возьму и займусь ботаникой, и так, чтобы уж совсем, совсем, этим одним на всю жизнь!»

Да так вот оно и вышло буквально: занялся ботаникой в Петр. — Разум., а потом, когда научное изучение надоело, не удовлетворяло, перешел к пейзажу. И сделался пейзажистом родной страны. Вот и ключ к моему писательству без человека («без-человечий писатель» — З. Гиппиус)[165]. То, что есть «у всех» людей, — это середка жизни с цепью реальных будничных отношений с людьми в семейном доме за столом, на улице во время пути на службу, а там на службе, в собраниях и т. д. — все это решительно выпало из моей жизни. Эта нехватка в жизни, мучительная, как операция, через всю жизнь сопровождалась почти физической болью и оканчивалась радостью в слиянии души с природой и людьми отдаленнейшего от нашего образа жизни, стихийными людьми. Жаль, я утерял адрес этой «женщины с седеющими волосами», — вот бы хорошо было ответить ей на ее вопрос:

— Почему вы не пишете о ежедневном и близком?

— Потому, уважаемая Варвара Петровна, что маленькая Варя не стала моей женой, и близкое-ежедневное совершенно выпало из меня, так что постигал я его только догадкой и скорее отрицательно: «то, чего не было». Вероятно, потому я и не мог до сих пор приобресть себе такого широкого среднего читателя, как Горький или Андреев. Я до сих пор считаю почти чудом, что имею все-таки читателей и могу даже существовать на их гроши с своей семьей. Вероятно, это «выпадение середины» свойственно не мне одному. В этом отношении особенно чудесной я считаю последнюю свою книжку «Башмаки», которая будет читаться людьми деловыми, и рассказ о Марье Моревне будет цитироваться специалистами башмачного и кустарного дела. Значит, есть в пустоте воздух, в тоске радость и в мечте воля к преображению жизни! И это я доказал!

<На полях:> О раздвоении женщины на Варю и Варвару Петровну.

Ну вот же, Михаил, ты теперь довольно насытил свое самолюбие и утвердил свою гордость, забудь обиду Варвары Петровны, склонись любовно к своей маленькой Варе, и вникни в ее женскую драму, и проследи весь ее жизненный путь от Смольного к Сорбонне и до положения незначительной работницы в бюро Английского банка с возмущением на общественную несправедливость: «Мое несчастие в том, что я родилась женщиной и должна потому быть ничтожеством под начальством мужчин, не стоящих и моего мизинца».

1) И вот со слезами просит она меня взять себя просто как жену: она будет мне верной хорошей женой, устроит мою жизнь хорошо.

А раньше просила она же (почти просила) взять как любовницу, потому что женой быть она не может: она не выдержит критики своих родных меня как жениха.

Значит, просто-жена что-то низшее сравнительно с тем, чем она могла бы быть, если осознавала в себе полное чувство ко мне. Это полное чувство она же выразила после в письме; отказываясь от меня, освобождая меня от обязательства «создать **положение**»: «Живите сами для себя, бросьте создавать положение, поймите же, что если бы я Вас любила по-настоящему, то не посмотрела бы ни на что и пошла бы за Вами на край света. Я понимаю же, Вы этого ищете во мне, но я не такая, как Вы думаете. Вы меня не знаете, Вы создали себе из меня свой образ, чего нет у меня».

После, стороной, я узнал, что у нее, когда мы разошлись, была еще попытка любить какого-то умного профессора и с положением, но в тот день, когда назначена была свадьба, она не явилась к венцу. (Вскоре после этого я в лесу своем получил от нее записку: «Откликнитесь!» Мне кажется, эта записка имела целью ликвидировать все серьезное каким-нибудь легким концом. Мне только случайно не удалось попасть на этот пир, и, вероятней всего, был заменен кем-нибудь другим, может быть, третьим, но это уж, конечно, ликвидация.)

Значит, тут было три возможности: 1) Быть женой такой, чтобы уйти на край света, 2) выйти замуж (необходимо положение мужа), 3) флирт (в виде опыта, конечно). Первое она пробовала испытать со мной: не отдалась. Второе с профессором: не отдалась. Третье? ответ не важен. Конец: бюро, а у нас бы: совбарышня.

Пункты для анализа:

1) Почему не может отдаться при вечной мечте именно отдаться и пойти на край света за ним.

2) Почему считает, что мужчины не стоят ее мизинца и что

она ничтожество только потому, что — женщина.

3) Был ли я, ее первый, не настолько увлекателен, чтобы она отдалась, или же она по природе своей не могла отдаться.

Еще вот что вспомнил, ее слова: «Мы чем-то похожи друг на друга». Чем? У нее был застенок в отношении мужчин, застенок в Сорбонне, в учености; у меня был застенок в отношении к женщине: тоже ученость и усложненность. И только в страшном уединении и разобщенности на чужбине мы могли внутренне встретиться.

Надо заметить, что встреча для «пира» только случайно не состоялась (я перепутал число «завтра» и опоздал, она обиделась и уехала). Надо продумать, что бы произошло, если бы мы встретились.

23 Октября. Вчера после обеда и до ночи пять часов валил снег. Сегодня рано утром в темноте было не холодно и так тихо, что слышался от моего дома непрерывный шорох от легкого волнения воды на озере у заберегов.

Вот вспоминаю о Маше{166}, что, когда я ей сказал: «Женщина в жизни распадается: одна — и другая», — она мне ответила: «А ты соедини». И если, как пишет критик, Марья Моревна есть образ и символ мечты, то вот как удивительно приходятся слова действительной Марьи Моревны: это целая программа (в «Башмаках» попытка соединить женщину «в рабочем виде» и «в гулящем»).

Очень возможно, что бессознательно я и выполнял ее завет.

Ю. Соболев пишет восторженные статьи о моих писаниях, а хранившиеся в его квартире мои рукописи и дневники, когда выехал, бросил, и они попали в сарай к дворнику. Вот пример обыкновенного мечтателя-романтика и отчего у таких женщина распадается на гулящую и рабочую: у них любви нет к человеку, «доброты». Но с любовью слепой и добротой тоже ничего не сделаешь. А ведь Марья Моревна (Маша) была вся насквозь в деле.

24 Октября. Лед изо дня в день все больше и больше охватывает озеро, кольцом зажимает живую воду. В тишине слышно, как вода трепещется в шорохе, утром на рассвете долго все бывает закрыто туманом. Рыбаки говорят:

— Озеро зябнет, пареет!

У закрайков рассаживаются тяжелые кряквы, чайки все еще здесь.

Разговор у туземцев о зиме и спор, одни говорят, что все растает, другие — что это зима.

— Какая зима, если снег лег на талую землю.

— Вот то и верно — зима, что снег лег на талую землю.

Считают, что от 1-го снега (зазимка) до зимы проходит всегда шесть недель.

Лебедь — куда они делись?

Художник в тумане подкрался к лебедям с ружьем очень близко и стал целиться, но подумал: «Так близко, что можно и не картечью, а мелкою дробью и по головам, так больше убьешь». Переложил патрон, прицелился, и только бы спустить курок, вдруг ему стало так, будто он в человека стреляет. Опустил ружье, долго любовался и тихонечко, не спугнув, отошел.

Красота лебедя покоряет даже грубых охотников. Между тем лебедь злая птица, где лебедь, там ни гусям, ни уткам не вод, лебедь убивает их. А так, верно, и должно быть: это не злость, а власть красоты?

Власть женщины. Говорят часто «женственный» в смысле робкого, покорного существа, между тем сущность женщины непокорность, господство и властолюбие. Марья Моревна пленяет красотой: высшая власть на земле — красота. Женщина — это носительница глубокого, стихийно-личного начала, а мужчина — общественно-логического (прямой).

Явление стихии в личности — вот что значит женщина.

Вот это и поставило Алпатова (сначала) в тупик и почти что с ума свело, растворило постепенно, как сахар в горячей воде (жизнь стала ему казаться движением не вперед прямо по рельсам — прогресс, а крумгом), вдруг стала понятна природа. Вдруг осияло, вдруг он **понял**: вот солнце, так вот красота истины, и мы не прямо идем на солнце, а вокруг. И это ничем не хуже прежнего понимания, но зато уж это верно, и этим все можно объяснить. И что вот теперь у них с Варей ничего не выходит, потому что он неверно думает: не прямо надо идти к выводу, чтобы вот непременно кончить и жениться, а надо вдумываться в мелочи ее существа, и это есть настоящая жизнь, то есть движение по кругу, или любовь. Тогда внезапно как сноп света осиял его и поверг на землю, и все стало зеленым, сияющим и мелодично звучало, как будто слышалось движение планет по вечному кругу.

Ничего теперь на свете больше нет такого, на что бы он, посмотрев, не понял в существе, и вот это с Варей теперь совершенно ясно: существо ее, маленькая Варя в шотландке, вся живая, вся душа, а вокруг нее Варвара Петровна, которая держит в плену Варю и мешает ей быть и жить, как она есть. Надо немедленно объяснить ей это, Варе, и просто увести ее от

Варвары Петровны. Варя не может его не любить. Варя — сам он, и он ее вождь, он даст клятву посвятить, если понадобится для этого, всю жизнь на освобождение Вари.

NB. Дон-Кихот и Алпатов: противоположная психология, хотя очень сходственное положение. Дон-Кихот ошибается в уме, а не в сердце: это зачитавшийся человек, книжный, теоретический и потому не может видеть живую жизнь. Алпатов похож на него в главе «Женщина будущего» (потому он не берет и Жучку, что видит в ней просто какую-то случайность). Напротив, любовь к Варе это противоядие Дульсинее: это как если бы Дон-Кихот опамятовался и прозрел, что Дульсинея находится не вне его жизни, куда он стремится (и все), а внутри Альдонсы, и что надо извлечь Дульсинею изнутри жизни (себя самого и Альдонсы).

Существо этой Вари оказывается стихия, и Алпатов сливается со стихией: поняв там нечто, он учится презирать ученость и всякое мещанство с положением, учится понимать внутреннего человека во всех внешних положениях (внешнее и есть Варвара Петровна).

Старушка Vita, может статься, превратится в тему всего романа; в Женщину будущего, в любовь, ток и т. д.…

Это непременно должно войти в роман, что в Казачьем пер. один мудрец повел бунт против Христа и заявил, что Христос не спас мира, значит — не Спаситель.

Ну, так вот в тот момент, когда он вдруг понял весь мир, как он живет, как движется, и счастье забило светом, цветом и зеленью, ему захотелось сейчас же ее видеть и сказать все, и ему казалось в эту минуту, что как только он скажет ей то, что узнал, так она к нему и выйдет вся из Варвары Петровны, в этом нет никакого сомнения. Он идет по дорожке уверенно к киоску, покупает там письмо для пневматической почты и пишет: все вдруг понял и все решил, жду по крайне важному делу.

Она приходит с [опозданием], следы работы не сошли с нее, у нее деловой вид, и, когда они сели на лавочку, она сказала, что немного вообще успокоилась и сегодня могла заниматься и, если бы не его письмо, то и не пришла бы.

— В чем же дело?

Он слушал ее рассеянно, ему казалось, что сидела с ним и говорила какая-то девушка чужая и чужими словами, а когда она спросила: «В чем же дело?» — очнулся.

— Дело, какое дело?

— Я не знаю: ты меня вызывал по делу, ты что-то решил.

В любовных письмах, если они пишутся не шутя, а как бы

взамен свидания, есть страшная опасность…

Конечно: и письмо есть жизнь, но только если корреспондент владеет собой и может пользоваться словом, как орудием страсти.

Если же он мечет слова, не владея собой, и невозможно в это время любящей руке дотянуться до него и охладить разгоряченный лоб, то эти письма — погибель и только отдаляют возможность свидания и слияния напряженного чувства с другим.

Можно отдавать на почту письмо только такое ясное, чтобы после, когда с ним расстался и оно пошло, в душе оставалось бы чувство, какое бывает от совершенно законченного и необходимого дела. Но если одно письмо послано, а тут же явилось желание исправить нелепость, и через час посылается другое, противоречащее первому, а еще через час телеграмма о том, что письма посланы и надо непременно читать их вместе, и еще новое пишется письмо в ответ на полученное только что, и это новое опровергает и первое письмо, и второе, и телеграмму, — то вот и **помешательство**.

25 Октября. Вчера начался ветер с дождем, всю эту ночь за стеной гремело и ломало зиму.

Мне предстала сегодня во всем своем значении жизнь хрущевского Сизифа, работника Павла, с женой Фионой и жеребенком (записались в Золотую книгу),

Свою любовь к человеку (любишь его или только это кажется) лучше всего проверить, представляя себе, что вот он умер и надо его обмыть тебе самому: так можешь ли ты без страха и брезгливости обмыть его?

Я работаю, ориентируясь на современного читателя почти исключительно в интересах своего материального существования (впрочем, почти не считаясь с этим), ориентируюсь на то, что останется от меня на будущее, и сужу свое дело лишь долготой существования. Значит, это все равно, как я был бы родоначальник и думал о продолжении своего рода.

Вот не помню, что именно Мейерша — эта торговка, ставшая женой диакона от Мережковщины, — сказала о. Николаю, монаху, о своих надеждах, возлагаемых ею на детей. Но меня тогда поразили слова монаха, в том смысле что дети — только продолжение нашего горького опыта жизни. И возмутило! и я увидел в существе о. Николая Опоцкого отталкивающий от себя труп (синева подкожная и темнота, запах монаха — не плохой, но… как от сырой стены). Вот из этой правды чувств возник и у Розанова весь его бунт. И сила Розанова в этой близости к нам

всем, кто, проводив одну весну, с радостью ожидает другую и знает, что никогда одна весна не бывает такой, как другая, и что переживание жизни мной и моим сыном, то есть в двух лицах, а не в одном моем, то есть, положим, тот же один аршин, разделенный между мной и сыном пополам, даст в сумме не прежний аршин, а, например, 1 аршин ¼ вершка. В этой ¼ вершка, ускользающей от учета христианского разума и потому являемой ему как зло, как черт, вся наша радость земная, тот хвостик животного, постоянным движением которого сопровождается жизнь. Не духовная жизнь, не плотская, а просто жизнь — драгоценнейший поток (старуха 80 лет дорожит жизнью: имела опыт! а юноша не дорожит — кто прав?).

Есть такие отношения к женщине — «святые», для этих отношений до конца оскорбительна и невозможна попытка к совокуплению (иногда это равновесие дружбы нарушается похотливой попыткой с той или другой стороны). Отсюда и происходит у нас омерзение к акту. И еще, нельзя же чувствовать постоянно себя в состоянии полового напряжения: работа, дело, умственная жизнь и мало ли чего… День отодвигает это во мрак ночи, в тайну ночной личности. Появление днем ночных чувств — иногда омерзительно…

Но я это не к тому, а вот к дружбе или к какому-то особенному чувству к женщине как к нежному товарищу: я это чувство имею, и, если замечаю самым отдаленным образом в таком товарище движение пола, — он меня отталкивает. Налет культурности в женщине, образ жизни ее — с книгами… отталкивает мое половое чувство: я могу совокупиться только с женщиной-самкой, лучше всего, если это будет самая простая баба.

Наст, громкий такой, что мне кажется, от провала одной только моей ноги должен на версту вокруг разбежаться всякий зверь из леса. Между тем лисица шла, проваливалась, трещала и все-таки шла. Спугнули зайца, и тот, махнув на ручей, провалился там совершенно, вероятно, даже и с головой скрывался. Каждая веточка в лесу в ледяном футляре, и лед падает непрерывно, часто с ветками, такая стукотня в лесу! и показаться туда невозможно: иная ледяшка падает фунтов на десять. Дороги ледяные, и уж лошади на ней не увидишь, что лошади, даже коров на водопой не гоняли.

Ветер.

26 Октября. У него рот маленький и руки тонкие.

Ветер гудел всю ночь.

Женщина будущего.

Алпатов заводит дружбу с женщинами, разные курсистки, и у него они, как сестры. (Жучка выводит из равновесия: влюбляется, он же не понимает и наслаждается женским обществом: можно говорить, что угодно, смеяться, только если одна, подходит другая — и у них начинается такое, что он уж исчезает, и как-то даже обидно.) В то же самое время уличная женщина тянет его, и одну он избирает для того, чтобы сделаться мужчиной (танцует с латышкой), она в него влюбляется и дарит ему «Русское богатство»: книжка выводит его опять к женщине-сестре, и он сидит голый с ней на кровати и как-то не смеет (как с сестрой) думать о теле. Из всего этого (как?) психологический узел с выходом души в мечту о женщине будущего.

Учится подходить на улице к женщинам (от Полины): как это страшно! и так знакомится с «Русским богатством». Завидно каждой старухе.

Конечно, первое условие для влюбленности (безумной) — «пустота»: у Алпатова пустота получилась от потери веры во всемирную катастрофу.

Сегодня определится наверно, пойдет ли дальше погода в сторону зимы или же совершенно все счистит: сильный ветер, все теплеет, наст размяк.

<На полях:> (— Чего же тебе надобно, Надя?
— Я бы хотела полюбить, Дмитрий, такого, какого уж и нельзя любить.)

Репетирую главу «Женщина Будущего». Старушка Vita. Женщины-сестры и вулканы. Подготовка «пустоты»: все это гордость (Vita), начитанность, книжность, а самый простой студент сделает анализ (сюжетец) лучше его. Пустота половая (сюжетец: с двумя, образованной и публичной: публичная стала отталкивать, когда сделалась образованной, образованная, когда публичной). И вдруг всему решение: химии не надо: ключ найден и женщины не надо: женщина будущего.

Растеплело и почти все счистило, ночью был теплый дождь, и, думаю, с рассветом не останется и белого клочка.

<На полях:> Два Бранда — один ведет людей, другой погиб{167}.

Вечером Павел привел ко мне своего земляка Дмитрия Павловича Коршунова, который вступил в борьбу с деревней за разум, против попов. Его не понимали и считали за безбожника (жена спать ложилась с ладаном), но потом раскусили, что он борется за настоящего Бога. Самое замечательное, что этот

Коршунов — не сектант (всякий сектант — гордец) и не аскет (верит и хочет преображения материального мира).

Другой такой же из Городища только начинал, только-только что взялся было, и вдруг перед ним стал вопрос: идти ему на всенощную службу или вот тут-то и начать борьбу и принять Голгофу. Да, он с этого начал… и этим кончил. Из тюрьмы он вышел как умалишенный. На нем крест и ладанка, в руках священные книги. Он уходит в лес, там ставит образа и читает книги, всюду роет колодцы: вода — доброе дело; выкопает ямку, побежит из болота вода — колодец. Был он первый гармонист и весельчак, теперь зарос, опал в лице, вши, — берет вошь и скажет, сажая на себя: «Живи!» А глаза детские и прекрасные. Так вернулся он к вере дедов и прадедов.

<На полях:> Учитель был человек нынешнего времени.

Я сказал:

— Рай и ад! а кто это видел?

Он отвечает:

— А Париж ты видел? нет. А веришь, что есть Париж?

— Верю. В это нельзя не верить. Париж для всех, а про рай и ад говорят только попы.

Отец Дмитрия — чудак. Ну, такой же, как я, как все мы — чудаки, а мать, женщина, такая грамотуха!

Теперь Дмитрия и на сходе слушают.

Начало мысли, что церковь устроена на труд и это должно пойти бедным людям.

Картина: поп пьяный, дождался. У соседа горе: коровенку ведет продавать.

Дмитрия теперь уж за святого считают и не пропустят, чтобы не спросить что-нибудь. Раз шел Дмитрий мимо вязальщика, тот его спрашивает: «Для чего я, скажи мне, машину верчу?» — «Для жизни», — ответил Дмитрий. «Какая тут жизнь! — сказал вязальщик. — Разве это жизнь! тяну нитку, вот и все. Нет, я думаю, живу я, только чтобы машину вертеть». Вернулся Дмитрий к себе и думает, думает, как бы ответить этому человеку, наконец, надумал и написал вязальщику ответ: «Ты вертишь машину, чтобы нитку тянуть».

Пришли к бондарю Дмитрию двое маленьких ребят, братишка с сестренкой, ему семь лет, ей шесть, пришли босые и дрожат, а в избе холодно.

— Лезьте же скорее на печку, — сказал Дмитрий, — холодно, так помереть можете.

— Что же, — говорят, — помереть, нас бьют, бьют, лучше бы

и помереть.

<На полях:> Замечательно, что человек восстал на красоту былого культа и объявил, продавая свою последнюю коровенку, что красота эта создана народным трудом и никому не нужна, что молиться можно везде.

Ехал на поле мужик, дядя Митроха, картошку сажать, и с ним сынишка был, Мишка, мальчишка по пятому году.

— Тата, — спрашивал Мишка, — откуда картошка взялась?

— Из подвала, — ответил отец.

— А в подвал ее кто положил?

— Я положил.

— А ты откуда взял?

— Я с поля привез.

— А в поле кто ее положил?

— Я посадил ее, и она выросла: земля родила.

— Значит, ты ее посадил, а земля родила?

— Ну да.

— А откуда же ты ее посадить взял?

— Отвяжись ты от меня, я же тебе говорил, что взял из подвала.

«Детей от Прекрасной Дамы иметь никому не дано, но только Она Адамово заканчивает звено» (**Мария Шкапская**)[{168}].

Романтическая любовь (и Алпатова тоже) и есть попытка иметь детей от Прекрасной Дамы: затея должна окончиться распадением Незнакомки на Прекрасную Даму (исчезающую) и на проститутку.

Романтизм и реализм: первое, это когда Дульсинея находится, как у Дон-Кихота, вне жизни, и рыцарь, выезжая за ней, выезжает из жизни: а реализм, когда эта Прекрасная Дама сама является **просто** живущему внутри — и серому рыцарю надо въехать в жизнь. Но это опять-таки не так, как у Иванова-Разумника, который, усвоив себе имманентность Прекрасной Дамы, заставил себя видеть ее в своей Варваре Николаевне, его слова: «Она и есть Прекрасная Дама». Это тоже Дульсинея, как и у Дон-Кихота, но уж с новыми этажами умственности. В этом же роде и психология одной консерваторки, которая, вообразив себя имманентною Прекрасной Дамой, явилась к Леониду Андрееву и предложила ему родить гения.

Нет, это не смирение, если я надену на себя пудовые вериги и свинцовый крест, смирение — это значит жить просто, обыкновенно, «как все», то есть зарабатывать себе кусок хлеба и устраиваться, насколько позволяют средства, все-таки получше,

почище, если же замутится вся душа от скуки, надо придумывать развлечения, ничего, если выпить иногда, сыграть в карты — или сходить в кинематограф или в театр. Да, больше нет этого смирения, чтобы жить, совершенно как все, не отказываясь даже от воскресных визитов и устраивая так, чтобы все считали тебя за самого обыкновенного, нашего человека. На свете нет никого, даже самого бездарного, кто, смирившись так, не нажил бы себе радости жизни, если даже ему не повезет совсем, затрепет лихорадка, или дочка родится какой-нибудь кривобокой, или завихрится жена — все равно! Будет человек болеть, страдать, но всегда с надеждой на счастье, а болезнь с надеждой на выздоровление — не болезнь.

Но если, положим, кто-нибудь по природе своей нетерпелив и может работать только взрывами и как бы поэт, художник в существе своем и смирение окончательное ему смерти подобно, — он может в минуты упадка забавляться поэзией обыденности, как было у Льва Толстого: пахал! Да, было это: граф па-хал и писал великую книгу свою «Круг чтения»{169}.

Дождь идет мелкий, холодный, без всякой надежды, что перестанет, потому что Октябрь, в это время неделями бывает пасмурно. Ничего не поделаешь! В комнате становится сыро и холодно, делать нечего, надо печку топить березовыми дровами, — вот еще хорошо, что запасся сухими хорошими дровами. Вот завернулась на одном полене береста, собрал ее, чтобы растопить, а на кусочке бересты этой показался какой-то причудливый рисунок природы, — отложил, взял другой кусок бересты, на нем дополнилось к тому рисунку, а третий кусок — нет ничего, зажег, вспыхнули дрова. Вот хорошо при свете печки зарисовать с бересты на бумагу… Зарисовал… (Происхождение Перунова Острова.)

28 Октября. Звездная и на редкость теплая для Октября ночь. В предрассветное время я вышел на крыльцо, и слышно было — только одна капля упала с крыши на землю. При первом свете заворошились туманы, и Ботик показался на берегу бескрайнего моря.

Я любовался узорами совершенно безлистных деревьев на ясном небе, березки были как будто расчесаны вниз, клены, осины — вверх. Драгоценное и самое таинственное это время от первого света и до солнца: мы были свидетелями, как в этот час родился легкий морозец, просушил и побелил на земле старую траву, позатянул лужи тончайшим стеклышком (развить: рождение мороза).

При восходе солнца в облаках показался Никитский монастырь и так надолго повис в воздухе. В солнечных лучах явилось наконец из тумана и озеро. Так все было увеличено: длинный ряд крякв казался фронтоном наступающих солдат, а лебеди были, как сказочный белокаменный город, выходящий из воды.

Показался один летящий с ночевки издалека тетерев и с другой стороны — другой, один за другим они полетели к озерному болоту, и, верно, в те же самые минуты еще летели из других мест в условленное место. Когда я пришел туда, они уже собрались большой стаей и токовали в болотах так же, как и весной.

Я долго думал, как различить этот позднеосенний день от раннеосеннего, и так установил, что узнать это можно только по ярко зеленеющей теперь осенью озими, да что вот земля нам теперь почему-то не пахнет, как весной. Еще, может быть, по себе, что не бродит внутри себя весеннее вино и радость не колет: радость теперь спокойная, как бывает, когда что-то отболит, радуешься, что отболело, и с грустью одумаешься: да ведь это не боль, а жизнь прошла!

<На полях:> Чайки все еще здесь. Большой зазимок.

После большого зазимка на поле не осталось ни одного жаворонка, только утки на воде, большие [кряквы] и лебеди.

<На полях:> Было озеро черное в ледяном кольце, и кольцо все сжималось, и озеро все чернело. Теперь кольцо разжалось…

Было озеро в большой зазимок совершенно черное в ледяном кольце, и каждый день кольцо его сжимало все сильней, и все черней была вода в белых берегах. Теперь опять раскололось кольцо, и освобожденная вода сверкала, радовалась. С гор неслись потоки, шумели, как весной.

Но когда солнце закрылось облаками, оказалось, что только благодаря его лучам видимы были и вода, и фронт крякв, и город лебедей: оказалось, это был густой туман, как только закрылось солнце, туманом закрыло и озеро, и лебедей, остался только висящий в воздухе высоко над землей Никитский монастырь.

N. B. Надо непременно проследить все явления природы (не забыть позднюю радугу, гололедицу и прочее) осенью, вплоть до замерзания середки озера (там будто еще лебеди).

Сегодня, раздумывая об Алпатове, я себе представил момент его истории жизни, когда он странствует по России в поисках **положения**. Ему около 30 лет (1902–05 г.). Эпоха Японской

войны, 1-й революции и декадентства. (Рязановский.) В это время он должен осознать себя художником и понять самостоятельное значение в жизни линий и красок.

Величайшее явление: восход солнца; заутренний час: стоять лицом к заре и думать; и вот это все великое сводится только к его восприятию линий и красок: это все! а где же то, отчего все это происходит? и что это? (декадент и это гонит в картину). Состояние духа, похожее на то, когда он думал твердо: «да или нет», и вдруг — женщина, и тут «сверх того да или нет» — от лукавого: какая-то жидкая психология, и становится от этого так, будто после долгой поездки по морю вышел на берег и земля качается, или когда думаешь о бесконечности и перейдешь за какую-то черту в душе, — помешаешься и в страхе тогда скорее хватаешься за конечные вещи. Между тем они в этом жили и за то назывались декаденты, казалось, совершенно бесстрашные люди.

<*На полях:*> Круглый год на охоте.

29 Октября. Предрассветный час: тепло, ветер с юга.

Рассвет из-под серого неба.

Восход незаметен.

Розанов — гениальный и дал, вероятно, единственные в мире мысли о вопросах пола{170}, но прием, которым он выделил вопросы пола и поставил их в фокус исключительного внимания, конечно же, парадокс. Совершенно так же, как выделил он как священное начало жизни человека — половой акт, можно выделить и пищеварительный процесс с его конечным выделением священного навоза, удобряющего землю для растений и прекраснейших цветов, и так же, как о браке, можно написать и о желудке.

Кащеева цепь.

Звено четвертое.

Мировая катастрофа. Женщина будущего.

Метафизик: старушка Vita, уверование в мировую катастрофу.

Эпоха: марксизм 1893 г. — 98 (девяностые годы).

Алпатову 20 лет-25.

Лаборатория: профессор Вальден. Практика летняя и уверование в марксизм. Пропаганда веры (письма в тюрьму) и тюрьма. Любит его девушка. Для него женщина или сестра, или то, чего надо бояться больше всего (тюремная невеста). Мировая катастрофа кончается разгромом публичных домов (проститутка с

«Русским богатством»).

Звено пятое.
Женщина настоящего.
Европа (дуэль — перед этим: доктор). Последний этап потери веры в катастрофу и после того любовь, которая кончается соглашением с ней создать в России положение. 25–28 лет.
Эпоха: 1899 г. — 1901-й и 2-й.

Звено шестое. 1903-й.
Положение. От агронома до декадента и конец: ток.
Эпоха Японской войны и 1-й революции.
Алпатову 28–38 лет — 40 лет.

Звено седьмое.
1916 г. (Алпатову 43 года).

30 Октября. Предрассветный час: совсем тепло, выхожу в рубашке, ветер небольшой. Звезд не видно.
Лева схватил прием моего изучения, заразился, и завтра — он литератор (19 лет!) Лев Катанский.

В «Красной Нови», где напечатаны «Родники», все серо: советский] граф Толстой пишет моторные романы, гонит монету, Пильняк, полетав на самолете, пустил фельетон под Розанова{171} — такая обезьяна! Вообще — мель.

Рассвет.
Мягко рассветало и неуверенно, ветер ласковый.
Я думал об этом бондаре, узревшем Бога в «разуме»: что и у меня этот Бог, несомненно, гостит, и молюсь я Ему тоже постоянно про себя, как и бондарь, но только я до того привык к Нему и так Он вошел в мой труд, в мою жизнь, во всю мою природу, что я совершенно не отделяю Его от себя самого.

Восход.
Солнце хотя было и не видно сначала, но дождевые облака были ласковые и разорванные. День определился необыкновенно теплый, дымчатый, приятный. Опять показались гуси: одиннадцать штук, полетели на озеро. Явление гусей было страшно радостно. Птицы-бродяги.
N. B. Собрать дни осени (как у весны май — красивое и общее время: усвоили все от Пушкина, так у осени золотой сентябрь), а что не знают люди (большинство) — это первое предчувствие

осени летом и потом октябрь-ноябрь до замерзания больших водоемов.

<На полях:> Добро — я думаю о нем так, что оно рождается у Творца, когда бесенята совершенно рассердили Его и Он уже готов их подавить всех сразу, но вдруг, схватившись, рассмеется, загребет их всех и, погладив каждого отдельно, начнет выпускать, приговаривая: «Ну, пошел, пошел, лукавый, живи, только если будешь опять дурить…»

31 Октября. Предрассветный час: тепло, но ветер сильнее вчерашнего, все небо закрыто. Потом дождь. Середина дня неопределенная. К вечеру северный ветер и легкая пороша. Ночью луна.

Когда думаю о литературе, — что сделал для нее Андрей Белый, — то чувствую себя совершенно ничтожным: какой я литератор! но в то же самое время упор в жизнь у меня так велик, что в наше время равным себе считаю только Горького и Гамсуна.

Вероятно, этот «упор в жизнь» и есть Бог, неназываемый товарищ, представитель мирового творчества (например, пишешь о поморе и чувствуешь все море, — это чувство моря, земли, человека — «хороший человек!», и, главное, что как-то «надо так, а не так», и еще, когда налезет мелочь на душу с делишками и людишками, то вдруг оглянуться вокруг себя на большее и стряхнуть с себя все мелкое так, что оно обращается в материал для веселости… вот в этом нутре своей самости (большой человек) и находится тот образ единого мирового творчества, который называется Богом. (Как хорошо, когда говорят: «Бога ты не боишься, бессовестный…») Бог — это сердцевина мира, которая идет со мной: все великие произведения Достоевского, Толстого и др. написаны в отношении к этой сердцевине. Да, конечно, об этом говорят все дела истории, и хорошо в минуту отдыха представить себе этот процесс лично («троичен в лицах» или, как Исаак у Гамсуна{172}, у Толстого… и т. д.), но стоит ли заниматься этим (искательством) специально?

(Вот интересный момент вспышки этого сознания Бога у Дмитрия, бондаря, когда он расставался с коровой и видел собирающего попа. Состав поступков, преобразующих жизнь: 1) не матерщинничать, 2) не пить, 3) не курить. Центральная идея: разрушение бесполезной красоты церкви и обращение ее на пользу трудящихся.)

Цель художника — ввести как будто случайные моменты жизни в соотношение с общим процессом мирового творчества посредством особо сильного ощущения творчества, называемого чувством красоты (эстетика). В этом и есть «выпрямляющая»

(Успенский) сила художественных произведений{173}: читатель, созерцая произведение, сам начинает из своей жизни творить легенду. Одни художники гибнут, сводя это свое дело к «полезному»: моралисты, богоискатели; другие, из опасения такого конца, делаются эстетами, ориентируясь на «бесполезное», и ужасно смешно, что для этого жертвуют своей природой (например, Кузмин, педераст, и «жена» его Лукомский, который, сделав через Кузмина карьеру, — женился!!!).

Михаил Иванович Смирнов — игумен от краеведения, лезет к власти, как жеребец на кобылу (порода жеребячья). Он очень наивен, и груб, и хитер. Воображает себя писателем, но он даже не культурный деятель, потому что не научился подчиняться высшему. Между тем у культурных деятелей, даже самых элементарных, это подчинение себя до того обычно, что народился тип спекулянта смирения, хитреца, — выработалась даже манера культурного обхождения: проходя вдвоем по узенькой тропинке, более культурный так подстроит, что менее культурный идет по сухой тропинке, а он по росе (Михаил Иванович всегда прет по тропе). А спекулянты смирения (Андрей Белый в отношении д-ра Штейнера){174} доходят [до] полного поглощения высшего (в последний момент д-р Штейнер, однако, поглотил у своего паразита жену и тем **уничтожил** противника).

«Это тема!» — современное богоборчество (например, Щетинин-бог методически обирал у противников половую энергию: казалось Легкобытову, вот-вот вся «мудрость» Учителя будет у него, и он сам объявит себя Христом, как вдруг в последний момент жена ушла к Учителю.

Вот и надо богоискательство Алпатова представить, как борьбу царства (и среди этого крик искреннего человека: «А как же моя личность!»). Легкобытов и другие — рыскающие хищники, князья — искатели уделов и великий князь — царь! (Трагедия писателя, что кто-то у него отнимает жену: писатель хочет установить свою высшую власть на своем духовном начале и не достигает, потому что у него отбирается жена, то есть, например, у Мережковского общество (земля).)

<На полях:> Бог у художника всегда бессознательный его товарищ, к которому он до того привык, что и не знает, что это и есть сам Бог.

1 Ноября. Предрассветный час. Сильный северный ветер. Полнолуние. Озеро шумит. Рассвет. Восход. Озеро страшное. Сильный мороз.

Восход какой-то желтый, страшный.

Середина дня. Стихло, обогрелось. Сияние солнца над белой

землей.

Вечерние сумерки. На несколько минут сильная пороша и потом звезды.

Ночь.

В один прекрасный день я соберусь с духом и отваляю «Кащееву цепь» так, что в неделю будет написано по целой повести (звену). Герой (Алпатов) будет похож на художника Михаила Николаевича (только с успехом), и творческий **процесс** его личности будет противопоставлен творчеству мира (выпрямление).

О «Башмаках».

Это лицемерная книжка. Я занимался «Башмаками», потому что не хотел свое настоящее творчество ставить под удар крайней нужды (не хотел продаваться); но, взявшись за предметное описание для «чистого заработка», я не мог это делать, как все просто описатели, а когда из этого получилось нечто, то я свой путь выхода из последнего рабства предлагаю как метод исследования. На самом деле же я верую, что одна действительно прекрасная строчка, получающаяся от свободного творчества, дороже всех башмаков на свете.

2 Ноября. Перечитывал «Курымушку», и 1-я часть — очень хорошо, но у читателей, может быть, и не явится желание читать 2-ю, а там 3-ю, 4-ю и так без конца. Словом, я сомневаюсь во всей затее; надо написать не ряд повестей, а роман. (Ну, так и пиши: оживи Курымушку, вычеркнув затяжные места, и продолжай, как раньше.)

<На полях:> До обеда при хорошем морозе летела пороша. Подготовленная вода быстро намерзала, волны с севера прибивали намерзи, и так в одну ночь целые поля заберегов.

Павел — «читатель» из мужиков, такой же, как Баранов, Елизар Наумыч. Эти любители чтения все читают, и все как-то у них проваливается бесследно. Люди эти вначале очень завлекают, кажутся самородками, а потом, оказывается, это не умные люди ни по делу, ни по рассуждению.

3 Ноября. В предрассветный час было тихо, но озеро черное очень шумело, вероятно, о забереги. Не холодно. Лежит вчерашняя пороша. Идут на охоту все (Петя явился по случаю похорон военного комиссара).

Петя в отношении женщин по всем приметам должен бы

выйти такой же застенчивый, как и я, между тем новое время совершенно уничтожило у него этот недостаток. В его классе всего четыре юноши и сорок девушек, и эти сорок выбрали из четырех старостой Петю. Его обязанность вести заседания, а иногда наблюдать порядок, устраивать тишину для занятий.

— Как же ты управляешься? — спросил я Петю.

— Отлично! Если бы мальчики были, я бы не мог, я бы отказался, а девочек, будь, мне кажется, хоть сто, хоть сколько угодно, — сразу поверну, как мне нужно.

— Но ты их не стесняешься иногда, знаешь, все-таки девушки, это ведь мир не наш с тобой…

— Какой ты чудак, чего я буду их стесняться: ведь их же сорок, могли бы они из сорока-то выбрать себе женского старосту, а вот выбрали же все-таки меня, значит, они хотят слушаться.

А у нас женская гимназия была почти напротив через улицу, но встречались мы с девушками только два раза в год: один раз давала бал женская гимназия и другой — наша. На этих балах мы получали иногда в порядке танцев котильона (котильон — что-то вроде Большой энциклопедии, в основе кадриль, а между кадрилями всё танцы) — небольшие разноцветные бантики. Эти бантики хранились от бала до бала, а у некоторых из года в год. И сейчас я, если увижу такой бантик, чувствую то же самое, как весной, понюхав ароматный цветок, фиалку или ландыш: во всем существе мелькнет вдруг тревожно-радостное жизнеощущение, и как-то почувствуешь, хватаешься поскорей опять понюхать, и уже сознательно, с целью точно вспомнить, когда это, где это было вот так, но когда сознательно нюхаешь, ни за что не вспомнишь, и так бьешься до тех пор, пока не вынюхаешь весь цветок и он не запахнет просто травой.

Точно такое же бывает, когда вижу маленький бантик… в нем осталось какое-то таинственно-сладостное соприкосновение с миром иным, очень коротким, и потом грусть расставания, какого-то непременного расставания с праздником и возвращения к латинской грамматике. Из этих тончайших чувств и вытекает потом поток романтизма. А Петя-староста теперь ежедневно видит их сорок, и они все его слушаются. У него сложится жизнь совершенно другая. Да, будь мне бы в юности сорок, едва ли стал бы я мучиться воспоминаниями и вынюхивать ландыши, пока не запахнет травой, будь мне бы в юности сорок девушек, — наверно, мне бы теперь, к старости, все ландыши пахли травой.

Дело в том, что Она должна быть непременно одна. Если Она встречается даже вдвоем со своей подругой, то это не Она, и он ждет момента, когда подруга удалится, чтобы узнать Ее: тогда

вдруг все переменяется. Если же Она является сам-сорок, то какие же трудные условия создаются для возникновения романтики (вспомнил из биографии Пильняка: «Одно время я занимался романтикой»).

Я думаю, что и для живущего среди сорока не минует пора романтизма, только Она явится уже не туманом, а с определенным лицом: юноша выкует себе или, как гравер по меди, вырежет себе черты любимой девушки, единственные черты в борьбе с 39-ю, в защите любимого образа от наседающих на нее множества подобного (бес-подобные черты скроет в обычное, так, чтобы другие [девушки] не узнали его — не было бы стыдно). В этом и есть отличие реализма от романтизма (вот бы надо это знать Воронскому при решении вопроса: Горький — другой и проч.). Романтик носит длинные волосы и шляпу, реалист стрижется бобрик и носит котелок (эпоха 90-х годов, романтики в котелках).

Не от себя это, а так жизнь идет, что каждому непременно нужно спуститься в глубину Аида, а потом рекомендуется выход оттуда: в ширину, на вольный свет, один будто бы выход: любовью. Так просто говорят: любовь! а поди разбери, что такое любовь, и окажется, это очень не просто, и, в конце концов, любовь — это, оказывается, другое название борьбы двух: «я» и «ты» (Лидия и Маша вечно боролись между собой за столом, отказываясь каждая в пользу другой от лакомого кусочка; «я — это Ты в моем сердце, возлюбленный»), но если я — это Ты, с одной стороны: я < Ты, с другой, Ты должен чувствовать в отношении я то же самое и, как я = Ты, Ты останешься только Ты, а лакомый кусочек остается несъеденным. (Завела Дуничка, а умная Лидия это заметила и не поддалась: «Если ты хочешь, чтобы я была для тебя Ты, ладно: с тем условием, что и Ты — это я: пожалуйте!»)

4 Ноября. В предрассветный час умылся горстью свежего ночного снега, и как это хорошо! Восход был красный. Вчера мы убили 4-х зайцев, — выйдя утром в 6 часов, вернулись в 6: еле дошли. Но какое снежное перерождение души!

<На полях:> Пороша только чтобы охотиться, а ездить и ходить по дорогам и полям — мученье, одни кочки. Муравьиные кочки застыли.

<На полях:> Имение у Алпатовых было 120 десятин заложено, и хутор 100 десятин — приданое: эти 100 десятин списаны, но Марья Ивановна определила их на приданое Лидии и ценила в 25 тысяч, так это пошло, что за Лидией 25 тысяч приданого.

Началось это в семье Алпатовых с тех пор, когда появилась у них Марья Моревна: конечно, и Мария Ивановна была

удивительно гостеприимная хозяйка, была от хороших гостей без памяти и все выставляла на стол, но гостеприимство такое обычно у нас везде; Марья Ивановна была просто хозяйка имения, а Марья Моревна — хозяйка своей вечно цветущей души; она умела так искусно подстроить, что всякий от нее что-нибудь получал, и это выходило совсем незаметно, так что и в голову никому не приходило отдарить. Я сам, помню раз, когда у Алпатовых была за столом жареная утка, — любил я уток! — прицелился к одному кусочку, — и вдруг этот самый кусочек Марья Ивановна положила прекрасной Марье Моревне. Тогда я не сообразил этого, но, конечно, она поймала мой вожделенный взгляд, и, когда мне попал на тарелку тот кусок, с виду большой, а на самом деле кости, обтянутые аппетитной кожицей, Марья Моревна вдруг сказала:

— Знаешь, Миша, давай переменимся, мне запрещено есть жирное…

Марья Ивановна встрепенулась, моргнула мне, чтобы я никак не смел брать. Но Марья Моревна сама переставила тарелки и говорила:

— Кушай, кушай, миленький, спасай мое здоровье!

Я ел, и мне казалось, правда, спасаю желудок прекрасной Марьи Моревны, и только теперь, вспоминая, понимаю, что, конечно, и она бы не прочь хорошо поесть, но заметила, что мне больше хочется, и так все подстроила. Она как будто этим жила — всем устраивать сюрпризы, в то же самое время пленяя нас до того, что мы только и ждали, как бы поймать ее маленькое желание и угодить ей и услужить: больше не могло быть счастья, как услужить прекрасной Марье Моревне.

Было это же самое и у Дунички, тоже и она всегда отказывалась от первого своего желания в пользу другого, но это у нее было так заметно, что часто Марья Ивановна успевала предупредить, и кусок возвращался на тарелку Дунички, а нам оставалась только мораль, нас учили вести себя в обществе вот именно, как Дуничка. Нет, как ни бились с нами, мы не могли принять ценного усилия Дунички в правило жизни, но Лидия все отлично поняла, как вела себя и Марья Моревна и Дуничка, и принялась подражать: и часто за обедом у Дунички с Лидией было что-то вроде торговли, и если Дуничка не уступала и не брала куска, то желанный обеим кусок оставался и возвращался обратно в общее блюдо.

Странные, темные вопросы вставали у Курымушки во время этих постоянных споров: почему у Марьи Моревны все выходило само собой, у Дунички трудно, а Лидия всех мучила тем самым, что Марья Моревна устраивала всем на радость и на любовь?

— У Лидии все это **напускное**, — говорила Марья Ивановна вполголоса Софье Александровне, — Дуничка удовлетворяется школой, не совсем, но все-таки дело хорошее делает, но курсы… но какие курсы, Лидии непременно надо замуж выйти. Я только совсем теряюсь, как это сделать: у нас никто не бывает.

— Хотите, я посоветуюсь с батюшкой? — сказала Софья Александровна.

— Я сама об этом думала: поеду-ка я с ней будто бы прокатиться, покажу ему ее, а потом и спрошу.

— И очень хорошо будет, батюшка войдет. Непременно войдет во всё…

Поехали. Но встретили аптекаршу и условились (батюшку не стали и спрашивать). Записи: встреча. Скандал.

Или так: Алпатов приехал из Сибири в родную обстановку, и за обедом сцена с уткой…

Надо передать особенности юноши Алпатова: внутренняя застенчивость и наружная необычайная откровенность.

Тальников очень хвалит «Родники» и называет меня «русским Гамсуном». Я думаю, едва ли можно сравнивать меня с Гамсуном по книгам (кроме, как в «Курымушке», я себя еще совершенно не раскрыл), но, несомненно, есть у меня в основах с ним какое-то родство: эта постоянная жизнь в природе и, главное, мучение всю жизнь одной и той же женщиной (которой нет лица): и это как-то пришлось почти вроде какого-то родства (живет, и я так живу).

У Гамсуна есть книга любви{175} и другая — «народ» — «Соки земли». У меня еще нет книги любви (но она будет), зато соков земли вытянуто, пожалуй, и больше, чем у Гамсуна. У меня еще есть «исследования», которые родились от боязни продавать свое святое: выходом была корреспонденция, а чтобы преодолеть корреспонденцию, пустился в исследование (задорные книжки!). Если мне удастся написать книгу любви, то мой «исследовательский» путь будет спасен, и он будет поставлен мне в большой плюс, если же не удастся, то, конечно, эти исследования будут знаком слабости.

Тип Ильи Николаевича: спасается от себя самого общественно полезным делом (честная газета!).

Общественная деятельность разлагается на элементы: я и ты, значит, сводится дело к «любви», которая есть — путь борьбы за высшую власть на земле, предел которой самозабвение (Я это Ты).

Не понимаю, что же меня раздражает в этой «любви» как

будто сознательное пользование тем, что должно быть бессознательно, случайно и бесцельно. (Подумать!)

5 Ноября. 3-й день пороши. Сегодня в заутренний час все летит, но мокрое, боюсь, как бы не растаяло. И весь день валил снег, а вечером дождь и туман. А закрайка озера за какие-нибудь день-два подалась так вперед, что снизу и воды не видно. Замерзание озера подготовлено.

Пустота непременно входит в состав души поэта, все равно, как на мельничном колесе пустые ящики, в которые льется вода. Льется чужая жизнь в пустоты поэтического колеса и тут принимается на мгновение, как своя собственная, а этот миг пребывания чужого в своем дает не менее полезное движение, чем то же очень кратковременное наполнение пустой ячейки турбины.

Душа поэта непременно должна быть пуста, как турбина.

Душа ребенка — душа поэта, и вся разница, что душа ребенка совершенно свободна, а у поэта вокруг нее передаточный ремень мастерства на рабочий шкиф.

А душа взрослого человека («Старшие», «средние» люди) — душа рабочего (долг, знание, дело) + жилец, то есть тот же «ребенок», проявляющий себя «пристрастием» к чему-нибудь. Вообще у поэта больше ребенка, чем рабочего, а у «среднего» — больше рабочего, чем ребенка, в общем больше или меньше, и потому между теми и другими людьми возможно некоторое понимание друг друга.

Часто говорят и про седых людей: «ребенок!» (так говорила Дуничка о матери), а что это значит?

1) Ребенок мыслит, исходя из непосредственного чувства приятного и неприятного, и непременно образами, если же встречается с понятием, то спрашивает свое «почему?».

2) Ребенок работать может, только играя, то есть **занимается**.

3) Ребенок играет, взрослый работает.

Значит:
Игра
Свобода

Я — сам с собой Личность в космосе:

Инстинкт.

Качество личности измеряется **силой** ее: то есть насколько она может отстоять самость свою при встрече с Ты, которое в естественном развитии является в виде реальной женщины: с

этого момента ребенок делается взрослым.

Работа
Долг

Я — с другим (я и ты)
Общество
Я > ты — (капитализм) индивидуалисты
Я = ты — товарищи (социалисты)
Я < ты = христиане
Разум

Качество общественности измеряется степенью охраны ребенка (во всяком смысле).

Женщина обыкновенно отбирает у личности ее ребенка себе и воспроизводит ее (рождает), так что от личности остается только рабочая машина (в чистом виде: ребенок и рабочий).

А вот что же такое Прекрасная Дама у поэта (не то, что профессионального поэта, а всякого, кто «влюбляется»).

Требуется анализ личного опыта.

Я влюбился: 1-й этап: чувство космической радости. Она явилась, как весь мир.

2-й этап: Она раздвоилась на Варю — моя Варя! и на Варвару Петровну: чужая, мешающая особа.

Варвара Петровна говорила: «Варя — это ваша мечта, это вы себе ее создали сами, фантазия ваша!»

Сама же Варя говорила: «Ты взял все мое лучшее, да… лучшее».

Из этого я заключаю, что двойственность женщин есть в действительности и что «Варя» — это и есть Прекрасная Дама, на которой нельзя жениться. Варвара Петровна потому и сердится, что Алпатов избрал в ней Варю, так что ей, Варваре Петровне, нельзя за него выйти замуж.

И несомненно, эта Варя осталась со мной, и с ней вместе я создавал свои поэтические произведения. Мое презрение к мещанской жизни и есть презрение к Варваре Петровне, и, вероятно, даже избрание Ефросиньи Павловны в жены и эта моя семья — есть от Вари (помню: «Варя с народным лицом») и чувство природы — все от нее.

Таким образом, в моем опыте любовь была: 1) субъективно: сохранением в себе детства (самости) через творчество, 2) объективно: разделением живой женщины, от которой взято «лучшее» (Варя), то есть Прекрасная Дама (весь мир со мной), и отброшено с презрением (невольным) ее «худшее»(?) в

английский банк (феминизм и прочее), 3) после операции разделения с возвращением к себе самому жениться стало возможным, и половой акт стал прост и хорош, как голодному хлеб.

После этого — что же такое Прекрасная Дама (то есть что такое состояние влюбленности)?

Говорили, что это абстракция полового чувства — какой вздор! напротив совершенно выходит в моем опыте: явление Прекрасной Дамы направило меня в духовное творчество и дало выход половому чувству нормальным образом, здоровым, как у животных, и без всякой абстракции. Любовь была именно задержкой половому чувству (на Прекрасной Даме нельзя жениться!).

Встает вопрос все-таки, вопрос, именно и породивший мысль об «абстракции»: почему же духовный, творческий процесс, реализацией которого является Прекрасная Дама, сходится с моментом наибольшего напряжения полового чувства, то есть почему бывает устремление к живой женщине, так что Прекрасная Дама смешивается, и женщина часто оскорбляется вдвойне как Прекрасная Дама, если от нее требуется пол, и как живородящая женщина, если от нее требуется Прекрасная Дама?

Я ставлю вопрос не в условиях времени, быта, а в условиях творческого процесса жизни во все времена (даже у современных пастухов-киргизов я сам наблюдал в их родовом строе любовь поэта, с избранной им самим, как свое личное в противоположность родовому сватовству — существует): Она своя личная (Прекрасная Дама значит: явление личности), но почему же в эту даму все-таки непременно и направлен fallus? — вот это поразительно и страшно стыдно, когда это обнаруживается (поэмы — это маскировка, это уже выход: а перед поэмой-то ведь хотелось же эту явленную женщину схватить!!).

Проверка: если бы я не сделался поэтом, то есть вором «лучшего» в женщине, а женился бы «по любви» (как бывает), то я бы непременно раз-очаровался, то есть Варвара Петровна отняла бы у меня мое дитя, и мое дитя со своим дитей, с Варей, пропущенное через родильный аппарат Варвары Петровны, явилось бы на свет отдельным живым существом: мы бы с ней остались бы только враждебными (может быть, и дружественными) рабочими жизни.

Примечание 1-е — собственно говоря, если бы по правде, то на каждом произведении искусства должен бы быть отмечен не только отец его — сам художник, но и мать его, от которой оно родилось, а то в искусстве, как в обществе, почему-то одинаково — патриархат («Богородица» — да, вот пример-то для меня:

хлысты! вот где творческий процесс осознан до конца и вот где «грехопадение» наблюдается в чистом своем виде: когда пророки и христы доходят до плотского греха со своей звездой)[176].

Но мы знаем, в чем беда хлыстовства: в их духовности, противопоставленной грешной, промклятой плоти: в их разрушающей природу горделивости духа, в их самоверчении. Дух наш разный у всех, и не нашлось еще в истории мира бога, признаваемого всеми народами, а плоть у всех одинакова, так что универсальность церкви в противоположность сектантству основана на материальности людей («се камень…»)[177].

Так вот и в моем разборе психология художника отличается от психологии хлыста своей универсальностью (это для всех): ведь дело художника кончается **вещью**: его произведение — вещь, а у хлыста — идея. И тем не менее, для уяснения творческого процесса чрезвычайно важны хлыстовские образы: cherchez la femme[17] значит: ищите Богородицу, в каждом произведении искусства ищите мать его.

Мать моего художества, конечно, Варя, совершенно духовное существо, однако продолженное как-то (я этого еще понять не могу) в Павловне, которая мною теперь уже сознается совершенно как мать без всякой символики: она в семье мать, а сыновья мне как братья (каким образом все началось девой Варей и кончилось матерью Павловной — я не вполне сознаю, но это факт: Павловна играет большую роль в моей жизни, чем я думаю). N. B. Все очень похоже на историю Версилова в «Подростке»[178]: у меня только происходит медленное **разряжение**, — но во всякий момент при первом движении с той стороны жизнь с Павловной и творчество разлетелось бы в пух (и даже раз не разлетелось только потому, что в письме я слово «завтра» не догадался перенесть на сегодня).

Итак, начало творчества моего исходит от момента встречи Вари с Курымушкой, но самый процесс, то есть брак мой, осуществлялся через Павловну: если бы не было Павловны, то Курымушка бы превратился или в хлыста, или в трагическое лицо «с неправильным умом»: через Павловну явилась материализация духовного процесса, воплощение его: «универсальность» (главное, ритм жизни и вместе с этим достаточное спокойствие и уверенность в деле: раньше я, например, если не мог овладеть какой-нибудь идеей, то рвал себя на части и вдруг являлся сам себе **маленьким ничтожеством**, теперь же всякую новую мысль я вынашиваю в себе, и она там у меня, как семя в земле, сама дозревает, и непременно так, что даже чем я меньше для этого употребляю усилий, то есть не утруждаю духом, тем отчетливее она предстает мне, когда приходит час. Павловна была мне, как

безземельному мужику (2-му Адаму) — земля.

Новый вопрос: правильно ли я написал выше, что непременно «Варя» должна была быть отделена от Варвары Петровны и потом воплотиться в Павловне, или же эта же Варя могла бы через мое посредство просиять в Варваре Петровне? (К этому справка: по правде говоря, Павловна была не матерью ребеночка моего, а **кормилицей** ребеночка от Вари, и даже вид, весь облик она имела кормилицы: в этом, вероятно, и ответ на вопрос: у Варвары Петровны молока не хватило, и потому произошло разделение: почему же она до сих пор не вышла замуж, стала конторщицей и потом суфражисткой! Образец полной женщины Софья Павловна Мстиславская, богородицы — З. Н. Гиппиус, промежуточное звено Серафима Павловна Ремизова.)

Меня увлекает этот анализ, потому что был у меня весь опыт жизни, и потом я встретился с соответствующим циклом идей и людей, которые явились мне, конечно, потому что их притягивали вопросы, поставленные моей личной жизнью, однако я не мог окунуть эти идеи в мою жизнь, потому что еще боялся трогать свою жизнь: как только тронешь, начиналось безумие. Я надеюсь, что после этого анализа мне покажутся отчетливые образы жизни, как это случилось с «Курымушкой» (там ведь тоже разные «тайны» казались просто продуктом болезненности мальчика).

<На полях:> 1) Ввести в роман хозяйство Марьи Ивановны.

2) Чужие идеи и свои мысли в юности лежат друг над другом, как иногда в воздухе лежит один над другим холодный и теплый пласт до тех пор, пока не нарушит равновесия, и начнется буря. Мысли об игре.

3) Таинственный вождь: Алпатова допустили к нему, и только бы увидеть — сграбастали.

4) Пусть Земляк убьет: задор юности, из-за службы.

5) Истерика (генеральство), настроение: без быта.

6) Прекрасные немцы.

7) Марья Моревна — сказка, игра, сад, в котором в детстве все яблоки перепробовал, чтобы выбрать самое лучшее Марье Моревне.

8) Любовь бывает разная, вперед холодная с расчетом таким же, как голодному хлеба наесться, потом теплая и выше горячая, безумная, и на самом верху все как снег, готовый каждое мгновение упасть на горячее и обратиться в пар.

9) «Круглый год» в ощущении Алпатова — годы проходят.

У Алпатовых умерла няня, и это маленькое событие вдруг перевернуло вверх дном все хозяйство и семейные условия семьи. Няня вела, вдруг оказалось, большое незаметное хозяйство… Мать — полевое, взрослая дочь Лидия занималась, как барыня, цветами в саду,

Когда умерла няня, Марья Ивановна в мелочах, а мелочи раньше все на няне, она теперь на Лидию: вдруг оказалось, что Лидия совершенно иная — сердитая…

Из Сибири получили письмо.
Разрешение.

6 Ноября. По слепой пороше в метель пошли все-таки на охоту, в лесу ветра почти не было, и оказалось, что молодые зайцы и в метель выходили ночью на короткий час, и след их разобрать все-таки можно. Убили 6 зайцев, и за этим делом прошел весь день: вышли в 5 утра, вернулись в 6 вечера.

7 Ноября. Как хорошо в предрассветный час полуодетому, прямо с постели открыть дверь, выйти во тьму, захватить пригоршню пушистого, только что вылетевшего с облаков снега, потереть им лицо, шею и вернуться в теплый дом: какой у снега в этот заутренний час бывает аромат! Да, если дома тепло и можно быть сытым и есть хорошая лампа, то зима куда интереснее лета.

Когда было получено из Сибири письмо, что Миша отлично окончил и едет устраиваться в политехникум, значит, рассчитывает сделаться инженером, Марья Ивановна Алпатова и обрадовалась, и чуть-чуть смутилась: в душе она была бы больше рада, если бы Миша остался служить у богатого дяди капитаном, и так хоть один из пятерых детей свалился бы с плеч. Но она успокоила себя тем, что уже немного осталось: старший, Николай, оканчивает земледельческую школу, Александр вот-вот будет доктором, Сергей, по натуре холодный и решительный, на юридическом, и этот уж непременно выйдет в люди, и даже уже тот, кто мучил ее больше всех, самый неуравновешенный, Миша, становится на дорогу, — немного осталось дотянуть, все становятся на дорогу.

Только вот горе было с Лидией: время переменилось, теперь не только исключительные девушки, вроде Дунички, ехали на курсы, а все ехали не за идеями, а чтобы устроиться кем-нибудь в жизни, даже и если кто призван был сделаться женой, матерью, легче было выйти замуж, чем сидя на месте, потому что везде на местах женихи стали никуда. Как бы все это не знать Марье Ивановне, и знала она: ведь даже лакей Раменовых отправил свою Нюшу на фельдшерские курсы. Но выходит так, что, если и Лидию учить, то придется трогать ее неприкосновенное приданое, ее собственный хутор, купленный на ее собственное приданое. Что же надежнее будет: дать Лидии образование или же оставить хорошее приданое?

Вот вопрос! Лидия была старшая, созрела, и даже слишком, решать надо немедленно. Каждую ночь Марья Ивановна об этом думала и, когда после многих ночей из дум не получалось

решения, стала советоваться. Она не боялась чужого ума и советовалась только для возбуждения собственной мысли. И раз уж она постановила советоваться, то советовалась со всеми, с соседями, с родными, с гостями, даже с умными мужиками, даже когда заехал к ней один полуразрушенный князь, очень недалекий, по ее мнению, и то она от «нечего разговаривать» с ним тоже подошла к этому вопросу.

— Старею, — сказала она князю, — работаю, работаю, и все Банк съедает, всю жизнь на Банк! одно только, что все дети получат образование: ничего не оставляю им, а вот это образование — это успокаивает.

— Это не старость, а мудрость, — ответил князь, — образование мужчинам теперь дороже всего.

— Да и девушки, — сказала Марья Ивановна, — многие теперь на курсы едут…

Марья Ивановна отлично знала, что старый князь — враг женского образования, но именно и подводила разговор к тому, чтобы выслушать совершенно другую сторону.

— Я и сама все подумываю: не устроить ли мне свою Лидию на какие-нибудь курсы.

Князь замахал руками.

— Вот уж я, — сказал он, — никогда бы не отдал свою дочь в **курсистки**.

И стал рассказывать долго и скучно, с подробностями, как однажды он в Москве был свидетелем студенческого бунта, и как казаки загоняли в манеж студентов и курсисток нагайками, и как тут было все: «Студент верхом на курсистке, курсистка верхом на студенте».

— Что вы, что вы, князь!

— Ну да, конечно, я сам был свидетелем. Нет, нет, я ни за что бы не отдал свою дочь в курсистки.

«Совершенно отсталый человек, — подумала Марья Ивановна после отъезда князя, — и ужасно ограниченный, вероятнее всего, придется Лидию отправить на курсы, а хутор продать».

Прикинула все мысли в такой расчет, — и вдруг явилась неожиданно новая, совершенно новая мысль: выходит так, что если продать одиннадцать десятин дубового леса за 11 тысяч, то это как раз будет детям, чтобы каждому окончить и устроиться, она купит у них отдельное имение, и так будет: сыновья — выделены и самостоятельны, а у Лидии хутор, значит, приданое в 25 тысяч — это очень завидная невеста, и она от сыновей не в зависимости, и они от нее… а это очень важно на старость! Трудность была та — платить теперь проценты и на банк, и хотя не [нужно думать] о доле сыновьям… Но тут новая неожиданно и

давно зревшая мысль: появились богатые мужики, у них страшная жажда земли, и арендные цены очень высокие, [мужики будут платить аренду в банк] и если сдать весь хутор мужикам и тоже все имение [в аренду] и оставить себе только 25 десятин, то выходит, что жить можно.

Теперь она стала советоваться с хозяйственными людьми, и выходило отлично, все так и выходило, что ей будет покой.

<На полях:> Переворот Семашки (безнравственно читать философию: действовать и заполнять себя этим).

Горбачев — пролетаризированный дворянин (раз так — так!).

Мать и Лидия (мать хитрила, Лида честно).

Весь день дождь, так что от всей прекрасной пороши остался только тонкий белый слой. К вечеру расчистило, ветер стих, подморозило, был большой желтый закат, вечерняя звезда показалась, и стало совершенно так же, как Великим постом.

На озере забереги, покрытые белым снегом, вода черная, так что зубцы заберегов резко отделяются, и берег похож стал на берег географической карты — можно было найти и Апеннинский полуостров, и Скандинавский, всё.

8 Ноября. Весь день остался, как вчера к вечеру: с морозцем тонкий слой хрустящего снега, к вечеру чуть-чуть отпустило, но хрустеть не перестало.

Подметил тайну Лидии: краснеет при словах «Витебский» и «Никифор…» Сопротивление Лидии: хутор, зачем мне хутор? я уеду и выстрою себе комнату… Противоречия не от логики, а с противоречием она уже приходила… Сад с садом, а проехать всего верст 10, и опять сад, и кто садами занимается — всё сад, и через арендатора — все известно: флигель-адъютант… Женихи.

Липы: маркиза, луна; Лидия ходит: «А счастье было так близко!» Совпадающие ночи: Михаилу сад весь в Марье Моревне (вишни родительские). У Николая: баба Сизиф…

Саша дивился тому, что раз в гимназиях не проходят анатомию и физиологию, то как же можно знать, что в сердце есть полулунные клапаны и что кровь, проходя через легкие, обогащается кислородом, а Миша знал.

— Откуда ты это знаешь?

— Читал.

И с юристом он говорил об экономии.

Поздно легли, но в ранний час на родине Михаила Алпатова сама земля подняла: пели иволги на липах, и это показалось ему в полусне, как плеск воды с золотыми волнами, — до того

хорошо!

Где-то на дворе в этот еще заутренний час слышался голос матери, как обыкновенно: та-та-та! В столовой страшно спешили собирать чай, было всем известно, что после первой чашки утреннего чая Марья Ивановна сразу добреет. И пока Михаил умывался, мать уже выпила эту чашку и ожидала его радостная. Она уже, сразу со страстью понизив голос и потом притворив дверь в коридор, начала было вводить Мишу в план раздела и, главное, в драму с Лидией, как вдруг с тревогой обернула лицо к двери в коридор: у нее было то шестое чувство к звукам в коридорах, которое имеют спящие матери к маленьким детям.

— Ты слышишь? — спросила она.

— Нет, нет, нет никого.

Она успокоилась, но стала шептать еще тише:

— С Лидией у нас происходит настоящая драма: с ней творится что-то невероятное.

За дверью явственно какие-то люди.

— Кто там?

— Я!

— Кто ты?

— Павел.

Услыхав, что Павел пришел, Марья Ивановна вдруг радостно просияла и крепко моргнула сыну. Михаил понял все.

— Ты один, Павел?

— Нет, Фиона со мной.

Мать еще крепче моргнула: теперь уже, наверно, клюнуло и не сорвется. Последний вопрос, как взмах удилища, которым подсекают леща:

— А ты что, Фиона, пришла?

— К вашей милости, Марья Ивановна.

— Ну что, к милости?

— Да Павла записать.

Ах, мучительница эта Марья Ивановна, все отлично знает, а все спрашивает:

— Что записать, куда записать?

— Вам известно куда.

— В Золотую книгу, [сделайте божескую милость].

Эта заборная книга из мясной Багрова с золотым штампом быка: издавна Марья Ивановна избрала именно эту книгу, чтобы записывать в нее договор с рабочими, все равно как в жестяной конфетной коробке «Абрикосов и Сыновья» всегда хранятся «квитки» — временные собственные деньги в 10,15 и 20 коп.

Дверь незаметно, как будто сама собой, все шире, шире открывалась из коридора в столовую, и теперь муж и жена, Павел

и Фиона, стояли на пороге. Гигант, весь черный от загара, с голубыми глазами, увидав Мишу, улыбнулся, как самый нежный отец своему дитяти-ребенку: ведь это был тот самый детский Павел!

— С приездом! — сказал он.

— Ну, как жеребенок? — спросил Михаил.

Павел робко посмотрел на Фиону. Быстрая баба с горящими черными глазами метнулась туда-сюда, совершенно дикая и странная.

Мать помогла:

— Ну, конечно, продали.

Через каждые три года повторялась издавна, с тех пор как только помнит себя Михаил, одна и та же история: Фиона приводит Павла наниматься в работники. У Марьи Ивановны есть книга с золотым штампом быка и золотыми же буквами: Мясная лавка купца 2-й гильдии И. Л. Багрова, это обыкновенная заборная книжка, приспособленная почему-то к записи договоров с рабочими. Кроме этой записи, больше не бывает ничего: записались в Золотую книгу, и кончено. Записываясь, Павел ставит условие, что он может содержать при себе сосуна. Цель свою он не скрывает: когда через три года сосун сделается конем, он возвращается к себе в деревню и становится хозяином. Марья Ивановна знает, как Павел работает, за ним не надо смотреть, работает и всегда добрый, Марья Ивановна сама бесплатно дает ему своего хорошего поросенка-сосунка — только бы жил. И Павел живет, а когда конь готов, Фиона решает продать и, получив деньги, сразу всего накупает, у нее тут и ситцы, и баранки, и колбаса, и водка, Павел целый месяц дома живет, ничего не делает, а потом опять Фиона ведет его записывать в Золотую книгу.

Теперь Марья Ивановна больше, чем прежде, радуется, что Павел записывается: если она будет хозяйствовать только на двадцати пяти десятинах, то Павел один все и сработает, за Павлом ведь и смотреть не надо, так само собой и пойдет.

На радостях Марья Ивановна дарит Павлу сосуна. Павел счастлив. Все уходят на двор смотреть сосуна.

Осматривали сосуна, а в другом [конце] стоял бычок и жевал.

Странные мысли пробегают, когда смотришь на этого бычка, и слова:

Вык-вык, вык-вык. Бык-Вык и привык — Золотой бык, Вык — Век — человек Павел, работник.

— Какая ерунда! — вскрикнул Михаил.

А между тем ему померещилась возможность какого-то усилия, и это уж не будет обыкновенно: бык — вык — век —

человек, а совершенно другой, новый человек.

Померещилось и прошло.

Провести через сватовство Лидии красоту возможностей: Марью Моревну и половое чувство (эрос и пол): и как-то через все это 2-го Адама и необходимость психологии революционера-марксиста (обрубив метафизику, остаться с одним делом).

9 Ноября. С обеда полетела пороша на оставшийся тонкий, осевший, хрустящий слой снега, к вечеру усилилась и валила всю ночь. Так, второй зазимок выдержал испытание дождем, и можно надеяться, что это уж будет зима.

Не успел Миша оглядеться.

Что-то было в Марье Ивановне беспокойное, постоянно она рвалась и всех торопила. Не успел Миша оглядеться, как она уже говорила ему:

— Ты бы, Миша, съездил к Дуничке.

— Я пойду к ней пешком, — ответил Михаил.

И вышел с котомкой за ворота.

(Перед этим Дуничка говорит мысль: что на этой земле осталась только женщина, мужчина выродился.)

Покраснел и сказал:

— Мне, Дуничка, представляется, что как-то все объяснится **через женщину**.

Дуничка посмотрела на него удивленно:

— А ты разве не замечаешь, Миша, какой у тетеньки, у Лиды, у всех женщин узкий круг? ты присмотрись.

— Я не про это…

— Да, да, я понимаю.

Он задумался, вздохнул:

— Ты что думаешь, Дуничка?

— Я думаю, какое несчастье мне, что родилась женщиной, если бы я могла быть мужчиной!

— Дуничка, но ведь большинство мужчин твоего мизинца не стоят.

— Так это разве мужчины, я разве таким бы мужчиной была… Ну, как у вас Коля, Саша, Сережа, как они тебе показались?

— Я еще не успел с ними переговорить, но, Дуничка, я как-то не к тому стремлюсь, мне кажется, они учатся так же вот, как Павел работает: само выходит, а я не так, я хочу как-то скорей найти, ну, как это тебе сказать…

— Знаешь, Миша, — сказала Дуничка, — ты весь в маму вышел, они в отца, а ты в маму.

Проезжая жеребца, Саша увлекся и докатился до города. Поставив жеребца в слободе, он пошел в город купить папирос и встретился с Маней Лопатиной. Он с четвертого класса гимназии танцевал с ней и ухаживал, но в восьмом она почему-то на одном вечере предпочла ему другого, Саша обиделся и сначала со злости, а потом и с удовольствием стал ухаживать за Наташей Боговут. А когда поступил в университет, Наташа Боговут вышла замуж. Теперь Саша встретился с Маней на улице, посмотрел на нее, и она, и вдруг сразу влюбились друг в друга. Маня позвала его в Дубки к себе, и события пошли с быстротой.

10 Ноября. Пороша такая, что тяжело ходить. Морозец — только что не тает снег. Проглядывало и солнце. День какой! и так тихо. Черная вода от солнца засверкала. Закрайки покрылись белым, а на самом краю темная полоска льда, темная, потому что снег у края обмыт волнами, и от этого все озеро в двойном трауре: белом и у воды с черной каемкой.

Мы пошли было на беляков, но в Дядькине сказали, что сегодня ночью у них волки разорвали собаку, и осталась от нее одна голова. Пустили в поле. Побоялись идти в лес по русакам.

Он учился в духовной семинарии, Алпатов спросил, верит ли он в Бога. Осип сказал, что теперь редко найдешь верующего семинариста и он в Бога не верит, но философию признаёт.

Заключительный разговор с матерью:

— Почему ты хочешь инженером сделаться?

Михаил хотел угодить матери:

— Ты знаешь, инженеру легче всего устроиться.

— Я не верю, что ты думаешь об устройстве: тебя это не может интересовать и едва ли когда-нибудь будет.

— Это ближе к жизни — поживем.

— Нет, ты раздумаешь: для этого совсем не нужно учиться.

Мать задумалась и вдруг сказала:

— В жизни же и нет ничего: в жизни только хлопоты.

Что это? Ушам своим не верил Михаил: это мать говорит!

— Да как же нет! — воскликнул он. — Павел у нас по три года живет для жеребенка, а потом пропивает его с женой и опять живет в надежде сделаться хозяином; он им не сделается: медленный и тупой человек, а я сделаюсь хозяином жизни, я буду инженер и буду жизнью управлять.

Мать вдруг чему-то обрадовалась, улыбнулась:

— Ну вот это хорошо, так и надо: а сама жизнь… ну, да это ты когда-нибудь сам поймешь.

В это время из глаз матери смотрело на него какое-то самое тайное существо, которое знало, что пусто и нет ничего, но вот он, юноша, жаждет это наполнить, — и я была так, а теперь он — и пусть! он это еще лучше сделает. Наполнит пустоту собой — так ли? Ну, выходи же, выходи, мой родной гладиатор! вон выпускают на тебя тигра.

После этого была минута, когда мать и сын говорили без слов. Мать знала, что арена пуста и по ней идет тигр: «Ну, выходи же, выходи, мой родной гладиатор!»

11 Ноября. В этой прекрасной квартире, высокой, светлой, сухой и теплой, какое наслаждение проводить зиму: зима лучше лета! Да, не бывает дня, чтобы я не сказал себе: как хорошо! А уединение! снег, и ни одного человека, если же и попадет, то какой он бывает хороший! И как жутко иногда бывает подумать о какой-то литературной общественности в Москве, где сами себя коронуют Демьян Бедный, Влад. Маяковский, Борис Пильняк. Таланты? очень может быть, да провались они с талантами, и разве я тоже не талантлив? Если бы талант не давал бы мне возможности жить почти свободным человеком, наслаждаться уединением, питающим любовь к человеку, зверю, цветку и всему, разве я стал бы заниматься и носиться с этим писательством?

Надо поставить на очередь вопрос о выработке **формы общения**, кажется, я могу теперь, наконец, подойти к этой роскоши, это, наверно, даст не меньше, чем хорошая квартира: да так вот и устроить себе полное счастье. Да, это возможно, потому что я знаю, что счастье рождается в предельных величинах: если я голоден, питаюсь корочками хлеба и кто-то вдруг подал мне фунт мягкого хлеба — я счастлив; если мне отказала невеста, единственная по красоте, и голодаю потом год, два, то приходит, наконец, к голодному обыкновенная женщина, и я счастлив с ней совершить просто половой акт… (Эту философию надо хорошенько развить: философия голодного человека, или жизнерадостность.)

У Дунички уже вырос большой прекрасный сад.

Сад Дунички был в цветах — май месяц, но Михаилу казалось, будто сад был в снегу, в Октябре, когда выпадает пушистая пороша и так холодно, только что не тает, а лужи, прикрытые снегом, трещат и проваливаются и порхают особенные птички [неизвестные]… снегири, синицы, щеглы, свиристели… А сама Дуничка представилась ему на озере в широких белых заберегах: середка, очень маленькая, еще не замерзла, и в ней

трепещется живая вода, стоит и шумит…

А ребята поэтому чистые и вежливые, девочки все в белых передничках, потому что частицы живой воды Дунички, замерзая, обращаются в белые кристаллы, и книжки, и учителя на полках: Успенский, Михайловский, Толстой — снег, снег!

«Дубки» — взять с Богдановых. Линейка. Солома. Дуб: два часа ждет, а все 27 человек терпеливо сидят за столом. Маня умеет сама делать галстухи из шелка, чинит велосипед… у няни она и за ней 24 и над ним дуб. Музыкальная кружка{179}.

— Ну, чем же тебя кормили?

Коля с Сережей шкурят лес. Пьют. Баба. Михаилу нельзя: «У тебя искра».

— Брат ведь ты мне, ну, брат, а у тебя, брат, — искра!

Исповедь Сережи: как он не сошелся с Семашкой, и у них пошло, а потом землячество, и так вся жизнь без этого на отщепе.

Марья Григорьевна — кто это Марья Григорьевна?

<На полях:> Рассказ о памяти собак и о бекасином болоте «Ляхово».

Не помню ни числа, ни даже месяца, когда мне привели и отдали в натаску легавую Кэтт. Я не помню даже, какое сегодня число, без справки я никогда не могу теперь ответить на вопрос: «А что сегодня?» — «Сегодня четверг», — отвечаю и потом смотрю в календарь.

Память числа, отмечающего текущий день нашей жизни, я потерял в процессе борьбы старого с новым, мое охотничье сердце стояло за старый стиль, ум и воля боролись за новый, в результате этой борьбы я лишился памяти числа месяца и без справки никогда не могу ответить на вопрос: «А какое сегодня число?» или: «А какого числа это было?»

Так вот сейчас, желая вам рассказать кое-что о бекасах, о натаске своей новой собаки Кэтт, я не могу вспомнить, когда же ее мне привели, Я только помню, что около этого времени на болотах начали разгуливать молодые чибисы и от шума замирать между кочками и так утягивать шею и подбирать ноги, что казалось, будто это лежали бурые лепешки от жидкого кала крупного животного. Кэтт — собака от известных премированных производителей, хорошо известных Чумакову и всем верховным знатокам собак, порода ее — немецкая легавая с двухцветной кофейно-белой, крапинкой рубашкой, возраст около двух лет, и все эти два года она жила на диване в Москве. Хозяева Кэтт, — и это я потом переименовал ее в Кэтт, а настоящее имя ее было Китти — кличка, по которой сразу можно и всем догадаться, что

хозяева собаки были интеллигентные молодожены, он инженер, она оперная певица, — в ожидании своих детей боготворили Кэтт и ни на одну минуту не выпускали ее из виду. Но случилось, что молодая женщина почувствовала прибавление семейства, и как раз к этому времени пришлось переехать с нижнего этажа на пятый. Прислуги не было, хозяин с утра до ночи на службе, молодой женщине в интересном положении невозможно стало по требованию собаки спускаться вниз на прогулку и потом подниматься. В это время я, недовольный своим ужасно горячим ирландцем, решился заняться этой собакой, уговорил хозяев, и они, всплакнув, отдали ее мне с просьбой никогда не бить.

В жизни своей я натаскал несколько собак, и все больше упрямых ирландцев, но каждый раз натаски был для меня каким-то совершенно новым творчеством, я делал это ощупью, все выходило случайно, и хотя результат получался недурной, но чего это мне стоило! Нет, я не очень верю в себя как в хорошего дрессировщика. Но я слышал от опытных охотников, что двухлетний возраст собаки не имеет значения, важно только, чтобы собака была не испорчена, и лучше всего, если с ней никто не проделывал никаких опытов дрессировки и натаски. «Если это правда, — думал я, — то лучше этой Кэтт не может быть материала: собака два года жила на диване».

Да, я неважный дрессировщик, но известно, что настоящие мастера плохо могут рассказать о своем мастерстве, а я могу, мне кажется, могу и попробую в точности передать опыт мой этого лета.

Хорошо, что Кэтт — самка, сучки всегда понятливей. Все, что называется в руководствах «комнатной дрессировкой», я проделал всего в один день. Я положил на землю кусочек белого хлеба и, когда собака сунулась было к нему, дал ей ладонью по носу легкий толчок и громко крикнул: «Тубо!» Потом ее погладил и, сказав «пиль!», пригласил кушать. В четверть часа это было кончено. Потом я научил «вперед!» и «назад», действуя исключительно повышением голоса, и так же научил понимать: «ищи!», «сюда», «тише», «к ноге». На другой день я учил собаку в густых ореховых кустах, где, я знал, не было никакой дичи: я прятался, а она меня разыскивала, и так в этот день я совершенно научил ее короткому лесному поиску, а в поле далось не сразу. Несколько дней я ходил по полю, как яхта против ветра, галсами и движением руки с легким посвистыванием заставляя собаку проделывать то же самое. В конце концов Кэтт и это очень скоро усвоила. Несколько дней я употребил на то, чтобы ходила не прямо передо мной, а кругами, известно, как приучают к этому:

сам повертываешь внезапно, и, когда собака обернется, испуг…

Я слышал от опытных охотников, что двухлетний возраст для дрессировки и натаски не беда, лишь бы только собака была совершенно никем не тронута. А Кэтт была в таком девственном состоянии, что даже за птичками не гонялась, а, увидев слетевшую, только удивлялась, она охотилась вначале только за цветами и на ходу любила скусить и высоко подбросить венчик ромашки.

Не могу припомнить числа, когда я в первый раз вывел Кэтт на болото для натаски по живой дичи.

Бекасы и дупеля еще не выходили из крепей в открытые места, я не мог найти ни одного бекаса и, хотя это не рекомендуется, занялся чибисами.

В этот раз мне удалось сделать наблюдение и отметить это как совершенно новое, потому что я об этом нигде не читал: чибис не только не плохой, как сказано у Соболева, материал для натаски, а, по-моему, самый лучший, какой только может быть. Молодой чибис лежит такой плотной рыжей лепешкой между кочками, что сковырнуть его можно только прикосновением.

Кэтт поначалу не чуяла этих лепешек. Я сковырнул одного…

Левина поездка в Москву
1. Ответ Воронского.
2. Экскурсбаза и Коноплянцев.
3. Починка машины (щиток, лента и защитная лента).
4. Собачьи дела.
5. Искорка.
6. Курымушка. Прибой. Тальников.
7. Длинное ухо.
8. Помор.
9. Объектив и фотография.
10. Книги: археология.
11. Башмаки.
12. Пирамидон.
13. Проверка рукописи и вещи.
14. Новый мир: предложить роман.

Невозможно любить себя таким, как показывает зеркало и фотография, и свои несовершенные дела. Я люблю себя самого только маленьким, и когда мне удается так сойтись с «ближним», то я вижу в нем его маленького, — я люблю его, как самого себя. Любовь моя к такому ближнему, как материнская: вечная тревога за его жизнь и радость, когда он здоров. И самые простые люди,

едва ли умеющие даже читать, воплощают себя самих в детях, а через своих детей учатся любить и других. Нечего тут много задумываться, все это мы видим каждый день: не от идей и образования любят друг друга, а учатся этому в своей семье, потом жизнью, и не иначе, как через самого себя. Вот почему пуста заповедь «люби ближнего, как самого себя»{180}, если я не понимаю еще себя самого, и понять это можно, должно быть, ценою всей жизни.

Так я говорю крестной, она делает.

С покойной своей тетушкой Марьей Ивановной Алпатовой я часто об этом беседовал и так учился у нее смотреть на людей больших, а она ценила их чисто **по-женски**: это значит видеть в больших людях детей…

Михаил Алпатов в то время детей уже не видел в людях, и ему представлялось, что люди, носящие вывеску своего большого дела, — в то же время и настоящие люди, Старшие, как в гимназии казались учителя, что они хранят какую-то важную тайну их дела.

Иногда женщина делает вид, что слушает умные рассуждения, и в то же время очень внимательно следит за чем-то другим: что это такое занимает ее в это время? Я знаю: это она заглядывает в родники человека, в его природу и следит, прислушиваясь, в каком соответствии находятся слова, идеи к вашей природной основе: в это время она вам мать и вы ее дитя.

…Разве небо достижимо даже аэроплану, только приблизился — и нет его, а земля всегда под ногами. Значит, это уже и там, в большом мире, так, и я не исключение: я твердо чувствую свою землю — тут она! и, может быть, вся моя страшная ошибка была в том, чтобы небо сделать землей, достигнуть твердого неба.

Я не могу писать о любви, потому что мне все еще больно думать об этом, мне еще очень больно! Только я знаю, что местами уже начинают зарастать озера моего счастья и горя, местами подсыхает земля, трескается, и дух мой носится над бездною и ждет…

Конечно, каждый чего-нибудь достигает — чего же? вернее всего, того самого трона, который определен ему природой еще при рождении, каждый родится маленьким будущим царем. Старший потому называется старшим, что уже сел на свой трон и безгранично распоряжается своими подданными, и там он у себя

царь, абсолютный монарх… хотя называется, например, телеграфистом.

— Вот как эти троны расплавить? — спросил Алпатов.

Комментарии

Настоящий том представляет собой второе издание книги М. М. Пришвина «Дневники. 1923–1925», изданной в 1999 г. В ходе подготовки тома к переизданию комментарий и именной указатель переработаны.

Слова, которые не удалось прочесть по рукописи, обозначены в тексте угловыми скобками (< >) и буквами нрзб. В квадратных скобках ([]) дается предполагаемое слово и расшифровка сокращений.

В именной указатель не включены имена едва знакомых Пришвину людей.

В 1923–1925 гг. Пришвин погружается в послереволюционную жизнь провинциальной России: с октября 1922-го по апрель 1925 г. он живет в разных деревнях Талдомского района Московской области, а затем перебирается в Переславль-Залесский.

Картины нового быта, изучение башмачного промысла и осмысление новых явлений в жизни талдомских башмачников, записи разговоров и слухов, черновики писем и материалы к художественным произведениям, постоянное внимание к литературной жизни и размышления о ней, картины природы, охоты, смены времен года составляют единое целое дневника этих лет, но не заглушают его основной темы: понять и раскрыть смысл того, что произошло в России, — смысл революции. Личность автора и уникальность его отношения к миру — едва ли не самое главное в дневнике — придают тексту особую достоверность: автор не умозрительно рассуждает или описывает, он сам лично переживает событие, а его читатель — не отвлеченный, абстрактный, но друг, которому он доверяет, с которым ищет общения. Жанр дневника создает особую ситуацию, в которой читатель не только следит за процессом возникновения мысли, но вовлекается в этот процесс, соучаствует в нем. В дневнике возникает субъективная и именно поэтому интересная картина эпохи.

В повести «Мирская чаша» (1922) подведен некоторый итог: в ней получила художественное выражение идея противопоставления новой жизни, которую олицетворяет Персюк, и жизни иной, причем не прежней, дореволюционной, а истинной, или идеальной, связанной с образом лирического героя повести Алпатова («Персюк… у меня едва отличим от мерзости и противопоставляется идеальной личности, пытающейся идти по

пути Христа и распятого с лишением имени на похоронах "товарища покойника"… Я <…> представил 19-й год XX века мрачной картиной распятия Христа»).

Отвечая в дневнике 1922 г. на упрек Б. Пильняка в том, что в повести «получился тупик для России», Пришвин в черновом варианте письма Пильняку актуализирует тему религиозного смысла революции, которую теперь рассматривает с точки зрения состояния «христианского сознания современного человечества», оказавшегося бессильным перед катаклизмами XX в. — мировой войной и революцией в России («не только Россия у меня в тупике, но и весь христианский мир у меня, выходит, в тупике…»). Глубинная («звериная») природа человека, не преображенная культурой, заявила о себе и победила.

Уже в дореволюционном дневнике Пришвина появляются признаки конфликта, зреющего в глубине коллективной народной души, которые писатель наблюдает в самых разных социальных слоях общества и которые, в его понимании, свидетельствуют о напряжении между мифологической формой сознания и стремлением к свободе — между природой и культурой. В раннем дневнике (1905–1913) круг и прямая символизируют два полюса, вокруг которых строятся две модели художественного мира писателя. С одной стороны, круг, символизирующий мир естественного человека, ориентированный на примитивные формы жизни, мифологические основы народной души, жизнь природы, органически входит в художественный язык писателя, актуализируется как культурный символ. С другой стороны, прямая указывает на ту сторону жизни, где мир предстает как движение, становление, выход из «круглого мира», разрушение мифологической цельности, как путь истории и свободы. Обе модели мира значимы для художника: он остро чувствует свою принадлежность к обоим мирам и переживает это как конфликт, связанный с его судьбой художника, — неизбежный и трудноразрешимый («Так легко вращается прекрасный зеленый мир, а я не верчусь вместе с ним, а иду тяжелой дорогой, прямой, прямой»).

В 1917 г. становится очевидным, какую форму обретает русская жизнь: каждый человек оказывается втянутым в революционное действо, историческое время определяет судьбу человека — массе не до тонкостей духовной жизни, не до вечности («Голодные не могут быть христианами»). Историческое время выводит на «тяжелую прямую дорогу» не только художника с его пророчеством, но и обыкновенного человека с его

необходимостью быть, жить, да и художник чувствует в себе существо иной природы — «живучее, проворное, жадное», которое старается, «как все, приспособиться».

То, что еще недавно, в первые послереволюционные годы воспринималось трагически («Горилла вырвалась из клетки», «зверь… переселяется в душу человека», «чувствую в себе рождение обезьяны»), теперь становится жизненной реальностью. В дневнике поставлена под сомнение благодушная уверенность культуры гуманизма в том, что христианство само по себе спасает человека. Природа и культура перестали быть отвлеченными понятиями, предметом спора интеллектуальной элиты. «Душа раздвоена» — раздвоена человеческая личность, «я», связанное с Христом («Я не рожден от живой плоти, я рожден от Духа Святого… Я есть то, что отделяет нас от обезьяны»), осознается как «умирающее и уходящее», а «я», пытающееся и способное жить, связывается с явлением «зверской» природы человека — обезьяной («если я не умираю, а живу и радуюсь, то чувствую в себе рождение обезьяны»).

С этим приходится если не мириться, то считаться, но невозможно для Пришвина примириться с бессмысленностью происходящего — не исчезает надежда на некую мистическую роль революции в процессе «перерождения мира» («чаемого преображения»), уходящая корнями в культуру модерна («я под игом никогда не обрету в душе точки зрения, с которой революция наша, страдания наши покажутся звеном в цепи событий, перерождающих мир»). Впрочем, иллюзии относительно религиозной роли революции постепенно рассеивались, в частности под влиянием пьесы В. Гиппиуса, в которой идея жертвенного служения человеку с целью осуществления «материальных вожделений народа», заместившая библейскую идею жертвенного служения Богу, предстает как соблазн, превращающий героя из «раба Божия», осуществляющего волю Божию, в вождя. Между тем Пришвин называет пьесу «изумительной мистерией» и полагает, что «это произведение — первая (единственная) попытка стать на вершину пирамиды современности и так посмотреть "sub specie aeternitatis"» — с точки зрения вечности.

Пришвину необходимо обрести собственную, свободную точку зрения, не навязанную исторической реальностью, которая оставляла только две возможности, недостаточные для писателя, — быть «за» или «против». Обретение и охрана личной свободы вопреки окружающему становится его главной задачей как человека и художника в советской действительности: борьба с внешним «игом» и борьба с «обезьяной в себе» за собственное «я».

Ведь даже и в этой ситуации в 1922 г. он записывает в дневнике: «Душа раздвоена: по самому искреннему хочется проклясть всю эту мерзость, которую называют революцией, а станешь думать, выходит из нее хорошо, да, хорошо: сонная, отвратительная Россия исчезает, появляются вокруг на улице бодрые, энергичные молодые люди». Или, не пугаясь парадоксальности и уязвимости своих суждений, отмечает, что «социализм, будучи отрицательной, разрушительной силой, врывается в христианское сознание современного человечества» и взрывает его. «Сонная, отвратительная Россия», «опустевшее место», «призрак» — это образы традиционного общества, которому время поставило в России предел; в 1923–1925 гг. в дневнике писателя снижается пафос трагедии и гибели и все более возрастает значение обыденной необходимости жить («все провалилось — Эллада, Россия, великое отечество… казалось, нельзя жить на земле без такого отечества… но греки живут и в наше время: значит, можно жить и без Эллады»).

Однако в революции и социализме писатель не видит способности «влить новое вино в старые мехи» христианского сознания. В дневнике 1923 г., размышляя над природой социализма, Пришвин определяет социализм как способ рационального понимания мира. Современные социалисты, по Пришвину, это «бумажные герои», стремящиеся построить будущее рациональным способом, — они подобны нигилистам Тургенева, то есть осмыслены в культуре и, следовательно, пережиты («увидеть подобного себе героя… все равно что умереть»). Между тем, Пришвин записывает о мимолетной дорожной встрече с человеком, воплощающим для него неистребимый в России тип «страстного нигилиста, вечного разрушителя» — тип, изжитый в культуре, но оказавшийся в эпицентре истории («Этот старик участвовал в юности в заговоре против Александра И, всю жизнь свергал царей религией Маркса и теперь свергает Маркса, усмотрев в нем царя»). Пришвин противопоставляет «бумажному герою» личность — неповторимое и не исчерпывающееся ни одним литературным героем «я», концентрирующее в себе «волю на неповторимое действие». В то же время Пришвин впервые осознает, что быть личностью в современном мире означает нечто совершенно новое, отмечает, что, как никогда ранее, человеческая личность обнаруживает себя в духовном вакууме («всегда раньше думал, что у нас есть какая-то высокая в моральном и умственном отношении среда», «Пустыня! живу сам с собой»). Перед человеком теперь стоит задача ежедневно воссоздавать собственное сознание и бытие;

востребованным оказывается культурный запас индивидуума и способность к жизнетворчеству («Личности, конечно, и теперь есть, но они не составляют среды, они как монады, блуждающие по далеким орбитам»; «личность шествует невидимо по развалинам общества»).

Надо сказать, что к этому времени кроме варварской, разрушительной формы революции обнаруживается ее культурная неактуальность: послереволюционное развитие проблем, обозначившихся в начале XX века и, по Пришвину, требующих разрешения (гибель девственной природы, кризис человека и кризис культуры), теперь свидетельствовало о культурной несостоятельности новой идеологии. В отношении к природе революция опиралась на изжитый в культуре принцип противостояния и борьбы, впоследствии выраженный в лозунге «Взять все от нее — наша задача»; процесс богоискательства начала века, выразившийся, в частности, в диалоге русской атеистической интеллигенции с представителями церкви (деятельность Петербургского Религиозно-философского общества), уничтожается воинствующим атеизмом революции, что еще более углубляет кризис человека, а вместо органического выхода из кризиса культуры — кризиса гуманизма Россия получает предельно идеологизированную культуру социалистического реализма, благополучно обходящую все подводные камни и проблемы культуры.

Для Пришвина очевидна неплодотворность культуры, рожденной бедностью и воспроизводящей эгоизм («Бедность я не люблю — показывается скелет человека и его подзаборное я… претензия на власть… злость в бессилии радоваться, и везде я и я»). Жить и работать предстояло, тем не менее, в такой обстановке, и ждать чего-то другого было нечего («Друг мой, в Советской России я как ласточка, на которую дети накинули мертвую петлю на шею, повесили, но ласточка легкая, не давится, пырхать — пырхает, и лететь не летит, и не виснет, как мертвая»).

Спор с Пильняком в дневнике 1922 г. естественно перерастает в литературную полемику, поднимающую в новом времени традиционную тему русской литературы о назначении поэта и поэзии и обозначившую два возможных пути для художника в послереволюционной России («Человечество сейчас находится в тупике, и самый искренний… художник может изображать только тупик… почему нельзя изображать тупик… почему… художественное произведение непременно должно быть с выходом?., в своей телеге я приезжаю в тупик и задумываюсь: как быть? а вы на своей верховой лошади просто повертываете в сквозную улицу — что же из этого? тупик с телегой остается как

факт»). В полемике с Пильняком Пришвин как бы осознает свою художественную задачу: не уходить от неразрешимых проблем современной жизни, а вопреки очевидному (тупик!) искать выход. В дневнике 1923 г. он нащупывает этот возможный способ существования и творчества в советской России. Так, раздумывая о задачах литературы и всецело разделяя отказ символизма от старой модели этического художника, Пришвин выражает иной идеал, пытаясь соединить эстетическое — главное завоевание символизма («красота — душа мира») и этическое («любовь к людям и миру»), соединить два начала в едином целом художественного произведения («тайно присутствуя и всему душа — красота исчезла бы из сознания, как и мастерство, и все произведение писалось бы только из побуждения любви к миру и людям»). Однако этого оказывается недостаточно. Пришвин переживает как тип этического художника («одни художники гибнут, сводя свое дело к "полезному": моралисты, богоискатели»), так и тип художника-эстета, в принципе ориентированного на «бесполезное»; задачей художника, по Пришвину, оказывается побуждение к творчеству, что принципиально меняет не только отношение художника к жизненному материалу и к самой жизни, но и роль читателя, которая предполагает его соучастие в творчестве — «сотворчество» («Цель художника ввести как будто случайные моменты жизни в соотношение с общим процессом мирового творчества… читатель, созерцая произведения, сам начинает из своей жизни творить легенду»; «Художник должен войти внутрь самой жизни как бы в творческий зародыш яйца, а не расписывать по белой известковой скорлупе красками»).

В новой ситуации своим отношением к А. Толстому и Пильняку перед лицом Ремизова — он отвечает на воображаемый упрек Ремизова за свое сотрудничество с Толстым в «Накануне» — Пришвин косвенно определяет и границу приемлемого для себя компромисса: Толстой приспосабливается ради спокойствия и сохранения привычного жизненного комфорта, оставаясь при этом художником классической модели. Приспособление Пильняка — это игра с властью художника-авангардиста, стремящегося, как и новая власть, полностью овладеть материалом жизни, переделывая и тем самым уничтожая ее («Голодный год»). Если с Толстым возможно сотрудничество, то с Пильняком — только литературная полемика при полном неприятии его личности.

Постепенно в дневнике проявляются контуры возможного для Пришвина поведения: путь художника, приходящего к

необходимости смириться, но не для того, чтобы подчинить свое слово идеологии и служить ей, не для того, чтобы выжить или комфортно жить, а для того, чтобы вносить в эту новую варварскую жизнь те ценности — христианские и гуманистические, — от которых Пришвин никогда не отказывался и не мог отказаться. Мотив ответственности художника постоянно звучит в дневнике писателя.

Пришвин не идет на компромисс с властью, не изолирует себя от реальных проблем, не уходит от необходимости морального выбора, а совершает его («Я художник, а это значит, что я служу тому человеку, кто молился: "Да минует меня чаша сия". Я призван, как цвет, украсить путь для отдыха, чтобы страждущие забыли свой крест… мои кровавые слезы текут по лицу, но они пусть радуются, своим тайным страданием я творю им здоровье, счастье и радость»). Во второй раз образ художника в дневнике уподобляется образу Христа: Пришвин освобождает художника от «плена времени». При этом он осознает трагический аспект в поведении художника во все времена: его связь с миром не прямая, а опосредованная художественным творчеством, свидетельствующим о его личности, о призвании, о праве на свободу («Поэты не рабы, и не властелины, и не вольноотпущенные, это люди, которые утеряли грамоту своего благородства и сами взялись о себе написать. В этом страстном искании и творчестве Adelsbrief проходит вся их жизнь среди господ и рабов»).

И поэт, и сама поэзия, по Пришвину, существуют вопреки логике истории или обыденной жизни («вопреки всему»), питаясь архаическими истоками глубинной жизни, смысл которой, отраженный в современности, пытается уловить художник («существует поэзия, — как посев семян, исшедших от неизвестного существа в забытой стране»); девственная природа переносит писателя в «довременное бытие», «в какие-то давно прошедшие сроки земли», оказывается местом, достойным художника, объектом поэтического изучения («болота… совсем не тронутые художниками слова»), а самое главное, оказывается силой, которая создает «священную молитвенно-вечернюю минуту» и обращает писателя к вечному, восстанавливая истинное соотношение времени (истории) и вечности («странно располагались мои мысли о сроках земли и такой коротенькой истории человечества: как скоро все прошло!»).

Надо сказать, реальное положение писателя в данный момент осложняется не только исторической ситуацией, но и экзистенциальной ситуацией свободы от предыдущей традиции в

литературе («раньше всегда чувствовал в литературе кого-то над собой, как небо, теперь небо упало, разбилось»); в этой свободе писать, может быть, можно «лучше и больше», но это невыразимо трудно — мотив экзистенциальной тошноты жизни связывается с положением писателя («какая же скука существования, тошнит, как подумаешь, что нужно ехать в Москву в литературную "среду"»).

В конце 1924 г. обозначился новый этап в развитии литературы, который Пришвин связывает не только с революционными преобразованиями («Поворот налево в литературе»), но видит в контексте развития европейской литературы («литературы русской не будет, как нет вообще в Европе литературы о самом человеке»); Пришвин предчувствует, что подлинная литература в России уйдет под спуд и превратится в форму жизни отдельной личности («Литература будет личное дело, как и религия, и личность ее сохранит до новых далеких времен»).

Дневник писателя в послереволюционные годы свидетельствует о том, что связь с немецкой культурной традицией, органичная для Пришвина после его жизни и учебы в Германии, с мировой и отечественной культурой в целом не только оказалась для него связью с культурной почвой, заполняющей духовный вакуум этих лет, но и выявляла органичность его творческой судьбы, соединяла два периода его творчества — до- и послереволюционный — воедино. Пришвин не изменил себе и не сломился. Именно в 1923–1925 гг. его дело — служение Слову — становится той сферой, в которой писатель начинает строить жизнь на своей разоренной родине, по крупицам восстанавливая утраченное («К осени я перебрался в Москву и стал себе делать литературную карьеру. Бездомье»).

Связь литературной работы с образом дома для Пришвина не случайна. Дом для него — универсальный символ жизни, с которым связана идея творчества жизни — важнейшая эстетико-философская интуиция писателя. В этом смысле Пришвин оказывается в русле русской философской традиции, для которой идея жизнетворчества — одна из фундаментальных.

До революции постоянного места жительства у Пришвина не было: зимою он снимает квартиры в разных районах Петербурга-Петрограда, летом путешествует, после революции живет в разных местах Смоленской области, в Талдомском районе Московской области, под Переславлем-Залесским. Скитальческая жизнь, с одной стороны, давала ему возможность жить в непосредственной близости к природе, необходимой для его

творческой работы; с другой стороны, такая жизнь включала в себя поиски постоянного жилища, поиски дома. Так или иначе, смысл жизненного пути для Пришвина был всегда связан с идеей дома, и единый образ дома вырастал, прежде всего, из воспоминаний детства.

Интересно, что впервые возникшая в 1914 г. мысль о покупке дома связывается у Пришвина не столько с устройством бытовой жизни, сколько с рабочими планами, осознанием некоей внутренней задачи («Хочу дом купить, зачем? Время приходит собираться в точку. Много, много сделать всего»).

Спустя два года на земле, полученной в наследство от матери, Пришвин впервые в жизни строит дом. Жить, однако, долго в нем ему не пришлось: хотя дом был небольшим, а надел земли, равный крестьянскому, Пришвин обрабатывал своими руками, в 1918 г. крестьяне представили ему «выдворительную», и он вынужден был навсегда покинуть родные места. Самым удивительным остается, пожалуй, то, насколько верными с точки зрения никому не видимой внутренней жизни Пришвина были суровые жизненные обстоятельства, заставившие его сняться с места. Дело в том, что Пришвин в это время — более всего путешественник, и не с домом, а с путешествием связаны его главные книги («Жизнь есть путешествие… Семья — опыт. Дом, который выстроил, часто мне представляется кораблем… Мелькает мысль все чаще и чаще о бездомье и одиноком странничестве»). Мироощущение писателя связано с особым пониманием основных категорий бытия — пространства и времени («у вас есть досуг и угол… У меня этого нет, я сам движусь с утра до вечера, я сам гость этого движения: нет у меня угла, нет у меня времени, я сам движение, кожа творит»).

Тем не менее, через символ дома выявляются глубинные пласты мировоззрения писателя. Дуализм коллективной русской души, отмеченный Г. Федотовым [18], проявился в личности Пришвина с почти классической чистотой. С одной стороны, укорененность в русской национальной жизни через дом матери, с другой — тяга к странничеству, которая характеризует его художественную натуру: Пришвин определяет свой путь в литературе как «тележный и этнографический».

Со временем Пришвин понимает, что революция не просто разрушила жизнь — произошло уничтожение духовно-географического пространства России со всеми реалиями русской жизни, уничтожение самого образа родного дома. Социальный срыв, вызвавший возвращение к первобытной картине мира, затронул корни коллективной души народа, основы народного духа («Радость русского человека самая первая, что можно было

пространствовать в Соловецкий монастырь и в Киевские печуры Богу помолиться, или по широким степям так походить, или в Сибирь уехать попытать счастья на новых местах… Теперь будто частая сеть накинута на все это необъятное пространство, и странно, как нет в нем страннику места… Нет, куда тут странствовать, вернуться бы в дом блудному сыну — вот вторая половина русской радости… Но где же этот дом, где домашний уют?»). Мир утрачивает привычную связь земли и неба («Не до космоса людям, потерявшим домашний очаг»), но на фоне разрушения внешней материальной жизни стремительно вырастает значение внутренней жизни духовной («Единственное место, где сохранился уют, — церковь… наше представление о космической гармонии сложилось под влиянием строительства нашей жизни (а может быть, наоборот: мы создали уют, созерцая гармонию космоса)»).

В 1922 г., когда покинуть Россию пришлось многим русским людям, Пришвин, лишенный дома в прямом смысле — в Хрущеве, — и дома в России, приходит к ясному для себя пониманию, что родина — такая, какая она теперь есть, — все равно его дом («представилось, что не добровольно, а насильно я должен покинуть родину, и оказалось, что родина — дом мой и мне предстоит новое разорение»). Задача поиска и обретения дома связывается с исторической судьбой России; речь идет теперь не о доме, данном человеку в обжитых пространствах своей родины, как было прежде, а о доме соз-данном: жизнь поставила задачу обретения, а в конечном счете, может быть, спасения дома, природы, родины. В дневнике 1923 г. в связи с работой над автобиографическим романом «Кащеева цепь» Пришвин рассматривает разные варианты «возвращения блудного сына» домой: народнический путь — путь поколения в лице его двоюродной сестры Евдокии Николаевны Игнатовой — Дунечки («построила школу и сама стала учительницей»), путь художника («присядь записать свои мысли… этот стул, этот пень, куда ты присел, — уже есть твой дом») и путь каждого человека, кто бы он ни был и чем бы ни занимался («Судьба ведет людей, конечно, в дом, но какими кривыми путями — нам неизвестно… У нас в России теперь вот как это видно!»).

В эти годы Пришвин часто меняет место жительства; он много работает, в каждом новом месте находит людей, темы, природу — все это становится материалом для его новых произведений. Именно в 20-е гг. единственным «домом» становится для Пришвина литература («в себе самом выстроишь дом и посмотришь на людей из окошечка этого никому не

видимого и незавидного жилья»).

Пришвин берет на себя незаметный и мало кому понятный подвиг: довольствоваться малым и оставаться самим собой. И то и другое снискало ему репутацию почти юродивого в советской литературе. Но, пожалуй, самое главное, что такое поведение создавало не иллюзию жизни, а подлинную жизнь, не литературу социалистического реализма, а подлинную литературу. Впоследствии Пришвин назовет свою жизненную тему так: искусство как поведение, а идея дома станет одной из составляющих пришьинской концепции искусства. Правда, в дневнике 1924 г. появляется запись, свидетельствующая о том, что при всех бытовых и творческих трудностях такая жизнь — неналаженная, непостоянная — соответствует строю его души («По-моему, все зависит от вкуса, от начальной заправки… Я живал в Париже — все было. Но моя заправка, основное: люблю слушать ветер в трубе и оставаться тем, кто я есть… Я беру устроенное: лес, поля, озера. Лес, перо, собак»).

1922 г. оказался в творчестве Пришвина переломным. В дневнике 1923–1925 гг. осмысляются те принципиальные перемены, которые не без влияния Фрейда («Страница налево будет оставлена для анализа по Фрейду») происходят в его мировоззрении в течение всех послереволюционных лет. Они были связаны, во-первых, с признанием низких хтонических сил в человеческой природе («зверя в себе»), иными словами, своего бессознательного, которое требует к себе постоянного внимания («хозяйство со своим зверем»), а во-вторых, означали признание за природой (бессознательным) безусловной духовной силы, питающей человека в беде и прежде принадлежавшей, скорее, культуре («В пустое время, когда человек к человеку был куда хуже зверя, я часто оставался наедине с собой, и тогда, бывало, попадет в душу небесная звезда — так и останется, и помнишь навсегда этот миг, или сосну заметишь… И так стал мне этот мир всей радостью, какой теперь я жив на земле»).

Фактически Пришвин преодолевает один из основных принципов культуры модерна — принципиальную оппозицию природы и культуры — и таким образом освобождается от многих иллюзий относительно большевистской революции, для которой идея переделки человеческой природы и вытеснения природы культурой является основополагающей.

Пришвин выявляет два типа творческого поведения художника в борьбе с бессознательным. Первый — складывающийся в русском модерне путь, предполагающий подавление бессознательного («Изучаю эгоизм поэта, воображающего себя чуть ли не святым… Гамсун маскирует

эгоизм этих людей их отзывчивостью во встречах с бедными людьми… но это опять-таки чары, приносящие только зло… во всех попытках жить для всех бессознательно управляет человеком его самость, но, встречаясь в сознании с альтруизмом, она превращает жизнь человека в гримасу»). Этот путь, доведенный до своего логического завершения в период революции, приводит к абсурдистской логике социалистической культуры («что будет, если состояние отказа от личной жизни (смерть души) возведется в принцип бытия, сделается обязательным? Тогда этот морально живой человек станет тупым, непременно жестоким (убийцей духа), а революционером станет тот, кто хочет жить лично»).

Другой путь, предполагающий значимость бессознательного и связанный с новой эротикой («Возвращается мысль: оправдание женщины»), требует сосуществования «с самим собой», умения управлять бессознательным, окультуривать и использовать «самость», например в творчестве («единственный способ освободиться от этого зверя, всегда голодного, это насытить его, следить за ним, ухаживать, и вот, когда успокоенный зверь уснет, можно позволить себе отлучки в другую сторону (altera); это хозяйство со своим зверем и есть самость, без которой никак нельзя помочь другим людям»). Роль бессознательного Пришвин также обнаруживает теперь в социальной и духовной жизни человека — коллективное бессознательное народной души определяет культурную и религиозную дифференциацию («Нелады "с самим собою" и создают иллюзионистов общечеловеческой морали. Вот почему народы имеют разного Бога, не Боги разные, а зверь разный и разные способы его насыщения и ухода за ним — разные церкви, а Бог, конечно, для всех один»). Так Пришвин на самом деле постепенно освобождается от целого комплекса идей и иллюзий современности.

По-видимому, можно сказать, что в эти годы в мировоззрение писателя проникают новые мотивы будущего постмодерна (ср.: «Постмодерн и природу принимает такой, какая она есть, это в равной мере относится к "зеленой" природе и к природным движениям человеческой души, от которых в такой ужас приходили культурные люди сто лет назад… Постмодерн относится к культуре как к природе, данной современному человеку, такой, какой она сложилась в истории и какой, в разных сочетаниях, будет всегда. Культура-как-природа вместе с собственно природой требует принятия, изучения и охраны во всем их великолепном разнообразии»[19]). В русле постмодерна культурную подоплеку получает краеведение, которому Пришвин, начиная с 1923 г., в течение нескольких лет особенно

привержен. В краеведении, выполняющем задачу изучения и охраны края — его географии, человеческой деятельности и истории, — Пришвин видит способ изменить отношение человека к природе, способ, с одной стороны, доступный каждому и достаточно прагматичный («Изучение жизни человека в данном месте: краеведение. Приложение этой идеи: можно и необразованному, всякому заниматься, находить просто полезное в данном краю человеку»), а с другой — созидающий новое сознание («кооперация и краеведение… питаются личным сознанием и совершенно противоположны марксизму»).

Новое мировоззрение находит отражение в художественном творчестве писателя: в 1923–1925 гг. один за другим появляются очерки «Башмаки» — результат «журналистского исследования» кустарного промысла талдомских башмачников. «Я мало-помалу осознал свой путь и начал культивировать географический очерк, превращая его в литературный жанр», — пишет Пришвин в предисловии к книге. Пришвин понимает, что существо его художественной позиции, причастность к народной жизни остаются прежними и не зависят от возникшего требования «пролетарского происхождения», эта причастность присутствует не как внешнее соответствие, а как внутренняя адекватность («интеллигенция и народ, какая ерунда: я исам народ»). Изменилось положение писателя, но творческая задача остается прежней («Россия и раньше была неисследована, а после величайшей революции и говорить об этом нечего»). Теперь Пришвин занимается изучением производственного быта кустарей-башмачников, создающих красоту, которую способен оценить только человек культуры — описать «туземный» мир и привнести в него культурный смысл, и не просто использовать, но открыть ход из мира «туземцев» в мир культуры («мне хочется найти… у простых людей оправдание их отсталого бытия»). Миссия писателя — осознать последствия происходящей механизации ремесла в условиях насильственной переделки мира как проблему культуры и цивилизации; в то же время он ни на мгновение не забывает, что «одна действительно прекрасная строчка, получающаяся от свободного творчества, дороже всех башмаков на свете», и поэтому очерки остаются для писателя тем, что «надо» писать, а роман «Кащеева цепь» — способом «сохранить себя» («Вопрос ставится так: писать роман или свести все к ремеслу»).

В дневнике этих лет Пришвин постоянно обращается к идее прогресса и проблеме соотношения цивилизации и природы («природа — это прошлое человека, а прогресс — механическое

замещение утраченного»): для революционера все прошлое подлежит уничтожению («Природа для них прошлое, все прошлое они ненавидят»), и это абсурдное, перевернутое соотношение природы и цивилизации создает общество, для которого искусственное выше естественного («революционер должен восхищаться механическими зубами… я восхищаюсь естественными зубами, и поэтому я — контрреволюционер»). Для художника, человека культуры, природа остается «хранилищем, заповедником жизни», требующим культурной интерпретации, переработки, бесконечного внимания, что совсем не исключает необходимости замещения утраченного в ней («я знаю, все сущее должно умереть, но из этого вовсе не следует, что к нему надо быть невнимательным… его убивать»), напротив, такое отношение предполагает, что именно человек культуры принимает творческое участие в процессе создания нового государства («когда-нибудь… мы построим новую вселенную механически по образу и подобию сотворенной до нас»). Пришвин обнаруживает глубокое понимание эпохи, необходимости быть наравне с веком, принимает неизбежность и необходимость цивилизации, однако ставит единственное условие: изменение отношения к природе как вполне прагматичную задачу превращения машины из средства покорения природы в средство «охраны девственной природы и преображения земли». Русское зодчество Переславля-Залесского в дневнике писателя становится аргументом, подтверждающим возможность гармонии человека и природы («Древние зодчие… работали, как природа, обличая (индивидуализируя) каждую мелочь. Время продолжало дело художников, работая желто-зелеными мхами на кирпичах, муравьями на стенах и разным быльем. И так мало-помалу дело человеческих рук пришло в полное согласие с делом природы, так что строения на горах и Плещеево озеро внизу сошлись к одному, как будто их создали друг для друга»). Задачу времени Пришвин видит в необходимости «истребить в себе последние остатки вражды чувства с разумом», что могло бы освободить «из плена чувство природы и даже чувство религиозное». К этому можно отнести и пришвинское изучение талдомского башмачного промысла с идеей необходимости органического соединения ремесла с машиной («Оказалось, что эту обувь… невозможно сделать механически»; «Всякий артист сидит в индивидуальном гнезде, и его невозможно пересадить на общественную почву»).

Под напором жизни Пришвин не может не признать исчерпанности всего комплекса идей, которыми издавна питалась русская мысль, и необходимости нового мировоззрения («спал…

мертвый груз филантропических русских идей, перенятых от синайских монахов и перемешанных с последними идеями Запада и Востока: смирение и непротивление, условная жалость к безлошадным мужикам и сверхчеловек нищих оголтелых мещанских слобод — всё плен! Всё на смерть!»).

Летом 1923 г. было опубликовано обращение арестованного патриарха Тихона с признанием советской власти, которое вначале вызывает у Пришвина негодование («Отречение Тихона. Непосредственное чувство оскорбленности себя русского (нет у нас теперь Аввакума)»), а затем становится еще одним подтверждением необходимости принять историческую реальность («сначала душа возмущается и восстает, оскорбленная, против зла, но после нескольких холостых залпов как бы осекается и, беспомощная, с ворчанием цепляется за будни, за жизнь»). Традиционное понятие «героя», христиански романтизированного, идущего на страдание во имя высокой цели и будущего, в новом времени утрачивает смысл: героизм становится уделом не отдельной личности, а всех («У христиан есть грех, что они спешат на страдание… зачем это? Оно и так непременно придет… спеша, они увлекают за собой и тех малых, кому можно и так прожить, без страдания»); зато героической становится готовность к страданию («человек бессознательно религиозный, который не спешил на страдание, потому что в глубине души чувствовал, что "все дойдет до меня" и я сам доживу до этого, и вот это пришло»).

Впрочем, Пришвин отмечает, что новая власть, как и в других сферах жизни, воспроизводит тот же пережитый в культуре образ «ложного героя» («видно, как нарождается тот же самый загипнотизированный человек (герой) в новом составе лиц власти»).

В связи с демифологизацией романтического героя (Аввакума) Пришвин ставит вопрос о сущности русской трагедии («Темные герои (Аввакум): трагедия получается оттого, что большое сердце идет по малому разуму… В России сплошь вся история умного сердца… запертого в мертвый счет: например, считают время царства Антихриста!»). Пришвин в дневнике ищет «героя нашего времени», вновь и вновь обращаясь к теме революции.

Первый и второй Адам («Второй Адам — существо, забытое Богом и обиженное людьми, он возмущается») олицетворяют в дневнике интеллигенцию и народ («Первому — смирение, второму — бунт»).

Интеллигент, ставший на сторону народа, превращается в

фанатика, а народ, занявший место интеллигента, превращается в обезьяну — вот парадигма революции. Между тем речь идет о новой современной форме соотношения материи и духа («Материализм — это голос материи, вызывающей дух на борьбу»), осмысленной в терминах эротической борьбы («Материя сопротивляется формирующему духу… как женщина, в сокровенности своей жаждущая оплодотворения»). Революция предстает как «голос самой материи», народа, «косной природы», жаждущей «большого духа»; властвующая интеллигенция — это фанатики, «бумажные герои», не способные ответить на этот вызов («социализм… есть голос самой материи, жаждущей формы, заявление самой материи о том, что и она живая», а «нелепость коммуны в том, что хочет уравнять пол и эрос, материю и форму»). Писатель ищет выхода из противостояния материи и духа, разума и чувства, правды и истины, мужского и женского, церкви и Евангелия в современной ему жизни. В дневнике выстраивается логика, связывающая план как проект жизни (правду) с уничтожением живой жизни («правда как враг всякой легенды и личности») и с мотивом «оборотничества», то есть ситуации, в которой «сама правда делается ложью». По Пришвину, правда революции противоположна истине и в истоке ее — отцеубийство («сын берет на себя дело отца — соглашение, революционер отнимает у отца его дело и умерщвляет его (цареубийство); в Евангелии сын воскрешает отца в легенде, в революции умерщвляет в правде»). Революционный проект жизни нереален, потому что меняет местами правду и истину («источник правды есть истина, а если скажете, правда — источник истины, то родится ложь»); план становится символом уничтожения жизни, личности, истины, в то время как живая жизнь для Пришвина выше любого дела, морали, даже долга («Дуничка, конечно, святая по делам своим, но жутко думать, что душа ее — вот вопрос! — перетянет ли коромысло весов, на другом конце которых душа молоденькой балерины, беззаветно отдавшей всю себя за бокал шампанского?»).

«Есть великая правда нашего времени, но есть ли истина?» — вот вопрос, который задает Пришвин социализму. И отвечает на него: социализм несет в себе правду логики, идеи, рационального проекта жизни, правду объекта, но в нем погибает живая жизнь, в нем нет истины, нет субъекта: социализм — родовой, коллективный, общинный, в нем есть правда «мирской чаши», но нет правды личности.

По Пришвину, государство не должно быть носителем идеи, его функция — устраивать жизнь человеческого общества

(«Принципы могут быть у частных людей… государство не должно иметь… пристрастия к идеям»), не должна быть идеей кооперация («кооперация… должна быть… делом, и дело общественное должно исходить из личной выгоды»), не может быть идейной литература или любовь. Обреченность социалистического государства Пришвин видит в том, что идеология занимает место жизни и вытесняет жизнь («марксисты, называющие себя материалистами… совершенно лишены чувства восприятия материального мира: это чистейшие идеалисты»; «Буржуазия была историческим щупалом материи, и социализм только тогда сделает шаг вперед, когда признает буржуазию своим отцом — материю»). С этой точки зрения очень интересен рассказ «Сыр» (1924), в котором, как в зеркале, отразились пришвинские идеи этих лет, в частности утверждение приоритета живой обыденной жизни перед идеями. Пришвин считает, что «в ширине России зреет в бесформенности, в будничной жизни — новая жизнь», а в рассказе обыкновенная головка сыра, купленного по случаю, становится символом нормальной жизни; люди в этой не-жизни оберегают его как святыню, и отношение к сыру выражает тоску по тому миру, в котором сохраняется строй нормальной человеческой жизни («Один раз при вспышке света я видел, как задремавший старик держал мой сыр. И что меня поразило, в лице его была совершенно материнская улыбка. Я не пытался взять у него сыр, для меня сыр перестал существовать как моя собственность, не я спасал его, сыр в моем кошмарном сознании принадлежал всему народу» [20]). Писатель уверен, что бытовая жизнь есть материальное выражение жизни личности — некое материальное свидетельство нематериальных отношений («все явления быта у меня относятся к некоему высшему, универсальному Я, с точки зрения которого общественное явление есть нечто временно преходящее; конечно, это не мое индивидуальное "я", а высшая соборная личность»).

В то же время Пришвин далек от мысли, что в народе существует определенная оценка существующей жизни. Напротив, в собственной жене он видит, как амбивалентность народного сознания выражается в двух лицах, которые в зависимости от ситуации замещают друг друга: первое — лицо человека, созданного церковной культурой и отрицающего советскую власть, другое — порожденное процессом распада общества, представляющее «вульгарную большевичку из баб» («не такова ли вся Россия»).

В дневнике этих лет Пришвин ставит вопрос о культурной универсальности христианства, пытаясь связать историческое

бытие с Евангелием, и вполне в духе Розанова ответственность за состояние христианского сознания современного человека и за историю возлагает на историческую церковь, в которой ему не хватает полноты в отношении к жизни («¼ вершка, ускользающей от учета христианского разума и потому являемой ему как зло, как черт… Не духовная жизнь, не плотская, а просто жизнь — драгоценнейший поток»). В Евангелии Пришвин видит путь для решения фундаментальных проблем современности — выход из тупика («В христианстве (в Евангелии) чувство проникает в самый разум, в логику, в $2 \times 2 = 4$: эта сохранность первого наивного чувства жизни до смерти и через смерть есть сила и значение Евангелия… Герой Евангелия — мыслящий простак, уничтожающий книжников и фарисеев. Евангелие — радость жизни, коронованная смертью. Все это теперь затемнено грехами церкви, этой щелью, через которую ворвался бунт масс с их социализмом и материализмом»).

Вопреки утопизму социалистической модели мира Пришвин строит модель мира, естественными полюсами которого являются жизнь и смерть; это мир радости жизни, не требующий от человека страдания и жертвы, но требующий готовности к страданию, «если оно придет». Мыслящий простак или «стихийно религиозный человек» — вот новый герой, в котором рациональное знание соизмеряется с интуицией, разум и чувство соединены в единстве живой личности, скрывающей в себе «волю на неповторимое действие», готовой к страданию, но обращенной к радостному смыслу бытия. Может быть, именно такое состояние народной души, выраженное художником, позволило выдержать те испытания, которые выпали на долю человека в советской России.

Это и мир художника, который теперь совершенно свободно и бесстрашно заявляет: «Вы, требующие жертвы от меня, уже искупленного, злодеи и насильники… я люблю, опьяненный вином, претворенным на браке в Кане Галилейской, весь мир жизни — с цветами и солнцем, с животными, птицами, рыбами и звездами — со мной, я не одинок — я весь мир»). То, что называли пантеизмом Пришвина, на самом деле очень рафинированное, изысканное, в духе начала века соединение ницшеанского эстетизма с христианством и в определенном смысле разрешение задачи модернизации христианства, поставленной еще Мережковским. Кроме того, в мировоззрении Пришвина в это время обнаруживаются элементы философии жизни, осмысляющей жизнь саму по себе как органический процесс, что подкрепляется в эти годы условиями нэпа: пробивается наружу уничтоженная революцией жизнь

(«вековечным инстинктом восстанавливается настоящая жизнь», «было похоже на пробуждение жизни ранней весной»); развиваются принципы философии экзистенциализма, не определяющего общих критериев добра и зла («Я стал непостыдно равнодушен к словам добра и зла»). Развитие экзистенциального понимания добра и зла с точки зрения не нравственности, а творчества характерно в послереволюционные годы для мировоззрения Пришвина, который включает в творческий процесс стихийное, дионисийское («Благословим же благодетельного черта, как движение ветра, уносящего вредные дыхания почивающего Бога»).

Пересматриваются в дневнике этих лет и задачи, стоящие перед художником. Пафос понимания Слова, которое прежде рассматривалось как «страшное оружие писателя», ведущее в будущем к непременной победе над насилием, в нынешнем положении снижается и соответствует «затаенному чувству мести всякого раба». Теперь очевидно, что художник не может становиться на какую-то сторону, он должен принять всё («я весь мир») и творить настоящее для ныне живущих людей («Я скрываю свой крест в никому не доступных завитках моей ночи, и лампада моя горит невидимо… и мои кровавые слезы текут по лицу, но они пусть радуются, своим тайным страданием я творю им здоровье, счастье и радость»). Усложняется понимание природы художественного творчества в связи с осознанием роли личности художника не только как творца: художник сам лично заинтересован в результате художественного исследования («глаз увидел предмет и то, что было смутно в себе, вдруг отчетливо разобралось на предмете, и в сердце радость: "Так вот оно что!"»), только в ситуации личного взаимодействия художника с предметом создается художественный обзор («если вы просто будете подходить к предметам без себя самого, то будете описывать всем известное и скучное»). Писательство, оказавшееся в одном ряду с охотой по принципу получения добычи («Охота за червонцами»), не создает литературы («Литература просто рассыпалась, кое-какие журналы существуют не внутренним кровяным питанием… поверхностно… что сочиняешь, то не из себя… не чувствуешь, сочинив, силы истекшей»). По-видимому, именно поэтому Пришвин требует от себя постоянной работы над дневником, где невозможно писать «без себя», «сочинять» («Мое преступление — не пишу дневники», «Чтобы писать, нужно ввести строгую гигиену души с усиленной охраной "светлой точки"»). К тому же, по Пришвину, художник всегда оказывается над временем («На борьбу с веком выступает художник, и так

создается трагическая личность»).

Переворот в жизни России совпадает с новым временем собственной жизни Пришвина («а может быть… один, и нет литературы, общества, то это не время истории, а мое время… за 50 пошло… я попал в Старшие, и нет возможности собраться с другими… А солнце над собой я чувствую и какую-то беспредельность мира»). Именно в это время вновь появляется у Пришвина чувство востребованности себя как писателя, которое он ощущает как победу: он не склонился перед властью, но и не отрицал ее нигилистически, справился с амбивалентностью и обрел собственный взгляд на современную жизнь и литературу («Мой посев приносит плоды: всюду зовут писать. Между тем я ничего не уступил из себя»). Весь комплекс связанных с положением художника проблем так или иначе связан с темой экзистенциального одиночества художника XX в., усугубленного искусственно сконструированным одиночеством художника советского государства.

Для Пришвина очевидно, что экономическая свобода связана со свободой личности, свободой мысли и творчества, что, уничтожая кооперацию, государство уничтожает саму идею свободы («какая-нибудь артель, уловив хорошую идею… станет осуществлять ту же самую идею как выгодное, как свое собственное и потому живое и веселое и пойдет практически своим собственным путем… государственное начинание… предстанет вдруг как план для собственного личного дела»). Связь политики и экономики с литературой обнажается в конце 1924 г. в связи с разворачивающейся борьбой за власть внутри партии — «ленинизм» и «троцкизм», по Пришвину, выражают в данный момент два возможных пути развития России («Правительство сделало две ужасные ошибки в последнее время: 1) обмануло купцов, 2) уничтожило Троцкого»), в соответствии с общим направлением в литературе происходит усиление роли писателей-«напостовцев» в противовес «попутчикам».

В 1923 г. Пришвин вплотную приступает к работе над автобиографическим романом. «Кащеева цепь» складывается как новый роман; материалом для романа служит писателю собственная жизнь, но его идеи и философия современны. Не столько сюжет, сколько отдельные эпизоды жизни лирического героя «Кащеевой цепи» Алпатова, по-разному связанные между собой, становятся организующим принципом романа; его герои постоянно рассуждают, их действия обоснованы скорее не психологически, а философски. Главная тема романа связана с

идеей творческого эроса, рождающего личность и возвращающего человека к своему «я». Начало жизненного пути лирического героя романа Алпатова отражает путь поколения — русских юношей конца XIX века, увлеченных марксизмом; в дневнике этот путь представляется в виде прямолинейного движения из дома (мотив блудного сына) под воздействием центробежной силы физического роста (прогресс, социализм, разум). Пришвин признает укорененность революционной традиции в определенной стадии сознания («вижу вокруг себя множество молодых людей, совершенно таких же, как я первого периода») и в связи с этим понимает собственную ответственность и причастность к истории («если бы меня революция застала до 30 лет, я бы непременно был одним из первых зачинателей марксизма, и если идти против них, значит идти против себя»).

Обретение себя в искусстве вытеснило увлечение Пришвина марксизмом и обозначило смену приоритетов («Маркс мне стал постепенно чужим и родными философы-интуитивисты»). Это не было у него возвращением к прошлому, но уводило от всего ряда связанных с марксизмом принципов жизни, обозначило движение от знания к интуиции.

Пришвин стремится соединить две модели мира: ввести в циклический ритм движения природы, жизни естественного человека и его мифологических представлений (круг) идею истории и свободы (прямая). Любовь знаменует новый способ отношения лирического героя романа к миру, к собственной личности («любовь как разрыв круга», «любовь — новый потоп»), он обнаруживает в себе призвание художника, отходит от революционной борьбы и ищет иные пути служения обществу. Под влиянием центробежной силы эроса прямолинейное движение преобразуется в круговое движение по спирали (уже не круг), которое символизирует жизненный путь человека как многократный уход и возвращение блудного сына («Таких кругов, выходящих из дому и возвращенных домой, в жизни иного человека бывает много, и все движение идет вверх по спирали, так что дом второй приходится над первым, выше его, третий дом еще выше, и так растет как бы один дом со многими этажами вверх»).

Теперь творчество становится тем принципом, с точки зрения которого окончательно развенчивается народничество — идеология пришвинского детства; он не находит в народничестве творческого потенциала, и, делая героиней своего романа двоюродную сестру-народоволку, обнаруживает в ее жизни вместо творчества нового репродуцирование той же самой жизни, с которой она всю свою жизнь боролась («святая, отдавшая всю

свою красу-молодость, сбережения, свободу на служение народу, готовит в школе тех же "попов, дьяконов, полицейских"»).

В связи с работой над автобиографией в дневнике возникает сложная тема творческого и социального маргинализма через чисто символистскую реинтерпретацию Лермонтова как своего предшественника и факт собственной жизни — исключение из гимназии, которое поставило его в ряд неудачников (психология маргинала («неудачника») — закваска революции). С этой точки зрения Пришвин осмысляет идею «быть как все», которая при всей своей обыденности в данной ситуации оказывается продуктивной — выводящей неудачника на общий путь («обедневшее сердце мимо гениев и великих людей пошло навстречу обыкновенному милому, хорошему человеку»): революции противопоставляется жизнь. Надо сказать, что творческое поведение Пришвина ориентировано на преодоление и традиционного маргинализма художника («поэт и толпа»). Романтическая традиция, воспринятая символистами и логически завершенная в мировом авангарде, преодолевается Пришвиным не только собственным творческим поведением («искусство как поведение») и переосмыслением связи «писатель-читатель», но и в его излюбленной идее универсальности творчества («хорошим ли мастером ты был, делал ли больше в своем мастерстве, чем это нужно тебе, все равно, писатель ты или сапожник Цыганок из Марьиной рощи»).

В дневнике 1925 г. Пришвин вновь обращается к идеям «времени богоискательства», которые были для него в начале века предметом постоянного интереса, и отмечает, что то, что казалось проблемой культуры и философии, в не меньшей мере было проблемой идеологии и политики, а точнее, проблемой власти («Все они, как декаденты, так и хлысты и социалисты, претенденты на престол… каждый скрывает в себе царька»); идее власти («царь») противопоставляется, как и в пьесе В. Гиппиуса, «раб Божий», который воплощает в делах данный ему талант — художник вновь выбирает для себя этот путь («Я раб того Светлого человека, который есть сам в себе, а не претендент на престол»). Путь творчества диаметрально противоположен «сальеризму социализма», утверждающего господство неудачника, «обнаглевшей бездари», принципиальное преимущество труда перед талантом («как сальеризм начинает трудом и кончает убийством, так социализм направлен на Моцарта и непременно на Бога. В этом обществе не может быть людей милостью Божьей (благодатных)»).

Идеи, проработанные в дневнике этих лет, отдаются

лирическому герою автобиографического романа Пришвина, который становится для писателя прообразом человека, ищущего новые пути творческого созидания жизни («Нигилист праведно ненавидел и прав в разрушении, но, чтобы строить, нужно любить, и для этого должен родиться другой человек. Алпатов Михаил был как предтеча этого перерожденного человека»). Новый герой Пришвина пытается противостоять культурному нигилизму человека, одичавшего от нищеты окружающей жизни, не имеющего ни прошлого, ни будущего, не понимающего смысла бытия («за спиною Ничто, а впереди день, хоть день, да мой!»), — противостоять, а не бороться («Его задача консервативная: во время разгрома сохранить людям сказку»).

Именно в это время — в дневнике 1925 г. — постоянное противопоставление революции и творчества приводит Пришвина к актуализации жанра сказки как современного и своевременного жанра литературы: в результате осмысления революции в отношении к пространству и времени («Революционер разбивает время (отказ от прошлого) и место (интернационал)»), вырывающей человека из привычных координат и обозначившей его одиночество и оставленность, Пришвин обращается к сказке как к силе, способной вовлечь человека в творчество жизни не уничтожением, а преодолением времени и пространства («сказитель, преодолев время и место… сближает все части жизни одна с другой, так что показывается как бы одно лицо и одно дело творчества, преображения материи. При таком понимании сказка может быть реальнее самой жизни»). Таким образом, сказка для Пришвина не только литературный жанр, но и некий смысл жизни — и общей, и каждого человека в отдельности, смысл, который рано или поздно обнаруживается в «синтетической форме сказки» и связывает настоящее с будущим («Не до сказок теперь! Не до сказок, я знаю, но она явится как след на земле… по нашим следам охотник идет, и он потом расскажет о нас»).

Обращение к автобиографии актуализирует в дневнике этих лет темы, связанные с образом ребенка и детства. Детство и детские переживания никогда не были для Пришвина преходящими; напротив, в течение жизни они постоянно по разным поводам возникали то в дневнике, то в сновидениях, то в художественных произведениях и осознавались писателем как прафеномены его личности, над которыми он не уставал раздумывать («неизменно детская душа через всю жизнь»). Детство воспринималось писателем через призму острого конфликта природы и культуры. Жизненное начало, требующее

полноты для своего развития, в обыденной жизни встречает преграду в виде рамок и запретов, выработанных культурой («надо»). Из встреченных в раннем детстве людей Пришвин выделяет соседа по имению [21], единственного, кто понимал, что подлинное усвоение культуры в процессе воспитания требует элементов свободы, нарушения табу («детям нужно неправильное»). Именно парадоксальность ситуации в общении со взрослым как представителем культуры давала ребенку острое ощущение своего «я» («хочу») — создавалась подлинная возможность действительно свободного выбора ребенком своего образа поведения. Редко взрослые решались на такой рискованный эксперимент, и Пришвин понимает благие намерения своих родных и педагогов («им хотелось сделать из меня хорошего мальчика»). На самом деле творческий импульс дан человеку в детстве для того, чтобы он подхватил его и включился в процесс мирового творчества. Дитя — это творец, к тому же «обладающий полнотой воли» и «знающий правду», это представитель некоего универсального целого. Именно поэтому столь правомочным становится у Пришвина сам объект воспитания — ребенок («я хотел найти свой путь к хорошему»). Пришвин считает, что не дать угаснуть творческому импульсу — это значит «сохранить в себе ребенка» — ребенок становится метафорой художественного творчества писателя. На протяжении всей жизни в дневнике сохраняется устойчивая связь «ребенок-поэт» («Душа детей и художников отличается»).

В эти годы в дневнике обозначилась оппозиция «Москва — коренная Россия», где Москва — это закон, Маркс, экономическая необходимость, план, государство и государственный человек с широкими планами, это отстраненно-чужое, урбанистическое, цивилизованное, а провинция — это чувство, живая жизнь, общество и человек общества, Л. Толстой, обыватель со своими слезами, земля, то, что было, родное, укорененное. И здесь Пришвин, писатель нового времени, не может оставаться на стороне милого сердцу прошлого («До сих пор я слишком много трогался слезами обывателя»); не покой, а действие нужно противопоставить логике революции: революционной логике — логику реформ («вот чего я хочу от обывателя: пусть он дойдет до действительного принципа, и если это Толстовство, то пусть это будет реформацией… пусть реформатор даст нам план действия для замены существующего новым»). Между тем писатель не может смириться с принятым противопоставлением города и деревни («большевики считали "сознательность" фабричного, а больше нет ничего») и полагает, что силой «мещанского

индивидуализма» человек от земли бессознательно делает необходимое «общее дело», что и получило в кооперации подтверждение городской культурой («В этом и есть смычка»).

Кроме того, в Москве Пришвин переживает, как когда-то в начале века в Петербурге, особенное явление весны света в Большом городе, понятное в контексте руссоистской идеи о том, что любовь к природе появляется там, где ее не хватает, а также в контексте урбанистических переживаний человека XX в. («Начинается весна в городе, и даже не в городе простом, а в столице, заметная в просветах голубого неба между громадами домов… в городе рождается у человека страстная мечта о свободе и воля к далеким странствованиям»).

В послереволюционные годы у Пришвина появляется чувство сиротства: один за другим умирают его братья и сестра; но даже не только поэтому, а еще и по ощущению жизни чувство родства оказывается признаком провинции, былого, уходящего («Все так изменилось, что в новых условиях никакое родство не завязывается»). Для Пришвина очевидна необходимость появления какой-то новой общности, он понимает происходящее как необратимый процесс формирования нового человека как индивидуума с собственным складывающимся, а не готовым (родовым) мировоззрением. В то же время он понимает, что сублимация как замещение природного социальным — это соблазн: господствующая идея классовой борьбы и вражды, так же как традиционализм родовых отношений, неприемлемы для Пришвина. Единственно реально для него замещение биологического эроса творческим эросом — только искусство является для него силой, способной поднимать новые пласты жизни, реально создавать новые смыслы и новое родство («Искусство как сила восстановления утраченного родства. Родства между чужими людьми. Искусство приближает предмет, роднит все, и людей между собой… и разные земли»).

Между тем творческая жизнь все больше зависит от труднейших бытовых условий («Все мои большие замыслы разбиты, и опять из-за куска хлеба бьюсь как рыба об лед»), а культурная ситуация все с большей очевидностью подтверждала неспособность социалистической культуры решить подлинную проблему создания общества, выявляла ее несостоятельность, замещение подлинного неподлинным, что проявлялось в замене феномена эстетического утилитарным, агитационно-публицистическим и идеологическим («В наше время упрямые попытки превратить искусство в публикацию… исходят из той же потребности создать родство между широкими массами. Сестры: Публикация, Информация, Агитация, Пропаганда»).

В дневнике Пришвин много размышляет о причинах кризиса христианского сознания. Он видит, что не только христианство, но и неизжитый архаический языческий пласт народной души определяет коллективное сознание народа («Русский народ есть физически-родовой комплекс»; «до наших дней сохранились жрецы… языческой религии — колдуны… Рядовой человек… только по привычке становится утром и вечером лицом в красный угол. Религия застает его врасплох, в худой час, тогда вдруг встают в душе древние боги, и он идет к Пифии гадать о судьбе»). Языческая обращенность к легенде, мифу, идолу парадоксальным образом соединяется с социализмом, способствует сотворению кумира и утверждению нового социалистического мифа. Для Пришвина изжитым оказывается не только языческое, но и застывшее христианское сознание («Можно делать Христово дело, но… не может быть никакой "платформы", "поэзии"… сказать, например, "христианский социализм" — какая гадость»). Единственной реальностью на пути обращения к христианству оказывается экзистенциалистское персоналистическое сознание человека XX в. («при опасности моему сыну… если я болею, если я умираю, то природа (радость жизни) умирает… душа тянется к милосердному человеку», «образ Христа, предсмертная моя жизнь и вместе с тем посмертная и вечная»); путь ко Христу лежит через пограничные ситуации, через родное, традиционное понимание христианства, но также через религиозное творчество («В слове Христос мне есть два Бога: один впереди через ужас в предсмертный час, другой назади, родное милое существо, о нем говорила мать: "Христос был очень хороший", один через наследство моих родных, другой — мое дело, моя собственная прибавка к этому, моя трагедия»).

Пришвин противопоставляет человека внутренней жизни и кумира: если первый влияет на жизнь («она никогда не молилась дома, не ходила в церковь, только работала и любила нас… Сознают ли эти дети когда-нибудь, что их лучшее — это действие неназванного Бога их матери?»), то второй уничтожает жизнь («как скажут "великий человек, гений", так тебя сразу молотом в лепешку»). Писатель выявляет оппозицию христианства и социализма, противопоставляя их как чувство и разум, свободу и необходимость, любовь и насилие, власть, творчество и механизацию личности, культуру и цивилизацию.

В дневнике 1924 г. в виде фантастической аллюзии проблемы свободы в любви возникает тема вечной женственности, связывающая Пришвина с немецкой романтической традицией и символизмом начала века. По Пришвину, явление миру женщины

— это логическое завершение начатого романтиками и продолженного символистами пути, в конце которого с эротического снимается налет греховности («Искать девушку такую мудрую, чтобы она могла дать мотивы нового Евангелия, внутреннего спасения мира… по пути… просветления плоти, как у детей»), разрешается проблема дуализма в любви как противоречия между идеальной романтической любовью к Прекрасной Даме и родовой, плотской любовью. Пришвин видит в самом себе эту гибельную двойственность, свойственную культуре начала века, страдает от нее и стремится к преодолению («отталкивание от чувственной любви, если приходит та, которая мне очень нравится… эта, исключающая обычный чувственный конец любовь бывает "сильна, как смерть"… Рядом… существует и обычное, здоровое, простое чувственное влечение, и чем тут упрощеннее… тем лучше»), тем более что в его жизни чувственное, родовое (брак) не перерастает в живое и любимое, а превращается в косную застывшую форму необходимости. Надо сказать, что в своей собственной жизни Пришвин переживает идеальную любовь к Невесте (Прекрасная Дама), родовую любовь (жена), облегченный вариант небезызвестной формы «брака втроем» (Коноплянцева) и мимолетную языческую («козлоногую») любовь к юной девушке (Козочка), что, конечно, не облегчает, но делает еще более насущной проблему поиска некоего синтеза, гармонии в любви. К тому же для Пришвина эта тема связана с психологией творчества, с типом художника («истоки творчества (от Духа Св. и Девы)… такая психология непременно должна быть у художника, или же и может быть иначе?»). «Происхождение и характер» собственного творчества Пришвин понимает через свой первый роман, а себя в творчестве постоянно ощущает между двумя ипостасями любви — первая парижская любовь, Невеста, и жена («так и было у меня в двух мирах, в двух полюсах, а посередине деятельность формирования (искусство) как выход из противоречия»). Пришвин всегда сознавал, что первая любовь открыла ему новое понимание мира («окончилась радостью в слиянии души с природой и… стихийными людьми»), привела к творчеству, но только теперь он понял, что именно неосуществленная первая любовь объясняет нечто очень существенное в самом его творчестве («Вот и ключ к моему писательству без человека ("без-человечный писатель" З. Гиппиус) … маленькая Варя не стала моей женой, и близкое-ежедневное совершенно выпало из меня»).

Связь творчества и любви к женщине неслучайна еще и потому, что и то и другое не может существовать вне свободы

личности, а между тем в воздухе висит идея принципиальной возможности регуляции творчества и любви, угроза вторжения государства в творческую и личную жизнь человека («может ли государство предписывать писателю законы творческого поведения?»; «удивительно, как не додумались до трудовой регуляции любви») — государство не только запрещает говорить или писать то, что признается контрреволюционным, но и стремится навязать определенный тип мышления, определенную модель поведения (ср.: Мандельштам О. «Четвертая проза»; Замятин Е. «Мы»). С любовью в дневнике этих лет связывается музыка, мелодия («Ряд женщин, вышедших из музыкальной мелодии»), символистская категория (Вагнер, Ницше, Блок), оказавшаяся органичной для Пришвина до конца жизни.

Природа художественного творчества связана у Пришвина с музыкальным качеством мира: ритм, звук, тишина, молчание как среда, в которой таится звук; музыка постоянно присутствует в художественных произведениях и дневнике писателя («старый мир, как мелодия», «я когда-то пленен был Вашей мелодией»). Еще в молодости Пришвина увлекла идея о ритме как некой универсальной связи человека и его деятельности («ритмическая связь работы и музыки»); по Пришвину, творчество связано с постижением музыкальной природы мира. Устойчивой метафорой художника на протяжении всего творчества был у Пришвина соловей, или просто «птичик», поющий свою песенку, а рождение художника в себе самом он связывает с образом женщины и уподобляет рождению звука, то есть осознает музыкально («женщина протянула руку к арфе, тронула пальцем… родился звук. Так было и со мной: она тронула, и я запел»; «Не бойся, поэт… ты слушайся только данного тебе музыкального ритма и старайся в согласии с ним расположить свою жизнь»). А позднее и цель человеческой жизни осмысляется писателем музыкально («мы живем в природе и между людьми для согласия… возможно, мне скажут: "А для какого согласия?" Я отвечу: "Для музыкального преображения мира"»).

В 1924 г. после большого перерыва Пришвин обращается к фотографии (впервые он фотографирует во время первого путешествия на Север в 1905 г. и иллюстрирует фотографиями свою первую книгу «В краю непуганых птиц»). Как и охота, фотография становится для Пришвина той точкой, в которой создается его «творческое поведение» — жизнь соединяется с писательством: охотничьи наблюдения превращаются в рассказ, фотография создает художественный образ («если фотография сделана самим тобой и явилась в моем образе вопросом жизни, то

часто открывает драгоценные подробности»). Поскольку с этого времени фотография — феномен культуры XX в. — постоянно сопутствует художественному творчеству Пришвина, важно понять, что делает фотографию искусством, а фотографа — художником. Фотография, безусловно, демократизирует процесс творчества (механизация культуры), делая его доступным для многих, однако, связанная с писательством, она предъявляет к фотохудожнику строгие требования, исключающие как неограниченную экспансию фотографа, так и погоню за наращиванием количества интересных фактов самой жизни. Если рассматривать фотографию как выявление «драгоценных подробностей» жизни, то в ней воплощается определенная эстетическая задача, которая всегда была для Пришвина актуальной («микрогеография»). Творческое внимание к окружающему миру позволяет Пришвину увидеть и показать жизнь с ее необычной, часто скрытой от поверхностного взгляда стороны. Это не обнажение, а открытие, причем открытие до тех границ, за которым сохраняется необходимый художнику порядок — равновесие всего жизненного строя. За художественным и интеллектуальным содержанием фотографий стоит внутренний мир писателя, связывающий фотографию с художественным творчеством — фотография так же, как и охота, становится для Пришвина важнейшим способом исследования жизни.

Дневник 1924 г. — едва ли не единственный в корпусе дневника писателя, где обнаруживается запись об искусстве кино, свидетельствующая, что художник в России ощущает не только трудности, связанные с последствиями революции и ее идеологией, но и сложности самого культурного процесса, связанные со сменой типа культуры («художник борет скуку обыденности личной волей — в этом и есть чудо искусства и подвиг художника. Художник своей творческой властью преображает жизнь так, что в ней нет… как будто нет ни судьбы, ни экономической необходимости, ни долга, ни скуки. <…> Но вот кино, которое без всякого личного героизма, чисто машинным путем вынимает из жизни ноющий нерв времени, заставляет фотографии жизни чередоваться быстрей, чем в действительности, и слушателю передается чувство победы над скукой») В новом, мощно завоевывающем культурное пространство искусстве кино Пришвин видит, во-первых, эстетическое выражение идеи нового мира, связанной прежде всего с иными пространственно-временными характеристиками; во-вторых, наступление визуального образа на словесный, что принципиально меняет положение художника, а именно

развенчивает традиционную в русской культуре миссию писателя находиться «в борьбе с веком» и быть «трагической личностью» («как мерно жует бычок свою жвачку день и ночь — вык, вык! и так 365 дней вык, вык! и потом еще столько же, и тогда он делается бык, а хозяин за это время и сам вык-вык — привык, из этого вык сделался век, и так стал сам чело-век, т. е. голова, созданная терпеть всю скуку бычьего века. На борьбу с веком выступает художник, и так создается трагическая личность. <… > А кино выкинет серые дни… Кино посмеялось над художником»). Так обозначил Пришвин суть новой культурной ситуации, в которой — хочет он того или не хочет — должен определяться художник. Дневник Пришвина — это и попытка сложившегося в культуре начала века писателя адаптироваться в новой культурной ситуации, в современной послереволюционной действительности, сохраняя собственную личность и свое слово.

Однако рациональные рассуждения, какими бы верными они ни были, не могут питать художника — временами Пришвин на грани отчаяния («ну, довольно напряжения русскому народу, еще немного — и у нас будет хорошо… в февральские дни… светом и счастьем озарились все люди, и стали воистину братские дни. Но… Мне стало больно вспоминать, до того, что, верно, чтобы заглушить боль, завыл, и звук этот свой собственный, как волчий вой, наполнил всего меня ужасом, я вдруг очнулся и увидел себя на пустынной снежной дороге, на небе луна, я один, совершенно один»).

В любом случае художнику нужен культурный порядок, заданные культурным порядком рамки («Простым разрушением быта без творчества новой фабулы не может быть никакой революции»), и свое творчество в это время писатель представляет как моделирование пространства и времени, — а именно создание некой новой реальности «без времени и пространства», парадоксально объединяя в творчестве парадигмы разрушения и созидания («как художник я страшный разрушитель последних основ быта… я разрушаю пространство и говорю: "в некотором царстве", я разрушаю время и говорю: "при царе Горохе". Совершив такую ужасную операцию, я начинаю работать, как обыкновенный крестьянин-середняк, и учитывать хозяйственные ценности, как красный купец. Этим обыкновенным своим поведением я обманываю людей и увожу простаков в мир без климатов, без отечества, без времени и пространства»).

В мир «без времени и пространства» испокон веку вела человека церковь — теперь Пришвин признает это делом культуры («только в культуре оставались следы культа, и даже

соприкосновение с ней было благодетельно»); вновь в мировоззрении Пришвина обнаруживаются идеи богоискательства начала века: в отходе от церкви («мне поп для молитвы совершенно не нужен»; «те, кто ближе к Богу, всегда дальше от него»), в обращении к Библии, которую «никак не мог начать читать», а теперь «в три дня не прочитал, а выпил», в чувстве Бога живого, которое связано для него с глубоким переживанием природы («вечером до темноты я стою неподвижно лицом к заре, смотрю, слушаю и думаю. И Бог, которому люди молились столько тысячелетий, мне показывается в это время как сила, высшая человеческой»).

В то же время все более очевидным становится, что для сохранения собственной идентичности и своей связи с читателем Пришвину необходима архаическая материя русской жизни: церковь, привычно связанная с календарным ритмом жизни, наряду с русским языком, родным русским климатом и пейзажем образует для него не абстрактное чувство Отечества, а живое Отечество как необходимую среду обитания народа в целом и самого художника («Мне нужно, чтобы все приходило вовремя. После морозов сретенских и ужасных февральских метелей пришла бы Мартовская Авдотья-обсери проруби… и в Августе попы ходили за новью», «Мне нужен пейзаж… Мне нужен быт… для объяснения моего с массой, нет у них быта — нет у меня языка»), — творческим усилием писатель восстанавливает рамки жизни, необходимой для дальнейшего творчества, своим словом пытается постичь ее ускользающий в повседневности смысл.

Художнику с его творческой высоты виден целый мир. Ежедневно с непостижимым упорством летописца он описывает трагедию современной жизни, отражая ее реалии и в то же время превращая ее в предмет искусства — ужасаясь ей и обживая одновременно; он включает современность в широкий контекст культуры и, глядя сквозь призму целого, обнаруживает в происходящем не только страдания, но и смысл бытия, ведет читателя от безысходности к надежде. В этом и заключается пафос дневников писателя Михаила Пришвина.

Я. З. Гришина,
Н. Г. Полтавцева

Список сокращений

Ранний дневник — Пришвин М. М. Ранний дневник. СПб.: ООО «Издательство "Росток"», 2007.

Дневники. 1914–1917 — Пришвин М. М. Дневники. 1914–1917. СПб.: ООО «Издательство "Росток"», 2007.

Дневники. 1918–1919 — Пришвин М. М. Дневники. 1918–1919. СПб.: ООО «Издательство "Росток"», 2008.

Дневники. 1920–1922 — Пришвин М. М. Дневники. 1920–1922. М.: Московский рабочий, 1995.

Дневники. 1930–1931 — Пришвин М. М. Дневники. 1930–1931. СПб.: ООО «Издательство "Росток"», 2006.

Дневники. 1932–1935 — Пришвин М. М. СПб.: ООО «Издательство "Росток"», 2009.

Собр. соч. 1982–1986 — Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. М.: Художественная литература, 1982–1986.

Собр. соч. 2006 — Пришвин М. М. Собр. соч.: В 3 т. М.: Терра-Книжный клуб, 2006.

Дневниковая проза — Пришвин М. М. Дневниковая проза: В 3 т. М.: Терра-Книжный клуб, 2007.

Личное дело — Личное дело Михаила Михайловича Пришвина. Воспоминания современников. СПб.: ООО «Издательство "Росток"», 2005.

Цвет и крест — Пришвин М. М. Цвет и крест. СПб.: ООО «Издательство "Росток"», 2004.

Путь к Слову — Пришвина В. Путь к Слову. М.: Молодая гвардия, 1994.

Мф — Евангелие от Матфея.

Лк — Евангелие от Луки.

Ин — Евангелие от Иоанна.

Быт — Книга Бытия.

Исх — Книга Исхода.

Римм — К Римлянам. Послание святого апостола Павла.

Числ — Числа.

Екк — Екклесиаст.

РГАЛИ — Российский Государственный архив литературы и искусства.

Указатель имен

Абрамович, чекист
Аввакум Петрович (1620 или 1621–1682), протопоп, идеолог раскола
Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928), критик, публицист
Аким Владиславович, провизор
Аксельрод Любовь Исааковна (1868–1946), философ, литературовед, член ЦК партии меньшевиков
Александр II (1818–1881), имп. (с 1855)
Александр III (1845–1894), имп. (с 1881)
Александр Иванович
Александра — см. *Семашко А. А.*
Александра Сергеевна — см. *Лютова А. С.*
Алексей Михайлович — см. *Ремизов А. М.*
Алов
Алпатова Мария (Марья) Ивановна, купчиха
Альшвейг Георгий Эдуардович, сотрудник Госплана
Альбицкий, профессор
Амвросий (в миру Зертис-Каменский Андрей Степанович; 1708–1771), архиепископ Московский
Амвросий Оптинский (в миру Гренков Александр Михайлович; 1812–1891), иеросхимонах, старец, духовный писатель
Анна (Аннушка)
Андреев Леонид Николаевич (1871–1919), писатель, драматург
Анна Николаевна
Аристотель (384–322 до н. э.), древнегреческий философ
Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927), писатель
Асбестова Елизавета Михайловна, генеральша
Афанасьев (Сапожников)
Афанасьев М. А.

Барабанов Е. В.
Баранов Елизар Наумович, крестьянин
Барановский Ефим Иванович, крестьянин
Барятинский, князь
Бахрушин Сергей Владимирович (1882–1950), историк
Бахтин Михаил Михайлович (1895–1975), философ культуры, филолог
Бедный Демьян (Придворов Ефим Алексеевич; 1883–1945), поэт, писатель
Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич; 1880–1934), поэт, писатель

Бессонов, охотник

Бестужев-Рюмин М. П.

Благой Дмитрий Дмитриевич (1893–1984), литературовед

Блок Александр Александрович (1880–1921), поэт

Блохин Федор Анисимович

Бобринский Владимир Алексеевич, гр. (1867/1868–1927), владелец имения в Богородицке Тульской губернии — 432,536

Богдановы

Боговут Наташа

Богомазов, кооператор

Бокль Генри Томас (1821–1862), английский историк, социолог

Борис Алексеевич

Борис Иванович

Бруссон Ж.-Ж.

Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924), поэт, переводчик, критик

Будинов Африкан

Буйко Антон Иванович

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953), писатель, переводчик

Бутурлин Сергей Александрович (1872–1938), орнитолог, охотник

Бюхер Карл (1847–1930), немецкий экономист, статистик

Вагнер Вильгельм Рихард (1813–1883), немецкий композитор

Вагнер Николай Петрович (1829–1907), зоолог, писатель

Валуйский Илья

Вальден П. И., профессор

Варвара Николаевна

Варвара Петровна — см. *Измалкова В. П.*

Варя — см. *Измалкова В. П.*

Варламов А.

Василий Степанович, скорняк — 522

Васильев

Васильев Борис, доктор

Васильев Петр

Вашков Евгений Иванович

Вашкова Елена Николаевна

Ваменцов Сергей Иванович

Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867–1941), критик, историк литературы, переводчица

Верди Джузеппе (1813–1901), итальянский композитор

Вильгельм II (Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Гогенцоллерн; 1859–1941), германский император

Власов Иван Иванович

Волков

Волков А. Я.

Волков Иван Сергеевич

Волошин (Кириенко-Волошин) *Максимилиан Александрович* (1877–1932), поэт, художественный критик, художник

Воронский Александр Константинович (1884–1943), критик, писатель

Вострышев М.

Всесвятский Борис Васильевич (1887–1987), биолог, педагог

Галкин

Галотин

Галя

Гамсун (Педерсен) *Кнут* (1859–1952), норвежский писатель

Ганди Мохандас Карамганд (Махатма Ганди; 1869–1948), лидер индийского национально-освободительного движения

Георг V (1865–1936), английский король (с 1910)

Герцен Александр Иванович (1812–1870), публицист, прозаик, издатель

Герценштейн Михаил Яковлевич (1859–1906), политический деятель, экономист

Герценштейн Софья Яковлевна

Гершензон Михаил Осипович (1869–1925), историк литературы и общественной мысли

Гёте Иоганн Вольфганг фон (1749–1832), немецкий поэт, драматург, прозаик, мыслитель, естествоиспытатель

Геффдинг Гаральд (Харальд; 1843–1931), датский философ, психолог

Гиппиус Василий Васильевич (1890–1942), литературовед, драматург, переводчик

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945), поэтесса, критик, мемуарист

Глаголина

Гладковы

Гладстон Уильям Юарт (1809–1898), английский политический деятель

Гоголь (Гоголь-Яновский) *Николай Васильевич* (1809–1852), писатель, критик, религиозный мыслитель

Горбачев В. А.

Горностаев (Горский) *Алексей Константинович* (1888–1937), экономист, философ, евразиец

Горшков Михаил Николаевич, художник

Горький Максим (Пешков Алексей Максимович; 1868–1936),

писатель, критик, публицист, общественный деятель
Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960), художник, искусствовед
Грин (Гриневский) *Александр Степанович* (1880–1932), писатель
Гринев
Громов
Гроссман Леонид Петрович (1888–1965), писатель, литературовед — 113,519
Груздев Илья Александрович (1892–1960), прозаик, драматург, литературовед, критик
Губер Петр Константинович (1886–1940), прозаик, критик, литературовед, переводчик
Гурьянов
Гусельников

Даль Владимир Иванович (1801–1872), писатель, лексикограф, этнограф
Даниил, старец
Даниил Столпник (Стилит; 409–493), св.
Данилов Кирша (XVIII в.), предполагаемый составитель первого сборника русских былин, песен, стихов
Данилыч — см. *Ульрих В. Д.*
Дарвин Чарлз Роберт (1809–1882), английский естествоиспытатель
Девриен Альфред Федорович (1842-?), издатель
Девятов Иван Петрович
Дейч Лев Григорьевич (1855–1941), политический деятель, народник
Дени (Денисов) *Виктор Николаевич* (1893–1946), художник-график
Деникин Антон Иванович (1872–1947), военный деятель, писатель
Денис, крестьянин
Дехтерева Татьяна Николаевна
Дмитрий, бондарь
Дмиштрий, швейцар
Дмитрий Прилукский, св.
Добролюбов Александр Михайлович (1876–1945?), поэт, сектант
Долгих И. В.
Долин Бенцион Моисеев-Мошков, провокатор
Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), писатель, мемуарист

Дроудин
Думнов Иван Акимович
Думнова Надежда Павловна
Дуничка — см. *Игнатова Е. Н.*
Дымов (Перельман) *Осип Исидорович* (1878–1959), писатель

Евгения
Евгения Николаевна — см. *Карасева Е. Я.*
Евдокимов
Екатерина Васильевна
Елена
Елена Сергеевна — см. *Лютова Е. С.*
Елизар Наумович — см. *Баранов Е. Я.*
Елизаров Ефрем Васильевич (1881–1937), зав. сапожной мастерской
Елизаровы
Ершов, фотограф
Есенин Сергей Александрова (1895–1925), поэт
Ефимова Софья Васильевна
Ефрем
Ефрем Васильевич — см. *Елизаров Е. В.*
Ефросинья Павловна — см. *Пришвина Е. Я.*
Ечеистов, инструктор

Житкин
Жорж
Жюль

Замятин Евгений Иванович (1884–1937), писатель
Зацепин
Зертис-Каменский — см. *Амвросий*
Зинаида
Зиновьев (Радомысльский) *Григорий Евсеевич* (1883–1936), политический деятель
Зозуля Ефим Давидович (1891–1941), писатель, зам. редактора журнала «Огонек»
Золя Эмиль (1840–1902), французский писатель
Зоргенфреф Е. А.
Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958), писатель
Зубакин Борис Михайлович (1894–1938), поэт, скульптор

Ибсен Генрик (1828–1906), норвежский драматург
Иван
Иван Акимович — см. *Думнов И. А.*

Иван (Иоанн) Грозный (Иван IV Васильевич; 1530–1584), царь

Иван Иванович, рыбак

Иван Михайлович

Иван Сергеевич — см. *Кожухов И. С.*

Иванов

Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963), писатель

Иванов-Разумник (Иванов) *Разумник Васильевич* (1878–1946), историк мысли, публицист

Игнатов Иван Иванович

Игнатов Илья Николаевич (1858–1921), редактор журнала «Русские ведомости»

Игнатова Евдокия Николаевна (1854–1936), участница народнического движения

Игнатова Мария Васильевна (?-1908)

Игнатова Наталья Ильинична (1898–1956), редактор, переводчик

Игнатова (Коншина) *Татьяна Ильинична* (1892–1972), историк

Измалкова Варвара Петровна

Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920), историк, публицист

Ильич — см. *Ленин* (Ульянов) *В. И.*

Илья Евдокимович

Илья Николаевич — см. *Игнатов И. Я.*

Иорданская (Куприна-Иорданская) *Мария Карловна* (1879-?), редактор «Нового мира»

Казанский

Коль Алексей Федорович (1878-?), доктор философии, историк музыки

Каменев (Розенфельд) *Лев Борисович* (1883–1936), политический и государственный деятель

Каменский Анатолий Павлович (1876–1941), писатель, драматург

Караваев Николай Семенович, сапожник

Карасев В. С

Карасева Евгения Николаевна

Каратаевы

Кардовская (Делла-Вос-Кардовская) *Ольга Людвиговна* (1875–1952), художница

Кардовский Дмитрий Николаевич (1866–1943), художник

Карпов Пимен Иванович (1887–1963), писатель, поэт, публицист

Карташов

Катаев

Катаев Валентин Петрович (1897–1986), писатель

Катины

Катя — см. *Коротнева Е. А.*

Кагалов Гаврил Яковлевич

Кедров (Бабочкин)

Кириков Сергей Васильевич (1899–1984), зоолог, натуралист

Киселев И. Н.

Китаев

Клавдия

Клавдия Васильевна — см. *Кожухова К. В.*

Клычков (Лешенков) *Сергей Антонович* (1889–1937), писатель, поэт

Клычковы

Ключевский Василий Осипович (1841–1911), историк

Ковнер Аркадий Григорьевич (1842–1909), публицист

Кодрянская Наталья Владимировна (1901–1983), детская писательница, литературовед

Кожелин Федор, крестьянин

Кожухов Иван Сергеевич

Кожухова Клавдия Васильевна

Козочка — см. *Ефимова С. Б.*

Кокошкин Федор Федорович (1871–1918), юрист, публицист, государственный деятель

Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842), поэт

Комаров, краевед

Комаров

Комиссаровы, братья

Кондратьев, столяр

Коноплянцев Александр Михайлович

Коноплянцева (урожд. Покровская) ш(1883-?)

Корик Иван

Коротнев Николай Платонович

Коротнева Екатерина Александровна

Корсакова Надежда

Коршунов Дмитрий Павлович

Кошкин, лодочник

Кратинский Архип Геннадиевич

Крыленко (Крыленков) *Николай Васильевич* (1885–1938), государственный деятель

Кудашев

Кузмин Михаил Алексеевич (1875–1936), поэт, писатель, композитор, музыкальный критик

Кузнецов, кооператор

Кулигин, учитель
Куликов
Куприн Александр Иванович (1870–1938), писатель

Лебедев
Лебедев-Полянский Павел Иванович (1881/1882–1948), литературовед
Лева — см. *Пришвин Л. М.*
Левин
Легкобытов Павел Михайлович (1863–1937)
Лежнев (Альтшулер) *Исай Григорьевич* (1891–1955), публицист, литературовед
Лезихин Павел Михайлович, сторож
Ленин (Ульянов) *Владимир Ильич* (1870–1924), политический деятель
Леонард — см. *Коль А. Ф.*
Леонид, о., сапожник
Леонов Леонид Максимович (1899–1994), писатель
Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891), писатель, публицист, литературный критик
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт
Лесков Николай Семенович (1831–1895), писатель
Лидин Владимир Германович (1894–1979), прозаик
Лидия — см. *Пришвина Л. М.*
Липперт Юлиус (1839–1909), австрийский историк, этнограф
Лобанов, спекулянт
Логгин Яковлевич, башмачник
Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), ученый, поэт, языковед, художник, историк
Лопатина Маня
Лосский Николай Онуфриевич (1870–1965), философ
Лукин
Лукомский Георгий Крескентьевич (1884–1952), искусствовед, художник, краевед
Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933), политический деятель, публицист, драматург
Льюис Кларенс Ирвинг (1883–1964), американский философ
Любовь Соломоновна
Людмила
Лютова Александра Сергеевна
Лютова Елена Сергеевна, учительница в Алексинской школе

Майорников Петр Петрович, охотник
Максимилиан

Максимов, учитель, краевед

Мамонтов (Мамантов) *Константин Константинович* (1869–1920), генерал

Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938), поэт

Мария Григорьевна

Мария Ивановна — см. *Пришвина М. И.*

Мария Николаевна

Маркс Карл (1818–1883), мыслитель, общественный деятель, экономист

Мартынов

Маслов Семен Леонтьевич (1873–1938), левый эсер, публицист

Матвей Филиппович

Маша — см. *Игнатова М. В.*

Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930), поэт

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940), режиссер, актер, педагог

Мензбир Михаил Александрович (1855–1935), зоолог

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941), писатель, религиозный философ

Мериманов (правильно — Мириманов) *Гавриил Фомич* (1870-?), издатель

Метерлинк Морис (1862–1949), бельгийский драматург, поэт

Мещерский, кн.

Микитов — см. *Соколов-Микитов И. С.*

Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846–1888), путешественник, этнограф, антрополог

Милль Джон Стюарт (1806–1873), английский философ, экономист

Милюков Павел Николаевич (1859–1943), политический деятель, историк, публицист

Минеев Михаил Иванович, охотник

Минто Уильям (1845–1893), английский логик

Миронов Иван, протопоп

Митрофаний, о.

Михаил Иванович — см. *Смирнов М. И.*

Михаил Николаевич — см. *Горшков М. Н.*

Михаил Петрович

Михайловский Николай Константинович (1842–1904), социолог, публицист, критик

Моисеев Михаил Иванович, охотник

Молчанов, бандит

Морис Людвиг, писатель

Морозов

Мохова (Георгиевская) *Олимпиада*, игуменья

Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791), австрийский композитор

Мстиславская Софья Павловна

Муратова Евгения Владимировна, секретарь А. К. Воронского

Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922), политический деятель, юрист, публицист

Надежда Александровна

Надежда Павловна — см. *Думнова Н. П.*

Наполеон I Бонапарт (1769–1821), французский император

Наседкин Василий Фёдорович (1895–1938), политический деятель, поэт

Насимович Александр Фёдорович (1880–1947), писатель, историк литературы

Наташа — см. *Игнатова Н. И.*

Наум

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877/1878), поэт

Никита Столпник († 1186), прп.

Николай — см. *Пришвин Н. М.*

Николай Опоцкий (Макарий; 1872 — после 1937), еп.

Николай I (1796–1855), имп. (с 1825)

Николай II (1868–1918), имп. (1894–1917)

Николай Иванович

Николай Наумович

Николай Платонович — см. *Коротнев Я. Я.*

Никон (в миру Никита Минов; 1605–1681), патриарх Московский и всея Руси (1652–1667)

Ницше Фридрих (1844–1900), немецкий философ

Новиков

Обрезков Федор, охотник

Огнев Сергей Иванович (1886–1951), зоолог

Одноблюдов

Ольденбург Сергей Фёдорович (1863–1934), востоковед, политический деятель

Оралова Вера Григорьевна, кукольная артель

Орешин Петр Васильевич (1887–1938), поэт

Осип

Осипов

Острецов Андрей Иванович, адвокат

Павел, работник

Павел Николаевич — см. *Щекин-Кротов П. Н.*

Павел Савельевич, охотник

Павлов, библиотекарь
Павлов Иван, охотник
Павловна — см. *Пришвина Е. П.*
Пелагея Ивановна
Перелешин Владимир Александрович (1869–1950), секретарь Кропоткинского комитета
Петр, слесарь — 131,238
Петр I Великий (1672–1725), царь (с 1682), имп. (с 1721)
Петров Александр Александрович
Петя — см. *Пришвин Я. М.*
Пивоварщиков
Пильняк (Вогау) *Борис Андреевич* (1894–1948), писатель
Пичугин
Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918), политический деятель, философ
Подоксенов Александр Модестович, историк литературы
Покровский А. Я., доктор
Покровский Михаил Николаевич (1868–1932), политический деятель, историк
Покровский Сергей Викторович (1874–1945), писатель
Полина
Полоцкий Я., издатель
Поляк А. А.
Попов
Потапенко Федор Онуфриевич
Правдухин Валериан Павлович (1892–1939), писатель, краевед
Прасковья
Пржевальский Николай Михайлович (1839–1888), путешественник
Пришвин Александр Михайлович (1868–1911)
Пришвин (Алпатов) *Лев Михайлович* (1906–1957)
Пришвин Николай Михайлович (1869–1919)
Пришвин Петр Михайлович (1909–1986)
Пришвин Сергей Михайлович (1876–1917)
Пришвина (урожд. Лиорко, в первом браке Лебедева) *Валерия Дмитриевна* (1899–1979)
Пришвина (урожд. Бадыкина, в первом браке Смогалева) *Ефросинья Павловна* (1883–1953)
Пришвина Лидия Михайловна
Пришвина (урожд. Игнатова) *Мария Ивановна* (1842–1914)
Пуанкаре Раймон (1860–1934), французский политический деятель
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), поэт

Разумник — см. *Иванов-Разумник Р. В.*

Раскольников (Ильин) Федор Федорович (1892–1939), политический деятель, дипломат, литератор

Рафаэль Санти (1483–1520), итальянский живописец

Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957), писатель

Ремизова (Довгелло) *Серафима Павловна* (1875–1943), палеограф

Робеспьер Максимильен Франсуа Мари Изидор де (1758–1794), деятель Французской революции

Робинзон, мельник

Розанов Василий Васильевич (1856–1919), писатель, публицист, философ

Розанова (урожд. Руднева, в первом браке Бутягина) *Варвара Дмитриевна* (1864–1923)

Роллан Ромен (1866–1944), французский писатель, музыковед

Романов Иван Сергеевич, башмачник

Ростовцевы

Руднев В. П.

Руднев Александр Борисович, охотник

Рукавишников Иван Сергеевич (1877–1930), писатель

Руссо Жан-Жак (1712–1778), французский писатель, философ

Рыбников Александр Александрович (1878–1938), экономист, экономико-географ

Рыжков Николай Евдокимович, башмачник

Рыков Алексей Иванович (1881–1938), политический деятель

Рязановский Иван Иванович

Сабашников Михаил Васильевич (1871–1943), издатель

Сабесский (Собеский) *Ян* (1629–1696), польский полководец, король Речи Посполитой (с 1674)

Савелий Павлович — см. *Цыганов С. П.*

Савин Николай Иванович (1890–1942), этнограф, археолог, музейный деятель

Савинков Борис Викторович (1879–1925), политический деятель, публицист, писатель

Садиков, учитель

Сальери Антонио (1750–1825), итальянский композитор

Саша — см. *Пришвин А. М.*

Свирская Татьяна Алексеевна

Свирский Алексей Иванович (1865–1942), писатель

Седов Михаил Петрович

Семашко Александра Александровна

Семашко Николай Александрович (1874–1949), врач, нарком здравоохранения

Семашко Софья Александровна

Семен Демьянович

Семенов, инженер

Семенов Александр Афанасьевич

Семенов-Тян-Шанский Вениамин Петрович (1870–1940), географ

Серафима

Серафима Павловна — см. *Ремизова С. Я.*

Сергей — см. *Пришвин С. М.*

Сергей Сергеевич — см. *Четвериков С. С.*

Сережа, письмоводитель

Сережа — см. *Пришвин С. М.*

Сегенов Иван Михайлович (1829–1905), физиолог

Синебрюхов С. Я.

Синицын, сапожник

Синклер Эптон Билл (1878–1968), американский писатель, публицист

Скотников

Словцов Иван Яковлевич (1844–1907), преподаватель, краевед

Слепнев Сергей

Смирнов Алек. Афанасьевич, статистик

Смирнов Михаил Иванович (1868–1949), историк, краевед

Смирнов Николай Павлович (1898–1962), писатель, охотник

Соболев, башмачник

Соболев Юрий Васильевич (1887-?), литературовед, театровед

Соболева Александра Георгиевна

Соболь Андрей (Юлий Михайлович; 1888–1926), писатель

Соколов — см. *Соколов-Микитов И. С.*

Соколов Б. М.

Соколов Иван Михайлович

Соколов Ю. М.

Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892–1975), писатель

Соколова Вера

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900), философ, поэт, публицист

Соловьев Кирилл Алексеевич

Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879), историк

Сологуб (Тетерников) *Федор Кузьмич* (1863–1927), поэт, писатель

Соня — см. *Семашко С. А.*

Сосенков Иван Матвеевич

Сосновский Лев Семенович (1886–1937), журналист, сотрудник газеты «Правда»

Софья Александровна

Софья Яковлевна — см. *Герценштейн С. Я.*

Спенсер Герберт (1820–1903), английский философ, социолог

Сталин (Джугашвили) *Иосиф Виссарионович* (1878–1953), политический деятель

Станишевский Вячеслав Павлович, учитель

Стахович А. А.

Стаховичи

Стебут Иван Александрович (1833–1923), агроном

Стеклицкий

Стеклов (Нахамкис) *Юрий Михайлович* (1873–1941), политический и государственный деятель

Столяров, башмачник

Суслов Леонид Львович

Сухотин Л. М., историк

Тальников (Шпитальников) *Давид Лазаревич* (1882–1961), критик, историк, музыковед

Тамерлан (Тимур; 1336–1405), полководец, эмир (с 1370)

Таня — см. *Игнатова Т. И.*

Тарле Евгений Викторович (1875–1955), историк

Татьяна Алексеевна — см. *Свирская Т. А.*

Татьяна Владимировна

Татьяна Николаевна — см. *Дехтерева Т. Я.*

Тимофеев Иван

Тихон (в миру Белавин Василий Иванович; 1865–1925), патриарх Московский и всея Руси (с 1917)

Толстой Алексей Николаевич (1882/1883–1945), писатель

Толстой Лев Николаевич (1828–1910), писатель

Томилин

Томилина

Троцкий (Бронштейн) *Лев Давидович* (1879–1940), политический и государственный деятель

Трусевич Максимилиан Иванович (1863-?), директор департамента полиции

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), писатель

Тургенева Ася (Анна Алексеевна; 1890–1966), художница

Тюрин Г. В.

Тютюшкин Николай Николаевич

Тютюшкин Филя

Ульрих Василий Данилович, революционер

Ульянцев Я. М.

Успенский Глеб Иванович (1843–1902), писатель

Устинов Г. Ф.

Устрялов Николай Васильевич (1890–1938), политический деятель, публицист

Уэллс Герберт Джордж (1866–1946), английский писатель

Федор — см. *Обрезков Федор*

Федор Андреевич

Федоров Василий

Федоров Николай Федорович (1828–1903), религиозный мыслитель

Федорченко Софья Захаровна (1880–1959), писательница

Федотов Георгий Петрович (1886–1951), религиозный мыслитель, историк, публицист

Феноменов М. Я.

Фет (Шеншин) *Афанасий Афанасьевич* (1820–1892), поэт

Фигнер Вера Николаевна (1852–1942), революционерка, писательница

Филипп Яковлевич

Филипьев Виктор Иванович (1857–1906), энтомолог, редактор «Полной энциклопедии русского сельского хозяйства»

Фиона

Фирсов Алексей Андреевич

Форд Генри (1863–1947), американский промышленник

Формозов Александр Николаевич (1899–1973), эколог, зоолог, зоогеограф

Фортунатов Алексей Федорович (1856–1925), экономист, статистик, агроном

Форш (урожд. Комарова) *Ольга Дмитриевна* (1873–1961), писательница

Франс Анатоль (Тибо Анатоль Франсуа; 1844–1924), французский писатель

Фрейд Зигмунд (1856–1939), австрийский психиатр, психолог

Френкель (*Илья*?)

Фурман

Халтурин

Хвостов

Холодковский Николай Александрович (1858–1921), зоолог, поэт-переводчик

Цветаева Марина Ивановна (1892–1941), поэтесса

Цейтлин М. М.

Цыганов Савелий Павлович, башмачник

Чартинский

Челюскин Максим Максимович

Чернов

Чернов Виктор Михайлович (1873–1852), политический деятель

Чернов Владимир Михайлович

Четвериков Сергей Сергеевич (1880–1959), биолог, энтомолог

Чехов Антон Павлович (1860–1904), писатель

Чичерев Василий Алексеевы, зав. кооперативом

Чумаков А. А., кинолог

Шабрин, крестьянин

Шалыгин, арендатор

Шаляпин Федор Иванович (1873–1938), певец

Шаманаев Николай Васильевич, рыбак

Шингарев Андрей Иванович (1869–1918), политический деятель, врач, публицист

Ширяевец (Абрамов) *Александр Васильевич* (1887–1924), поэт

Шишков Вячеслав Яковлевич (1873–1945), писатель

Шкапская (Андреевская) *Мария Михайловна* (1891–1952), поэтесса

Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950), писатель

Шокин Леонид, фотограф

Шпитальников, доктор

Штейнер Рудольф (1861–1925), австо-немецкий философ, мистик

Шулюшкин Семен

Щекин-Кротов Павел Николаевич

Щетинин Павел Иванович

Щукин Василий Андреевич, механик

Эйнштейн Альберт (1879–1955), физик-теоретик

Энгельгардт Александр Николаевич (1832–1893), агроном, публицист

Эрио (правильно: Эррио) *Эдуар* (1872–1957), премьер-министр Франции (с 1924)

Эткинд Александр Маркович (род. 1955), культуролог, эссеист

notes

Примечания

1

Furor Kucharicum — кухаркино безумие *(лат.)*.

2

Adelsbrief — грамота благородства *(нем.)*.

3

altera — альтернатива *(лат.)*.

4

Аркам — степь.

pro domo sua — для дома своего *(лат.)*.

Homo faber — человек умелый *(лат.)*.

Homo sapiens — человек разумный *(лат.)*.

va banque! — идет банк: на карту ставится все *(фр.)*.

ходя *(устар. прост.)* — прозвище китайца, китайцев.

10

Circulus vitiosus — порочный круг *(лат.)*.

ins Grüne — на природу *(нем.)*.

à trois — втроем *(фр.)*.

als Realismus — как действительность *(нем.)*.

14

Stultus — глупец *(лат.)*.

15

Vita — жизнь *(лат.)*.

16

Rue d'Assos! — Улица Дассо! *(фр.)*

cherchez la femme — ищите женщину *(фр.)*.

18

См.: Федотов Г. П. Русский человек // Киносценарии: Сборник. 1989. № 4. С. 168–181.

Эткинд А. Содом и Психея: Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М.: ИЦ-Гарант, 1996. С. 270.

20

Собр. соч. 1982–1986. Т. 2. С. 626.

21

См.: Собр. соч. 1982–1986. Т. 8. С. 26–30.

comments

Комментарии (составитель Я. З. Гришина)

1

На масленой ехал к себе в Талдом… — С октября 1922 г. по апрель 1925 г. Пришвин живет в разных деревнях Талдомского района Московской области (Дубровка, Ивановка, Костино).

2

Вчера, в день годовщины февраля… — имеется в виду происходившая с 8 по 17 марта (н. ст.) Февральская революция 1917 г.

3

Читал «Голубые бобры» в Союзе Писателей. — Имеется в виду первое звено автобиографического романа «Кащеева цепь» (1927). Начиная с этого времени по дневнику можно проследить, как Пришвин, обратившийся к работе над автобиографическим романом, строит свою биографию: в 1923–1925 гг. писатель переосмысляет свою жизнь, начиная с детства, а также роль людей, окружающих его: мать Мария Ивановна, кузины Дунечка и Маша, братья, дворовые крестьяне, с которыми он дружил мальчиком, первая любовь Варя Измалкова…. Пожалуй, можно сказать, что свою жизнь он осмысляет как «путь в поэзию», и все события, начиная с детства, рассматриваются им сквозь призму его главного и единственного дела — писательства; повествование строится не по хронологическому принципу, хотя все начинается с детства и пр. — но из собственной жизни писатель выбирает только те события (незначительные — «тайна сушеной груши» или, напротив, поворотные — исключение из гимназии), которые имели отношение к росту его личности. Слова М. М. Бахтина в статье «Искусство и ответственность» (1919): «Искусство и жизнь не одно, но должны стать во мне единым» (цит. по кн.: Руднев В. П. Словарь культуры XX века. М.: Аграф, 1997. С. 42) можно отнести к Пришвину и его автобиографическому роману «Кащеева цепь».

4

Дама, работница «Просвещения»… — имеется в виду крупнейшее издательство учебно-методической литературы, основанное в 1930 г.

5

…кадеты, октябристы… стала чем-то вроде советской кадетки… — Конституционно-демократическая партия (кадеты) в 1917 г. представляла левое крыло либерального движения, Союз 17 октября (октябристы) — его умеренное крыло: в данном случае речь идет о взаимоотношениях кадетов и власти. Ср.: «*16 Марта.* Кадетская политика по отношению к царской власти была Иудиным целованием».

6

…говорят, Ремизов через нее мне что-то хочет передать… — С Алексеем Михайловичем Ремизовым Пришвин познакомился в 1907 г. в Петербурге, подружился и стал членом «Обезьяньей великой вольной палаты» — кружка литераторов, группировавшихся вокруг Ремизова (Вяч. Шишков, А. Толстой, Е. Замятин, Б. Пильняк, Л. Леонов и др.). В шутливой форме игры в «Обезьянью палату» выражался глубокий интерес к духовному наследию древней Руси, к национальной мифологии и памятникам народной культуры. Ср.: Ранний дневник. С 175–316.

В воспоминаниях, написанных уже в эмиграции, Ремизов отмечает: «Пришвин, во все невзгоды и беды не покидавший Россию, первый писатель в России. И как это странно сейчас звучит этот голос из России, напоминая человеку с его горем и остервенением, что есть Божий мир, с цветами и звездами <…> что есть еще в мире и простота, детскость и доверчивость — жив "человек"» (Ремизов А. М., М. М. Пришвин // Личное дело. С. 68).

7

…если это будет упрек за сотрудничество с А. Толстым в «Накануне»… — Имеется в виду литературное приложение (ред. А. Н. Толстой, сотр. Н. В. Устрялов, З. А. Венгерова, И. С. Соколов-Микитов) к одноименной ежедневной газете, издававшееся в Берлине в 1922–1924 гг. с выраженной просоветской ориентацией, что в некоторых кругах русской эмиграции вызвало резко отрицательную реакцию (к примеру, Парижский союз русских литераторов и журналистов с П. Н. Милюковым во главе). В журнале печатались А. Грин, В. Катаев, М. Зощенко, О. Мандельштам, Вс. Иванов и др.) В 1923 г. в «Накануне» был опубликован рассказ Пришвина «Сопка Маира» (1923), написанный в форме письма к А. М. Ремизову (см.: Пришвин М. М. Творить будущий мир. М.: Молодая гвардия, 1989. С. 31–36; см. также: Письма Пришвина к Ремизову // Русская литература. 1995. № 3), а также ряд очерков из цикла «От земли и городов» (1922).

8

…раз поцеловать Пильняка… — Полемика с Пильняком интенсивно развивается на страницах дневника в течение 1922 г., после того как Пильняком был написан и опубликован роман «Голый год» (1921), а Пришвиным написана повесть «Мирская чаша. 19-й год XX века» (1922), опубликовать которую не удалось (впервые опубл. в 1978 г. с купюрами, полностью — в 1991 г.). Суть полемики выражена Пришвиным в письме Пильняку (1922) предельно ясно и касается отношения к революции и образу большевика — пожалуй, можно сказать, что суть эта совпадает с линией творческого поведения Пришвина, которая уже в эти годы определяет и, в каком-то смысле, до самого конца будет определять его отношение к революции: «Итак, объективно мой и Ваш Персюки стоят друг друга, но субъективно скрытое авторское отношение разное. Это субъективное отношение выходит из соотношения Персюка с другими стихиями: у Вас всей мерзости противопоставляется Персюк, у меня он едва отличим от мерзости и противопоставляется идеальной личности, пытающейся идти по пути Христа и распятого с лишением имени на похоронах "товарища покойника". Правда, я не посмел довести своего героя до Христа, но частицу его вложил и представил 19-й год XX века мрачной картиной распятия Христа. Получился, как Вы говорите, тупик для России. И я это признаю, потому что не весь свет в России. Скажу больше, не только Россия у меня в тупике, но и весь христианский мир у меня, выходит, в тупике ("Голодные не могут быть христианами")» (ср.: Дневники. 1920–1922. С. 265–267).

9

Писатели «Круга»… — Речь идет об издательстве артели писателей «Круг», основанном в 1922 г. (председатель правления А. К. Воронский) с целью издания произведений советских писателей разных направлений, а также произведений зарубежных писателей. В 1923–1927 гг. выходил одноименный альманах. В 1929 г. «Круг» вливается в издательство «Федерация»; о чьих похоронах идет речь, выяснить не удалось.

10

Вот хотя бы Марфинька… — Одно из предполагаемых имен героини романа «Кащеева цепь» (впоследствии Дунечка), прототипом который была двоюродная сестра Пришвина Е. Н. Игнатова (в дневнике часто Дуничка — орфография автографа).

11

Алпатов… Голубые бобры… Маленький Каин… — Имя лирического героя романа «Кащеева цепь» и названия первого и второго звеньев будущего романа.

12

Перелом: любовь — круг, вместо идеи — движения вперед… — Ср.: «Колебания между стремлением к свободе и тяготением к мифологическим формам сознания, которые писатель наблюдает в самых разных социальных слоях общества, свидетельствуют о конфликте, зреющем внутри коллективной русской души. Пришвин не умозрительно постигает его смысл, а лично переживает ("как рядовой"). Глубинные мифологические мотивы коллективного сознания становятся действующими символами художественного мира писателя, круг и прямая — двумя полюсами, вокруг которых строятся две модели его художественного мира. С одной стороны, круг, символизирующий мир, ориентированный на примитивные формы жизни, мифологические основы народной души — жизнь природы органически входит в художественный язык писателя, актуализируется как культурный символ. С другой стороны, прямая, указывающая в ту сторону жизни, где мир предстает как движение, становление, выход из "круга", разрушение мифологической цельности, как путь истории и свободы. Обе модели мира значимы для художника: он остро чувствует свою принадлежность к обоим мирам и переживает это как конфликт, связанный с его судьбой художника, неизбежный и трудноразрешимый»; «Так легко вращается прекрасный зеленый мир, а я не верчусь вместе с ним, а иду тяжелой дорогой… прямой, прямой», — записывает Пришвин в своем раннем дневнике, уже осознавая себя художником (Ранний дневник. С. 697).

13

Судьба каждого вернуться в свой дом… встреча с миром отца. — Аллюзия на евангельскую притчу о блудном сыне, не однажды возникающую в дневнике Пришвина, начиная с революционных лет.

В дневнике 1930–1931 гг. притча о блудном сыне переосмысливается: если, начиная с революционных лет, все происходящее в России так или иначе соотносится писателем с евангельской парадигмой, вмещающей возвращение блудного сына, покаяние, прощение и пир — продолжение жизни («станем есть и веселиться»: Лк 15: 23), то в дневнике 1930–1931 гг. писатель обнаруживает, что уничтожается исток и самый смысл жизни, время обращается вспять, «проходит само по себе», «к нему жизнь не пристает» («ясней и ясней становится, что тема времени есть "сын на отца"»; «теперь… сын распинает отца») — сын, распинающий отца, обрекает себя на тупик, ему некуда возвращаться. И никуда не денешься от упрямой «фрейдистской» и пр. логики: вытеснение Отца — искажение божественной воли — ведет к появлению «отца народов» со всеми вытекающими отсюда последствиями… Интуиция писателя может иногда подвести его в оценке реальных событий, но никогда не подводит в понимании их причин и истинного содержания («Мы жили долго сознанием, что Отец послал Сына для спасения нас на смерть и что ужас Распятия есть "воля Господня". Но вот теперь, если сын распинает отца (в этом есть ens realissmus (суть. — Ред.) времени, то чья же тут воля?»). Кроме того, — может быть, это и есть самое главное, — природа «заблуждения», по Пришвину, иная: это не личный выбор пути, а обман, соблазн «малых сих» («Колокола, все равно как и мощи и все другие образы религиозной мысли, уничтожаются гневом обманутых детей. Такое великое недоразумение…»). Ср.: Дневники. 1930–1931. С. 617–618.

14

…воскрешение отцов… — Имеется в виду идея русского религиозной мыслителя Н. Ф. Федорова, выраженная в его статьях, посмертно опубликованных в книге под названием «Философия общего дела» (1906; 1913).

15

Так его и прозвали в семье у Алпатовых «Самый высший». — Прототипом Ивана Ивановича является дядя Пришвина Иван Иванович Игнатов, который после исключения племянника из гимназии забрал его в Тюмень, где тот смог окончить реальное училище.

16

…на его пароходе путешествовал наследник… — Имеется в виду заморское путешествие (1890–1891), предпринятое по инициативе императора Александра III на корабле Военно-морского флота России тогда еще наследником престола Николаем, который совместно с будущим английским королем Георгом и большой свитой побывал на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Японии, а затем прибыл во Владивосток; далее путешествие продолжалось по сибирским городам.

17

Как я убил архара. — С 13 августа по 4 октября 1909 г. Пришвин совершает путешествие в Киргизию (нынешний Кыргызстан) Ср.: очерки «Адам и Ева», «Первые земледельцы», «У Чертова озера (Степной эскиз)» (Собр. соч. 1982–1986. Т. 1. С. 698–732), «Архары» (Охотничий вестник Северного Кавказа. 1926. № 4), а также повесть «Черный Араб» (Собр. соч. 2006. Т. 2. С. 511–548).

18

…я взял в «Русских Ведомостях» аванс… — Очерки о переселенцах под общим названием «Новые места» входят в книгу «Заворошка» (1913). См.: Собр. соч. 1982–1986. Т. 1. С. 698–731, также коммент.: Кн. 1.С. 151.

19

Со мной был том географии Семенова о Сибири… — Имеется в виду кн.: Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей: В 22 т. / Под ред. В. П. Семенова. Т. 18. СПб.: Изд-во А. Ф. Девриена, 1903.

20

Вчера заключен договор с «Кругом» на издание «Охота и лов». — Сборник «Охота и лов. Рассказы из жизни на Севере» (М.; Пг.: Круг, 1923).

21

Познакомился с молодым критиком из серапионовцев… — Имеется в виду объединение прозаиков, критиков и поэтов «Серапионовы братья» (Пг., 1921), идейным руководителем которых был Е. Замятин и которые, в частности, провозглашали принцип аполитичности.

22

Милый друг, Вы спрашиваете, почему «От земли и городов» написано мною в таком грустном тоне. — Имеется в виду А. М. Ремизов. См. комм, к с. 7 (…если это будет упрек за сотрудничество с А. Толстым в «Накануне»…)

23

…после испытаний голода и чуждого мне рода труда… — Имеется в виду трудный период жизни Пришвина в 1920–1922 гг., когда не только его бытовая жизнь была исключительно трудна, но и писательская — в частности, не удалось опубликовать написанную повесть о революции «Мирская чаша» (1922). Об истории создания и борьбы за повесть см.: Собр. соч. 2006. Т. 1. С. 683–684. В эти годы Пришвин работает школьным учителем (шкрабом), а также занимается организацией Музея усадебного быта в бывшей усадьбе купцов Барышниковых. Ср.: Дневники. 1920–1922.

24

Вдруг я получаю огромный паек из Кубу… — Комитет улучшения быта ученых.

25

…сидели два федоровца, два соловьевца… — Имеются в виду последователи философии Н. Ф. Федорова и Владимира Соловьева.

26

…библиофил и замечательно усердный человек Синебрюхов из «Колоса» прислал мне связку моих сочинений. — «Колос» — кооперативное издательство, которое существовало в Москве и Петрограде в 1918–1926 гг. За время существования выпустило серии: «Библиотека исторических романов», «Библиотека художественной литературы», «Биографическая библиотека».

27

…*«чти отца и мать»*… — Мф 19:19.

28

…угадыванием сокровищ смирения… — Аллюзия на трактат М. Метерлинка «Сокровище смиренных» (1896).

29

В сущности, это Фомкин брат, только вконец развращенный и трусливый. — Персонаж повести Пришвина «Мирская чаша» (1922).

30

Обещался прочитать лекцию по краеведению. — В 1923–1925 гг. Пришвин активно участвует в краеведческой работе. Талдомский башмачник И. Романов в своих воспоминаниях пишет: «Михаил Михайлович расшевелил, всколыхнул общественность нашего кустарного городка. Под его влиянием создалось и начало энергично работать общество краеведения, по его инициативе начался сбор материала для Краеведческого журнала "Башмачная сторона"» (Романов И. Незабываемое прошлое // Личное дело. С. 87–91).

Надо сказать, что начало 20-х гг. — это время небывалого расцвета краеведения, чему парадоксальным образом способствовала культурная ситуация в России: разорение многочисленных усадеб, церквей, монастырей, которые до этого были и памятниками культуры, и местом собирания и хранения произведений искусства и литературы, привело к осознанию необходимости изучения и сохранения всего, что находилось под угрозой уничтожения. Частично эта работа координировалась из центра, в нее были вовлечены такие крупные ученые, как Е. В. Тарле, И. Э. Грабарь, В. П. Семенов-Тян-Шанский, С. В. Бахрушин и мн. др. Появились различные направления краеведения: городское, «усадебное», историко-революционное и др. Большинство краеведческих организаций находилось в провинции и занималось изучением своего края. В изданиях провинциальных краеведческих организаций печатались исторические и экономические материалы, поднимались проблемы природопользования, использования полезных ископаемых, изучалась культурная история.

Развитие краеведческих организаций активно поддерживали почти все крупные научные учреждения страны: университеты, институты, Академия наук; суть отношения академической науки к краеведению в эти годы выразил секретарь АН С. Ф. Ольденбург: «Без краеведения мы бессильны». В 1921 г. была проведена Первая Всероссийская конференция краеведов, начало работать Центральное бюро краеведения во главе с Ольденбургом, издавались журналы «Краеведение» (1923–1929), «Известия Центрального бюро краеведения» (1925–1929), большое количество журналов и альманахов на местах. Это было широкое массовое движение, охватившее тысячи людей по всей стране, объединенных любовью к своему краю, к своей родине и желанием служить ей.

В первые годы после революции большевики высказывались о

необходимости сохранения исторического наследия, развития краеведения, однако уже тогда многие из коммунистов относились к краеведению крайне враждебно; так, партийный историк М. Покровский писал в 1919 г.: «Охрана памятников искусства и старины стала чем-то вроде официальной мании в РСФСР». В конце 20-х гг. власти перешли к радикальным мерам: в 1929 г. по всей стране прокатилась волна разгрома краеведческих организаций, были сфабрикованы десятки дел, по которым большинство краеведов были арестованы и приговорены к разным годам заключения, многие были расстреляны.

Краеведческие организации еще некоторое время продолжали существовать, но уже в начале 30-х гг. почти полностью исчезли; своеобразным феноменом является создание сильных краеведческих обществ в лагерях ГУЛАГа, например Соловецкого общества краеведения, создавшего замечательный музей и даже издававшего журнал. *(Указано Г. Тюриным.)*

31

…и неверно, как говорят, «фактически». — Все записи биографического характера в эти годы относятся к работе над автобиографическим романом «Кащеева цепь». Ср.: «Вот пень огромного дерева, выросшего от семени, занесенного когда-то птицей в эту усадьбу. Дерево перебыло здесь прекрасную жизнь и раскрыло все возможности, заложенные в семя. Но правда ли, что, сосчитав все годовые круги огромного пня, я узнал что-нибудь о тайнах прекрасного дерева? Так едва ли стал бы кто-нибудь читать рассказ о моей совсем обыкновенной измеренной и сосчитанной жизни, если бы… я… не задумал сделать эту сказку — и очень близкую к моей собственной жизни, и очень далекую» (Собр. соч. 2006. Т. 1. С. 25).

32

Отречение Тихона. — Имеется в виду заявление патриарха Тихона, арестованного в мае 1922 г. по обвинению в противодействии выполнению декрета ВЦИК от 23 февраля 1922 г. об изъятии церковных ценностей на нужды голодающих. В заявлении говорилось:

«Обращаясь с настоящим заявлением в Верховный суд РСФСР, я считаю по долгу своей пастырской совести заявить следующее.

Будучи воспитан в монархическом обществе и находясь до самого ареста под влиянием антисоветских лиц, я действительно был настроен к Советской власти враждебно, причем враждебность из пассивного состояния временами переходила к активным действиям, как-то: обращение по поводу Брестского мира 1918 года, анафематствование в том же году власти и, наконец, воззвание против декрета об изъятии церковных ценностей в 1922 году. <…> Признавая правильность решения суда о привлечении меня к ответственности по указанным в обвинительном заключении статьям Уголовного Кодекса за антисоветскую деятельность, я раскаиваюсь в этих проступках против государственного строя и прошу Верховный Суд изменить мне меру пресечения, т. е. освободить меня из-под стражи.

При этом я заявляю Верховному Суду, что я отныне Советской власти не враг. Я окончательно и решительно отмежевываюсь как от зарубежной, так и внутренней монархическо-белогвардейской контрреволюции. Патриарх Тихон (Василий Белавин)» (*Вострышев Мих.* Божий избранник. Крестный путь Святителя Тихона Патриарха Московского и всея России. М.: Современник, 1991. С. 126).

33

…(так возникло сменовеховство)… — Имеется в виду общественно-политическое течение русской интеллигенции, в основном эмигрантской, выражавшее идею «перерождения» советской власти в связи с введением нэпа; получило название от журнала «Смена вех», выходившего в Париже в 1921–1922 г., и сборника, вышедшего под таким же названием в Праге в 1921 г.… (так возникло сменовеховство)… — Имеется в виду общественно-политическое течение русской интеллигенции, в основном эмигрантской, выражавшее идею «перерождения» советской власти в связи с введением нэпа; получило название от журнала «Смена вех», выходившего в Париже в 1921–1922 г., и сборника, вышедшего под таким же названием в Праге в 1921 г.

34

…(беловодчики, копающие гору…) — Речь идет о горных районах Бухтаминского Алтая, где сектанты и старообрядцы искали таинственную идеальную страну Беломорье, в которой, по их вере, сохранилось и древнее благочестие, и «реки медовые в кисельных берегах».

35

(…Гусек, вытесняющий Исака). — Персонажи автобиографического романа «Кащеева цепь» и повести «Черный араб».

36

Выписали «Русское богатство»… — Ежемесячный литературный и научный журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге с 1876 по 1918 г.

37

Я есть истина. — Ин 14: 6.

38

«Да минует меня чаша сия». — Мф 26: 36–44; Лк 22: 39–46.

39

…я пьян от вина, претворенного в Кане Галилейской. — Ин 2: 1–11.

40

Вчера прекратил охоту. — В эти годы Пришвин много охотится. В дневниковую тетрадь 1923 г. вложен листок со следующей записью: «Охотники сохранили чувство природы, множеством людей совершенно утраченное, выродившееся в дачный сентиментализм. Нехорошо, имея такое богатство — чувство природы, — ограничиваться удовлетворением его только охотничьим спортом. Есть три направления, в которых может развиваться страсть к охоте: самое простое — это артисту-охотнику [оказывать] помощь промышленнику, второе — уже мною испытанное — охотник должен заводить связь с ученым-естественником, краеведом и делаться их лучшим помощником (Пржевальский), третье — охотник всегда знаток пейзажа и ландшафта края, что дает ему возможность, изучив материал писателя или художника, идти по пути искусства».

41

…горестные заметки сердца его ближе, чем ума рассудочные размышления… — Аллюзия на роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: «Ума холодных наблюдений / И сердца горестных замет».

42

И Москва слезам не верит. — Выражение, возникшее, по одной из версий, после освобождения от татарского ига, когда пала вольность Новгорода и укрепилась власть Москвы, которая взимала с городов дань; по этому поводу в Новгороде возникали поговорки: «Москва бьет с носка» и «Москва слезам не потакает (не верит)».

Ландрин. — Леденцы, монпасье.

44

…навестить одну свою родственницу, Марфиньку… — Имеется в виду двоюродная сестра Пришвина Евдокия Николаевна Игнатова, отношения с которой уходят в детство: Е. Н. в юности — член народовольческой организации «Черный передел», затем учительница в деревенской школе, организованной на собственные средства, — через Дунечку в раннем детстве Пришвин воспринял идеи народничества, а сама ее жизнь стала для него символом кризиса народнических идей: «Дуничка (орф. автографа. — Я. Г.) была застенчивая, она всегда жила и пряталась за стеной. Дуничка в морали <…> пряталась, как бы виноватая тем, что не жила для себя и боялась жизни» (Путь к Слову. С. 35). В летописи своей жизни (1918) Пришвин отмечает: «Двоюродная сестра Дуничка учит любить человека (Некрасовым)». В 1929 г. в дарственной надписи на книге «Кащеева цель», подаренной Е. Н. Игнатовой, Пришвин написал: «…в первые дни моего сознания моя великая учительница Дуничка внушила мне долг и любовь к природе и людям». Ср.: Путь к Слову. С. 8.

45

…как Тамерлан, потом прошел Мамонтов. — В 1395 г. сражение, которое Елец дал наступающему войску Тамерлана, заставило его отступить и отказаться от дальнейшего завоевания Руси; в августе-сентябре 1919 г., в годы Гражданской войны, генерал Мамонтов захватил Елец, но удержать город не сумел.

46

…известное стихотворение Гёте из «Фауста»… — Видимо, имеются в виду строки из заключительного монолога Фауста (ч. II):

До гор болото, воздух заражая,
Стоит, весь труд испортить угрожая,
Прочь отвести гнилой воды застой —
Вот высший и последний подвиг мой!..

(Пер. Н. А. Холодковского)

47

…я заметил… строку из стихотворения Блока, которой прославляется мощь болот. — Очевидно, имеются в виду строки из стихотворения Блока: «Полюби эту вечность болот: никогда не иссякнет их мощь…» (цикл «Пузыри земли», 1905).

48

Когда были убиты Шингарев и Кокошкин… — А. И. Шингарев и Ф. Ф. Кокошкин, члены партии кадетов, были убиты большевиками 20 января 1918 г.

49

…заседания Религиозно-философского общества… — Имеется в виду Петербургское Религиозно-философское общество, членом которого Пришвин стал в 1908 г.

50

Страница налево будет оставлена для анализа по Фрейду. — Запись свидетельствует, о том, что Пришвину не чужд был интерес к широко распространенному в это время в России психоанализу. Об это свидетельствует также и круг тем, которые поднимает писатель в дневнике: любовь как борьба пола и эроса, соотношение сознательного и бессознательного в личности человека, природа и культура, психология творчества и др. Ср.: Эткинд А. Эрос невозможного. История психоанализа в России. СПб.: Медуза. 1993. С. 213–268.

51

…совсем лысый, даже без пучка наверху, и редька его была вниз. — Ср.: «Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича — на редьку хвостом вверх» (Гоголь Н. В. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем (входит в книгу «Миргород», 1832–1834)).

52

…прочитал, что Вы пишете («Крюк» и др.)… — Имеется в виду статья А. М. Ремизова «Крюк. Память петербургская» (1922) о новой советской литературе.

53

Показался в Москве «рабоче-крестьянский граф»… — В 1923 г. Алексей Толстой, которому, по широко распространенному мнению, крайне подходило данное прозвище, вернулся из-за границы в Россию.

54

Роман Синклера «Джимми Хиггинс»… — имеется в виду роман Элтона Синклера «Джимми Хиггинс» (1919), герой которого — американский рабочий, встающий на защиту Октябрьской революции.

55

…капли Датского короля… — Под таким названием бытует лекарство (грудной сбор), которое пришло в Россию из Европы в конце XIX в.

56

…соки земли, рождающие новое, невидимое. — Аллюзия на роман К. Гамсуна «Соки земли».

57

…выскакиваю там, где не нужно, как «американский житель». — Игрушка, второе название которой «чертик в пробирке» («раскидайчик»), поднимающийся и опускающийся в пробирке со спиртом.

58

…и бунчу арию из Трубадура… — ария из оперы Джузеппе Верди «Трубадур».

59

…сказал: «Ныне отпущаеши раба твоего»… — Лк 2: 21–35.

60

…как в сказке Кота Мурлыки. — Речь идет о сборнике сказок Н. П. Вагнера «Сказки Кота-Мурлыки» (1872), неоднократно переиздававшемся в России; судя по дневнику, некоторые из этих сказок оказали в детстве большое влияние на Пришвина.

61

«Красота спасет мир»… — аллюзия на роман Ф. М. Достоевского «Идиот».

62

…я думал о посетившем меня видении, что оно неповторимо… — Имеется в виду первая парижская любовь Пришвина Варя Измалкова.

63

Доклад <…> Гроссмана о Ковнере в отношении к Достоевскому и Розанову. — Видимо, доклад был сделан по книге Л. Гроссмана «Исповедь одного еврея. Достоевский и иудаизм» (1924), посвященной переписке между писателем и фельетонистом газеты «Голос» Аркадием Ковнером; в 70-е гг. XIX в., прочитав «Преступление и наказание», Ковнер решился встать на путь Родиона Раскольникова, похитил крупную сумму денег, был осужден и из Бутырской тюрьмы переслал через адвоката автору романа откровенные письма, которые произвели впечатление на Достоевского. Кроме Достоевского, Ковнер состоял в переписке с В. В. Розановым.

64

Ездил в Марьину Рощу смотреть волчков-кустарей… — Так начинается «журналистское исследование» мастерства и быта ремесленников-башмачников, в результате которого появился ряд очерков, а затем книга «Башмаки» (1925). Ср.: «Мне думается, что развитию кооперативного дела служит одним из главных препятствий естественный индивидуализм ручного труда, на одном полюсе которого находится мастер "художник", закладывающий внутрь башмака бумагу, на другом — волчок, как называется в обувном деле артист, изготовляющий настоящую художественную обувь» (Собр. соч. 1982–1986. Т. 3. С. 450).

65

Волошин читал свою «Россию»… — Имеется в виду поэма М. Волошина «Россия» (1924). О приезде М. Волошина в Москву в 1924 г. см. в кн.: Волошин Максимилиан. Средоточье всех путей. М.: Московский рабочий, 1989. С. 527–528.

«Единым человеком грех в мир вниде». — Рим 5:12.

…*«чаю Воскресения мертвых»* — Слова из Символа веры.

68

…доступное даже моссельпромке… — Моссельпром — пищевой трест Московского Совета Народного Хозяйства, был основан в 1922 г. и объединял мукомольные, кондитерские и шоколадные фабрики, пивоваренные заводы и табачные предприятия.

69

…расширение идеи Бюхера, выраженной в его книге «Работа и ритм». — Книга немецкого экономиста Карла Бюхера «Работа и ритм» (1896), с которой Пришвин познакомился, будучи студентом Лейпцигского университета, произвела на него сильное впечатление: исследуя производительный процесс и технологию труда у диких народов, Бюхер пришел к тому выводу, что на первых ступенях своего развития музыка и работа были органически связаны между собой, причем доминирующим элементом связи являлась работа.

70

«Толстой недаром написал удивленное письмо Миклухе-Маклаю… — имеется в виду письмо Л. Толстого к Н. Н. Миклухо-Маклаю от 25 сентября 1886 г. См.: Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М.: Художественная литература, 1984. Т. 19. С. 117–118.

71

…кормил семью маханиной… — т. е. кониной.

72

…первая книга с неба упала… — В 1760-х гг. «Стих о Голубиной книге», упавшей с неба, записал один из первых собирателей русского фольклора, Кирша Данилов; в настоящее время «Голубиная книга» считается космогоническим мифом древних славян.

Под таким названием в 1924 г. в журнале «Красная новь» (№ 2. С. 228–236) был опубликован очерк о том, каким фантастическими легендами обрастали новые формы бытовой жизни. Ср.: «Не у нас это было, где-то тут близко, в Ярославской губернии. Жили мужик да баба. Мужик, коммунист он был, изрубил иконы, побросал их в печку. Знала, нет ли про то баба, стала она растапливать печь, — не топятся дрова, да и только. "Что, — говорит баба, — за чудо!" А из печки голос: "Это чудо еще не чудо, а вот через три дня будет чудо". Испугалась баба, побросала все, а через три дня и разродилась, да и родила черта — мохнатый весь. Народ прослышал про это, собираться стал смотреть на черта. Что делать? Думали, думали мужик да баба, взяли да отнесли черта в лес и бросили там. Приходят домой, а черт сидит на лавке, смеется. "Вот так чудо", — говорят. "Нет, это еще не чудо, а вот через двадцать дней будет чудо", — говорит тот. Не знает мужик с бабой, что им и делать, отказываются от черта, и соседи никто не берет. Узнало начальство и арестовало черта» (Цвет и крест. С. 559).

73

Читаю Уэллса «Спасение цивилизации». — Имеется в виду книга публицистических статей классика научно-фантастической литературы Г.-Д. Уэллса, которая вышла в русском переводе в 1923 г. Ср.: «Катастрофа великой войны обнаружила такое накопление разрушительных сил в нашем внешне процветающем обществе, которое немногие из нас могли себе даже представить; и обнаружила вместе с тем полнейшую неспособность обращаться с этими силами и сдерживать их» (Уэллс Г. Спасение цивилизации. Пг.: Мысль, 1923. С. 7).

«Несть власти аще не от Бога»… — Рим 13:1.

75

…примите, ядите… — слова из возгласа на Божественной литургии.

76

Сыр. — Запись представляет собой черновой вариант рассказа «Сыр» (1924), впоследствии включенного в цикл «Слепая Голгофа». Впервые опубликован в газете «Заря Востока» (1924. № 17). См.: Собр. соч.: В 8 т. Т. 2. С. 622–627.

77

В руке у меня Ааронов жезл: колос, неизменно вновь зацветающий… — Числ 17: 2–8.

78

…даже спели «Дубинушку»… — Народная песня русских бурлаков, широко известная по исполнению Федором Ивановичем Шаляпиным.

79

…как избежать этого и умереть «непостыдно»… — просительная ектения из литургии верных.

80

…летом нам, сдвинутым (но не «свихнувшимся»), лучше всего завесить окна и сидеть в полумраке… — Ср. воспоминание А. А. Фета о поездке в Италию: «Через четверть часа в камине запылали громадные оливковые пни, и в комнате стало скорее жарко, чем холодно. При этом исполнено было мое требование, вероятно, немало изумившее прислугу, а именно: окна, выходящие на каскад, были тщательно завешены суконными одеялами…» (Фет А. А. Воспоминания. М.: Правда, 1983. С. 305–306).

81

…его хижину. — Далее идет следующий список:

Василий Степанович, скорняк, деревня Манилино, второй двор налево.

Леонид Львович Суслов, Кимры, заведующий музеем.

Максимов, учитель, краевед, Кимры.

Леонид Шокин, фотограф.

Ечеистов, Кимры, Сельпромсоюз, инструктор, у него фотографии и диапозитивы.

Иван Сергеевич Романов, Талдом, ул. Сакцова (Ильинская на Юркино), на правой руке 2-й дом от Юркина, узкий двухэтажный — в этом же доме Александр Афанасьевич Семенов.

Михаил Петрович Седов, Москва, Неглинный, Сандуновские бани. М. С. П., 2.70.17, 2.01.50.

Девятов Иван Петрович.

Гавриил Яковлевич Качалов, Талдом, Куст. — Пром. Союз.

Сергей Слепнев.

Савелий Павлович Цыганов, Марьина Роща, волчок (узнать у Смирнова).

Семен Леонтьевич Маслов, Москва, Бол. Козихинский, д. 22, кв. 1, т. 37–48.

Б. М. Соколов, 11 231 от 7–8 в. и в Румянцевском музее.

Давид Лазаревич Тальников, секр. «Новая Москва» и «Жизнь», Кузнецкий мост, 1. II–I ч., тел. 1–30–15, (дом 6–8 в. Никитск. б., 12, н. 13).

Кирилл Алексеевич Соловьев, Дмитров, улица Юного коммуниста, д. Гагарина, Музей Дмитревского края, Никитская ул., д. Александры Георгиевны Соболевой, Не понед. и не вторник (в уезде).

Татьяна Николаевна Дехтерева и Татьяна Владимировна, Арбат, Б. Афанасьевский, д. 41, кв. 11, тел. 92–59, служебный 207–11, доб. 328.

Зозуля Еф. Дав., 3–75–78. «Огонек», 86–87, Люб. Солом.

Юрий Матвеевич Соколов, 1–22–77 до 4 д. (Исторический музей).

«Красная Новь», 2–78–97.

«Красная Нива», 20–21, 2–78–94.

Александр Александрович Рыбников, профессор сельскохозяйственной академии, Москва, Малый Знаменский, д. 13, кв. 16, лучше в пятницу около 9-ти.

Власов Иван Иванович, гор. Иваново-Вознесенск, Шереметьевская, краевед.

Елена Николаевна Вашкова, 5–84–02, 2–30–85, доб. 49.

Госплан, Георгий Эдуардович Альшвейг.

Павел Иванович Лебедев-Полянский. Главлит, 2–77–77.

Алексей Константинович Горностаев, Москва, Девичье поле, Трубецкой пер., д. 4, кв. 14, трамвай 17, у Арб. (11 ч. у.).

82

…как воскресла казенка. — Казенная винная лавка, в просторечии «казенка».

83

Вчера задумал поработать над «Чертовой Ступой». — Имеется в виду задуманная, но не осуществленная идея сборника под названием «Чертова Ступа».

84

…для большого журнала. — Имеются в виду рассказы: «Говорящий грач» (Огонек. 1924. № 9), «Волки-отцы» (Красная нива. 1926. № 2), «Щегол-турлукан» (Огонек. 1924. № 9). Рассказ «Пойма» (Новый мир. 1928. № 12; впоследствии напечатан под названием «Заутреня»), по-видимому, вошел в рассказ «Птицы под снегом» (Красная нива. 1921. № 18). Рассказ под названием «Куропатка» не обнаружен. «Юбилей охотника» (Охотник. 1925. № 3), «Дергач и перепелка» (в кн.: Матрешка в картошке. М.: Г. Мириманов, 1925), «Еж» (Искорка. 1924. № 8; под названием «Ежик»), «Анчар» (Охотник. 1925. № 2). Рассказ под названием «Пальма» не обнаружен.

85

…(детский рассказ, начало весны). — «Марксист» — вероятно, речь идет о материалах к роману «Кащеева цепь», очерк отдельно не публиковался. Рассказ под названием «Великий враг» неизвестен. Рассказ «Рябчики», по-видимому, вошел в рассказ «Птицы под снегом».

Савинков признал советскую власть. — Ср.: Савинков Б. В. Почему я признал советскую власть? // Савинков Б. Воспоминания. М.: Московский рабочий, 1990.

87

…я вспомнил, как Мережковский спрашивал нас… — В 1908 г. Пришвин становится членом петербургского Религиозно-философского общества. Об этом см.: Ранний дневник. С. 175–316.

88

Розанов запел свою песнь песней о евреях… — Имеется в виду книга В. В. Розанова «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» (1914).

89

Им был голос, подобный голосу из пылающего куста… — Исх 3:1–10.

…находят в потребилке… — магазин потребительского общества, кооперативная лавка.

91

…вышел гремучий газ… — Смесь водорода и кислорода образует взрывоопасную смесь, которая называется гремучим газом.

92

Читал «Курымушку». — Имеется в виду первая книга романа «Кащеева цепь». «Голубые бобры», «Маленький Каин», «Золотые горы» — названия глав-звеньев романа.

93

Сон, как у Лермонтова: не тем холодным сном могилы… — Аллюзия на стихотворение М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» (1814).

94

…надо мною, вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел… — Аллюзия на стихотворение М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» (1814).

95

…писатель А. Соболь вспрыснул себе под кожу морфию. — Возможно, речь идет об одной из попыток А. Соболя покончить с собой, что и произошло в следующем 1926 г. См. об этом, а также о положении Пришвина в литературе в эти годы: Варламов А. Пришвин. М.: Молодая гвардия, 2003. С. 221–259 (ЖЗЛ).

…в огромных мороженой жести сундуках. — Обитые мороженой жестью сундуки считались в конце XIX — начале XX в. фирменными невьянскими, по имени города Невьянска на Урале; секрет «морозки» жести был привезен из Англии и доведен русскими умельцами до совершенства; узор возникает в процессе кристаллизации расплавленной смеси олова и свинца на жести при опрыскивании водяными каплями, причем любое минимальное нарушение размера капель воды, угла их падения или температуры нагрева смеси уничтожает эффект «мороза»; считается, что в настоящее время секрет этого производства утрачен.

97

Три романа К. Гамсуна прочитаны: «Соки земли», «Санатория Торахус», «Женщины у колодца». — Роман «Соки земли» (1917; рус. пер. 1920) был удостоен Нобелевской премии в 1920 г. «Женщины у колодца» (1920; рус. пер. 1923); «Санаторий Торахус» — вольное название романа «Последняя глава» (1923; рус. пер. 1924). В 1937 г. Пришвин пишет о романе «Соки земли»: «"Соки земли" Гамсуна — настолько действительно соки, что я вдруг понял только теперь смысл и значение слова "земля" — почему это мать, сила и т. п. В этом и жадность труда, и вкус как "укус"» (РГАЛИ).

98

Неожиданно для себя помирился с Воронским и опять пишу в «Красную Новь». — «Красная новь» — первый советский литературно-художественный и научно-публицистический журнал, выходил в 1921–1942 гг. Пришвин опубликовал в нем целый ряд рассказов и очерков, начало романа «Кащеева цепь», «Родники Берендея», был корреспондентом раздела журнала «От земли и городов». В «Красной нови» были опубликованы отрывки из будущей книги «Башмаки» (1923. № 33, под назв. «История цивилизации села Талдом»).

99

…тут же где-то запечатленным ангелом… — Аллюзия на повесть Н. Лескова «Запечатленный ангел» (1872).

100

Конец Троцкого. — Речь, по-видимому, идет об усилении внутрипартийной борьбы после смерти Ленина, которая выразилась в противостоянии партийного большинства во главе со Сталиным, Каменевым, Зиновьевым и др. и левой оппозиции во главе с Троцким. В эти годы еще возникали определенные дискуссии и допускалось некоторое разномыслие. Тем не менее с 1924 г. в борьбе с оппозицией впервые появился термин «троцкизм» (http://www.socialism.ru/theory/russian-revolution/left-opposition-in-1924)

101

…Воронский… ничего не может против помощника редактора «напостовца» Раскольникова. — Имеется в виду журнал «На посту» (1923–1925), возглавивший в те годы борьбу за партийную линию в литературе и отрицательно относившийся как к классическому наследию в целом, так и к писателям-«попутчикам». Воронский выступал с полемическими статьями против «напостовцев».

102

В редакции «Искорки» ко мне подошел какой-то молодой писатель… — Ежемесячный журнал для деревенских октябрят и школьников ЦБ юных пионеров и ЦК ВЛКСМ «Искорка» выходил в Москве с 1924 по 1933 г.

103

«Окно» — журнал эмигрантов… — Имеется в виду журнал-трехмесячник литературы, который был издан в Париже в 1923 г. (№ 1–3) М. М. Цейтлиным в издательстве «Я. Полоцкий и К°».

104

…сегодня получу 50 р. от «Прожектора»… — Имеется в виду иллюстрированный литературно-художественный и сатирический журнал, издававшийся в Москве с 1923 по 1935 г. при газете «Правда».

105

…будто есть какой-то Светлый человек… — Ср.: «б/д. Николай Михайлович (брат) был человек очень хороший, но, как все хорошие люди, он не знал, что хорошо, и всю жизнь свою мучился, что он не такой, как настоящие люди. Где эти настоящие люди, кто они такие — в жизни он едва ли видел, но настоящий человек был ореолом его личного существования; после, в самые тяжелые минуты своей жизни, он недоуменно меня спрашивал: если все кругом так безобразно, то откуда же пришло к нему, что есть какой-то светлый человек?» (Пришвина В. Д. Путь к Слову. М.: Молодая гвардия, 1984. С. 20–21).

106

…на войне исчезло сострадание и милосердие к раненым… — Дважды — первый раз с 24 сентября по 18 октября 1914 г., а второй раз с 15 февраля по 15 марта 1915 г. Пришвин был на фронте в качестве военного корреспондента. Ср.: Дневники 1914–1917. С. 95–124; 144–175.

107

Форд «Моя жизнь». — Имеется в виду книга Генри Форда «Моя жизнь, мои достижения» (рус. пер. под ред. инженера-технолога В. А. Зоргенфреф, 1924).

108

…будешь каким-нибудь чудаком вроде Михаила Николаевича… — Имеется в виду родственник Пришвина по отцовской линии художник Михаил Николаевич Горшков, ставший прототипом двух рассказов Пришвина — «Загадка» (опубл. посмертно в 1960 г.) и «Наш сад» (1952), а также персонажем автобиографического романа «Кащеева цепь», в котором судьба лирического героя романа связывается с необычайной судьбой художника: «Бродяга будет <…> как Михаил Николаевич, помните? Назывался художником, всю Россию обошел, черным хлебом питался, принял на себя великий подвиг, а картины ни одной не написал» (Т. 2. С. 162).

109

…не только… Варраву, а и того хулигана, который… висел рядом с Ним… — Лк 23:19–25, 39–43.

110

…уж не пародия ли он. — Аллюзия на роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

111

…от плена человеческого. — В дневниковой тетради 1924 г. обнаружено заявление Пришвина в хозяйственную комиссию Всероссийского союза писателей:

«По поводу своих частых отлучек из Москвы, в течение которых моя комната остается неиспользованной, заявляю следующее.

Не имея возможности найти квартиру для своей семьи в Москве, я поселил ее в деревне возле г. Ленинска, где обучаются мои дети в школе второй ступени. Если бы я нашел вторую комнату в Москве, то не отлучался бы из нее совершенно и жил бы так же, как и другие семейные члены союза. В течение этой зимы я постараюсь добыть вторую комнату, быть может, в нашем же общежитии, и отлучаться больше не буду.

Пока же я не подыскал себе второй комнаты, эта маленькая, самая маленькая в общежитии, сырая комната мне совершенно необходима и даже во время моих отлучек, потому что под наблюдением Ю. В. Соболева в ней хранятся мои архивы *<1 нрзб.>* когда вы потом узнали, в каких условиях я живу в деревне. Но самое главное, ведь я не только затем приезжаю в Москву, чтобы продавать свои рукописи, я веду краеведческую работу в Ленинске, и мне в Москве необходимо работать в библиотеке, присутствовать на разных ученых собраниях. Каким образом вести такую сложную работу писательскую, научную, общественную, не имея возможности рассчитывать на минимум покоя, не быть уверенным, что все оставленные материалы и книги лежат на своем месте?

Не могу себе представить трудность моего положения, если бы комнату в Москве у меня отобрали: ведь на месте в Ленинске я не могу извлечь рубля для существования своей семьи и также ни одной ценной книги для своих работ, и у нас там нет ничего…

В глуши невозможно жить культурному человеку и еще с писательским именем и не принимать участия в местном культурном строительстве. И потому я, связавшись с Госпланом, с одной стороны, с местными учреждениями, с другой, веду без вознаграждения за свой труд краеведческую работу. Прилагаемый мандат Госплана удостоверяет в этом, и я во всякое время могу представить удостоверения от Ленинского Укома и т. д., что на месте нечто делаю, и это дело требует постоянной связи с Москвой. (Последнее время я в "Известиях".)

Но я всегда во всякое время готов бросить свою научную и общественную работу, совершенно меня разоряющую; если Вы

мне предоставите в общежитии вторую комнату, в одной будет жить моя семья, в другой я — безотлучно. Но пока этой комнаты нет, я должен и отлучаться, и сохранять за собой один самую маленькую и сырую комнату.

Не лишним считаю сообщить, что в деревне Костино, где я поместил свою семью, я занимаю избу в одну комнату, разделенную перегородками, не доходящими до верху, и потому, чтобы работать без помехи, устроился с писанием в примыкающей к избе старой постройке вроде бани. Каждый раз, когда я уезжаю в Москву, эту баню собираются у меня отобрать, и я всегда приезжаю к очередному скандалу. В последний раз председатель Комитета Взаимопомощи для выселения меня из бани обратился к городским властям. Явилась комиссия, все были поражены моей убогой обстановкой житья, худшей даже, чем у последнего кустаря. Вот тогда комиссия так повернула дело, что больше даже едва ли когда-нибудь граждане Костина заикнутся о моих правах на баню. Исключительная бедность моя объясняется тем, что я живу…

Не раз уже и в Москве моя побеленная баня подвергается осаде людей, не желающих вникнуть в мое положение и решающих все сплеча.

Я жду от вас, товарищи, такой же комиссии, которая установит удельный вес всей моей деятельности и с этой деловой точки зрения признает мое неоспоримое право на комнату и, может быть, даже при первой возможности даст мне вторую комнату и спасет моих уже взрослых ребят от одичания среди граждан деревни Костино».

112

Ницшеанство (эстетизм, индивидуализм). — О ницшеанских мотивах в творчестве Пришвина в начале 20-х гг. см. в кн.: Подоксенов А. М. Мировоззренческий контекст повести М. М. Пришвина «Мирская чаша». Белгород; Елец, 2007. С. 40–71.

113

«Я — это ты в моем сердце возлюбленный»… — Пришвин неточно цитирует строку из стихотворения З. Н. Гиппиус «Молитва» (1897): «Я — это Ты, о Неведомый, / Ты — в Моем сердце, Обиженный…»

114

Добролюбов пробует от бумаги перейти к человеку: молчание и строительство жизни: секта. — В Раннем дневнике (с. 292) Пришвин записывает: «…судьба поэта-декадента Добролюбова: поэт бросает свое искусство, уходит в народ и становится вождем одной из очень могущественных религиозных сект» В 1898 г. А. М. Добролюбов, к тому времени автор сборника стихов «Natura naturans. Natura naturata», уже отрекся от декадентских идей и в крестьянской одежде, с посохом в руках бродил по северным деревням, записывая народные песни, заклинания, плачи и сказания. В 1903 г. в Поволжье он основал секту «добролюбовцев», известную введенным им обетом молчания.

115

Нет спасения и в мережковщине (рассудительность). — О Мережковском см.: Ранний дневник. С. 175–316.

116

…в Крыму в Коктебеле «кадетская партия». — Речь идет о Волошине, который умудрился в послереволюционные годы прожить в Крыму в своем коктебельском доме, оставаясь свободным и поступая так, как считал нужным, осуждая террор, и поочередно спасая в своем доме то белых от красных, то красных от белых. По выражению Марины Цветаевой, он спасал «человека от стада, одного от всех, побежденного от победителей…»

117

…если потребуется, с натурализацией. — Натурализация — процесс получения гражданства.

118

…русак — тропить… сметка… — Сметки — заячьи петли на снегу; тропить — определить место, где залег заяц, который в течение дня находится на лежке, а на ночь выходит пожировать (на кормежку), и весь путь его от места лежки до жировых мест и на новую лежку, отпечатывается на снегу.

119

Слепая Голгофа! — под таким названием были объединены в 1916 г. три очерка о начале Первой мировой войны: «Гроза», «Телега смерти» и «Машина смерти».

120

Рассказ «Немезида»… — Рассказ под таким названием неизвестен.

121

Халамеева ночь. — Рассказ «Халамеева ночь» был написан не позднее июня 1924 г. (см.: Цвет и крест. С. 422–430).

122

Смертный пробег. — Рассказ «Смертный пробег» (1925) вошел в книгу «Календарь природы» (см.: Дневниковая проза. Т. 1. С. 175–179).

123

«Преодоленная бездарность»: литература (Брюсов)… — Ср.: «Брюсовым еще можно иногда залюбоваться, но его нельзя любить… слишком скудны результаты его напряжений и ухищрений, он трудом не обогатил красоты; но если Брюсову с его сухой и тяжеловесной, с его производной и литературной поэзией не чуждо некоторое значение, даже некоторое своеобразное величие, то это именно — величие преодоленной бездарности. Однако таковы уж изначальные условия человеческих сил, что преодоленная бездарность — это все-таки не то, что дар» (Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей: http://www.svobodanews.ru/content/article/381878.html).

124

У Бруссона («Анатоль Франс в халате»)… — имеется в виду кн.: Бруссон Ж.-Ж. Анатоль Франс в туфлях и халате (рус. пер. А. А. Поляк и П. К. Губера, 1925), в которой Бруссон, бывший в течение нескольких лет личным секретарем Франса, сделал акцент на его человеческих качествах, пристрастиях, слабостях и пр.

…можно больше стушевываясь в обществе (личину вырабатывать). — В эти переломные послереволюционные годы культурно-исторического развития Пришвин то и дело отмечает и в себе и в окружающих людях попытки решить проблему самоидентификации и невозможность отождествить себя с той единственной социальной группой, которая определяет новую жизнь («*24 Января 1935*. Оглянешься на прошлое — что пережито! — и страшно подумать о себе теперь: как я могу после всего жить так обыкновенно и как будто без отношения к страшному опыту…»); маска становится одним из способов скрыть свою личность за личиной. Маска, по Пришвину, прикрывает и истинное лицо нового государства, жизнь принимает карнавальный оттенок — все в масках: и руководители государства, и рядовые граждане («Социалистическая маскировка достигла самого высокого совершенства, и много людей (из простых) веруют в это все (включая мощи Ильича)»). «*19 Сентября 1935*. Не оспаривай глупца! сохраняй всюду, на каждом месте внутреннее равновесие. Как в дождик надо взять зонтик, так надо человеку в обществе надевать маску и строить личину. Или двигаться все глубже и глубже в пустыню, или строить личину. Если же строить личину, то лучше всего английскую (искренности, простоты)». Маска как способ защиты личности в чуждом или опасном окружении, как свобода в выборе модели поведения — все это Пришвин понимал еще в 1930 г. («*23 Декабря*. Нельзя открывать своего лица — вот это первое условие нашей жизни. Требуется обязательно мина и маска»; «*20 Ноября*. Игра двумя лицами (маскировка) ныне стала почти для всех обязательной. Я же хочу прожить с одним лицом, открывая и прикрывая его, сообразуясь с обстоятельствами»); и его собственная личина охотника, писателя, ведущего странный на общепринятый взгляд образ жизни («Левин читал меня и восхищался, но когда побывал у меня в крысиной комнате в д[оме] Герцена, раззнакомился»), чуждого писательскому сообществу в том виде, в каком оно существовало в столице в эти годы, исключенного из общественной писательской жизни: к примеру, его не выбирают в Президиум на Первом съезде писателей («64 челов. президиум: меня не выбрали: и хорошо, и неприятно: хорошо, что я в оппозиции, что я свободен и могу всегда исчезнуть незаметно, плохо же…»), да и выдержать стиль («съезд проваливался: докладчики, начиная с Горького, читали по напечатанным докладам <…> Болтовня <…> интервью,

снимание»), он не способен («я решил на день-два сбежать в Загорск. <…> Счастье вернуться к себе, быть у себя. А съезд все идет»). Его никогда не приглашают вместе с другими в особняк Рябушинского, где обитает Горький и где проходят писательские вечеринки («смысл всего таится где-то в управлении, так и здесь — это на собраниях у Горького, куда меня не зовут») — да и представить себе Пришвина на таком рауте невозможно: он не только не светский человек, а совершенно напротив, он скорее человек сознательно выбирающий если не маргинальный, то уж точно полумаргинальный образ жизни («Покупка домика <…> в Переславище очень занимает меня <…> что-то вроде пустынножительства»). В том-то и дело, что Пришвин пытается совместить культуру (творчество) — пространство свободы и такой образ жизни, который одновременно и органичен для него, и является маскировкой — скрывает существо его личности и творчества (дневник). Пришвин обнаруживает, что личина, маска и его полумаргинальная жизнь, его хитрость и юродство уходят корнями в традицию русской литературы и имеют в культуре высокий смысл — борьбы со злом средствами искусства («творчество есть <*зачеркнуто:*> великая маскировка великое скрывание <…> или даже создание лица, личности, единства, закрывающих зло»). В то же самое время в России все это почему-то оказывается результатом неизбежной вековечной борьбы — по крайней мере, он безошибочно определяет в московской толпе иностранца — по поведению и по лицу («Лицо человека без промежуточного слоя животно-живой хитрости») (Дневники. 1932–1935. С. 949, 978).

126

Предложить «Энгельгардтовский метод». — Ср.:Пришвин М. М. От земли и городов. Письма из Батищева — очерк, посвященный книге А. Н. Энгельгардта «Письма из деревни»(1882), написанной им во время ссылки в Батищеве (Цвет и крест. С. 519–524).

Ср.: «Так, ничего нет трудней, как говорить о хорошем. Но что же делать, когда растерялся, и все-таки хочется жить? Я думаю, что нужно смириться до простого факта и начинать все заново. Вот недавно сижу среди деревенской молодежи в праздник, заняться им нечем, заказали пиво и самогонку, и в тот момент, когда принесли уже вино, вдруг являются из далекой деревни ребята играть в футбол. Мигом самогонка куда-то исчезла, и наша партия отправилась в поле. Трудно бы в прежнее время представить себе такой случай, — тогда в деревне не играли в футбол. Теперь в этом краю в каждой деревне чуть ли не по три команды футболистов, странствующих по воскресеньям из одного места в другое для своих побед и поражений. Я читал у Энгельгардта в его "Письмах из деревни", что в одной деревне, исследованной им в течение десятка лет, почему-то мужики побогатели, пить стали меньше, и молодежь вместо прежнего пьянства занялась охотой с гончими. У нас теперь занялись футболом, и любо смотреть в воскресенье на выгоне вместе со всей деревней на состязание наших и чужих и радоваться, когда наши наколотят чужих, или посмеяться, когда достанется нашим. И тех же ребят я совершенно ясно себе представляю притаенными у изгороди, когда гонят стадо, один, с шильцем в руке, подкрадывается к корове — чик! ей в бок, потом чик! — другой, тоже очень интересное дело. Я хочу сказать в общем, что в деревенской природе все от солнышка, греет оно или не греет, и те же самые мужики могут быть очень злыми и очень добрыми, а не так, как смотрит на них, например, житель пригорода, мещанин, считая что бык, черт и мужик — одна партия» (Пришвин Михаил. От земли и городов. История цивилизации села Талдом. http://lib.ru/PRISHVIN/zemlq.txt).

127

Убивают кулаки. Оказывается: кулаки убивают. — Видимо, запись сделана по какому-то частному случаю или слуху, потому что на самом деле с 1923 по 1928 г. в политике государства доминирует так называемый «курс на кулака», то есть речь идет о необходимости поддержки зажиточного крестьянства и кулачества, хотя в это же время власть обкладывала кулака повышенным налогом, требовала продажи хлеба государству по твердым ценам, ограничивала кулацкое землепользование, ограничивала размеры кулацкого хозяйства.

…*уголок фабзайчат*… — воспитанники фабрично-заводских училищ (ФЗУ), где готовили квалифицированных рабочих.

129

…оказался единственным глупцом. — После этой записи идет список:

Владимир Александрович Перелешин — до 9 утра дома (95–63) и потом 3–74–35.

Халтурин — Леонтьевск., 7, кв. 8.

Михаил Максимович Челюскин — Москопромсоюз.

Кукольная артель — Ольховка, 12, Вера Григорьевна Оралова, рано утром: артель безработных.

Рус. — Америк. кооп. мех. завод 33–60.

Арт. Прессмеполл, Нижняя Масловка, 43, к инж. Семенову.

Деревообделочники 2–49–44, 1-я рамочниха 1–37–27, 1-я арт. портных.

Сыромятниковская артель сапожников (Караваев Николай Семенович, коммунист).

Ортопеды — механик. Никитские ворота.

130

…работают на «продналог». — Продналог (продовольственный налог) был введен декретами Совнаркома в марте 1921 г. взамен продразверстки, был ниже продразверстки и явился важным актом новой экономической политики (нэпа). Продналог взимался с крестьянских хозяйств, его размер устанавливался до весеннего сева с учетом местных условий и зажиточности крестьянских хозяйств.

131

…пришла бы Мартовская Авдотья-обсери проруби… — Так (или Авдотья-Плющиха) называют в народе день 1 марта, когда «плющит», или «гнетет», подтаивает снег.

132

…оводье или комарье около «Акулины задери хвосты»… великий коровий зик… конский зик… поповый зик. — Так (или Акулина-Гречушница) называют в народе день 13 июня, когда сеют гречу и появляются оводы, кусающие и беспокоящие коров, которые от оводов бесятся, бегают, задрав хвосты — «зикуют» («коровий зик»); позднее, в июле, появляются другие оводы, которые беспокоят лошадей («конский зик»), а конец июля — начало августа, когда попы ходили по деревням «за новью», выбирая рожь на посев, называли «поповым зиком».

133

Сущность желанной смычки… — В 1924–1925 гг. под словом «смычка» подразумевалась связь между городом и деревней для обмена продуктов сельского хозяйства на промышленные продукты — в годы нэпа это связь осуществлялась через торговлю.

134

…Приготовить книгу «Письма из деревни»… — Книги под таким названием у Пришвина нет.

135

Со́роки. — 9 (22) марта в день сорока мучеников Севастийских (в народе Сороки) — праздник весеннего равноденствия и по народным приметам день, в который из теплых стран прилетает сорок птиц.

136

«Красная Новь», Нарпрос, «Охотник». — Далее идет сок рассказов или тем:

1. Несчастный филодендрон — «Звезда».
2. Следопыт — «Звезда».
3. Замошье — «Звезда» и «Достиж.»
4. Тайна
5. Змея
6. Одинокий журавль — «Нов. М.»
7. Скорая любовь — «Нов. М.»
8. Моральный человек — «Нов. М.»
9. Анисья Ефимовна
10. Папаня — «Нов. М.»
11. Астрономия в любви
12. Лес и человек
13. Девушка в березах
14. Прилет зябликов
15. Бараб. трель дятла
16. Белые птички
17. Лиловое небо
18. Морены (19. Мои морены) — одно
20. Торф
21. Майский мороз
22. Журавлиная родина
23. *<1 нрзб.>*
24. Экслибрис
25. Нерль
26. Пастух Ваня. Сочинитель
27. Утренняя молитва
28. Утята и ребята
29. Старухина тропа
30. Рябчики
31. Лесные загадки
32. Охота с колокольчиком
33. Двойной след
34. Теплые места
35. Клубника
36. Жалейка

137

…тюрьма была школой настоящего чувства свободы… — В 1897 г. Пришвин, студент Рижского политехникума, был арестован за работу в марксистском кружке и год провел в одиночной камере Митавской тюрьмы. Ср.: Кащеева цепь // Собр. соч. 2006. Т. 1. С. 279–311.

138

Я перешел вчера на Ботик… — С этого времени Пришвин живет в помещении бывшего дворца Петра I в Переславле-Залесском.

139

Река была заколона, и жерлами… ниже закола стояли… одна к одной во всю речку верши. — Заколона — значит, река была перегорожена кольями, на которые крепились рыболовные ловушки — сплетенные из прутьев верши; верши сделаны в форме воронки жерлами кверху.

140

Потомчинки… мочежинки. — Потомчинка — небольшой ручеек, поток. Мочежина — болотце.

141

…проводил меня в мелятник… — Мелятник — густой мелкий подлесок.

142

…*убил кондора*… — Кондор — южноамериканский коршун.

143

…нельзя по шереху без шума подойти… — Шерех — мелкий лед на реке.

144

…открыл анонс… — Способность охотничьей собаки, обнаружив дичь, вернуться к охотнику и по команде «Покажи где» привести охотника к нужному месту, сесть и облаять дичь.

…*(«норост»)*… — Норост — лягушачья икра; нороститься (также нереститься) — «метать икру».

146

…через полтора часа мы были против Тресты… — Треста — тростник, камыш.

147

…*глубокие непроницаемые вары*… — Вары — овраги.

148

…против посолони. — Двигаться по солнцу, по направлению от востока к западу.

149

…с образом этой женщины… — имеется в виду Варя Измалкова.

150

Много лет со мной пережила одна большая книга… — По-видимому, имеется в виду Библия.

151

…*птицы замерли в крепях*… — В крепях — в тумане, дымке.

152

…русская история: от страны Мери… — Имеется в виду народ меря, живший до прихода славян (последнее упоминании о мере в летописи датировано 907 г.) в центральной области будущей Северо-Восточной Руси.

153

…*пашет перелог.* — Перелог — заброшенная пашня.

154

Сегодня получено известие, что Воронский в восторге от «Родников». — Речь идет о публикации книги «Родники Берендея» в журнале «Красная нива» (1925. № 8–9).

155

…наткнулись в лесу на прекрасную дворянскую липовую аллею: умерли люди, умирала в золоте природа, умирал день… — Ср. начало автобиографического романа «Кащеева цепь»: «Однажды осенью под вечер я проходил мимо усадьбы, из которой мужики только что выгнали хозяев. Я остановился, пораженный красотою тройного умирания: усадьба умирала, год умирал в золоте листопада, день умирал. А на самом конце длинной аллеи, засыпанной кленовыми листьями, на террасе, обвитой красными лозами дикого винограда, сидел заяц <…> едва ли стал бы кто-нибудь читать рассказ о моей совсем обыкновенной, измеренной и сосчитанной жизни, если бы однажды в конце длинной аллеи, засыпанной кленовым листьями, на террасе, обвитой красным лозами дикого винограда, не явился мне таинственный зайчик и я, пораженный красотой тройного умирания, не задумал сделать эту сказку — и очень близкую к моей собственной жизни, и очень далекую» (Собр. соч. 2006. Т. 1. С. 23–25).

156

Закончил рассказ «Гуси». — По-видимому, имеется в виду рассказ «Гуси-лебеди», включенный в книгу «Календарь природы» (Дневниковая проза. Т. 1. С. 150–151).

157

…я же существую и буду существовать еще порядочно как личность. — В записи речь идет о двоюродном брате Пришвина со стороны матери Илье Николаевиче Игнатове, который многие годы был сотрудником и совладельцем газеты «Русские ведомости». В этой газете с 1907 по 1915 г. публиковал свои корреспонденции Пришвин (многие из них вошли в книгу «Заворошка», 1913). В 1915 г. он отмечает, что писание в «Русских Ведомостях» — «сплошное притворство… все это не мое, не мое» (Дневник 1914–1917. С. 151), рассматривает это как «службу», то есть осознавает себя не журналистом, не «общественным деятелем», а писателем, свободно выбирающим, о чем и как писать. Ср. воспоминания Ремизова: «Пришвин корреспондент "Русских Ведомостей". Под постоянным выговором своего двоюродного брата… Игнатова. "Писать надо с выводами". А он хотел без выводов, как Чехов» (Кодрянская Наталья. Алексей Ремизов. Париж, 1959. С. 322). Тем не менее и в революционные годы корреспонденции Пришвина одна за другой появляются в газетах «Воля народа», «Воля страны», «Раннее утро» и др. (многие вошли в книгу «Цвет и крест»). В дальнейшем Пришвин также часто обращается к жанру очерка, который, безусловно, вырастает из его журнальных и газетных корреспонденций (по сути, законченных очерков); многие книги писателя представляют собой циклы очерков.

158

Гуси домашние улетели. — Ср.: Птичье кладбище // Собр. соч. 1982–1986. Т. 1. С. 603–622.

159

Такое же исследование мной было сделано сектантское в книге «У стен града»… — Речь идет о третьей книге Пришвина «У стен града невидимого» (1909), написанной в результате путешествия в Керженские леса Нижегородской губернии на Светлое озеро.

160

Углубляю мысль Розанова о духовном гермафродитизме детей и талантов… — ср: «Одна из основных его идей <…> состояла в радикальном расширении понятия "пол" (Розанов не употреблял слово "секс") и сведении прочих областей жизни к "полу" в этом его всеохватывающем значении. Вне пола в человеке нет ничего существенного; но половое склонно маскироваться, и его выявление — дело интерпретации. "Даже если что-нибудь замышляем противо-половое — это есть половое же, но только так закутанное и преображенное, что не узнаешь лица его" (Розанов В. В. Люди лунного света. Метафизика христианства. СПб., 1913. С. 73–74). За аскетизмом, равно как и за гениальностью, скрывается нереализованный гомосексуализм. Защита Розановым гетеросексуальности как ключевой духовной ценности, его озабоченность "людьми лунного света" или латентными гомосексуалистами, его трактовка аскетизма как перверсии имели множество скрытых значений» (Эткинд А. Хлыст (Секты, литература и революция). М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 185–186).

161

…как царь Соломон после своей Песни Песней сошел туда и устало сказал: суета сует! — Екк 1: 2.

162

…как убийца брата Каин… — Быт 4: 25.

163

Я бы написал ей… — Имеется в виду Варя Измалкова.

164

…на свекольном заводе у Бобринского… — В 1902 г. Пришвин работал агрономом на хуторе графа Бобринского в Богородицком уезде Тульской губернии.

165

(«без-человечий писатель» — З. Гиппиус). — Ср. отзыв З. Н. Гиппиус на книгу Пришвина «У стен града невидимого»: «… при всей художественности описания сам он до последней степени отсутствует, и это делает его очерки или дикими от безмыслия, или просто-напросто этнографическими» (Русская мысль. 1912. № 5. С. 28). В статье «О "Я" и "Что-то"» З. Гиппиус (псевд. Антон Крайний) назвала Пришвина писателем «без личности», «легконогим и ясным странником с глазами вместо сердца» (Новая жизнь. 1913. № 2. С. 165, 168).

166

Вот вспоминаю о Маше… — Имеется в виду двоюродная сестра М. В. Игнатова.

167

Два Бранда — один ведет людей, другой погиб. — Имеется в виду герой драматической поэмы Г. Ибсена «Бранд»(1865).

168

«Детей от Прекрасной Дамы иметь никому не дано, но только Она Адамово заканчивает звено» (Мария Шкапская). — Строка из стихотворения М. К. Шкапской, впервые опубликованного в сборнике «Кровь и руда» (1922).

169

…граф па-хал и писал великую книгу свою «Круг чтения». — «Круг чтения» представляет собой собрание мудрых мыслей самых разных людей, которые Толстой собирал в течение всей своей жизни. Записи рассортированы по темам и датам.

«Круг чтения» представляет собой собрание мудрых мыслей самых разных людей, которые Толстой собирал в течение всей своей жизни. Записи рассортированы по тематикам и датам.

170

Розанов — гениальный и дал, вероятно, единственные в мире мысли о вопросах пола… — Ср.: «Однако "настоящие", собственно розановские темы философии, посвященные проблемам пола, семьи, брака, религии, культуры, христианства, иудаизма, язычества возникли не из теоретических умозрений, не из литературы, но из собственной судьбы, из своего жизненного положения. Позже Розанов признавался: "В 1895–6 году я определенно помню, что у меня не было тем. Музыка (в душе) есть, а пищи на зубы не было. Печь пламенеет, но ничего в ней не варится. Тут моя семейная история и вообще все отношение к "другу" и сыграло роль. Пробуждение внимания к юдаизму, интерес к язычеству, критика христианства — все выросло из одной боли, все выросло из одной точки. Литературное и личное до такой степени слилось, что для меня не было "литературы", а было "мое дело", и даже литература вовсе исчезла вне "отношения к моему делу". Личное перелилось в универсальное". Под "семейной историей" и отношением к "другу" (т. е. к жене — Варваре Дмитриевне) Розанов имеет в виду ту неразрешимую двусмысленность их положения, с которым они столкнулись после переезда в Петербург. Тайное венчание не давало ни им, ни впоследствии их пятерым детям никаких прав: по существовавшим в ту пору церковно-государственным законам дети Розанова считались "незаконнорожденными" и даже не имели права носить ни фамилию, ни отчество отца. С точки зрения закона, их отец был всего лишь "блудник", сожительствующий с "блудницей". Здесь-то и начинается жизненный, философский и литературный подвиг "чиновника особых поручений VII класса В. В. Розанова" — восстание во имя защиты реальности семьи против всей системы византийско-европейской цивилизации с ее законами, правилами, ценностями, моралью и "общественным мнением". Маленькое "я" и "свой дом" стали масштабом для суда над мировоззрениями, религиями, царствами. Борьба за семью с неизбежностью привела Розанова к поиску безусловного или, как он выражался, "религиозного", "священного" обоснования семьи. Итогом этого поиска было: священной субстанцией семьи может быть только религиозно осмысленный пол. По мысли Розанова, пол в человеке — не функция, не орган, но всеобъемлющий принцип жизни. Смерть — есть феномен потери пола, кастрация мира. Брак же — побеждает смерть не иносказательно, а самим фактом. Существенно: пол для Розанова — это одновременно и теистическое и космологическое

жизнеполагающее начало. И если брак есть или может быть "религиозен" — то, конечно, потому и при том лишь условии, что "религия" имеет что-либо в себе "половое". Пол теитизируется: это дает эфирнейший цветок бытия — семью; но и теизм непременно и сейчас же сексуализируется. Связь пола с Богом для Розанова куда бесспорнее, чем связь ума с Богом. Ведь мир создан не только "рационально", но и "священно", столько же "по Аристотелю", сколько "по Библии", столько же "для науки", как и "для молитв". Утверждение и освящение связи пола с Богом есть, по Розанову, сокровенное ядро Ветхого Завета и всех древнейших религий. Во всяком случае, именно отсюда выводит Розанов святость и неколебимость семьи в Ветхом Завете и иудаизме; отсюда же — благословение жизни и любви в язычестве, примирившем человека со всем универсумом. Напротив, христианство, по Розанову, разрушило сущностную связь человека с Богом, поставив на место жизни — смерть, на место семьи — аскезу, на место религии — каноническое право, консисторию и морализирование, на место реальности — слова. Культ Слова породил бесконечные слова, рынок слов, газетные потоки слов, в которых, как во времена великого оледенения, обречена погибнуть вся европейская цивилизация. Номинализм христианства построил цивилизацию номинализма, в которой праздные, мертвые слова, бесплодные теоретизирования и догматические споры подменили бытие. "Сущность церкви и даже христианства определилась как поклонение смерти, как трепет и ужас, а вместе и тайное влечение к Смерти-Богу". Однако цивилизации христианского номинализма Розанов противопоставил не молчание, но слово, — всегда личное, всегда свое, крепко укорененное в "святынях жизни": в реальности домашнего быта, конкретной судьбы, в мистике пола, в мифах седой древности. Верность этому слову в ситуации, где на карту поставлена судьба собственной семьи, "друга", детей, и открыла Розанову то особое мифологическое пространство, в котором набирало силу его движение в защиту попранных святынь. Знаменательно: движение это — и здесь мы подходим к существу литературного и жизненного дела Розанова — было ориентировано наперекор фундаментальным тенденциям европейской культуры. Не только идеологически, но и биографически, литературно Розанов шел не от "мифа к Логосу", но напротив — от Логоса к мифу: от философского трактата "О понимании" к газетной публицистике и лирике "Уединенного" и "Опавших листьев", от логики христианского богословия — к мифам Древнего Египта и Вавилона, к Исиде и Осирису, наконец, к гимнам Солнцу и великой богине-Матери. И как он шел от

христианства к языческому "Апокалипсису", от религии "бессеменно зачатого", а потому "бесполого" Сына к фаллической, рождающей религии Отца…» (*Барабанов Е. В.* В. В. Розанов, http://antropology.rchgl.spb.ru/rozanov/rozanov_13.htm).

171

Пильняк, полетав на самолете, пустил фельетон под Розанова. — Вероятно, речь идет об очерке Б. А. Пильняка «Отрывки из дневника» в сборнике «Писатели о литературе и о себе» (М.: Круг, 1924).

172

…как Исаак у Гамсуна… — Персонаж романа К. Гамсуна «Соки земли».

173

…«выпрямляющая» (Успенский) сила художественных произведений… — Ср.: «…и вдруг, в полном недоумении, сам не зная почему, пораженный чем-то необычайным, непостижимым, остановился перед Венерой Милосской в той большой комнате, которую всякий бывший в Лувре знает и, наверное, помнит во всех подробностях <…> всякий раз, когда я чувствовал неодолимую потребность "выпрямить" мою душу и идти в Лувр взглянуть, "все ли там благополучно", я никогда так ясно не понимал, как худо, плохо и горько жить человеку на белом свете сию минуту. Никакая умная книга, живописующая современное человеческое общество, не дает мне возможности так сильно, так сжато и притом совершенно ясно понять "горе" человеческой души, "горе" всего человеческого общества, всех человеческих порядков, как один только взгляд на эту каменную загадку. Правда, я еще не могу найти связи между этой загадкой, выпрямляющей мою душу, и мыслью о том, как худо жить человеку, являющейся непосредственно вслед за ощущением, даваемым загадкой, но я положительно знаю собственным своим опытом, что в то же мгновение, когда я почувствую себя "выпрямленным", я немедленно же почему-то начинаю думать о том, как несчастлив человек, представляю себе все несчастие этой шумящей за стенами Лувра улицы…» (Успенский Г. И. Кой про что. http://az.lib.ru/u/uspenskij_g_i/text_0500–1.shtml).

174

…*(Андрей Белый в отношении д-ра Штейнера)*… — По приезде в 1912 г. в Германию Ася Тургенева и Андрей Белый знакомятся с Рудольфом Штейнером, вступают в круг его ближайших учеников и принимают участие в строительстве Гетеанума — здания антропософского центра в Дорнахе (Швейцария). Ср.: Белый А. Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. М., 1917.

175

У Гамсуна есть книга любви… — По-видимому, имеется в виду повесть «Виктория» (1901).

176

…пророки и христы доходят до плотского греха со своей звездой). — В 1908 г. в Петербурге Пришвин знакомится с вождем религиозной секты хлыстов «Начало века» П. М. Легкобытовым. Ср.: Ранний дневник. С. 175–316.

(«се камень…»). — Мф 16:15–20.

178

…похоже на историю Версилова в «Подростке»… — Аллюзия на роман Ф. М. Достоевского «Подросток» (1876).

179

Музыкальная кружка. — Ср: «Был старик… Он потихоньку от гувернанток и маменек давал нам заряжать ружья, делал невозможные нелепицы в деле воспитания… И вот теперь все воспитатели забыты, а старика люблю. Значит, все воспитатели неправильно воспитывали, а старик правильно. Вспоминается, как с ним дрозда стреляли из заржавленного ружья. <…> Я знал его с детства. Сколько с тех пор забыто людей! Но его я всегда помнил и носил в своем сердце, и он представляется мне теперь в глубине прошлого большой волшебной кружкой. Стоило, бывало, любому мальчугану подойти к этому старику, когда он копался в своей садовой "школе", как начиналась мелодия. Откуда она бралась — Бог знает — из каких-то пустяков. Подойдет к нему восьмилетний мальчуган, и вот этот огромный великан, старый и почтенный, оставляет работу, усаживается куда-нибудь под куст, важно пригласит сесть рядом с собой и потихоньку шепнет:

— Давай покурим!

— Давай, — согласится мальчуган.

И вот появляется знаменитый портсигар из карельской березы, книжечка курительной бумаги и длиннейший мундштук. Скручиваются папиросы. Закуривают. Сидят под кустом, — он, огромный Фет, и крошечный мальчик. Разговор короткий:

— Затянулся?

— Затянулся. — Силюсь…

— А в нос умеешь?

— Нет.

— Вот, смотри. А кольцами?

И вот запрокидывается большая серьезная голова назад, из прекрасных рыжеватых усов вылетает синее кольцо, другое, третье…

Я много бы мог рассказать про старика, такого чудесного, волшебного. Далекая волшебная поющая кружка!» (Ранний дневник. С. 80–86).

«люби ближнего, как самого себя»… — Мф 5: 43.